



Московская
школа
гражданского
просвещения

Серия

культура
политика
философия

Московская
школа
гражданского
просвещения

культура
политика
философия

Серия
основана
в 2000 г.
Издается под общей
редакцией
Ю.П. Сенокосова

Энн Эпплбаум
Железный занавес
Подавление
Восточной Европы
(1944–1956)

Московская
школа
гражданского
просвещения
2015

ББК 63.3(2)631-6

Э 72

Художественное оформление — Андрей Бондаренко

Перевод с английского языка — Андрей Захаров

Книга издана при поддержке

Института «Открытое общество» (HESP), Совета Европы,

Норвежского института международных отношений (NUPI),

группы компаний «Рольф».

Э 72 **Эпплбаум, Энн.** Железный занавес. Подавление Восточной Европы (1944—1956). Перевод с англ. яз. Андрея Захарова (Anne Applebaum. Iron Curtain. The Crushing of Eastern Europe 1944—1956. Allen Lane an imprint of Penguin Books. New York, 2012). — М.: Московская школа гражданского просвещения, 2015. — 704 с., ч/б илл.

В этой книге известная американская журналистка и политический аналитик исследует историю образования и начального периода эволюции коммунистических режимов в странах Восточной Европы после Второй мировой войны. Анализ событий главным образом в освобожденных Красной армией Венгрии, Восточной Германии и Польше сопровождается новыми материалами многочисленных архивов, свидетельствами очевидцев событий. Всесторонне реконструируются различные аспекты социально-политических и экономических процессов в странах социалистического лагеря, функционирования механизмов пропаганды и политического контроля всех сфер жизни общества, раскрывается роль спецслужб в подавлении оппозиции и общественных движений. Автор показывает, что догматическое воспроизводство местными коммунистами методов советского тоталитарного режима, а также сохранившиеся, несмотря ни на что, протестные настроения в обществе, логично привели к распаду «восточного блока», как только возник разлом в главной его опоре — Советском Союзе — и пал железный занавес.

ББК 63.3(2)631-6

ISBN 978-5-91734-046-3

Copyright © Anne Applebaum, 2013

© Московская школа

гражданского просвещения, 2015

*Эта книга посвящена
тем гражданам Восточной Европы,
которые отказались жить по лжи*

Утрату свободы, тиранию, унижения, голод — все это проще было бы переносить, если бы их не принуждали называть «свободой», «справедливостью», «народным благом». ...Ложь, которая по самой своей природе предвзята и преходяща, изобличает себя всякий раз, когда сталкивается с фактами, отстаивающими истину. Но в нашей ситуации все средства выявления истины были надолго конфискованы полицией.

Александр Ват. Мой век, 1977 г.

Человек не обязан всем этим мистификациям верить. Однако он должен вести себя так, словно верит им; по крайней мере, молча терпеть их... Уже хотя бы поэтому человек вынужден жить во лжи.

Вацлав Гавел. Сила бессильных, 1978 г.

Оглавление

15 Введение

Часть первая. Ложный рассвет

41 Глава 1. Час испытаний

66 Глава 2. Победители

91 Глава 3. Коммунисты

117 Глава 4. Спецслужбы

148 Глава 5. Насилие

184 Глава 6. Этнические чистки

224 Глава 7. Молодежь

258 Глава 8. Радио

281 Глава 9. Политика

322 Глава 10. Экономика

Часть вторая. Разгул сталинизма

355 Глава 11. Враги-реакционеры

390 Глава 12. Внутренние враги

421 Глава 13. Homo Sovieticus

462 Глава 14. Социалистический реализм

503 Глава 15. Идеальные города

535 Глава 16. Колеблющиеся коллаборационисты

569 Глава 17. Пассивные оппоненты

597 Глава 18. Революции

630 Эпилог

640 *Примечания*

695 *Указатель имен*

699 *Благодарность*

701 *Лица, личные интервью с которыми
использовались при подготовке книги*

702 *Список архивов*

Карты









Введение

От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы — Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города с населением в этих регионах оказались в пределах того, что я называю советской сферой, все они в той или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному, а во многих случаях возрастающему контролю Москвы.

Уинстон Черчилль, речь в Фултоне, штат Миссури,

5 марта 1946

Среди многих других признаков 1945 год был отмечен невиданной за всю европейскую историю миграцией населения. По всему континенту сотни тысяч людей возвращались из заточения в Советском Союзе, с принудительных работ в Германии, из концентрационных лагерей и лагерей для военнопленных, всевозможных убежищ и потайных мест. Автодороги, пешеходные тропы, грузовики и поезда были переполнены потрепанными, голодными, немывыми людьми.

Особенно ужасающе выглядели железнодорожные станции. Истощенные матери, больные дети, а иногда и целые семейства на многие дни устраивались на грязном цементном полу, дожидаясь следующего поезда. Им грозили неминуемые голод и болезни. Но в Лодзи, в центральной Польше, группа женщин решила не допустить расширения трагедии. Сплотившись вокруг бывших членов Польской лиги женщин, благотворительной и патриотической организации, основанной в 1913 году, они взялись за работу. На железнодорожном вокзале Лодзи активистки открыли приют для матерей с детьми, обеспечивая их горячей пищей, лекарствами и одеялами, а также помощью волонтеров и медсестер.

Весной 1945 года побудительные мотивы этих женщин-активисток оставались такими же, какими они могли бы быть в 1925-м или 1935-м. Им пришлось стать очевидцами социального бедствия. Они решили объединить усилия, чтобы помочь страждущим. Никто не просил их об этом, им не приказывали и не предлагали деньги. Янина Суска, которой в момент нашей встречи было почти девяносто лет, рассказывала, что, по ее воспоминаниям, происходившее тогда в Лодзи абсолютно не касалось политики: «За эту благотворительную работу ничего не платили. ...Просто те, кто находил свободную минуту, сами шли к нам на помощь»¹. Лига женщин в Лодзи, поддерживая попавших в беду странников войны, не ставила перед собой политических задач.

Прошло пять лет. К 1950 году Польская лига женщин превратилась в совершенно другую организацию. У нее появилась штаб-квартира в Варшаве. Ею управлял централизованный общенациональный орган, который имел (и применял) право распускать местные отделения, не подчиняющиеся указаниям сверху. Изольда Ковальска-Кирилюк, генеральный секретарь Лиги, видела первейшие задачи своей организации отнюдь не в благотворительности или воспитании патриотизма. Она трактовала их политически и идеологически: «Нам необходимо углублять организационную работу и мобилизовать широкие массы активных женщин, обучая и воспитывая их как сознательных активисток-общественниц. Ежедневно мы должны повышать уровень сознательности женщин, внося вклад в великое дело социального преобразования народной Польши в социалистическую Польшу».

Лига также проводила общенациональные съезды; на одном из них, состоявшемся в 1951 году, ее вице-президент София Васильковска прямолинейно изложила политическую программу организации: «Основной уставной формой деятельности Лиги выступает образовательная и просветительская работа... направленная на повышение сознательности женщин и мобилизацию их усилий ради всестороннего выполнения Шестилетнего плана»².

Иначе говоря, к 1950 году Польская лига женщин превратилась в женскую секцию коммунистической партии. В своем

новом качестве она вдохновляла женщин следовать партийной линии во внутривнутриполитических и международных вопросах. Она призывала своих сторонниц выходить на первомайские парады и обличать западный империализм. Она формировала команды агитаторов, которых на специальных курсах обучали тому, как нести послание партии в массы. Женщины, которым все это не нравилось, например те, кто отказывался выходить на демонстрации или отмечать день рождения Сталина, исключались из рядов Лиги или покидали ее сами. Среди оставшихся больше не было волонтеров; это были бюрократки, обслуживающие интересы государства и коммунистической партии.

Прошло всего пять лет, но за эти годы Польская лига женщин и множество других общественных организаций пережили полнейшее перерождение. Что же случилось? Чем были обусловлены эти изменения? И почему народ согласился с ними? Идея этой книги в том, чтобы ответить на эти вопросы.

Хотя термин «тоталитарный» чаще всего использовали для описания нацистской Германии или сталинского Советского Союза, впервые понятие *totalitarismo* вошло в интеллектуальный оборот в контексте итальянского фашизма. Бенито Муссолини с энтузиазмом воспринял слово, придуманное одним из критиков его режима, и в одной из своих речей предложил формулировку, до сих пор остающуюся наилучшим его определением: *«Все внутри государства, ничего вне государства и ничего против государства»*³.

Строго говоря, тоталитарным называют режим, который упраздняет все институты за исключением тех, которые санкционированы официально. При тоталитарном режиме, таким образом, есть одна политическая партия, одна образовательная система, одно кредо в искусстве, одна централизованная плановая экономика, одно направление СМИ и один моральный кодекс. В тоталитарном государстве отсутствуют независимые школы, нет гражданского общества и критической мысли. Муссолини и его любимый философ Джованни Джентиле в свое время писали о государстве как о сущности, которая «объемлет

собою все» и за пределами которой «ни человеческие, ни духовные ценности не могут существовать»⁴.

Из итальянского слово «тоталитаризм» переключалось на другие европейские и мировые языки. После смерти Муссолини у концепта, однако, не осталось открытых защитников, и уточнять его значение принялись критики, среди которых были величайшие мыслители XX столетия⁵. Философский отклик проблематика тоталитаризма нашла в работах «Дорога к рабству» Фридриха фон Хайека и «Открытое общество и его враги» Карла Поппера. А роман «1984» Джорджа Оруэлла рисует антиутопическую картину мира, в котором безраздельно властвуют тоталитарные режимы.

Пожалуй, наиболее выдающимся исследователем тоталитарной политики стала Ханна Арендт, которая в написанной в 1949 году книге «Истоки тоталитаризма» определила это явление как «новую форму правления», появившуюся благодаря пришествию *modernity*. Разрушение традиционных обществ и способов жизни, заявляла она, создает условия для возникновения «тоталитарной личности», мужчин и женщин, чья идентичность полностью зависит от государства. По ее словам, тоталитарными режимами являлись как нацистская Германия, так и Советский Союз; в этом смысле между ними больше сходств, нежели различий⁶. Карл Фридрих и Збигнев Бжезинский продолжили эту линию аргументации в 1956 году, опубликовав работу «Тоталитарная диктатура и автократия». Эти авторы также пытались выработать наиболее емкое определение понятия. По их мнению, все тоталитарные режимы имеют по меньшей мере пять общих признаков: доминирующую идеологию; единственную правящую партию; готовую к использованию террора тайную полицию; монополию на информацию и плановую экономику. Исходя из этих критериев, советский и нацистский режимы не были единственными тоталитарными государствами; в их число попадали и другие страны, в частности маоистский Китай⁷.

Но к концу 1940-х — началу 1950-х годов тоталитаризм превратился в нечто большее, нежели просто теоретический концепт. На заре холодной войны термин обрел вполне конкретное

политическое звучание. В знаменитой речи, произнесенной в Конгрессе в марте 1947 года, президент США Гарри Трумэн заявил, что американцы «должны поддерживать свободные нации, их демократические учреждения и их национальную целостность против агрессивных устремлений со стороны тоталитарных режимов»⁸. Эта идея получила известность как «доктрина Трумэна». Дуайт Эйзенхауэр также упоминал лексику, связанную с тоталитаризмом, в ходе президентской кампании 1952 года, когда объявлял о своем желании отправиться в Корею и положить конец идущей там войне: «Я хорошо знаю, как устроено тоталитарное сознание. На протяжении Второй мировой войны мне приходилось нести тяжелое бремя решений, участвуя в крестовом походе свободного мира против угрожавшей нам всем тирании»⁹.

Поскольку американские ратники холодной войны открыто провозглашали себя врагами тоталитаризма, скептические умы, естественно, стали задумываться над тем, что стоит за этим термином. Представлял ли «тоталитаризм» реальную угрозу или это было просто преувеличение, «страшилка», придуманная сенатором Джозефом Маккарти? В 1970–1980-е годы историки-ревизионисты, занимавшиеся историей СССР, заговорили о том, что даже сталинский Советский Союз в действительности никогда не был тоталитарным государством. Они подчеркивали, что далеко не все решения в СССР принимались в Москве; что карательные органы на местах могли инициировать террор не менее рьяно, нежели их вышестоящее начальство; что архитекторам централизованного планирования отнюдь не во всем удавалось контролировать экономику; что массовый террор для многих создавал новые «карьерные возможности»¹⁰. Некоторые из этих историков стали рассматривать термин «тоталитаризм» как грубый, неточный и сугубо идеологический.

В действительности на перечисленные обстоятельства обращали внимание и «ортодоксальные» теоретики тоталитаризма. Лишь немногие сходились в том, что тоталитарные режимы способны полноценно функционировать. Напротив, как утверждал

Ханс Бахейм, «поскольку тоталитарное правление стремится к невозможному и желает распоряжаться личностью человека и его судьбой, оно может быть реализовано лишь фрагментарно... Но именно поэтому последствия притязаний на тоталитарную власть столь опасны и гнетущи: они столь расплывчаты, столь неисчислимы и столь трудно очерчиваются... Это искажение проистекает из неосуществимого притязания на власть: оно характерно для жизни при таком режиме и затрудняет ее понимание посторонними»¹¹.

В последние годы теоретики-политологи еще более углубили эту ревизионистскую аргументацию. Некоторые заговорили о том, что понятие «тоталитарный» пригодно лишь в теоретическом плане в качестве негативной модели, в противовес которой должны самоопределяться либеральные демократы¹². Другие объявляли это понятие абсолютно бессмысленным и обозначающим не что иное, как «абстрактно-теоретическую антитезу западному обществу» или, еще проще, антитезу «всем, кого мы не любим». Согласно самой мрачной интерпретации, понятие «тоталитаризм» обслуживает само себя: мы обращаемся к нему лишь для того, чтобы подчеркнуть легитимность западной демократии¹³.

В повседневной речи определением «тоталитарный» нередко злоупотребляют. Тоталитарными порой именуют демократически избранных политиков (рассуждают, например, о «тоталитарных инстинктах Рика Санторума»*), целые правительства и даже корпорации (в наши дни можно прочитать, в частности, о том, что «Соединенные Штаты идут к тоталитаризму» или что компания Apple применяет в своих торговых точках «тоталитарный подход»)¹⁴. Либертарианцы, начиная с Айн Рэнд, вешают этот ярлык на прогрессивных либералов, которые, в свою очередь, конечно же, вместе с консерваторами поступают также в отношении самой Айн Рэнд¹⁵. Иначе говоря, сегодня термин

* Американский политик, республиканец, отличающийся крайним консерватизмом. — *Прим. ред.*

прилагается к такому количеству людей и институций, что иногда он действительно кажется бессмысленным.

И все же, хотя сама идея «тотального контроля» кажется нелепой, смехотворной, преувеличенной или глупой, а само понятие никого больше не шокирует, важно помнить, что «тоталитаризм» — это не просто беспредметное бранное слово. История знает режимы, которые реально стремились к тотальному контролю. И если мы хотим понять их, то есть вообще постичь историю XX столетия, необходимо представлять, как функционировал тоталитаризм, и в теории, и на практике. Кроме того, идея тотального контроля вовсе не стала прошлым. Северная Корея, например, до сих пор живет по сталинским лекалам и за семь десятилетий почти не изменилась. Несмотря на то что новые технологии, как принято считать, делают тотальный контроль все менее воображимым и реализуемым, нельзя быть уверенным в том, что мобильные телефоны, Интернет и спутниковые фотографии никогда не станут орудиями режимов, стремящихся к «всеобъемлющему контролю»¹⁶. «Тоталитаризм» остается полезным и необходимым эмпирическим описанием.

История знает один режим, который настолько преуспел в постижении методов и техники тоталитарного контроля, что стал успешно экспортировать их. После взятия Красной армией Берлина и завершения Второй мировой войны Советский Союз из всех сил старался навязать тоталитарную систему правления самым разным европейским странам, которые тогда оккупировали его войска, как ранее она насаждалась в различных регионах самого СССР. Делалось это с беспощадной решимостью. Сталин, его армия и тайная полиция, с 1934 по 1946 год известная как НКВД и лишь позже переименованная в КГБ, а также их местные союзники, выстраивая тоталитарные государства в Восточной Европе, едва ли догадывались о полемике Айн Рэнд с прогрессивными либералами. Перефразируя Муссолини, им очень хотелось создать общества, где все было бы внутри государства, ничего вне государства и ничего против государства — причем желательно в кратчайшие сроки.

Между тем восемь европейских стран, оккупированных Красной армией в 1945 году, отличались широчайшим разнообразием культур, политических традиций и экономических укладов. Здесь были некогда демократическая Чехословакия, некогда фашистская Германия, а также монархические, авторитарные и полуфеодалные государства. В регионе жили католики, православные, протестанты, иудеи и мусульмане, которые говорили на славянских, романских, финно-угорских языках. Среди жителей Восточной Европы были русофилы и русофобы. На этих землях соседствовали индустриализированная Богемия и аграрная Албания, космополитичный Берлин и крошечные деревушки Карпат. Среди населявших Восточную Европу народов можно было встретить бывших подданных всех европейских империй — Австро-Венгерской, Прусской, Османской, а также Российской.

Тем не менее американцы и западноевропейцы в то время предпочитали рассматривать страны коммунистической, но не советской Европы — Польшу, Венгрию, Чехословакию, Восточную Германию, Румынию, Болгарию, Албанию и Югославию — в качестве единого «блока», получившего название «Восточная Европа». Послевоенная «Восточная Европа» была не географическим, а политическим и историческим понятием. В него не включались те «восточные» страны, которые, подобно Греции, никогда не были коммунистическими. Также не входили сюда ни Балтийские государства, ни Молдова, которые хотя и принадлежали к Восточной Европе исторически и культурно, в то время пребывали в составе СССР. Разумеется, прибалтийский опыт в чем-то схож с польским опытом, но есть и важное различие: для жителей Балтии советизация означала потерю даже условного суверенитета.

В послесталинское время, и в особенности после 1989 года, восемь восточноевропейских наций пошли очень разными путями, и сегодня принято считать, что между ними не так уж много общего. Это абсолютно верно: до 1945 года они никоим образом не были объединены друг с другом, и сегодня между ними больше различий, чем сходств, — за исключением общей

исторической памяти о коммунизме. И все же между 1945 и 1989 годом восемь стран Восточной Европы сближало довольно многое. Ради простоты и исторической точности на страницах этой книги именно они будут обозначаться термином «Восточная Европа»¹⁷.

В краткий период 1945–1953 годов многим действительно показалось, что Советский Союз преуспеет в преобразовании восьми непохожих друг на друга наций Восточной Европы в идеологически и политически гомогенный регион. Все они, и бывшие союзники, и бывшие противники Гитлера, в указанное время сформировали группу идентичных политических систем¹⁸. В начале 1950-х годов мрачные и покалеченные войной столицы этих, как говорил Черчилль, «древних государств» патрулировались похожими друг на друга неулыбчивыми полицейскими, застраивались по проектам одних и тех же архитекторов социалистического реализма и заклеивались одинаковыми пропагандистскими плакатами. Культ Сталина, само имя которого почиталось в СССР как «символ грядущей победы коммунизма»¹⁹, утвердился по всему региону наряду с очень похожими культами местных партийных лидеров. Миллионы людей принимали участие в организуемых коммунистической властью парадах и празднествах. В то время выражение «железный занавес» было не просто метафорой: стены, заборы, ряды колючей проволоки буквально отсекали Восточную Европу от Запада. К 1961 году, когда была возведена Берлинская стена, многим казалось, что эти преграды простоят вечно.

Темпы, которыми осуществлялись эти преобразования, не должны вызывать удивления. В самом Советском Союзе становление тоталитарного государства заняло два десятилетия, демонстрируя откаты и рывки вперед. У большевиков не было детального плана. В хаосе русской революции они двигались зигзагами, иногда становясь жестче, иногда либеральнее — по мере того как одна экономическая политика, не оправдав ожиданий, сменялась другой. За «военным коммунизмом» и «красным террором» времен Гражданской войны последовала более

либеральная «новая экономическая политика», допускавшая ограниченное существование частного бизнеса и торговли. НЭП был свернут в 1928 году; на смену ему пришел Первый пятилетний план, а также набор политических мер, обобщаемых в понятии «сталинизм» и включавших форсированную индустриализацию, насильственную коллективизацию, внедрение централизованного планирования, драконовские ограничения свободы слова, печати, искусства, а также расширение лагерной системы принудительного труда. Слова «сталинизм» и «тоталитаризм» с полным основанием можно использовать как взаимозаменяемые.

Но к концу 1930-х годов сталинизм тоже оказался в кризисе. Уровень жизни рос не так быстро, как обещала партия. Хаотичные инвестиции не давали желаемой отдачи. Массовый голод на Украине и юге России в начале 1930-х годов, хотя и принес режиму некоторую политическую пользу, вызывал в массах отнюдь не приливы любви к советской власти. В 1937 году советские спецслужбы развернули широкую кампанию арестов и казней, первоначально нацеленную на саботажников, шпионов и «вредителей», мешавших поступательному развитию советского общества, но потом затронувшую и высшие сферы коммунистического руководства. Большой террор нельзя считать ни первой, ни самой масштабной волной арестов: жесточайшие преследования ранее уже обрушивались на крестьян и этнические меньшинства, особенно жившие в советском приграничье. Но теперь было затронуто высшее руководство партии, и это породило глубочайшую обеспокоенность, причем как в самом Советском Союзе, так и в мировом коммунистическом движении. При естественном течении событий Большой террор мог привести к полному разочарованию в большевистской системе. Но сталинизм и лично Сталин были чудесным образом спасены Второй мировой войной. Несмотря на хаос, ошибки, массовую гибель и опустошение, победа укрепила легитимность системы и ее лидера, «доказав» их состоятельность. В ореоле победы и без того почти религиозный культ Сталина достиг новых высот. Советская пропаганда описывала большевистско-

го лидера как «воплощение нашего героизма, нашего патриотизма, нашей преданности социалистической родине»²⁰.

Одновременно мировая война предоставила Сталину беспрецедентные возможности для того, чтобы навязать свои представления о коммунистическом обществе соседним территориям. Первый такой шанс выдался в самом ее начале, в 1939 году, когда Советский Союз и Германия подписали пакт Риббентропа — Молотова. Они договорились разделить Польшу, Румынию, Финляндию и Прибалтийские страны на советскую и немецкую зоны влияния. 1 сентября того же года гитлеровские армии пересекли польскую границу с запада, а 17 сентября сталинские войска атаковали Польшу с востока. В течение нескольких месяцев Красная армия оккупировала всю Прибалтику, часть Румынии и восточную Финляндию. И хотя европейские территории, оккупированные нацистами, со временем были освобождены, Сталин так и не вернул земли, занятые Советским Союзом в первой фазе войны. Восточная Польша, Балтийские республики, Буковина и Бессарабия, ныне называемые Молдовой, были включены в состав СССР. Восточные польские территории и сегодня остаются частями Украины и Белоруссии.

Красная армия и НКВД незамедлительно приступили к насаждению советской системы на оккупированных землях. Для «советизации» местного населения, развернувшейся с 1939 года, использовались местные коллаборационисты, члены международного коммунистического движения, массовое насилие, депортации и отправка в ГУЛАГ. Этот опыт стал для Сталина полезным уроком и обеспечил ему ценных союзников: советское вторжение в Восточную Польшу и Прибалтику воспитало и закалило кадры НКВД, готовые к повторению подобных операций в будущем. Советские власти сразу же, еще до начала нацистского вторжения, начали готовить почву для аналогичной «переделки» всей Восточной Европы.

Впрочем, этот последний пункт может показаться довольно спорным. В современной историографии послевоенную историю региона принято делить на несколько стадий²¹. Согласно

этой периодизации, в 1944–1945 годах здесь наблюдалась подлинная демократия; потом, используя формулу английского историка Хью Сетона-Уотсона, наступило время «фальшивой» демократии; наконец, в 1947–1948 годах происходит резкий поворот — начинается политический террор, на средства массовой информации надевают намордник, выборы подтасовываются. Всякие притязания восточноевропейских стран на национальную независимость уходят в прошлое.

Некоторые историки и политологи связывают этот сдвиг с началом конфронтации между Востоком и Западом. Иногда в наступлении сталинизма на Восточную Европу обвиняют даже западных поборников холодной войны, агрессивная риторика которых, как предполагается, «заставила» советское руководство усилить в регионе свою хватку. В 1959 году этот «ревизионистский» аргумент в классической форме сформулировал Вильям Эпплман Вильямс, по мнению которого холодная война была вызвана не коммунистической экспансией, а стремлением Америки открыть международные рынки. Совсем недавно видный немецкий ученый также заявил, что разделение Германии было обусловлено не тоталитарной политикой Советского Союза, проводимой в восточной зоне оккупации после 1945 года, а неспособностью западных держав поддержать мирные инициативы Сталина²².

Однако пристальное изучение того, что происходило в регионе между 1944 и 1947 годом, ставшее возможным благодаря открытию советских и восточноевропейских архивов, обнаруживает глубокую несостоятельность подобной аргументации²³. Новые источники убедили историков, что ранний, так называемый либеральный период на деле не был таким либеральным, каким он представляется в ретроспективе. Действительно, далеко не каждый элемент советской политической системы насаждался в той или иной стране на следующий день после того, как Красная армия пересекала ее границы, да и сам Сталин не рассчитывал на быстрое оформление коммунистического «блока». В 1944 году известный советский дипломат Иван Майский подготовил записку, в которой предсказывал, что европейские страны

превратятся в коммунистические государства лишь через тридцать или сорок лет. (Он писал также, что в будущей Европе будет лишь одна сухопутная держава — Советский Союз, и одна морская держава — Великобритания.) По мысли Майского, дожидаясь этого, СССР не должен подталкивать «пролетарские революции» в Восточной Европе; вместо этого Москве стоит поддерживать хорошие отношения с западными демократиями²⁴.

Это долгосрочное видение вполне соответствовало марксистско-ленинской идеологии в сталинском ее понимании. Капиталисты, полагал Сталин, не смогут сотрудничать друг с другом вечно. Рано или поздно империалистическая алчность втянет их в конфликт, и Советский Союз сыграет на этом. «Противоречия между Англией и Америкой по-прежнему дают о себе знать, — говорил он своим сподвижникам вскоре после завершения войны. — Социальные конфликты в Америке становятся все более явными. Лейбористы в Англии обещали английским рабочим столько социализма, что теперь трудно сдать назад. Скоро у них начнутся проблемы не только с собственной буржуазией, но и с американскими империалистами»²⁵.

Если сам СССР не торопился, то и восточноевропейские коммунисты тоже никуда не спешили: почти никто из них не рассчитывал на незамедлительный приход к власти. В 1930-е годы многие компартии вместе с центристами и социалистами входили в состав «народных фронтов» или, как во Франции и Испании, наблюдали за успехами подобных объединений со стороны. Историк Тони Джадт даже называет Испанию «генеральной репетицией по захвату власти в Восточной Европе после 1945 года»²⁶. Первоначально такие левоцентристские коалиции создавались для того, чтобы противостоять Гитлеру, а после войны левые во многих странах задумывались об их воссоздании для борьбы с западным капитализмом. Сталин рассматривал вопрос в долгосрочной перспективе: пролетарская революция обязательно совершится, но прежде чем она произойдет, региону предстоит пережить буржуазную революцию. Согласно советским историческим схемам, такая последовательность не подлежала сомнению.

И все же, как показано в первой части этой книги, перенесение ключевых элементов советской системы в страны, оккупированные Красной армией, было начато СССР почти сразу. Первым делом советский НКВД, при содействии коммунистических партий, создавал по своему образу и подобию местную тайную полицию, зачастую привлекая для этого людей, прошедших специальную подготовку в Москве. Повсюду, куда приходила Красная армия, — даже в Чехословакии, откуда советские войска были выведены довольно быстро, — эти свежеиспеченные спецслужбы немедленно развертывали кампании выборочного насилия, тщательно отбирая политических врагов в соответствии с предварительно составленными списками и критериями. В некоторых случаях в качестве объектов преследований намечались целые этнические группы. Секретные службы также брали под свой контроль национальные министерства внутренних дел, а иногда и министерства обороны, и непосредственно участвовали в конфискации и перераспределении собственности.

Во-вторых, в каждом из оккупированных государств советские власти передавали под контроль доверенных местных коммунистов наиболее мощное средство массовой информации той эпохи — радио. Хотя в большинстве восточноевропейских стран в первые послевоенные годы можно было издавать некоммунистические газеты и журналы, а люди, не состоявшие в компартии, допускались к управлению государственными монополиями, общенациональное радио, аудитория которого включала все население, от неграмотных крестьян до искушенных интеллектуалов, оставалось под неослабным надзором коммунистов. В долгосрочном плане власти надеялись, что радио, наряду с иными пропагандистскими инструментами и реформированной образовательной системой, привлечет народные массы на их сторону.

В-третьих, повсюду, куда приходила Красная армия, советские и местные коммунисты третировали, преследовали и в конце концов запрещали независимые общественные организации, которые мы сейчас назвали бы гражданским обществом: женские организации, антифашистские группы, церковные

союзы и школы. В частности, с первых дней оккупации они уделяли особое внимание молодежным объединениям: молодым социал-демократам, молодым католикам или протестантам, скаутам. Подобные группы, как правило, оказывались под скрупулезным присмотром еще до того момента, как новая власть запрещала независимые политические партии, пресекала деятельность церковных организаций, распускала профсоюзы.

Наконец, в-четвертых, там, где это было возможно, советские власти, опять же при поддержке местных коммунистических партий, проводили массовые этнические чистки, выселяя тысячи немцев, поляков, украинцев, венгров и представителей прочих национальностей из тех городов и деревень, где они жили на протяжении веков. Грузовики и поезда увозили людей и их скудные пожитки в лагеря беженцев и новые жилища, расположенные за сотни километров от тех мест, где они родились. Дезориентированными и лишенными крова беженцами было легче манипулировать. До определенной степени ответственность за такую политику несли Соединенные Штаты и Великобритания, поскольку положение об этнических чистках немцев было включено в Потсдамский договор. Но мало кто на Западе тогда представлял, насколько масштабными и жестокими окажутся советские этнические чистки.

При этом некоторые элементы капитализма и даже либерализма на время оставались в неприкосновенности. Частное фермерство, частный бизнес, частная торговля сохранялись в 1945—1946 годах, а иногда и дольше. Продолжали выходить независимые газеты и журналы, а церкви оставались открытыми. Кое-где относительно свободно действовали некоммунистические партии, возглавляемые тщательно отобранными некоммунистическими политиками. Но подобные явления объяснялись не тем, что советские коммунисты и их восточноевропейские единомышленники были либерально мыслящими демократами. Просто новая власть считала все прочее гораздо менее важным, нежели создание тайной полиции, установление контроля над радио, организация этнических чисток и опека молодежных и других организаций. Целеустремленные молодые коммунисты

отнюдь не случайно шли работать на одно из перечисленных поприщ. Так, после вступления в 1945 году в партию польскому писателю-коммунисту Виктору Ворошильскому предложили на выбор три занятия: молодежное коммунистическое движение, спецслужбы или отдел пропаганды, имевший дело со СМИ²⁷.

Свободные выборы, проводившиеся в некоторых странах в 1945–1946 годах, также нельзя было считать свидетельством толерантности коммунистов. КПСС и коммунистические партии Восточной Европы допускали их проведение только потому, что были уверены: контроль над тайной полицией и радио, а также надежное влияние на молодежь обеспечат им победу. Коммунисты повсеместно верили в мощь своей пропаганды, и в первые послевоенные годы у них были все основания для этого. Массовое вступление в коммунистические организации — из-за отчаяния, дезориентации, прагматизма, цинизма или идейных соображений — наблюдалось тогда не только в Восточной Европе, но и во Франции, Италии и Великобритании. В Югославии возглавляемая Тито коммунистическая партия была по-настоящему популярна благодаря той роли, которую она сыграла в антифашистском Сопротивлении. В Чехословакии, которая из-за западной политики умиротворения Германии в 1938 году была оккупирована Гитлером, большие надежды связывались с Советским Союзом, к которому местное общество относилось с значительной симпатией. Даже в Польше и Германии, где планы СССР воспринимались с подозрением, психологическое воздействие войны сказалось на мировосприятии людей. Капитализм и либеральная демократия в 1930-е годы катастрофически провалились. Многие считали, что теперь стоит попробовать что-то иное.

Хотя сегодня трудно это понять, коммунисты также были убеждены в правоте своей доктрины. Однако если теперь коммунистическая идеология кажется тупиковой, это не означает, что в свое время она не обладала способностью воодушевлять массы. Большинство коммунистических лидеров Восточной Европы, как и многие их последователи, действительно думали, что рано или поздно большинство рабочего класса обретет клас-

совое сознание, поймет свое историческое предназначение и проголосует за власть коммунистов.

Как выяснилось, они ошибались. Несмотря на запугивания, пропаганду и даже реальную популярность коммунизма среди людей, обездоленных войной, компартии с большим отрывом проиграли послевоенные выборы в Германии, Австрии и Венгрии. В Польше они сначала прошупали почву, прибегнув к референдуму, а когда из этой затеи ничего не получилось, вовсе отказались от свободных выборов. В Чехословакии коммунистическая партия хорошо выступила на первых выборах 1946 года, завоевав треть голосов. Но когда стало ясно, что на следующих выборах, намеченных на 1948 год, обеспечить такой результат не удастся, партийное руководство спланировало и осуществило государственный переворот. Следовательно, ужесточение советской политики в Восточной Европе в 1947–1948 годах было обусловлено не только началом холодной войны. Оно стало также реакцией на политическое поражение: СССР и его союзники на местах не смогли взять власть мирным путем. Им не удалось установить не только полный, но даже минимально достаточный контроль. Несмотря на подчинение себе радио и тайной полиции, они не сумели добиться популярности в обществе. Численность их последователей стремительно сокращалась, причем даже в таких странах, как Чехословакия и Болгария, где первоначальная поддержка коммунистических идей была по-настоящему велика²⁸.

В результате местные коммунисты, воспользовавшись рекомендациями Москвы, обратились к более жесткой тактике, которая прежде — и вполне успешно — уже использовалась в СССР. Во второй части этой книги описываются применявшиеся ими технологии: новые волны арестов, расширение лагерной системы, ужесточение контроля над СМИ, интеллектуалами и культурной сферой. Одни и те же приемы применялись повсеместно. Сначала уничтожались «правые» или антикоммунистические партии, потом разрушалось некоммунистическое крыло левых, а затем ликвидировалась оппозиция внутри самой коммунистической партии. В некоторых странах коммунисты по при-

меру Советского Союза организовывали показательные процессы. Коммунистические партии стремились также упразднить оставшиеся независимыми общественные организации (вместо этого рекрутируя последователей в массовые объединения, подконтрольные государству), установить более жесткий контроль над образовательной системой, подчинить католические и протестантские церкви. Они создавали новые, всеобщие формы образовательной пропаганды, спонсировали публичные выставки и лекции, вешали баннеры и плакаты, организовывали восхваляющие режим песнопения и спортивные мероприятия.

Но они снова просчитались. Вслед за кончиной Сталина по региону прокатилась череда больших и малых восстаний. В 1953 году на улицы вышли жители Восточного Берлина; беспорядки подавлялись советскими танками. В 1956 году народное возмущение захлестнуло Польшу и Венгрию. Под влиянием этих событий коммунисты Восточной Европы в очередной раз сменили тактику. Они продолжали приспосабливаться к ситуации — и терпели при этом неудачи — вплоть до 1989 года, когда им пришлось вовсе отказаться от власти.

В 1945—1953 годах Советский Союз коренным образом переустроил весь регион, от Балтики до Адриатики, от самого сердца европейского континента до его южной и восточной периферий. В этой книге, однако, я сосредоточусь исключительно на Центральной Европе. Касаясь по ходу повествования Чехословакии, Румынии, Болгарии и Югославии, основное внимание я все же уделю Венгрии, Польше и Восточной Германии. Причем эти три страны были избраны мной не потому, что они похожи, а, напротив, из-за того, что они отличаются друг от друга.

Прежде всего различным был их военный опыт. Германия, разумеется, выступив агрессором, понесла наиболее ощутимые потери. Польша мужественно сопротивлялась немецкой оккупации и была в рядах союзников, хотя ей не удалось разделить с ними плоды победы. А Венгрия оказалась где-то посередине, экспериментируя с авторитаризмом и сотрудничая с Германией. Когда она попыталась сменить знамена, было уже слишком

поздно. Исторический путь, пройденный этими тремя странами, также был самобытным. Германия на протяжении десятилетий оставалась экономическим и политическим гегемоном в Центральной Европе. Польша, хотя и была континентальной империей в XVII веке, в следующем столетии подверглась расчленению тремя другими империями и в 1795 году полностью утратила суверенитет, вновь обретя его лишь в 1918 году. Наконец, вершина могущества и влияния Венгрии пришлась на начало XII века. В новейшее время, после Первой мировой войны, эта страна потеряла две трети своей территории, и этот опыт оказался настолько болезненным, что он сказывается на венгерской политике и сегодня.

Накануне войны ни одно из этих трех государств не было демократическим в строгом смысле слова. Но у каждого из них был опыт политического либерализма, конституционного правления и свободных выборов. Повсюду имелись фондовые рынки, иностранные инвестиции, общества с ограниченной ответственностью и законы, гарантировавшие право собственности. Повсеместно действовали гражданские институты — церкви, молодежные организации, профессиональные союзы, порой насчитывавшие сотни лет, а также давние традиции печатной прессы. В Польше первая газета появилась в 1661 году. Перед приходом Гитлера к власти рынок немецких СМИ был чрезвычайно конкурентным. Все три страны имели разветвленные экономические и культурные связи с Западной Европой, которые в 1930-е годы были гораздо прочнее их связей с Россией. В истории и культуре этих государств не было каких-то особенностей, обрекавших их на то, чтобы стать тоталитарными диктатурами. Более того, Западная Германия, идентичная с Восточной Германией в культурном смысле, стала либеральной демократией — как и Австрия, которая наряду с Чехословакией и Венгрией долгое время была частью империи Габсбургов.

История порой предстает чем-то неизбежным, и в десятилетия, следовавшие за насаждением коммунизма, некоторые пытались объявить такой путь Восточной Европы фатально

предопределенным. Говорили, в частности, что восточная часть континента была беднее западной (несмотря на то что Германии это не касалось); что народы восточной половины были менее развиты (несмотря на то что Венгрия и Польша выглядели более передовыми в сравнении с Грецией, Испанией и Португалией); что Восточная Европа была менее индустриализированной (несмотря на то что чешские земли являлись одним из ключевых очагов европейской индустриализации). Но в перспективе 1945 года никто не мог предположить, что Венгрия с ее давними связями с германоязычной частью Европы, Польша с ее яркой антибольшевистской традицией или Восточная Германия с ее нацистским прошлым задержатся под политическим ярмом Советского Союза на полвека.

Когда эти страны попали под контроль СССР, почти никто за пределами региона не понимал, как это произошло и почему. Даже сегодня Восточную Европу нередко рассматривают сквозь призму холодной войны. Выходящие на Западе книги о послевоенной Восточной Европе, за редкими исключениями, фокусируются на противостоянии Востока и Запада, на разделении Германии («германском вопросе») или на создании НАТО и Варшавского договора²⁹. Сама Ханна Арендт пренебрегала послевоенной историей Восточной Европы как малоинтересной: «Дело выглядело так, будто бы русские правители в неимоверной спешке воспроизвели здесь все стадии Октябрьской революции вплоть до установления тоталитарной диктатуры; следовательно, мы имеем дело с историей хотя и невыразимо ужасной, но не слишком интересной и вполне типовой»³⁰.

Но Арендт ошиблась: в Восточной Европе «русским правителям» не удалось пройти все стадии Октябрьской революции. Они применяли лишь те технологии и методики, которые, по их мнению, имели шансы на успех, и разрушали только те институты, без уничтожения которых было просто не обойтись. Именно по этой причине послевоенная история Восточной Европы столь интересна: она способна рассказать о тоталитарном созна-

нии, советских приоритетах и советском мышлении гораздо больше, чем любое исследование истории СССР. Что еще важнее, изучение региона весьма поучительно в плане того, как люди реагируют на насаждение тоталитаризма; ни одна страна, взятая в отдельности, не способна дать столь же богатый материал по этой теме.

В последние годы с этими истинами согласились многие ученые. За два десятилетия, прошедшие после крушения коммунизма и открытия центральноевропейских, немецких и российских архивов, региону посвятили необозримый массив академических трудов. Особенно тщательно, по крайней мере в англоязычном мире, были описаны материальные и духовные последствия Второй мировой войны — прежде всего в работах Яна Гросса, Тимоти Снайдера и Брэдли Эбрамса, а также история проходивших в регионе этнических чисток³¹. Еще более всесторонне изучалось участие Восточной Европы в международной политике. Целые институты посвятили себя исследованию причин и истоков холодной войны и советско-американского противостояния³². Затрагивая эти темы, я вполне могла довольствоваться вторичными источниками.

Сказанное верно и в отношении политической истории Восточной Европы, в новую интерпретацию которой огромный вклад внесли ставшие доступными архивные документы на местных языках. Я старалась не повторять работу, которую уже проделали другие историки: Анджей Пачковский и Кристина Керстен, чьи публикации о вождях польских коммунистов и их спецслужбах остаются непревзойденными; Норман Наймарк, книга которого о советской оккупации Восточной Германии остается лучшей из англоязычных работ, посвященных этой теме; Петер Кенеш и Ласло Борхи, подготовившие превосходное исследование о политических махинациях в Венгрии; Брэдли Эбрамс, Мэри Хейманн и Карел Каплан, описавшие послевоенную историю Чехословакии³³. В фокусе интересных статей и книг оказались и другие сюжеты, имеющие отношение к моей теме. В ряду лучших, снова на английском языке, я бы упомянула публикации Джона Коннелли о сталинизации уни-

верситетов Восточной Европы; Кэтрин Эпштейн и Марчи Шор о взаимоотношениях коммунистов с левыми интеллектуалами; Марии Шмидт о показательных процессах; Мартина Мевуса о национальном символизме в Венгрии; Марка Крамера о десталинизации и событиях 1956 года³⁴.

Обзорные и обобщающие исторические очерки, посвященные региону, встречаются гораздо реже, и не только из-за организационных сложностей. Нелегко найти историка, который владел бы тремя или четырьмя региональными языками, не говоря уже о девяти или десяти. Зачастую эта трудность преодолевается через создание антологий, и в последние годы появились по меньшей мере два прекрасных собрания этого типа: «*Stalinism Revisited: The Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe and the Dynamic of the Soviet Bloc*» (New York & Budapest, 2009) под редакцией Владимира Тисману и «*The Establishment of Communist Regimes in Eastern Europe, 1944–1949*» (Boulder, Colo., 1997) под редакцией Нормана Наймарка и Леонида Гибианского. Но хотя оба тома содержат высококлассную подборку эссе, антологии обычно не следуют общим моделям и не делают сравнений. Поскольку я собиралась заниматься именно этим, в период работы над книгой мне пришлось полагаться на помощь двух талантливых пишущих исследователей и переводчиков — Регины Возницы из Берлина и Атиллы Монга из Будапешта. В отношении польского и русского языков мне хватило собственных навыков.

Хотя об интересующем меня периоде написано очень много, здесь еще есть нерассказанные истории. Работая над книгой, я посещала архивы бывших спецслужб, включая Институт национальной памяти в Варшаве, Исторические архивы венгерского Департамента государственной безопасности в Будапеште, Федеральную комиссию по управлению архивами службы безопасности ГДР в Берлине, а также архивы правительственных ведомств, немецких академий искусств, венгерского института кинематографии, польского радио и радио ГДР. Я также использовала несколько новых, или относительно новых, собраний советских документов, касающихся той эпохи. Среди них были

двухтомники *«Восточная Европа в документах российских архивов, 1944–1953»* и *«Советский фактор в Восточной Европе, 1944–1953»*, а также трехтомник, посвященный советской оккупационной политике в Восточной Германии. Эти публикации, как и семитомная документальная серия, выпущенная Государственным архивом Российской Федерации, вышли в свет в Москве под российской редактурой³⁵. Совместная комиссия польских и украинских историков сегодня занята сбором документов, посвященных истории взаимоотношений двух стран. Кроме того, Польский военный архив в Варшаве имеет в своих фондах большое собрание документов, скопированных в российских архивах в начале 1990-х годов. Издательство Центрально-Европейского университета в Будапеште недавно опубликовало две великолепные подборки документов, посвященных восстаниям в ГДР в 1953 году и в Венгрии в 1956 году. Наконец, множество ценных свидетельств было опубликовано на польском, венгерском и немецком языках.

Помимо посещения архивов, я провела в Польше, Венгрии и Германии серию интервью с очевидцами описываемых в книге событий. Это позволило почувствовать, как воспринимали утверждение тоталитаризма современники, что они при этом переживали и о чем думали. Я отдаю себе отчет в том, что это, вероятно, была последняя возможность поговорить с некоторыми из них, поскольку, пока работа над книгой продолжалась, несколько моих собеседников скончались. Я остаюсь глубоко признательной им лично и их семьям за то, что мне было позволено побеседовать с ними о минувшем.

В ходе этого исследования решались разные задачи. В исторических документах я выискивала свидетельства целенаправленного уничтожения гражданского общества и малого бизнеса. Я изучала социалистический реализм и коммунистическую систему образования. Я стремилась проследить создание коммунистических спецслужб с самых ранних этапов. Читая литературу и разговаривая с людьми, я пыталась понять, как оценивали новые режимы самые простые граждане; как они сотрудничали с новой властью, добровольно или принудительно; что

заставляло их присоединяться к партии и прочим государственным институциям; каким образом они сопротивлялись, активно или пассивно; как они справлялись с ситуациями ужасного выбора, с которыми нам, людям современного Запада, никогда не доведется столкнуться. И, самое главное, мне хотелось постичь реальность тоталитаризма — не теоретического, а практического, а также представить себе то, как он калечил жизни миллионов европейцев XX столетия.

Часть первая

Ложный рассвет

Глава 1

Час испытаний

Безумная оргия руин, где перемешаны обрывки проводов, изуродованные тела и трупы лошадей, обвалившиеся обломки взорванных мостов и разбитые орудия, разбросанные боеприпасы, ночные горшки и ржавые тазы, всякий хлам и лошадиные внутренности, которые плавают в лужах грязи и крови, разбитые машины и искореженные танки — таков отпечаток ужасающих страданий, пережитых этим городом.

*Тамаш Лошонци, Будапешт, 1945*¹

Как найти слова, чтобы достоверно и точно рассказать о великой столице, разрушенной почти до неузнаваемости, о некогда могущественной нации, прекратившей существование, о побежденных людях, столь слепо веривших в то, что они есть раса господ... и ныне копающихся в руинах, сломленных, потрясенных, дрожащих от холода, голодных, утративших волю, ориентиры и сам смысл жизни?

*Уильям Ширер, Берлин, 1945*²

Мне казалось, что я шагаю по трупам и что в любой момент под ногами может оказаться лужа крови.

*Янина Годычка-Цвирко, Варшава, 1945*³

Взрывы авиабомб гремели всю ночь, а орудийные залпы раздавались весь день. Повсюду в Восточной Европе свист падающих бомб, треск пулеметов, скрежет танков, пылающие здания свидетельствовали о приближении Красной армии. По мере того как линия фронта приближалась, ходуном ходила земля, содрогались стены, плакали дети. А потом все вдруг прекратилось.

С концом любой войны воцаряется внезапная тишина. «Ночь была неестественно тихой», — записала неизвестная жительница Берлина в самом конце войны. Выглянув за порог 27 апреля 1945 года, она не увидела никого из горожан: «Ни одного граж-

данского. На улицах обосновались одни русские. Но из каждого подвала доносится шепот, оттуда веет страхом. Можно ли было представить такой невероятно страшный мир прямо посреди огромного города?»⁴.

Утром 12 февраля 1945 года, когда осада завершилась, венгерский служащий внимал такому же молчанию на улицах Будапешта. «Я отправился в район королевского дворца — там ни единой души. Затем вышел на улицу Вербожи — и там никого, только мертвые тела и руины, разбитые повозки и телеги. Пошел на площадь Шентаромсаг с намерением заглянуть в городской совет, может быть, там кого-то встречу. Пусто. Все перевернуто вверх дном — и никого»⁵.

Даже Варшава, город, который к концу войны и без того был разрушен до основания — нацистские оккупанты сравнивали его с землей после подавления осеннего восстания 1944 года, — погрузилась в полное молчание. 16 января 1945 года немцы наконец ушли. Владислав Шпильман, один из горстки людей, прятавшихся в руинах, почувствовал перемену. «Внезапно воцарилась тишина, — пишет он в своих мемуарах «Пианист», — причем такая тишина, которая и для Варшавы, города, мертвого вот уже три месяца, была в диковинку. Даже шаги часовых не доносились с улиц. Я не мог понять, в чем дело». На следующий день молчание было нарушено «оглушительными и резонирующими звуками, совершенно неожиданными»: после вступления в город Красной армии повсюду были развешены репродукторы, по-польски вещающие о том, что Варшава освобождена⁶.

Это был момент из тех, что иногда называют нулевым часом, *Stunde Null* по-немецки: завершение войны, отступление Германии, приход СССР — миг, когда борьба заканчивается и жизнь начинается снова. Многие историки коммунистического поглощения Восточной Европы ведут свои повествования именно с него, и такой подход вполне обоснован⁷. Для тех, кто пережил эту смену власти, нулевой час действительно казался поворотным пунктом: одно состояние явно завершилось, сменяясь чем-то абсолютно новым. Теперь, говорили себе многие, все будет по-другому. Так оно и получилось.

Хотя историю коммунистического захвата Восточной Европы вполне логично начинать с конца войны, этот взгляд в некоторых отношениях серьезно искажает истину. В 1944—1945 годах регион отнюдь не был свежей грифельной доской, а проживавшие в нем люди также не начинали свои жизни с чистого листа. Они вовсе не были пришельцами ниоткуда, готовыми жить с нуля. Напротив, они выкарабкивались из подвалов своих разрушенных домов, выходили из лесных партизанских блиндажей, выбирались, если хватало здоровья и сил, из концентрационных лагерей, отправляясь в долгое и трудное путешествие к родным местам. Причем далеко не все из них прекратили сражаться после того, как Германия объявила о своей капитуляции.

Выбравшись из-под развалин, они обнаруживали не свой невредимый город, а разруху. «Война завершилась так же, как заканчивается длинный туннель, — пишет чешский мемуарист Хеда Ковали. — Задолго до его конца вы начинаете видеть свет, луч расширяется, а его сияние кажется съезжившимся во мраке людям тем ярче, чем дольше продолжается путь. Но потом поезд внезапно вырывается к благословенному солнцу — и перед вами предстает пустырь, загаженный сорняками, булыжниками, кучами мусора»⁸.

Фотографии, сделанные в Восточной Европе в то время, рисуют сцены апокалипсиса. Стертые с лица земли города, сожженные деревни. Километры колючей проволоки, развалины концентрационных и трудовых лагерей, лагерей для военнопленных. Зброшенные поля, исполосованные гусеницами танков, голые и безжизненные. В местах недавних разрушений в воздухе стоял трупный запах. «В описаниях, которые я встречала, этот дух всегда называли сладковатым, но такое определение слишком расплывчато и неточно, — писала выжившая немка. — Это не просто неприятный запах; это нечто более жесткое, плотное, бьющее прямо в лицо и ноздри, слишком затхлое и густое, чтобы этим можно было дышать. Оно отбрасывает вас словно кулаком»⁹.

Повсюду были временные захоронения, а люди ходили по улицам робко, будто пересекая кладбище¹⁰. Постепенно нача-

лись эксгумации; тела перемещали из дворов и городских парков в братские могилы, а похороны стали частым делом. Правда, в Варшаве летом 1945 года как минимум одна похоронная процессия была остановлена довольно необычным образом. Траурный кортеж медленно продвигался по улице, когда скорбящие люди вдруг увидели нечто невообразимое — настоящий красный варшавский трамвай. Это был первый вагон, вышедший на маршрут после окончания войны. «Одни пешеходы останавливались на тротуаре в полном изумлении, другие принимались бежать за вагоном, громко крича и хлопая в ладоши. Похоронная процессия, захваченная этим зрелищем, тоже остановилась — живые, сопровождавшие мертвых, приветствовали возрожденный трамвай аплодисментами»¹¹.

Подобное эмоциональное возбуждение было типичным. Временами казалось, что тех, кто выжил, охватывает неестественная эйфория. Это было облегчение от осознания того, что ты жив; скорбь в этом чувстве была смешана с радостью. На этом подъеме чувств немедленно и спонтанно началось восстановление основ прежней жизни. Летом 1945 года, пишет Стефан Киселевский, Варшава просто бурлила: «На разрушенных улицах наблюдается такое кипение, которого не бывало никогда прежде. Торговля процветает, работа в избытке, шутки и смех звучат повсеместно. Половодье жизни захлестывает улицы; никто и не подумал бы, что все эти люди — жертвы чудовищной катастрофы, едва избежавшие гибели и живущие в нечеловеческих условиях»¹². А вот как Шандор Марай в одном из своих романов описывает Будапешт того же периода: «То, что осталось от города и населявших его людей, ринулось в жизнь с таким чувством, неистовством и задором, с такой силой, волей и ловкостью, что казалось, будто бы ничего и не случилось. ...На тротуарах вдруг появились ларьки, где продавались всевозможные деликатесы и предметы роскоши: одежда, обувь, огромное разнообразие прочих товаров, включая золотые монеты, морфий и свиное сало. Оставшиеся в живых евреи выползали из своих меченных желтыми звездами домов, и уже через пару недель можно было видеть, как они раскладывают свой товар прямо

посреди человеческих и лошадиных трупов. ...Люди торговались о цене на английские шерстяные вещи, французские духи, голландскую выпивку и швейцарские часы в окружении битого кирпича и мусорных куч»¹³.

Этот порыв к труду и обновлению мог длиться годами. Британский социолог Артур Марвик как-то заметил, что пережитая Германией катастрофа стала для западных немцев мощнейшим стимулом к возрождению и новому обретению чувства национальной гордости. Сам масштаб национальной трагедии, по его словам, подогревал послевоенный бум: люди, испытавшие крушение экономики и личных судеб, с энтузиазмом посвящали себя делу реконструкции¹⁴. Но Германия, как Восточная, так и Западная, была не одинока в этом желании вернуться к «норме». Поляки и венгры и в мемуарах, и в беседах о первых послевоенных годах снова и снова рассказывают о том, сколь отчаянно они нуждались в образовании, работе, жизни без насилия и страха. Коммунистические партии сполна воспользовались этими настроениями.

Как бы то ни было, материальный ущерб возмещался проще, чем демографический урон, нанесенный Восточной Европе, которая по разгулу пережитого насилия значительно опережала западную часть континента. В годы войны восточноевропейские страны получили «ударную дозу» сталинского и гитлеровского идеологического безумия. К 1945 году большая часть территории, раскинувшейся между Познанью на западе и Смоленском на востоке, была оккупирована не один, а два или даже три раза. После подписания пакта Риббентропа — Молотова Гитлер атаковал регион с запада, захватив западную часть Польши. Сталин вторгся сюда с востока, заняв восточную часть Польши, Балтийские республики и Бессарабию. В 1941 году Гитлер оккупировал недавние сталинские приобретения, а в 1943 году, когда волна покатилась в обратную сторону, на эти земли опять вернулась Красная армия.

Иными словами, к 1945 году по дорогам восточноевропейских стран неоднократно маршировали армии не одного, а двух тоталитарных государств, причем каждый раз их приход влек за

собой глубочайшие этнические и политические сдвиги. Хорошим примером здесь может послужить город Львов, который дважды подвергся оккупации Красной армией и один раз войсками вермахта. К завершению войны он сменил не только название, но и государственную принадлежность, а его довоенное польское и еврейское население было уничтожено или депортировано и заменено украинцами из близлежащих сел.

Восточная Европа, наряду с Украиной и Прибалтийскими государствами, стала также регионом наиболее интенсивного и политически мотивированного истребления людей. «Гитлер и Сталин пришли к власти в Москве и Берлине, — пишет Тимоти Снайдер в историческом исследовании, посвященном массовым убийствам военного времени, — но их проекты в первую очередь касались земель, лежавших между этими столицами»¹⁵. Оба тирана были единодушны в своем презрении к самому понятию государственного суверенитета восточноевропейских стран, а также в стремлении уничтожить их элиты. По мнению немцев, славяне были неполноценными, недалеко ушедшими от евреев, и потому на пространствах от Заксенхаузена до Бабьего Яра они не заслуживали ничего иного, кроме незаконных убийств прямо на улицах, массовых казней или сожжения целых деревень за одного убитого нациста. СССР между тем видел в своих западных соседях оплоты капитализма и антисоветизма, само существование которых уже было вызовом. В 1939 году, а потом повторно в 1944–1945 годах Красная армия и НКВД арестовывали на покоренных землях не только нацистов и их пособников, но и всех тех, кто теоретически мог противодействовать советской администрации: социал-демократов, антифашистов, бизнесменов, банкиров и торговцев — зачастую тех же людей, которых прежде преследовали нацисты. И хотя в Западной Европе также были и жертвы среди гражданского населения, и случаи воровства, оскорблений и насилия со стороны британских и американских солдат, англосаксонские войска по большей части старались истреблять нацистов, а не потенциальных лидеров освобожденных наций. К героям Сопротивления они тоже в основном относились с уважением, а не с подозрением.

Восток континента стал также регионом, где нацисты с наибольшим рвением истребляли евреев; именно здесь были сосредоточены основные гетто, концентрационные лагеря и места массовых расправ. Снайдер отмечает, что в 1933 году, к моменту прихода Гитлера к власти, евреи составляли менее одного процента немецкого населения, причем многим из них удалось бежать из страны. Воплощение в жизнь гитлеровского плана «Европы без евреев» стало реальным только после того, как части вермахта оккупировали Польшу, Чехословакию, Белоруссию, Украину и Балтийские государства, а позже Венгрию и Балканы, где, собственно, проживала основная часть еврейского населения Европы. Из 5,4 миллиона евреев, сгинувших в огне холокоста, большинство составляли жители Восточной Европы. Остальных привозили сюда, чтобы убить. Презрение, испытываемое нацистами к всем восточноевропейским странам, стало одной из причин их решения уничтожать евреев исключительно на востоке континента. На землях, которые населяли «недочеловеки», позволительно было творить бесчеловечные поступки¹⁶.

Но самое главное заключалось в том, что именно здесь, в Восточной Европе, произошло столкновение немецкого нацизма и советского коммунизма. Гитлер всегда хотел объявить Советскому Союзу войну на уничтожение, а после нападения на СССР Сталин платил ему той же монетой. По сравнению с боями, которые шли на западе, сражения между Красной армией и вермахтом на востоке были намного более неистовыми и жестокими. Немецкие солдаты действительно испытывали страх перед «большевистскими ордами», о которых им рассказывали ужасающие истории, и до самого конца войны сражались с ними с особым остервенением. В странах Восточной Европы они презирали гражданское население, а местную культуру игнорировали. Ослушавшись приказа Гитлера, немецкий генерал, испытывавший сентиментальное уважение к Парижу, оставил город в неприкосновенности, но зато другие немецкие генералы сожгли Варшаву и уничтожили Будапешт без особых раздумий. Западная авиация также не слишком беспокоилась о

старинной архитектуре региона: бомбардировщики союзников внесли свой вклад в дело смерти и разрушения, подвергнув смертоносным воздушным ударам не только Берлин и Дрезден, но — среди прочих мест — Данциг и Кёнигсберг.

По мере того как восточный фронт приближался к самой Германии, бои становились все ожесточеннее. Красная армия шла на Берлин с упорством, граничащим с одержимостью. Еще в ранние дни войны советские солдаты, прощаясь, говорили друг другу: «Увидимся в Берлине!». Сталину отчаянно хотелось войти в город прежде, чем там окажутся союзники. Это понимали и его командиры, и американские «братья по оружию». Генерал Эйзенхауэр, прекрасно осознавая, что в Берлине немцы будут биться до последнего патрона, желал сберечь жизни американских солдат и решил позволить Сталину взять город. Черчилль возражал против такой политики: «Если русские возьмут Берлин, у них сложится представление, что именно их стараниями обеспечена наша общая победа, а такой их настрой чреват для нас серьезными трудностями в будущем»¹⁷. Но американская осторожность генерала взяла верх: войска союзников наступали на восток не спеша. Генерал Джордж Маршалл заявил, что «не склонен рисковать американскими жизнями ради политических целей», а британский фельдмаршал сэр Алан Брук настаивал на том, что «рубежи наступления должны в основном совпасть с линией будущей границы»¹⁸. Между тем Красная армия шла напрямик к немецкой столице, оставляя за собой шлейф разрушений.

Если сложить все цифры, результат будет ошеломляющим. В Великобритании война унесла жизни 360 тысяч человек, а во Франции 590 тысяч. Это ужасающие потери, но они все же не превышают 1,5 процента от численности населения этих стран. По контрасту, согласно подсчетам Польского института национальной памяти, Польша за годы войны потеряла 5,5 миллиона человек, 3 миллиона из которых составили евреи. В целом это 20 процентов польского населения, или каждый пятый. Даже в тех странах, где борьба не была столь кровавой, пропорция смертей выше, чем на Западе. Югославия потеряла 1,5 миллиона чело-

век, или 10 процентов населения. В Венгрии потери составили 6,2 процента, в Чехословакии — 3,7 процента¹⁹. В самой Германии погибли от 6 до 9 миллионов человек, в зависимости от того, кого, учитывая подвижность границ, считать немцем, или около 10 процентов²⁰. В Восточной Европе 1945 года трудно было найти семью, где не было бы погибших.

Когда послевоенная жизнь понемногу начала налаживаться, стало ясно, что многие люди, оставшиеся в живых, очутились в чужих местах. В 1945 году демографическая картина и этнический состав стран региона заметно отличались от того, какими они были в 1938 году. Фундаментальные сдвиги, вызванные нацистской оккупацией Восточной Европы и сопровождавшими ее переселениями и депортациями, до сих пор недостаточно полно осознаются западноевропейцами. Германские «колонисты» заселяли Польшу и Чехословакию; переселенческая политика немцев была направлена на изменение этнического состава населения конкретных регионов, где местных жителей зачастую изгоняли или уничтожали. Уже в декабре 1939 года поляков и евреев выставляли за порог их домов в лучших кварталах Лодзи, чтобы освободить квартиры для немецких чиновников. В последующие годы 200 тысяч поляков, проживавших в этом городе, были отправлены на принудительные работы в Германию; евреев же согнали в городское гетто, в котором большинство из них погибли²¹. На их места оккупационный режим привлек немцев, включая этнических немцев из Балтийских стран и Румынии, некоторые из которых полагали, что им передается брошенная или ничейная собственность²².

В послевоенный период происходили обратные процессы. 1945, 1946 и 1947 год стали годами беженцев. Немцы перебирались на запад, поляки и чехи возвращались с немецких фабрик и из концлагерей, депортированные ехали из Советского Союза, солдаты различных армий шли к своим семьям, беженцы возвращались из британского, французского или марокканского прибежищ. Некоторые из беженцев, вернувшись в родные края и

обнаружив, что их дома больше нет, отправлялись на новые места. Согласно подсчетам Яна Гросса, в 1939–1943 годах 30 миллионов европейцев были изгнаны, переселены или депортированы. В 1943–1948 такая судьба постигла еще 20 миллионов²³. Кристина Керстен отмечает, что в 1939–1950 годах каждый четвертый поляк сменил место жительства²⁴.

В подавляющем большинстве эти люди возвращались домой с пустыми руками. Они сразу же были вынуждены обращаться за любой помощью: к церкви, благотворительным организациям, государству. Целые семьи, обеспечивавшие себя до войны, теперь простаивали в очередях в правительственных учреждениях, надеясь получить дом или квартиру. Мужчины, некогда зарабатывавшие, теперь надеялись на продуктовые карточки или на должность в государственном аппарате. Ментальность беженца, насильственно изгнанного из дома, не похожа на ментальность эмигранта, оставляющего родину в поисках лучшей доли: сами обстоятельства его новой жизни закрепляют зависимость и беспомощность, незнакомые ему прежде.

Еще более усугубляло общую картину то, что физические разрушения вызвали чудовищный экономический упадок. Конечно, не каждая страна Восточной Европы до войны славилась богатством, но отставание региона от западной части европейского континента в 1939 году отнюдь не было таким грандиозным, каким оно стало в 1945-м. И хотя на некоторых группах населения военный спрос на пушки и танки сказался позитивно, в частности специалисты по экономической истории указывают на расширение промышленного рабочего класса, особенно в Богемии и Моравии, — вторая половина войны стала катастрофой буквально для каждого²⁵. В 1945–1946 годах венгерский ВВП составлял всего лишь половину от уровня 1939 года. Согласно одной из имеющихся оценок, в последние месяцы войны страна лишилась 40 процентов своей экономической инфраструктуры²⁶. В Будапеште от боевых действий пострадали 75 процентов всех зданий, из которых 4 процента были разрушены полностью, а 22 процента стали непригодными для оби-

тания. Население города сократилось на треть²⁷. Уходя из Венгрии, немцы вывезли с собой почти весь подвижной состав венгерских железных дорог, а советская армия позже под видом репараций забрала то, что осталось²⁸.

Ущерб, нанесенный Польше, также измеряется цифрой в 40 процентов, хотя в некоторых областях разруха была еще большей. Особенно пострадала транспортная система страны: разрушению подверглись половина мостов, порты, две пятых всего железнодорожного полотна. Большой урон понесли крупнейшие польские города: они лишились жилого фонда, старинных памятников архитектуры, университетов и школ. В историческом центре Варшавы около 90 процентов зданий было частично или полностью разрушено целенаправленно взрывавшими их отступающими германскими войсками²⁹.

Города Германии также сильно пострадали, как из-за авиационных бомбардировок союзников, вызывавших колоссальные пожары, так и по причине гитлеровского приказа, требовавшего от солдат стоять насмерть. Даже в Чехословакии, Болгарии и Румынии, где разрушения не были столь значительными, а авиационные налеты не применялись, ущерб оказался очень серьезным. В Румынии, например, было разрушено все нефтяное оборудование, до 1938 года обеспечивавшее треть ее национального дохода³⁰.

Война повлияла на экономику региона и в других аспектах, не отражаемых статистически. В двух известных эссе о последствиях войны Ян Гросс и Брэдли Эбрамс указывают, что в большей части региона, в частности в Венгрии, Чехословакии, Польше и Румынии, а также в самой Германии, масштабная экспроприация частной собственности началась *еще в военные годы*, при нацистских и фашистских властях, а вовсе не при коммунистах. За массовой конфискацией еврейских предприятий и собственности, осуществляемой государством или немецкими оккупантами, следовала масштабная германизация. Иногда она проходила скрытно: в чешских землях, например, местные банки находились под контролем немецких банков, которые «сами решали, являются ли те или иные

чешские банки или фирмы платежеспособными, а в случае неплатежеспособности оздоровительные мероприятия поручали немецкому бизнесу, укреплявшему тем самым свои позиции»³¹. Иногда диктат навязывался напрямую. Так, в Польше во главе предприятий, которые технически по-прежнему принадлежали полякам, просто ставились немецкие директора.

Кроме того, оккупация переориентировала региональные экономики. В 1939–1945 годах экспорт их продукции в Германию удвоился или утроился; то же самое произошло и с немецкими инвестициями в здешнюю промышленность. С начала 1930-х годов среди немецких экономистов велись дебаты об экономической колонизации Восточной Европы, а в годы оккупации немецкий бизнес начал создавать здесь экономические колонии, зачастую путем присвоения еврейских и даже нееврейских предприятий³². Регион превратился в обособленный, закрытый рынок, каким он никогда прежде не был³³. Из-за этого вслед за крушением рейха обрушились и международные торговые связи Восточной Европы. Это обстоятельство впоследствии помогло Советскому Союзу занять место Германии.

В силу указанных причин крах Германии спровоцировал и кризис в отношениях собственности. К концу войны немецкие директора, управленцы и инвесторы бежали или были убиты. Многие предприятия, оставшись без владельцев, оказались брошенными. Иногда их брали под контроль рабочие советы, а иногда принимали местные власти. Большая часть этой покинутой собственности постепенно национализировалась — если, конечно, ее еще раньше не описывали, не упаковывали и не отправляли в Советский Союз, который относил любую немецкую собственность к законным военным трофеям. Интересно, что на местах подобный вывоз почти не встречал сопротивления³⁴. К 1945 году представление о том, что новые власти могут просто конфисковать частную собственность, не предлагая владельцам никакой компенсации, превратилось в Восточной Европе в устоявшийся принцип. И когда там началась широкомасштабная национализация, никто даже не удивился.

Из всех разновидностей ущерба, который принесла с собой Вторая мировая война, всего труднее определить масштабы психологической и эмоциональной травмы. Жестокость предыдущей, Первой мировой, войны породила поколение фашистских лидеров, интеллектуалов-идеалистов и художников-экспрессионистов, придававших человеческим формам нечеловеческие очертания и цвета. Но Вторая мировая вошла в повседневную жизнь более глубоко, поскольку на этот раз, наряду с кровавыми боями, в Европу пришли оккупации и массовое переселение гражданских лиц. Непрекращающееся и каждодневное насилие формировало человеческую душу разными способами, которым не всегда было легко дать определение.

Все это также чрезвычайно далеко от того, что происходило на Западе, особенно в англосаксонских странах. Польский поэт Чеслав Милош, пытаясь подчеркнуть ментальные различия между послевоенной Европой и послевоенной Америкой, писал о том, насколько глубоко закончившаяся война потрясла присущее людям ощущение естественного порядка вещей: «Наткнувшись вечером на труп на тротуаре, горожанин прежде побежал бы к телефону, собралось бы множество зевак, обменивались бы замечаниями и комментариями. Теперь он знает, что нужно быстро пройти мимо мрачного тела, лежащего в канаве, и не задавать лишних вопросов». Оказавшись в условиях оккупации, добропорядочные граждане перестают рассматривать бандитизм в качестве преступления, пишет Милош, по крайней мере когда он используется подпольем. Юноши из уважаемых и законопослушных семей среднего класса делаются отъявленными преступниками, для которых убийство человека более не представляет большой моральной проблемы. При оккупационном режиме считается нормальным делом менять имя и профессию, путешествовать по фальшивым документам, заучивать поддельную биографию, видеть, как людей ловят на улицах, словно разбежавшийся скот³⁵.

Табу, касавшиеся собственности, тоже рухнули, а воровство стало рутинным и даже патриотичным делом. Одни крали для того, чтобы поддержать партизанский отряд, группу Сопротив-

ления или прокормить собственных детей. Другие с завистью наблюдали, как крадут другие: нацисты, преступники, партизаны. По мере того как война шла к концу, эпидемия воровства разрасталась. В послевоенном романе Шандора Мараи один из героев восхищается предприимчивостью мародеров, обыскивающих развалины разбомбленных зданий: «Они полагали, что пришло время спасать то, что еще не было разворовано нацистами, нашими местными фашистами, русскими или коммунистами, вернувшимися из-за границы. Они считали патриотическим долгом прибрать к рукам то, что еще оставалось, называя это занятие “спасательной операцией”»³⁶.

В Польше, как вспоминает Марчин Заремба, интервал между уходом нацистских оккупантов и прибытием Красной армии был отмечен грабежами, захлестнувшими Люблин, Радом, Краков и Жешув. Поляки врывались в немецкие дома и магазины не для того, как объяснял один из них, «чтобы обзавестись чем-то нужным, а просто желая растащить немецкую собственность — в отместку за то, что немцы отобрали все у нас»³⁷.

Непосредственно после завершения войны новая и более организованная волна мародерства накрыла бывшие немецкие территории Силезии и Восточной Пруссии, теперь отошедшие к Польше. Группы грабителей на легковых автомобилях, грузовиках, прочих транспортных средствах обшаривали полупустые города в поисках мебели, одежды, бытовой техники и других ценностей. «Специалисты», снаряженные варшавскими ресторанами и кафе, искали кофейные агрегаты и печное оборудование во Вроцлаве и Гданьске. Поначалу, вспоминает мемуарист, «воры не интересовались редкими книгами, но вскоре появились эксперты и в этой области». Наряду с немецким имуществом расхищалась и бывшая еврейская собственность; разорялись даже еврейские кладбища, под плитами которых крестьяне надеялись найти «запрятанные сокровища» или золотые зубы. В большинстве своем мародеры выбирали цели без всякого разбора. Вслед за подавлением Варшавского восстания в почти полностью разрушенной польской столице начались повальные кражи; «соседи, прохожие, солдаты» начали обшаривать бро-

шенные квартиры и магазины буквально на следующий день после того, как трагически завершилась история польского Сопротивления. Поля вокруг лагеря Треблинка были перекопаны «охотниками за сокровищами» в 1946 году; в сентябре того же года местные жители набросились на поезд, потерпевший крушение неподалеку от Лодзи, но не для того, чтобы помочь пострадавшим, а стремясь быстрее других овладеть их ценными вещами³⁸.

Хотя мародерская лихорадка в Польше и других странах постепенно пошла на убыль, она явно помогла сформировать терпимое отношение к коррупции и расхищению общественной собственности, которые позже стали повсеместным явлением. Насилие также вошло в норму, оставаясь в этом качестве на протяжении многих лет. События, которые за несколько месяцев до того вызвали бы широкое общественное возмущение, теперь больше никого не волновали. Спустя семьдесят лет один венгр поделился со мной ярким воспоминанием об ужасной сцене, имевшей место на будапештской улице: какого-то человека арестовали среди бела дня прямо на глазах у двоих его маленьких детей. «Отец вез малышей в маленькой коляске, но советских солдат это не остановило: они забрали отца, бросив детей одних прямо посреди дороги». Никому из пешеходов происходящее не показалось странным³⁹. А когда за официальным прекращением боевых действий последовали новые рецидивы насилия — жестокое изгнание немецкого населения, нападения на возвращавшихся домой евреев, аресты мужчин и женщин, сражавшихся против Гитлера, разгоравшаяся в Польше и Прибалтийских государствах партизанская война, — это также никого не удивило.

Не всегда насилие было этническим или политическим. «Без драки в нашей деревне не решалась ни одна проблема», — вспоминает сельский учитель из Польши⁴⁰. У населения оставалось много оружия, и убийства были довольно частыми. Во многих регионах Восточной Европы вооруженные банды опустошали окрестности, живя за счет грабежей и убийств; зачастую они называли себя борцами за свободу, даже не имея никакого отно-

шения к движению Сопротивления. Преступные шайки бывших солдат действовали во всех восточноевропейских городах, а криминальное насилие настолько тесно переплеталось с политическим насилием, что из хроник того времени не всегда можно понять, где преступность, а где политика. Всего лишь за две недели в конце лета 1945 года полиция только одного города в Польше зарегистрировала 20 убийств, 86 грабежей, 1084 кражи, 440 «политических преступлений» (термин не разъясняется), 125 случаев сопротивления властям, 29 прочих преступлений против власти, 92 поджога и 45 преступлений на сексуальной почве. «Главной проблемой, которая волнует граждан, остается отсутствие безопасности», — говорится в полицейском отчете, приводящем эту статистику⁴¹.

Институциональный коллапс сопровождался нравственным разложением. Политические и общественные институты в Польше прекратили работать в 1939 году, в Венгрии — в 1944-м, в Германии — в 1945-м. Катастрофа утвердила в сердцах людей циничное отношение к тем обществам, в которых они выросли, и к ценностям, в которых их воспитывали. Это не удивительно: их общественные системы оказались слабыми, а ценностные ориентиры зыбкими. Опыт национального поражения, будь то в силу нацистской оккупации в 1939 году или союзнической оккупации в 1945-м, исключительно тяжело переживался теми, на чью долю он выпал.

С той поры многие пытались описать, что происходит с человеком, который ощущает распад окружающей цивилизации, видит разрушение того мира, где прошло его детство, понимает, что мораль его родителей и учителей прекратила существовать, а некогда почитаемых общенациональных лидеров больше нет. И все же, не пережив этого лично, понять такое довольно трудно. Такие характеристики, как «вакуум» или «пустота», используемые в применении к национальной катастрофе, какой является иностранная оккупация, неточны. Они не передают всей степени негодования, испытываемого людьми в отношении их довоенных и военных вождей, обрушившихся политических систем, своего «наивного» пат-

риотизма. Сплошные потери — утрата жилища, семьи, школы — обрекали миллионы обывателей на неизбежное одиночество. Части Восточной Европы переживали этот крах в разное время и по-разному. Но когда бы и каким бы образом он ни происходил, крушение государства глубоко влияло на людей, в особенности на молодежь, многие представители которой вдруг осознали, что все, чему их некогда учили, оказалось фальшивым. Кроме того, война лишила их нормального социального окружения и социальных связей. Многие действительно напоминали описанную Арендт «тоталитарную личность», «полностью изолированное человеческое существо, которое, не имея прочных социальных контактов с семьей, друзьями, товарищами или даже просто знакомыми, извлекает ощущение причастности к миру сугубо из принадлежности к какому-либо политическому движению и из членства в партии»⁴².

Именно таким был случай Тадеуша Конвицкого, польского писателя, который в годы войны стал партизаном. Родившись в патристичной семье в восточной Польше, неподалеку от Вильнюса, он в годы войны с готовностью присоединился к вооруженному крылу польского Сопротивления, каким являлась Армия крайова. Сначала он воевал с нацистами. Потом его отряд сражался с Красной армией. Когда борьба начала вырождаться в вооруженные грабежи и неспровоцированное насилие, Конвицкий задумался о том, стоит ли продолжать воевать. Он покинул лес и отправился в Польшу, в новых границах которой уже не было места его родному дому. По прибытии молодой человек осознал, что у него нет абсолютно ничего. Девятнадцатилетний бывший партизан имел в собственности пальто, маленький рюкзак и пачку фальшивых документов. У него не было ни семьи, ни друзей, ни образования. Подобную ситуацию можно считать типичной. Люциан Грабовский, молодой боец Армии крайовой, воевавший в окрестностях Белостока, сложил оружие примерно в то же время и также понял, что у него ничего нет: «У меня не было костюма, поскольку довоенный теперь оказался мал, а в кошельке лежали лишь подобранный где-то американский доллар и несколько тысяч злотых, взятых моим

отцом в долг у соседей. Это было все, что у меня осталось через четыре года борьбы с оккупантами»⁴³.

Конвицкий утратил доверие ко всему, во что верил прежде. «В годы войны я видел вокруг сплошное смертоубийство, — рассказывал он мне. — Прямо на моих глазах рассыпался мир высоких идей, гуманизма, морали. Я был одинок в опустошенной стране. Что было делать? И куда идти?»⁴⁴. Конвицкий скитался много месяцев, раздумывал о побеге на Запад, старался вернуться к своим «пролетарским корням», занимаясь физическим трудом. В какой-то момент он почти случайно приобщился к кругу коммунистических литераторов, а потом и к партии. До 1939 года это, несомненно, показалось бы ему немыслимым. На очень короткое время он даже стал «сталинистским» писателем, приняв стиль и манеру, диктуемые партией.

Его судьба была драматичной, но едва ли редкой. Польский социолог Хана Швида-Земба, также попытавшаяся реконструировать довоенную мораль своего поколения — людей, родившихся в конце 1920-х — начале 1930-х годов, рисует очень похожую картину. Ее сверстники росли с глубочайшей верой в польское государство и его особое предназначение. Само понятие «Польша» было для них принципиально важным, поскольку польское государство возродилось лишь в 1918 году, и они стали первыми учениками учрежденных им школ. Эту молодежь воспитывали в духе служения родине, и когда эта родина погибла — у нее ничего не осталось⁴⁵. Многие вымещали свое разочарование, ругая довоенных авторитарных политиков правого спектра, а также генералов, оказавшихся неспособными подготовить Польшу к войне. Польский писатель Тадеуш Боровский, например, высмеивал «сахарный» патриотизм довоенного периода: «Ваша родина — мирный угол и поле, уютно пылающее в очаге. Моя родина — сгоревший дом и повестка из НКВД»⁴⁶.

Для молодых германских нацистов опыт крушения был еще катастрофичнее, поскольку им внушался не просто патриотизм, а убежденность в том, что немцы превосходят все другие народы физически и ментально. Ханс Модров, впоследствии один из

видных лидеров ГДР, в 1946 году был так же дезориентирован, как и его польский сверстник Тадеуш Конвицкий. Будучи активистом нацистского молодежного движения, он вступил в *Volkssturm*, «Народное ополчение», оказывавшее сопротивление Красной армии в последние дни войны. В то время его переполняла ненависть к большевикам, которые, как ему настойчиво внушали, были неполноценными людьми, уступавшими немцам во всем. Но в мае 1945 года, после пленения красноармейцами, он пережил глубочайшее мировоззренческое потрясение. Вместе с другими немецкими пленными его посадили в грузовик и отправили работать на ферму. «Я был молод, и мне захотелось помочь, — рассказывает Модров. — Стоя в кузове, я швырял вниз чужие вещевые мешки, а потом, передав кому-то свой рюкзак, спрыгнул на землю. Но, оглянувшись, я увидел, что моего рюкзака нет — его украли. Причем сделал это не советский солдат, а один из нас, немцев. Впрочем, на следующий день Красная армия всех уравнила: рюкзаки отобрали у всех без исключения, а взамен каждый получил миску и ложку. Но из-за этого эпизода я пересмотрел былые представления о так называемом немецком боевом братстве»⁴⁷.

Еще через несколько дней юношу определили водителем к советскому капитану, который как-то спросил, читал ли он Генриха Гейне. Модров никогда не слышал о Гейне; его уязвило то, что люди, считавшиеся неполноценными и ущербными, знают о немецкой культуре больше, чем он сам. Позднее Модрова отправили в лагерь для военнопленных в Подмосковье. Там его отобрали в качестве слушателя «антифашистской» школы и обучили основам марксизма-ленинизма, причем молодой немец с жадностью впитывал новые знания. Травма, причиненная крушением Германии, была столь сильна, что он с готовностью обратился к идеологии, к которой ему с детства внушали ненависть. Со временем он начал чувствовать даже благодарность за это. Коммунистическая партия предоставила ему шанс исправить ошибки прошлого — и Германии в целом, и свои собственные. Стыд за то, что некогда он был правоверным нацистом, теперь можно было изжить.

Но воспоминания о войне вычеркнуть из памяти невозможно. О таком прошлом очень трудно рассказывать людям, которые не переживали ничего подобного и не сталкивались со столь вопиющим человеческим безразличием к чужим страданиям. «Люди в странах Запада, а особенно американцы, кажутся нашему интеллектуалу несерьезными именно потому, что они не прошли через опыт, который учит понимать относительность любых суждений и привычек, — пишет Чеслав Милош. — Отсутствие воображения у них ужасающее»⁴⁸. Этому автору стоило бы добавить, что обратное так же верно: жителям Восточной Европы тоже не хватало реализма в оценке своих западных соседей.

Западноевропейцы и американцы никогда не относились к советскому коммунизму равнодушно, будь то до войны или после нее. Ожесточенные дебаты о сущности нового большевистского строя и коммунизма в целом кипели в большинстве западных столиц задолго до 1945 года. Американские газеты начали писать о «красной чуме» в 1918 году. В Вашингтоне, Лондоне и Париже уже в 1920-е и 1930-е годы много рассуждали об угрозе либеральной демократии, которую несет в себе коммунизм.

Даже во время военного союзничества со Сталиным большинство британских и американских государственных деятелей, непосредственно имевших дело с Россией, разделяли немало сомнений относительно его послевоенных планов и не строили иллюзий по поводу сути его режима. «Заявления немцев вполне могут оказаться правдивыми, — говорил Уинстон Черчилль лидерам польской эмиграции после того, как нацисты обнаружили в Катынском лесу останки тысяч польских офицеров, убитых НКВД, — ибо большевики способны на крайнюю жестокость»⁴⁹. Джордж Кеннан, американский дипломат, разработывавший основные принципы послевоенной политики США в отношении СССР, все военные годы провел в Москве, откуда «бомбардировал вашингтонских бюрократов своими исследованиями коммунистического зла»⁵⁰. Дин Ачесон, заместитель государственного секретаря, сравнивал переговоры с

советскими представителями летом 1944 года с попыткой привести в действие старенький автомат по продаже сигарет: «Иной раз процесс можно ускорить, если эту штуку как следует встряхнуть, но вот *разговаривать* с ней совершенно бесполезно»⁵¹.

Впрочем, подобные технические сложности не имели особого значения. В своих мемуарах Ачесон, суммируя впечатления от тех переговоров, отмечает: «Мы, сотрудники Государственного департамента, очень скоро забыли об этой обескураживающей русской комедии под натиском более серьезных событий»⁵². Действительно, в годы сражений Вашингтон и Лондон были вынуждены беспокоиться о всевозможных «более серьезных событиях». До самого конца войны поведение русских в Восточной Европе почти всегда оставалось делом вторичным.

Нигде это не проявилось столь ярко, как в неофициальных отчетах о Тегеранской конференции в ноябре 1943 года и Ялтинской конференции в феврале 1945-го, на которых Сталин, Рузвельт и Черчилль с поразительной беззаботностью решали судьбы европейских народов. Когда на первой встрече в Тегеране встал вопрос о польских границах, Черчилль пообещал Сталину, что тот сможет сохранить за собой кусок польской территории, проглоченный им в 1939 году, а Польша в порядке компенсации переместится немного западнее прежней своей границы. Затем он «с помощью трех спичек продемонстрировал, как Польша будет передвигаться на Запад». Это, сообщает очевидец, «весьма порадовало маршала Сталина»⁵³. В Ялте Рузвельт нерешительно предложил провести восточную границу Польши так, чтобы она включила город Львов и находящиеся в этом районе нефтяные месторождения. Сталин тогда, казалось, был благосклонен вполне, но на него не надавили и идея была похоронена. Так предreshали национальную идентичность сотен тысяч людей.

Все упомянутые факты отнюдь не свидетельствуют о злой воле в отношении региона; они говорят лишь о более значимых приоритетах. Например, Рузвельта в Ялте более всего занимал дизайн задуманной Организации Объединенных Наций, в которой он видел структуру, способную предотвращать войны буду-

шего. Для конструирования новой международной системы ему была нужна советская поддержка со стороны. Он также хотел, чтобы русские приняли участие во вторжении в Манчжурию и разрешили американцам использовать советские военно-морские базы на Дальнем Востоке. Все это казалось ему более важным, чем судьба Польши или Чехословакии. Кроме того, в его повестке дня стояли и другие вопросы — от будущего итальянской монархии до ближневосточной нефти. В то время как в послевоенных расчетах Сталина Восточной Европе отводилось первостепенное место, для американского президента она была на периферии⁵⁴.

Черчилль между тем отдавал себе отчет в том, насколько слабы позиции его страны. У него не было ни малейших иллюзий касательно способности британцев заставить Красную армию уйти из Польши, Венгрии или Чехословакии. Согласно его мемуарам, накануне встречи в Ялте он говорил Рузвельту, что союзникам следует оккупировать как можно больше австрийской территории, поскольку в Западной Европе русским надо передавать лишь то, что нельзя не отдать. Не совсем ясно, на каком основании принадлежность Австрии к «Западу» казалась ему более несомненной, нежели Венгрии или Чехословакии. Но в целом фатализм Черчилля очевиден: раз Красная армия пришла, выдворить ее уже не удастся⁵⁵.

Оба лидера понимали, что, как только война закончится, их избиратели потребуют скорейшего возвращения домой своих мужей, братьев и сыновей.

В таких условиях «продать» электорату конфликт с Советским Союзом будет крайне трудно. Пропаганда времен войны изображала Сталина в качестве весельчака «дядюшки Джо», неотесанного друга людей труда, которого и Черчилль, и Рузвельт превозносили в своих официальных речах. В Лондоне его поклонники организовывали благотворительные концерты в пользу Советского Союза и открыли бюст Ленина возле одной из бывших лондонских квартир советского вождя⁵⁶. А в Америке бизнесмены мечтали извлечь из новой дружбы выгоду. «Когда война закончится, Россия станет если и не самым крупным, то

самым желанным потребителем наших товаров», — заявлял президент американской Торговой палаты⁵⁷. В подобных условиях сказать уставшим от войны британцам или американцам о том, что их солдатам придется остаться в Европе ради новой борьбы, теперь уже с Советским Союзом, было бы очень трудно, если вообще не невозможно.

Трудности в плане организации отпора русским в Европе были еще значительнее. Черчилль, которого никогда не устраивала советская оккупация Берлина, еще весной 1945 года приказал своим специалистам по стратегическому планированию изучить перспективы нападения союзников на Красную армию в Центральной Европе с возможным привлечением к этой задаче польских и даже немецких войск. В результате замысел операции «Немыслимое» отвергли в силу его непрактичности. Военные предупреждали британского премьер-министра о том, что советские войска численно превосходят английские в три раза, а результатом операции может стать «затяжная и дорогостоящая» военная кампания или даже «тотальная война». Сам Черчилль написал на полях проекта, что нападение на Красную армию представляется ему «в высшей степени маловероятным», хотя некоторые элементы операции «Немыслимое» позже были использованы в планировании отражения возможной советской атаки на Британию⁵⁸.

В установках Запада сказывался также и элемент наивности, о котором сокрушался Милош: Рузвельт, например, до конца жизни неустанно высказывал убеждение в добрых намерениях Сталина. «Не беспокойтесь, — утешал он главу польского правительства в изгнании Станислава Миколайчика в 1944 году, — Сталин вовсе не собирается отобрать у Польши свободу. Он не посмеет сделать это, поскольку знает, что вас твердо поддерживает правительство Соединенных Штатов»⁵⁹. Примерно через год после этого американцы и англичане согласились передать Советскому Союзу руководство Союзной контрольной комиссией в Будапеште, созданной для послевоенного управления Венгрией. Это было сделано на том условии, что СССР будет согласовывать с союзниками любые указания, отдаваемые вен-

герскому правительству. Но на практике Советский Союз даже не пытался делать это⁶⁰.

Позже некоторые исследователи утверждали, что сторонники коммунистов в американском правительстве и «просоветские элементы» в Вашингтоне влияли и на послевоенную политику США⁶¹. Но хотя Альгер Хисс, вероятно, самый скандально известный знаменитый советский агент влияния, входил в состав американской делегации в Ялте, его вмешательство вовсе не требовалось. Стенограммы конференции ясно свидетельствуют, что интересы Черчилля и Рузвельта не предполагали вытеснения Советского Союза из Восточной Европы⁶². Западные лидеры были прагматиками. В Ялте, по воспоминаниям американского генерала, «всего лишь были признаны те факты, которые и без того уже имели место, — никакого выбора делать там не пришлось»⁶³.

Такое положение вещей оставалось в силе на протяжении всей холодной войны. Даже когда западная риторика становилась предельно агрессивной, предпринимались все меры, чтобы не допустить развязывания нового европейского конфликта. Ни тогда, ни позже США и Великобритания не желали войны с Советским Союзом. В 1953 году, когда после смерти Сталина забастовки и уличные протесты захлестнули Восточный Берлин, союзные власти в Западном Берлине не только проявляли крайнюю сдержанность, но и предостерегали западных немцев от вмешательства во внутренние дела ГДР⁶⁴. Во время венгерской революции 1956 года государственный секретарь США Джон Фостер Даллес, признанный «рыцарь» холодной войны, также отрицал любую американскую вовлеченность в будапештские события, заверяя советское правительство о том, что Америка «не рассматривает эти нации в качестве потенциальных военных союзников»⁶⁵.

Впрочем, жители Восточной Европы зачастую оказывались более наивными, чем западные союзники. В Венгрии прозападные политики склонялись к мнению о том, что их страну освободят англичане. Многих, по словам историка Ласло Борхи, «поддерживала иррациональная вера в мнимое геополитическое

значение Венгрии»; эти люди ожидали британского вторжения с Балкан начиная с 1944 года⁶⁶. Поскольку их страна была бастионом западного христианства в борьбе с Османской империей, им казалось, что аналогичную роль она будет играть и в XX веке. «Западные державы не позволят русским доминировать в столь важной географической зоне», — с убежденностью заявлял один венгерский дипломат. Поляки, о политическом будущем которых горячо спорили союзные лидеры, также были уверены, что британцы не бросят страну, которая ради них объявила войну Германии, а Соединенным Штатам сделать это не позволит влиятельное польско-американское лобби. Наконец, восточным немцам столь же трудно было поверить в появление границы между двумя Германиями: неужели Запад допустит разделение страны?

Но Запад не только допустил, но и принял это, точно так же как он смирился с разделением всей Европы. И хотя, разумеется, никто из западных лидеров, будь то в Вашингтоне, Лондоне или Париже, не мог предвидеть грандиозности физических, психологических и политических изменений, приносимых Красной армией в каждую оккупированную ею страну, воспрепятствовать ее приходу они не слишком пытались.

Глава 2

Победители

В последние месяцы, проведенные при нацистах, почти все из нас симпатизировали русским. Мы ждали света, который придет с Востока. Но этот свет сжег потом слишком многих. Произошло слишком много такого, что не поддавалось объяснению. Темные улицы до сих пор каждую ночь содрогаются от воплей убитых горем женщин.

*Рут Андреас-Фридрих*¹

Русские... вычистили местное население настолько радикально, что сравниться с ними в этом могли только азиатские орды.

*Джордж Кеннан*²

В Будапеште Джон Лукач увидел «надвигающееся с востока целое море русских, одетых в серо-зеленые шинели»³. А в пригороде Восточного Берлина Лутц Раков наблюдал «танки, танки, танки, танки» и шагающих по обочинам солдат, среди которых были «амазонки с золотыми косами»⁴. Это была Красная армия: голодные, злые, измотанные, ожесточившиеся в боях мужчины и женщины, некоторые из которых по-прежнему носили ту форму, которую два года назад впервые примерили под Сталинградом или Курском. И каждый солдат, хранящий в памяти невероятное насилие, ожесточался от того, что он видел, слышал и делал теперь.

Последнее советское наступление началось в январе 1945 года, когда Красная армия в центральной Польше форсировала Вислу. Быстро миновав опустошенную западную Польшу и Прибалтику, «Иваны» к середине февраля после жестокой осады взяли Будапешт, а в марте заняли Силезию.

Наступление на Кёнигсберг успешно завершилось в апреле. К тому времени две огромные армейские группировки, 1-й Бе-

лорусский фронт и 1-й Украинский фронт, уже стояли на подступах к Берлину, готовясь к последнему штурму. 30 апреля Гитлер покончил с собой. Спустя неделю, 7 мая, генерал Альфред Йодль от имени верховного командования вермахта подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Даже сегодня довольно трудно оценить то, что происходило в Восточной Европе в последние пять месяцев войны, поскольку воспоминания людей о том кровавом времени очень разнятся. В советской историографии последняя фаза войны неизменно изображается в виде серии освободительных актов. Согласно официальной интерпретации, Варшава, Будапешт, Прага, Вена и Берлин последовательно освобождались от нацистского ига, триумф следовал за триумфом, фашисты уничтожались, население ликовало, а свобода возвращалась.

Некоторые, однако, вспоминают об этих днях иначе. На протяжении многих десятилетий немцы, и в особенности жители Берлина, предпочитали не говорить о событиях мая 1945 года и последующих месяцев. Сегодня, однако, они не скупятся на воспоминания о грабежах, немотивированном насилии и, самое главное, массовых изнасилованиях, которые последовали за советским вторжением. В Восточной Европе помнят также о нападении Красной армии на местных партизан, сражавшихся с немцами, но не являвшихся коммунистами, а также о беспорядочных и адресных репрессиях, воцарившихся с приходом красноармейцев. В Польше, Венгрии, Германии, Чехословакии, Румынии и Болгарии прибытие Красной армии редко трактуется как освобождение в чистом виде. В памяти людей оно зачастую предстает жестоким прологом новой оккупации.

Впрочем, для многих ни один из этих противоположных взглядов не содержит в себе всей правды. Приход Красной армии действительно вернул свободу миллионам людей. Советские солдаты открыли ворота Освенцима, Майданека, Штуттхофа, Заксенхаузена и Равенсбрюка. Они опустошили тюрьмы гестапо. Их появление позволило евреям, оставив свои убежища в сараях и на чердаках, постепенно вернуться к како-

му-то подобию нормальной жизни. Женя Зонабенд, еврейская узница, покинула небольшой концентрационный лагерь в Восточной Германии и постучалась в первый попавшийся немецкий дом с просьбой о куске хлеба. Ей, однако, отказали — и продолжали отказывать до тех пор, пока случайный русский, услышавший ее историю, не добился того, чтобы ее накормили и, по ее воспоминаниям, даже выдали теплой воды помыться⁵.

Советская помощь не ограничивалась только евреями. Появление Красной армии позволило полякам, живущим в западных областях страны, вновь разговаривать по-польски — после многолетнего запрета, не разрешавшего делать это на публике. С магазинов, трамваев и ресторанов польских городов, некогда получивших немецкие имена, исчезли вывески *Nur für Deutsche* («Только для немцев»). В самой Германии прибытие советских солдат вызвало ликование среди противников Гитлера; точно так же радовались миллионы чехов и венгров. «Я выбежала во двор и бросилась на шею первому попавшемуся советскому солдату», — рассказывала мне венгерка, одна из многих таких же⁶. Другой ее соотечественник описывает, как много приход Красной армии значил для него и его жены: «Мы чувствовали, что нас освободили. Я знаю, что это клише и что эти слова больше не имеют никакого смысла, но, как бы усердно я ни думал, мне не удается подобрать более подходящее слово — нас вправду освободили. Среди многих людей, сидящих в подвале, рыдая и держась за руки, это чувство разделял каждый. Всем нам казалось, что мир наконец стал другим и что мы действительно не зря появились на свет»⁷.

О том же говорил мне и некий поляк: «Мы ничуть не сомневались в них — ведь они освободили нас»⁸. И все-таки даже те, кто радовался наиболее бурно, не могли отрицать того факта, что армия победителей оставляла за собой пустыню. Описывая случившееся, многие упоминали о «новом монгольском нашествии», используя лексику, пропитанную ксенофобией. Об «азиатских ордах» писал, в частности, Джордж Кеннан⁹. Венгерский романист Шандор Марай также рассуждает о «принципиально иной человеческой расе, чьи рефлексы и позывы совершенно

непонятны»¹⁰. Наконец, Джон Лукач тоже вспоминает «смуглые и круглые монгольские лица с узкими глазами, холодными и враждебными»¹¹.

Отчасти советские солдаты казались чужими из-за того, что к жителям Восточной Европы они относились с огромным подозрением, а здешнее материальное изобилие ввергало их в шок. С самой революции 1917 года русским рассказывали о бедности, нищете и безработице при капитализме, а также о превосходстве их новой системы. Но даже в Восточной Польше, которая в то время была одной из беднейших частей Европы, они обнаружили, что у самых простых крестьян есть несколько кур, пара коров и как минимум один комплект одежды на смену. В крошечных провинциальных городках они увидели каменные церкви, мощеные улицы, людей на велосипедах, в России все еще очень редких. Они нашли фермы с крепкими амбарами и сараями, а также прекрасно обработанные ряды посевов. В сравнении с отчаянной бедностью, раскисшими дорогами и убогими деревянными избами сельской России все это казалось изобилием.

Входя в церкви Кёнигсберга, квартиры Будапешта и дома Берлина, где «фашистки» жили в невероятной, по их мнению, роскоши, венчаемой электрическими люстрами и настоящими унитазами, они испытывали оцепенение: «Перед глазами наших солдат стояли двухэтажные загородные коттеджи, оснащенные электричеством, газом, ванными комнатами и ухоженными садиками. Наши люди видели буржуазные виллы Берлина, немыслимое для них роскошество замков, поместий и усадеб. И тысячи солдат, проходя по Германии, задавались одним и тем же угрюмым вопросом: почему они пошли на нас? чего они хотели?»¹².

Они пытались разобраться в этом. Некий политработник писал в Москву: «Все это — кулацкое сельское хозяйство, основанное на эксплуатации наемного труда. Вот почему все здесь такое красивое и богатое. И когда наш красноармеец, в особенности незрелый в политическом отношении и не изживший мелкобуржуазные взгляды, невольно сравнивает свой колхоз с германской фермой, он выбирает германскую ферму. Даже

среди офицеров находятся те, кто восхищается неметчиной»¹³. Согласно другому объяснению, немецкие богатства основывались на воровстве: «Увидев все это, начинаешь понимать, что Гитлер ограбил всю Европу, чтобы порадовать своих фрицев, — говорилось в солдатском письме домой. — Их овцы гораздо лучше наших, а их магазины завалены товарами со всех фабрик Европы. Но очень скоро все эти товары появятся и на советских магазинных полках — как наши трофеи»¹⁴.

Поэтому они тоже крали — в порядке компенсации. Спиртное, женское белье, мебель, посуда, велосипеды, постельные принадлежности массово вывозились отовсюду — из Польши, Венгрии, Чехословакии, Германии, других стран. Почти мифической ценностью в глазах русских обладали наручные часы; солдат мог разгуливать по улицам, нацепив на запястье сразу дюжину. Известную фотографию, на которой советский солдат водружает знамя Победы над Рейхстагом, пришлось подретушировать, чтобы удалить часы с обеих рук молодого героя¹⁵. В Будапеште одержимость красноармейцев часами стала частью городского фольклора, отражающей местное восприятие Красной армии. Спустя несколько месяцев после завершения войны в одном из будапештских кинотеатров показывали кинохронику, посвященную Ялтинской конференции. Когда президент Рузвельт, разговаривая со Сталиным, поднял руку, в зале закричали: «Береги часы!»¹⁶. То же самое наблюдалось и в Польше, где на протяжении многих лет дети, играя в советских солдат, кричали друг другу: «Давай часы!»¹⁷. А в любимый телесериал польских подростков, снятый в конце 1960-х годов, попал эпизод, в котором советские и польские солдаты, квартирующие в брошенных немецких зданиях, собирают огромную коллекцию часов¹⁸.

Хищения и грабежи оказались предвестниками того горького разочарования, которое обрушилось на людей, столь горячо ожидавших прибытия советских войск. Марай рассказывает о старике, «почтеннейшем патриархе», который, торжественно встречая первого советского солдата, признался ему, что он — иудей: «Русский ухмыльнулся, снял с шеи автомат и по русской традиции расцеловал хозяина в обе щеки. Сказав, что он тоже

еврей, солдат стиснул руку старика в долгом и искреннем рукопожатии. Затем он вновь нацепил автомат на шею и приказал старику и всей его семье встать с поднятыми руками лицом к стене. ...Потом красноармеец неторопливо и спокойно ободрал все семейство»¹⁹.

Некоторых советских солдат подобное поведение возмущало. Через много лет после войны Василий Гроссман говорил дочери, что, преодолев советскую границу, Красная армия «изменилась к худшему». Как-то ночью, вспоминал писатель, он ночевал в немецком доме в компании нескольких солдат и полковника «с добрым русским лицом», утомленным до изнеможения: «Всю ночь из комнаты, где расположился офицер, доносился шум. Ранним утром он, не попрощавшись, уехал. Вы вошли в комнату; там был полнейший беспорядок — полковник опустошил все шкафы и полки как самый настоящий грабитель»²⁰.

То, что невозможно было украсть, зачастую уничтожалось. Уличные бои в Берлине и Будапеште постоянно влекли за собой то, что сейчас назвали бы сопутствующим ущербом, но Красная армия нередко разрушала здания без всякой цели. В Гнезно, колыбели польского христианства, советские танки намеренно уничтожили тысячелетний собор, не имевший никакого военного значения. На фотографиях, сделанных в то время (и спрятанных на семьдесят лет), видно, как выстроившиеся на городской площади танки бессмысленно расстреливают древний памятник²¹. Заняв город Бреслау, советские солдаты умышленно подожгли старый городской центр, спалив бесценное собрание книг университетской библиотеки, городской музей и несколько церквей²².

Грабежи и опустошение продолжались на протяжении многих месяцев, постепенно приобретая официальную форму «репараций». Но и неофициальное расхищение чужого имущества также шло своим чередом. Даже в конце 1946 года власти Восточной Германии жаловались на то, что советские офицеры в Саксонии, заселяясь в частные дома, требовали украшать их мебелью, картинами и фарфором из государственных музеев, причем, покидая места службы, они нередко забирали ценные

вещи с собой. Владелец одного из замков неподалеку от Рейхенбаха сетовал на то, что он лишился стола (стоимостью в 4000 довоенных марок), трех ковров (11 500 марок), комода в стиле рококо (18 000 марок) и письменного стола из красного дерева (5000 марок). Никаких сведений о возвращении ему этих вещей не имеется²³.

Еще более ужасающими и существенными в политическом отношении были жестокие преследования гражданского населения, начавшиеся задолго до завоевания Берлина. Их первые вспышки наблюдались после пересечения красноармейцами границ Польши, еще более явными они сделались в Венгрии, достигнув пика в Германии. Всем, кто сталкивался с советскими солдатами близко, казалось, что их просто одолевает жажда мести. Смерть друзей, жен и детей, сожженные деревни, массовые захоронения, оставленные немцами в России, — все это ввергало их в настоящее неистовство. Гроссман однажды видел колонну из сотен советских детей, пешком идущих в Россию из немецкого плена. Советские солдаты и офицеры застыли вдоль шоссе, пристально всматриваясь в детские лица. Все эти люди были отцами, чьих сыновей и дочерей насильственно вывезли в Германию. «Полковник с потемневшим и мрачным лицом напряженно стоял здесь несколько часов, вглядываясь в толпу. Затем офицер вернулся в машину — он не нашел своего сына»²⁴. Красноармейцев выводили из себя и собственные командиры, их бессердечная тактика, постоянное использование угроз и агентов-осведомителей, гигантские потери. Историк Кэтрин Мерридейл, которая беседовала с сотнями ветеранов, подтверждает, что они очень часто высказывали политически мотивированное недовольство: «Сознательно или нет, но со временем красноармейцы давали выход гневу, который накапливался десятилетиями государственного гнета и повсеместного насилия»²⁵.

На вновь оккупированных территориях главными жертвами этой ярости становились женщины. Вне зависимости от возраста любую из них могли изнасиловать, а иногда и убить. Александр Солженицын, позже ставший наиболее известным

летописцем ГУЛАГа, в 1945 году вместе с Красной армией вступил в Восточную Пруссию, запечатлев в стихах пережитые здесь сцены ужаса:

Чей-то стон стеной ослаблен:
Мать — не насмерть. На матрасе,
Рота, взвод ли побывал —
Дочь-девчонка наповал.
Сведено к словам простым:
Не забудем! Не простим!
Кровь за кровь и зуб за зуб!
Девку — в бабу, бабу — в труп²⁶.

Подобные акты мести зачастую не имели никакого отношения к политике и отнюдь не всегда направлялись на немцев или коллаборационистов. Гроссман писал: «Советские девушки, освобожденные из нацистских лагерей, теперь вынуждены много страдать. Вечером одна из них спряталась в нашей корреспондентской комнате. Ночью всех разбудили ужасные крики: один из журналистов не смог справиться с искушением». В мемуарах Льва Копелева, в те годы политработника Красной армии, упоминается о судьбе русской девушки, которую сначала принудительно отправили в Германию, а потом ошибочно приняли за немку: «Несколько русских девушек, угнанных на работу в Германию, стали официантками в штабной столовой. ...— Одна из них, — рассказчик говорил тоскливо-подробно, — такая красивая, молодая, веселая, волосы — чистое золото и на спину локонами спущены, знаете, как у полек и у немок. Шли какие-то солдаты, пьяные что ли... Гля, фрицыха, сука... и шарах с автомата поперек спины. И часа не прожила. Все плакала: за что? Ведь уже маме написала, что скоро приедет»²⁷.

Иногда жертвами надругательств становились угнанные в Германию работницы-польки, которым не посчастливилось — оказались на пути у красноармейцев. «В это время сзади неистовый женский вопль. В тот пакгауз, куда сгружаемся мы, вбегает девушка: большая светло-русая коса растрепана, платье разорвано на груди. Кричит пронзительно: «Я полька... Я полька,

Иезус Мария... Я полька!». За ней гонятся два танкиста. Оба в ребристых черных шлемах. Один — широконосый, скуластый, губатый — злобно пьян». Когда Копелев попытался вмешаться — теоретически насилие над женщинами наказывалось расстрелом на месте, военнослужащие недовольно бурчали: «Вот они, командиры, за немку своего убить хочет!»²⁸. Сходным образом его укоряли и в тот момент, когда солдат застрелил слабоумную немецкую старуху, заподозрив в ней шпионку: «Ну чего ты, чего ты? Неужели из-за поганой немки на своих бросаться будешь?»²⁹.

Изнасилования и террор ужасали местных коммунистов, которые немедленно поняли, насколько дурно творимые освободителями безобразия скажутся на них. Официально изнасилования приписывались «диверсантам, переодетым в советскую форму». В частном порядке местные коммунисты не раз обращались к властям, настоятельно прося взять ситуацию под контроль. В феврале 1945 года офицер польской службы безопасности в письме одному из высокопоставленных пропагандистов польской армии сетовал: отношение советских войск к польскому населению таково, что оно «наносит вред польско-советской дружбе и разрушает чувство признательности, испытываемое жителями Познани к освободителям. ...Изнасилования женщин стали повсеместным явлением, причем иногда они совершаются на глазах родителей или мужей. Еще более часты случаи, когда военнослужащие, обычно молодые офицеры, вынуждают женщин следовать в казармы (например, под предлогом оказания помощи раненым) и набрасываются на них там»³⁰.

Другие коммунисты предпочитали отрицать очевидные факты. Венгр, в молодости состоявший в коммунистической партии, рассказывал, что он ничего не знал об изнасилованиях: «В нашем семейном кругу принято было говорить, что все это нацистская чушь. ...Мы тогда еще были убеждены, что советские солдаты — это новые люди». Со временем, однако, выяснилось, что «новые люди» не оправдывают ожиданий. Однажды этому человеку выпало опекать группу молодых русских: «По ночам они вылезали через окна и отправлялись куда-

нибудь выпить или подцепить шлюх. Нас это очень задевало. Мы, конечно, их не укоряли, но о поведении гостей было хорошо известно»³¹.

Кого-то из коммунистов творимые солдатами беззакония касались лично. Роберт Бялек, один из немногих коммунистов-подпольщиков в тогда немецком Бреслау, вернувшись домой после первой торжественной встречи с советским комендантом города, — как коммунист, он хотел предложить освободителям свое содействие, — обнаружил, что его жену изнасиловали. Для него произошедшее стало колоссальным потрясением: «Животные инстинкты двух советских рядовых разбили мой мир вдребезги; прежде это не смогли сделать ни нацистские пытки, ни жесточайшие преследования». «Я хотел бы, — писал он в отчаянии, — быть, как и многие мои друзья, погребенным под руинами этого города»³².

Довольно часто и вполне справедливо отмечалось, что эта волна сексуального насилия никем не планировалась, ни в Германии, ни где-либо еще, и что нет никаких документов, «предписывающих» подобного рода действия³³. В то же время истиной является и то, что, как свидетельствуют Солженицын и Копелев, армейское начальство не проявляло особой заинтересованности в предотвращении безобразий, а на изнасилования и немотивированные убийства явно смотрело сквозь пальцы, особенно в начале оккупации. Хотя разбирательство подобных дел было в компетенции командиров на местах, безразличие к ним шло с самого верха. Когда югославский коммунист Милован Джилас пожаловался Сталину на поведение красноармейцев, советский вождь искренне удивился тому, как он, писатель, «может не понимать, что солдат, на протяжении тысяч километров видевший только кровь, огонь и смерть, имеет право позабавиться с женщиной или пожить бездельушкой»³⁴.

Подобный подход поощрялся советской пропагандой, которая на завершающем этапе наступления на Берлин стала особенно кровавадной, а также желанием унижить немецких мужчин. «Не считайте дни и не считайте километры. Считайте толь-

ко убитых вами немцев, — писал военный корреспондент в статье, широко читаемой и часто цитируемой после февраля 1945 года. — Убей немца! — взывает ваша мать. Убей немца! — взывает русская земля»³⁵.

Но даже если грабежи, насилия и убийства и не были частью какого-то политического плана, на практике они оказали глубочайшее и долгосрочное политическое воздействие на все территории, занятые Красной армией. С одной стороны, массовый террор заставлял людей сомневаться в правомерности советского правления и с подозрением относиться к коммунистической пропаганде и марксистской идеологии. С другой стороны, насилие, и в особенности сексуальное насилие, повергало в ужас, причем как женщин, так и мужчин. Красная армия представляла жестокой, могущественной и неудержимой силой. Мужчины не могли защитить своих женщин; женщины не могли защитить себя; никто не мог защитить своих детей или свою собственность. Охвативший людей страх нельзя было обсуждать открыто, а комментарии, которые давали власти по этому поводу, обычно были уклончивыми. В феврале 1945 года в Венгрии Будапештский национальный комитет неожиданно отменил запрет на аборт, не объясняя, почему это было сделано. В январе 1946 года венгерский министр социального обеспечения подписал следующее распоряжение: «В результате военных действий и сопровождавшего их хаоса в стране появилось множество детей, родные которых не желают о них заботиться. ...В этой связи детским домам предписывается не препятствовать зачислению в разряд сирот всех детей, родившихся в интервале от 9 до 18 месяцев после освобождения»³⁶.

Даже личные рассказы на эту тему зачастую сухи и поверхностны. А что тут, собственно, можно было сказать? Много лет спустя обычно красноречивый пастор из Восточной Германии, который был ребенком во время советского вторжения, запинаясь, делился своими воспоминаниями: «Пришли русские — и начались изнасилования. Это было что-то немыслимое. Это невозможно забыть. ...Одни женщины попрятались, но они хватали других. ...Все это было ужасно, но в то же время оставалось

чувство облегчения от того, что мы сумели выжить. Меня мучило это противоречие»³⁷.

Массовые изнасилования в оккупированной Советским Союзом части Европы публично и гласно обсуждались лишь однажды. В ноябре 1948 года власти Восточной Германии организовали общественные дебаты на эту тему в берлинском Доме советской культуры. Встречу готовил журналист Рудольф Херрнштадт, в то время редактор берлинской городской газеты *Berliner Zeitung*, а позже главный редактор главной партийной газеты *Neues Deutschland*. Поводом послужила написанная им статья под заголовком «О русских и о нас». Обсуждение привлекло огромное количество людей: *Neues Deutschland* позже отмечала, что зал оказался «слишком мал для серьезного разговора».

Дискуссию открыл сам Херрнштадт, повторив основные идеи своей статьи, чуть ранее перепечатанной в официальной прессе. Он заявил, что Германия «не смогла бы преодолеть нынешние трудности без огромной помощи со стороны Советского Союза» и категорически отверг сетования общественности на неподобающее поведение Красной армии. Он насмеялся над рассказами о том, как «у шурина украли велосипед, хотя тот всю жизнь голосовал за коммунистов». Могла ли Советская армия догадаться о том, что этот человек коммунист? Почему тогда он не воевал против нацистов плечом к плечу с красноармейцами? И по какой причине, наконец, весь рабочий класс Германии смиренно стоял в сторонке, дожидаясь, пока его спасут?

Дискуссия продолжалась четыре часа, и конца ей не было видно. Но по мере того как за окном темнело, фокус обсуждения постепенно сместился с проблемы украденных велосипедов на другие сюжеты. С места встала женщина, которая заявила: «Многим из нас пришлось пережить нечто такое, что не могло не сказаться на нашем отношении к Красной армии». Продолжая использовать эвфемизмы, она говорила о «страхе и недоверии», с которыми теперь воспринимает любого человека в советской военной форме. Читая стенограмму обсуждения, сразу же ловишь себя на мысли о том, что все присутствовавшие

в зале прекрасно понимали: реальным предметом обсуждения являются не кражи, а изнасилования.

Одно за другим предлагались все новые оправдания поведения советских солдат. Немцы должны ставить разум выше эмоций. Немцы ведут классовую борьбу. Немцы начали войну. Немецкая жестокость заставила русских быть жестокими. Выдвигались и контраргументы: одни женщины умолкали, но другие хотели знать, как русские обращаются с женщинами у себя дома. Дебаты продолжались второй вечер подряд, когда их прервал присутствовавший в зале советский офицер. Он заявил: «Никто не страдал так, как мы. 7 миллионов наших граждан погибли, а 25 миллионов лишились крыши над головой. Что за солдат пришел в Берлин в 1945 году? Это был турист? Его сюда приглашали? Нет, это был солдат, за плечами которого остались тысячи километров выжженной советской территории. ...И, возможно, он вновь встретил здесь похищенную немцами невесту, обреченную на рабский труд...».

Эти реплики прекратили дискуссию: подобным аргументам трудно что-либо противопоставить. Слова офицера напомнили всем присутствовавшим не только о немецкой ответственности за войну и о вдохновлявшем красноармейцев глубоким желании отомстить, но и о бессмысленности дальнейшего разговора на эту тему³⁸.

Официальные инстанции хранили молчание. Но память о массовых изнасилованиях, о грабежах и убийствах не исчезла ни в Германии, ни в Венгрии, ни в Польше, ни в других странах. Она просто была дополнена «страхом и недоверием» к человеку в советской форме, о чем говорила в ходе дебатов жительница Берлина. Эта настороженность никуда не делась даже после того, как масштабное насилие прекратилось³⁹. Со временем стало ясно, что именно это сочетание эмоций — страха, стыда, гнева, замалчивания — помогло заложить психологическую основу для насаждения нового режима.

Насилие было не единственной причиной разочарования. В послевоенные годы Советский Союз всячески поощрял индус-

стриализацию Восточной Европы. Но одновременно Сталин настаивал на военных репарациях, которые означали едва ли не полный демонтаж промышленности во всем регионе, причем порой с фатальными последствиями. Подобно массовым изнасилованиям, масштабное разграбление немецкой промышленности тоже кажется своеобразной формой мести. Возможно, в СССР вывозимое имущество вовсе не требовалось, но старые трубы и поломанные станки все равно отгружались в стан победителей наряду с произведениями искусства, частным имуществом из брошенных домов и архивными документами, как древними, так и современными. (Причем изначально было ясно, что архивы великого герцогства Лихтенштейн, семейства Ротшильдов, голландских масонов едва ли смогут заинтересовать советских ученых.) Случайных людей, схваченных порой прямо на улицах, заставляли паковать оборудование, требовавшее надзора специалистов, — естественно, результаты были плачевными.

В отличие от кражи часов или велосипедов крупные репарации тщательно планировались наперед, начиная еще с 1943 года. Причем советские власти знали, какую негативную реакцию вызовет подобная политика. По мере того как военная удача склонялась на их сторону, глава советского Института мирового хозяйства и мировой политики Евгений Варга, экономист венгерского происхождения, подготовил документ, оценивавший перспективы массовых репараций и предупреждавший, что подобные акции могут «оттолкнуть рабочий класс» в Германии и в других странах. Варга полагал, что натуральные выплаты предпочтительнее денежных выплат, которые потребуют привлечения банкиров и внедрения капитализма. Он также считал, что те «государства оси», которые примут коммунизм советского типа, следует вообще освободить от репараций⁴⁰. Варга и советский министр иностранных дел Вячеслав Молотов отстаивали смешанную форму репарационного возмещения, предполагавшую конфискацию немецкой собственности за пределами Германии и радикальную аграрную реформу в самой стране, а также ликвидацию германских предприятий и

ропуск их рабочей силы, которую следовало привлечь к принудительному труду в СССР. Их замысел предполагал также снижение германских жизненных стандартов до советского уровня. Позже рецепты Варги в той или иной мере были реализованы в советской зоне оккупации⁴¹.

Союзные державы были осведомлены об этих планах. На Тегеранской конференции Сталин впервые озвучил их, а на Ялтинской конференции советская делегация даже предложила расчленить Германию, сделав Рейнскую область и Баварию самостоятельными государствами, а также разобрать три четверти немецкого промышленного оборудования и 80 процентов его вывезти в СССР. Оценка ущерба, покрываемого таким путем — Сталин говорил о 10 миллиардах долларов, — была взята с потолка. После представления этого плана, последовала скоротечная дискуссия; Черчилль, в частности, указал на то, что драконовские санкции, наложенные на Германию после Первой мировой войны, отнюдь не способствовали миру в Европе. Но Рузвельт не был склонен спорить. Его министр финансов Генри Моргентау также настаивал на расчленении и деиндустриализации Германии, которую он желал видеть чисто аграрной страной⁴². Вопрос, однако, не был окончательно решен даже на Потсдамской конференции, и хотя он обсуждался вплоть до 1947 года, а СССР представил новую цифру ущерба, нанесенного нацистами советской экономике, — 128 миллиардов долларов, делу не удалось придать форму договора.

Но в конце концов это было и не важно, поскольку никакие союзники не могли влиять на то, что делала Красная армия в своей оккупационной зоне. К марту 1945 года специальная советская комиссия уже составила список германского имущества, а к лету около 70 тысяч «экспертов» из СССР прибыли в Германию, чтобы наблюдать за его отгрузкой⁴³. Согласно данным Министерства иностранных дел СССР, которые обобщил Норман Наймарк, с начала оккупации и до августа 1945 года из Восточной Германии было вывезено 1280 тысяч тонн «материалов» и 3600 тысяч тонн «оборудования»⁴⁴. Разумеется, эти цифры могут быть такими же условными, как и сталинские 128

миллиардов долларов, хотя достоверно известно, что из 17 024 средних и крупных предприятий, находившихся в советской зоне, свыше 4500 были демонтированы и вывезены. Еще около полусотни крупных компаний остались в неприкосновенности, но превратились в советские предприятия. В 1945–1947 годах Восточная Германия лишилась от трети до половины своих промышленных мощностей⁴⁵. И хотя прочие союзные державы широко «рекрутировали» немецких ученых и специалистов, в западных оккупационных зонах Германии не наблюдалось ничего подобного. Из-за советских репараций между экономиками восточной и западной частей Германии сразу же возникло различие. Собственно, это было начало реального разделения Германии.

Но даже эти цифры не передают всего масштаба происходящего. Фабрики и заводы можно сосчитать, но вот учесть объемы иностранной валюты, золота или даже продуктов, вывозимых за пределы Восточной Германии, абсолютно невозможно. Немецкие чиновники, работавшие под советским началом, пытались, конечно, вести учет. В архивах департамента репараций хранятся шестьдесят пять учетных карт, на каждой из которых от двадцати до тридцати записей, фиксирующих репарационные изъятия. Здесь есть все, от «шестидесяти восьми бочек краски» до геодезического оборудования и линз с фабрики «Карл Цейс». Если верить этой картотеке, то в октябре 1945 года Красная армия конфисковала даже корма для животных у Лейпцигского зоопарка. А через несколько недель были конфискованы и сами животные, отправившиеся в Россию⁴⁶.

Фирмы, у которых отбирали имущество, зачастую вынуждены были оплачивать его транспортировку в Советский Союз из собственного кармана. Других заставляли продавать товары по заниженным ценам: владелец ковровой фабрики из Бабельсбурга возмущенно сетовал на то, что его вынудили установить скидки для советских военнослужащих. То же самое происходило и с крестьянами, которым русские либо недоплачивали, либо вообще не платили⁴⁷. Демонтаж фабрики иногда сопровождался депортацией ее рабочих, которых про-

сто сажали в поезда, пообещав заключение нового трудового контракта в Советском Союзе⁴⁸. Владельцы предприятий, включая дирекцию Лейпцигского зоопарка, тщетно требовали у Берлина возмещения понесенных убытков. А слушатели засыпали Немецкое радио письмами с одними и теми же вопросами: как немецкие власти рассчитаются с ними за ценности, переданные русским? И когда люди, работавшие на русских, получат зарплату?⁴⁹

Пропадала и частная собственность, чаще всего на том основании, что она принадлежала нацистам, хотя это далеко не всегда было правдой. Русские конфисковали дома и квартиры, загородные дачи, замки. Позже их примеру следовали и немецкие коммунисты, которым требовались партийные офисы, санатории и жилье для новых партийных кадров⁵⁰. Частные автомобили и мебель попали в категорию вещей, обладание которыми не гарантировалось. Сам маршал Жуков, по слухам, обставил личными трофеями несколько московских квартир.

Порой немецкие рабочие пытались спасти свои фабрики, жалуюсь в партийные комитеты, которые, как они надеялись, положат конец произволу. В 1945 году партийное начальство Саксонии обращалось «наверх» с протестом по поводу демонтажа единственного здесь завода, производившего промышленное стекло для местных нужд. «Если это произойдет, — говорилось в заявлении, — то под ударом окажется множество предприятий». Сама компания, тщетно взывая к советскому командованию, городским и земельным партийным инстанциям, решила в конце концов обратиться за помощью к партийным вождям в Берлине. В 1945–1946 годах экономический департамент ЦК партии получал пачки таких писем, но в большинстве случаев он оказывался бессильным⁵¹.

Несмотря на уникальные масштабы немецких выплат, Германия была не единственной страной, подвергавшейся репарациям. Как бывшие нацистские союзники Венгрия, Румыния и Финляндия также обязаны были возместить Советскому Союзу нанесенный ущерб, передавая ему в огромных количествах нефть, суда, промышленное оборудование, продукты и

топливо⁵². Венгерскую контрибуцию приходилось постоянно пересматривать, поскольку галопирующая инфляция не позволяла фиксировать цены. Согласно расчетам, Венгрия обязана была возместить 300 миллионов долларов (в ценах 1938 года) СССР, 70 миллионов Югославии и 30 миллионов Чехословакии. Иначе говоря, на репарационные поставки приходились 17 процентов венгерского ВВП в 1945–1946-м и 10 процентов в 1946–1947 годах. После этого вплоть до 1952 года Венгрия ежегодно передавала победителям 7 процентов своего ВВП⁵³.

Советская оккупация влекла за собой и иные затраты. Обеспечение красноармейцев питанием и жильем огромным бременем ложилось на венгров, которые уже летом 1945 года сетовали на то, что на подобные цели уходит десятая часть государственного бюджета. Венграм приходилось также содержать 1600 гражданских чиновников союзных держав — русских, американцев, англичан, французов, которые тоже обходились недешево. Среди расходных статей, скрупулезно представляемых англосаксами венгерским хозяевам, были счета за «автомобили, лошадей, клубы, виллы, поля для гольфа и теннисные корты». Грандиозный скандал в 1946 году вызвали счета от флористов, о которых написала коммунистическая газета *Szabad Nép*: члены британской и американской миссий отправляли своим новым венгерским подружкам немыслимое количество букетов, а платить за это предлагалось правительству Венгрии⁵⁴.

Членов советской миссии подобные скандалы не коснулись, поскольку чиновники из СССР никому счета не выставляли. Они просто рассматривали все вокруг в качестве военной добычи, конфискуя продукты, одежду, церковную утварь и музейные экспонаты, регулярно вскрывали сейфы и опечатанные хранилища, изымая пачки обесценивавшейся венгерской валюты. Широкую огласку получил случай, когда советское командование, несмотря на протесты венгров, приказало демонтировать англо-американское предприятие по производству электрических лампочек, отправив все оборудование в СССР. В тот период «диких» репараций демонтажу подверглись еще около ста фабрик.

Более сложным был вопрос, касавшийся немецкой собственности в Венгрии. Согласно Потсдамским договоренностям, она должна была отойти Советскому Союзу. И хотя в первоначальный список включили двадцать крупнейших фабрик и шахт, к которым позже добавили еще полсотни компаний, в Венгрии трудно было отделить немецкую собственность от всей остальной. Под видом немецкой собственности отбирались австрийские и чешские предприятия, а также компании, совладельцами которых просто были немецкие акционеры. Еврейская собственность, прежде изъятая немцами, тоже отходила к русским. По мнению советской стороны, у ней было на это полное моральное право, поскольку «все эти предприятия и фирмы были частью германской военной машины и вместе с ней работали на уничтожение Советского Союза»⁵⁵. Лишь с 1946 года, когда инфляция вырвалась из-под контроля, а экономическая стабильность страны оказалась под угрозой, репарационные требования, предъявляемые Венгрии, стали смягчаться, а потом и вовсе были отменены.

Но не только бывшим «странам оси» приходилось платить высокую цену за оккупацию. Хотя в то время об этом знали немногие, Польшу, в нарушение международных соглашений, после войны также заставили выплачивать репарации. В советских военных архивах есть свидетельства о демонтаже и вывозе, наряду с прочими объектами, тракторного завода из Познани, металлургического комбината из Быдгоща, печатной машины из Торуня. Все это оборудование вывозилось из регионов, которые до войны не принадлежали немцам. Аргумент, согласно которому эта собственность подверглась конфискации как немецкая, представляется в высшей степени сомнительным, особенно если учесть тот факт, что большая часть немецкой собственности в Польше (как и в Венгрии) ранее принадлежала полякам или евреям⁵⁶.

Благодаря недавнему открытию архивов сегодня нам известно и о том, что Советский Союз тщательно планировал демонтаж и вывоз «германской» собственности из Верхней Силезии, которая была частью довоенной Польши. (Нижняя Силезия, лежащая севернее, входила в состав германского рейха.) В фев-

рале 1945 года Сталин поручил специальной комиссии составить опись собственности, «приобретенной» в ходе войны, имея в виду ее последующий вывоз. К марту этот орган уже отдал распоряжение о демонтаже и отправке на восток сталелитейного завода и фабрики по производству труб из города Гливице, входившего в состав довоенной Польши. Таким образом, единственное сталелитейное предприятие Украины получило тридцать два состава — 1591 вагон с оборудованием.

В последующие месяцы красноармейцы готовили к отправке предприятия, находящиеся в максимальном удалении от немецкой границы, например в Жешуве, в юго-восточной части Польши. В частности, разбирались электростанции, причем польские власти почти никогда не уведомлялись об этом заранее. Генрик Рожанский, работавший тогда заместителем министра промышленности, позже вспоминал, что русские забирали для вывоза оборудования польские железнодорожные пути и составы. «Они затеяли своего рода игру по перекрашиванию вагонов и нанесению на них новой маркировки, — рассказывал он. — Позже это обернулось серьезным конфликтом между польскими и русскими путейцами». Как-то раз Рожанский поехал в Катовице, где местные рассказали ему, что красноармейцы разбирают здешний завод по производству цинковых белил. Заместитель министра без предупреждения отправился на место и обнаружил, что машины и агрегаты уже валяются в снегу.

Он заявил протест оккупационным властям: в конце концов, это было польское предприятие, до войны располагавшееся на польской территории. Им никогда не владели немцы, и оно никогда не включалось ни в один репарационный договор. Но советское командование проигнорировало его обращение. Польша, возможно, и была союзником, но в глазах советских военачальников она воспринималась как враг⁵⁷.

Вступление Красной армии в Европу, происходившее в 1944–1945 годах, практически не планировалось, а все, что оно за собой повлекло — произвол, хищения, репарации, изнасилования, — отнюдь не было частью какого-то тщательно продуман-

ного плана. Присутствие СССР в регионе стало результатом гитлеровского вторжения в Россию, побед красноармейцев под Сталинградом и Курском и нежелания союзников продвигаться на восток, когда для этого были условия. Но из сказанного вовсе не следует, что советские вожди никогда прежде не рассматривали возможность военного вторжения в регион или что подобная перспектива оставляла их равнодушными. Напротив, советские лидеры неоднократно пытались ниспровергнуть политические устои Восточной Европы.

Если советские солдаты действительно испытывали потрясение, сталкиваясь с относительным европейским изобилием, то основатели советского государства вряд ли были бы удивлены, поскольку прекрасно знали эти края. Ленин провел несколько месяцев в Кракове и польской провинции⁵⁸. Троцкий много лет жил в Вене. Оба пристально следили за германской политикой, считая ее, как и политику Восточной Европы, исключительно важной.

Чтобы понять причины этого, необходимо обратиться к философии, а также к истории, поскольку большевики читали работы Ленина и Маркса не так, как их читают сегодня, когда они вошли в университетские курсы наряду с другими историческими теориями: для них эти тексты представляли несомненный научный факт. В сочинениях Ленина и Троцкого содержалась вполне ясная и столь же «научная» теория международных отношений, согласно которой русская революция была лишь первой в череде будущих коммунистических революций; за ней вскоре должны последовать революции в Восточной Европе, Германии, Западной Европе и потом по всему миру; как только планета окажется под властью коммунистических режимов, коммунистическая утопия будет реализована.

Не сомневаясь в этом светлом будущем, Ленин рассуждал о грядущих потрясениях с уверенностью и даже с какой-то безрассудной безмятежностью. «Зиновьев, Бухарин, а также и я думаю, что следовало бы поощрить революцию тотчас в Италии, — писал он Сталину летом 1920 года. — Мое личное мнение, что для этого надо советизировать Венгрию, а может быть, также

Чехию и Румынию. Надо обдумать внимательно»⁵⁹. А годом ранее он говорил о «всемирном крушении буржуазной демократии и буржуазного парламентаризма» как о чем-то предрешенном⁶⁰.

Большевики вовсе не собирались в ожидании будущих революций сидеть сложа руки. Ощущая себя революционным авангардом, они надеялись приблизить потрясения с помощью пропаганды, политических уловок и даже войны⁶¹. Весной 1919 года они учредили Коммунистический интернационал, широко известный как Коминтерн — орган, открыто стремившийся к ниспровержению капиталистических режимов согласно ленинскому замыслу, изложенному в работе «Что делать?», яростном обличении социал-демократии и левого плюрализма, опубликованном в 1902 году⁶². На деле, как отмечал Ричард Пайпс, Коминтерн объявил войну всем существующим правительствам⁶³.

В обстановке хаоса, царившего в Европе после Первой мировой войны, возможность краха всех существующих правительств отнюдь не казалась невероятной. В послевоенные годы многие полагали, что в первую очередь пророчества Маркса сбудутся на его родине. Версальский договор и предусмотренные им драконовские санкции сразу же после их принятия вызвали бурное возмущение в Германии. Немецкие товарищи, представлявшие тогда наиболее крупную и передовую компартию мира, немедленно попытались использовать ситуацию к собственной выгоде. В 1919 году коммунисты неоднократно стремились поднять восстание в Берлине. Примерно в то же время два ветерана русской революции возглавили восстание в Мюнхене, в ходе которого ненадолго была провозглашена Баварская советская республика. Ленин с энтузиазмом приветствовал эти события. В Баварский рабочий совет были направлены советские представители, прибывшие в Мюнхен как раз накануне падения новой власти.

Немецкие восстания отнюдь не были чем-то случайным. Завершение Первой мировой войны сопровождалось краткосрочным утверждением советской власти и в Венгрии, еще одной стране, жестоко уязвленной послевоенным урегулированием и лишенной победителями двух третей своей территории.

Подобно немецким потрясениям, короткая марксистская революция в Венгрии тоже поддерживалась из Советской России. Ее лидер, Бела Кун, принимал активное участие в российских революционных событиях. Он основал первую иностранную группу в рядах большевистской партии и даже был вхож в дом Ленина. В 1919 году Москва отправила Куна в Будапешт. Возглавляемое им короткое, но кровавое восстание имитировало большевистскую революцию во многих отношениях. Среди всего прочего 133 дня Венгерской советской республики запомнились колоритными молодчиками в кожанках, называвшими себя ленинцами, преобразованием полиции в Красную гвардию и национализацией школ и промышленных предприятий. Но политический руководитель из Куна получился такой же негодный, как и конспиратор (однажды он забыл в венском такси портфель с секретными партийными документами). Конец Венгерской советской республики оказался бесславным: с ней расправились сначала румынские интервенты, а потом авторитарный режим адмирала Миклоша Хорти⁶⁴.

Московские большевики считали все эти неудачи временными. Разумеется, заявляли они, ввиду угрозы со стороны набирающего силу рабочего класса реакционные круги тоже мобилизуются. Конечно, империалисты и капиталисты будут отчаянно сражаться, пытаясь спасти себя. Согласно удивительно гибкой марксистско-ленинской теории, нарастающее сопротивление контрреволюции лишь отражало силу революционного натиска. Но чем острее противостояние, тем больше шансов на то, что капитализм когда-нибудь рухнет. Иного не дано, ибо так говорил Маркс. Первый глава Коминтерна Зиновьев был настолько уверен в приходе победоносной революционной волны, что в 1919 году позволил себе заявить: «Через год мы даже не вспомним, что Европе пришлось сражаться за коммунизм, потому что через год вся Европа будет коммунистической»⁶⁵.

Эту уверенность разделял и Ленин. В январе 1920 года, когда Гражданская война в России подходила к концу, он одобрил план нападения на «буржуазно-помещичью» Польшу. И хотя в

основе конфликта лежали политические и исторические причины — новая российско-польская граница отторгла в пользу польского государства земли, которые ранее Польше не принадлежали, а польские войска пытались приумножить эти приобретения за счет Украины, — главным мотивом войны стала идеология. Ленин был убежден, что будущая война спровоцирует коммунистическую революцию в самой Польше, а потом в Германии, Италии и других странах. По его указанию был учрежден Польский революционный комитет, которому предстояло управлять Советской Польшей. Делегаты Второго конгресса Коминтерна, проходившего в Москве летом 1920 года, оованиями встречали ежедневные сводки о победах Красной армии, отмечая ее продвижение на карте, висевшей на стене рядом с бывшим тронном Романовых⁶⁶. А в Лондоне молодой министр Уинстон Черчилль мрачно предсказывал, что «польская нация станет коммунистическим придатком Советской России»⁶⁷.

К немалому удивлению многих, эта война закончилась поражением большевиков. Поворотным пунктом стала августовская битва за Варшаву, которую в Польше до сих пор называют «чудом на Висле». Поляки не только отразили наступление Красной армии, но и взяли в плен около 95 тысяч красноармейцев. Остальные части противника в беспорядке и панике бежали на восток. Свою небольшую роль в этом провале сыграл и молодой Сталин: как политический комиссар Юго-Западного фронта он не смог обеспечить эффективное взаимодействие частей во время польского контрнаступления. На протяжении всей последующей жизни вождь сохранял чувство оскорбления со стороны «польских панов», сумевших нанести Красной армии столь сокрушительный удар⁶⁸.

Только после этого унижительного поражения большевики сделали вывод о том, что время революции еще не пришло. Польские рабочие и крестьяне, горько сетовал Ленин, не смогли подняться против своих эксплуататоров и вместо этого «нападали на храбрых красноармейцев из засад, забивали их до смерти, морили голодом»⁶⁹. Сталину, как преемнику Ленина, предстояло

объяснить это поражение, заново интерпретировав марксистскую теорию. В 1924 году он с большой pompой объявил, что теперь социализм может быть построен в одной отдельно взятой стране. Как бы банально это ни звучало сегодня, в то время такой шаг стал фундаментальным сдвигом в революционной доктрине, с которого начался разрыв Сталина с его главным партийным соперником — интернационалистом Троцким.

Кроме того, он ознаменовал начало серьезных перемен во взаимоотношениях Советского Союза с внешним миром. После сталинского заявления западные страны начали расширять свои контакты с Москвой. В 1924 году Великобритания объявила о дипломатическом признании СССР. Через девять лет официальные отношения с Советским Союзом установил и новый президент США Франклин Рузвельт. Среди прочих в необходимости такого решения его убеждал и Уолтер Дарэнти, работавший в Москве американский журналист, отличившийся тем, что годом ранее ухитрился «не заметить» массовый голод на Украине. «Слово “большевик”, — писал он тогда в *New York Times*, — перестало очаровывать или вселять ужас.

Советский Союз стал нормальной страной; более того, он, по-видимому, не собирается менять очертания своих границ»⁷⁰.

Но, как выяснилось позднее, о мировой революции не забыли — она просто была отложена. К 1944 году СССР был готов вернуться к этому проекту.

Глава 3

Коммунисты

Тот, кто шельмует Вас,
порочит партию и рабочий класс...
Тех, кто этого не понимает,
Враги народа поджидают.

Поэма, посвященная Вальтеру Ульбрихту¹

Когда-то их имена были начертаны на алых транспарантах, а портреты украшали многотысячные парады. Убранство любого чиновного кабинета не было полным без их фотографии, висящей на стене. Без них не могло обойтись ни одно торжественное мероприятие. Они внушали благоговение и страх. Даже близкие друзья начинали говорить с опаской, стоило им только войти в кабинет. Но сегодня люди, которых иногда называют «маленькими Сталиными» — Вальтер Ульбрихт, Болеслав Берут, Матьяш Ракоши, — не пользуются ни малейшим уважением ни в Германии, ни в Польше, ни в Венгрии. Даже оказавшись на вершине могущества, ни один из них не располагал всей полнотой власти. Рождавшиеся вокруг них культы были лишь бледной копией сталинского культа. Самого Сталина нередко называли «величайшим гением, продолжателем бессмертного дела Ленина», но о его восточноевропейских подражателях нельзя было сказать ничего подобного². В то же время ни одно описание послевоенной Восточной Европы не будет полным без хотя бы краткого знакомства с людьми, чьи имена и лица некогда столь навязчиво украшали улицы бывших социалистических стран.

Из трех упомянутых персонажей Вальтер Ульбрихт, пожалуй, выделялся особенно малообещающей юностью. Сын бедного портного он рано оставил школу, чтобы работать столяром. Позже он присоединился к Образовательной ассоциации молодых рабочих — социалистическому клубу, где осуждались пьян-

ство и азартные игры и поощрялись откровенные дискуссии и воскресные пикники на природе. Во время загородных прогулок члены клуба привязывали к своим дорожным палкам красные платки и распевали марксистские песни. По-видимому, именно в тот период жизни будущий генеральный секретарь фанатично усвоил пуританскую мораль и глубочайшее почтение к толстым книгам³.

Подобно многим своим сверстникам, Ульбрихт в 1915 году был призван в германскую армию, но в 1918-м дезертировал из ее рядов. Глубочайшее впечатление на него произвела скоротечная рабочая революция в Лейпциге, свидетелем которой он стал в том же году после своего бегства из армии. Примерно в то же время будущий вождь немецкого пролетариата открыл для себя марксизм. Как писал один из его биографов, «в нем он увидел относительно простую и убедительную формулу, позволявшую упорядочивать и объяснять все прочитанное, услышанное и увиденное. Здесь скрывалась сама “правда” — та истина, которую правящие классы пытались искоренить и спрятать от народа»⁴.

Этой простой и понятной веры Ульбрихт придерживался до конца своих дней. Когда в конце 1930-х годов в Москве начались показательные процессы, он фанатично поддержал репрессии, которые Сталин обрушил на «троцкистских шпионов нацистского фашизма». Его никогда не беспокоил тот факт, что многие из его немецких товарищей оказались в ГУЛАГе. Возможно, это не было случайным: Ульбрихт явно выигрывал от ареста видных коммунистов, более образованных и более опытных, поскольку их уход облегчал ему путь вверх. В 1938 году, вслед за особенно неистовой волной арестов, он стал представителем Германской коммунистической партии в Коминтерне и переехал в Москву.

Даже после подписания в 1939 году пакта между Гитлером и Сталиным Ульбрихт продолжал поддерживать советского лидера. Это событие спровоцировало глубочайший кризис в рядах немецких коммунистов, которые в большинстве своем ненавидели нацистов. Ульбрихт оказался одним из немногих, у кого не было никаких колебаний в этом вопросе. Даже после того как

Сталин по гитлеровскому запросу выслал из Советского Союза в нацистские концлагеря несколько сотен немецких коммунистов, он продолжал агитировать против «примитивного» антифашизма, имея в виду, вероятно, такое антифашистское мировоззрение, которое не допускало никакого сговора с гитлеровцами. Скорее всего, именно тогда он и завоевал доверие советского диктатора.

К власти его привела явно не харизма. Нацистский офицер, встречавшийся с ним в советском лагере, вспоминал: «Есть коммунисты, которые держат себя в офицерской компании вполне уверенно. ...Но партийные аппаратчики, которые, подобно Ульбрихту, способны только на “диалектические” монологи, просто невыносимы»⁵. Писательница Эльфрида Брюнинг видела Ульбрихта до войны на партийных сходках, которые устраивались в доме ее родителей. «Он всегда торопился, мы ни разу не слышали от него доброго слова. “Глядя на него, просто холодеешь”, — сказала как-то моя мать», — пишет она⁶. Вождь не умел говорить коротко и в свои лучшие годы любил произносить длиннейшие монологи на темы вроде «счастья молодежи». (Возможно, впрочем, что они были интереснее его баснословно длинных выступлений, посвященных, например, «задачам политотделов машинно-тракторных станций» или «роли профсоюзов в демократическом переустройстве экономики», из которых потом составлялись внушительные тома⁷.) Но поскольку все понимали, что Ульбрихт представляет в Германии Советский Союз, до самой смерти Сталина его власть не оспаривалась.

Со временем Ульбрихт оплатил Советскому Союзу за оказанное ему доверие. В начальный период советской оккупации он не допускал ни малейшего обсуждения изнасилований и прочих безобразий, творимых красноармейцами. По словам одного из его сподвижников, «работоспособность Ульбрихта поражала даже врагов. Мы постоянно спрашивали себя: “Как он выдерживает? Двенадцать, четырнадцать, а иногда и шестнадцать часов в сутки!”». Постепенно, однако, приближенные начали осознавать, что все это было не слишком значимым, поскольку

их руководитель «работал сугубо по инструкциям из Москвы, а его талант заключался лишь в том, чтобы реализовать полученные указания применительно к местным условиям»⁸. К концу своей жизни руководитель ГДР во всем подражал Сталину: его дни рождения отмечались с необычайной пышностью, о нем слагались стихи и песни. И если подражание считать самой подлинной формой лести, то Ульбрихта можно считать величайшим льстецом.

По сравнению с Ульбрихтом лидер польских коммунистов Болеслав Берут был персонажем еще менее публичным; о нем известно настолько мало, что даже место его рождения точно не выяснено. Вероятно, его семья была из Восточной Польши, до 1917 года входившей в Российскую империю. Ребенок, по-видимому, посещал русскую школу. Подобно родителям Сталина, родители Берута очень хотели, чтобы их сын стал священником. Но после того как молодой человек принял участие в революционных стачках, охвативших империю в 1905 году, его выгнали из школы. Он вынужден был искать себе работу. Согласно некоторым источникам, он присоединился к масонам, но другие источники эту информацию не подтверждают. Все, однако, единодушно в том, что он очень рано вступил в партию и в 1920-е годы обучался в школе Коминтерна в Москве. До войны он не занимал высоких постов в рядах польских коммунистов, а в стране его практически не знали. Вместе с тем, подобно Ульбрихту, он стал доверенным лицом Коминтерна и на деньги ВКП(б) неоднократно выезжал в Австрию, Чехословакию и Болгарию. В какой-то момент он даже состоял в руководстве Болгарской коммунистической партии. Его работа в Софии, как и в других местах, заключалась в том, чтобы следить за неукоснительным соблюдением сталинской линии местными коммунистами⁹.

Деятельность Берута в годы Второй мировой войны окутана завесой тайны. Известно, что в 1939 году он жил в Варшаве, после начала германского вторжения в Польшу перебрался в Советский Союз и оставался в Киеве до мая 1941 года. Для поль-

ского коммуниста того периода это было весьма необычное место пребывания: в большинстве своем они отправлялись в подвергаемые советизации регионы Западной Украины и Западной Белоруссии, где им предлагались ответственные посты, а некоторые уезжали в другие регионы СССР. После 1941 года картина становится еще более туманной. В секретной биографической справке, подготовленной международным отделом ВКП(б) в 1944 году, говорится, что «с момента нападения Гитлера на Советский Союз информация о Беруте отсутствует»¹⁰. Польский коммунист, встретивший его в Варшаве в конце войны, вспоминает: «Мы ничего не знали о его прошлом. Он просто появился ниоткуда»¹¹.

По некоторым сведениям, в июне 1941 года, когда началось гитлеровское вторжение в СССР, Берут был в Белостоке, откуда отправился в Минск. Но в белорусской столице его следы теряются. В Минске у него были любовница и ребенок; подобно другим революционерам, он давно простился со своей прежней семьей. Он устроился на работу в учрежденную фашистами городскую администрацию, где, скорее всего, выполнял функции советского агента. Ходили слухи, что будущий польский руководитель сотрудничал с гестапо и даже провел часть войны в Берлине¹². Говорили также и о том, что на протяжении всей своей карьеры он оставался секретным сотрудником НКВД¹³.

Истиной может оказаться и то и другое: Берут мог просто несколько раз сменить знамена. Сталин, как известно, предпочитал продвигать людей, за которыми числились какие-то тайны, которые служили дополнительными инструментами контроля. Поскольку особого доверия к польским коммунистам у него не было, он вполне мог предпочесть осведомителя Берута «истово верующему» Ульбрихту. Ведь веру в коммунизм можно утратить, но шантаж работает вечно.

Какими бы ни были причины этого, но у Берута установились нетипично хорошие отношения с советским руководством, а также наладились каналы коммуникации, закрытые для чужих глаз и ушей. Кроме того, с советской точки зрения он всегда был в высшей степени покладистым и услужливым. Британский

политический деятель Энтони Иден, однажды присутствовавший при разговоре Берута со Сталиным, назвал польского коммуниста «сервильным». Владислав Гомулка — основной конкурент Берута в партии и потому не слишком беспристрастный свидетель — утверждает, что слышал, как Сталин кричал на Берута в октябре 1944 года, когда тот робко усомнился в необходимости планируемого Красной армией разгрома польского антифашистского подполья. Тогда некоторые польские коммунисты были даже готовы действовать заодно с некоммунистическими партизанами, но «отец народов» решительно отверг эту идею. Беруту не оставалось ничего иного, как взять под козырек. Он делал это неоднократно: и когда в 1949 году от него ждали внутрипартийной чистки, и когда нужно было распустить польский офицерский корпус, и когда потребовалось привить деятелям польского искусства любовь к социалистическому реализму. Не имеется ни одного свидетельства того, что Берут когда-либо осмеливался возражать Сталину.

Матяш Ракоши, третий «маленький Сталин», начинал свой жизненный путь не так, как его марксистские коллеги. Если Ульбрихт был рабочим, а Берут, возможно, крестьянином, то Ракоши родился в семье еврейского торговца. Ему удалось получить неплохое образование. Согласно автобиографии, он появился на свет в венгерской части нынешней Сербии и был четвертым ребенком в семье, где воспитывались двенадцать детей. Его отец разорился, когда мальчику было шесть лет, и после этого семейство неоднократно меняло место жительства. Товарищи по школе смеялись над его бедняцким происхождением, и Ракоши довольно рано увлекся левым радикализмом; в школе ему даже запрещали произносить политические речи. Юноша прославился также своими «дурными манерами». Он намеренно подбирал при разговоре грубые слова, чтобы задеть людей, особенно когда ему казалось, что они благородного происхождения¹⁴.

Отслужив в армии и отсидев пару лет в качестве политзаключенного в России, Ракоши в 1918 году принял участие в создании

Венгерской коммунистической партии. В 1919 году он стал одним из лидеров недолговечной Венгерской советской республики. За трехмесячное существование этого режима он успел побывать командующим Красной гвардией, комиссаром по вопросам продовольствия и заместителем комиссара по торговле. После краха советской власти в Венгрии он, отсидев в австрийской тюрьме, попал в Москву, где в 1921 году кратко виделся с Лениным. Со временем эта история превратилась в миф о том, что Ракоши был «другом и сподвижником» Ленина¹⁵.

Подобно Беруту и Ульбрихту, Ракоши в 1920-е годы тесно взаимодействовал с Коминтерном и неутомимо колесил по Европе, выполняя поручения этой организации и советских спецслужб. В 1924 году он вернулся в Будапешт под видом венецианского торговца. Здесь он постарался воссоздать коммунистическую партию, запрещенную после ее катастрофического правления в 1919 году. После ареста в 1925 году Ракоши оказался в центре громкого и широко освещавшегося судебного процесса. Несмотря на международную кампанию по его освобождению, следующие пятнадцать лет ему пришлось провести в тюрьме, где он осваивал русский язык и обучал марксизму других заключенных.

В 1940 году ему разрешили выехать в СССР; после подписания германо-советского пакта венгерский авторитарный режим позволил многим коммунистам покинуть страну. В республике Советов его встретили как героя; во время празднования очередной годовщины Октябрьской революции он даже стоял на трибуне Мавзолея рядом со Сталиным. Ракоши быстро сделали одним из руководителей радиостанции «Кошут», транслировавшей на Венгрию советские пропагандистские передачи, и он возобновил знакомства в Коминтерне¹⁶. Чувствуя себя в Советском Союзе как дома, он даже женился на сотруднице прокуратуры, якутке, первый муж которой был офицером Красной армии¹⁷.

Карьера Ракоши в качестве венгерского «маленького Сталина» была похожа на восхождение других восточноевропейских диктаторов еще в одном отношении. Ракоши довольно

рано осознал, что единственно возможный путь вверх предполагает раболепное следование указаниям Сталина. В послевоенный период Венгерская коммунистическая партия не принимала без советского одобрения ни одного решения. Ракоши с готовностью признавал этот факт. В своих мемуарах он откровенно писал, например, что в 1945 году Сталин попросил его воздержаться от участия в переговорах по формированию правительства из-за того, что он был слишком тесно связан с Венгерской советской республикой 1919 года, а также по той причине, что он еврей. Советский вождь полагал, что эти обстоятельства могут быть использованы политическими оппонентами, и Ракоши не возразил ни по одному из пунктов¹⁸.

Несомненно, все три персонажа очень разнились как характерами, так и личной манерой поведения. Словоохотливый Ракоши был если и не любим, то весьма популярен в своей стране на протяжении многих лет. Большинство поляков, включая многих коммунистов, абсолютно не знали Берута. Ульбрихт же был знакомым, но не слишком популярным лицом в партии, а за пределами партийного круга оставался малоизвестным.

И все же, как выяснили биографы, у этой троицы было и кое-что общее. Каждый из них тесно сотрудничал с Коминтерном. Каждый пережил войну либо перебравшись в Москву, либо опираясь на московскую помощь. В стенографических записях, ставших широко известными позднее, все они значились как «московские» коммунисты, то есть люди, прошедшие подготовку в Советском Союзе, — в противовес коммунистам, которые делали карьеры в своих странах или провели военные годы в Западной Европе и Америке. С советской точки зрения последние две группы в меньшей степени заслуживали доверия: за пределами СССР они вполне могли обзавестись подозрительными идеями или сомнительными контактами.

«Московские» коммунисты сыграли решающую роль в формировании послевоенных правительств по всей Европе. Клемент Готвальд, чехословацкий «маленький Сталин», был одним из руководителей Коминтерна, как и Иосип Броз Тито,

партизанский командир, позже ставший югославским диктатором. Георгий Димитров, болгарский «маленький Сталин», на протяжении почти десяти лет оставался ключевой фигурой в том же Коминтерне. Морис Торез, руководитель Французской коммунистической партии, и Пальмиро Тольятти, возглавлявший коммунистов в Италии, тоже были «московскими» коммунистами. Оба вождя имели тесные связи с Коминтерном. Одним из редких исключений стал румынский лидер Георге Георгиу-Деж, «местный» коммунист, но и он не упускал возможности продемонстрировать свою верность товарищу Сталину.

Хотя на плакатах и в газетах мелькали в основном первые лица, «маленькие Сталины» обычно работали в окружении других «московских» коммунистов, которые поддерживали и развивали их взгляды, а иногда и присматривали за ними по поручению Москвы. Для Берута ключевыми партнерами были отвечавший за идеологию и пропаганду Якуб Берман и контролировавший экономику Хилари Минц, которые поддерживали его в противостоянии с «местными» коммунистами. В Венгрии Ракоши также возглавлял тройку «московских» коммунистов. Помимо вождя, в нее входили Йозеф Реваи и Эрнё Герё, тоже отвечавшие за идеологию и экономику соответственно. Еще одним важным его сподвижником был Михай Фаркаш, министр обороны в 1948–1953 годах. Все они, по-видимому, помогали боссу противостоять «будапештским» коммунистам.

В Германии важнейшую роль в окружении Ульбрихта играл Вильгельм Пик — человек из Коминтерна, занимавший пост генерального секретаря этой организации в 1938–1943 годах. С самого начала советской оккупации немецкие коммунисты, возвращавшиеся в Берлин из Москвы, имели более высокий статус, чем их единомышленники, нашедшие убежище во Франции (многих из них преследовали французские власти), Марокко (они бегло упоминаются в фильме «Касабланка»), Швеции (где некоторое время жил Брехт), Мексике (эта страна очень дружелюбно относилась к коммунистам) и Соединенных Штатах. В глазах советского руководства они были даже надежнее тех немецких коммунистов, которые работали в подполье в

нацистской Германии. Марксисты, отсидевшие при Гитлере в концлагерях, никогда не пользовались полным доверием советских оккупационных властей. Более того, дело обстояло так, будто бы само пребывание в рейхе порочило их в глазах Москвы.

По всей Восточной Европе «московских» коммунистов объединяли не только единая идеология, но и общая приверженность провозглашенной Коминтерном линии на мировую революцию, за которой должна была воцариться всемирная диктатура пролетариата. Хотя курс на построение социализма в одной отдельно взятой стране положил конец открытой конфронтации между Советским Союзом и западноевропейскими странами, он не мешал коммунистам и их спецслужбам замышлять насильственные преобразования, пусть даже осуществляемые с помощью шпионов и интриг, а не Красной армии. Фактически 1930-е годы, которые поэт Уистен Хью Оден назвал «десятилетием позора», стали для советской внешней политики периодом хитроумного и творческого обмана. Так, в Великобритании советским агентам удалось завербовать одиозную «кембриджскую пятерку», в которую входили Гай Бёрджесс, Ким Филби, Дональд Маклин, Энтони Блант и (возможно) Джон Кернкросс, а в США ими были рекрутированы Альгер Хисс, Гарри Декстер Уайт и Уиттакер Чамберс.

По крайней мере в одном отношении эти англо-американские агенты были похожи на «московских» коммунистов из Восточной Европы: все они стремились работать в тесном контакте с НКВД. Большинство европейских коммунистов тогда поступали так же. Хотя сегодня их прошлые связи с советскими секретными органами заставляют европейские коммунистические партии чувствовать неловкость, в свое время они несколько не смущали европейских коммунистических лидеров. В целом те граждане Запада, кто был убежден в желательности мировой революции, также полагали, что во главе революционного порыва встанет советская коммунистическая партия, которой будут помогать советские спецслужбы. Даже американские коммунисты принимали от СССР деньги, нередко передаваемые по каналам Коминтерна¹⁹. Многие левые интеллектуалы вполне осо-

знанно и на регулярной основе встречались с агентами НКВД²⁰. В тот период, в отличие от более позднего времени, отнюдь не считалось зазорным принимать от Москвы материальную помощь или оказывать содействие советским спецслужбам. «Истинно верующие» не делали различия между целями СССР, Коминтерна и советских шпионов; они казались им взаимозаменяемыми.

Но мужчин и женщин, вставших после войны во главе восточноевропейских стран, объединяли не только идеи международного коммунистического движения, но также особая культура и жесткие организационные принципы. К 1940-м годам большинство коммунистических партий Европы скопировали большевистские идеи иерархии и номенклатуры. В каждой стране их лидером был генеральный секретарь, а правящая группа называлась «политбюро». Она, в свою очередь, контролировала центральный комитет, более широкий пул аппаратчиков, многие из которых имели свою специализацию. Центральный комитет надзирал за региональными партийными комитетами, а те присматривали за местными партийными ячейками. Низы были полностью подотчетны верхам, а люди, находящиеся наверху, всегда знали, что происходит внизу.

Жители Советского Союза были особенно чутки к иерархическим правилам. Тем, кто был в милости у иерархии, выделялось щедрое поощрение. В 1920–1930-е годы «привилегированной кастой» были политэмигранты. «Мы жили совершенно обособленно, как государство в государстве, — писал один из них. — Нас бесплатно размещали в гостиницах, выплачивали приличное месячное содержание, бесплатно снабжали одеждой. Мы выступали на митингах в фабричных клубах и школах, после которых нас обычно угощали на банкетах. Предполагались также бесплатные походы в театр и прочие развлечения. Те политэмигранты, которые, побывав в фашистских и капиталистических застенках, лишались здоровья, отправлялись в специальные госпитали и санатории на Черноморском побережье. Поскольку политэмигранты пользовались привилегированным статусом, русские девушки увивались за ними толпами»²¹.

Самые высокопоставленные зарубежные коммунисты — вер-хушка Коминтерна, руководители национальных компартий — жили в апартаментах отеля «Люкс» неподалеку от Кремля. Их дети ходили в специальные школы. И Маркус Вольф, ставший потом наиболее известным шефом секретной службы ГДР, и Вольфганг Леонард, оказавшийся позже самым высокопостав-ленным перебежчиком из Восточной Германии, посещали в Москве одну и ту же школу для детей немецких коммунистов. Люди, не имевшие такого завидного положения, работали в иноязычных советских газетах и в Международной организации помощи борцам революции, оказывавшей содействие комму-нистам в западных тюрьмах. Некоторые трудились на заводах и фабриках по всей стране.

И все же, даже занимая самое высокое положение и пребывая в фаворе, эти высокопоставленные иностранцы абсолютно зависели от воли своих советских хозяев и в особенности от при-чуд Сталина. В дневниках Георгия Димитрова эта беспощадная зависимость иллюстрируется с почти пародийной повторяе-мостью. На протяжении десятилетия он педантично фиксиро-вал все свои встречи и разговоры со Сталиным, включая те эпи-зоды, когда он звонил генералиссимусу, а тот, узнав его по голо-су и не желая разговаривать, немедленно вешал трубку²².

Подобно многим, Димитров знал, что его привилегирован-ный статус эфемерен, в чем некоторым пришлось убедиться на собственном опыте. В конце 1930-х годов, когда Сталин занялся чисткой верхов своей собственной партии, иностранные комму-нисты тоже попали в жернова. В разгар паранойи, охватившей НКВД, иностранцы оказались первейшими жертвами преследо-ваний. Польскую коммунистическую партию, которой Сталин и без того никогда не доверял (в НКВД был специальный сотруд-ник, занимавшийся ее делами в Москве), уничтожили практи-чески полностью. Из тридцати семи членов ее ЦК как минимум тридцать были арестованы в Москве; в большинстве они были расстреляны или сгинули в ГУЛАГе. Сама партия была распуще-на на том основании, что в нее «проникли шпионы и провока-торы»²³.

Аресту в Москве подверглись и другие видные иностранные коммунисты — среди них была, в частности, мать упомянутого Вольфганга Леонарда. Каждый ждал, что он будет следующим. Даже Маркус Вольф в своей тщательно отредактированной автобиографии писал о том, что его родители «очень страдали» из-за арестов: «Однажды поздним вечером вдруг позвонили в дверь, и мой обычно уравновешенный отец вскопился и разразился яростными проклятиями. Когда оказалось, что поздним гостем был всего лишь сосед, желавший одолжить соль или спички, отец успокоился, хотя руки у него тряслись еще не менее получаса»²⁴. В гостиницах и общежитиях, где проживали иностранцы, аресты шли волнами: «польская», «немецкая», «итальянская» ночи сменяли друг друга. После подобных акций в коридорах отеля «Люкс» воцарялась «удушающая» атмосфера, рассказывает немецкая коммунистка Маргарита Бубер-Нойманн. «Былые политические единомышленники больше не навешали друг друга. Ни войти в “Люкс”, ни выйти из него без специального пропуска было невозможно, а паспортные данные всех гостей тщательно фиксировались. Все телефоны в отеле прослушивались с центрального коммутатора, и мы постоянно слышали щелчок, свидетельствовавший о том, что к линии подсоединяется посторонний»²⁵. В 1938 году эта женщина сама была арестована и отправлена в ГУЛАГ. Это произошло через год после того, как арестовали и расстреляли ее мужа.

В 1930-е годы жизнь верных коммунистов, оказавшихся в Москве, была в опасности, но в их родных странах ситуация зачастую была не лучше. В межвоенный период власти многих государств воспринимали коммунистов как агентов иностранной державы (и некоторые из них действительно таковыми являлись). После большевистского нападения на Польшу коммунистическая партия в этой стране была запрещена, а многим местным коммунистам пришлось провести долгие годы в польских тюрьмах. Тогда они не догадывались, что это большая удача; по крайней мере им удалось спастись от Сталина. То же можно сказать и о Венгрии, где межвоенный авторитарный режим Хорти преследовал партию из-за ее связей с советской

агентурой, а также из-за горькой памяти о провалившемся коммунистическом путче 1918 года и разрушительной диктатуре Куна. Находясь на нелегальном положении, венгерские коммунисты, по словам одного из ветеранов, сформировали «жесткую и иерархическую организацию», почти не допускавшую внутренней демократии и инакомыслия. Более того, «такой тип организации идеализировался и превозносился»²⁶.

Германская коммунистическая партия, напротив, после 1918 года стала мощной и легальной силой, на пике своего расцвета собиравшей около 10 процентов голосов на общенациональных выборах. Но после прихода Гитлера к власти в 1933 году немецких коммунистов тоже стали преследовать и бросать в тюрьмы. Эрнст Тельман, харизматичный лидер партии, был арестован в 1933-м и расстрелян в Бухенвальде в августе 1944-го. Если бы он выжил, «московские» коммунисты неминуемо относились бы к нему с подозрением. В 1941 году Сталин говорил Димитрову о том, что Тельмана использовали в своих интересах разные политические силы, а его письма несут на себе «отпечаток фашистской идеологии». Впрочем, это суждение не помешало превращению Тельмана в героя-мученика в послевоенной ГДР²⁷.

Несмотря на все эти препятствия и проблемы, международное коммунистическое движение процветало в 1930-е годы на большей части Европы. Именно тогда восточноевропейские интеллектуалы начали массово вступать в партию — во многом потому, что перед ними открывалось не так уж много иных возможностей. Ведь для жителей Восточной Европы западная часть континента в то время выглядела не слишком привлекательной. Их пугало возвышение Гитлера и Муссолини и неспособность своих лидеров справиться с ними. Их возмущали слабость и недалекость Великобритании и Франции; обе эти страны переживали экономическую депрессию, а ими руководили люди, рассчитывавшие на «умиротворение» фашизма. После 1933 года Коминтерн разрешил легальным коммунистическим партиям присоединяться к «народным фронтам» — массовым движениям, которые должны были объединить коммунистов, социал-демократов и других левых против правой угрозы,

распространявшейся по Европе. Такая коалиция управляла Францией с 1936 по 1938 год, а в Испании «народный фронт» выиграл парламентские выборы 1936 года. Обе коалиции, как и их аналоги в Восточной Европе, поддерживались Советским Союзом.

В то же время многие интеллектуалы испытывали разочарование в политике, традициях, культуре своих стран. Историк Марчи Шор проследила эволюцию, которая привела многих польских литераторов из авангардистского искусства в левую политику — или, скорее, от наблюдений, согласно которым «Бог умер», а «с реализмом покончено», к убеждению в том, что советский коммунизм заполнит образовавшиеся пустоты. В 1929 году поэт Юлиан Тувим, ранее придерживавшийся левоцентристских и патриотических взглядов, выразил свое разочарование тем, как патриотизм эксплуатируется правящей элитой. В стихотворении «К простому человеку» он адресовал соотечественникам следующий призыв:

За их дела не стоит биться!
Ткни в землю штык и будь таков!
И от столицы до столицы
Кричи, что крови не пролиться!
Паны! Ищите дураков!

(Пер. Д. Самойлова)

Эти слова отнюдь не были «криком души» марксиста: Тувим считал свое стихотворение пацифистской декларацией. Тем не менее оно помогает понять, почему этот писатель сотрудничал — до определенной степени — с коммунистическим режимом после войны²⁸. Писательница Ванда Василевская, которая была одним из лидеров польских коммунистов в годы войны, в ту пору пережила похожую эволюцию. Ее отец был министром в одном из межвоенных правительств Польши, а она, будучи совсем молоденькой девушкой, активно участвовала в деятельности легальных социалистических объединений. Лишь после того как шаткая польская демократия выродилась в недолговечную диктатуру, она встала на путь радикализма. Сокрушаясь о

провале центризма и демократии, она с энтузиазмом присоединилась к забастовке учителей, потеряла работу и примкнула к коммунистам²⁹.

Описывая обстановку того времени, Шор опирается на польские материалы, но аналогичные процессы происходили и в других европейских странах, как на Востоке, так и на Западе. Неудовлетворенность капитализмом и демократией в 1930-е годы толкнула многих европейцев в объятия левых радикалов. Кому-то стало казаться, что выбор ограничен Гитлером, с одной стороны, и Марксом — с другой. Эта поляризация вдохновляла людей на обоих флангах. В глазах нигилистов, экзистенциалистов или интеллектуалов иных взглядов коммунизм приобрел авангардистскую ауру. Жан-Поль Сартр, «властитель дум» того времени, стал его энергичным попутчиком. Разумеется, он никогда не мог заставить себя безоговорочно признать жестокость советского режима. «Как и вы, я считаю эти лагеря недопустимыми, — говорил он Альберу Камю, рассуждая о советском ГУЛАГе. — Но столь же недопустимо их каждодневное упоминание в буржуазной прессе»³⁰.

До 1939 года и умеренные левые, и стойкие антифашисты могли поддерживать Советский Союз без особых раздумий. Но в тот год советская внешняя политика радикально поменялась — и попутчикам теперь стало нелегко поспевать за ней. В августе Сталин подписал с Гитлером пакт о ненападении. Как уже отмечалось во введении к этой книге, в секретных протоколах к этому пакту два диктатора поделили Восточную Европу. Сталин получил Балтийские государства, восточную Польшу и северную Румынию (Бессарабию и Буковину). Гитлеру досталась западная Польша, а также возможность вести себя как дома в Венгрии, Румынии и Австрии — без возражений советской стороны. Подписав пакт, Гитлер 1 сентября 1939 года вторгся в Польшу, а это вынудило Великобританию и Францию объявить немцам войну. Менее чем через три недели на Польшу напал и Сталин. Части вермахта и Красной армии сошлись на линии новой границы и, обменявшись рукопожатиями, договорились

не трогать друг друга. Всего за одну ночь коммунистические партии всего мира получили указание сбавить критику в адрес фашизма. Гитлер, конечно, не был союзником, но и врагом он тоже не был. Вместо нападок на Гитлера товарищам рекомендовали описывать разгоравшуюся войну как столкновение между «двумя группами капиталистических стран, преследующих собственные империалистические интересы». Им также предписывалось покинуть народные фронты, которые «лишь оправдывали капиталистическую систему угнетения трудящихся».

Этот тактический маневр нанес колоссальный удар по коммунистической солидарности. Германская коммунистическая партия оставалась яростно антифашистской, и для многих ее членов идея соглашения с Гитлером была абсолютно неприемлемой. Польская коммунистическая партия раскололась на тех, кто приветствовал советское вторжение в восточную Польшу — они рассчитывали на административные должности и рабочие места, и тех, кого ужасало исчезновение их страны с карты мира. В других странах коммунисты испытывали огромное замешательство из-за новой системы отношений, которую им пришлось осваивать, откликаясь на происходящие события. Сам Коминтерн мучился над своими «тезисами», переписывая их снова и снова настолько часто, что один из членов политбюро едко заметил: «Товарищ Сталин за это время успел бы написать целую книгу!»³¹. Москва отчаянно пыталась сохранить высокий моральный дух в рядах своих последователей. Так, согласно имеющимся данным, в феврале 1941 года Ульбрихт встречался с членами Германской коммунистической партии в московском отеле «Люкс», чтобы ободрить их, в частности, рассуждениями о том, что война закончится целой серией ленинских революций. Немецкие коммунисты в Москве, говорил он, должны готовить к такому повороту событий³².

И все же на протяжении двадцати двух месяцев СССР и нацистская Германия оставались настоящими союзниками. Советский Союз продавал немцам нефть и пшеницу, из Германии в ответ шли в СССР промышленное оборудование, технологии, образцы вооружения. Советские власти предложи-

ли немцам использовать базу для подводных лодок в Мурманске. Заключение пакта привело также к обмену узниками: в 1940 году несколько сотен немецких коммунистов были доставлены из ГУЛАГа на советско-германскую границу. Маргарита Бубер-Нойманн была среди них. На границе измученные немецкие коммунисты попытались примириться со старыми врагами: «Эсэсовцы и гестаповцы встретили нас нацистским салютом и гимном *Deutschland, Deutschland über Alles*. Поколебавшись, наши люди подхватывали мотив — лишь немногие не вскидывали вверх руки и не пели. Среди них был и один еврей из Венгрии»³³. Несмотря на эту демонстрацию лояльности, большинство депортированных коммунистов закончили свои дни в нацистских тюрьмах и лагерях. Саму Бубер-Нойманн прямо с границы доставили в концлагерь Равенсбрюк, где она находилась до конца войны. Отсидев и в ГУЛАГе, и в гитлеровском лагере, она оказалась жертвой двух диктатур по очереди. В Западной Европе подобные истории быстро забылись: ведь здешняя война была войной против Германии. Но в Восточной Европе о них помнили очень долго.

Парадоксальным образом нападение Гитлера на Советский Союз, состоявшееся в июне 1941 года, вернуло международному коммунистическому движению жизненную силу. Теперь, когда Сталин стал злейшим врагом Гитлера, коммунистические партии обеих частей Европы снова объединились вокруг Страны Советов. В свою очередь, в СССР вновь начали воспринимать иностранных коммунистов с энтузиазмом: теперь они рассматривались как союзники, «пятая колонна» внутри оккупированной нацистами Европы. Тактическая линия Сталина приспособливалась к новым обстоятельствам. Международному коммунистическому движению опять поручили объединиться с социал-демократами, центристами и даже капиталистами ради создания «национальных фронтов», способных победить Гитлера.

Лояльных коммунистов забрасывали в их родные края, хотя не все проекты такого рода увенчались успехом. В конце 1941 года

Красная армия помогла первой группе «московских» коммунистов перебраться в оккупированную нацистами Польшу, где с помощью радиооборудования и переданных НКВД контактов они в феврале 1942 года основали новую Польскую рабочую партию (*Polska Partia Robotnicza*)³⁴. Очень скоро товарищи перессорились между собой, испортив при этом отношения с другими группами Сопротивления; как предполагается, по меньшей мере раз они сотрудничали с гестапо в ходе операции против Армии крайовой. Один из группы убил другого во время ссоры. В конце концов группа утратила радиокontakt с Москвой и, пока длилось эфирное молчание, избрала другого командира³⁵. Им стал Владислав Гомулка, не сумевший заручиться расположением Кремля ни тогда, ни позже. Озабоченный такой самостоятельностью, Советский Союз направил «своим» коммунистам нового лидера, но тот, прыгая с парашютом, был ранен и покончил с собой, чтобы не попасть в плен. В результате Гомулка оставался фактическим вождем Польской рабочей партии до тех пор, пока в конце 1943 года в страну не прибыл Берут.

Теперь, когда Москва отчаянно нуждалась в новых, подготовленных кадрах, Коминтерн внезапно вновь обрел важность. По соображениям безопасности его штаб-квартиру переместили в далекую Башкирию, в Уфу, где можно было обучать новое поколение коммунистической агентуры, не опасаясь бомбежек или внезапных атак. Там, в глубоком тылу, СССР начал готовить кадры для послевоенного мира. Коминтерн не впервые брался за такую задачу: созданный политбюро специальный комитет, в состав которого входил и Сталин, курировал создание первого такого учебного центра в Москве в 1925 году. Для первых слушателей задавались весьма высокие стандарты. Им предписывалось владеть английским, немецким или французским языком, знать наиболее важные работы Маркса, Энгельса и Плеханова, пройти специальный тест Коминтерна, а также доскональную проверку личных данных. «Это чрезвычайно важно, — подчеркивали чиновники Коминтерна в то время, — поскольку учебное заведение потеряет всякий смысл, если туда не будут отобраны подходящие люди»³⁶.

С самого начала средоточием учебного курса были марксистские дисциплины — диалектический материализм, политэкономика, история ВКП(б), хотя слушателям предлагались и практические навыки. Порой обращение к практике выглядело весьма забавно. Слушателей, например, попытались учить жизни на советских фабриках («чтобы они могли познать диктатуру пролетариата изнутри»), но из этого ничего не вышло, так как на определенном для выполнения этой задачи металлургическом комбинате не нашлось работы для неквалифицированных людей, в большинстве своем к тому же не говоривших по-русски. В итоге рабочие лишь посмеялись над ними³⁷. Что еще хуже, внутри каждой коммунистической партии были споры и разногласия, и всегда находились товарищи, заявлявшие, будто в условиях их страны советский опыт будет неприменимым. Документы Коминтерна 1930-х годов изобилуют взаимными обвинениями и контробвинениями. В биографиях некоторых слушателей обнаруживались «темные пятна»: «буржуазное происхождение» не позволяло им руководить рабочим классом. К разочарованию организаторов, образцовыми революционерами оказывались лишь немногие³⁸.

Впрочем, к 1941 году Коминтерн уже набрался опыта, и накануне гитлеровского нашествия набор слушателей проводился более упорядоченно. Зарубежные партийные лидеры, находившиеся в Москве, незамедлительно развернули сложную процедуру розыска своих товарищей во всевозможных тайных убежищах и лагерях для беженцев, где они спасались от войны, а также от советских лагерей. Тех, кто находился под арестом или уже провел несколько лет в ГУЛАГе, немедленно реабилитировали — лишь бы человек на тот момент оказался в живых.

Немецкие лидеры Ульбрихт и Пик особенно прилежно разыскивали немецких коммунистов, разбросанных по всему Советскому Союзу. Среди прочих они нашли молодого Вольфганга Леонарда, в начале войны высланного в казахстанскую Караганду, где он отчаянно голодал. Свалившееся буквально с небес официальное письмо в июле 1942 года безапелляционно вызвало его в Уфу. Все обстоятельства его первого знакомства с Коминтерном военной поры были весьма таинственными. Вход

в главное здание был декорирован роскошными колоннами, но при этом вывеска отсутствовала и ничто не указывало на то, что здесь располагался штаб мирового коммунистического движения. По приезде Леонарда немедленно покормили: было впечатление, что прибывавшие сюда товарищи не ели по несколько дней. Затем состоялась краткая встреча с начальником отдела кадров, который без всяких объяснений объявил молодому коммунисту, что скоро ему предстоит ехать дальше: «Мы укажем вам конечный пункт маршрута».

В течение следующих нескольких дней он встретил много старых друзей, в основном детей немецких коммунистов, вместе с которыми учился в московской школе и ходил на комсомольские собрания. Никто из них не рассказывал о недавнем прошлом, не делился планами на будущее и даже не отзывался на свое подлинное имя. «Постепенно я понял, — говорит Леонард, — что тут вообще не принято много говорить, а область молчания весьма обширна». Вскоре нашего героя столь же внезапно оповестили о том, что ему пора уезжать. Речная посуда переправила его через реку, потом путь продолжился в грузовике, а затем пешком. В конце концов он прибыл на старую ферму, в которой и располагалась школа Коминтерна. В обстановке глубочайшей секретности молодой коммунист приступил к занятиям³⁹.

В последующие несколько месяцев Леонард и его товарищи слушали стандартные лекции по марксизму, диалектическому и историческому материализму. Особый акцент делался на историю коммунистических партий отдельных стран и историю самого Коминтерна. Студенты также получили доступ к закрытым докладам и материалам, недоступным для рядовых советских граждан. В силу важности их будущей миссии им также разрешили знакомиться с нацистской и фашистской литературой. Как отмечает Леонард, это позволило им лучше понимать врага: «Мы по очереди представляли перед всей группой ту или иную идеологическую доктрину нацизма, в то время как нашим товарищам надо было критиковать ее, предлагая все новые аргументы. Студент, выступавший на стороне нацистов, должен был излагать свои взгляды с максимальной четкостью и убедитель-

ностью; чем лучше он представлял нацистскую точку зрения, тем выше была его оценка»⁴⁰. Но, несмотря на то что нацистскую литературу студентам разрешали читать, сочинения коммунистических диссидентов или противников Сталина в школе были запрещены: «В то время как на прочих семинарах поддерживался весьма приличный уровень дискуссии, семинар, посвященный троцкизму, сводился к неистовым и яростным обличениям»⁴¹.

В войну работало несколько подобных школ, причем не только для коммунистов, но и, например, для офицеров «дивизии Костюшко», польского подразделения Красной армии, а также для пленных немецких офицеров, направляемых на «перевоспитание». Многие политики, которым в будущем предстояло занять видные посты в послевоенных коммунистических государствах, обучались в них сами или посылали туда своих детей. Жарко, сын Тито, был одним из товарищей Леонарда. С ним училась и Амайя Ибаррури, дочь испанской коммунистки Долорес Ибаррури (Пассионарии), одного из самых прославленных ораторов испанской Гражданской войны.

В этих школах выступали весьма яркие личности. Так, Якуб Берман, который позже курировал вопросы идеологии, безопасности и пропаганды в Польше, преподавал польским коммунистам в Уфе начиная с 1942 года. Уже в то время, как и позднее, он старался неукоснительно следовать партийной линии. Он, в частности, поддерживал самые тесные отношения с Софией Дзержинской, вдовой основателя советской тайной полиции Феликса Дзержинского, поляка по национальности. Эта женщина была кем-то вроде крестной матери польских коммунистов, живших в Советском Союзе, и Берман бережно хранил копии адресованных ей своих писем. Хотя они довольно официальные и не слишком содержательны, из них можно вывести определенное представление о том, какой была жизнь в военной Уфе. Берман рассказывал своей корреспондентке, что часто ходит слушать других лекторов, среди которых были Пик из Германии, Тольятти из Италии и Пассионария из Испании. Он пристально следил за тем, что происходит в Варшаве («с вели-

чайшим вниманием мы следим за новостями о героической битве в нашей стране»). В дни двадцать пятой годовщины СССР он высокопарно сообщал Дзержинской о том, что «Советский Союз для нас — лучший пример того, как нужно будет устроить жизнь у нас на родине»⁴².

Берман рассказывал также, что среди порученных ему учебных курсов были история Польши, история польского рабочего движения, а также современная политика. Преподавание этих предметов оказывалось нелегким делом, поскольку Сталин в 1938 году распустил Польскую коммунистическую партию и уничтожил многих ее руководителей. (Позже официальная история партии поясняла, что «хотя Польская коммунистическая партия создавалась на базе марксизма-ленинизма, она так и не смогла покончить с раскольническими тенденциями в своих рядах»⁴³.) Пришедшая ей на смену Польская рабочая партия, которую возглавлял Гомулка, была еще очень малочисленной, поскольку появилась на свет в 1942 году. В других посланиях, адресованных товарищу Леону Касману, Берман более открыто рассуждал о трудностях, возникавших в ходе преподавания истории польского коммунизма. Очевидно, говорил он, что 1930-е годы надо освещать с предельной осторожностью, поскольку о роли Сталина в роспуске партии говорить нельзя, как недопустимо упоминать и о его недоброжелательном отношении к самой Польше⁴⁴.

Впрочем, все эти ограничители никак не мешали Берману заниматься индоктринацией молодых поляков и мобилизацией их на защиту интересов Советского Союза. Как-то раз он даже признался Дзержинской в том, что заставляет своих студентов слушать радиопередачи антифашистской и антикоммунистической Армии крайовой, чтобы уметь эффективно опровергать ее аргументы. В то время как немецкие коммунисты, подобные Вольфу и Леонарду, учились противостоять нацистской пропаганде, польские коммунисты готовили себя к грядущей идеологической борьбе с основным отрядом польского Сопротивления. В одной из своих записок Берман рассуждает о том, можно ли будет найти «здоровые элементы», то есть будущих коллабора-

ционистов, среди крестьянских лидеров и даже в рядах крайне правых национал-демократов. «Чтобы добиться этого, — внушал он Дзержинской, — абсолютно необходимо и дальше придерживаться тактики народного фронта». Польские коммунисты не должны показывать свою суть слишком рано: сначала нужно обзавестись союзниками и попутчиками и только потом проводить реформы советского типа.

Выстраивая подобные планы, он был далеко не одинок. В то же самое время советские руководители вновь готовились к внедрению «народных фронтов» — коалиционных правительств, которым после освобождения предстояло управлять Восточной Европой. В обширном меморандуме 1944 года, подготовленном для Молотова, министр иностранных дел Иван Майский размышлял о том, что пролетарские революции в мире могут растянуться на три или четыре десятилетия. До той поры он предлагал держать Польшу и Венгрию в слабости, Германию, вероятно, разделить, а местным коммунистам позволить работать в тандеме с другими партиями. В интересах СССР, заключал он, сделать так, чтобы «послевоенные правительства основывались на принципе широкой демократии в духе народных фронтов»⁴⁵.

Разумеется, слово «демократия» не стоит принимать здесь за чистую монету, поскольку Майский одновременно дает понять, что эти новые правительства, создаваемые «в духе народных фронтов», не станут мириться с существованием политических партий, враждебных социализму. На практике это означало, что в некоторых странах (он упоминает Германию, Венгрию и Польшу) будут применяться «различные методы» внешнего давления, препятствующие подобным партиям прийти во власть. Сущность этих методов министр не поясняет.

Подвергаясь преследованиям на Востоке и на Западе, европейские коммунисты всех оттенков глубоко усвоили культуру конспирации, секретности, замкнутости. В своих родных странах они организовывались в ячейки, члены которых знали друг друга по псевдонимам и общались посредством паролей и тайнописи. В Советском Союзе они старались не болтать лишнего,

воздерживались от критики партии и регулярно проверяли свои квартиры на предмет спрятанных микрофонов⁴⁶. Где бы ни были, они неизменно придерживались «особого этикета», прекрасно описанного писателем Артуром Кёстлером в романах и мемуарах. Кёстлер, большая часть книг которого посвящена его сложным взаимоотношениям с коммунистической идеей, вступил в Германскую коммунистическую партию в 1930-е годы. Во многом это было сделано под воздействием секретности, конспирации, интриг: «Даже самый поверхностный контакт заставлял постороннего человека почувствовать, что члены партии ведут жизнь, закрытую от общества и полную тайн, угроз и постоянного самопожертвования. Трепет, вызываемый соприкосновением с этим таинственным миром, охватывал даже тех людей, кто вовсе не был романтиком. Еще сильнее было ощущение того, что ты пользуешься доверием, оказывая услуги героям, живущим в постоянной опасности»⁴⁷.

Соблазн элитарного существования, дополняемого доступом к привилегиям и «закрытой» информации, стимулировал приобщение к коммунизму на протяжении десятилетий. В школе Коминтерна Вольфганг Леонард впервые познакомился с закрытыми циркулярами, предназначенными для партийных боссов, осознав при этом, насколько они содержательнее той пропагандистской жвачки, которой кормят массы: «Я очень хорошо помню ощущение, с которым впервые держал в руках один из таких секретных бюллетеней. Меня переполняло чувство признательности за доверие, которым меня облекли, а также гордость за принадлежность к кругу тех избранных, кого сочли достаточно зрелым, чтобы допустить к знакомству с иными точками зрения»⁴⁸.

Кроме того, глубочайшее воздействие на европейских коммунистов оказал пережитый ими опыт террора — арестов и чисток, сопровождавшихся крутыми тактическими виражами. В уфимской школе Коминтерна Леонарда унижали, заставляя публично выступать с самой нелепой самокритикой. Размышляя об этом опыте, а также о бесцеремонном поведении некоторых своих товарищей, особенно немки по имени Эмми, вскоре ставшей

супругой Маркуса Вольфа, он внезапно задумался: «Можно ли считать взаимоотношения, складывающиеся между нами в школе, идеалом того, как должны общаться друг с другом товарищи по партии? В голову приходили и другие критические мысли, впервые проявившиеся еще в период чисток. Я вспоминал критические разговоры, которые вел некогда, и начинал бояться самого себя. Если я уже рассуждал подобным образом, то к чему же приду в дальнейшем? Я решил, что впредь буду более осторожен в речах, сведя общение с другими людьми к минимуму»⁴⁹.

Со временем подобные размышления побудили Леонарда бежать из ГДР и покинуть партию. Но другие, которых унижали ничуть не меньше, никуда не бежали и партию не оставляли. Причем травматический опыт отнюдь не сделал их мягче или милосерднее. Закалившись в страданиях, перенесенных в лагерях и тюрьмах, коммунисты, оставшиеся в партии, стали еще более преданными ее делу. Многие из тех, кто физически уцелел в сталинских чистках и интеллектуально пережил все изгибы партийной линии, вышли из войны не только с окрепшей сектантской лояльностью, но и с большей преданностью Советскому Союзу. Люди, оставшиеся верными партийцами, несмотря на чистки, невероятные тактические кульбиты и сумятицу 1930-х годов, зачастую оказывались настоящими фанатиками. Будучи абсолютно лояльными Сталину и готовыми следовать за ним куда угодно, они подчинялись любым приказам, лишь бы служить своему делу⁵⁰.

Глава 4

Спецслужбы

В рядах сотрудников министерства государственной безопасности более или менее утвердилась следующая точка зрения. Мы — самые отборные кадры. Мы — исключительные товарищи. Мы, если можно так выразиться, первоклассные товарищи.

*Вильгельм Цайссер,
министр государственной безопасности ГДР¹*

По мере того как война подходила к кровавому завершению, Сталин наконец решил дать своим восточноевропейским протеже шанс показать себя. «Московские» коммунисты один за другим отправлялись в родные края, как только очередная страна освобождалась Красной армией. Они полностью осознавали свою малочисленность и публично заявляли о намерении основать или пополнить коалиционные правительства в союзе с другими, некоммунистическими партиями. Прибывший в Варшаву в декабре 1943 года Берут незамедлительно был провозглашен председателем Государственного национального совета (*Krajowa Rada Narodowa*). Эта первая попытка сформировать народный фронт в Польше не привлекла никого, за исключением крошечной Польской рабочей партии Владислава Гомулки и нескольких примкнувших к ней социал-демократов, не причастных к основным организациям Сопротивления. Впрочем, через несколько месяцев этот маломощный орган помог сформировать более представительную структуру — Польский комитет национального освобождения — ПКНО (*Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego*), название которого, одобренное лично Сталиным, нарочито походило на Французский комитет национального освобождения во главе с генералом де Голлем². Хотя новая организация базировалась в Люблине и включала в свой состав нескольких действительно некоммунистических политиков, не

было никаких сомнений в том, кто стоит у нее за спиной. Манифест ПКНО от 22 июля 1944 года звучал весьма либерально: он обещал «восстановление всех демократических свобод для всех граждан независимо от расы, религии и национальной принадлежности», гарантировал «свободу ассоциаций в политической и профессиональной областях, свободу прессы и информации, свободу совести»³. Но его обнародование состоялось в Москве, а не в Польше, и первым об этом событии сообщило советское радио.

Создание ПКНО сразу же поставило перед жесткой дилеммой польское правительство в изгнании, работавшее в Лондоне и представлявшее Польшу за границей во время войны. Оно по-прежнему поддерживало тесные связи с Армией крайовой и основными отрядами польского Сопротивления. Хотя эмигрантский кабинет отчаянно боролся за свое право и дальше выступать от имени Польши на международной арене, дипломатическая битва была им проиграна. Довольно скоро ПКНО был преобразован во Временное правительство национального единства. В конечном счете именно «люблинских», а не «лондонских» поляков союзные державы признали в качестве легитимной польской власти. Временное правительство управляло страной с января 1945 года, следовало провести выборы, чтобы избрать постоянные органы власти. Поскольку Сталин был заинтересован в их легитимности, он согласился на то, чтобы первым послевоенным премьер-министром был назначен Эдвард Осубка-Моравский, член социалистической, а не коммунистической партии. (Берут получил официально руководящий пост лишь позже, в 1947 году.) Что еще более важно, советский лидер позволил вернуться в страну премьер-министру эмигрантского правительства Станиславу Миколайчику, который стал министром сельского хозяйства и заместителем главы Временного правительства. На короткое время возглавляемая им Польская крестьянская партия (*Polska Stronnictwo Ludowe*) даже стала настоящей антикоммунистической оппозицией. Официально советские или союзнические органы управления на территории Польши не действовали. Но на практике генерал

НКВД Иван Серов выступал в роли главного советского консультанта нового правительства, а также новых польских спецслужб. Довольно скоро стало ясно, что его влияние весьма обширно⁴.

Вскоре после возвращения Берута в Польшу новые государственные структуры появились и в Венгрии. В ноябре 1944 года три ведущих «московских» коммуниста — Михай Фаркаш, Эрнё Герё и Имре Надь — на советском самолете были доставлены в освобожденный венгерский город Сегед. Сразу после прибытия они провели массовый митинг по случаю очередной годовщины большевистской революции, на котором Герё призвал к «венгерскому возрождению»⁵. Ракоши, также на советском самолете, прибыл в январе 1945 года в освобожденный Дебрецен. Он получил указание сформировать временное правительство Венгрии и готовиться к штурму Будапешта частями Красной армии. Свою миссию он выполнял при поддержке других венгерских политиков, которые только что вышли из подполья или вернулись из-за границы. Совместно они договорились о создании Временного Национального собрания, которое определило состав Временного правительства. Как и в Польше, этому органу предстояло руководить страной до проведения всеобщих выборов.

Подобно первому послевоенному правительству Польши, венгерское Временное правительство также было коалиционным. В него вошли представители четырех легальных политических партий: коммунисты (*Magyar Kommunista Párt*), социал-демократы (*Szociál-demokrata Párt*), Крестьянская партия и Партия мелких хозяев. Последняя из этих организаций, еще до войны объединявшая мелких бизнесменов и фермеров, быстро превратилась в антикоммунистическую оппозиционную силу, пользующуюся широкой поддержкой. Тем не менее у нее не было большинства ни в парламенте, ни в правительстве. Несмотря на то что Венгерская коммунистическая партия в тот момент располагала лишь несколькими сотнями членов, коммунистам выделили более трети мест во Временном Национальном собрании, а также несколько ключевых министерств,

включая министерство внутренних дел. Даже Герё признавал несправедливость такого распределения: «Пропорция коммунистов была немного завышена. Отчасти это произошло в результате спешки, а частично из-за избыточного рвения местных товарищей»⁶. По соглашению о перемирии с Венгрией, подписанному в Москве в январе 1945 года, венгерское правительство в переходный период должно было работать под наблюдением Союзной контрольной комиссии. Эта организация, которая технически включала американских и британских представителей, на деле возглавлялась маршалом Климентом Ворошиловым, высокопоставленным военачальником Красной армии, систематически пренебрегавшим консультациями с союзниками по какому-либо вопросам⁷.

27 апреля 1945 года Красная армия доставила «группу Ульбрихта», состоявшую из нескольких десятков коммунистов, на окраины Берлина, откуда они вместе с подразделениями 1-го Белорусского фронта намеревались войти в город. Вольфганг Леонард был в их рядах. Спустя неделю «группа Аккермана», такая же по численности, приготовилась вступить в Берлин с юга с частями 1-го Украинского фронта. В отличие от Польши и Венгрии, в Восточной Германии не было никакого временного правительства. Этими немецкими землями управляла советская военная администрация вплоть до создания в 1949 году Германской Демократической Республики. Советские управленцы поэтапно формировали немецкую бюрократию, которой предстояло руководить страной, находящейся под советским «зонтиком»⁸. В июне 1947 года эта бюрократия, к тому времени уже выполнявшая роль своеобразного «теневое правительство», которое работало под контролем оккупационных властей, оформилась в Немецкую экономическую комиссию (*Deutsche Wirtschaftskommission*). Многие немецкие коммунисты, в особенности «московские», незамедлительно получили ключевые посты в этой структуре. Со временем Экономическая комиссия послужила основой для формирования правительства Германской Демократической Республики, ставшей суверенным государством в 1949 году.

В Германии, как и в прочих оккупированных странах, Советскому Союзу предстояло также взять под контроль проведение муниципальных и региональных выборов. Хотя СССР активно поддерживал возрождение в своей оккупационной зоне организаций социал-демократов, христианских демократов и свободных демократов, военные власти явно благоволили коммунистам, которым предоставлялись ведущие посты в профсоюзах, культурных ассоциациях и других новых институтах⁹. Несостоявшие в коммунистической партии повсеместно получили публичные роли, в то время как коммунисты управляли всем из-за кулис. Всевозможные разновидности политических или частично политических группировок, включая сионистские и бундовские организации, возрождались и в других местах, включая Польшу и Венгрию, причем некоторые из них первое время пользовались, как тогда представлялось, реальной независимостью.

Каждая коммунистическая партия региона сохраняла собственную организационную структуру, приняв за основу советскую модель. В их устройстве поддерживались иерархические принципы, заимствованные в СССР: политбюро стояло во главе, под ним находился более широкий центральный комитет, а затем — региональные и местные организации. Вплоть до 1989 года эти структуры функционировали параллельно с правительственными органами, но не сливались с ними. Иногда члены политбюро были одновременно министрами, а иногда нет. Члены ЦК также могли занимать должности в государственном аппарате, но тоже не всегда. Даже людям во власти далеко не всегда было ясно, кому принадлежит последнее слово в том или ином вопросе — партии или правительству.

За этой запутанностью и сложностью таился определенный умысел: политика в оккупированной Советами части Европы изначально задумывалась непрозрачной и закрытой. После завершения войны восточноевропейские коммунистические партии были, бесспорно, наиболее влиятельными политическими организациями в регионе, причем благодаря не столько своей численности, сколько «советникам» из НКВД и Красной

армии. В то же время они руководствовались строгими инструкциями маскировать или вообще отрицать свою связь с советскими структурами и вести себя как нормальные демократические партии — то есть создавать коалиции и вступать в партнерские отношения с подобающими некоммунистическими партиями. Советское влияние, таким образом, тщательно камуфлировалось повсюду, за исключением Германии, где был установлен советский оккупационный режим.

На протяжении 1945–1946 годов временные коалиционные правительства Восточной Европы пытались, более или менее удачно, разрабатывать экономическую политику в сотрудничестве с различными политическими партнерами. Они также старались оставаться терпимыми к церкви, независимым газетам и частному бизнесу, которым временно позволили развиваться спонтанно и хаотично. Но эта толерантность предполагала знаменательное исключение. Везде, куда приходила Красная армия, Советский Союз учреждал один новый институт, форма и характер которого строго соответствовали советскому образцу. Устройство заново организуемой тайной политической полиции ни при каких обстоятельствах не пускалось на самотек и не отдавалось на усмотрение местных политиков. И хотя здесь имелись некоторые отличия во времени и нюансах, создание новых спецслужб по всей Восточной Европе шло одними и теми же путями. В плане организации, методов и ментальности все секретные службы восточноевропейских стран оказывались точными копиями советского прототипа. Таковыми были польское Управление безопасности (*Urząd Bezpieczeństwa*), венгерский Департамент государственной безопасности (*Államvédelmi Osztály*), Министерство государственной безопасности ГДР (*Ministerium für Staatssicherheit*), чехословацкая Служба государственной безопасности (*Státní bezpečnost*)¹⁰. Последняя, по словам лидера чешских коммунистов Клемента Готвальда, создавалась «с учетом важнейшего опыта, накопленного Советским Союзом». То же самое можно было сказать о любой спецслужбе каждой страны Восточной Европы¹¹.

Подобно истории восточноевропейских коммунистических партий, история «маленьких КГБ» Восточной Европы начинается задолго до завершения войны. Будущую спецслужбу коммунистической Польши начали формировать еще в 1939 году, после советского вторжения в восточные польские земли. После вступления Красной армии на территории, которые сейчас называются Западной Украиной и Западной Белоруссией, советские командиры, отвечавшие за «умиротворение» региона, сразу же ощутили нехватку местных коллаборационистов. Осознавая потребность в профессиональных и надежных партнерах из местных жителей, НКВД осенью 1940 года создал специальный учебный центр под Смоленском. В качестве курсантов туда были привлечены около двухсот поляков, украинцев и белорусов, проживавших на вновь оккупированных территориях. Первый поток завершил обучение в марте 1941 года, после чего некоторые рекруты были отправлены для продолжения учебы в Горький. Среди первых выпускников центра как минимум трое — Конрад Светлик, Юзеф Чаплицкий и Мечислав Мочар — на протяжении 1950-х и 1960-х годов занимали видные посты в польских спецслужбах¹².

С началом советско-германской войны в июне 1941 года эта учебная программа была полностью свернута. Но уже через несколько месяцев Советский Союз оправился от первого шока, вызванного нацистским нападением, и учеба возобновилась. После Сталинградской битвы, когда стало похоже, что войну можно выиграть, набор курсантов увеличился. Первоначально кандидатов отбирали в рядах «дивизии Костюшко», польском формировании Красной армии. В основном это были люди, прежде жившие в восточной Польше, хотя для них самих критерии и правила отбора зачастую оставались непонятными. Когда «в морозный полдень в январе 1944 года» командир предложил Юзефу Лобатюку явиться в штаб подразделения для заполнения каких-то анкет, ему ничего не объяснили. Через месяц солдату было предписано получить двухнедельный сухой паек и отправляться в тренировочный центр в Куйбышеве, далеко за линией фронта. И снова никаких разъяснений не последовало¹³.

Только прибыв в Куйбышев, Лобатюк обнаружил, что его направили в тренировочный центр для офицеров НКВД. Он искренне порадовался. Спустя годы, описывая свой опыт официальным историкам польской службы безопасности, он вспоминал, что с ним обращались «как с дорогим гостем». На фоне фронтовых лишений жизнь в школе казалось роскошной. По выходным курсанты отдыхали и освобождались даже от карательной службы. Их прекрасно кормили, с ними хорошо обращались. В столовой работали официанты, сервировавшие еду «как в ресторане»: даже суп наливался из настоящих супниц¹⁴.

Занятия, однако, начались далеко не сразу. Прежде чем допустить курсантов к информации, с ними на протяжении нескольких дней работала комиссия, состоявшая из офицеров НКВД. Их расспрашивали о жизни, семьях, политических взглядах. Их просили повторять жизненные истории по несколько раз. Некоторым после собеседования пришлось возвратиться назад, в свои подразделения, хотя причина отказа никогда не раскрывалась. В итоге были отобраны около двухсот человек. Позже их назовут «куйбышевцами» — первым выпуском офицеров польских спецслужб, подготовленным в Советском Союзе. Этих людей незамедлительно начали готовить к «оперативной работе» под прямой опекой НКВД.

На этом этапе войны — весной 1944 года — польского правительства еще не было, за исключением эмигрантского кабинета в Лондоне и связанного с ним подпольного «государства», как не существовало и польской администрации на оккупированной нацистами территории. Послевоенное устройство страны пока не регламентировалось международными соглашениями: Тегеранская конференция не смогла прийти к каким-то окончательным решениям относительно польских границ, а Ялтинская конференция, на которой Рузвельт и Черчилль де-факто согласились с советским контролем над Польшей, должна была состояться только через несколько месяцев. Тем не менее НКВД уже обучал польских офицеров в Куйбышеве мыслить советскими категориями, чтобы в нужное время они могли действовать под советским руководством.

Курс обучения оказался весьма основательным. Некоторые предметы были теоретическими — среди них марксизм-ленинизм, история большевистской партии, история польского «рабочего движения». Практические дисциплины посвящались навыкам разведки и контрразведки, сыскной работе, методам дознания. В хорошую погоду курсанты выезжали на стрельбище, расположенное на берегу Волги. Обучение шло на русском языке (лишь один лектор говорил по-польски), и это было проблемой, поскольку некоторые курсанты имели только начальное образование. Учебников не было вовсе, и потому курсанты часто встречались после окончания лекций, сверяя свои конспекты. Если время позволяло, русскоговорящие курсанты переводили материал для тех, кто не знал языка. Лекции и семинары продолжались по десять часов в будние дни и по шесть часов в субботу.

Для осмысления новых знаний времени было не слишком много. В июле 1944 года, когда Красная армия перешла новую восточную границу Польши, форсировав реку Буг, занятия вмиг прекратились. Новоиспеченные офицеры госбезопасности незамедлительно были призваны в строй. Большая часть из двухсот выпускников была отправлена в Люблин, где только что был учрежден Польский комитет национального освобождения и начиналось формирование временного правительства. Условия были тяжелыми — люди спали на полу, используя вместо подушек рюкзаки. Но встретили их радушно: Станислав Радкевич, первый министр польской службы безопасности, дал в их честь обед, на котором присутствовал и советник из НКВД. Тогда молодым офицерам были выданы погоны, украсившие их новенькую форму.

По мере того как Красная армия продвигалась вперед — сначала до Жешува и Белостока, а позднее до Кракова и Варшавы, — «куйбышевская команда» шла за ней следом, всегда в сопровождении советников из НКВД. В некоторых местах польские агенты просачивались за линию фронта в качестве диверсантов, предвая общее наступление. В тот период в восточной Польше и западных областях СССР действовали десятки

партизанских групп: среди них были отряды Армии крайовой, украинские националисты, избежавшие холокоста евреи, а также просто криминальные банды¹⁵. Но все «куйбышевцы», независимо от национальности, сражались на стороне Советского Союза. Вступив на только что освобожденную территорию, они всегда действовали по заранее намеченному плану. Ими налаживалась работа местной полиции, выявлялись враги, рекрутировались сторонники. «Мы, “куйбышевская команда”, считались опорой нового порядка и наставниками будущих кадров», — вспоминал один из них с гордостью¹⁶.

Разумеется, не все из них преуспели. Некоторых изгнали со службы за воровство и некомпетентность. Кого-то вернули в Советский Союз, поручив, вероятно, проведение аналогичной работы в родных местах — в Белоруссии или на Украине. По меньшей мере один член команды взбунтовался и перешел на сторону антикоммунистов. Но многие другие сделали успешную карьеру в спецслужбах и впоследствии воспитывали новое поколение кадров.

Сначала Лобатюк принимал участие в послевоенной «борьбе с бандитизмом» — этот эвфемизм подразумевал, что он участвовал в войсковых операциях против остатков польской Армии крайовой, все еще прятавшихся в лесах вокруг Люблина, а также против украинских партизан. В апреле 1945 года его командировали в Лодзь, где он с удивлением узнал о том, что назначен инструктором в только что открывшуюся офицерскую школу польской службы безопасности. Ветераны «куйбышевской команды», получившие аналогичные назначения, поделили между собой учебные курсы для преподавания, исходя из того, кто лучше усвоил тот или иной предмет. Хотя перед отправкой из Советского Союза их заставили сдать «куйбышевские тетради», бывшие курсанты восстановили свои записи по памяти. Со временем они вошли в учебник, основу которого составили реконструированные ими занятия, пройденные в школе НКВД. Этот учебник был в обиходе несколько лет, и, таким образом, целое поколение сотрудников польских спецслужб было обучено в соответствии с советской методикой¹⁷.

На протяжении следующих нескольких лет новая служба безудержно расширялась. В декабре 1944 года она насчитывала около 2500 сотрудников; к ноябрю 1945 года их было уже 23 700, а к 1953 году — 33 200¹⁸. Едва ли кто-то из этих новоиспеченных службистов соответствовал стереотипу типичного агента, со временем сложившемуся в коммунистической Польше: «натренированный фанатик, прекрасно образованный, скорее всего, еврей». В реальности Служба безопасности первых послевоенных лет была чисто польской по этническому составу сотрудников и почти целиком католической по их религиозным убеждениям. В 1947 году 99,5 процента ее персонала составляли польские католики. Евреев было менее одного процента; их численно превосходили даже этнические белорусы¹⁹. Так, из восемнадцати агентов, начинавших работать в Люблинском региональном управлении, среди поляков, украинцев и белорусов оказался лишь один еврей²⁰.

Отнюдь не блистая физической формой, новые рекруты в подавляющем большинстве были и необразованными. В 1945 году менее 20 процентов из них имели образование, выходящее за рамки начальной школы. Даже в 1953 году лишь каждый второй окончил шестой или какой-то последующий класс. В то время большинство офицеров службы безопасности составляли дети польских рабочих и крестьян. Совсем немногие вышли из семей, которые считались «буржуазными», а представителей интеллигенции в их рядах вообще не было²¹. Хотя в большинстве своем польские чекисты к 1947 году состояли в коммунистической партии, почти никто из них не имел какого-либо политического прошлого.

Из истории Чеслава Кищака, одного из самых видных польских сотрудников спецслужб, можно сделать вывод о том, что этих людей, по-видимому, мотивировала не столько идеология, сколько возможность быстрого продвижения по социальной лестнице. Этот человек, который, будучи министром внутренних дел Польской Народной Республики, отвечал в 1981 году за введение военного положения, родился в 1925 году в бедной южной Польше в семье фабричного рабочего, на протяжении

1930-х годов не имевшего работы. После оккупации страны нацистами его, польского подростка, сначала забрали в трудовой лагерь, а затем, после сложных перипетий, отправили на принудительные работы в Австрию. В 1943–1945 годах он, по его собственному свидетельству, жил в рабочих бараках в Вене, где был единственным поляком среди хорватов, сербов и других. Многие из его товарищей являлись коммунистами. До 7 апреля 1945 года, когда советские войска освободили восточные районы Вены, он работал на австрийской железной дороге. Довольно скоро, рассказывает он, «красноармейцы подхватили меня, усадили на танк, и я показывал им Вену, поскольку хорошо знал здешние места». Познания в русском и немецком позволили ему поступить в переводчики. Вот так в двадцатилетнем возрасте, имея только начальное образование, он стал живым талисманом красноармейцев, курсирующим по побежденной Вене на броне советского танка²².

Вскоре Кишак вернулся в Польшу с документом, подтверждающим его членство в Австрийской коммунистической партии. Он сразу же вступил в Польскую коммунистическую партию, которая отправила его в школу Службы безопасности в Лодзи. Затем, как рассказывает сам Кишак, его командировали в Варшаву для продолжения специальной подготовки. Вступив в новую польскую армию, он быстро стал сотрудником ее военной разведки, во главе которой первоначально стояли исключительно русские. Лишь позднее к руководству допустили поляков. И хотя сам Кишак в этом не признается, ходили слухи, что он поддерживал отношения с советскими разведывательными службами.

В 1946 году Кишака направили в Лондон. Перед молодым человеком, которому был всего двадцать один год, вновь открылись исключительные возможности. Он повествует об этом эпизоде вполне благодушно: «Мы хотели, чтобы остатки польской армии, оставшиеся в изгнании, вернулись в Польшу вместе со всем их вооружением. Это было бы хорошим жестом по отношению к коммунистической Польше. ...В то время в стране торжествовал дух национального единения: правительство поддержи-

вало церковь, а церковь поддерживала правительство. ...Польша была добра ко всем: она давала крестьянам землю, обещала высшее образование, строила новые школы». Помимо этой основной задачи, в Лондоне Кишак занимался «обычной разведывательной работой», собирая информацию о британской армии, о местных поляках и особенно о тысячах польских солдат, которые в годы войны сражались с гитлеровцами в составе британских вооруженных сил.

Многие факты этой биографии не поддаются проверке, поскольку Кишак, став позднее министром внутренних дел, вне всякого сомнения, «подчистил архивы, изъяв или вообще уничтожив касавшиеся его документы. Кое-что, однако, позже удалось найти, включая краткое изложение отчета, отправленного им в Польшу из Лондона в июле 1947 года, случайно оказавшееся в чужой папке. На малограмотном польском языке бумага повествует о том, как посольство проводит регистрацию и проверку польских солдат и офицеров, ранее воевавших в составе британской армии, а теперь изъявивших желание вернуться домой. Презрение Кишака к этим людям, многие из которых воевали с 1939 года, сквозит в каждой фразе: «Регистрация производится в маленькой комнате, в которой стоят пять столов, пять стульев, а также два книжных шкафа с консульскими книгами. Она начинается в 10 или 11 часов, а иногда в 14.30. Англичане порой затрудняют нам работу, умышленно присылая солдат позже, чем надо. В большинстве своем приходящие сюда люди сделают все, что им будет сказано, и выполнят все, о чем их попросят, если только получают гарантии достойных условий жизни в Польше. А те, кто не собирается возвращаться, оставаясь в Англии по материальным соображениям, будут, вероятно, за деньги готовы на многое. Ведь это типичные продукты довоенной Польши: личности без высоких устремлений, идеалов, гордости...»²³.

В оставшейся части отчета двадцатидвухлетний Кишак пренебрежительно отзываясь о старых посольских дипломатах, о военном атташе, который, по его мнению, не слишком активно собирает разведданные, а также о полковнике из военной мис-

сии, пытавшемся «развращать» его и остальных. В другом уцелевшем рапорте он рассуждает о своих коллегах еще более прямолинейно. Согласно этому документу, один из консульских служащих постоянно рассказывает о политическом насилии в Польше, ссылаясь на информацию «из неназванных источников», в то время как другие постоянно ведут горячие политические споры и даже угрожают друг другу.

Для молодого человека дипломатическая работа была весьма престижной, но вскоре он оставил ее. В личной беседе Кишак объяснял свое решение тем, что был одинок и тосковал по родине: «Я просто не переваривал английские сосиски». Или, возможно, кто-то внушил ему, что дома открываются более радужные перспективы, которыми нельзя не воспользоваться. Это соответствовало действительности. В хаосе и нищете послевоенной Польши сотрудники спецслужб, даже имея весьма скромное происхождение, обладали относительным достатком и властью. А если они злоупотребляли своим положением, никакой государственный орган не мог поставить их на место.

С самого начала любой человек, намеревавшийся связать себя службой в «органах» в Восточной Европе, знал, что путь к власти обеспечивается советскими связями. Но далеко не всегда было ясно, какие именно советские связи стоит использовать. В Венгрии организация, которая в конечном счете стала Управлением государственной безопасности, имела не одно, а два учреждения-предшественника, а начальник каждого из них опирался на собственный круг советских друзей и покровителей.

Одна из этих структур была создана сверху в ходе формирования временного национального правительства в Дебрецене в декабре 1944 года. Теоретически временное правительство представляло собой межпартийную коалицию. Но хотя только что назначенный министр внутренних дел Ференц Эрдей формально не являлся коммунистом, втайне он был лоялен партии, а его первые официальные комментарии, касавшиеся новой службы безопасности, свидетельствовали, что он понимал, куда дует

ветер. Информировав новый кабинет о своей «продуктивной» встрече с генералом Федором Кузнецовым, главой советской военной разведки в Венгрии, Эрдей 28 декабря 1944 года заявил, что о безопасности больше не стоит беспокоиться: «Русские будут охранять нас до тех пор, пока у нас не будет достаточно собственных надежных полицейских»²⁴. Его, однако, беспокоило, что генерал Кузнецов не проявил должной заинтересованности в противодействии преступности и вандализму, которые захлестнули освобожденные районы страны: «Мы говорили в основном о политической полиции, относительно которой он дал мне множество советов и предложений»²⁵.

Одно из этих предложений обернулось назначением Андраша Томпе на пост руководителя новой спецслужбы. Этот человек, будучи ветераном гражданской войны в Испании, имел давние связи с международным коммунистическим движением и был глубоко убежден, что только он достоин стать главой венгерской спецслужбы. Томпе незамедлительно приступил к организации вверенного ему ведомства, запрашивая и получая оружие непосредственно от Красной армии. Произведя подготовительные мероприятия, он отправился из Дебрецена в Будапешт, прибыв в восточную часть города 28 января 1945 года, когда на западных окраинах еще продолжались бои.

К несчастью для Томпе, у него уже был соперник. Примерно несколькими днями раньше будапештский комитет Венгерской коммунистической партии учредил департамент политической полиции. Его возглавил Габор Петер, вступивший в партию в 1931 году и с тех пор часто посещавший Москву. Среди тех, с кем он встречался в советской столице в 1930-е годы, были Кун и другие ветераны венгерской революции 1919 года, а его супруга Йолан со временем стала личным секретарем Ракоши.

Петер имел давние связи и с НКВД. До войны он занимался организацией подпольных связей, помогая среди прочего налаживать контакты между заключенными коммунистами и их семьями в Вене и Будапеште. По его собственному (и не слишком скромному) мнению, он давно собирался возглавить послевоенную политическую полицию, полагая, что эта работа ему

едва ли не гарантирована. У Петера были некоторые основания рассчитывать на это. В то время как Томпе явно пользовался поддержкой советской военной разведки в Дебрецене, Петер, как представляется, опирался на благосклонность ее политического начальства. Известно, что в середине января, то есть еще до того, как Томпе появился в Дебрецене, а осада Будапешта завершилась, Петер посетил штаб советских войск в восточном пригороде венгерской столицы, где возобновил былые знакомства²⁶. В феврале 1945 года в докладе, который он произнес для высокопоставленных венгерских коммунистов, Петер старался произвести впечатление человека, полностью владеющего обстановкой. Так, он заявлял о наличии в его службе около сотни сотрудников («87 рабочих и 11 интеллигентов») и об уже состоявшихся многочисленных арестах «фашистов». В архивах Венгерской коммунистической партии к оригиналу этого выступления прилагается и русская версия; вероятно, докладчик рассчитывал на то, что у документа будут и русскоязычные читатели²⁷.

Вскоре после окончания войны Томпе и Петер открыто столкнулись друг с другом. Первый подозревал второго в идеологической поверхностности, а второй обвинял первого в выделении ему некачественной офисной мебели. Томпе злился на конкурента и за то, что его не пригласили на событие, освещавшееся в печати²⁸. Позже каждый заявлял, что именно его ведомство первым обосновалось в мрачном здании на проспекте Андраши, 60, бывшей штаб-квартире фашистской полиции, несмотря на то что такое решение явно вредило Венгерской коммунистической партии. (Тот факт, что и фашисты, и коммунисты использовали подвалы этого дома в качестве тюрьмы, заставлял задумываться о наличии преемственности между нацистским и советским режимами)²⁹. Этот опереточный конфликт, тянувшийся два года, в конечном счете разрешился в пользу Петера. После выборов, состоявшихся в ноябре 1945 года, министерство внутренних дел официально перешло под контроль коммунистов, а миф о нейтралитете тайной полиции был полностью развенчан. В 1946 году Томпе отошел от прежних

дел, поступив на дипломатическую службу. Большую часть своей карьеры он реализовал в Латинской Америке³⁰.

Несмотря на то что сегодня эта битва может показаться незначительной, успех Петера в борьбе за власть стал одним из первых и знаменательных поражений политического плюрализма в Венгрии. Достаточно сказать, что важнейшие дебаты о сути новой силовой структуры проходили исключительно в тех границах, которые были очерчены коммунистической партией и ее советскими кураторами. Ни тогда, ни позже политики, не являвшиеся коммунистами, даже действовавшие на тот момент легально, не оказывали никакого влияния на внутреннюю кухню секретной полиции. Сама сущность победившей стороны в лице Петера и его «будапештского департамента» тоже имела значение; столичные полицейские силы никак не вписывались в рамки закона, поскольку они контролировались не министерством внутренних дел или правительством, а сугубо коммунистической партией. Начиная с 1945 года политическая полиция отчитывалась непосредственно перед партийным начальством, грубо игнорируя коалиционное Временное правительство.

Для тех, кто работал в этой структуре, ее особый статус был совершенно очевиден. Хотя у Петера имелись заместители, состоявшие в Социал-демократической партии и Партии мелких хозяев, он не обращал ни малейшего внимания на их советы, а само их присутствие никого в департаменте не могло ввести в заблуждение. Один из нижестоящих офицеров позднее вспоминал, что некоммунистические заместители были «полностью изолированы»: «Все прекрасно знали, что их кабинеты прослушиваются, и поэтому в разговорах с ними приходилось проявлять осторожность»³¹. Когда Владимир Фаркаш, сын Михая Фаркаша, в 1946 году устраивался на работу в Департамент государственной безопасности, ему открыто запретили общаться с этими «отверженными»: «Мне не разрешалось предоставлять им какую-либо информацию о своей работе, даже вопреки прямым приказам кого-то из этих двух заместителей»³².

Венгерские чекисты не обращали внимания на жалобы некоммунистических политиков, касавшиеся их поведения. В августе 1945 года заместитель министра юстиции направил министру внутренних дел письмо, в котором сетовал на то, что политическая полиция «арестовывает прокуроров и судей без предварительной санкции министерства»; подобная практика, по его словам, «серьезно подрывает авторитет правоохранительной системы». Департамент государственной безопасности не отреагировал. Годом позже аналогичное недовольство выразил один из парламентариев, но к тому времени, когда его запрос вынесли на депутатское рассмотрение, ему уже пришлось бежать из страны. К 1946 году такая критика стала небезопасной³³. Как и в Польше, венгерская политическая полиция не отчитывалась ни перед кем, кроме самой себя. Как в Польше, она очень быстро расширяла штат. В феврале 1946 года организация Петера в Будапеште насчитывала 848 сотрудников. К 1953 году возглавляемая им спецслужба, к тому моменту переименованная в Управление государственной безопасности (*Államvédelmi Hatóság*), имела 5750 штатных сотрудников и еще больше осведомителей³⁴.

С самого начала в новом ведомстве работали советские консультанты. «Советник Орлов», которого один из чиновников венгерского МВД характеризовал как «переодетого в штатское офицера НКВД», с февраля 1945 года занимал кабинет на проспекте Андраши, 60. Еще три вооруженных сотрудника, на этот раз в форме НКВД, находились у него в подчинении³⁵. К марту 1945 года сложилась вся командная цепочка. На верхней ступени находился генерал Федор Белкин, официально работавший в Союзной контрольной комиссии, но на деле возглавлявший всю восточноевропейскую разведку НКВД, штаб-квартира которой находилась в Бадене неподалеку от Вены. Кроме того, с 1947 года НКВД имел постоянного представителя в Будапеште. «Братское содействие» людей, занимавших эту должность, оказалось неоценимым при подготовке местных показательных процессов. В их подчинении находились многочисленные временные советники. Даже спустя несколько лет, в ноябре 1952

года, согласно платежной ведомости Управления государственной безопасности, в Венгрии находились 33 офицера советских спецслужб и 13 членов их семей. Помимо относительно высоких зарплат, их обеспечивали меблированными квартирами, средствами на транспорт, бассейном и бесплатным спортивным инвентарем, включая шахматы, домино и столы для пинг-понга, а также прислужгой. По выходным советские чекисты охотились. По словам бывшего министра внутренних дел, советские консультанты ежедневно получали агентурные сводки и часто встречались с представителями венгерских спецслужб. Их советы неизменно принимались, хотя эти офицеры никогда не исходили из интересов той страны, в которой служили. В ночь на 29 октября 1956 года, когда на какой-то краткий миг показалось, что венгерская революция может закончиться выдворением представителей СССР из страны, все они, опасаясь возмездия толпы, вылетели в Москву³⁶.

Руководители венгерской политической полиции находились в тесном контакте со своими советскими менторами. Петер, по свидетельству Фаркаша, ежедневно общался с Орловым³⁷. Но русские в Будапеште оказывали влияние и другими способами, в частности через небольшие и не слишком заметные, но мощные общины советских или советизированных венгров, родившихся или долгое время живших в Советском Союзе. Выходцем из такой общины был, например, Янош Ковач, полковник НКВД венгерского происхождения, работавший заместителем Петера с января 1945 по 1948 год. Еще более значительную роль сыграл Рудольф Гарасин — человек, официальная биография которого вряд ли могла объяснить его могущество. Его жизненный путь свидетельствует о том, что у венгров имелись и тайные пути, по которым можно было попасть в спецслужбы.

Гарасин родился в Венгрии, но еще подростком после Первой мировой войны был отправлен в российскую тюрьму за какое-то политическое преступление. Этот опыт сделал его радикалом: он присоединился к большевикам, записался в Красную армию и принял активное участие в русской революции, а потом и в

Гражданской войне. В конечном счете в Венгрию он не вернулся — недолговечная революция, которую затевал Бела Кун, закончилась слишком быстро, — а обосновался в Советском Союзе³⁸. По его собственному свидетельству, его карьера в СССР была ничем не примечательной. Согласно записке, которую Гарасин потом подготовил для венгерских историков партии, он активно участвовал в жизни венгерской эмигрантской общины, изучал инженерное дело, а потом работал по линии министерства легкой промышленности. В годы войны он вновь стал офицером Красной армии, но, получив ранение, вернулся к работе в тылу. Весной 1944 года его внезапно вызвали в Москву и отвезли на встречу с ответственным политработником Красной армии. «После того как мы с ним выпили чаю, появился лейтенант в голубой фуражке НКВД и, не говоря ни слова, проводил меня к машине, которая доставила нас на площадь Маркса и Энгельса, — вспоминал Гарасин. — Там меня ждал другой лейтенант, указавший на дверь и оставивший меня одного. Я вошел — в холле никого не было». Но загадка разрешилась быстро: появившиеся из полумрака товарищи Ракоши и Фаркаш заключили гостя в крепкие объятия.

По словам Гарасина, сначала товарищ Ракоши, шутя, распекал его за то, что тот пропал слишком надолго («им пришлось полгода искать меня»), а затем попросил о помощи. Главный венгерский коммунист хотел, чтобы Гарасин занялся отбором добровольцев в одной из находящихся в Советском Союзе «антифашистских школ» с тем, чтобы составленное из них партизанское соединение вступило бы на территорию Венгрии вместе с Красной армией — подобно тому, как «куйбышевская команда» входила с красноармейцами в Польшу. Выражение «антифашистские школы» представляло собой эвфемизм: речь шла о лагерях для военнопленных, где бывших венгерских военнослужащих обучали основам коммунизма. Гарасин сделал то, о чем его попросили. Он познакомился с венграми, работавшими в «Институте 101» — теперь так называлась бывшая штаб-квартира Коминтерна. Затем он посетил «антифашистскую школу» в подмосковном Красногорске, где его впечатлил необычайный

энтузиазм кандидатов в рекруты. По его словам, большинство военнопленных настолько хотели вернуться в Венгрию и сражаться со своими бывшими союзниками, что записывались в его партизанскую группу без колебаний. Он также разговаривал с «преподавателями» этой школы, многие из которых позже стали видными фигурами венгерского коммунистического правительства.

Дело, которое начал Гарасин, шло слишком медленно: летом 1944 года Венгрия и венгерские партизаны не являлись приоритетами Красной армии. С большим трудом волонтеры добрались до Украины, где почти на линии фронта должны были начаться их тренировки. Эшелон с подразделением отправился с опозданием, с обмундированием и вооружением была полная неразбериха, а местных командиров не предупредили о прибытии будущих партизан. В конце концов, однако, они начали подготовку, изучая взрывное дело и состязаясь в рукопашном бое.

Шло время, и однажды команда получила долгожданный сигнал о том, что наверху заинтересовались ею. Как-то раз венгры увидели советский самолет, круживший над их головами в попытке приземлиться, — отогнав бродивших рядом коров, они очистили для него посадочную полосу. Винты машины еще продолжали крутиться, когда из кабины выпрыгнул Золтан Вас, один из самых известных идеологов венгерских коммунистов. Разбив в суматохе встречи очки, он тем не менее выступил перед курсантами с длиннейшей и подробнейшей лекцией, описывая многообещающую ситуацию на фронте и воодушевляя людей на бой. Когда Вас собирался в обратный путь, Гарасин ехидно попросил партийного идеолога извещать о следующих визитах заранее: «Тогда мы могли бы попрактиковаться в стрельбе по самолету!». Вероятно, на Украинском фронте было принято так шутить.

По мере продвижения линии фронта партизаны несколько раз меняли местоположение лагеря; с этим были связаны разные приключения. В неопубликованных мемуарах Гарасин признается, например, что в украинских лесах он успел завести роман с женщиной по имени Анна. Он вспоминает также о постоянных

трудностях со снабжением, которые разрешились лишь после того, как его часть захватила местную мельницу и конфисковала муку — к неудовольствию местных крестьян. Еще одной коллизией стала встреча с Ракоши, который набросился на Гарасина за то, что его партизанская группа была якобы «чисто еврейской компанией». Гарасин был «так поражен, что просто не поверил своим ушам». Обдумав эту странную вспышку, он вновь вернулся к этой теме в следующем разговоре с вождем, который, кстати, сам был евреем, убедив Ракоши, что тот ошибся. Подсчеты Гарасина показали, что в его группе всего шесть евреев.

Наконец настал час освобождения. В начале февраля 1945 года Гарасин и его солдаты преодолели Карпаты; Гарасин впервые попал в Венгрию после тридцатилетнего перерыва. К 12 февраля они достигли Дебрецена, города на востоке страны, который стал ее временной столицей. Авантюры закончились. Гарасин, который имел советский паспорт, сразу же был приписан к Союзной контрольной комиссии. Он утратил связи со своими партизанами, погрузившись в пропагандистскую и издательскую работу, а потом, согласно официальной версии, вообще вернулся в Советский Союз³⁹.

Не имея на то особого умысла, Гарасин изложил историю своей жизни так, что в ней остроумно и правдиво запечатлелась подлинная история венгерских партизан-коммунистов. После 1945 года будущие коммунистические лидеры будут превозносить их как героев, но на деле Красная армия почти не обращала на этих бойцов внимания. История Гарасина интересна также и тем, о чем ее автор предпочел умолчать. Мы почти ничего не знаем о том, чем он занимался в 1920-е или 1930-е годы, а также непосредственно после войны. В связи с этим многие долгое время подозревали, что он был высокопоставленным офицером НКВД, тем более что позднее Гарасин стал известен как человек, который «импортировал» технологию советского ГУЛАГа в Венгрию⁴⁰.

История жизни нашего героя указывает на важную роль, которую в Восточной Европе в целом и в Венгрии в частности сыграли те представители спецслужб, кто не относился к местным коллаборационистам, как «куйбышевцы», но имел совет-

ский паспорт и, возможно, с самого начала был связан с НКВД. Гарасин был венгром по происхождению, но, по его собственному признанию, полностью интегрировался в советскую жизнь. У него была русская жена, он получил русское образование, а в 1915–1945 годах безвыездно жил в России. Гарасин не просто испытывал симпатию к Советскому Союзу, он сам был советским человеком. В свете сказанного едва ли можно удивляться тому, что когда он в начале 1950-х годов распоряжался венгерскими трудовыми лагерями, они намеренно выстраивались по советским лекалам⁴¹.

Как уже было сказано, НКВД начал подбирать надежные кадры среди немецких коммунистов еще до того, как партийцы попали в Берлин. Кроме того, для руководства ими был выделен один из опытейших советских офицеров. В апреле 1945 года генерал Серов простился с Варшавой и отправился в Германию, где он первым делом поделил Берлин и другие города советской зоны оккупации на «оперативные сектора». Но реальные полномочия немецким особистам он дал не сразу. Советское командование полагало, что немцы, включая немецких коммунистов, нуждаются в большей опеке, чем прочие жители Восточной Европы. Так, немецким полицейским не разрешалось носить оружие вплоть до января 1946 года. Даже после того как под контроль немецких властей была передана гражданская полиция, все персональные назначения по-прежнему санкционировались советской военной администрацией⁴². Лишь в марте 1948 года представитель советского МВД в Восточной Германии согласился информировать руководство Немецкой коммунистической партии о планируемых арестах.

Действуя осторожно и неторопливо, советская администрация в 1947 году приступила к созданию немецкой политической полиции. Но даже тогда не все одобряли эту идею. Например, советский министр внутренних дел Виктор Абакумов полагал, что новоявленное полицейское ведомство обязательно станет мишенью для западной пропаганды: его будут выдавать за «новое гестапо». Более того, он по-прежнему не доверял немцам, сетуя на то,

что «немецкие кадры, прошедшие тщательную проверку, слишком малочисленны». Тем не менее, несмотря на все возражения, набор сотрудников был открыт. Как полагает Норман Наймарк, в НКВД наконец поняли, что непонимание Германии и немцев, присущее его сотрудникам, вызывает возмущение в немецком обществе. Тем не менее потребовалось некоторое время, чтобы новый департамент — его называли «К5», или «отдел К», — обрел силу. Первоначально предназначавшееся для контроля над самой немецкой полицией новое ведомство получало указания непосредственно от представителей советского МВД, игнорируя региональные и центральные органы власти Германии⁴³. В одном из дошедших до нас документов той эпохи — большая часть архивов позже была изъята КГБ и, скорее всего, уничтожена до 1989 года — упоминаются тренировки новых сотрудников, а также приводятся списки их участников. В первых строках идут фамилии советских консультантов⁴⁴.

К5 во многом напоминал политическую полицию остальной Восточной Европы: как и в Венгрии, Польше, Советском Союзе, новое учреждение с самого начала не подчинялось иным государственным органам, действуя вне обычного законодательства. Лишь в 1950 году правительство Германской Демократической Республики приняло полноценный закон «О формировании Министерства государственной безопасности», официально учреждавший новое ведомство⁴⁵. Но даже после этого советские начальники немецкой спецслужбы продолжали испытывать недоверие к немцам. Так, они сместили Эриха Мильке, первого босса организации, который имел подозрительные пробелы в биографии, поскольку несколько военных лет провел во Франции, и назначили на его место своего кандидата — Вильгельма Цайссера, ставшего главой нового министерства⁴⁶.

Подобно спецслужбам Польши или Венгрии, немецкая Штази (*Stasi* — неофициальное сокращение от *Ministerium für Staatssicherheit*) по своему организационному устройству очень напоминала НКВД (который после войны также переименовывался, став в конце концов Комитетом государственной безопасности). Но немцы копировали КГБ буквально во всем.

В частности, немецкая политическая полиция до 1954 года использовала советские методы кодирования и шифрования информации, и даже полицейские досье сшивались здесь так же, как это делалось в Москве⁴⁷. С советскими товарищами консультировались по таким предметам, как невидимые чернила и микрофотография⁴⁸. Что еще более показательно, офицеры Штази, подобно сотрудникам первой советской спецслужбы, основанной в 1918 году, называли себя чекистами. Их эмблема со щитом и мечом очень напоминает символ КГБ, а реверансы в адрес советских «друзей» в немецкой специальной литературе были постоянными⁴⁹. Как пояснял ведомственный учебник истории Штази, «советские чекисты под руководством Ленина и советской коммунистической партии заложили основы социалистических органов государственной безопасности». Все восточные немцы, продолжало пособие, знают, что «учиться у Советского Союза — это значит учиться побеждать». А сотрудники спецслужб вдобавок знали и о том, что «учиться у советских чекистов — это значит уметь обезвредить даже самого изощренного врага»⁵⁰.

Первоначально сотрудники Штази вербовались только из наличного состава К5 и партийных кадров. Тем не менее 88 процентов соискателей были отсеяны из-за наличия родственников на Западе, временного пребывания за границей или «темных пятен» в биографиях. Как и в прочих странах коммунистического блока, вербовщики, действуя по советской указке, предпочитали молодых, необразованных и неопытных кандидатов старым коммунистам с довоенным стажем⁵¹. Некоторые из отобранных предварительно прошли через программы «промывки мозгов», осуществлявшиеся в советских лагерях для военнопленных, но многие сотрудники первого набора в конце войны были подростками и вообще не имели никакого опыта. Один из служащих Штази ранней поры описывает своих коллег — «наше поколение» — как «людей, которые не имели касательства к Третьему рейху, но которые при этом были сформированы войной»⁵². Многие вышли из бедных или «пролетарских» семей, и если у них вообще имелась хоть какая-то подготовка, то она

была узко идеологической. В 1953 году 92 процента немецких «чекистов» были членами коммунистической партии. На практике они нуждались в советских инструкторах и кураторах на протяжении многих лет⁵³.

Вольфганг Шваниц, молодой студент-правовед, пришедший работать в Штази в 1951 году, был довольно типичным примером. Через полвека он вспоминал: «Я почти ничего не знал об органах безопасности, не слышал и не читал о них и с любопытством размышлял о том, чего же они ждут от меня. ...Я был похож на деву на пороге грехопадения». Убежденный в том, что «надо защищать ГДР», он согласился принять предложение Штази⁵⁴. В последующие несколько месяцев Шваниц интенсивно готовился к новой работе. Почти все его инструкторы были советскими чекистами: «Они буквально водили нас за руку: в течение дня наставник говорил, что мне нужно сделать, а вечером мы разбирали, что было мною сделано. Он разъяснял мне, где я допустил ошибку, а где действовал верно». Новичков учили тому, как вербовать осведомителей, создавать явочную квартиру, следить за подозреваемыми, вести расследование. Кроме того, они глубоко изучали марксистско-ленинскую теорию и историю коммунистической партии. Впрочем, не всех тогда тренировали столь рьяно: другой сотрудник того же раннего призыва вспоминал, что его буквально сразу «бросили в дело». Получив место в кабинете с тремя коллегами, а также имея в распоряжении единственный мотоцикл на пятнадцать человек, этот человек постоянно ездил по другим городам, организуя ячейки Штази.

Подразумевалось, что впоследствии эти ячейки будут «клонировать себя сами»⁵⁵.

Шваниц, как и многие другие, испытывал удовольствие от только что обретенной своей значимости. Пюнтеру Ширвицу, молодому полицейскому, семья которого в конце войны покинула Силезию, исполнился двадцать один год, когда его в 1951 году просто вызвали в Берлин на какое-то собеседование. Здесь выяснилось, что его собеседниками будут офицеры Штази — коммунисты довоенной поры. «Они рассказывали истории из своего антифашистского прошлого», — говорил он мне. Ему

также очень польстила письменная рекомендация, полученная в местной парторганизации, которую он потом хранил десятилетиями. Характеристика молодого человека в этом документе звучит многообещающе: «Его политические познания выше среднего. Он пытается расширить кругозор, посвящая свободное время самообразованию. Будучи человеком с классовым сознанием, глубоко изучает историю Германской коммунистической партии. Его отношение к СССР и ГДР устойчиво позитивное. Являясь членом парткома, активно участвует в партийной жизни и пишет статьи в производственную стенгазету»⁵⁶.

Рекомендация описывала его как «надежного товарища», и в конце концов он был принят на работу. Поначалу его хотели сделать следователем, но потом он получил место телохранителя — одну из самых благодатных должностей в тайной полиции. Новое дело, по его словам, нравилось: «Я не хотел работать в кабинете». С годами этот человек не поменял ни отношение к роли Штази, ни позитивное восприятие советской помощи. В долгой беседе о годах, проведенных в спецслужбах, Ширвиц вспоминал в основном о былых командировках. В Праге была удивительная чешская кухня, в Вене выдавали по 200 шиллингов суточных, а в Будапеште венгерские чекисты встречали с необычайным радушием. Мой собеседник с удовольствием вспоминал и железнодорожную поездку в Москву вместе с Отто Гротеволем, премьер-министром Восточной Германии после 1949 года, и Вильгельмом Пиком, а также слаженное взаимодействие Штази с агентами службы безопасности Западной Германии во время визита в Бонн в 1970-х годах. Карьера в Штази обеспечила ему продвижение по социальной лестнице, относительный материальный комфорт и образование — и все это благодаря советским братьям⁵⁷.

Новобранцы, поступавшие на службу в тайную полицию восточноевропейских стран, учились технике шпионажа, навыкам рукопашного боя, методам слежки у НКВД и, позднее, у КГБ. У своих русских наставников они также перенимали манеру мыслить как советские особы. Они приучались искать врага даже там, где его, казалось бы, не было, поскольку их

советские коллеги хорошо знали методы, с помощью которых враг маскировался и прятался. Они привыкли ставить под вопрос независимость любой личности или группы, которые заявляли о собственном политическом нейтралитете, так как советские чекисты не верили в политическую нейтральность.

Их учили также думать в долгосрочной перспективе, выявляя не только действительных, но и потенциальных оппонентов режима. Это была поистине большевистская одержимость. В марте 1922 года Ленин провозглашал: «Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам... расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать»⁵⁸. В эссе, написанном для будущих кадров, один из историков Штази пояснял, что деятельность организации «с самого начала не ограничивалась отражением вражеских атак. Она была и остается органом, который должен использовать все средства в *наступательной борьбе* против врагов социализма»⁵⁹.

Одновременно восточноевропейским чекистам внушалось презрение к всем врагам Советского Союза. С конца 1930-х годов Сталин, по словам одного историка, начал отзываться о врагах СССР в «биологических и гигиенических терминах». Он обличал их как вредителей, осквернителей, грязь, от которой приходится постоянно очищаться⁶⁰. Именно эта злоба нашла отголосок в вышеупомянутых отчетах молодого Кишака, присылаемых из Лондона.

Наконец, советские товарищи готовили своих протеже и к тому, что любой человек, не являющийся коммунистом, заранее должен подозреваться в том, что он иностранный шпион. С началом холодной войны это убеждение стало очень распространенным по всей Восточной Европе; оно подкреплялось черно-белой пропагандой, противопоставлявшей миролюбивый Восток воинственному Западу. В Восточной Германии увлечение им быстро сделалось настоящей манией. Близость Западной Германии и относительная открытость Берлина в 1940–1950-е годы означали, что новое социалистическое государство дей-

ствительно находится в кольце врагов и наводнено огромным числом западных агентов. Менталитет Штази складывался именно в ту эпоху, и в конце концов офицеры этой спецслужбы разучились отличать иностранных шпионов от обычных диссидентов. Собственный историк Штази описывал послевоенные годы как время жесткой борьбы с западногерманскими политическими партиями и правозащитными организациями, действовавшими тогда в Западном Берлине. Все эти группы и объединения, согласно коллективной памяти Штази, были основаны не для того, чтобы отстаивать свободу слова или демократию, а с целью «изолировать ГДР в международном плане» и подорвать немецкое социалистическое государство. Они имели «социальную базу в ГДР» только благодаря тому, что капиталистический способ производства и фашистское мышление не искореняются сразу; таким образом, с ними и их «клеветническими посланиями» необходимо было бороться с удвоенной энергией⁶¹.

Борьба против могущественных и тщательно замаскированных представителей иностранных государств могла принимать разнообразные формы. Разумеется, с самого начала она требовала тщательного надзора за всеми, кто контактировал с иностранцами, имел родственников за границей, выезжал за рубеж в прошлом. В ГДР хранились списки людей, общавшихся с западной прессой, особенно с радиостанцией американского сектора (*Rundfunk im amerikanischen Sektor*, *RIAS*), которая вещала под началом американских оккупационных властей. Предпринимались также попытки вербовать осведомителей и информаторов на самой радиостанции⁶².

Подобная ситуация наблюдалась и в Венгрии, где всех венгров, имевших контакты с иностранцами, считали шпионами. После того как Илона и Эндре Мартон, венгерские граждане, в 1948 году получили работу в американских телеграфных агентствах *Associated Press* и *United Press*, за ними, по свидетельству их дочери Кати Мартон, круглосуточно наблюдали полицейские информаторы. Поход в кафе, разговор с коллегой, катание на лыжах — все фиксировалось Департаментом государственной безопасности в досье, которое к 1950 году составило 1600 стра-

ниц. И хотя они не были шпионами — напротив, некоторые американские дипломаты остерегались и сторонились их, в 1955 году их все-таки арестовали. Принятый тогда «план допроса Илоны Мартон» предполагал разговор о «людях, с которыми она встречалась с 1945 года и о том, как складывались отношения с ними», обсуждение ее «американских связей и шпионской деятельности», а также «любви к западному образу жизни»⁶³.

Неустанная борьба с врагами требовала, чтобы новоявленные «чекисты» с самого начала обладали искусством заводить друзей и вербовать осведомителей. Поскольку враг был осторожен, обнаружить его можно было только с помощью специальных ухищрений и сотрудничества с тайными союзниками — как в собственном, так и во вражеском лагере. В учебной методичке Штази подчеркивается, насколько важен такой вид вербовки: «Поскольку особой задачей министерства государственной безопасности является повсеместное обнаружение и уничтожение врага, необходимо обращение к методам конспирации и неофициального сотрудничества с гражданами нашей республики и патриотами во вражеском лагере. Граждане, вовлеченные в подобное сотрудничество, выражают особо высокое доверие к Штази. Так как эта форма кооперации имеет для нас принципиальное значение, все сотрудники службы должны быть приучены ценить эту миссию, а также уважать тайных патриотов и борцов невидимого фронта»⁶⁴.

На практике это означало, что сотрудникам спецслужб приходилось осваивать искусство давления, подкупа, шантажа и угроз. Им приходилось убеждать жен следить за мужьями, а детей доносить на родителей. Им нужно было знать, например, как находить, а потом курировать людей, подобных Бруно Кункелю (кличка Макс Кунц), который начал тайно сотрудничать с Штази в 1950 году и чье полное досье показывает, до какой степени досконально «чекистам» требовалось знать своих секретных осведомителей. Материалы этого досье содержат информацию о политической и профессиональной принадлежности молодого человека (молодежная коммунистическая ячейка, обучение на автомеханика), а также о членах его семьи, их

занятиях и взглядах⁶⁵. Кроме того, здесь есть психологические портреты осведомителя, подготовленные коллегами и начальниками, не все из которых лестны. («К. слабоволен, отличается легкомыслием и поверхностностью. Его классовое сознание неразвито. Но он благорасположен по отношению к Советскому Союзу и антифашистскому демократическому строю»). К моменту принятия на службу тайного агента тщательно проверили, но даже это не избавило его от зловещей клятвы: «Я, Бруно Кункель, со всей ответственностью заявляю, что обязуюсь работать на органы государственной безопасности ГДР. Я обязуюсь выявлять людей, чья деятельность направлена против ГДР и Советского Союза, и незамедлительно сообщать о них. Я клянусь четко выполнять приказы вышестоящих руководителей. Мне разъяснено, что мои обязательства перед органами государственной безопасности должны оставаться в тайне, и я обязуюсь не сообщать об этом никому, включая членов моей семьи. Чтобы соблюсти секретность, я буду подписывать свои доклады и рапорты кодовым именем “Кунц”. Я буду строго наказан, если разглашу содержание этого заявления, собственноручно мною подписанного». Агент поставил под документом две подписи — «Бруно Кункель» и «Макс Кунц» — и был, вероятно, добросовестным осведомителем, поскольку со временем его перевели на штатную работу в Штази.

В последующие годы десяткам тысяч людей во всей Восточной Европе пришлось подписывать подобные формуляры. Как только они ставили свою подпись, за ними начинали пристально наблюдать, собирая доказательства того, что они действительно способны хранить тайну и что добываемая ими информация достоверна. Осведомители следили за публикой, но тайная полиция не спускала глаз с самих информаторов. Со временем чекисты Восточной Европы научились поддерживать невероятный уровень бдительности по отношению к неизвестному и зачастую не поддающемуся выявлению врагу, внутри и за пределами страны, партии, самой тайной полиции. Это, бесспорно, была не та форма мышления, из которой могло родиться демократическое сотрудничество.

Глава 5

Насилие

Ситуация предельно ясна: это должно быть похоже на демократию, но нам предстоит держать все под неусыпным контролем.

Вальтер Ульбрихт, 1945¹

С самого основания коммунистические партии Советского Союза и восточноевропейских стран добивались своих целей, применяя насилие. В каждой стране они контролировали «силовые ведомства» — министерства обороны и внутренних дел, поставив тем самым себе на службу полицию и армию. После завершения войны на смену массовому и беспорядочному насилию, сопровождавшему наступление Красной армии на Берлин, пришли более изощренные и избирательные формы политического насилия: аресты, избиения, казни и концентрационные лагеря. Весь этот арсенал использовался в отношении сравнительно малого числа реальных, предполагаемых и вымышленных врагов Советского Союза и коммунистических партий. Он предназначался для того, чтобы, с одной стороны, уничтожить неприятеля физически, а с другой — внушить мысль о том, будто любое вооруженное сопротивление новой власти бессмысленно².

При этом на словах все выглядело не так, как делалось. По крайней мере на первых этапах НКВД и новые спецслужбы громко и открыто объявляли войну исключительно недобитым фашистам, а советские чиновники и местные коммунистические боссы разворачивали шумные пропагандистские кампании против коллаборационистов и изменников. В этом плане, кстати, они мало отличались от вернувшихся к власти национальных правительств Нидерландов, Франции и прочих освобожденных стран Европы³. Но в каждой стране, оккупированной Красной армией, смысловое наполнение понятия «фашист» постепенно

расширялось, включая в себя не только нацистских пособников, но и всех тех, кто просто недолго любил советских оккупантов и их местных союзников. Со временем термин «фашист», вполне в духе Оруэлла, стал использоваться и применительно к тем антифашистам, которые стояли на антикоммунистических позициях. Каждый раз границы понятия расширялись, что сопровождалось все новыми арестами.

Некоторые из этих «фашистов» намечались заранее. Историк Амир Вайнер доказывает, что НКВД формировал списки потенциальных врагов в Восточной Европе, в особенности в Польше и Прибалтийских странах, на протяжении многих лет. (При этом, правда, Вайнер обращает внимание на огромную разницу между отличавшим НКВД прекрасным «знанием» Польши и весьма посредственным культурным и историческим ее «пониманием»⁴.) Нужные имена чекисты получали из газет, а также от шпионов и дипломатов. Когда имен в распоряжении не было, НКВД готовил списки категорий людей, которые подлежат аресту. В мае 1941 года Сталин лично составил подобный перечень для недавно оккупированных областей Восточной Польши. Он потребовал ареста и высылки не только «членов польских контрреволюционных организаций», но и членов их семей, а также семей бывших офицеров польской армии, бывших полицейских и бывших государственных и муниципальных служащих⁵.

Далеко не везде аресты начинались немедленно. В ряде случаев Сталин настаивал, чтобы восточноевропейские коммунисты проявляли осторожность и сдержанность в тот период, пока идет становление нового общественного строя. Весной 1944 года крошечная коммунистическая партия Польши получила из Москвы указание, предписывавшее ее лидерам начать взаимодействие со *всеми* демократическими силами (слово «всеми» было в документе подчеркнуто), адресуя свою пропаганду «рядовым членам» других, «более реакционных» партий⁶. На первых порах политика Сталина состояла в том, чтобы идти мелкими шажками, не раздражать союзников и мало-помалу завоевывать симпатии населения убеждением или обманом. Именно по этой причине в Венгрии состоялись свободные

выборы; во всех освобожденных Красной армией странах более или менее свободно действовали независимые политические партии; а немецких коммунистов даже в 1948 году Сталин призывал «двигаться к социализму зигзагами и окольными путями». К их ужасу вождь зашел столь далеко, что предложил им подумать о допуске в ряды партии бывших нацистов⁷. Модель национального фронта внедрялась в сознание всех местных коммунистов, возвращавшихся домой на самолетах из Москвы или с обозами Красной армии. «Не используйте коммунистические лозунги; не говорите о диктатуре пролетариата; больше рассуждайте о коалициях, альянсах и демократии», — эти идеи внушались им весьма настойчиво.

Несмотря на все благие намерения, насилие быстро распространялось, причем не всегда за этим стоял чей-то умысел. Зачастую приказ «не спешить!» не мог быть выполнен советскими солдатами и чиновниками по той причине, что они были интеллектуально и психологически не подготовлены к последствиям подобной политики. В глазах советского офицера, учившегося в большевистской школе и окончившего командное училище Красной армии или НКВД, участие в *любой* политической группе, за исключением коммунистической ячейки, выглядело подозрительным. Члены политбюро в Москве могли рассуждать о «социалистических демократиях» в теории, но советские управленцы на местах почти всегда оказывались не в состоянии мириться с моделями, отличающимися от тоталитарного государства. Риторика новых режимов, суливших освобожденным от нацистского ига гражданам свободу слова, печати и объединений, не вызывала у них ничего, кроме инстинктивного ужаса.

Применение насилия становилось все более интенсивным и из-за того, что былые ожидания советской военной администрации и местных коммунистов не оправдывались. На первых этапах победного шествия Красной армии по европейским странам местные коммунисты рассчитывали, что рабочий класс поддержит революцию. Когда стало ясно, что этого не будет, они с яростью обрушились, используя формулировку некоего

партийного функционера из Варшавы, на «нелепый дух противоречия и невежества», присущий их соотечественникам⁸. Их фрустрация, усугубляемая острым конфликтом советской культуры с культурой Восточной Европы, также питала политическое насилие.

В некоторых странах советская оккупация вообще не сопровождалась либеральной прелюдией. В Польше, например, СССР враждебно относился к Армии крайовой, и в особенности к ее партизанским отрядам, действовавшим в восточной части страны, задолго до конца войны. Советское вторжение и оккупация Восточной Польши в 1939 году сопровождались массовыми арестами и депортацией польских торговцев, политиков, государственных служащих и священников. Кульминацией этой волны насилия стало отвратительное массовое убийство по меньшей мере 21 тысячи польских офицеров в лесах западной России. Среди жертв этих расстрелов было много офицеров-резервистов, в гражданской жизни работавших врачами, адвокатами, университетскими преподавателями. Это была патриотическая и интеллектуальная элита Польши. Армия крайова, кабинет в изгнании и руководство подполья хорошо знали об этой трагедии: обнаружение нацистами в 1943 году под Катынью одного из массовых захоронений привело к полному разрыву дипломатических отношений между польским эмигрантским правительством и Советским Союзом.

Тем не менее в период второго советского вторжения Армия крайова отнюдь не выступала в качестве сугубо антикоммунистической организации. По сути, это была антинацистская и антифашистская сила, сформированная в 1942 году в качестве вооруженного крыла польского движения Сопротивления. Антифашизм оставался едва ли не единственным политическим чувством, объединявшим ее бойцов, среди которых были члены социалистических, социал-демократических, националистических и крестьянских партий. В свои лучшие времена Армия крайова насчитывала 300 тысяч вооруженных партизан, что делало ее второй партизанской армией Европы после югославской — по

крайней мере до того момента, пока партизаны и подпольщики после высадки союзников в Европе не активизировали свою деятельность во Франции. В правовом плане Армия крайова подчинялась законному правительству Польши, находящемуся в эмиграции; благодаря этому обстоятельству она, в отличие от других малочисленных потоков польского Сопротивления, была легитимно связана с довоенной Польшей⁹.

Сама Армия крайова исходила из той предпосылки, что ее руководители, подобно сторонникам де Голля во Франции, будут играть важную роль при формировании послевоенного временного правительства. Ее солдаты вполне справедливо рассматривали себя в качестве «союзников» британских, французских, советских воинских формирований. Столкнувшись с перспективой неминуемого прихода Красной армии, Армия крайова была готова мобилизовать свои силы против отступающих немцев и начать тактическое взаимодействие с советскими войсками. С октября 1943 года ее подразделения имели приказ не воевать с красноармейцами; тогда командование Армии крайовой настояло на том, чтобы лондонское правительство вынесло «исторически очевидное» решение по данному вопросу¹⁰. Командирам ее партизанских отрядов приказали самостоятельно вступать в контакт с советскими войсками и оказывать им максимально возможное содействие в боях с немцами¹¹. Им также было предписано сосредоточиться на освобождении городов, что впоследствии должно было обернуться политическими преимуществами¹².

Первые контакты проходили довольно гладко. В марте 1944 года офицеры передового разведывательного отряда Красной армии, встретившись с командирами 27-й пехотной дивизии Армии крайовой, договорились о совместной операции по освобождению Ковеля, довоенного польского города, ныне находящегося на территории Западной Украины. Поляки согласились передать свои подразделения под советское командование, а красноармейцы, со своей стороны, изъявили готовность помочь им оружием и признать их политическую самостоятельность. На протяжении трех недель польские и советские солдаты сража-

лись плечом к плечу, освободив несколько деревень и понеся тяжелые потери¹³.

Если бы политические устремления Советского Союза были иными, этот эпизод мог бы послужить образцом для дальнейшего сотрудничества. Но все закончилось скверно. В июле командующий польской дивизией в регионе подтвердил желание взаимодействовать с Красной армией, но одновременно заявил, что с новым, только что учрежденным в Люблине и возглавляемым коммунистами Польским комитетом национального освобождения он действовать не собирается. Кооперация закончилась: дивизия была немедленно окружена советскими войсками и разоружена. Некоторых ее бойцов арестовали, а других вообще отправили в лагерь¹⁴. Взаимодействие, предательство, разоружение, арест — в дальнейшем этот путь повторялся во многих соприкосновениях Красной армии и Армии крайовой¹⁵.

По мере того как вторжение Красной армии в Польшу весной и летом 1944 года набирало обороты, ее отношения с Армией крайовой привлекали все большее внимание советского руководства. Лаврентий Берия, жестокий и двуличный шеф НКВД, ежедневно представлял Сталину подробные доклады о ситуации в Польше. Причем делалось это в таких выражениях, которые призваны были обеспокоить советского вождя. Например, 29 июня 1944 года Берия представил Сталину список «польских банд» (им нарочито использовалось слово с явным криминальным оттенком), которые готовились к боевым действиям в «Западной Белоруссии» — на бывшей польской территории, в 1939 году оккупированной СССР. Эти банды, писал он, «организованы по тем же принципам, что и в довоенной Польше», то есть в капиталистической, аристократической и враждебной Советскому Союзу стране. Министр злобно подчеркивал, что польские формирования поддерживают «прямые связи с военными кругами польского правительства в Англии». Позже он также указывал, что иногда они даже встречаются с лондонскими эмиссарами: это должно было означать, что части Армии крайовой служат инструментами западного влияния. Согласно подсчетам Берии, в регионе тогда находилось от 10 до 20 тысяч

вооруженных партизан, к которым он относился с нескрываемым подозрением¹⁶.

Берия сообщал, что польские «банды» готовятся к масштабному наступлению против немцев. Это было правдой. В конце июня 1944 года солдаты Армии крайовой, действовавшие на бывших польских землях, действительно готовили операцию «Буря», которая предполагала серию вооруженных восстаний, направленных на освобождение польских городов от нацистов еще до прихода Красной армии. Самым известным стало Варшавское восстание, но одновременно готовились восстания в Вильнюсе и Львове. Берия не ошибался также и в том, что командиры Армии крайовой поддерживали связь с Лондоном. И хотя их контакты с внешним миром оставались поверхностными и нерегулярными, партизанские формирования в восточных лесах считали себя частью регулярной армии, подчинявшейся польскому правительству в изгнании. Они также исходили из того, что с завершением войны польские территории, оккупированные Советским Союзом в 1939 году, вернутся к Польше, а предвоенные границы страны будут восстановлены.

Со временем сообщения, который делал Берия, становились все мрачнее. Он не только утверждал, что Армия крайова была оплотом аристократического капитализма, но и намекал на то, что ее руководители сотрудничали с немцами. Используя шпионскую лексику, он писал Сталину о том, что «центры» Армии крайовой в Варшаве и Вильнюсе «работают на немцев, вооружаются за их счет, ведут агитацию против большевиков, коммунистических партизан, колхозов, а также убивают коммунистов, которые остались на территории Западной Белоруссии»¹⁷. Берия с глубоким подозрением относился к местному командиру Армии крайовой генералу Александру Кржижановскому (более известному под кличкой Волк). Этот человек, писал Берия в июле, — темная личность, прибывшая в регион «нелегально» в период немецкой оккупации. Еще хуже было то, что один из подчиненных Волка уже вышел на связь с Красной армией, попросив у советского командования содействия в освобождении Вильнюса. Берия считал такое обращение «возмутительным» — «поляки полагают, что

у них есть права на Вильнюс!» — и сокрушался по поводу того, что они «дезориентируют население». Жители региона, пояснял он, должны считать своими освободителями красноармейцев, а не поляков¹⁸.

Отчасти негодование, которое Берия высказывал в отношении генерала Волка, имело под собой основания. Многие польские партизанские группы, действовавшие в регионе, с подозрением относились к коммунистам. В 1939–1941 годах этим территориям уже пришлось испытать советскую оккупацию и террор: около полумиллиона поляков отправились тогда в изгнание или в концентрационные лагеря. Выживших переполняло возмущение, они знали о бойне в Катыни и не сомневались в том, что имеют полное право получить назад Вильнюс — город, который на протяжении веков был польским и в котором в тот момент этнические поляки составляли большинство. Кроме того, стремясь освободить свою страну до прихода Красной армии, они не испытывали никакого смущения от того, что в их арсенале было немецкое оружие, брошенное отступающим врагом.

И все же обвинения Армии крайовой в том, что она якобы служит немцам, можно считать явной нелепостью. Генерал Волк, который с 1939 года сражался с германской армией, даже отдаленно не напоминал фашиста. Ни он и ни его командиры ни тогда, ни позже не отдавали приказа сопротивляться Красной армии. Антипатии Берии к людям типа Волка имели идеологическую основу. Их питала и самовлюбленность советского чекиста: ему претила сама мысль о том, что какие-то выскочки-поляки, еще и не коммунисты, способны на равных разговаривать с советскими офицерами.

Такое отношение прослеживалось во всех звеньях командной цепочки. В донесении, направленном в Ставку в июле, командующий 1-м Белорусским фронтом сообщал о своей встрече с польским «партизаном» (как и Берия, он берет это слово в кавычки), который, к его большому удивлению, вел себя с ним как с равным. Поляк, по его словам, называл себя командующим дивизией; он просил оружия и помощи. В другом донесении, подготовленном спустя несколько дней, описывалась

встреча с другой группой польских партизан, подобранных в лесу сбитых американских пилотов. Поляки наотрез отказались выполнить требование красноармейцев о передаче летчиков им. «Это вовсе не партизаны, — возмущался полковник, готовивший сводку, — а польские военные, подчиняющиеся польскому правительству в Лондоне!»¹⁹. На самом деле они были и теми, и другими. Но в голове советского полковника никак не укладывалась мысль, что кроме советских партизан бывают какие-то иные партизаны.

К середине лета всякая имитация взаимодействия была прекращена и Советский Союз начал обращаться с Армией крайовой как с откровенно враждебной силой. В середине июля 1944 года Берия информировал Сталина о том, что он направил 12 тысяч солдат для принятия «чекистских мер» по искоренению партизан Армии крайовой в лесах и «умиротворению» местного населения, предоставлявшего повстанцам продовольствие и кров²⁰. Во главе подразделений НКВД был поставлен генерал Иван Серов, который курировал депортацию «вредных элементов» из Восточной Польши и Прибалтийских государств в 1939—1941 годах и организовывал жестокую высылку татарского населения из Крыма в 1944 году. Умиротворение малых наций было его специализацией²¹.

Серов действовал энергично. 17 июля командиры Красной армии, действовавшие по его распоряжению, пригласили генерала Волка на переговоры, а когда он прибыл, разоружили и арестовали его. В последующие два дня многие его подчиненные также были схвачены, разоружены и арестованы. К 20 июля красноармейцы разоружили 6000 партизан Армии крайовой, в том числе 650 офицеров²². Привлеченные обещаниями оружия и помощи, поляки были захвачены врасплох. Так, 14 июля молодой партизан Генрик Савала узнал, что его подразделение будет включено в состав новой польско-советской дивизии. Его командир объяснил бойцам, что им предстоит шесть недель учений, после которых они продолжат наступление вместе с Красной армией при поддержке артиллерии и танков. Воодушевленный этой перспективой, Савала 18 июля явился к

советским офицерам, которые, как он полагал, возглавят новую часть. Его немедленно взяли под арест.

«Нас встретили около полусотни солдат НКВД, первым делом отобравших у нас оружие», — вспоминал он позже. Кто-то из партизан оказал сопротивление, предпочтя «достойную смерть». Но, учитывая численное превосходство красноармейцев, большая часть поляков решила избежать ненужного кровопролития и подчиниться. Всех их, включая рассказчика, колонной, под вооруженной охраной и без еды, пешком отправили во временный лагерь в сорока километрах от Вильнюса. На западе шли тяжелые бои, но опытные польские бойцы, которые были бы рады сразиться с отступающими немцами, проводили время в безделье, причем условия их содержания были отвратительными. «Мы спали вповалку, как сардины в банке, — вспоминал Савала, — а кормили нас только хлебом и селедкой»²³.

Наконец пленников вызвали на собрание и предложили сделку. Солдат в польской военной форме — Савала, правда, вспоминает, что «понять его было трудновато, поскольку в его речи русских слов было больше, чем польских», — убеждал их вступить в польскую дивизию Красной армии и отречься от лондонского правительства «изменников». Затем выступил польский писатель-коммунист Ежи Путрамент, который повторил те же мысли. Его встретили недружелюбно: партизаны швыряли в лицо литератору комья грязи и требовали возвращения своего командира. Агитатор, прежде изъяснявшийся на плохом польском, оставил свой вежливый тон и прорычал, что если они незамедлительно не присоединятся к красноармейцам, то закончат свои дни где-нибудь в рудниках или каменоломнях. Обозлившись, большинство поляков отказалось от продолжения разговора. После этого группу депортировали на восток, в трудовой лагерь для военнопленных. Некоторых вовсе отправили в систему ГУЛАГа. Сам Савала оказался в лагере в Калуге, юго-западнее Москвы²⁴. Разгром Армии крайовой подкреплялся карательными мерами в отношении тех, кто мог ей симпатизировать, включая членов семей. В целом в 1944–1947 годах НКВД арестовал в бывших восточных областях Польши от 35 до 45 тысяч человек²⁵.

Продвигаясь вглубь территории, которую даже Советский Союз признавал неотъемлемой частью Польши, красные командиры отнюдь не отказывались от своего враждебного отношения к Армии крайовой. Напротив, теперь они действовали более жестоко и решительно. Когда Красная армия вступила в Познань — город, расположенный на западе Польши, на арест, водворение в тюрьму, жестокие допросы и пытки десятков бойцов Армии крайовой ей хватило всего одной недели. Вслед за этим НКВД организовал массовые казни тысяч людей в окрестных лесах²⁶. В ответ Армия крайова отказалась признавать в наступающей Красной армии потенциального союзника, а ее партизаны больше не раскрывали себя новым захватчикам. Некоторые бросали оружие и смешивались с гражданским населением. Другие предпочли затаиться в лесах и наблюдать, что будет дальше.

Слухи о том, что происходит в восточной Польше, быстро достигли Варшавы. Хотя командиры Армии крайовой, находившиеся в польской столице, поддерживали лишь эпизодические контакты с Лондоном и были не очень информированы о событиях на разных театрах военных действий, они знали: Красная армия арестовывает и разоружает их боевых товарищей. 1 августа 1944 года, в атмосфере смятения и паники, они подали сигнал к началу героического, но заранее обреченного Варшавского восстания, нацеленного на то, чтобы изгнать нацистов и освободить центр Варшавы, опередив советские войска. Немцы со всей жестокостью обрушились на восставших. Английские и американские самолеты, управляемые в основном польскими и южноафриканскими летчиками, бесстрашно сбрасывали повстанцам продукты и амуницию, хотя это едва ли могло изменить положение. Между тем Красная армия, уже занявшая восточные пригороды польской столицы, стояла на противоположном берегу Вислы и ничего не предпринимала. Более того, Сталин не разрешил самолетам союзников, доставлявшим восставшим провиант и боеприпасы, приземляться на советской территории²⁷.

Хотя позже Сталин заявит, что он о восстании ничего не знал, разведчики-красноармейцы внимательно следили за ходом боев

в Варшаве и за общественными настроениями в Польше. В начале октября, когда восстание близилось к трагическому и ужасному концу, некий полковник Красной армии описывал текущую ситуацию в одном из многочисленных донесений, направляемых в Москву. Хотя в боях погибли сотни тысяч людей, а от города не осталось практически ничего — немцы систематически взрывали все уцелевшие здания, а выживших варшавян отправляли в лагеря, — главным предметом его забот были взаимоотношения между остатками Армии крайовой и малочисленной Гвардией людовой, военизированным крылом коммунистической партии. Армия крайова, сокрушался он, не хочет делиться с коммунистами оружием. Более того, ее командиры ведут против СССР враждебную пропагандистскую работу: «В своих листовках они подчеркивают несущественность той помощи, которую повстанцам оказывает советская авиация, превознося при этом усилия англо-американцев. Очевидно, таким образом, что эта организация готовится выступить против Красной армии. ...Распускаются также слухи о том, что Польская армия [польские части под советским командованием]* — это советские агенты, не имеющие ничего общего с национальными интересами Польши»²⁸.

После завершения восстания — Варшава к тому времени была сожжена дотла, руководители польского подполья мертвы или брошены в концлагеря, 200 тысяч поляков погибли — тон информационных сообщений из Польши, а также докладов Берии Сталину стал еще жестче. 1 ноября 1944 года Берия подал Сталину докладную записку, в которой описывалась «антисоветская деятельность националистических и бандитских организаций белополяков», под которыми имелись в виду подразделения Армии крайовой²⁹. В том же месяце советское войсковое командование рекомендовало «усилить подавление» польских партизан. Для борьбы с польским Сопротивлением с фронта снимались красноармейцы, вызывались дополнительные части НКВД, мобилизовались кадры новых спецслужб

* Здесь и далее в квадратных скобках приводятся примечания переводчика.

Польши³⁰. В результате этих усилий к третьей неделе ноября были арестованы 3692 бойца Армии крайовой, а к 1 декабря их число достигло 5069³¹.

Битва за столицу ожесточила польское общество. Многие из тех, кто прежде надеялся на романтическое и триумфальное завершение войны, теперь впали в нигилизм. Впоследствии Варшавское восстание запомнится как последний героический бой за польскую независимость, а его вожди станут героями — сначала антикоммунистического подполья, а потом и посткоммунистического государства. Современная Варшава изобилует монументами, посвященными восстанию, а улицы города носят имена его героев. Но зимой 1944–1945 годов, по мере того как жизнь в разрушенной польской столице угасала, а Красная армия вела себя все более жестоко, это вооруженное выступление повсеместно считалось ужасной ошибкой. Когда разразилось восстание, Анджей Пануфник, композитор-патриот, находился за городом, ухаживая за больной матерью. Когда его отец вернулся из Варшавы и начал рассказывать о «героическом самопожертвовании мужчин, женщин и детей», Пануфник сразу же понял, что «восстание было чудовищным промахом, основанном на ложных ожиданиях того, будто русские нам помогут»³². Шимон Божко, поляк, служивший в польской дивизии Красной армии, в последние дни восстания наблюдал пожар Варшавы с противоположной стороны реки. «Казалось, что мой мир рухнул, — вспоминал он позже. — Здесь не было никакой политики, только дурные предчувствия»³³. По словам историка Анджея Фриске, провал восстания «породил глубочайшее разочарование, кризис доверия к Западу и осознание глубочайшей зависимости страны от России»³⁴.

Через несколько месяцев, когда в Польше узнали о Ялтинских договоренностях, уныние воцарилось повсеместно. Поляки много размышляли над отдельными фразами документа, особенно над содержащимся в нем призыве к «свободным и честным» выборам, на результаты которых никто не сможет повлиять. И тогда, и позже Ялту считали предательством со стороны Запада; в польском обществе вызрело понимание того, что

западные союзники не собираются помогать Польше, а главной силой на востоке Европы останется Красная армия³⁵.

После Ялты руководители Армии крайовой уже не могли вернуть себе былой авторитет. Когда восстание было разгромлено, организацию перестроили, а ее командующим назначили генерала Леопольда Окулицкого. Но теперь, как полагали многие поляки, без западных союзников и без десятков тысяч молодых бойцов, сложивших свои головы в боях за Варшаву, Польша не сможет противостоять Советскому Союзу. Ощущая утрату легитимности, Окулицкий в январе 1945 года официально распустил отряды Армии крайовой. В своем последнем, глубоко эмоциональном обращении он призвал своих солдат не падать духом: «Постарайтесь стать опорой нации и творцами независимого польского государства. В этом деле каждый из вас будет сам себе командиром. Руководствуясь убеждением в том, что вы выполните мой приказ и сохраните лояльность только Польше, а также желанием облегчить вам будущую созидательную работу, с согласия президента Польской республики я освобождаю вас от ранее принесенной присяги и распускаю все формирования [Армии крайовой]»³⁶.

Призвав своих соотечественников покинуть движение Сопротивления, сам Окулицкий перешел на нелегальное положение. Надеясь на лучшее будущее, в подполье ушли и другие командиры Армии крайовой. Но это будущее так и не наступило. В конце февраля представители НКВД, вступив в контакт с Окулицким и его командирами, пригласили их на встречу с генералом Серовым в пригороде Варшавы. Понимая, что чекистам уже известно об их местонахождении, а также исходя из убеждения в том, что Ялтинские договоренности обязывают Советский Союз гарантировать включение некоммунистов в новое польское правительство, партизаны решились на разговор.

Назад никто из них не вернулся. Повторив судьбу генерала Волка, шестнадцать руководителей Армии крайовой были арестованы, доставлены в Москву, брошены в камеры Лубянки и приговорены советским судом за «подготовку вооруженного восстания против СССР в союзе с немцами». Иными словами,

их обвинили в симпатиях к «фашистам». Большая часть группы получила длительные лагерные сроки. Трое, включая самого Окулицкого, позже умерли в заключении.

Эти репрессии были нацелены на то, чтобы преподать урок всему польскому Сопротивлению и прояснить намерения Советского Союза для остального мира. В них содержалось также и послание польским коммунистам, по крайней мере тем из них, кто надеялся законным путем привлечь на свою сторону последователей Армии крайовой. В дневниковых записях, сделанных в тот период, польский коммунистический политик Якуб Берман писал, что аресты «шокировали и озаботили» его товарищей, планировавших подорвать авторитет Армии крайовой с помощью политики «разделяй и властвуй», то есть заставив ее вождей ссориться между собой и тем самым терять популярность. Вместо этого операция в отношении шестнадцати руководителей польских партизан объединила значительную часть общества против коммунистической партии³⁷.

Внезапное устранение верхушки польского подполья послужило причиной для первого серьезного разлада в стане антигитлеровской коалиции. В письме Рузвельту Черчилль называл эти аресты «поворотным пунктом»: «В этом показательном деле мы и русские фактически решаем вопрос о том, каким смыслом следует наделять такие термины, как демократия, суверенитет, независимость, представительное правление, свободные и честные выборы»³⁸. Как показали дальнейшие события, беспокойство Черчилля было оправданным: советская интерпретация ключевых понятий, включенных в текст Ялтинских договоренностей, очень быстро предстала не просто расплывчатой, но вообще лишаящей их всякого смысла.

После нейтрализации всей верхушки Армии крайовой часть поляков решила, что теперь единственный вариант — это научиться жить при новом режиме. Кто-то, однако, пришел к противоположному заключению, полагая, что не осталось иного выхода, кроме вооруженной борьбы. Именно этот путь весной 1945 года избрали Национальные вооруженные силы (*Narodowe Siły Zbrojne* „*NSZ*”) — крупная партизанская группировка нацио-

налистического и правого толка. Не подчинившись указаниям командования Армии крайовой, ее лидеры намеревались продолжать войну. По мере того как основные силы Красной армии продвигались на запад, к Германии, они перегруппировали свои отряды в лесах восточной Польши, в основном в окрестностях Люблина и Жешува³⁹. Их целью, согласно не слишком далеким от истины сводкам польских спецслужб, была «ликвидация сотрудников госбезопасности» посредством либо «тихого» их устранения (похищения и последующей ликвидации), либо открытого уничтожения⁴⁰.

В вакууме, образовавшемся после роспуска Армии крайовой, начали появляться и новые группы сопротивления режиму. Самой известной из них стала «Свобода и независимость» (*Wolno i Niezawisłość* „WiN”), которую возглавил Ян Жепецкий, офицер Армии крайовой. В отличие от остальных ее соединений, сторонники Жепецкого после провала Варшавского восстания решили остаться в подполье. Они продолжали соблюдать правила конспирации, а в общении между собой использовали коды и пароли. Желая оставаться гражданской организацией, они тем не менее поддерживали отношения и с вооруженными партизанскими группами. До октября 1946 года они финансировали газету *Polska Niezawisłość*, главный редактор которой предостерегал поляков от принятия status quo, характеризуемого им как «советский террор»⁴¹. Довольно скоро, в ноябре 1945 года, НКВД нашел и арестовал Жепецкого. В ходе допросов его заставили (или уговорили) назвать имена товарищей. Он был отпущен на том условии, что сумеет убедить единомышленников выйти из подполья. Некоторые поддались этим уговорам.

Начав с чистого листа, WiN вновь перестроила свою деятельность. Ее второй исполнительный комитет, начав работу в декабре 1945 года, продержался почти год, общаясь с внешним миром посредством длинной и запутанной цепочки курьеров и гонцов, передававших друг другу зашифрованные послания. В конце концов одна из женщин, работавших на организацию, была схвачена на границе; у нее нашли шифровку, цепь развалилась, руководителей вновь схватили и опять пытали, заставляя назвать

имена подпольщиков. Со временем были сформированы третий и четвертый исполкомы, каждый из которых с самого начала опекался агентами польской госбезопасности, действовавшими, вероятно, по советскому образцу (большевики в 1920-е годы специально создавали фальшивую русскую «оппозицию», чтобы завлечь в ловушку иностранных шпионов). После роспуска исполнительного комитета четвертого созыва тайная полиция создала собственную псевдо-WiN, которая поддерживала контакты с наивными иностранцами, а также с теми поляками, у кого не хватало ума понять, что «подрывная организация» была детищем спецслужб. В таком плачевном состоянии WiN просуществовала до 1952 года, хотя отдельным ее бывшим членам удавалось скрываться еще дольше.

На историю WiN часто ссылаются, желая доказать бесперспективность антикоммунистического сопротивления в первые послевоенные годы. Более того, именно так она воспринималась и в то время. Но в этой печальной саге можно усмотреть и бесспорное свидетельство непокорности поляков. Ведь всего за несколько лет 10 тысяч членов организации были подвергнуты арестам, пыткам, тюремному заключению, а сотни были казнены. Несмотря на чудовищное давление и преследования, в зените своего влияния WiN насчитывала от 20 до 30 тысяч последователей⁴².

На общем фоне послевоенных групп Сопротивления WiN выделялась масштабами и сохранением хотя бы минимальных связей с командной системой Армии крайовой. Другие подобные группы по большей части были очень маленькими и зачастую состояли исключительно из молодежи, которая восхищалась Армией крайовой, но в силу возраста не успела побывать в ее рядах, или которая причисляла себя к Национальным вооруженным силам, слабо представляя, за что боролась эта организация. Типичным примером здесь можно считать партизанскую группу из тринадцати человек, называвшую себя «Молодая Армия крайова», которая после 1945 года начала собирать оружие в лесах к югу от Кракова и втайне училась им пользоваться, пока в 1950 году всех ее членов не арестовали⁴³.

По мере того как советские войска продвигались к Берлину, ситуация становилась еще более запутанной. Красная армия уходила из региона, а на ее место возвращались партизаны всех мастей и расцветок: группы Национальных вооруженных сил, бывшие солдаты Армии крайовой, борцы за украинскую независимость. Все они горели желанием сражаться с красноармейцами и их польскими союзниками, но воевали и друг с другом. Несмотря на весь этот хаос, некоторые хранили верность старым идеалам подполья. Другие, чтобы выжить, занимались воровством и грабежом, вырождаясь в полукриминальные банды. Между ними разгорались жестокие битвы; особенно часто выяснением отношений занимались поляки и украинцы.

Хотя летом 1944 года Советский Союз «умиротворил» восточную часть Польши, к следующей весне восток оказался в таком состоянии, которое с полным основанием можно было называть гражданской войной. Для коммунистов и их сторонников деревни и леса под Люблином стали небезопасными, а на какое-то время даже сам город превратился в зону риска. Согласно сводке, подготовленной в мае 1945 года, работа «всех партийных и правительственных органов» в регионе фактически прекратилась. В четырех местных округах больше не было полиции: партизаны или разоружили, или поубивали полицейских⁴⁴. Вскоре Сталину, который все еще праздновал капитуляцию Германии, в самых тревожных выражениях доложили о том, что «в Польше антигосударственное подполье продолжает свою деятельность повсеместно»⁴⁵. Еще пять частей НКВД, подкрепленные моторизованным батальоном, были отправлены на помощь незадачливым польским чекистам⁴⁶.

В августе 1945 года министр безопасности Станислав Радкевич принял участие в региональном совещании своего ведомства в Люблине, где узнал много неприятного. По оценке одного из выступавших офицеров, не более 20 процентов местных жителей поддерживали новый режим. Другой сотрудник объяснял, что чекистам не удастся внедрять своих агентов в антикоммунистические партизанские группы, поскольку те «полностью отказываются от сотрудничества» с новой властью.

Иные полагали, что ситуация будет улучшаться, так как местные крестьяне устали кормить партизан, часть из которых регулярно занимается мародерством. Но все были единодушны в том, что «банды» по-прежнему представляют серьезную проблему. Одни партизаны скрывались в лесах, другие днем работали на своих фермах, но «по условленному сигналу собирались вместе и совершали преступные вылазки»⁴⁷. Они постоянно нападали на представителей правоохранительных органов, партийных активистов и им сочувствующих.

Но, даже продолжая борьбу, вооруженное Сопротивление ощущало весь трагизм своего положения. Его бойцы были измучены долгой войной с немцами. Многие жили в лесу по пять-шесть лет. Уходя в партизанские отряды в юности, они теряли месяцы и годы школьного обучения. Они знали, что сдача оружия будет означать крах их надежд на независимость Польши, но в то же время они боролись с новым и менее понятным врагом: ведь теперь им приходилось убивать не германских оккупантов, а польских коммунистов и польских полицейских. Некоторые из них считали подобную деятельность братоубийством и хотели уйти. Те, кто оставался, обрушивали на ушедших всю свою ненависть. В 1946 году некая вооруженная банда убила двух учителей, ранее воевавших в рядах Армии крайовой, обвинив их в «коллаборационизме» на том основании, что те вернулись к мирной жизни⁴⁸. Постепенно десятки тысяч принимали одну из многочисленных «амнистий», складывали оружие и возвращались по домам.

Многим такой опыт показался слишком горьким. Луциан Грабовский, молодой человек из-под Белостока, оставался со своим отрядом Армии крайовой до тех пор, пока ему не приказали убить одного из товарищей за предательство. Подозревая, что обвиняемый невиновен, он отказался выполнить приказ. «Это было ужасное время, брат убивал брата по ничтожному поводу, — вспоминает он. — Понемногу я начал понимать некоторые факты, прежде ускользавшие от моего внимания. Многие мои друзья, бывшие партизаны, ушли на запад. Другие поступили в университеты, окончили школы, начали работать.

А я продолжал воевать — пятый год подряд». Вместе с четырьмя десятками других бойцов, в основном из WiN, Грабовский отказался от борьбы. В глазах у них стояли слезы: «Мы покидали здание тайной полиции без оружия. Мы были теперь другими людьми»⁴⁹.

А кое-кто продолжал сражаться. Небольшие группки по десять-двадцать человек оставались в лесах многие годы. Один маленький отряд, входивший в Национальные вооруженные силы, сдался только в 1956 году, после смерти Болеслава Берута. А боец-одиночка Михал Крупа скрывался в подполье вплоть до 1959 года, когда его удалось выследить и арестовать⁵⁰. Разумеется, большинство из тех, кто продолжал борьбу, были уверены в ее безнадежности.

Среди них был и руководитель подполья, известный под кличкой Чайка. По данным польских сил безопасности, собиравших информацию о нем, Чайка, который во время войны сражался в рядах Армии крайовой, в 1945 году вновь взялся за оружие из-за разочарования и отчаяния: как пояснял его психологический портрет, подготовленный чекистами, он был склонен к самоубийству — «хотел умереть». Многие из трехсот бойцов его отряда чувствовали себя так же. В большинстве своем они были выходцами из юго-восточной Польши, а их боевой дух был крайне низок. В мае 1945 года прямо в лесу они провели мессу, на которой присягнули на верность польскому правительству в изгнании, остававшемуся в Лондоне. На тот момент это правительство утратило легитимность в глазах как союзников, так и всех остальных, и партизаны не могли не знать об этом.

С того времени группа Чайки начала разваливаться. В последующие месяцы многие его люди вернулись на свои семейные фермы или перебрались на бывшие немецкие территории, ныне ставшие частью западной Польши, с намерением начать новую жизнь. Кое-кто из оставшихся начал обирать местное украинское население, в те годы еще составлявшее значительную долю обитателей юго-восточной Польши. Несколько раз они дотла сжигали украинские деревни. Архивные материалы ярко живо-

писуют их неистовство. В январе 1945 года они напали на директора фабрики, польского коммуниста, и отобрали у него 100 злотых. В апреле они украли двух лошадей. В июле они убили украинского крестьянина и бросили его тело в реку. К концу 1945 года местная полиция предпринимала усердные, но не слишком успешные усилия по разгрому банды Чайки. Полицейские внедрили в нее двух агентов, но один предал их, а другой был раскрыт и уничтожен. Его тело также бросили в реку. За полтора года своего существования группа осуществила более двухсот нападений, уничтожив множество местных коммунистов. Только в июле 1947 года Чайка был схвачен. Как он, вероятно, и ожидал, его приговорили к смертной казни⁵¹.

Спустя десятилетие неоднозначность и двусмысленность той эпохи была очень точно схвачена в классическом фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз». Его главный герой, партизан, стоит перед дилеммой: нужно выбрать между девушкой, которую он только что встретил, и политическим убийством, которое ему поручили осуществить. Он выбирает убийство, но в процессе операции погибает сам. В финальной сцене он бежит раненный, спотыкаясь, и в конце концов в мучениях умирает на мусорной свалке. Для польской аудитории метафора довольно прозрачна: жизни молодых людей, присоединившихся к Сопротивлению, оказались выброшенными на свалку истории.

Хотя точных цифр в нашем распоряжении нет, согласно подсчетам НКВД, только с января по апрель 1945 года в Польше были арестованы около 215,5 тысячи человек. Около 138 тысяч из этого числа составили *Volksdeutsche* — местные жители немецкого происхождения. Среди арестованных было около 38 тысяч поляков; все они были отправлены в лагеря, расположенные в СССР. Около 5 тысяч умерли «в ходе операции по их задержанию или последующего дознания»⁵². Среди них оказались, вероятно, и бойцы Чайки — люди, которые сражались до конца, зная, что они проиграют.

После завершения войны всякое вооруженное сопротивление советской оккупации в восточной части Германии прекра-

тилось. Гитлер надеялся, что оно будет продолжено: накануне самоубийства он призвал немцев сражаться до последней капли крови, дотла сжигать свои города, жертвовать всем ради последней решительной схватки. Он также приказал вермахту приступить к созданию молодежного ополчения *Werwolf*, которое после его смерти должно было вести партизанскую борьбу против Красной армии.

Нацистская и союзническая пропаганда уделяла этим юношеским формированиям, бойцов которых называли оборотнями, огромное внимание, но в действительности здесь было больше отраженной в названии мифологии. Со смертью фюрера и капитуляцией Германии они просто исчезли, миф рассеялся. Эрих Лёст, позже ставший в ГДР видным писателем, был зачислен в подразделение «оборотней» в двадцатипятилетнем возрасте, будучи младшим офицером вермахта. О новом назначении ему сообщили в последние недели войны; в преддверии советской оккупации его даже наспех обучили партизанским методам военных действий. И все же когда советские части вступили в его родной город Миттвайда в Саксонии, уход в подполье был последним исходом, о котором он думал. Вместо того чтобы сопротивляться Красной армии, он с помощью своей семьи бежал на запад, на ферму своей тети, где позже сдался американцам.

В послевоенные годы Лёст никому не рассказывал, чем он занимался в последние недели войны («я ведь не глупец», — говорил он мне), и потому его не арестовали. Накануне капитуляции эсэсовцы приказали всем подросткам его города явиться на инструктаж, в связи с созданием ополчения *Werwolf*. На этом мероприятии ничему не обучали и не требовали принести присягу, но всех участников занесли в список, который позже оказался в распоряжении советских властей. «Эта встреча не имела никаких практических последствий, но все ее участники были арестованы. Их продержали в тюрьме год», — рассказывает Лёст⁵³.

Правовым основанием для подобных арестов служил приказ № 00315 советской военной администрации, подписанный

18 апреля 1945 года. Этот документ санкционировал немедленное интернирование, без какого-либо расследования, «шпионов, саботажников, террористов, активистов нацистской партии, бывших чиновников германской гражданской администрации», а также людей, хранящих «нелегальное» типографское и радиотрансляционное оборудование или оружие. В принципе, этот приказ напоминал нормативные акты, действовавшие в оккупационных зонах союзников, где активных нацистов в массовом порядке вызывали на допросы⁵⁴. Но советский вариант был гораздо жестче: на практике он позволял арестовать любого человека, прежде работавшего в органах власти, независимо от того, был ли он (или она) нацистом. Советские власти предполагали, что полицейские, мэры, бизнесмены, процветающие фермеры едва ли добились бы таких должностных или коммерческих успехов, если бы не сотрудничали с режимом.

К Потсдамской конференции, открывшейся в начале августа 1945 года, круг тех, кто мог быть подвергнут преследованиям, стал еще шире. В уродливом дворце Гогенцоллернов, окруженном зеленым парком, союзники в лице Сталина, Гарри Трумэна и Клементы Эттли (Рузвельт к тому моменту скончался, а Черчилль проиграл выборы) приняли новую декларацию, касающуюся бывших нацистов. Согласно этому документу, «нацистские лидеры, влиятельные сторонники нацистов и руководящий состав нацистских учреждений и организаций и любые другие лица, *опасные для оккупации и ее целей*, должны быть арестованы и интернированы» (курсив мой. — Э.Э.)⁵⁵. Для Советского Союза эта формулировка была идеальной: «лица, опасные для оккупации и ее целей» — очень широкая категория, в которую можно было включить всякого, вызывающего недовольствие НКВД.

Красная армия незамедлительно учредила военные трибуналы, которые работали на протяжении нескольких лет, не привлекая ни адвокатов, ни свидетелей. Их деятельность не имела никакого отношения к Нюрнбергскому процессу, совместно организованному союзниками для суда над самыми высокопоставленными нацистами, и не была связана международным

правом. Обвинения нередко выносились на основании статьи 58 Уголовного кодекса СССР, использовавшейся для политических репрессий в Советском Союзе и не имевшей никакого отношения к немецкому законодательству. Приговоры иногда переводились на немецкий язык, но писались неизменно только кириллицей; обвиняемые не могли их прочитать. Арестованных порой заставляли, подвергая их избиениям и прочим пыткам, подписывать документы, содержания которых они не понимали. Вольфганг Леманн, которому тогда было пятнадцать лет, подписал протокол, в котором признавался в подрыве двух грузовиков; в момент подписания он не осознавал, что делает. Зачастую суды проводились в Москве, где советские судьи выносили приговоры в отсутствие обвиняемых. О вынесенном приговоре осужденным сообщали через несколько недель⁵⁶.

Некоторые из арестованных действительно были нацистами, хотя далеко не всегда они занимали видные посты. Оккупационные власти не пытались отделить подлинных преступников от скромных чиновников или просто приспособленцев. Помимо нацистов арестовывались тысячи людей, которые вообще были слишком молоды, чтобы состоять в нацистской партии, — например, Манфреда Папсдорфа арестовали в тринадцать лет, — или те, кто, подобно подросткам из города Миттвайда, просто оказался не в том месте не в то время⁵⁷. Некоторых арестовывали потому, что они с энтузиазмом встречали освобождение. Гизела Гнейст, которой в 1945 году было пятнадцать, грезил демократией — о ней тогда часто рассказывали в радиопередачах американской армии. Она жила в Виттенберге и негодовала по поводу поведения советских солдат, которые организовали нечто вроде борделя на верхнем этаже многоквартирного дома, где жила ее семья. Ей хотелось чего-то лучшего, и тогда вместе с другими подростками она создала тайную «политическую партию». Дети не осознавали потенциальной угрозы, тем более что никакой идеологии у них и не было. «Мое понимание свободы требовало, чтобы люди имели возможность свободно высказываться, — вспоминала Гнейст. — Я не понимала, что такое коммунизм, и почти ничего о нем не слышала»⁵⁸.

Гнейст арестовали в декабре 1945 года вместе с двумя десятками ее «товарищей по партии», также подростками. Ее поместили в переполненную женскую камеру без окон; здесь она встретила своих одноклассниц. Для отправления естественных надобностей узницам служил бидон из-под молока. Повсюду были клопы и вши. Советский офицер допрашивал ее по-русски, а от присутствовавшего на допросе переводчика почти не было толка — тот едва знал язык. Девушку не раз избивали до крови. В конце концов Гнейст, которой еще не было шестнадцати лет, созналась в том, что состояла в «контрреволюционной организации». В январе 1946 года военный трибунал признал ее виновной и приговорил, как настоящего военного преступника, к заключению в лагере Заксенхаузен.

Людам, не слишком осведомленным в причудах истории может показаться весьма странным, что зловещий нацистский концлагерь после войны обрел вторую жизнь. Аналогичную метаморфозу пережил и не менее жуткий Бухенвальд. Американские войска, освободившие Бухенвальд в апреле 1945 года, заставили городских нотаблей из близлежащего Веймара пройти по лагерю и посмотреть на бараки, истощенных выживших узников, братские могилы и трупы, сложенные в подобие штабеля дров. Через четыре месяца Красная армия, к которой отошел Веймар, вновь заселила те же бараки заключенными. Впоследствии их тоже хоронили в братских могилах. Причем эти случаи не были исключительными; так, Освенцим стал одним из многих польских лагерей, которые вновь начали использоваться в послевоенные годы⁵⁹.

Русские переименовали Бухенвальд в Специальный лагерь № 2, а Заксенхаузен стал Специальным лагерем № 7⁶⁰. Всего в советской оккупационной зоне появилось десять таких лагерей, наряду с несколькими тюрьмами и другими местами заключения. Эти лагеря контролировались, причем весьма скрупулезно, не германскими коммунистами, а советскими властями — из штаб-квартиры ГУЛАГа, находившейся в Москве. НКВД направлял из Москвы всевозможные инструкции, например, о том, как организовывать в немецких лагерях празднование 1 мая,

а также тщательно следил за «морально-политическим духом» охранников⁶¹. Верхушка лагерного начальства состояла из советских офицеров, хотя имелся и немецкий персонал. В планировке лагерей использовалась советская модель: обитатели Колымы или Воркуты сразу же почувствовали бы себя здесь как дома.

Впрочем, немецкие особые лагеря отнюдь не были такими же трудовыми лагерями, какими НКВД руководил в самом Советском Союзе.

Их не приписывали к промышленным или строительным объектам, как советские лагеря, а заключенные не ходили на работу. Напротив, прошедшие через них люди часто вспоминают о мучительной скуке, проистекавшей из невозможности работать, запрещения покидать бараки, гулять или вообще лишней раз двигаться. В лагере Кетшендорф заключенные буквально добивались у администрации назначения на кухонные работы, позволявшие хоть чем-то заняться (и, разумеется, доступ к продуктам)⁶². В Заксенхаузене были две зоны, и в одной разрешалось работать; сами узники предпочитали именно ее⁶³.

Вместе с тем специальные лагеря не были похожи и на нацистские лагеря смерти. Здесь не было газовых камер, а людей не отправляли в Заксенхаузен только для того, чтобы там немедленно уничтожить. Смертность в них тем не менее была невероятно высокой. Из 150 тысяч человек, помещенных в лагеря НКВД в восточной части Германии в 1945–1953 годах, — 120 тысяч составляли немцы, а еще 30 тысяч советские граждане — около трети умерли от голода и болезней⁶⁴. Заключенных кормили непропеченным черным хлебом и капустной похлебкой настолько дурного качества, что Леманн, которого позже отправили в ГУЛАГ, вспоминал, что «в Сибири еда была лучше и давали ее более регулярно»⁶⁵. Ни лекарств, ни докторов не было. Зима 1945–1946 годов выдалась настолько холодной, что заключенным в женской зоне Заксенхаузена приходилось жечь доски от нар, чтобы не замерзнуть⁶⁶.

Как часто бывало в советских пенитенциарных учреждениях, узники умирали не потому, что их убивали, а оттого, что ими пренебрегали, их игнорировали, о них буквально забывали.

Первейшей целью советских лагерей в Германии выступали не труд и не уничтожение, а изоляция: особые лагеря предназначались для того, чтобы отсечь «подозрительные элементы» от остального общества, по крайней мере до тех пор, пока советские оккупанты не укрепят свои позиции. Они занимались профилактикой, а не наказанием; изоляции в них подвергали тех, кто мог противостоять системе, а не тех, кто в действительности это делал. Советский ГУЛАГ допускал минимальные контакты с внешним миром, а осужденным иногда даже разрешали принимать родственников. По контрасту с этим на протяжении первых трех лет существования послевоенных немецких лагерей их обитатели полностью лишались права переписки и не имели никакой информации с «воли». Во многих случаях их семьи не знали, где они и что с ними. Эти люди просто исчезали.

Со временем условия улучшились, отчасти благодаря давлению извне. Внезапное исчезновение такого огромного количества молодых людей ввергало членов их семей в неистовство, и они начинали бомбардировать официальные инстанции требованиями предоставить информацию о пропавших родственниках. Как правило, немецкие власти не были помощниками в этом деле. В 1947 году местный чиновник говорил семье из Тюрингии, что советский прокурор в Веймаре предоставит им больше данных⁶⁷. Советские власти, в свою очередь, передавали подобные обращения по командной цепочке, во всеобщем хаосе люди просто пропадали бесследно. Один немецкий студент исчез в 1945 году и был «найден» родителями лишь в 1952-м⁶⁸. Это произошло через четыре года после того, как советская военная администрация в Германии согласилась разрешить арестованным информировать родных о своем местонахождении⁶⁹. В том же году НКВД повысил продуктовые нормы для лагерников, чтобы снизить смертность и успокоить руководителей Восточной Германии, которые добивались от представителей СССР изменения ситуации⁷⁰.

Аресты, а также длительное удержание бывших солдат вермахта в Советском Союзе (некоторые оставались там до 1950-х годов) стали главным источником напряженности во взаимо-

отношениях немецкого общества с новой властью. Но они также помогли задать новые стандарты общественного поведения. В большинстве своем освобожденные от фашистов немцы не были коммунистами и поначалу не знали, чего можно ожидать от советских оккупационных войск. Аресты тысяч молодых людей по малейшему подозрению в «антисоветской деятельности» заставили делать выводы. Для многих это стало первым уроком, убеждавшим в необходимости самоцензуры на публике. Ведь если подростков, подобных девице Гизеле Гнейст, арестовывали просто за разговоры о демократии, то более серьезные политические «прегрешения» карались гораздо жестче.

Самыми напуганными оказались бывшие заключенные и их семьи. После освобождения узники редко рассказывали о том, что им пришлось пережить. Вольфганг Леманн, которому довелось побывать и в немецком лагере, и в ГУЛАГе, вплоть до 1989 года не рассказывал жене об этом опыте⁷¹. Выборочное насилие и создание лагерей для потенциальных врагов режима хорошо вписывались в более широкую советскую политику. Красная армия и НКВД знали, что в неустойчивых обществах послевоенной Восточной Европы массовые, масштабные аресты вызовут эффект, обратный ожидаемому. Но тщательно продуманное изъятие из общества активных людей породит что-то вроде эхо: арестовав одного такого человека, можно напугать целый десяток других.

Вступив в Будапешт в январе 1945 года, русские почти ничего не знали о стране, чью столицу они завоевали. Многие военнослужащие полагали, что прибыли в страну, где население в полном составе сотрудничало с нацистами: ведь Венгрия была союзницей Германии. Их, разумеется, поразило то, что Красную армию встречали как освободительницу. Здесь, как и в других освобождаемых странах, красноармейцы руководствовались приказом, предписывавшим арестовывать всех фашистов, которых удастся обнаружить. Но если в Германии их мишенями были бойцы ополчения *Werwolf*, а в Польше они выслеживали солдат Армии крайовой, то в Венгрии им было непонятно, кого считать фашистом.

В результате первые аресты венгров оказались довольно беспорядочными. Мужчинам, которых солдаты останавливали прямо на улице, говорили, что нужно помочь красноармейцам с «мелкой работой», и уводили их под конвоем. Потом их следы терялись где-то на бескрайних просторах СССР, и они не возвращались домой многие годы. Поначалу даже казалось, что в подобную историю может попасть буквально каждый. Свидетель из городка в восточной Венгрии вспоминает, как через несколько дней после своего прихода красноармейцы начали собирать людей: «Брали не только мужчин, но и детей, от семнадцатилетних до тринадцатилетних. На мольбы и крики вооруженные автоматами солдаты не реагировали — всем приказывали выйти из домов, причем иногда даже не разрешали взять с собой ничего — ни еды, ни одежды. ...Мы не знали, куда уводят людей, солдаты повторяли одно и то же: “Мелкая работа, мелкая работа”»⁷².

Некоторые венгры оказывались под подозрением из-за того, что были зажиточными, или потому, что в их домах имелись книги. Дьёрдь Бьен был арестован вместе с отцом за то, что у них был коротковолновый радиоприемник. Шестнадцатилетнего юношу допрашивали как шпиона, вынудили признаться и заставили подписать тридцатистраничный документ на русском языке, в котором он не понял ни слова. В итоге он оказался в колымском лагере и вернулся домой лишь в 1955 году⁷³.

По-видимому, советским войскам поручался также и розыск немцев, которых, как их предупреждали, в Венгрии будет очень много. На практике это означало, что люди с фамилиями, похожими на немецкие — а в бывших владениях Габсбургов таких было много, немедленно превращались в военных преступников. Йожеф Реваи, ставший впоследствии одним из ведущих венгерских коммунистов, жаловался Ракоши, что у советских солдат есть, вероятно, «фиксированные квоты» на задержание немцев. Поэтому, говорил он, красноармейцы рассматривают в качестве немцев «и тех, кто ни слова не знает по-немецки — в число интернированных попали даже известные антифашисты»⁷⁴. В результате такой политики 140–200 тысяч венгров были арестованы и депорти-

рованы в Советский Союз после 1945 года. Большая часть из них очутилась в лагерях ГУЛАГа⁷⁵.

Но многие интернированные оставались в Венгрии. Заключение без суда было распространено и в конце 1930-х годов, но теперь эта практика значительно расширилась. Для рассмотрения дел тех лиц, кто сотрудничал с нацистами, были созданы «народные суды». Некоторые из этих процессов превратили в громкие общественные события в надежде, что они просветят венгров относительно преступлений прошлого. Но уже в то время наблюдатели отмечали, что простые венгры относились к этим процессам пренебрежительно, считая их «справедливостью победителей». Спустя несколько лет некоторые приговоры, вынесенные по громким делам, были пересмотрены на том основании, что «пришло время отказаться от карательного уклона»⁷⁶.

Справедливыми их тоже не считали. Хотя заключение под стражу и последующее судебное разбирательство номинально осуществлялись под венгерским контролем, было общеизвестно, что НКВД оказывает давление на суды. По воспоминаниям венгерского политика, Александр Белянов, советский чиновник, курировавший в Венгрии вопросы безопасности, отчитывал его за медленный ход судебных процессов: «Он настаивал на том, чтобы народные трибуналы работали быстрее, и критиковал их за излишнюю говорильню. Он требовал, чтобы приговор объявлялся сразу после речи государственного обвинителя. Я ответил ему, что мы изучали опыт советского правосудия и знаем, что в политических процессах принято заслушивать свидетелей публично. Он зловеще ухмыльнулся, обнажив большие желтые зубы, такие как у тигра...»⁷⁷. Собственное судопроизводство было и у Красной армии, которая проводила судебные заседания на элегантной вилле австрийского городка Баден, находившегося неподалеку от Вены. Здесь никто и не вспоминал о венгерском суверенитете: как и в Германии, советские военные трибуналы выносили гражданам Венгрии, обвинявшимся в политических преступлениях, приговоры по статье 58 УК СССР⁷⁸.

Число обвиняемых было велико, а обвинения были крайне разнообразными. Серия секретных инструкций предписывала

новой венгерской полиции подвергать аресту среди прочих бывших членов ультраправых движений, включая партию «Скрещенные стрелы», которая управляла Венгрией в последние дни войны, с октября 1944-го по март 1945 года; офицеров, служивших при адмирале Хорти, то есть с 1920 года до прихода «Скрещенных стрел»; а также владельцев кафе, баров, табачных лавок, парикмахеров и всех прочих, кто, согласно еще одной безбрежной формулировке, *«в силу своих регулярных контактов с публикой способствовал распространению фашистской пропаганды»* (курсив мой. — Э.Э.). На практике риску подвергался всякий, кто работал на любое довоенное правительство, политического деятеля, партию или просто позволял себе позитивные высказывания в их адрес. НКВД и новые спецслужбы имели также списки молодых людей, состоявших в рядах полувоенной молодежной организации, созданной Хорти; их начали выслеживать так же, как выслеживали членов гитлеровских молодежных объединений. В целом венгерская и советская тайная полиция в 1945—1949 годах интернировала около 40 тысяч венгров. Только в окрестностях Будапешта новый режим построил шестнадцать лагерей для интернированных лиц, способных принять 23 тысячи задержанных⁷⁹.

Далеко не все арестованные были пособниками нацистов. Напротив, с самого вступления Красной армии в Венгрию новообразованная венгерская тайная полиция, поддерживаемая, естественно, Венгерской коммунистической партией и ее советскими покровителями, начала выискивать и обезвреживать другие, особые разновидности «фашистов». Хотя в Венгрии в годы войны не было такого крупного и организованного подполья, как в Польше, здесь тоже действовали оппозиционные кружки, враждебно относящиеся к немцам. Они были даже на верхних этажах общественной иерархии. Сразу же после завершения войны (гораздо раньше, нежели это признавалось официальной венгерской историографией) НКВД и венгерские спецслужбы развернули преследования этих антифашистов. Они были слишком самостоятельными, верили в национальный суверенитет и знали, как создавать подпольные организации. Многие их

члены поддерживали Партию мелких хозяев, игравшую заметную роль во Временном правительстве и фактически победившую на выборах 1945 года.

В подлинно демократической послевоенной Восточной Европе эти люди, как и ветераны Армии крайовой в Польше, могли бы превратиться в политическую элиту. Но еще до того, как венгерское правительство оказалась под полным контролем коммунистов, бывшие участники антигитлеровского Сопротивления знали, что находятся под наблюдением. Иштван Шент-Миклоши, член одной из таких тайных групп, позже писал, что он и его друзья «чувствовали, что на них объявлена охота, но не понимали, в чем ее причина». В отличие от польской ситуации здесь речь не шла о вооруженных партизанах: группа Шент-Миклоши, по его словам, «не имела формальной структуры, списков участников, эмблем или удостоверений, правил поведения и субординации и даже общей философии»⁸⁰. Многие ее члены ранее входили в состав других объединений — например, «Венгерского сообщества», тайной организации антифашистского (и антисемитского) толка, или «Движения за независимость Венгрии», которое также представляло собой скорее дискуссионный клуб, нежели группу Сопротивления. Некоторые участники выступили соучредителями послевоенной Партии мелких хозяев и в этом качестве пытались сотрудничать с режимом, который, как им казалось, может стать демократией. Но в конечном счете это была всего лишь группа друзей, недолюбливавших Советский Союз и встречавшихся на квартирах друг у друга, чтобы поговорить о политике.

В конечном счете ими стали интересоваться не из-за их планов, а потому, что в руки спецслужб попали сведения об их антифашистской деятельности в годы войны. За группой стали наблюдать более тщательно. Вот что пишет об этом периоде Шент-Миклоши: «В начале осени 1946 года комната, находившаяся по соседству с моей, была сдана в субаренду политуправлению армии. Новые хозяева просверлили дыру в стене и поместили в нее микрофон. Поскольку перед дырой стояла моя тяжелая голландская тахта в колониальном стиле, голоса в комнате

улавливались не слишком хорошо. Тогда для подслушивания разговоров был приспособлен мой комнатный телефон. Еще один микрофон установили в общем коридоре, в софе стиля бидермейер, на которой дочка моих соседей любила посидеть вместе со своим поклонником, агентом военной полиции, изображавшим из себя университетского студента»⁸¹.

В декабре 1946 года Шент-Миклоши был арестован. Его доставили в штаб-квартиру тайной полиции на проспекте Андраши и подвергли пыткам. Его часами заставляли стоять, уткнувшись лбом в стену, с раскинутыми руками, и кричать при этом: «Я убийца своей жены и своей матери». По словам следователей, обе женщины тоже были арестованы. Позже вместе с группой товарищей его отдали под суд. Всех обвиняемых уличили в призывах к свержению «демократического строя» и осудили на десять лет тюрьмы. В ходе процесса Шент-Миклоши «сознался» в преступлениях, которые он не совершал. Его арест был своеобразной профилактической мерой: он и его кружок не делали ничего предосудительного, но власти опасались, что они вполне способны на это.

Аналогичные репрессии в тот период обрушились и на независимо мыслящее духовенство. Здесь главной мишенью стал харизматичный и энергичный францисканский монах Салез Киш. Отец Киш руководил большой и процветающей группой христианской молодежи, называвшейся «Кедим» и действовавшей в небольшом городе Дьёндьёш в восьмидесяти километрах от Будапешта. В 1945 году новые спецслужбы стали проявлять к этому месту особый интерес, поскольку в ходе всеобщих выборов коммунисты выступили здесь очень плохо, а Партия мелких хозяев, напротив, очень хорошо.

Советские менторы еще более заинтересовались этим делом, когда, начиная с середины сентября 1945 года, неизвестные преступники застрелили несколько военнослужащих Красной армии, расквартированных в регионе. В результате венгерская госбезопасность, на которую оказывался сильный нажим, начала одно из своих первых крупных расследований. Они арестовали около шестидесяти человек, включая старшеклассников,

входивших в «Кедим», и с пристрастием допросили каждого. Их целью было выявление обширной сети, состоявшей якобы из переплетения двухсторонних связей: между «Кедим» и Партией мелких хозяев, между Партией мелких хозяев и «англосаксонскими державами», между американским посольством и отцом Кишем, между отцом Кишем и молодыми людьми, которых официально обвинили в убийстве русских солдат. Собранные воедино, все эти связи должны были доказать существование «фашистской террористической конспиративной группы», которая пыталась, по крайней мере в воображении полицейских, реставрировать старый режим.

Протоколы всех этих допросов, бережно сохраненные в будапештском архиве, нелегко читать. Один из главных подозреваемых, молодой студент права по имени Йозеф Антал, поначалу все отрицал. Позже, однако, он представил следователям обширное и фальшивое признание, сделанное, вероятно, под пытками. Антал, который, по словам его друга, «боролся с немецкой оккупацией», был ключевым звеном во всей цепи, поскольку он работал в местном отделении Партии мелких хозяев и одновременно служил помощником отца Киша. В своем бессвязном заявлении он вспоминал разговор с одним из партийных активистов о том, что скоро начнется война между Россией и англосаксами. Он также намекал на то, что уже начал готовиться к этому «вооруженному конфликту» при содействии отца Киша. В признании упоминались также и тайники с оружием, находящиеся в офисах Партии мелких хозяев, и большой арсенал, спрятанный в каком-то «замке», известном отцу Кишу⁸².

Почти сразу после обнародования его заявления Антал отказался от своих слов. Но аналогичные признания были получены и от семнадцатилетнего Отто Кицманна, члена «Кедим», сознавшегося в убийстве советского солдата. Этот молодой человек, которого, скорее всего, тоже пытали, пошел еще дальше. По его словам, отец Киш показывал молодым активистам «визитные карточки влиятельных людей, которые должны были доставить оружие»; более того, он якобы призывал их «добывать оружие своими силами, пока не начнутся поставки из-за границы», и

откровенно говорил, будто «убийство русского — это не грех». Столь же дикие истории удалось выжать из друга Кицманна, семнадцатилетнего юноши Ласло Боднара, уверявшего, что отец Киш обещал ему помочь покинуть Венгрию на самолете⁸³.

«Заговор отца Киша», подобно аресту Гизелы Гнейст в Германии или задержанию шестнадцати командиров Армии крайовой в Польше, стал предвестием недалекого будущего. Это расследование, как и многие другие, более поздние расследования, было инспирировано советскими военными властями. В соответствии с обычаями советского сыска, в этом деле в один преступный конгломерат объединялись самые разные организации и учреждения, от группы «Кедим» и Партии мелких хозяев до церкви и посольства США. Основой, на которой воздвигались взаимосвязи между ними, были случайные контакты, второстепенные знакомства или воображение следователей. Тень «фашизма» витала над каждым, кто оказался в этой сети. Жертвами были в основном молодые люди на втором и третьем десятке лет жизни — возрастная группа, которая и в дальнейшие годы пользовалась повышенным вниманием тайной полиции восточного блока.

Весной 1946 года, к моменту вынесения приговоров, дело получило широчайшую огласку. 4 мая коммунистическая газета *Szabad Nép* опубликовала фотографию отца Киша в наручниках, снабженную заголовком: «Фашистские заговорщики признались в убийствах». Редакционная статья номера называлась просто: «Повесить!»⁸⁴. Дело освещалось и в некоммунистической прессе, хотя она проявляла большую осторожность. Сначала газета *Kis Újság* («Маленькая газета»), являвшаяся органом Партии мелких хозяев, которая тогда имела крупнейшую фракцию в национальном парламенте, просто опубликовала официальное заявление полицейских властей. На следующий день издание процитировало председателя Партии мелких хозяев и премьер-министра страны Ференца Надя, заявившего следующее: «Если информация, обнародованная в официальном полицейском коммюнике, окажется истинной хотя бы отчасти, мы потребуем самого тщательного расследования этого дела и само-

го сурового наказания виновных»⁸⁵. Через несколько дней он высказался об инциденте еще более однозначно, назвав его «фашистским заговором». Долгие годы никто не осмеливался даже предположить, что во всей этой истории вообще не было ни грана истины.

За первым делом последовали другие, причем каждое строилось на столь же шатких основаниях и сопровождалось такой же массивной пропагандистской кампанией. С 1945 года аресты шли волнами, перерывов почти не было. Сначала брали «военных преступников», фашистов и тех, в ком подозревали фашистов; потом высокопоставленных военных и чиновников режима Хорти; затем членов легальных политических партий, в особенности Партии мелких хозяев; наконец, социал-демократов и самих коммунистов. Хотя определение «врага народа» со временем менялось, механизмы, с помощью которых с этими врагами «работали», с самого начала оставались неизменными⁸⁶.

Теоретически в 1946 году Венгрия, подобно Чехословакии или Восточной Германии того же периода, была демократическим государством. Страной управляло коалиционное правительство, в котором доминировала Партия мелких хозяев. Но при этом органы госбезопасности контролировались не венгерским государством, а Венгерской коммунистической партией — точно так же, как коммунисты Чехословакии, Восточной Германии и Польши держали под контролем спецслужбы своих стран. По всей Восточной Европе этот контроль над тайной полицией обеспечивал коммунистам, представлявшим меньшинство населения, колоссальное политическое влияние. Избирательно применяя террор, они посылали своим оппонентам и публике в целом недвусмысленное послание о том, какого рода поведение и какие типы людей станут неприемлемыми при новом режиме.

Глава 6

Этнические чистки

Большевистская партия является образцом настоящей интернационалистской партии рабочего класса. С самого своего создания она борется с национализмом в любых его проявлениях.

*Просветительская брошюра,
опубликованная в Москве в 1950 году*

Впервые я вернулся в родную деревню в 1965 году. Когда-то я знал здесь любую тропинку и каждое деревце, но теперь просто не признал родные места. Слезы застилали глаза, я не мог произнести ни слова. Они распахали место, где стояла деревня, и засадили лесом.

*Иван Бишко, украинец, депортированный
из родной деревни в 1946 году¹*

Одним из мифов, неустанно распространявшимся международным коммунистическим движением о себе, был миф о нейтральном отношении к национальным и этническим различиям. Коммунисты — интернационалисты по определению, «солдаты единой международной армии», не признающей национальных границ. Рафаэл Сэмюэл, сын воинствующего британского коммуниста, а позже и сам член партии, называет коммунизм своего детства «универсальной» доктриной: «Даже отчасти признавая наличие национальных особенностей, мы полагали, что переход от капитализма к социализму повсюду будет происходить одинаково. Коммунизм, подобно средневековому христианству, был единым и неделимым, представляя интернациональное братство веры...»².

В реальности, однако, в военные годы не было лидера, более склонного играть на национальных противоречиях, нежели Сталин, за исключением, разумеется, Гитлера. В 1917 году Ленин назначил Сталина народным комиссаром по делам

национальностей, и на этом посту будущий генералиссимус приобщился к проблеме, интерес к которой у него в дальнейшем никогда не иссякал. С 1930-х годов он обрушивал волны террора на национальные меньшинства, проживавшие в СССР; среди его жертв оказались поляки, чеченцы, крымские татары, поволжские немцы, а в конце его жизни — евреи. После германского нашествия 1941 года Сталин активно обращался к русскому национализму и русским национальным символам, в том числе к Русской православной церкви, чтобы вдохновить советских граждан-«интернационалистов» на борьбу с немцами. Он очень хорошо осознавал политическую пользу национализма: эмоциональные призывы к защите отчизны мобилизовали красноармейцев сильнее любого марксистского лозунга.

Этнические конфликты предусматривались и соглашением, которое лидеры трех союзных держав подписали в Потсдаме в июле 1945 года. Следующее поколение европейских политиков с ужасом будет реагировать на понятие «этнические чистки», но Сталин, Трумэн и Эттли позитивно относились к массовому переселению людей. Потсдамское соглашение деликатно призывает к «перемещению в Германию немецкого населения или части его, оставшегося в Польше, Чехословакии и Венгрии». Эта фраза предопределила судьбы миллионов³. Согласившись с переносом польской границы с Советским Союзом на запад, победители также молчаливо приняли переселение миллионов украинских поляков в Польшу и миллионов польских украинцев на Украину. И хотя о выдворении венгров из Чехословакии и словаков из Венгрии в соглашении ничего не говорилось, у международного сообщества не нашлось особых возражений, когда оно все-таки началось. В свою очередь, еще в январе 1945 года советское правительство осуществило массовую депортацию 70 тысяч этнических немцев из Румынии в Советский Союз — это произошло за полгода до подписания Потсдамского протокола⁴.

Важное условие, предусмотренное соглашением, состояло в том, что «любое перемещение, которое будет иметь место, должно производиться организованным и гуманным способом». Но уже к моменту подписания документа вместо «организованно-

сти» и «гуманности» в этом деле торжествовали хаос и жестокость. Тягостным наследием, которое оставил Гитлер в Восточной Европе, стали глубокие, неизбывные и жесточайшие этнические конфликты, втягивающие самые разные группы населения во многих странах. По этой причине любая дискуссия о высылке этнических немцев из Польши, Судетской области, Венгрии и Румынии после 1945 года обязательно начиналась с обращения к событиям пятилетней давности. Уместно напомнить, что целью немецкой оккупации Польши было уничтожение самой польской цивилизации, превращение поляков в неграмотную рабочую силу и истребление польского образованного класса. Поляков выселяли из исторических польских городов, таких как Познань и Лодзь, а также из Гдыни — нового портового города, построенного польским государством в 1920-е годы. Их теснили немецкие колонисты, превращали в граждан второго сорта, запрещали говорить по-польски на улицах или отправлять своих детей в польские школы. Тысячи польских граждан были обречены либо на рабский труд в Германии, либо на заключение в одном из полутора десятков трудовых лагерей, специально открытых немцами на польской территории.

Оккупационный режим на чешских землях был более мягким, хотя и столь же бесчеловечным. По всей стране уничтожалась местная элита, сносились исторические монументы и памятники, высмеивалось само понятие чешской нации. Германская оккупация Венгрии в конце войны была менее продолжительной, но такой же жестокой. Даже более ранние периоды венгерско-немецкого и румыно-немецкого сотрудничества были унижительными для населения соответствующих стран, поскольку взаимодействие с немцами быстро перерастало в их доминирование. Наконец, во всей Восточной Европе холокост оставил чудовищное наследие вины и ненависти среди как еврейского, так и нееврейского населения.

Послевоенные конфликты оказались наиболее острыми в тех регионах, где этнические немцы помогали нацистам удерживать власть. Нацисты тайно финансировали фашистскую Судетскую партию, в поддержку которой на муниципальных выборах 1938

года высказались 85 процентов этнических немцев, проживавших в Чехословакии. В конце того же года местные немцы, вызывая ненависть чехов, с энтузиазмом приветствовали приход оккупантов и раздел страны в соответствии с Мюнхенскими соглашениями⁵. Некоторые немецкие обитатели польского Быдгоща, где до войны немцы составляли пятую часть населения, активно участвовали в учиненном нацистами в 1939 году массовом убийстве наиболее видных горожан, включая священников, учителей и даже активистов скаутского движения. После войны этот факт отнюдь не прибавил местным немцам популярности⁶.

В свете сказанного желание жителей Восточной Европы отомстить немцам становится вполне понятным, а возможно, даже оправданным. Вместе с тем справедливым оно было далеко не всегда. Не все немцы были нацистами, и не каждый из них нападал на своих соседей. Многие веками мирно жили бок о бок с чехами или венграми, оставаясь добропорядочными гражданами Чехословакии или Венгрии. Другие же, подобно обитателям Нижней Силезии и Восточной Пруссии, которые до войны были бесспорными частями Германии, а теперь перешли к Польше, проживали в городах и селах, которые издавна входили в состав германских государств.

Для множества людей утрата домов, обстановки, скота и фамильных ценностей превратилась в трагедию, от которой они так и не смогли оправиться. Но этнических немцев после войны не считали за людей: они были в первую очередь немцами. Герхард Грушка, молодой парень из Силезии, который отказался вступить в гитлеровскую молодежную организацию, поскольку это не позволило бы ему исполнять обязанности алтарного прислужника, был отправлен в трудовой лагерь в Катовице, где под насмешки польских охранников его заставляли петь нацистскую «песню Хорста Весселя»⁷. Этнические немцы из Венгрии, которых в конце войны силой заставили вступить в ряды вермахта, получали точно такие же незаконные предписания на выселение, как и те, кто добровольно присоединился к СС в 1943 году⁸. Герту Кюрих, дочь немецкого коммуниста из Судетской области,

выгнали из дома вместе с детьми немецких фашистов⁹. Никакого различия между отъявленными коллаборационистами и убежденными антифашистами победители не делали.

Зная, насколько их ненавидят, немцы начали уезжать из Восточной Европы задолго до начала депортаций. В этом массовом перемещении миллионов людей не было никакого порядка; многие покидали свои дома в панике и спешке, почти сразу же становясь жертвами военных действий, голода и холода. Десятки тысяч пытались спастись, пересекая Балтийское море на кораблях, и гибли под бомбами союзной авиации. 100 тысяч немцев из Лодзи — в большинстве недавние колонисты — утром 16 января 1945 года начали исход из города пешком или на конных повозках, по занесенным снегом дорогам или вообще по бездорожью. Многие погибли под огнем советских самолетов, которые в тот же день начали бомбить город¹⁰. Спустя несколько дней графиня Марион Дёнхофф начала готовиться к отъезду из родового поместья в Восточной Пруссии. Ее соседи в большинстве своем не уезжали: все ждали приказа нацистских властей об организованной эвакуации, который так и не поступил. Но по мере того как Красная армия оказывалась все ближе, мирные немцы начинали грузить свои пожитки на телеги, заполняя города и селения. Дёнхофф вспоминает: «На улицах царил хаос. Подводы шли по обеим сторонам дороги, образовав в центре такой затор, что невозможно было двинуться ни вперед, ни назад». Сама она взяла с собой только «сумку с туалетными принадлежностями, перевязочный материал и старое испанское распятие». Графиня последний раз поужинала, оставила еду и посуду на столе и покинула дом, не заперев дверь. Вернуться назад ей больше не довелось¹¹.

Настоящее изгнание немцев, начавшееся через несколько месяцев, было организовано ничуть не лучше. Чехи называют весну 1945 года временем «дикого» изгнания, хотя это слово не в полной мере передает всю эмоциональную глубину происходивших тогда событий. Президент довоенной Чехословакии Эдвард Бенеш настаивал на депортации этнических немцев из своей страны начиная с 1938 года, когда он оказался в лондонском

изгнании. За семь лет, продвигая эту идею, он посетил Москву, Лондон и Вашингтон. Он также приветствовал депортацию немцев и из Венгрии — отчасти из-за того, что хотел освободить место для венгров, которых надеялся позже выслать из Чехословакии. Несмотря на обсуждение в самых высших сферах, а также на все предварительные приготовления — не говоря уже о принятых в Потсдаме рекомендациях провести операцию «организованно и гуманно», — первая волна выселения из Судетской области стала настоящим водоворотом ярости, мщения, национализма и народного гнева.

В радиообращении, прозвучавшем в Брно 12 мая 1945 года, сразу же после капитуляции нацистов, Бенеш заявил, что в годы войны немцы перестали быть людьми и теперь как нация «должны заплатить за это по самым суровым и исчерпывающим меркам». «Мы должны раз и навсегда решить германскую проблему», — заявил президент. Сразу же после этой речи чехи собрались в центре Брно, требуя, чтобы все лица, сотрудничавшие с Германией, немедленно были взяты под стражу. Через несколько дней вновь сформированный Национальный комитет насильственно изгнал из домов более 20 тысяч мужчин, женщин и детей, заставив их пешком, с жалкими пожитками идти к австрийской границе¹². По дороге сотни из этих людей погибли. Согласно чешской статистике, только в 1946 году 5538 немцев совершили самоубийство¹³.

Примерно в то же время спонтанная высылка немецкого населения, подогреваемая как жадой мести, так и нехваткой жилья, началась в западной Польше, в районе Познани. Поляки, возвращаясь в регион, где по-прежнему жили многочисленные немецкие семьи, обнаруживали, что их дома лежат в руинах. Первыми местными чиновниками, появившимися в Великопольском воеводстве, центром которого является Познань, стали сотрудники коммунистических спецслужб. Они отбирали немцев, подлежащих депортации, сажали их в грузовики и отправляли в наспех сооруженные транзитные лагеря, где высылаемые оставались до тех пор, пока в Германию не отправлялся очередной эшелон. Прекраснодушным чувствам в

этой операции не было места. Польских солдат и офицеров призывали «вышвырнуть немецкую грязь с польских земель. ... Каждый офицер и каждый солдат должны проникнуться осознанием исторической миссии, выполнения которой ждали многие поколения поляков»¹⁴.

В тот начальный период, когда раны еще не зажили, местное население зачастую мстило немцам тем, что подвергало их тем же притеснениям, какие в свое время испытывали от них сами. Летом 1945 года чехи заставили немцев носить белые нарукавные повязки, отмеченные буквой «N» — немец, рисовали на их спинах свастику, запрещали сидеть на парковых скамьях, ходить по тротуарам, посещать кинотеатры или рестораны¹⁵. В Будапеште толпы выживших евреев нередко нападали на бывших чиновников фашистского режима, направлявшихся на судебные заседания по расследованию военных преступлений, причем в паре случаев жертвам едва удалось избежать расправы¹⁶.

Поляки обрекали немцев на принудительный труд, подобно тому как при нацистской оккупации сами были превращены в рабочий скот, — причем зачастую для этого использовались бывшие нацистские концлагеря. В некоторых случаях лагерная охрана комплектовалась из бывших узников, надзиравших за бывшими охранниками, а также мучившими и избивавшими их. По словам польского историка, послевоенное использование этих лагерей, каким бы шокирующим оно ни казалось нам сейчас, в то время имело смысл: они оставались нетронутыми, когда почти все вокруг было разрушено. Действительно, такие места находились в бесперебойном употреблении¹⁷. Например, в небольшом нацистском лагере Потулице в окрестностях Быдгоща до января 1945 года содержались около 11 тысяч заключенных — в основном польские и советские граждане, включая сотни детей. Сразу же после освобождения лагерь заняли красноармейцы, нашедшие применение и казармам, и мастерским, где в военное время узники чинили обувь. Принимая лагерь в феврале, его первый польский комендант Еугениуш Василевский обнаружил в бараках нескольких советских солдат, по-прежнему мирно проживавших здесь. Он

попросил красноармейцев освободить места для только что арестованных немцев и коллаборационистов, среди которых оказались бывшие немецкие охранники и начальство лагеря.

Василевский, бывший моряк торгового флота и, очевидно, не слишком фанатичный коммунист, руководил лагерем до июля 1945 года. Большую часть его подчиненных составляли бывшие заключенные, многие из которых мечтали о мести. Согласно свидетельствам, комендант старался не допускать скверного обращения с новыми узниками: один бывший заключенный, ставший охранником, заявлял, что «раньше дела обстояли похуже». Но поскольку лагерное население за семь месяцев выросло с 181 до 3387 арестованных, условия неизбежно ухудшались¹⁸. После отъезда Василевского в ноябре в лагере разразилась эпидемия тифа, а в последующие годы его охрана не раз обвинялась во взяточничестве, служебном нерадении и пьянстве¹⁹. За пять лет существования лагеря более 3 тысяч немцев умерли в нем от голода и болезней.

Хотя архивных свидетельств на этот счет не сохранилось, бывшие охранники и узники из Потулице, а также других польских лагерей в своих интервью и воспоминаниях говорили также и о пытках, которым подвергались немцы, подлежащие депортации. Их морили голодом, избивали, им на головы лили экскременты, поджигали волосы, у них вырывали золотые зубы, а фразу «я — немецкая свинья» заставляли повторять многократно. Немцев также заставляли эксгумировать останки недавно убитых польских и советских заключенных. Начальница тюрьмы в Гливице, еврейка по имени Лола Поток, прошедшая Освенцим и потерявшая там большую часть родных, включая мать и детей, лично допрашивала немцев касательно их связи с нацистами. Если жертвы признавались в коллаборационизме, она избивала их плетью; но отказ от признания тоже не избавлял от избиения, поскольку в этом случае немцы «наказывались» за то, что они лгут. По ее собственному признанию, она «пришла в себя» лишь через несколько месяцев, вновь начав обращаться с немцами как с людьми. И дело было не в том, что она простила их: просто ей не хотелось стать похожей на них²⁰.

Со временем депортация немцев из Польши, Венгрии и Чехословакии, а также высылка венгров из Чехословакии стали проходить более упорядоченно. Чехословацкий президент издал так называемые «декреты Бенеша», которые подвели под стихийное изгнание правовую основу. Этот набор документов санкционировал конфискацию немецкой и венгерской собственности в Чехословакии, выселение немцев и венгров, предоставление чехам и словакам венгерских и немецких земельных участков, а также лишение немцев и венгров чехословацкого гражданства. По мере того как президентские декреты вступали в силу, подлежащим высылке людям начали более регулярно предоставлять транспорт, их стали обеспечивать продуктами на дорогу, а также разрешили забирать с собой мебель и одежду. Для разрешения спорных вопросов относительно собственности или установления личности были созданы специальные комиссии. Проблема выяснения национальной принадлежности особенно остро стояла в этнически смешанных регионах Польши, где «ополяченные» немцы, имевшие польских жен, изъявляли желание остаться в стране. Эти органы занимались также и представителями малых этнических групп, которые при нацистах считались «немцами», таких как кашубы и мазуры.

Еще более запутанными были случаи, в которых участвовали представители *Volksdeutsche* — категории, специально придуманной для обозначения немецких обитателей восточноевропейских стран. К *Volksdeutsche* относились румыны, венгры, поляки, чехи и прочие, имевшие немецкие фамилии и, возможно, немецкие семейные корни. Они далеко не всегда умели говорить по-немецки и в большинстве своем никогда не бывали в Германии. Когда нацисты просили их записаться в разряд *Volksdeutsche*, они делали это из этнической гордости, страха или просто расчета на лучшую долю. Некоторых из них запугивали. В Польше одна из комиссий в ноябре 1946 года решила «реабилитировать» группу *Volksdeutsche* и позволить им опять стать «поляками», но только в том случае, если они сумеют доказать, что в нацистский список попали под принуждением, а в годы войны вели себя «как подобает поляку». В свою очередь, спец-

Начало



Красная армия в восточной Польше в 142 км от Берлина. Март 1945 г.



Рейхстаг. Апрель 1945 г.



Советские солдаты раздают горячую пищу немецким гражданам.
Май 1945 г.



Разрушенный цепной мост Сечени в Будапеште. Лето 1945 г.



Трапеза польской семьи среди руин в Варшаве.



Жещина, торгующая хлебом на углу улицы. Лето 1945 г.

Этнические чистки



Изгнанные из Судетской области немцы в ожидании депортации.



Переселение немецких крестьян-швабов из Венгрии.

Вооруженное сопротивление

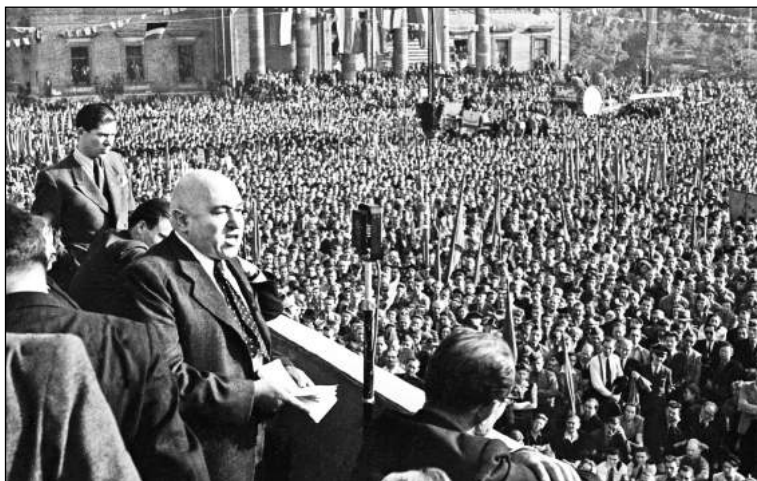


Польские партизаны из подпольных Национальных вооруженных сил (NSZ), воевавшие против германской армии, теперь готовы сражаться против Красной армии. Через несколько недель все они погибли. Весна 1944 г.



Польские партизаны сдают оружие в обмен на амнистию.

Выборы



Матьяш Ракоши произносит речь в Будапеште. 1946 г.



Коммунистическая демонстрация в Лодзи против западного империализма и У. Черчилля. 1946 г.



Агитационные лозунги в Будапеште: «Спекулянтов — в тюрьму! Победа компартии значит больше хлеба, больше продуктов!».



Голосование в сельской местности в Польше. 1947 г.



Триумф коммунистической партии: представители венгерского руководства под образами Ленина, Сталина и Ракоши. 1949 г.

службы время от времени «забирали» *Volksdeutsche*, отправляя их в трудовые лагеря наряду с настоящими немцами²¹.

В Венгрии, где обладателями фамилий, звучащих по-немецки, являются очень многие, единственной инстанцией, которая имела информацию о том, кто записался в ряды *Volksdeutsche*, было Бюро переписи. Первоначально директор этого учреждения отказался передать соответствующие списки новым властям. Служащие продолжали упорствовать даже после визита к ним венгерских чекистов, состоявшегося в апреле 1945 года: никогда ранее Бюро не предоставляло свои данные силовым структурам — ни в ходе уголовных расследований, ни в годы войны. Когда немецкое оккупационное правительство в 1944 году попыталось получить доступ к информации о проживающих в стране евреях, оно тоже встретило отказ. Теперь же Бюро сдалось лишь после того, как спецслужбы арестовали десять его сотрудников и когда ему дали понять, что аресты санкционированы советскими властями, которые не собираются ограничиваться десятком арестованных²².

К моменту своего завершения изгнание немецкого населения из Восточной Европы стало исключительно масштабной акцией, не имевшей, вероятно, аналогов в европейской истории. К концу 1947 года около 7,6 миллиона «немцев» — включая коренных этнических немцев, *Volksdeutsche* и недавних переселенцев — покинули Польшу. Около 400 тысяч из этого числа умерли по пути в Германию от голода, болезней или перекрестных обстрелов смешающегося фронта²³. Еще 2,5 миллиона оставили Чехословакию, а 200 тысяч были высланы из Венгрии²⁴. Кроме того, немецкое население депортировалось или добровольно уезжало из Украины, Прибалтийских государств, Румынии и Югославии. В целом в послевоенный период около 12 миллионов немцев покинули Восточную Европу, переселившись в Восточную и Западную Германию.

После пересечения немецкой границы беженцев ждал весьма прохладный прием. Независимо от того, оказывались изгнанники в восточной или западной оккупационной зоне, их уделом было социальное прозябание. Они говорили на восточных диа-

лектах немецкого языка, отличались иными обычностями и привычками, не имели ни собственности, ни каких-либо накоплений. В 1945 году Германия не была готова к их возвращению; многим вновь прибывшим приходилось бесцельно скитаться по стране в поисках пропитания. В сообществах изгнанников постоянно вспыхивали эпидемии тифа и дизентерии, то и дело перекидывавшиеся на местных жителей. В советской зоне проблема стояла настолько остро, что оккупационное командование предложило местным властям обеспечить компактное пребывание беженцев и воспрепятствовать их рассеянию по окрестным территориям. В свою очередь, представители британского и американского командования предлагали вообще прекратить или хотя бы замедлить процесс высылки немцев из других стран²⁵.

Ответственность за изначальный хаос и тысячи смертей зачастую возлагается на правительства тех государств, которые изгоняли немцев. Но это слишком узкое понимание ответственности. Разумеется, никакого изгнания не было бы, если бы не война, германское вторжение в регион и жестокое обращение немцев с местным населением. Число жертв оказалось высоким также и потому, что в Центральную Европу было направлено слишком много немецких «колонистов»: большинство беженцев, высланных в 1945 году в Германию, не имели в регионе никаких корней. Среди тех, кого изгоняли из Польши, были этнические немцы, иногда из Германии, а иногда из других европейских стран, которые занимали дома или фермы убитых или выселенных поляков и евреев. Семьи немецких офицеров или немецких бизнесменов, многие из которых сполна воспользовались привилегиями, предоставленными им в захваченной нацистами Европе, также безжалостно изгонялись. У них не было никакого морального права претендовать на польскую землю или собственность, хотя некоторые из них позже пытались выставить себя «изгнанниками» и «жертвами». Например, Эрика Штейнбах, позже возглавившая «Союз изгнанных» (*Bund der Vertriebenen*), влиятельную и активную организацию бывших немецких беженцев, была дочерью немецкого сержанта из

Гессена, в годы войны служившего в польском городе Румия. Ее семья была «изгнана» или, скорее, бежала обратно в Гессен, поскольку они были оккупантами²⁶.

Кроме того, политика изгнания всецело одобрялась западными державами, которые начали прорабатывать ее еще до Потсдамской конференции. Так, в 1944 году Черчилль заявил в палате общин, что «изгнание [немцев] будет, насколько представляется, наиболее действенным и устойчивым инструментом» поддержания мира в Европе. Рузвельт также одобрял политику этнических чисток, в качестве прецедента ссылаясь на «обмены населением», которые состоялись между Турцией и Грецией в 1921–1922 годах²⁷.

Наконец, выселение немцев пользовалось полной поддержкой со стороны Советского Союза. В частных беседах военных лет Сталин советовал чехословацкому руководству «вышвырнуть их [судетских немцев] вон», а полякам рекомендовал «создать для немцев такие условия, чтобы они сами бежали из страны»²⁸. Еще более важно то, что польские, чехословацкие, румынские и венгерские полицейские, проводившие депортацию, действовали с благословения Советов и на территориях, формально контролируемых Красной армией. Сталин, конечно, знал, что и поляки, и чехи начали размышлять об изгнании немцев еще до завершения войны. Помогал он в этом и румынам. Но решение о перекройке польских границ, возмещавшее присвоенные Советским Союзом восточные территории страны бывшими немецкими землями на западе, означало, что у поляков просто не было иного выхода, кроме массовых депортаций, масштабы которых трудно было себе представить. В конце концов изгнание немцев стало возможным с советской помощью.

Красная армия также несла прямую ответственность за изгнание и депортацию немцев из Венгрии и Румынии. Преследования венгерских немцев начались по советскому приказу от 22 декабря 1944 года, предписывавшему всем гражданам немецкого происхождения записаться в трудовые отряды для отправки на работу на фронте. Подготовка полномасштабной депортации началась в феврале 1945 года, когда советское пред-

ставительство при Союзной контрольной комиссии предписало венгерскому МВД «подготовить список всех немцев, проживающих на территории Венгрии» (именно этот приказ привел к конфликту Бюро переписи с властями и аресту его сотрудников)²⁹. К тому моменту НКВД уже руководил и депортацией немцев из Румынии³⁰.

В то же время изгнание немцев пользовалось несомненной популярностью среди населения всех стран, им затронутых; местные коммунисты быстро взяли этот процесс под свой контроль, приписав себе все заслуги. Так, Польская коммунистическая партия сумела обрести желанное доверие масс именно из-за ее ведущей роли в процессе изгнания немцев. Она смогла заручиться поддержкой со стороны тех правых сил, которые уже давно ратовали за создание «гомогенного» польского государства — в Европе того времени национальная однородность вообще считалась вполне нормальной политической целью³¹. А историк Стефан Боттони пишет, что двойственная политика румынских коммунистов по отношению к национальным меньшинствам — жесткое обращение с немцами, сочетаемое с усилиями по интеграции венгров, славян и евреев, — также помогла им упрочить легитимность³².

Для чехословацких коммунистов причастность к изгнанию немцев была еще более важной, поскольку она позволяла партии идти в ногу со временем и откликаться на настроения масс. В конечном счете коммунистическая полиция с необычайным усердием просто реализовала популярную в народе правительственную политику. Руководитель Чехословацкой коммунистической партии Клемент Готвальд призывал нацию отомстить немцам не только за минувшую войну, но и за битву при Белой горе в 1620 году, когда Богемия была сокрушена Священной Римской империей и ее преимущественно немецкими союзниками: «Вы должны быть готовы к финальному воздаянию за Белую гору, к возвращению чешских земель народу. Мы навсегда изгоним из своей страны всех потомков чужеродной германской знати»³³. Националистическая риторика такого же типа, чуть более явственно разбавленная марксизмом, исполь-

зовалась Словацкой коммунистической партией в отношении венгерского меньшинства: «Богатейшие плодородные земли Южной Словакии, откуда венгерские феодалы выгоняли словацких крестьян в горы, должны быть возвращены словацкому народу»³⁴.

Все временные институты, созданные для обеспечения немецких депортаций, быстро доказали свою пригодность и для других нужд. В Польше многие лагеря, специально открытые для этих целей, со временем превратились в места заключения противников режима. В Чехословакии коммунистическая партия создала полувоенную организацию, призванную помочь в изгнании немцев; та же организация позже содействовала партии в осуществлении государственного переворота 1948 года³⁵. Иначе говоря, высылка немцев заложила институциональную основу для коммунистического террора, начавшегося через год или два.

Поскольку выселением немцев занимались полицейские-коммунисты, на долю местных коммунистических партий выпала приятная обязанность перераспределения немецкой собственности. В их распоряжении внезапно оказались квартиры, мебель, прочее имущество, которым теперь можно было наделить верных партийцев. Немцы также оставляли фермы и целые предприятия, которые, к всеобщему удовольствию, незамедлительно национализировались и передавались под контроль польских или чешских чиновников. Этот массовый захват собственности помог подготовить психологическую почву для более масштабной национализации, которая началась чуть позже. Многие с удовлетворением смотрели, как у немцев отбирают жилье и бизнес, полагая, что отнимать собственность у врагов нации — вполне «справедливо». «И почему, собственно, ее конфискация у врагов рабочего класса должна быть менее «справедлива»? — размышляли они.

Благодаря усилиям активных и влиятельных организаций бывших немецких изгнанников массовая депортация немцев с недавних пор сделалась хрестоматийным и наиболее часто

обсуждаемым примером этнических чисток в послевоенной Европе. Тем не менее ее следует считать лишь одним из многочисленных процессов подобного рода после 1945 года.

Почти в то самое время, когда немцев выдавливали из Силезии и Судетской области, на польско-украинской границе происходил еще один масштабный обмен населением. Любопытно, что соглашение, санкционировавшее эту вторую по размаху волну послевоенных депортаций, подписывалось Польшей не с Советским Союзом, а с Украинской Советской Социалистической Республикой, образованием, которое в тот момент не обладало суверенитетом, особенно в международных делах. Один украинский историк полагает, что это делалось намеренно. Если бы другие союзные державы вдруг выступили против перемещения такой массы людей или если бы оно сопровождалось вопиющим насилием, Сталин всегда мог бы снять с себя правовую ответственность: «Это не мы, это украинцы»³⁶.

Как хорошо было известно советскому лидеру, в то время на юго-востоке Польши и западе Украины шла полномасштабная война. Здесь не место глубоко погружаться в суть этого конфликта; достаточно сказать, что он коренился в давнем экономическом, религиозном и политическом противостоянии, обостренном и искаженном нацистской оккупацией и двумя советскими вторжениями — 1939 и 1943–1944 годов. Воцарению мира и межэтнической гармонии на западе Польши и востоке Украины не способствовали и действовавшие там многочисленные партизанские отряды различной национальной (польской, еврейской, украинской, советской) и политической окраски. Насилие достигло ужасающего пика и трагизма в некогда польской, а ныне украинской области Волынь, когда местные партизаны из Украинской повстанческой армии осознали, что немцы уже уходят, а Красная армия еще далеко. Они сочли, что наступает подходящий момент для основания собственного государства. Партизанский вожак Микола Лебедь призвал своих единомышленников «очистить революционную территорию от польского населения». Летом 1943 года его люди, многие из которых были свидетелями или участниками советских депор-

таций поляков в 1939 году и уничтожения евреев в годы холокоста, убили около 50 тысяч поляков, в основном гражданских лиц, изгнав из Волыни еще десятки тысяч³⁷.

Описание массовой экзекуции в деревне, оставленное польской девушкой-подростком, свидетельствует, что палачи усвоили как нацистские, так и советские уроки. Ее вместе с сестрой, двумя братьями и всеми соседями согнали в лес неподалеку от деревни и приказали не расходиться. То, что происходило потом, очень напоминало многие другие массовые казни, происходившие в тех же местах несколькими месяцами ранее: «Я легла на землю, как будто бы собираясь спать, а чтобы ничего не видеть, с головой укрылась большим платком. Стрельба раздавалась все ближе — я ждала неминуемой смерти. Но затем звуки выстрелов стали отдаляться, а я была жива и невредима. ...Вскочив на ноги, мы с сестрой увидели наших братьев, 9 и 13 лет, каждый был убит выстрелом в голову. По сей день меня мучает совесть, поскольку это я велела им снять кепки. Возможно, если бы их глаза были прикрыты кепками, они выжили бы. ...Но куда нам теперь идти? Мы стали пробираться подлеском в сторону Любомля. По дороге нам встретила украинская старуха с девочкой. Моя сестра спросила, не сможет ли она взять нас к себе домой, но та отказалась. ...По счастью, мы нашли заброшенный дом, где напились воды из корыта, отдохнули, а потом продолжили путь. Так началась моя бродяжья жизнь»³⁸.

Поляки мстили. Польский партизан Вальдемар Лотник вспоминает одну из акций возмездия: «За две предыдущие ночи они убили семерых наших; теперь мы в ответ убили шестнадцать человек с их стороны, включая восьмилетнего школьника. ...В акции участвовали триста наших бойцов; мы не встретили никакого сопротивления и не потеряли ни одного человека. Большинство из нас неплохо знали местных жителей, и мы имели представление, кто тут нацист, а кто украинский националист». Через неделю украинцы нанесли ответный удар: сожгли деревню, изнасиловали всех женщин и убили каждого, кто не смог убежать. Поляки вновь принялись мстить, причем на этот раз их настолько переполняла ненависть к украинцам,

изводившим целые польские семьи, от мала до велика, что «они поклялись брать око за око и зуб за зуб — и ни на шаг не отступили от своей клятвы»³⁹.

Принимая во внимание недавнюю историю, а также то, что новая пограничная линия еще утвердилась в умах, не приходится удивляться тому, что и поляки, и украинцы сопротивлялись депортациям. Первоначально польская и советская стороны договорились, что обмен населением будет проходить сугубо добровольно, и некоторые люди по обе стороны границы осенью 1944 года по своей воле садились в поезда, чтобы уехать. Но наступила зима, основные силы Красной армии переместились на запад, к Берлину, и число добровольных переселенцев заметно поубавилось. Поляки из Армии крайовой, уверенные в том, что Советский Союз заставят в скором времени вернуть бывшие польские территории Польше — по их мнению, новая мировая война была неизбежной, — продолжали партизанскую борьбу на западе Украины и в 1945 году. «Советам не удержать Западную Украину, она была и будет польской территорией, — говорил один из местных поляков информатору НКВД. — Америка не допустит этого, поскольку еще в начале войны она обещала, что Польша вернется к границам 1939 года. Поэтому и уезжать [в Польшу] не стоит»⁴⁰.

Ввиду отказов переселяться и обострения межэтнического конфликта, Сталин решил ужесточить политику в отношении поляков, проживавших на бывших польских землях, которые теперь отошли к Украинской Советской Социалистической Республике. Никита Хрущев, возглавлявший тогда украинскую компартию, в сентябре 1944 года в письме Сталину предлагал закрыть в западной части Украины все польские школы и университеты, запретить польские учебники и начать отправку поляков на промышленные объекты в глубине советской территории⁴¹. Страдая от подобной политики и осознавая, что США не собираются вступаться за Польшу, а третья мировая война в ближайшее время не начнется, поляки понемногу начали собираться на запад. И хотя НКВД обнаруживал и обезвреживал организации «белополяков» на советской территории даже в

феврале 1946 года, это были последние очаги открытого сопротивления⁴². К октябрю 1946 года, согласно советским данным, 812 668 поляков покинули Советскую Украину, отправившись в Польшу⁴³. В целом почти полтора миллиона литовских, белорусских и украинских поляков должны были покинуть СССР⁴⁴.

Это был колоссальный культурный сдвиг: покидая Литву, Западную Украину и Западную Белоруссию, поляки оставляли города и села, где на протяжении столетий говорили по-польски. Некоторым из них пришлось переселиться в места, которые традиционно были немецкими. Древний университет Яна Казимира в Львове, который превратился в Львов, покидал свои здания, собирал остатки книг и профессуры и перебирался в город Бреслау, теперь переименованный во Вроцлав. Там его размещали в зданиях столь же древнего немецкого университета. Крестьянам, которые прежде возделывали знаменитый украинский чернозем, теперь предлагали значительно более скудные почвы Силезии, требовавшие иных технологий возделывания. Иногда переселенным полякам предоставляли немецкие дома, где еще не остыли печи и чайники, а на столе стояла неубранная посуда, оставшаяся после последней трапезы бывших хозяев.

Со временем польское правительство разработало изощренную мифологию, повествующую об этих «обретенных землях» (*ziemie odzyskane*) — по-польски это определение похоже на «земли обетованные» (*zemie obiecana*) — и о славянских королях, правивших здесь в Средние века. Но на деле многие из прибывших сюда поляков чувствовали себя непрошенными гостями. Их первые урожаи были скудными, поскольку они не привыкли к новым условиям земледелия. Они не торопились тут обустраиваться, так как боялись возвращения немцев. Тот факт, что поляки со всей Польши в 1945—1946 годах специально ездили в бывшие немецкие города, чтобы украсть хоть что-то, оставленное бывшими хозяевами, очень красноречив: дома люди не ведут себя подобным образом.

Украинцы, остававшиеся на польской стороне к западу от обновленной границы, испытывали еще большее возмущение и нежелание переезжать. Они были наслышаны о голоде на

Украине в 1932–1933 годах, отчасти спровоцированном Сталиным для подавления украинского национализма, и не питали никаких иллюзий по поводу советского режима. Им не хотелось перебираться на Советскую Украину, а те, кто сделал это, нередко пытались вернуться обратно. В 1945–1946 годах партизаны из Украинской повстанческой армии (УПА) и Организации украинских националистов (ОУН) не раз нападали на конторы, занимавшиеся репатриацией, взрывали дороги и железнодорожные пути, используемые для доставки депортируемых, и даже сжигали деревни, отведенные к западу от новой границы для проживания репатриированных поляков⁴⁵.

Польские коммунисты пытались давать отпор. В апреле 1945 года специальная оперативная группа, включавшая сотрудников полиции, спецслужб и армии, разработала план насильственной депортации, чтобы «очистить» от украинцев пять польских воеводств. Но их усилия позорно провалились. Поддержка УПА и ОУН со стороны местного населения была столь велика, что в какой-то момент руководители из Жешува были вынуждены просить спецслужбы о предоставлении «дополнительных самолетов-разведчиков». Поскольку обнаружить украинцев на земле не удавалось, они решили отслеживать их отряды с воздуха⁴⁶.

К 1947 году польское правительство вынуждено было забыть об этнической чистке региона, поскольку столкнулось с намного более глубоким кризисом: ему приходилось бороться за сохранение самого контроля над юго-восточной Польшей. Управление на местах было парализовано, а кое-где украинским партизанам удалось даже объединиться с остатками польского движения WiN⁴⁷. В марте 1947 года украинские боевики убили заместителя министра обороны Польши генерала Кароля Сверчевского; вслед за убийством последовал бой с участием полутора сотен партизан, вооруженных автоматами и пушками. После этого события польские коммунистические газеты кипели отнюдь не интернационалистской ненавистью, именуя украинцев не иначе как «палачами», «бандитами», «мясниками» и «иностранными наемниками». Украинцы также обвинялись в

том, что их «фашистские пули»⁴⁸ сразили доблестного сына польского народа. (Хотя Сверчевский долгое время служил в Красной армии, а его семья проживала в Москве⁴⁹.)

После этого террористического акта польский режим наконец-то смог мобилизоваться, чтобы депортировать украинцев, но не в Советский Союз, где они могли спровоцировать проблемы, а на бывшие немецкие земли в северной и западной Польше. Заявив о намерении принести «мир» в восточную часть страны, поддержанном большинством поляков, они в конце апреля 1947 года развернули операцию «Висла», в которой было задействовано 5 пехотных дивизий, 17 тысяч солдат, 500 дружинников, саперы, летчики и войска МВД. В приграничных зонах поддержку им оказывали части советского НКВД и чехословацкой армии⁵⁰. К концу июля вся эта армада смогла изгнать из своих домов около 140 тысяч украинцев, перебросив их в вагонах для скота на север и запад Польши. Это была кровавая акция — не менее кровавая, чем массовая бойня в Волыни тремя годами ранее. Украинец, который в то время был ребенком, вспоминает, как польские солдаты вломились на свадьбу его двоюродного брата: «Солдаты окружили дом внезапно, а потом подожгли его. Они застрелили жениха и нескольких гостей, не успевших убежать; окровавленные тела были брошены в телегу, где уже лежали люди, убитые ими в другом месте. Когда они собирались уходить, вдруг появилась невеста, в белом платье с фатой. Солдаты, обрадовавшись, привязали ее за руки к телеге и хлестнули лошадей. Сначала девушка бежала, потом упала, и тело ее волочилось по грязи. Солдаты выстрелили в нее, а потом перерезали веревку, бросив труп посреди дороги»⁵¹.

Оставшись без крестьянской поддержки, украинские партизаны не могли больше воевать. Тех, кто уцелел в боях, захватывали в плен, а потом допрашивали и зачастую пытали в бывшем нацистском лагере Явожно, где коммунисты сначала содержали немцев. Как и прочие нацистские лагеря, это место имело долгую жизнь и выполняло различные функции. Украинцы рассеялись по всей Польше. В 1990-е годы я встретила группу их потомков, проживавших в окрестностях Мазурского озера.

Никто из них не говорил по-украински. Поскольку польские власти после войны приняли решение о том, что украинское население в городах не должно превышать 10 процентов, украинцы постепенно утратили и язык, и культуру, и самобытность.

Через несколько недель после завершения операции «Висла» Советский Союз провел столь же жестокую акцию на прилегающих территориях Советской Украины. В октябре 1947 года всего за несколько дней советские спецслужбы арестовали в западных украинских областях 76 192 человека, отправив их в лагерь ГУЛАГа⁵². Некоторые историки считают, что две операции были взаимосвязаны. Обе были нацелены на то, чтобы раз и навсегда покончить со своенравным и сплоченным западно-украинским сообществом, причинявшим столько неприятностей и полякам, и русским. Операция «Висла» гарантировала, что ни один советский украинец, избежавший ареста в СССР, больше не будет чувствовать себя в безопасности в Польше⁵³. Обе операции пользовались широкой поддержкой местного общества. Польские крестьяне, измученные украинскими партизанами, были рады тому, что их недругов больше нет; они испытывали благодарность к советским и польским войскам, которые помогли справиться с этой напастью.

Операция «Висла» была особо жестоким, но не единственным примером взаимообмена населения в пределах одной страны. После того как чехословацкое правительство не смогло заручиться санкцией на депортацию венгров из Словакии ни в Потсдаме, ни на Парижской мирной конференции, оно прибегло к аналогичному решению. На бумаге никакой депортации не было, имел место лишь «добровольный» обмен гражданами. Чтобы ускорить этот «добровольный» отъезд венгров из Словакии, их лишили гражданства, права пользоваться родным языком в общественных местах и возможности посещать богослужения на венгерском языке. В 1945–1948 годах около 89 тысяч венгров «убедили» переселиться из Словакии в Судеты, где они заместили убывших немцев, или вообще перебраться в Венгрию. Одновременно в Словакию вернулись из Венгрии около 70 тысяч словаков⁵⁴.

Мировое сообщество не выразило ни слова протеста. По мнению венгерского историка, так получилось из-за того, что «судьба венгерского меньшинства никого не интересовала»⁵⁵. Истина, однако, состоит в том, что мир тогда вообще не интересовался меньшинствами. И межэтническая война между Польшей и Украиной, и операция «Висла» прошли незамеченными. Точно так же никто не обратил внимания на 100 тысяч венгров, бежавших или высланных из Румынии, 50 тысяч украинцев, перебравшихся из Чехословакии на Украину, 42 тысячи чехов и словаков, вернувшихся после войны с Украины в Чехословакию⁵⁶.

К 1950 году от некогда многонациональной Восточной Европы осталось немного. Не исчезла только ностальгия — украинская, польская, венгерская, немецкая. В 1991 году я приехала в маленький хутор на Западной Украине. Там проживала украинская пара, которая в 1945 году, пострадавшая от ночных визитов всевозможных партизан, устав от войны и желая покоя и мира, согласилась покинуть родную деревню на реке Сан в восточной Польше. Сложив все пожитки в телегу, они двинулись на восток. Прибыв на место, нашли деревянную избу на вершине холма, до недавнего времени принадлежавшую польскому семейству, и обосновались в ней. Спустя полвека их внучка, которая никогда не бывала в Польше, страстно желала туда съездить. «Действительно ли та земля такая богатая и прекрасная, как рассказывают?» — спрашивала она.

В конечном счете большая часть немцев оказалась в Германии, поляки вернулись в Польшу, а украинцы получили возможность уехать в Советскую Украину. В отличие от них, у евреев Восточной Европы, рассеянных по тайным убежищам, концентрационным лагерям и местам изгнания, не было какой-то общей родины, куда они в 1945 году могли бы вернуться. Прибывая на прежние места жительства, они обнаруживали физическую разруху, психологическую опустошенность и все самое ужасное. Действительно, их послевоенную участь невозможно оценить в полном объеме, если не принимать во внимание тот факт, что возвращаться им приходилось в города, кото-

рые просто захлестывало этническое, политическое и криминальное насилие.

Многим западноевропейцам, привыкшим к тому, что за освобождением всегда следует мир, трудно это понять. Столь же сложно отбросить многочисленные мифы и предрассудки, которые множились вокруг еврейского послевоенного опыта в последующие годы. Все послевоенные межнациональные конфликты, напоминавшие о себе регулярно, разжигались политиками, которые желали использовать прошлое, чтобы влиять на настоящее. Так, немецкие союзы «изгнанных» играли заметную и довольно неуклюжую роль в западногерманской политике 1970—1980-х годов, временами — включая и критический 1989 год — агитируя за пересмотр германско-польской границы и возвращение немцев туда, откуда их когда-то депортировали. Поляки и украинцы продолжают спорить о наследии Украинской повстанческой армии, бойцов которой одни проклинаят как убийц, а другие славят как борцов за свободу. Совсем недавно, в 2008 году, напряженность во взаимоотношениях словаков и венгров достигла такой точки, что венгры, возмущенные арестом активистов мадьярского движения в Словакии, перекрыли в знак протеста несколько пограничных переходов.

Тем не менее в эмоциональном плане самым опасным «минным полем» в послевоенной истории Восточной Европы остается все же судьба еврейского населения, и в особенности удел польских евреев. Во многом это обусловлено сложным отношением восточноевропейских евреев к восточноевропейскому коммунизму: в нескольких коммунистических партиях Восточной Европы евреи играли виднейшие роли и воспринимались в качестве основных бенефициаров новых режимов, несмотря даже на то, что другие евреи от тех же режимов основательно пострадали. Временами евреи Восточной Европы и другие ее жители состязаются в своеобразной сравнительной мартирологии. Если первые склонны интерпретировать любую дискуссию о каких-либо чужих страданиях военных лет как принижение их уникально трагичного опыта, то вторым не по душе

тот факт, что весь мир сегодня знает о холокосте, но не об их страданиях от рук нацистской Германии и сталинского Советского Союза. Идут также нескончаемые споры о деньгах, собственности, вине и ответственности.

Подтверждением того, насколько живы все эти чувства, может служить история 1990-х годов, когда по инициативе Польского института национальной памяти прокуратурой было начато расследование необычного дела Соломона Мореля, который, как признавали все, был польским евреем и партизаном-коммунистом. Кроме того, с февраля по сентябрь 1945 года он исполнял обязанности коменданта концентрационного лагеря для немцев Згода, находившегося в верхнесилезском городке Светочловице на месте бывшего филиала Освенцима. Потом он служил в польской тайной полиции, став полковником и начальником тюрьмы в Катовице. В начале 1990-х годов Морель эмигрировал в Израиль.

На этом, однако, бесспорные факты и заканчиваются; все остальное, касающееся этого человека, остается под вопросом. По мнению польских прокуроров и следователей, Морель вступил в ряды польских чекистов сразу после войны. Сначала он работал в тюрьме Люблинского замка, где допрашивал командиров Армии крайовой. Затем его перевели в Згуду. На посту коменданта лагеря он прославился жестокостью к немецким узникам, включая женщин и детей. Он лишал их еды, не позволял мыться, пытал ради собственного удовольствия, а иногда забивал до смерти. Из-за антисанитарии в лагере началась эпидемия тифа, от которого умерли 1800 заключенных. Согласно архивным данным, МВД возложило ответственность за эпидемию на Мореля, его на три дня посадили под домашний арест и лишили части зарплаты.

В 2005 году польская прокуратура, решив, что Морель виновен в совершении военных преступлений, направила в Израиль запрос на его экстрадицию. В ответ прокуроры получили гневное письмо из израильского министерства юстиции, в котором сообщалось, что Морель не военный преступник, а жертва войны. В военные годы у него на глазах польский офицер убил

его родителей, младшего брата и жену брата. Его старший брат был застрелен, как говорилось в письме, «польским фашистом». Согласно израильскому чиновнику, лагерь в Светочловице, которым он командовал, вмещал не более 600 заключенных, и все они были бывшими нацистами. Санитарные условия там были вполне удовлетворительными. Суждения автора письма обосновывались не фактами, а эмоциями: Морель, заявлял он, «пострадал от геноцида, вершимого нацистами и их польскими пособниками», дело против него объясняется польским антисемитизмом, и поэтому его выдача Польше невозможна⁵⁷.

Эта переписка вызвала немалое раздражение у обеих сторон. Поляки считали, что израильтяне прячут обычного коммунистического преступника. Израильтянам казалось, что поляки избрали своей мишенью типичную еврейскую жертву. Но все же история Мореля вовсе не была типичной. Не признавая за ним роль «символа несправедливости», чинимой поляками или евреями, мы должны рассматривать его жизненный путь как нечто исключительное.

Начать следует с того, что нашему герою, в отличие от большинства евреев Восточной Европы, удалось пережить холокост. Оценить редкость этого явления довольно сложно, поскольку точного числа тех, кто выжил, не знает никто. Далеко не все евреи в послевоенной жизни регистрировались в Восточной Европе как таковые, и отнюдь не каждый желал взаимодействовать с еврейскими организациями. Многие сменили фамилии, чтобы они выглядели как «арийские», а в послевоенные годы сохранили их. Но, согласно самым оптимистическим подсчетам, из 3,5 миллиона евреев, живших в границах Польши в довоенный период, уцелели менее 10 процентов. Около 80 тысяч из них остались в живых после нацистской оккупации. Остальные в годы войны находились в СССР, а когда боевые действия закончились, в большинстве своем вернулись в родные места. К июню 1946 года на территории новой Польши проживали около 220 тысяч евреев. Эта цифра составляла менее одного процента польского населения, насчитывавшего тогда 24 миллиона человек⁵⁸.

Еще более сложно делать подсчеты в отношении Венгрии, где евреи традиционно ассимилировались, вступали в межнациональные браки и меняли вероисповедание. Оценки еврейского населения Венгрии по состоянию на 1945 год варьируют в очень широком диапазоне — от 143 до 260 тысяч. Как и в польском случае, для Венгрии, население которой тогда составляло 9 миллионов человек, это был невысокий процент. Но из-за нацистских депортаций конца войны, включая печально известную массовую высылку местных евреев в Освенцим, затронувшую в основном венгерскую глубинку, почти все выжившие евреи Венгрии сосредоточились в Будапеште⁵⁹. В городе с населением в 900 тысяч человек евреи составляли весьма зримое и деятельное сообщество. Опираясь на свои семейные и профессиональные связи, они довольно скоро начали играть важную роль в общественной жизни. Ничего подобного не было ни в Польше, ни в Германии. В советской оккупационной зоне Германии осталось лишь 4500 евреев — ничтожная доля в 18-миллионном населении. Здесь они были практически незаметны⁶⁰.

Соломон Морель был нетипичен и в том отношении, что не покинул после войны Восточную Европу. Подавляющее большинство евреев, вернувшихся в свои дома, оставались в них лишь столько времени, сколько требовалось, чтобы найти выживших родственников и собрать уцелевшую собственность. В основном, впрочем, результаты таких поисков были удручающими. В меморандуме 1946 года руководители еврейской общины Польши объясняли, что многие их соплеменники покидают страну, поскольку не могут жить в городах и деревнях, ставших «кладбищами для их семей, родственников, друзей»⁶¹. Некоторые отправлялись к родственникам за границей, единственным близким людям. Другие, особенно те, кто провел военные годы в Советском Союзе, уезжали из ненависти к коммунизму и опасений — вполне справедливых, — что у еврейских предпринимателей и торговцев в коммунистическом государстве нет будущего.

Наконец, многие уезжали из страха. Польша, Венгрия, Чехословакия и Восточная Германия, как и вся Восточная

Европа, в послевоенные годы представляли собой не слишком приятное место. Быть коммунистом, антикоммунистом, немцем, поляком в украинской деревне или украинцем в польской деревне — все было в равной степени опасно. Столь же опасным было положение еврея. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что некоторых евреев, вернувшихся после войны к своим очагам, приветствовали вполне по-дружески. Одного польского еврея, воевавшего в рядах Красной армии, радушно встретили соседи, кормившие его и прятавшие от местных бойцов Армии крайовой, которые охотились на коммунистов. В свою очередь, другие польские евреи, также связанные с коммунистической партией, помогали партизанам-антикоммунистам скрываться от НКВД. Наконец, сионистский активист Эмиль Зоммерштейн, освобожденный в 1944 году из советского лагеря на том условии, что он согласится возглавить министерство по делам евреев во Временном правительстве Польши, тайно отправлял курьеров Армии крайовой в Лондон. Чтобы операции проходили успешно, их переодевали в наряд ортодоксальных евреев⁶².

Но в то же время в нашем распоряжении есть многочисленные устные и архивные свидетельства жестоких и даже смертоносных нападений, которым в послевоенные месяцы и даже годы евреи подвергались в Венгрии, Польше, Чехословакии и Румынии. Среди исследователей нет единодушия относительно масштабов этих акций. Так, в Польше число «еврейских смертей» в указанный период варьирует от 400 до 2500⁶³. Подобные статистические расхождения неудивительны, учитывая тот факт, что само общее количество выживших евреев остается неясным. Но в то же время за столь значительными перепадами стоят и другие факторы неопределенности. За несколькими важными исключениями, все эти нападения были изолированными актами и, в отличие от притеснений немцев в Польше или венгров в Словакии, не являлись частью официальной политики. В одних случаях поводом служило возвращение евреев в дома, уже занятые другими, а в других случаях причиной были политические споры. Причем порой трудно понять, что было первично. Евреев, которые по возвращении требовали вселения

в свои жилища, убивали из-за собственности или из-за того, что они евреи? А евреев, состоявших в рядах спецслужб, ликвидировали как коммунистов или опять-таки как евреев? И как, наконец, расценивать ограбления евреев — как акты антисемитизма или рядового бандитизма?

Более понятными, по крайней мере в этом узком смысле, выглядят антисемитские беспорядки, или погромы, также происходившие в тот период. Начиная с 1945 года центрами массового насилия в отношении евреев становились Жешув, Краков, Тарнув, Калиш, Люблин, Кольбушова и Милич в Польше; Колбасов, Снина, Комарно и Теплице в Словакии; Озд и Кунмадараш в Венгрии⁶⁴. Но самые масштабные погромы произошли в польском городе Кельце 4 июля 1946 года и в венгерском городе Мишкольц 30 июля — 1 августа того же года.

В Кельце видимым поводом для беспорядков, как ни странно это выглядит в XX столетии, послужили подозрения в ритуальном использовании евреями христианской крови. Один польский мальчик, вероятно, пытаясь уйти от наказания за неявку домой к назначенному часу, сказал родителям, что был похищен евреями, намеревавшимися принести его в жертву. По словам ребенка, его заперли в подвале городского Еврейского комитета, представлявшего собой нечто среднее между общежитием и культурным центром, где в то время жили несколько десятков уцелевших после холокоста евреев. Его пьяный отец пожаловался в местную полицию, и полицейские с энтузиазмом взялись за расследование. Несмотря на то что обитатели здания почти сразу объяснили силам правопорядка, что подвала у них нет и прятать ребенка им было негде, по городу поползли зловещие слухи.

Перед зданием Еврейского комитета начала собираться толпа. На место событий прибыло армейское подразделение — сорок военнослужащих внутренних войск. К ужасу еврейских лидеров, солдаты начали стрелять, причем не в беснующуюся толпу, а в засевших в здании евреев. Вместо того чтобы рассеять зачинщиков беспорядков, они присоединились к ним — наряду с полицейскими и народными дружинниками. После оконча-

ния смены в ряды погромщиков влились и рабочие местной фабрики. В течение дня евреев убивали в разных районах города, в пригородах и даже в поездах, на которых еврейские пассажиры по трагической случайности в это время приехали в Кельце. К полуночи были убиты по меньшей мере 42 человека и еще десятки ранены. Эти события считаются наиболее ужасающей вспышкой антисемитского насилия в послевоенной Восточной Европе⁶⁵.

Хотя накануне погрома в венгерском Мишкольце тоже поговаривали о ритуальной крови, а в Кундамараше и словацком Теплице вспоминали о еврейских кознях в отношении христианских детей, поводом для трагических событий в первом из этих городов стал арест трех спекулянтов, двое из которых оказались евреями. Слух об этом задержании быстро и, вероятно, не без помощи полиции распространился по городу, и когда утром 31 июля задержанных должны были перевезти из местного полицейского участка в тюрьму, их уже поджидала большая толпа. Люди приготовили самодельные плакаты с надписями «Смерть евреям!» и «Смерть спекулянтам!». Как только арестанты появились, толпа накинулась на них, убив одного и настолько жестоко избив другого, что тот потом скончался в госпитале. Третий задержанный, который не был евреем, в суматохе сбежал.

В середине того же дня полиция, демонстративно не препятствовавшая утренней расправе, арестовала шестнадцать человек за самосуд. На следующий день новая толпа, возмущенная этими арестами, разгромила городское полицейское управление. На этот раз погиб полицейский-еврей.

Реакцией на эти события, привлечение внимания не только на местном, но и на международном уровне, стали потрясение и возмущение. Погромы спровоцировали новую волну эмиграции. По словам еврея, жившего в то время в Лодзи, «хотя мы и без того чувствовали, что наше существование очень и очень шатко, мы не позволяли этому ощущению овладеть нашим сознанием. Мы хотели вновь начать жить как люди. Но погром в Кельце избавил нас от иллюзий. Больше мы не могли оставаться здесь ни на один день»⁶⁶.

Нееврейская общественность тоже была встревожена. В Польше и Венгрии интеллектуалы и политики всех направлений гневно осуждали эти рецидивы антисемитизма, абсолютно неприемлемого в странах, где еще не забыли о холокосте. В Польше было проведено официальное расследование и состоялся суд, на котором вынесли девять смертных приговоров. В Венгрии на следующий день после событий в Мишкольце в первый и последний раз антисемитизм официально обсуждался на заседании ЦК коммунистической партии⁶⁷. Но в целом работа правосудия по этим делам никого не удовлетворила.

В обоих случаях режим нес по меньшей мере частичную ответственность за все произошедшее. В Кельце полиция и силы безопасности не только не пытались предотвратить бунт, но, напротив, присоединились к толпе — как и армейские подразделения, прибывшие позже. Фактически соучастие полицейских развязало толпе руки. В Мишкольце местная полиция, скорее всего, заранее предупредила граждан о своих планах относительно спекулянтов, а потом, когда началось насилие, просто исчезла. Не менее примечательно и то, что Ракоши, посещавший город всего лишь за неделю до описываемых событий, на массовом митинге 23 июля осуждал спекулянтов в следующих выражениях: «Те, кто занимается спекулятивными играми с форинтом и подрывает экономические основы нашей демократии, должны болтаться на виселице». В тот же период Венгерская коммунистическая партия распространяла плакаты и листовки, на которых карикатурные образы «воротил черного рынка» имели выраженные еврейские черты⁶⁸. Очевидно, что в условиях гиперинфляции и плачевного состояния экономики партия надеялась сделать главной мишенью народного гнева «еврейских спекулянтов» и тем самым выйти из-под огня критики⁶⁹.

Тем не менее вопреки встречающимся порой утверждениям архивные документы не подтверждают предположений о том, что антисемитские акции планировались заранее или даже координировались из-за границы. Хотя советские агенты присутствовали в обоих городах — в Кельце офицер НКВД даже наблюдал за бунтом, — а погромы почти совпали по времени,

прямое советское вовлечение в организацию беспорядков не прослеживается⁷⁰. Ни советские, ни местные коммунисты не усматривали в подобных бунтах никакой выгоды для себя. Хотя и венгерские, и польские власти пытались, причем не без оснований, возложить ответственность за эти выступления на антикоммунистическое движение и церковь, во внутренних обсуждениях они признавали, что погромы обнажили их собственную слабость. Если взять Кельце, например, то там различные силовые структуры спорили между собой, не подчинялись приказам и не смогли удержать толпу — все это едва ли говорит об их компетентности. Из-за этих беспорядков несколько местных партийных лидеров лишились своих постов⁷¹. Венгерских коммунистов события в Мишкольце также заставили понервничать. Ракоши объяснял беспорядки «проникновением фашистов в партийные ряды» и призывал пресекать подобные эксцессы впредь⁷².

В то же время в обоих местах еврейские погромы, несомненно, пользовались определенной народной поддержкой. Рожденные еще в Средние века толки о том, что евреи убивают христианских детей или что еврейские спекулянты обирают христиан, внезапно обрели новую жизнь в провинциальных городах Восточной Европы. Некоторые объясняют эти моменты помещательства экономическими причинами: польский историк Ян Гросс, например, указывает на то, что массовое уничтожение евреев в годы войны создало «социальный вакуум, который быстро был заполнен польской мелкой буржуазией»⁷³. Ощущая шаткость своего положения, боясь потерять недавние приобретения, опасаясь нового коммунистического режима, этот социальный слой, рассуждает Гросс, сконцентрировал свой гнев на возвращающихся евреях. В подобных наблюдениях определенно присутствует доля истины; многие сталкивались с аналогичным феноменом и в других странах. Вот как Хеда Коваль, сумевшая выжить в нацистском лагере, описывает возвращение в свой бывший семейный дом, находившийся в чешской глубинке: «Я позвонила, и через какое-то время дверь открыл небритый толстяк. Сначала он молча смотрел на меня, а потом заво-

пил: «Так вы вернулись! О, нет! Только этого нам не хватало!».

Я повернулась и ушла в лес. Там, прогуливаясь по мшистой земле под елями и слушая пение птиц, я три часа дожидалась обратного поезда в Прагу»⁷⁴. Опасаясь негативной реакции населения, в Венгрии коммунистическая партия практически отказалась поддерживать возвращение евреям их собственности. В марте 1945 года газета *Szabad Nép* советовала евреям с «пониманием» относиться к людям, которые теперь занимают их квартиры, причем даже в тех случаях, если это бывшие коллаборационисты. Партийные чиновники в Будапеште также рекомендовали возвращающимся евреям «договариваться» с новыми обитателями их домов, что в тех обстоятельствах было абсолютно невозможно⁷⁵.

Другие специалисты уверены, что причины вражды явно выходят за рамки экономического соперничества. Как отмечает польский историк Мариуш Стола, поляки, подобно чехам, венграм, румынам, литовцам, видели, слышали и даже обоняли холокост в такой степени, которая в Западной Европе, включая Германию, казалась немыслимой. Он пишет: «Психологическая реакция на подобный опыт всегда сложна и полностью иррациональна; воспоминание — это подобие приступа, ибо чувства, им вызываемые, остры и неудержимы, причем, что особенно важно, далеко не всегда речь идет о чувствах жалости или симпатии. ...Я не психолог, но склоняюсь именно к этой теории, потому что не вижу иных объяснений некоторым ужасающим формам поведения, например, как можно бросить гранату в приют для еврейских детей-сирот»⁷⁶. Стола здесь упоминает печально известный случай, действительно имевший место: в ночь на 12 августа 1945 года неизвестные бросили гранату в еврейский детский дом, находившийся в деревне Рабка, а потом обстреливали его на протяжении двух часов. Поразительно, но в ходе этого нападения никто не погиб. Тем не менее приют вскоре закрыли, а детей перевезли в другое место⁷⁷.

Объяснение, которое Стола предложил в 2005 году, вполне созвучно мнениям, высказываемым польскими интеллектуалами в то время. В 1947 году Станислав Оссовский, признанный фило-

соф и социолог, пришел к аналогичному выводу. «Сочувствие вовсе не является единственным возможным ответом на невзгоды, пережитые другим человеком. ...Люди, которых судьба обрекла на уничтожение, нередко вызывают у других отвращение и просто вытесняются за рамки обычных человеческих отношений». Оссовский, подобно многим после него, отмечал также, что те, кто приобретал от истребления евреев какие-то материальные выгоды, нередко испытывали неловкость, а то и чувство вины, заставлявшие их придавать своим действиям видимость легитимности: «Если чужая беда кому-то приносит выгоду, возникает потребность убедить себя и окружающих в том, что несчастье другого было морально оправданным»⁷⁸.

Какими бы ни были причины устойчивой враждебности к евреям, именно она убеждала их оставлять Восточную Европу и уезжать в Америку, в Западную Европу или, чаще всего, в Палестину. В течение трех месяцев после резни в Кельце около 70 тысяч польских евреев отправились на Ближний Восток. В этом им помогали немногочисленные сионистские организации, основанные или поддерживаемые палестинскими и американскими евреями. По договоренности с польскими властями евреи выезжали из страны через согласованные пограничные переходы в Силезии, пешком и на грузовиках пересекали Чехословакию, затем добирались до средиземноморских портов и оттуда отплыли в Палестину. (Правда, по пути некоторые меняли направление и отправлялись в другие страны⁷⁹.)

Постепенно массовый выезд стал раздражать польские власти: въезд в находящуюся под британским мандатом Палестину был противозаконным делом, и английская пресса начала писать об этом. На короткое время каналы выезда перекрыли. Но после основания государства Израиль в мае 1948 года евреям вновь разрешили уезжать из Польши — во многом из-за того, что польское государство, взявшее курс на экономическую централизацию, было радо избавиться от еврейского сообщества мелких бизнесменов. Стремясь поощрить эмиграцию, новое израильское правительство предложило Польше выгодные экономические контракты, которые обеспечивали стране

приток твердой валюты. Аналогичную сделку с израильтянами заключили и румынские власти. По всей видимости, Советский Союз одобрил оба соглашения⁸⁰. Тогда же Американский еврейский распределительный комитет — главная благотворительная организация сионистов — выплатил венгерскому правительству миллион долларов, и сразу же после этого 3 тысячи венгерских евреев получили разрешение на выезд в Израиль⁸¹.

Некоторые восточноевропейские страны оказались еще сговорчивее; они сотрудничали с сионистами гораздо активнее, чем позже будут признавать их лидеры. Все они, за исключением Югославии, в 1947 году голосовали за раздел Палестины: в то время Советский Союз поддерживал создание государства Израиль, поскольку Сталин рассчитывал, что оно быстро присоединится к коммунистическому лагерю. В Восточной Европе энтузиазм на этот счет также был высок: в 1947 году Польша, Чехословакия и Венгрия даже открыли на своих территориях тренировочные центры, где готовились бойцы «Хаганы» — еврейской полувоенной организации, позже составившей ядро сил обороны Израиля. Венгерская армия и тайная полиция обучили около 1,5 тысячи венгерских евреев, а 7 тысяч польских евреев прошли подготовку под началом инструкторов из Красной армии и Польской народной армии в специальном центре в Силезии. В то время эта программа пользовалась широкой поддержкой. В июне 1948 года Центральный комитет Польской коммунистической партии распорядился передать еврейским волонтерам определенное количество оружия и тренировочный полигон. В Силезии обучение происходило открыто, волонтеры с песнями проходили по улицам, а когда новоявленные рекруты уезжали в Палестину, их провожали с цветами и транспарантами. «Даже поляки симпатизировали нашей борьбе за свободу», — вспоминал один из бывших курсантов. Программа осуществлялась до начала 1949 года и была рассчитана на долгосрочный эффект: польская полиция сохраняла списки всех, кто прошел через эти военные курсы. Более того, членов коммунистической партии просили о сотрудничестве в качестве информаторов «даже после того, как они уедут в Израиль»⁸².

С обретением Израилем независимости поездки в Палестину перестали быть нелегальными. В 1948 году польское государственное туристическое агентство *Orbis* запустило на этом популярном направлении первый регулярный поезд: через Чехословакию и Австрию пассажиров доставляли на побережье Италии. После пары удачных рейсов — как только евреи твердо уверились в том, что их «действительно везут в Израиль, а не в Сибирь», — число желающих эмигрировать вновь начало расти⁸³. В начале 1950-х годов, однако, поток эмигрантов пошел на убыль. Очевидно, это произошло под советским давлением: к тому моменту на смену сталинской поддержки Израиля пришли подозрительность и паранойя. Тем не менее к 1955 году в Польше оставалось не более 80 тысяч евреев — две трети переживших геноцид покинули страну. Похожие показатели наблюдались и в других восточноевропейских странах. В 1945—1950 годах из Румынии уехали 50 процентов евреев, из Чехословакии — 58 процентов, из Болгарии — 90 процентов. Венгрию за тот же период покинули от трети до четверти ее еврейских граждан⁸⁴.

Оставшиеся в большинстве своем не уехали потому, что были коммунистами, связывали с коммунистическим режимом какие-то ожидания или работали в коммунистическом госаппарате. Это было вполне логично: в те времена, когда антикоммунистов Восточной Европы преследовали и убивали, евреи Восточной Европы, настроенные антикоммунистически, покидали родные места. И здесь мы подходим к последней необычной особенности Соломона Мореля: этот еврей не просто остался у себя на родине, но и вступил в ряды польских «чекистов». Вопреки традиционной для региона мифологии, в большинстве своем польские евреи не имели никакого отношения к тайной полиции. И это не удивительно, поскольку они либо уже уехали, либо планировали уехать из Польши.

Справедливости ради надо сказать, что некоторые евреи все же занимали очень важные посты в партийной иерархии и аппарате спецслужб Польши. Среди них были Якуб Берман и Хилари Минц, главные советники Болеслава Берута по идеологическим и экономическим вопросам соответственно; Юлия

Бристигер, руководитель департамента тайной полиции, занимавшегося слежкой за церковью; Юзеф Рожанский, неистовый старший следователь тайной полиции; Адам Хумер, его заместитель; Ежи Бореяша, брат Рожанского, писатель, который после войны прибрал к рукам всю издательскую индустрию страны; Юзеф Святло, высокопоставленный офицер министерства общественной безопасности, позже сбежавший на Запад. Но представители этой зловещей группы ни в одной сфере не составляли большинства. Как считает историк Анджей Пачковский, сразу же после войны на ее долю приходилось около 30 процентов должностей в руководстве польских спецслужб, а после 1948 года эта доля даже сократилась. Как бы то ни было, негодование, вызываемое этими людьми, было в рядах антикоммунистов непропорционально великим⁸⁵.

В Венгрии ситуация была иной, поскольку там все главные коммунисты — Ракоши, Герё, Ревай — были евреями. Они также преобладали среди руководителей политической полиции и министерства внутренних дел. Но даже в венгерском случае нельзя с уверенностью говорить о том, что местное еврейское население благоволило к коммунистам. На выборах 1945 года за коммунистическую партию проголосовала лишь четверть еврейских избирателей. И хотя в ранний послевоенный период число евреев среди партийных руководителей оставалось высоким, с 1948 года их доля в государственном аппарате начала снижаться. Новая тенденция была обусловлена тем, что с этого времени Венгерская коммунистическая партия, подобно коммунистическим партиям Восточной Германии и Румынии, начала активно привлекать в свои ряды низших служащих прежнего режима, особенно полицейских. Таким способом она стремилась повысить свою популярность и избавиться от стереотипа «элитарной», «чужеродной» или «еврейской» силы. «Они не такие уж и плохие парни, — говорил Ракоши американскому журналисту, рассуждая о бывших членах фашистской партии. — Они были не так уж активны. Такому человеку достаточно лишь написать заявление — и мы его принимаем»⁸⁶.

Что еще более важно, присутствие евреев на ключевых постах в коммунистических партиях Восточной Европы отнюдь не влияло на политику в благоприятном для еврейства плане. Напротив, коммунисты, включая самих еврейских партийцев, весьма неоднозначно относились к еврейской истории и еврейской идентичности, не изменив своих воззрений даже после того, как ужасы холокоста перестали быть тайной. Находясь в 1942 году в Москве, Якуб Берман начал получать ужасающие сведения о том, что происходило с евреями в Варшаве. Позже один из его братьев погибнет в газовой камере в Трешлинке. Но он не позволял себе впадать в скорбь: настоящих коммунистов нацисты не сбывают с верного пути. В одном из писем своему другу Леону Касману, тоже еврею, он советовал не поддаваться воздействию трагедии, разворачивавшейся на родине. «Положение евреев в Польше ужасно, — писал он. — Мне, однако, кажется, что ты не должен предаваться бесконечным переживаниям по этому поводу... ибо, хотя вопрос о мобилизации еврейских масс Польши на активную борьбу очень важен, перед нами стоят и другие задачи»⁸⁷.

После войны двойственность в отношении евреев усугубилась. В 1945—1946 годах Ракоши был весьма обеспокоен тем, что бесконечные антифашистские суды над людьми, которые «делали что-то с евреями», едва ли будут популярны в народе⁸⁸. Он нарочито вставлял в свои речи антисемитские реплики, а однажды настолько оскорбил спикера парламента Белу Варгу, что тот огрызнулся: «Ваша мать была еврейкой, и не пытайтесь отказываться от собственной матери». Ракоши пытался отрицать очевидные факты; так, когда премьер-министр Ференц Надь, возглавлявший Партию мелких хозяев, на заседании правительства заметил, что среди политиков послевоенной Венгрии слишком много евреев, он холодно возразил, что у коммунистической партии нет такой проблемы: «К счастью, все наши лидеры католики»⁸⁹. Даже в Восточной Германии, где от еврейской общины практически ничего не осталось, на ранних этапах проводилось четкое обособление бывших «борцов с фашизмом», под которыми имелись в виду в основном коммунисты, от бывших «жертв

фашизма», которыми считались в основном цыгане и евреи. По словам Джеффри Херфа, «старые антисемитские представления о евреях как капиталисте и “слабаке” по-прежнему просматривались в жестком коммунистическом дискурсе о немецком фашизме»⁹⁰.

Конечно, по крайней мере отчасти непростые отношения, сложившиеся между восточноевропейскими коммунистами и восточноевропейскими евреями, были обусловлены антисемитизмом отдельных руководителей, в том числе и антисемитизмом самих евреев. Свою роль сыграл и антисемитизм Сталина, который, усугубляясь со временем, достиг кульминации в «чистке», обрушившейся на советских евреев перед самой его кончиной. Но на более глубинном уровне за невнятным отношением коммунистических партий к евреям и еврейству стояла их неуверенность в своей популярности. Зная, что многие граждане воспринимают установленный ими режим как нелегитимный, говоря точнее, понимая, что в них видят советских агентов, они старались упрочить поддержку, обращаясь к традиционным национальным, религиозным и этническим символам. Особенно заметно это было в 1945–1946 годах, когда коммунисты все еще надеялись, что смогут удержать власть посредством выборов. В то время, когда Ракоши увлекался обличением «еврейских воротил черного рынка», возглавляемая им партия организовала шумное празднование столетия «буржуазной революции» 1848 года, настаивая, к негодованию старых партийцев, на том, что коммунисты должны выходить на праздничные мероприятия не только с красными, но и с венгерскими национальными флагами. Как объяснял Ракоши, «у нас по-прежнему есть определенные проблемы с патриотизмом. Многие товарищи опасаются, что мы отклоняемся от марксистского курса. Поэтому следует особо подчеркнуть: мы ставим красный флаг и национальный флаг Венгрии на один уровень. ...Наше национальное знамя — это знамя венгерской демократии»⁹¹.

Аналогичной линии придерживались и немецкие коммунисты, восстановившие флаг Германской империи, не дожидаясь окончания войны. Это было сделано для привлечения на свою

сторону бывших военнослужащих. Они также принялись прославлять традиционных гениев немецкого народа — организовав, например, в 1949 году Год Гёте в Веймаре и положив начало проводимому раз в четыре года музыкальному конкурсу Баха в Лейпциге. Кстати, в том же 1949 году в Польше отмечался Год Шопена. А в августе 1944 года Эдвард Осубка-Моравский, возглавлявший Временное правительство в Люблине, даже публично участвовал в церковной службе в честь «Чуда на Висле» — национального праздника с отчетливо антирусским подтекстом, отмечающего поражение армии большевиков под Варшавой в 1920 году. Это странное событие выглядело еще более причудливым благодаря участию в нем генерала Николая Булганина, в то время представлявшего в Люблине Совет народных комиссаров, а позже ставшего главой правительства СССР⁹².

Коммунистическое попустительство антикоммунизму вписывалось в ту же логику. Многие коммунисты надеялись, что, игнорируя антисемитизм или даже заигрывая с ним, партия будет казаться более национальной, более патриотичной, менее советской, менее чужеродной и в конечном счете более легитимной. В Польше тезис о том, что непопулярность партии обусловлена присутствием в ее рядах слишком большого количества евреев, первоначально исходил от самих партийцев. В 1948 году находившийся тогда в опале Владислав Гомулка, лидер польских коммунистов военной поры и главный соперник Берута, представил Сталину пространный меморандум, в котором утверждал, что присутствие евреев в коммунистической партии не позволяет ей расширять свою социальную базу. «Некоторые из еврейских товарищей не чувствуют никакой связи с польской нацией или с польским рабочим классом», — говорилось в документе. Более того, зачастую они занимают позицию, которую можно назвать «национальным нигилизмом». Гомулка считал «абсолютно необходимым не только прекратить увеличение процента евреев в партии и государственном аппарате, но и снизить его, особенно на самых высоких уровнях власти»⁹³.

Подобно гонениям на немцев, украинцев и венгров в Судетской области, Польше и Словакии соответственно, анти-

семитизм постепенно стал еще одним оружием в партийном арсенале. И в этом смысле послевоенная история евреев вписана в ту же главу послевоенной истории, где повествуется о самых жестоких формах этнических чисток. Добиваясь популярности, коммунистические партии целенаправленно нагнетали ненависть к немцам, ненависть к венграм, ненависть к украинцам и, даже в регионах, наиболее опустошенных холокостом, — ненависть к евреям. Польская коммунистическая партия возвращалась к этой теме и позже, изгнав в 1968 году из своих рядов большую часть евреев-коммунистов.

А что же Соломон Морель? В конце концов, он был типичной фигурой своего времени в единственном смысле: подобно многим людям, пережившим ужасы войны и сумятицу послевоенных лет, он в разное время играл разные роли в разных национальных контекстах. Он стал жертвой холокоста и коммунистическим преступником. От рук нацистов погибла вся его семья, и его обуревала садистская ненависть к немцам и полякам — ненависть, которая может быть как связанной, так и не связанной с его статусом жертвы или его коммунистическими убеждениями. Он был очень мстительным и жестоким человеком. Польское коммунистическое государство награждало его, польское посткоммунистическое государство преследовало его, а израильское государство встало на его защиту, несмотря на то что на протяжении полувека он и не помышлял о переезде в Израиль и решился на этот шаг только из-за боязни преследования. Его история доказывает только одно: нам очень трудно судить людей, которые жили в самой опустошенной части Европы в самые худшие годы минувшего столетия.

Глава 7

Молодежь

Вашу группу антифашистского действия незамедлительно надо распустить! Вы должны ждать инструкций от Центрального комитета!

Вальтер Ульбрихт, 1945¹

Тому, чем обладает молодежь, принадлежит будущее.

Лозунг пионеров ГДР

В 1947 году Стефан Ендриховский, ветеран-коммунист, член польского политбюро и министр правительства, подготовил для своих коллег меморандум по теме, весьма и весьма его взволновавшей. В этом документе, высокопарно названном «Заметки об англосаксонской пропаганде», выражалась среди прочего обеспокоенность тем, что британские и американские новостные службы пользуются в Польше большей популярностью, нежели их советские и польские аналоги; что американские фильмы принимаются зрителями слишком тепло; что американская мода покорила молодежь. Автор настаивал на том, что необходимо более активно пропагандировать и рекламировать советскую моду, ограничить деятельность Британского совета и прочих организаций, которые поддерживали в Польше курсы английского языка, а также жестче контролировать деятельность западных дипломатических представительств.

Но более всего автора тревожила влияние польского филиала YMCA — Христианской ассоциации молодых людей, — открытого в Варшаве в 1923 году и затем запрещенного Гитлером. В апреле 1945 года, опираясь на поддержку международной штаб-квартиры YMCA в Женеве и немалый энтузиазм в самой Польше, Polska YMCA возобновила свою работу. Организация провозглашала себя полностью аполитичной. Ее главной задачей в Польше было распределение иностранной

помощи — одежды, книг, продуктов питания, а также организация досуга молодых людей. Министр, однако, подозревал наличие в ее деятельности скрытых мотивов. Пропаганда, которой занимается YMCA, писал он, выстроена так, чтобы «избегать прямых политических акцентов», и это делает ее чрезвычайно опасной. В этой связи автор рекомендовал министру безопасности Станиславу Радкевичу провести финансовый аудит организации и тщательно проверить, что именно она публикует и какие учебные курсы ведет².

Озабочен был не только Ендриховский. Примерно в то же время в министерство образования поступило обращение лидеров «Молодежного союза борьбы» (*Związek Walki Młodych* „ZWM), коммунистической молодежной группы, которые нападали на YMCA еще неистовее. Молодых коммунистов раздражали курсы английского языка, молодежные клубы и бильярдные залы, действовавшие под патронажем иностранной ассоциации. Например, в Гданьске, жаловались они, эта организация открывает общежития и столовые, а также раздает подержанную одежду, а в Кракове она арендовала целое здание, причем на семьдесят пять лет. И хотя в письме об этом прямо не говорилось, все указывало на то, что подобными делами коммунисты хотели бы заниматься и сами³.

За всем этим могли скрываться и более мрачные подозрения: сразу после большевистской революции 1917 года британский агент Пол Дьюкс использовал, хотя и без особого успеха, московский филиал YMCA в качестве прикрытия для шпионской деятельности⁴. Впрочем, раздражение польских коммунистов едва ли основывалось на знании этого исторического факта. Они ненавидели YMCA за то, что ассоциация была в моде, если, конечно, вообще можно говорить о моде в послевоенной Варшаве. Так, для Леопольда Тырманды, романиста, журналиста, фланера, а также первого в стране и величайшего джазового критика, варшавский филиал YMCA стал родным домом. После войны он снимал в принадлежавшем YMCA полуразрушенном здании комнату, «два с половиной на три с половиной метра, настоящую дыру, но вполне уютную». Вокруг не было ничего,

кроме грязи, мусорных куч и руин, и это создавало в доме, который служил мужским общежитием, атмосферу «роскошного отеля». Здесь по крайней мере было чисто и тихо⁵.

По вечерам Тырманд надевал яркие носки и узкие брюки, специально сшитые для него портным, который жил тут же, и спускался на первый этаж, где шли джазовые концерты. Здесь, «между кафетерием, читальней и бассейном лучшие девушки города двигались в ритмах модного тогда свинга». Филиалы УМСА в Варшаве и Лодзи всегда славились своими концертами. Один из поклонников джаза вспоминал, что билет на концерт в УМСА был мечтой: «Это было культурное, элегантное, веселое событие — и при этом никакого алкоголя». И, конечно же, это было невероятное развлечение, продолжал он: «Мы ничего не знали о Катыни, не имели представления о том, как жить в свободной стране, у нас не было паспортов, мы не могли покупать новые книги или ходить в кино, но нам хотелось развлекаться — и джаз помогал нам в этом». Сам Тырманд позже писал, что УМСА представляла собой «островок цивилизации посередине разоренной, трущобной Варшавы, города, где люди жили хуже крыс. И поэтому больше всего мы ценили царивший здесь дух товарищества, бодрости, юмора»⁶.

Но, имея столь влиятельных врагов, как Ендриховский и «Молодежный союз борьбы», организация не могла жить долго. В 1949 году коммунистические власти объявили УМСА «орудием буржуазного фашизма» и закрыли ее. Вполне в духе неистовых героев Оруэлла молодые коммунисты ворвались в клуб с молотками и разбили все джазовые грампластинки. Здание было передано малоизвестной организации, называвшейся «Лигой друзей военнослужащих». Обитателей дома сначала мучили шумом по утрам, а потом, чтобы заставить их съехать, отключили воду и электричество. В конечном счете коммунистические активисты, вновь явившись в здание, выбросили вещи постояльцев из окон, а их кровати выставили на улицу.

Уехать, однако, смогли не все; у многих просто не было никакого другого приюта. Остался и Тырманд. В доме появились новые люди, иногда с женами и детьми. К 1954 году это было

шумное и неопрятное местечко, где в коридорах сушилось белье, а стряпней пахло буквально повсюду. Целые семьи спали в крошечных комнатках. Здание теперь напоминало, по словам Тырманда, «трущобы Парижа»: «Жизнерадостный комфорт прежней YMCA стал далеким идиллическим воспоминанием из доисторического прошлого»⁷.

Восстановление польского филиала YMCA в послевоенные годы стало классическим примером того, что в наши дни назвали бы подъемом «гражданского общества» — феномена, который за свою историю сменил несколько названий⁸. В XVIII веке Эдмунд Бёрк с восхищением писал о «маленьких командах», небольших общественных организациях, которые рождали, по его убеждению, дух солидарности и которым, как он полагал, грозила французская революция. В XIX веке Алексис де Токвиль с меньшим энтузиазмом писал об «ассоциациях», в которые «беспрестанно объединяются американцы самых различных возрастов, положений и нравов». Он был уверен, что такие объединения предотвращают установление диктатуры: «Если люди цивилизованны или становятся на этот путь, необходимо, чтобы их умение объединяться в союзы развивалось и совершенствовалось». Совсем недавно политолог Роберт Патнэм объединил такие явления в понятие «социальный капитал», заключив, что добровольные организации граждан составляют саму основу того, что мы называем сообществом.

К 1945 году большевики разработали собственную теорию гражданского общества, хотя и совершенно негативную. В противовес Бёрку, де Токвилю и русским интеллектуалам, они, по словам историка Стюарта Финкеля, были убеждены в том, что «публичная сфера в социалистическом обществе должна быть единой и одногласной». Они отвергали «буржуазные» представления о свободных дискуссиях и ненавидели независимые ассоциации, профсоюзы, прочие объединения, которые рассматривались в качестве «раскольнических» и вредящих общественному единству. Что касается буржуазных политических партий, то таковые просто объявлялись бессмысленными. (Как писал Ленин, названия партий, как в Европе, так и в цар-

ской России, часто выбираются исключительно с рекламными целями, а партийные программы сочиняются в основном для обмана общества.)⁹ В коммунистическом государстве легально действовали лишь те организации, которые были тесно связаны с партией и, по сути, выступали ее филиалами. Запрещались даже те объединения, которые вовсе не занимались политикой: пока революция не одержала окончательную победу, аполитичность объявлялась недопустимой, ибо политикой было пронизано абсолютно все. И если у организации не было явных политических задач, значит, она занималась тайной политикой.

Из этих предпосылок следовало, что под подозрением оказывалась любая организованная группа. Ассоциации, заявлявшие о своем интересе к футболу или шахматам, вполне могли оказаться прикрытием для зловещей деятельности. Академик Дмитрий Лихачев, позже ставший выдающимся литературоведом, был арестован в 1928 году за то, что состоял в философском дискуссионном клубе, члены которого приветствовали друг друга на древнегреческом языке. Находясь в тюрьме, он встретил среди прочих руководителя ленинградских бойскаутов — организации, которая позднее попала под подозрение властей и в Восточной Европе¹⁰.

Глубочайшее недоверие к гражданскому обществу играло в большевистском мировоззрении гораздо более важную роль, нежели обычно признавалось. Финкель указывает, что даже в годы новой экономической политики, когда советская власть экспериментировала с рыночной свободой, систематическое давление на литературные, философские, духовные кружки не ослабевало¹¹. Даже для ортодоксальных марксистов свободная торговля казалась меньшим злом по сравнению со свободными объединениями, включая аполитичные спортивные или культурные организации. Подобное положение вещей сохранялось при всех советских руководителях, включая Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева. Хотя многое в стране менялось, преследование гражданского общества продолжалось и после смерти Сталина, и в 1970–1980-е годы.

Восточноевропейские коммунисты унаследовали эту паранойю. Иначе и быть не могло: во-первых, они наблюдали ее в ходе многочисленных визитов в Советский Союз; во-вторых, она внушалась сотрудникам новых коммунистических спецслужб во время обучения; в-третьих, советские генералы и послы в странах Восточной Европы к концу войны недвусмысленно требовали от них подозрительности. В некоторых случаях советские оккупационные власти в Восточной Европе напрямую приказывали местным коммунистам запретить те или иные организации или группы организаций.

Как и в послереволюционной России, политическое преследование гражданских активистов в Восточной Европе не только предшествовало преследованию оппозиционных политиков, но и превосходило по своей значимости прочие цели коммунистического режима. Даже в 1945–1948 годах, когда выборы в Венгрии все еще оставались теоретически свободными, а в Польше пока действовала легальная оппозиция, некоторые виды гражданских организаций уже оказались под угрозой. В первые месяцы оккупации Германии советское командование еще не пыталось запрещать религиозные службы или церемонии, но оно с самого начала решительно возражало против групповых встреч церковных активистов, религиозных вечеров и даже мероприятий христианских благотворительных организаций, проводимых за пределами храмов — в ресторанах или других общественных местах¹². Несмотря на убежденность Маркса в том, что «базис определяет надстройку» — что подразумевало примат экономики над политикой и культурой, нападки на гражданское общество предшествовали и радикальным экономическим переменам. Основные черты этих процессов были очень похожими, несмотря на то что в различных странах оккупированной Советским Союзом Европы они происходили в разное время. Во многих местах участие в деятельности молодежных католических организаций оказывалось невозможным уже в тот период, когда частная торговля еще оставалась легальной.

Нигде более значение гражданского общества для новых коммунистических партий не проявило себя ярче, нежели в истории

молодежных движений Восточной Европы. Возможно, причина заключалась в том, что именно молодежь местные коммунисты считали самой важной социальной группой. Отчасти это было обусловлено теми надеждами, которые возлагали на молодежь их фашистские оппоненты, а также успехами фашистов в организационной работе с молодежной средой. Еще в 1932 году лидер Германской коммунистической партии Эрнст Тельман призывал своих товарищей, уподобляясь нацистам, шире внедрять в партийных рядах «спорт, дисциплину, товарищество, скаутские игры и марши»: «Почему мы игнорируем романтически-революционные чувства, присущие массам молодых рабочих? Почему в своей деятельности мы так сухи и скучны? ...Нам нужно обзавестись собственными магнитами, чтобы притягивать пролетарскую молодежь...»¹³.

В этой одержимости молодежью отразилась также глубокая вера в изменчивость и пластичность человеческой природы, которая господствовала среди коммунистов, а также европейских левых интеллектуалов в 1940-е годы. Пресловутое сталинское предубеждение в отношении генетики проистекало именно из уверенности вождя в том, что пропаганда и коммунистическое воспитание способны перманентно «перековывать» человеческий характер. Он защищал шарлатанов, подобных врагу генетики Трофиму Лысенко, который доказывал, что вновь приобретенные качества могут наследоваться, и фальсифицировал ради этого свои эксперименты. Пока Сталин был жив, любой советский ученый, чьи работы опровергали построения Лысенко, мог стать жертвой политических преследований¹⁴. Сталинская логика была вполне ясной: если молодых людей можно переделывать посредством образования и пропаганды и если они смогут потом передать благоприобретенные навыки своим детям, то появление «новой породы» коммунистических людей — *Homo sovieticus*, о котором речь пойдет ниже, — станет реальностью.

Польская YMCA была лишь одной из многочисленных молодежных групп, возродившихся после войны. В те времена, когда ни телевидения, ни социальных сетей не было, а радио, газет и

книг, музыки и театров не хватало, молодежные группы были настолько важными для подростков и юношества, что сейчас это трудно представить. Они организовывали вечеринки, концерты, походы на природу, поддерживали клубы, спортивные команды и дискуссионные мероприятия — и во всех этих начинаниях у них не было конкурентов.

Так, в Германии исчезновение молодежного союза *Hitlerjugend* и его женского отделения — «Лиги немецких девушек» стало реальной утратой. Почти до самого конца войны около половины молодых немцев приходили на вечерние мероприятия этих гитлеровских организаций, а каникулы и выходные многие проводили в загородных лагерях. И хотя теперь эти организации были полностью дискредитированы, потребность в той деятельности, которой они занимались, по-прежнему ощущалась весьма остро; именно поэтому, как только бои закончились, бывшие члены и бывшие оппоненты нацистских молодежных групп сообща и спонтанно начали создавать антифашистские молодежные организации в больших и малых городах Западной и Восточной Германии.

Эти первые группы были немецкими, а не советскими, и их создала сама молодежь. Взрослым было гораздо труднее оправиться от потрясений войны. Каждый пятый из немецких школьников потерял отца, а у каждого десятого отец был в плену. Но кому-то нужно было приступить к восстановлению общества, и в отсутствие взрослых авторитетов эту задачу приняли на себя энергичные молодые люди. В западноберлинском округе Нойкёльн антифашистская молодежная организация, созданная 8 мая — за день до капитуляции Германии, — к 20 мая насчитывала уже 600 членов, организовала пять детских приютов и расчистила от мусора два стадиона. 23 мая группа дала представление в местном театре, на котором присутствовали советские офицеры, а также горожане¹⁵.

Вольфганг Леонард, прибывший в Берлин на самолете вместе с Вальтером Ульбрихтом, встречался с некоторыми из членов этой группы. В ребятах он увидел первых политических активистов, не имевших отношения к Советскому Союзу: «Они сочетали

искренний энтузиазм со здоровым реализмом. Не дожидаясь указаний, члены группы незамедлительно поняли, что первым делом для удовлетворения безотлагательных нужд населения нужно наладить снабжение едой и водой». Среди прочего его восхищала их расторопность и деловитость: «За полчаса им удавалось сделать гораздо больше, чем делалось на бесконечных собраниях, к которым я привык в России»¹⁶. Подобные группы занялись распределением питания и расчисткой завалов по всему Берлину, который на протяжении первых двух месяцев после капитуляции полностью контролировался советской администрацией. Западные союзники появились здесь в июле, и только тогда город поделили на оккупационные зоны. К тому времени, по данным берлинского магистрата, в самостоятельных антифашистских группах состояли около десяти тысяч городских подростков¹⁷.

Очень скоро, однако, ими заинтересовались советские оккупационные власти. 31 июля советская военная администрация обнародовала документ, «разрешавший» формирование антифашистских групп под началом бургомистров, но только при условии «соблюдения всех формальных требований». Другими словами, до тех пор пока не получено официальное разрешение властей, любые молодежные организации, союзы, клубы, включая социалистические, оставались вне закона. Другое предписание молодежным объединениям обязывало их «крепить дружбу» с Советским Союзом. Таким образом, после трех месяцев свободы все самостоятельные группы оказались под государственным контролем.

Леонард, столкнувшийся с подлинным гражданским обществом впервые в жизни, стал одним из тех, кому предстояло его разрушить. Вскоре после возвращения в Берлин Ульбрихт привлёк его внимание к «антифашистским комитетам, антинацистским группам, социалистическим ячейкам, национальным комитетам и прочим подобным организациям», которые возникли без санкции властей. Леонард пишет, что поначалу он, находясь под огромным впечатлением от встречи с антифашистами района Нойкёльн, был воодушевлен тем вниманием, с которым коммунистическое руководство отнеслось к молодеж-

ным инициативам. Ему показалось, что, Ульбрихт собирается поручить ему налаживание контактов с самостоятельными группами молодежи и оказание им поддержки. Но он ошибся. Все эти комитеты, заявил вождь немецких коммунистов, были созданы нацистами и в большинстве своем остаются фиктивными организациями; по словам Ульбрихта, их придумали для того, чтобы помешать утверждению истинной демократии. «Они должны быть распущены, и как можно скорее», — таким было указание, полученное Леонардом. Он «с тяжелым сердцем» согласился заняться этим делом, лишь позже поняв смысл того, что произошло: «Сталинизм не мог допустить проявления независимой инициативы, идущей от низовых антифашистских, социалистических или коммунистических движений и организаций, поскольку сохранялась постоянная опасность, что такие организации выйдут из-под контроля и станут сопротивляться директивам сверху. ...Это была первая победа аппарата над независимым, антифашистским и тяготеющим к левым взглядам сегментом немецкого общества»¹⁸.

Но, с подозрением относясь к спонтанно возникшим комитетам, Ульбрихт и его советские партнеры желали, чтобы молодые люди активнее присоединялись к разрешенным группам, которые должным образом были зарегистрированы советскими властями. Поскольку Германия считалась «буржуазной» демократией, а некоммунистическим политическим партиям еще позволялось легально работать, молодежным некоммунистическим объединениям также не препятствовали, при условии что те встанут на официальный учет. Так, в июле 1945 года было официально зарегистрировано «молодежное крыло» правоцентристской Христианско-демократической партии, а в 1946 году советская администрация выдала санкцию на учреждение нескольких артистических и культурных групп¹⁹.

Коммунистическая партия тоже создала собственную молодежную секцию, оптимистично полагая, что многие молодые немцы захотят вступить в ее ряды. Но они не спешили к ней присоединяться, или, лучше сказать, делали это не столь массово, как ожидалось. В докладе, направленном руководству партии в

октябре 1945 года, молодой, или, лучше сказать, молодящийся Эрих Хонеккер (ему было тогда тридцать три), выдвинутый на первые роли Москвой вместе с Ульбрихтом, информировал начальство, что новая организация растет слишком медленно. Его беспокоило, что молодые немцы «сравнивают политическую работу с деятельностью бывшей нацистской партии», «пытаются сами решать свои проблемы» или же «поддаются пристрастию к развлечениям и спекуляции на черном рынке»²⁰.

Другие наблюдатели также отмечали, что немецкая молодежь далека от политики. Роберт Бялек, уехавший из Бреслау и постепенно залечивший моральную травму, нанесенную советскими солдатами, которые изнасиловали его жену, сетовал, что молодые немцы по-прежнему думают и говорят, используя нацистский лексикон. Бялека избрали председателем молодежного отделения коммунистической партии в Саксонии; на этом посту он энергично ратовал за принятие в новую организацию бывших членов *Hitlerjugend*, что, по его мнению, позволило бы расширить ее социальную базу. Среди бывших молодых нацистов, заявлял он, были настоящие лидеры Германии: «Мы, конечно, можем подвергнуть ostracismu бывших руководителей *Hitlerjugend*, но даже если прикажет маршал Жуков, нам не удастся искоренить авторитет, которым эти лидеры обладали»²¹.

В то время как коммунистические молодежные группы слабели, влияние других молодежных групп, в частности христианских, напротив, нарастало. В том моральном вакууме, в который Германия попала после Гитлера, церковь казалась духовно-нравственным оазисом. Эрнст Бенда, позже правовед, судья и в конечном счете председатель Конституционного суда ФРГ, вступил тогда в молодежную секцию христианских демократов Восточного Берлина именно потому, что верил в «простые истины», на которых покоилась их доктрина: «Будь честен, не лги, будь справедлив к политическим оппонентам, отстаивай социальную справедливость»²².

Манфред Кляйн, молодой человек, которого вынудили вступить в коммунистическую партию, когда он находился в советском лагере для военнопленных, тоже вернулся в церковь осе-

нию 1945 года. Оказавшись в конце войны в Берлине, он сначала помогал Хонеккеру формировать молодежное коммунистическое движение, но постепенно начал ощущать дискомфорт от этой деятельности. «Будучи всего лишь двадцатилетними, мы ощутили полную беспомощность, столкнувшись с закрытостью системы и ее законченной и неоспоримой логикой, — писал он в мемуарах. — Воспитанный в католической вере и с юности занимающийся церковной работой, я многого не понимал и не принимал». В конце концов он присоединился к молодежной секции Христианско-демократической партии. Поначалу это привело в ярость его бывших товарищей-коммунистов, но потом они осознали, что и в новом качестве он может быть полезен. «Ты сообразительнее, чем я предполагал», — сказал ему Хонеккер с широкой улыбкой. Советские товарищи тоже одобрили его решение: они надеялись, что теперь у них появится собственный агент в христианско-демократических кругах²³.

К декабрю 1945 года молодые коммунисты осознали, что им нужно сменить тактику. Им не удавалось привлекать молодых людей в тех же количествах, как другие партии, и они решили изменить правила игры. Хонеккер поручил Бялеку негласно приступить к подготовке «спонтанной» народной инициативы по созданию в Германии «единого» молодежного движения. Призыв к объединению всех молодежных организаций страны под одной крышей впервые должен был прозвучать в Саксонии; предполагалось, что он инициирует волну петиций, встреч, выступлений. Молодым лидерам предстояло также подготовить обращения к советским властям, призывая их поддержать объединенное и неполитическое движение немецкой молодежи. Как только военная администрация согласится с этим планом, полагали они, у «буржуазных» молодежных групп не останется иного выбора, как шагнуть в ногу: вся молодежь вольется в единую структуру, и относительная слабость молодых коммунистов будет не столь заметна²⁴.

Идея была обречена на провал, поскольку коммунистическая партия в принципе не могла выиграть битву за молодежь. Поэтому ее лидеры решили устранить саму конкуренцию. Этот

немецкий план — идею, по-видимому, выдвинул Хонеккер — быстро получил признание у советских руководителей. В январе 1946 года Вильгельм Пик, бывший в то время председателем ЦК партии, прокомментировал в своих записях дискуссию, состоявшуюся в штаб-квартире советской военной администрации в Берлине: «Создание единой антифашистской молодежной организации согласовано, но решать надо в Москве». Ульбрихт поднял этот вопрос в ходе очередного визита в СССР, и в начале февраля московское разрешение было получено. Так родился Союз свободной немецкой молодежи (*Freie Deutsche Jugend* „FDJ“).

«Спонтанный» призыв Бялека к единству застал прочих молодежных лидеров врасплох. На встрече, посвященной обсуждению этой проблемы, Хонеккер утверждал, что за создание единой организации немецкой молодежи выступают «многие» группы. Когда представители христианских демократов и социал-демократов заявили, что не слышали о подобных устремлениях, им продемонстрировали несколько коробов, содержащих сотни писем поддержки. «Сюрприз имел успех, на какой мы даже не рассчитывали», — вспоминал Кляйн. Спешно был созван объединительный съезд, в котором согласились участвовать христианские демократы, социал-демократы и коммунисты. Чуть позже к ним присоединились, хотя и не без колебаний, католические и лютеранские молодежные лидеры. Кляйн обсуждал предстоящий съезд с Якобом Кайзером, лидером берлинских христианских демократов, который разрешил ему участвовать, но посоветовал быть осмотрительным: «Никто не знает, как долго все это продлится»²⁵.

Первая общая встреча состоялась в Бранденбурге в апреле 1946 года, и ее начало вселяло оптимизм. Ее открыли под торжественное пение «Баллады о свободной молодежи». Затем единогласно был избран президиум, в который вошли Кляйн, Хонеккер и Бялек. Прозвучало несколько приветственных речей. Полковник Сергей Тюльпанов, отвечавший за культурную политику оккупационных войск, сообщил молодым людям, что «гитлеровская идеология оставила глубокий след в сознании немецкой молодежи», и по-отечески похвалил присутствовав-

ших за то, что они изжили это наследие: «Мы знаем, как тяжело вы работали, чтобы очиститься»²⁶. За приветственными речами последовали тематические выступления: о достижениях молодежи, о важности вовлечения в молодежную работу девушек, о необходимости национализировать промышленность, о предательстве Запада. Многие ораторы называли собравшихся товарищами. Свое слово сказали и представители католической молодежи. Да, мы желаем объединиться, говорил один из них, «объединиться в нашей любви к Германии»²⁷.

Хотя в зале настроение было вполне примиренческим, в коридорах царил менее дружелюбная атмосфера, а на третий день и вовсе разразился скандал. В то утро радикальные коммунисты провели сепаратную встречу, в ходе которой один из них выразил недовольство лидерами церковной молодежи. Он считал, что их нужно изгнать со съезда. Бялек предложил ему не горячиться, поскольку религиозную молодежь необходимо держать под контролем: «Мы будем наносить церкви по десятку ударов в день, пока она не упадет. А когда церковники снова нам понадобятся, мы приласкаем их немножко, чтобы их раны зажили»²⁸.

К несчастью, один из молодых католиков услышал эту маленькую речь, записал весь диалог и рассказал об этом своим единомышленникам. Кляйн и несколько католических лидеров объявили о своем отказе присоединиться к новой организации. В возникшую перепалку вынужден был вмешаться советский офицер. Майор Бейлин пообещал католикам, что если они останутся, то им предоставят некоторую автономию в рамках организации: в 1946 году советские оккупанты еще беспокоились хотя бы о внешнем подобии демократии и плюрализма на подконтрольной им территории.

Это желание, впрочем, оказалось недолговечным. Под занавес встречи был избран центральный совет новой организации, среди шестидесяти двух членов которого на долю коммунистов и социалистов приходилось более пятидесяти мест. Кроме того, коммунисты присвоили себе наиболее важные функции. Хонеккер, фанатичный коммунист, стал председателем Союза

свободной немецкой молодежи. Он оставался на этом посту до последнего, оставив должность только в 1955 году, когда ему было уже сорок три года. Вскоре была открыта школа для подготовки кадров нового объединения. В ее деятельности, вспоминал Кляйн, «очень быстро проявились реальные намерения Хонеккера и его товарищей. ...Юношей и девушек обучали в духе марксизма, ленинизма и сталинизма, снабжая их четкими директивами касательно того, что им предстоит сделать для победы социализма на предприятиях и в учреждениях, а также в стране в целом»²⁹.

Намерения советских товарищей также постепенно прояснялись. В августе 1946 года правительство Саксонии выразило обеспокоенность тем, что здешние церкви решили организовать собственные молодежные лагеря. На помощь властям пришли советские войска. Солдаты отправились в лес и, как было сказано в отчете того времени, «привели детей домой»³⁰. В октябре того же года во время крупного мероприятия, проводимого молодыми христианскими демократами в Западном Берлине, внезапно отключили электричество. Все присутствующие знали, что электроэнергия, снабжающая город, подается с электростанции, расположенной в советском секторе. В знак протеста встречу продолжили при свечах³¹.

Некоторые группы просто разгонялись. Весной 1946 года советским властям стало известно, что в Саксонии активно действует незарегистрированная евангелическая группа «Устремление к Христу», *Entscheiden für Christus*, проводящая библейские дискуссии и молитвенные собрания. «Это доказывает, что контроль над деятельностью немецких организаций все еще слаб», — заявили саксонские власти и немедленно запретили организацию³². Такая же судьба постигла и другую группу, учредившую «независимую» ячейку Союза свободной немецкой молодежи в Лейпциге. Хотя ее лидеры утверждали, что члены их объединения более подготовлены в интеллектуальном плане, чем составлявшие большинство в Союзе свободной немецкой молодежи «рабочие массы», и потому нуждаются в отдельной организации, их никто не стал слушать³³. В одном из советских докладов высказывалось возмуще-

ние тем, что многие религиозные группы в своей деятельности выходят далеко за рамки религии, ведя «культурно-политическую работу с молодежью». (Религиозные группы, разумеется, занимались подобной работой всегда.)

Зимой 1946 года советские власти уведомили новые немецкие ведомства, призванные проводить советскую политику в области культуры, что любые творческие коллективы, будь то детские, юношеские или взрослые, будут действовать незаконно до тех пор, пока не присоединятся к «массовым организациям», подобным Союзу свободной немецкой молодежи, официальным профсоюзам или официальному культурному объединению *Kulturbund*. «Иначе их невозможно будет контролировать», — заявляла оккупационная администрация. Немецкая женщина-инспектор, направленная для проверки положения дел с «ассоциациями», обнаружила множество групп, не влившихся в массовые организации. Ее, в частности, ужаснуло огромное число независимых шахматных клубов. В итоге она призвала советские и немецкие культурные власти распустить все клубы, занимавшиеся шахматами, спортом, пением и так далее. Эту задачу удалось решить лишь в 1948–1949 годах. Запрещались и другие неполитические организации. Так, роспуску подверглись туристические клубы; вероятно, это произошло из-за того, что гитлеровские молодежные организации в свое время питали особую склонность к туристическим походам. (Впрочем, среди членов основанного еще в XIX веке объединения любителей природы и туризма *Wandervogel* можно было найти сторонников и левых, и нацистских взглядов.)³⁴

Кляйн между тем продолжал работать внутри системы. Хотя его весьма огорчала роль «показательного христианина» внутри Союза свободной немецкой молодежи, он потратил немало времени, стараясь объединить других «показательных христиан» в консолидированно голосующий блок. Он добивался того, чтобы Союз свободной немецкой молодежи оставался открытым для молодых людей самых различных взглядов, но не преуспел в этом. Ровно через год после основания нового объединения непродолжительное советско-немецкое экспериментирование с

беспартийной молодежной политикой подошло к концу. 13 марта 1947 года НКВД арестовал Кляйна, а также еще пятнадцать лидеров молодых христианских демократов. Советский военный трибунал отправил его в советский трудовой лагерь, где он провел девять лет.

19 июня 1946 года газета Венгерской коммунистической партии *Szabad Nép* сообщила шокирующую новость: на площади Октогон в самом центре Будапешта убит советский офицер. В ходе завязавшейся там перестрелки погиб также советский солдат и «венгерская девушка-работница». По информации газеты, убийца, юноша по имени Иштван Пензес, был членом Общевенгерской католической организации аграрной молодежи (*Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete „Kalot”*) и, таким образом, «врагом нашего экономического возрождения и свободы». Следователи, обнаружившие его обуглившееся тело на чердаке, выходившем на площадь, пришли к выводу о том, что он стал участником обширного заговора. «Предатели, которые лишились своих земель, и паразиты, терзавшие венгерских трудящихся, накануне мирных переговоров и денежной реформы готовы пойти на все, чтобы помешать нашему народу перейти к нормальной жизни», — заключала газета³⁵.

Окончательная версия событий, названных «бойней на площади Октогон», оформилась довольно быстро. Уже на следующее утро *Szabad Nép* поместила на первой полосе статью, озаглавленную «Молодежь и демократия»: «Пришло время выбить оружие из рук дезориентированных и запутавшихся молодых венгров. ...После вчерашней трагедии мы должны твердо заявить правому крылу нашей демократии: борьба против фашистов — это общенародная битва и общенациональный долг»³⁶. Похороны советских военнослужащих, состоявшиеся на следующий день, также широко освещались в прессе. В траурной церемонии, как сообщала *Szabad Nép*, участвовали «сотни тысяч человек». Скорбящие, руководимые венгерскими и советскими чиновниками, несли плакаты с лозунгами «Смерть пре-

дателям!» и «Уничтожить фашистских убийц!». Автор передовицы вновь призывал к большей жесткости в отношении сбившейся с пути молодежи: «Надо пресечь любую реакционную критику. ...Больше нельзя позволять определенным церковным кругам учить нашу молодежь, как совершить убийство»³⁷.

С прощальной речью на похоронах выступил и генерал Владимир Свиридов, незадолго до описываемых событий возглавивший Союзную контрольную комиссию в Венгрии. «Хотя Красная армия предоставила венгерскому народу возможность наладить новую жизнь в соответствии с демократическими принципами, — заявил он, — реакционные силы, подобно диким псам, атакуют величайшего защитника венгерского народа, Красную армию». Свиридов сурово обрушился на венгерских политиков: «Здесь, в вашей стране, которую вы называете другом Советского Союза, фашистские преступники устраивают засады на советских людей. В Венгрии за всю кровь, пролитую Красной армией, платят предательскими пулями»³⁸.

За кулисами событий, однако, многие понимали, что истинные мотивы убийцы, если это вообще было убийство, далеко не ясны. Ференц Надь, лидер Партии мелких хозяев, занимавший в то время пост премьер-министра, в своих мемуарах утверждает, что Пензес на самом деле был членом социал- демократической, а не католической молодежной ячейки, и на преступление его толкнула ревность: по-видимому, советский офицер увел у него девушку³⁹. Другой политик того времени полагал, что речь шла об «обыкновенном любовном треугольнике», а Пензес, бедный студент, покончил с собой из-за того, что в душевном порыве убил женщину, которую любил. Согласно другим версиям, молодой человек вообще никого не убивал: два советских солдата в ссоре начали стрелять друг в друга, а Пензеса, как свидетеля, застрелили и сожгли венгерские чекисты, пытавшиеся скрыть эту неприятную историю. По единодушному мнению, расследование велось слишком медленно, некомпетентно и политизированно⁴⁰.

В конце концов, суть произошедшей тогда трагедии для нас не слишком важна. Ответственность за убийства на будапештской

площади — они, кстати, произошли сразу после того, как в тюрьму был отправлен отец Киш, священник, обвиненный в подготовке нападений на советских солдат, — была возложена на *Kalot* потому, что этот союз пользовался широкой известностью. Что еще хуже, это католическое объединение опережало по популярности созданный коммунистами Венгерский демократический молодежный союз (*Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség „Madisz”*), с которым молодые католики остро конфликтовали в предшествующие полтора года. *Kalot* был старше на целое десятилетие; основанный в 1935 году двумя энергичными иезуитами, он продолжал функционировать и во время войны, сохраняя свой католический профиль и обеспечивая авторитет на селе благодаря поддержке земельной реформы, крестьянского образования и мягкой формы социализма. Этой организации были чужды городской дух польского филиала YMCA или пылкий настрой первых антифашистских групп в Германии, а некоторых ее лидеров военного времени обвиняли в антисемитизме⁴¹. Тем не менее *Kalot* был реальной общественной структурой, работавшей над улучшением крестьянской жизни и обеспечивавшей такую степень независимости от прежних авторитарных и фашистских режимов, которая позволила ему не рухнуть вместе с ними. Кроме того, организация была массовой: к концу 1944 года в ней состояли полмиллиона членов, числившихся в 4500 местных отделениях.

Madisz был новой структурой, возникшей по инициативе Эрнё Герё, одного из ближайших сподвижников Матьяша Ракоши. Намерения Герё напоминали устремления Хонеккера в Германии: ему хотелось создать организацию, которая объединила бы «рабочих, крестьян и студентов» под «общим и неполитическим» знаменем. Он также намеревался помешать другим политическим партиям в формировании своих молодежных филиалов⁴². Этот план провалился почти сразу. Уже на одной из первых организационных встреч в Будапеште в январе 1945 года звучали сетования на то, что «многие воспринимают *Madisz* как структуру коммунистической партии. Лидер новорожденного объединения призывал своих товарищей бороться с этим пред-

ставлением: «Мы должны сказать людям, что в настоящий момент ведем себя как коммунисты только из-за того, что к нам пока не присоединилась некоммунистическая общественность. Нам надо активнее вовлекать людей из церковных организаций, отрядов скаутов и социал-демократических групп». А молодежь обязательно придет — ей только нужно дать прочувствовать всю остроту стоящего перед ней выбора: «Те, кто не с нами, те против нас... а кто против нас, те — фашисты»⁴³.

Другой молодежный лидер, Андраш Хегедюш, предлагал использовать и более мягкие средства. «Массы нуждаются в культуре, и мы должны воспользоваться этим, — говорил он. — Перед нами открываются блестящие возможности, ибо сейчас кинотеатров в стране нет, а предложить массам что-то иное никто не может. Потом использовать этот ресурс будет сложно». Хегедюш, который в 1956 году на короткое время возглавил венгерское правительство, интересовался культурой не ради самой культуры, а чтобы с ее помощью «вовлечь людей в движение, поскольку расчистка руин и уборка мусора не могут решить эту задачу — это не самое приятное дело»⁴⁴.

На заре своей деятельности *Madisz* пользовался определенным успехом, особенно в Будапеште. Это было обусловлено хорошими связями новой организации с Красной армией, благодаря которым ее члены получали доступ к продуктовым карточкам и новым удостоверениям личности, не позволявшим их депортировать. Но попытки группы организовывать массовые митинги почти всегда терпели неудачу. После того как на одно январское шествие пришли лишь сорок человек, руководство поставило вопрос о «плохой пропагандистской работе»⁴⁵. А через полгода, несмотря на то что привлечение молодежи на митинги по-прежнему давалось с трудом, руководители *Madisz*, как и Ракоши, переживали, не слишком ли много евреев в их организации. По мнению некоторых лидеров, движение допустило ошибку, позволив сионистам маршировать в его колоннах на недавних первомайских парадах: это создавало невыгодное впечатление⁴⁶.

За пределами Будапешта *Madisz* утверждал свое лидерство с еще большим трудом. Среди сельской молодежи несомненным

лидером оставалась *Kalot*, причем до такой степени, что молодые коммунисты даже предлагали конкурентам сделку: *Madisz* принял бы на себя культурную и спортивную работу, которую курировала *Kalot*, а сама *Kalot* опекала бы церковную и религиозную деятельность. Не удивительно, что лидеры молодых католиков отклонили это предложение.

Ввиду отказа католической молодежи влиться в ряды коммунистического молодежного союза, действовавшие легально венгерские политические партии, прежде всего социал-демократы и мелкие хозяева, начали организовывать собственные молодежные группы. Студенты и старшеклассники также учредили свою организацию — Лигу венгерских ассоциаций университетов и колледжей (*Magyar Egyetemisták és Fiskolai Egyesületek Szövetsége* „*Mefesz*”). Когда стало ясно, что эти альтернативные группы стремительно набирают авторитет, а пропаганда и увещевания не могут заставить их объединиться под эгидой *Madisz*, тактика коммунистов стала более агрессивной. С их стороны все чаще звучали угрозы в адрес оппонентов. Так, в июне 1945 года руководство *Madisz* направило письмо лидерам молодежной группы Партии мелких хозяев, потребовав, чтобы, учреждая новые культурные организации, они обращались за разрешением властей. «Просим вас впредь уважать существующие правила, — говорилось в послании. — В противном случае мы обратимся к более радикальным методам». (Письмо заканчивалось словами «с демократическим уважением»)⁴⁷.

По всей стране активисты *Madisz*, зачастую опираясь на поддержку местных коммунистов и полиции, занимались конфискацией собственности *Kalot* и мешали проведению мероприятий этой организации. Католическая церковь зарегистрировала двадцать семь эпизодов, в которых местные руководители пытались закрыть отделения этой католической ассоциации, а также десятки случаев преследований ее членов. *Kalot* реагировала на эти угрозы распространением среди своих активистов директивы, предписывавшей не усердствовать в привлечении новых членов или давлении на тех, кто уже состоял в организации: «Тем членам ассоциации, которые желают покинуть ее, нужно разре-

шать делать это, причем без каких-либо комментариев. Тех, кто желает присоединиться к нам, надо приветствовать, воздерживаясь при этом от замечаний относительно трудностей других организаций в деле привлечения новых последователей»⁴⁸.

Противоречия, однако, продолжали обостряться. В августе 1945 года лидеры *Madisz* уже обсуждали план «ликвидации» *Kalot*. В серии статей, появившихся в газете, которую издавал *Madisz*, ставилась под сомнение деятельность *Kalot* в годы войны: авторы пытались доказать связь молодых христиан с полувоенными молодежными формированиями *levente*. Эти отряды, не отличавшиеся приверженностью какой-либо идеологии, были созданы в Венгрии в конце войны для противодействия наступающей Красной армии, а их лидер только что был приговорен к смерти. Ответом на подобные обвинения стала брошюра, изданная *Kalot*: в ней говорилось, что католическая церковь выступала против этих отрядов. Весь ее тираж, однако, был конфискован спецслужбами на том основании, что это «антисоветская пропаганда»⁴⁹.

Опасаясь за безопасность своих членов, некоторые руководители *Kalot* пытались примириться с новой властью. В январе 1946 года отец Керкай, один из соучредителей организации, попросил советского чиновника организовать для лидеров *Kalot* посещение СССР, чтобы они могли «познакомиться» с советской системой. А через три месяца молодые католики, вопреки возражениям церковной иерархии, согласились присоединиться к недавно созданному Венгерскому национальному молодежному совету. Эта группа, также учрежденная молодыми коммунистами, величала себя как головную организацию, готовую принять всех.

Кардинал Йозеф Миндсенти, только что ставший примасом венгерской церкви и еще не успевший приобрести репутацию антикоммуниста, возражал против намерения католической молодежной ассоциации вступить в новый альянс. «Вы втянете неapolитическое движение в трясину будничной политики», — выговаривал он отцу Керкаю. Иезуит в ответ указывал, что Венгрии надолго придется привыкать к советской власти, а

modus vivendi необходимо искать, так или иначе⁵⁰. Другой лидер *Kalot*, отец Надь, даже отправился в Рим, чтобы заручиться поддержкой Ватикана в споре с Миндсенти по этому поводу⁵¹.

Но после стрельбы на площади Октогон довольно быстро стало ясно, что приемлемый способ сосуществования найти не удастся. 2 июля генерал Свиридов, выступая на заседании Союзной контрольной комиссии, открыто призвал к роспуску «реакционных молодежных организаций» на том основании, что они «воспитывают своих членов в фашистском духе». Конфиденциально он докладывал в Москву об «усилении реакционных кругов», а от венгерского правительства требовал принятия решительных мер в отношении «подпольных фашистских организаций», которые действуют под прикрытием легальных политических партий и молодежных движений.

Не дожидаясь согласия всех членов правительства, возглавлявший министерство внутренних дел коммунист Ласло Райк решил поддержать Свиридова. С 18 по 23 июля он запретил деятельность более чем полутора тысяч организаций. Запрет вышел далеко за пределы молодежных групп. В ходе первой волны репрессий министр закрыл среди прочих Венгерский атлетический клуб, объединявший, по словам газеты *Szabad Nép*, «откровенно антидемократические круги», Ассоциацию студентов колледжей, несколько христианско-демократических профсоюзов, которые «ранее занимались штрейкбрехерством», а также таинственную организацию под названием *Grand Order of Emericana*, проводившую, как предполагалось, мистические церемонии на манер Ку-клукс-клана. Следующая волна накрыла венгерскую Ассоциацию военно-морского флота, несколько местных охотничьих клубов, Ассоциацию ветеранов войны и Христианско-демократическую ассоциацию рабочих табачной промышленности. В число запрещенных попали профессиональные гильдии и объединения, обслуживающие, как было заявлено, «капиталистические интересы», а также «реакционные» общественные организации, католические и протестантские группы, некоммунистические профсоюзы. Многих обвинили в тайном пособничестве «фашистам» или иностранцам.

Под занавес этой кампании Райк запретил все местные секции объединения *Kalot*⁵².

После роспуска некоторые члены *Kalot* пытались реорганизовать свои ячейки под коммунистическим патронажем, но их попытки не увенчались успехом. В 1947 году отец Надь тайно покинул Венгрию и перебрался в Аргентину. В 1949 году венгерской тайной полицией был арестован отец Керкай, которого приговорили к заключению в трудовом лагере. Священника освободили лишь через десять лет; он вышел на свободу больным и наполовину слепым, утратив всякие возможности оказывать «реакционное» влияние на молодежь⁵³. В 1950 году все венгерские молодежные организации были вынуждены объединиться в единую организацию — Лигу рабочей молодежи (*Dolgozó Ifjúság Szövetsége* „ *DISZ*). Тем самым был положен конец не только хаосу аббревиатур, обозначавших молодежные группы, но и плюрализму в их рядах.

Со временем коммунистический натиск на гражданское общество, меняясь, делался более изощренным. Стремясь бросить вызов подлинному гражданскому обществу, новые режимы создавали суррогатные гражданские группы и организации, которые порой казались независимыми, но на деле контролировались государством.

Они также научились разрушать наиболее влиятельные гражданские институты не грубыми запретами, а обманом и махинациями: например, меняя несговорчивых лидеров на слуг режима или поощряя создание коммунистических ячеек внутри больших организаций. В первые десятилетия подобные стратегии применялись в отношении церквей Восточной Европы, а позднее, в 1970—1980-е годы, их использовали в борьбе с диссидентским движением. Впервые, однако, упомянутые приемы были опробованы на самых своенравных молодежных группах: прежде всего на Польском движении скаутов и венгерских народных колледжах.

Скаутское движение пустило в Восточной Европе на редкость глубокие корни, особенно в тех государствах, чьи границы были

изменены после Первой мировой войны. Лидеры этих «новых» государств — Польши, Чехословакии, Венгрии — очень хотели вовлечь молодежь в дело национального обновления и реконструкции. Скаутское движение лорда Баден-Пауэлла с присущими ему заботой о здоровье, значением труда, важностью общественного служения указывало, как тогда представлялось, верный путь к заданной цели. Скаутское движение, как писал один польский энтузиаст в брошюре 1924 года, не только помогало молодым полякам определить смутное понятие «характер», но предлагало конкретные пути его формирования⁵⁴.

Польские скауты ярко, как эмоционально, так и политически, проявили себя в годы войны. Сразу же после сентябрьской агрессии 1939 года лидеры скаутов приняли решение уйти в подполье и присоединиться к Сопротивлению. Созданная скаутами организация «Серые шеренги» (*Szare Szeregi*) поставляла в ряды Армии крайовой посыльных, связных, радистов, санитарок и даже полноценных бойцов. Скауты десяти—двенадцати лет храбро сражались и умирали в дни Варшавского восстания. Юноши и девушки, иногда все еще в изношенной серой униформе, после поражения Армии крайовой появлялись в советских концентрационных лагерях⁵⁵. «Это было особое скаутское движение, мы мужали вместе с Польшей», — писал позже один из них⁵⁶.

С завершением войны подпольные «Серые шеренги», как и остатки Армии крайовой, были распущены. Но воссоздание скаутских отрядов в освобожденных городах восточной Польши, например в Белостоке, началось еще до победы. Едва ли не на следующий день после освобождения Кракова известные довоенные лидеры движения также приступили к реформированию скаутских организаций. Причем Временное правительство в Люблине об этих инициативах не информировалось, поскольку в довоенный период скауты не обязаны были уведомлять власти о своей деятельности. К концу 1946 года в рядах движения состояли 237 749 юношей и девушек. Как свидетельствует один из бывших скаутов, их энтузиазм был высоким: «В первые месяцы независимости скаутское движение развивалось исключи-

тельно бурно. Его лидеры, как и множество рядовых скаутов, появлялись как будто бы ниоткуда. Каждую ночь в бесчисленных дворах горели костры и звучали скаутские песни. Молодых людей переполняли энтузиазм и энергия»⁵⁷. Другой очевидец делится впечатлениями о летнем лагере скаутов, который он посетил в июле 1946 года: «Я навсегда запомню неповторимое очарование и особую атмосферу традиционных вечеров у костра в этом лагере. В спонтанных и живых разговорах, используя самые простые слова, молодые люди рассказывали о том, как они жили в минувшие годы, делились планами на будущее, рассуждали о смысле жизни и дружбы. И когда над остывающими углями наши руки сплетались воедино, лица были серьезными, но при этом светились счастьем...»⁵⁸.

Прежде всего польских скаутов воспитывали в духе аполичности. Единственное, чего они желали в ту пору национального восстановления, — это приносить пользу стране и обществу. Девушка-скаут вспоминает, как ее отряд на неделе работал в сиротском приюте, а по выходным совершал походы на бывшие немецкие территории вокруг Мазурских озер, помогая создавать там школьные библиотеки, составлять реестр исторических памятников и даже работать в комиссии по пересмотру прежней немецкой топонимики⁵⁹. Власти, однако, почти сразу начали проявлять недовольство всей этой деятельностью. В конце 1944 — начале 1945 года польское правительство в Люблине учредило временный Скаутский совет, призванный курировать работу скаутов. Хотя в его состав входили некоторые довоенные лидеры движения, этот орган незамедлительно внес существенные поправки в скаутскую присягу, которая в новой редакции больше не упоминала о «служении Богу», а декларировала служение «демократической Польше». Он также создал главную организацию, Союз польских харце-ров (*Związek Harcerstwa Polskiego* „ZHP”), в ряды которой теоретически должны были влиться все скаутские отряды. Цель заключалась в том, чтобы подчинить спонтанно возникавшие скаутские группы коммунистической администрации. Но это не работало⁶⁰.

К концу 1945 года взаимоотношения чиновников, которые пытались контролировать и направлять движение (они к тому моменту подготовили очередную версию клятвы, предписывавшую скаутам бороться за «лучший мир»), с низовыми скаутскими структурами складывались очень напряженно. Далеко не все региональные организации отчитывались перед варшавским руководством о своей деятельности. Несколько видных лидеров «Серых шеренг» вошли в руководство движением; и хотя они официально подтверждали свою аполитичность, это не избавляло от политических провокаций. Так, в 1945 году в Быдгоще скаутское шествие было обстреляно из окон здания, где располагалась местная тайная полиция. Два скаута погибли, но никто не был привлечен к ответственности за убийство⁶¹. На «молодежной демонстрации» в Щецине в 1946 году словесная перепалка между скаутами и молодыми коммунистами переросла в открытую стычку; по крайней мере две девушки-скаута были жестоко избиты⁶². А после демонстраций 3 мая, в день старой польской конституции, скаутов арестовывали по всей стране.

На протяжении 1947 года польские власти несколько раз собирались упразднить скаутское движение. Их, однако, пугало, что такой запрет подтолкнет тысячи молодых людей к подпольщикам или «лесным братьям»⁶³. Поэтому было решено подождать. В конечном итоге они приняли тактику, ставшую типичной для коммунистов Восточной Европы: движение начали разрушать изнутри. Примерно в то же время венгерские коммунисты пришли к аналогичному решению относительно собственного, столь же проблемного скаутского движения.

Подобно их венгерским и немецким собратьям, польские молодежные группы, занимавшиеся политикой, были в феврале 1948 года объединены в одну организацию, которая в Польше называлась Союзом польской молодежи (*Związek Młodzieży w Polskiej*., *ZMP*). После этого наступил черед скаутов. Министерство образования запустило процесс «реорганизации» национального скаутского движения, объединяя мужские и женские секции, а также смещая старых лидеров и заменяя их более

молодыми — менее опытными, но зато идеологически более гибкими. Новшества внедрялись постепенно. Сначала новая фигура появлялась на самом верху; затем он или она назначали нового заместителя; потом новый заместитель подбирал новых региональных лидеров и так далее. Новое общенациональное руководство скаутов осторожно приступило к изменению характера скаутской деятельности. В добавление к традиционным скаутским развлечениям — пешему туризму, организации кемпингов, обучению навыкам выживания на природе — отряды скаутов стали привлекать к «участию в повседневной жизни страны». Теперь они сажали деревья, помогали прокладывать телефонные кабели, работали в детских садах и яслях. Они должны были превратиться, по замыслу одного из высокопоставленных бюрократов, в молодежную версию «Польской службы» (*Służba Polska*) — совокупности неквалифицированных рабочих бригад, которые постоянно перемещались с одной строительной площадки на другую. Некоторых скаутов даже отправляли на фабрики или в мастерские приобретать рабочие профессии⁶⁴.

Одновременно польские скауты перестали быть организацией, объединяющей разные поколения. Если в прошлом в скаутских отрядах состояли юноши и девушки с подросткового возраста до двадцати пяти — двадцати семи лет, то ныне скаутов от шестнадцати лет и старше записывали в Союз польской молодежи. В организационном и финансовом отношении скауты постепенно утратили всякую самостоятельность, превратившись в подразделение Союза польской молодежи. В новом качестве их главной задачей оказывалось политическое просвещение детей. На практике они стали похожими на советских пионеров; в частности, их униформа тоже предполагала белые рубашки и красные галстуки⁶⁵. В 1950 году скаутская присяга снова была отредактирована. В новой версии скауты присягали на верность народной Польше и обещали бороться «за мир и свободу народов».

Многие скауты понимали, что с ними происходит неладное. Как вспоминала позднее одна из активисток, «с каждым меся-

цем в нашем движении появлялось все больше чужих людей. Так, среди них оказался некто Косинский, якобы скаутский руководитель со стажем. Но он был таким же лидером скаутов, как я — балериной. Этот жуткий человек служил в [тайной] полиции»⁶⁶. Некоторые скауты покидали «обновляемое» движение, переключаясь на иную деятельность. А те, кто был слишком молод, чтобы помнить настоящую скаутскую работу, полагали, что все идет, как надо, — как и их родители, желавшие, чтобы их дети жили по правилам и не попадали в неприятности.

Тем же, кто желал какой-то альтернативы, приходилось платить высокую цену⁶⁷. Несколько скаутских отрядов ушли в подполье, обзавелись оружием, которое тогда еще имелось в избытке, и начали учиться воевать. В 1947 году тайная полиция выследила одну из таких групп в Кротошине. Ее лидер, восемнадцатилетний юноша, покончил с собой в момент ареста; другие члены, некоторые моложе пятнадцати лет, были арестованы и осуждены. Еще одна группа бывших скаутов в том же году была «ликвидирована» в Радзымине. На этот раз польские чекисты в качестве предостережения отправили министру образования членские билеты Союза польских харцеров, принадлежавшие задержанным: вот, мол, что происходит, когда за молодыми людьми плохо присматривают⁶⁸. Но суровые кары грозили и тем недовольным, кто вообще не брал в руки оружие. В 1950 году семнадцатилетняя полька из Люблина предложила членам своей прежней скаутской группы встретиться в неформальной обстановке, чтобы поговорить на темы, которые не обсуждались в школе. Через год она и семь ее подруг были арестованы и осуждены на срок от трех до пяти лет: чтобы освободить пространство для эрзац-скаутов, все похожее на настоящую скаутскую организацию решительно искоренялось⁶⁹.

По-видимому, движение венгерских народных колледжей оказалось для венгерских коммунистов еще большим вызовом, нежели движение скаутов для их польских единомышленников. Если скауты ассоциировались с довоенным патриотизмом и «реакционным» (то есть центристским) сегментом политического спектра, то народные колледжи были откровенно

популистским и левым проектом. Первые народные колледжи появились в Венгрии еще до войны; их учреждала группа романтически настроенных и новаторски мыслящих поэтов и писателей. Предназначенные для обучения крестьянских детей, новые образовательные заведения должны были совмещать функции школы, клуба и городского общежития для студентов из села. Это были не просто школы, а скорее общины в духе кибуцев, основанные на коллективистских ценностях, демократическом принятии коллективных решений, народных танцах и песнях. И хотя в их деятельности присутствовал ощутимый социалистический уклон, а некоторые их лидеры в годы войны присоединились к коммунистической партии, народные колледжи нельзя было считать советским или партийным начинанием.

После установление мира основатели колледжа имени Дьёрфи, первого народного колледжа, возобновившего деятельность в июне 1945 года, решили, что они могут продолжать работать в том же духе, что и прежде. С декабря 1944 года некоторые студенты и преподаватели из довоенного состава начали регулярно встречаться в старой немецкой школе, расположенной в освобожденной части Будапешта. На этих встречах обсуждался новый учебный план возрождаемого колледжа. Временное правительство поддержало этот энтузиазм, и вскоре колледжу было выделено новое здание, расположенное посередине фруктового сада, а также пансионат на озере Балатон. Но руководство учебного заведения очень хотело сохранить независимость. На торжественной церемонии открытия учебного корпуса довоенный директор Лайош Хорват призвал собравшихся, среди которых было много коммунистов, «бороться за автономию колледжа и защищать ее от партии и государства». В последующие месяцы этот человек вместе с единомышленниками основал Национальную ассоциацию народных колледжей (*Nékosz*), которая постепенно открыла десятки подобных заведений по всей стране⁷⁰.

Фактически автономия *Nékosz* была обречена с самого начала, поскольку ни один из колледжей этой системы не имел возможностей для самофинансирования. Все учебные здания — бывшие

замки, казармы, виллы — были переданы им правительством, а их студенты жили на государственные стипендии⁷¹. Государственное влияние пришло вместе с государственными деньгами. Но цели коммунистического руководства заметно отличались от устремлений руководителей народных колледжей. На первый порох конфликт оставался неявным, а руководящие коммунисты публично поддерживали новую образовательную инициативу. И министр внутренних дел Ласло Райк, и министр культуры Реваи регулярно выступали в колледжах с лекциями, а Райк помог открыть в Будапеште колледж имени Петефи. Первое поколение студентов испытывало восторг от самого пребывания в народном колледже. Миклош Янчо, выпускник, позже ставший знаменитым кинорежиссером, отобразил энтузиазм и страстность того времени в фильме 1968 года «Светлые ветры»⁷², название которого пришло из гимна *Nékosz*: «Пусть же на светлых ветрах заплещет наш стяг! “Слава, слава свободе!” — он таким словами украшен. Дуйте же, светлые ветры, стремительней дуйте! Завтра придет, и тогда мы изменим весь мир!».

Через много лет на встрече со студентами университета Янчо спросили, почему в сценарии так много музыки, а в первой части фильма больше песен, чем диалогов. Он ответил, что это чистый реализм: «В то время, после войны, молодежь очень любила петь прямо на улицах». По словам другого бывшего выпускника народного колледжа, «мы, дети крестьян, пели целыми днями напролет»⁷³.

Этот подъем проистекал из ощущения новых возможностей, открывавшихся перед первыми студентами, которые впервые приобщались к образованию. Некоторые из них вообще стали первыми представителями своих семей, научившимися писать и читать. В марте 1948 года в ста пятидесяти восьми народных колледжах числились 8298 учащихся; 35–40 процентов из этого числа составляли дети крестьян, а 18–25 процентов были детьми рабочих. Преобладали мужчины, хотя и некоторые выпускницы позже добились больших высот — среди них, в частности, было несколько актрис. В учебных программах ощущался левый уклон, хотя откровенного марксизма было немного. В первый

год работы колледж имени Дьёрфи предлагал семинары по европейским революциям 1848 года и истории музыки, уроки английского, французского, немецкого и русского языков, а также спецкурсы по «венгерскому реализму» и истории венгерской промышленности. Студентов обеспечивали бесплатными театральными билетами, поощряя посещение театров; им выдавался список книг, которые нужно было читать в свободное время⁷⁴. Академия Васвари, тоже входившая в систему народных колледжей, поддерживала полугодичную стажировку своих студентов за границей⁷⁵.

Если бы они были предоставлены сами себе, то народные колледжи со временем смогли бы подготовить новое поколение прогрессивной интеллигенции. Но Венгерская коммунистическая партия ориентировалась на более узкие цели. Коммунисты полагали, что с помощью колледжей можно решить две неотложные проблемы: повысить популярность партии в сельской местности и преумножить численность ее членов среди крестьян. В феврале 1945 года Герё направил Ракоши записку, в которой указывал, что Венгрия ощущает «нехватку кадров, особенно руководящих кадров». Более того, в качестве серьезной проблемы отмечалось, что «многие руководящие работники имеют еврейское происхождение». Хотя, как уже говорилось, и Герё, и Ракоши сами были выходцами из еврейских семей, они опасались, что венгерские крестьяне не поддержат коммунистическую партию, если она будет «слишком еврейской». Народные колледжи, как им представлялось, предлагали оптимальное решение: они могли бы готовить из крестьян «народных» коммунистов («народное» здесь приравнялось к «нееврейскому»), пополняя компартию венграми⁷⁶.

Трансформация колледжей началась с обновления руководящего состава, в рядах которого изначально присутствовало небольшое число коммунистов. Теперь они взяли все дело под свой контроль. Андраш Хегедюш, обучавшийся в то время в системе колледжей и одновременно являвшийся основателем прокоммунистического молодежного движения *Madisz*, через много лет признавался в интервью, что коммунистическая ячей-

ка в колледже имени Дьёрфи была «весьма воинственной» и в определенной мере «терроризировала остальных». Другой студент, также член партии, соглашался с тем, что «маленькая, но сплоченная группа всегда сумеет навязать свою волю большой, но разобщенной группе»⁷⁷. В каждом колледже коммунисты понемногу захватывали контроль над демократическими механизмами самоуправления. Располагая влиянием, они привносили в студенческую жизнь все больше политики. Так, они мобилизовали студентов на защиту земельной реформы и кооперативного хозяйствования, а также на участие в массовых коммунистических демонстрациях, предшествовавших парламентским выборам 1945 и 1947 годов. Они влияли и на образовательную политику, все теснее связывая содержание учебных курсов с партийной линией. В анкету, предлагаемую абитуриентам колледжа имени Дьёрфи в 1946 году, включались следующие политически мотивированные вопросы: «Согласны ли вы с тем, что в вашей деревне верующие лучше, чем те, кто не ходит в церковь? Можете ли вы описать реакционного священника? Религиозна ли молодежь в вашем селе?»⁷⁸. Постепенно главными студенческими занятиями стали заседания, посвященные критике и самокритике. В это же время руководитель того же колледжа Ласло Кардош, известный своей приверженностью коммунистическим клише — он, например, любил рассуждать о «дружественных связях с демократической молодежью мира», — начал играть все более заметную роль в прежде свободном, почти анархическом, не признававшем иерархических принципов институте⁷⁹. Бывшие студенты с особой горечью вспоминали возрастающие, злобные нападки в прессе: студентов обвиняли в недостаточной лояльности, непрофессионализме и, как ни парадоксально, антисемитизме. Студенческие «товарищеские суды» начали исключать тех, кто не соответствовал стандартам политкорректности. Учащихся призывали быть бдительными к идеологическим ошибкам, как собственным, так и чужим, и искоренять признаки «крестьянского романтизма», который теперь считался столь же дурным качеством, как и «мелкобуржуазный декаданс». Преподаватель одного из колледжей вспо-

минал: «Мы были потрясены, мы даже не знали, за что на нас нападают, не понимали, что происходит. Из-за этого непонимания мы всеми силами пытались, в порядке своеобразной мазохистской самозащиты, копаться в себе, выясняя, что же мы делаем неправильно»⁸⁰. Одно из таких испытаний показано в драматическом финале фильма «Светлые ветры».

Идеалисты отступали с боями, и внутри большого союза *Nékosz* продолжались ожесточенные стычки за власть и влияние. Но в 1949 году режим потерял терпение. Колледжи подверглись внезапной национализации; это было сделано на том основании, что им нужно стать более «профессиональными». Их включили в систему государственных университетов, здания передали другим учреждениям, рекомендательные списки для внеклассного чтения и походы в театр были забыты, а органы студенческого самоуправления, и без того не работавшие, были распущены. Это решение оправдывалось ссылками на марксистскую теорию. «Я познавал социализм по известным классическим книгам, — говорил Ракоши. — Я много читал о массовых организациях, молодежных ассоциациях, женских группах, профессиональных союзах. ...В этих книгах не было ни единого слова о народных колледжах. И я не думаю, что они нам нужны»⁸¹.

Другими словами, народные колледжи были институцией, о которой Маркс, Ленин и Сталин ничего не знали, а в Советском Союзе не существовало ничего подобного. Поэтому их уничтожили, вместе с многими другими институтами и группами, о которых классики марксизма никогда не упоминали. Судьба польских скаутов, венгерских народных колледжей, немецких христианско-демократических молодежных групп, многих других институтов и инициатив оказалась похожей. Взрослевшие тоталитарные государства не желали терпеть какой-либо конкуренции даже в отношении пристрастий, талантов, свободного времени своих граждан.

Глава 8

Радио

Как-то раз зимой я опрометчиво внес в текст радиопередачи следующие слова: «Из России на нас идет холодный атмосферный фронт». Диктор прочитал это в эфире, а утром меня по телефону вызвали к директору. «Я считал тебя умнее, — сказал он мне. — Запомни раз и навсегда, что с востока к нам может идти только тепло и добро». В то время это вовсе не показалось мне смешным...

Анджей Залевский, бывший сотрудник Польского радио¹

Hier spricht Berlin. «Говорит Берлин». С этими словами, прозвучавшими 13 мая 1945 года, вернулось к жизни берлинское радио. Оно молчало на протяжении почти двух недель, с того момента, когда адмирал Дениц 1 мая объявил горожанам о смерти Адольфа Гитлера. Теперь Германия капитулировала, а советская военная администрация заняла радиостанцию, находившуюся в западной части города. Ее здание, строившееся специально для подготовки и ведения радиотрансляций и имевшее одну из самых передовых звукозаписывающих студий в Европе, уцелело от разрушения благодаря тому, что находилось в стороне от городского центра, а также, что еще важнее, из-за того, что Красная армия взяла его под защиту. Весь Берлин лежал в руинах, но большая часть оборудования *Grossdeutscher Rundfunk* оставалась в сохранности, а многие сотрудники радиостанции были целы и невредимы². В этом смысле берлинское радио выгодно отличалось от прочих учреждений немецкой столицы.

Та первая радиопередача длилась всего час. Она началась с исполнения гимнов четырех стран-победительниц, за которыми последовало обращение маршала Сталина. Затем слушателей проинформировали об условиях безоговорочной капитуляции, а также познакомили с заявлениями Черчилля, Рузвельта и опять Сталина. Потом прозвучал новостной выпуск, включавший ин-

формацию об аресте Гимmlера и планируемых судах над военными преступниками; новости перемежались советскими военными маршами. В заключительной части радиопередачи рассказывалось о праздновании победы в Москве: «Миллионы москвичей, затаив дыхание, обступили громкоговорители. Пока звучали первые позывные, на Красной площади, у Кремля, перед мавзолеем Ленина новостей ожидали толпы горожан. Когда люди услышали, что гитлеровская Германия безоговорочно капитулировала, началось повсеместное ликование. ...Счастливый, мелодичный голос прокричал: «Троекратное “ура” великому Сталину!». И этот возглас прокатился по всей площади»³.

Радио играло огромную роль в жизни москвичей, слушавших его в своих темных квартирах. Красная армия вполне справедливо рассудила, что и для немцев, квартиры которых были столь же темны, оно тоже будет очень важным средством коммуникации. Утвердившись в городе, советские военные власти затратили немало средств и усилий на подготовку новой берлинской радиостанции к вещанию. В дни, следовавшие за первой радиопередачей, новое берлинское радио расширяло программу поразительными темпами. 18 мая оркестр Немецкой оперы в одной из больших записывающих студий исполнял Бетховена (представляя немецкую музыку) и Чайковского (представляя русскую музыку). Через два дня в эфире вновь звучали Бетховен и Чайковский, а также Штраус и Бородин⁴. 23 мая радио транслировало свою первую детскую программу⁵. Кроме того, слушателям регулярно предлагались выпуски новостей.

За всей этой деятельностью надзирала группа советских офицеров, которые управляли новой радиостанцией и одновременно выступали ее первыми цензорами. Под их контролем работали немцы, среди которых были по меньшей мере три члена «группы Ульбрихта»: Ганс Мале, коммунист с большим стажем, позже возглавивший телевидение Восточной Германии; Маттеус Кляйн, офицер вермахта, подвергшийся «перековке» в советском лагере для военнопленных; и молодой Вольфганг Леонард, которому тогда исполнилось двадцать четыре года. Вскоре к ним присоединился двадцатидвухлетний Маркус Вольф, товарищ

Леонарда по школе Коминтерна и будущий руководитель разведки ГДР.

Подобно тайной полиции Восточной Европы, «новая» служба Немецкого радио имела предысторию еще до 1945 года. Хотя русские не ждали, что им сразу же достанется такое замечательное оборудование, они определенно думали о том, чтобы заранее подготовить персонал нового радио. Кляйн и Мале на протяжении нескольких лет работали в тандеме с пропагандистами Красной армии, из рядов которых позже набирались «ответственные» за культурную политику Восточной Германии. Уже в 1941 году говорящие по-немецки советские офицеры и немецкие коммунисты совместно составляли листовки, которые позже с самолетов разбрасывались над немецкими позициями. Кроме того, в ноябре того же года они начали публикацию газет, предназначенных для немецких военнопленных.

После Сталинградской битвы, в июле 1943 года, немецкие коммунисты в Москве основали Национальный комитет «Свободная Германия». К ним присоединились несколько немецких военнопленных, перешедших на сторону Советов. Объединив усилия, две группы издавали газету — редактируемую Рудольфом Херрнштадтом, позднее видным журналистом ГДР, — которую распространяли на немецких территориях, завоеванных Красной армией, а также в лагерях для военнопленных. Помимо этого они организовали радиовещание. В разное время различные немецкоязычные радиостанции, работавшие в Москве, транслировали новости и адресованные немецким войскам призывы сложить оружие и свергнуть Гитлера. Мале поработал на нескольких таких станциях, включая те, которые, транслируя в эфир дезинформацию, выдавали себя за нацистское радио⁶. Вольф стал диктором и комментатором; благодаря этой работе он наладил тесный контакт с Вальтером Ульбрихтом. Его жена Эмми, некогда вынудившая Леонарда выступить с унижительной публичной исповедью, выезжала на места боев, с мегафоном убеждая немецких солдат сложить оружие⁷.

Хотя Национальный комитет являлся советской организацией, лидеры старались не афишировать его коммунистическую

суть, особенно в 1943-м и в первой половине 1944 года, когда они еще надеялись на путч, который уничтожит Гитлера. Как уже отмечалось, члены комитета приняли трехцветное знамя императорской Германии, предпочтя его цвета цветам флагов Веймарской республики или СССР. Наряду с комитетом отдельно был учрежден самостоятельный «Союз германских офицеров», предназначавшийся для налаживания контактов с теми бывшими военнослужащими вермахта, щепетильность которых не позволяла им взаимодействовать с немецкими коммунистами напрямую⁸.

Весной 1945 года те же подходы проявились и в обустройстве нового берлинского радио. Постоянно встречаясь с военнопленными, Кляйн и Мале знали, что слишком радикальные или явно просоветские идеи большинством немцев будут отторгаться. Они целенаправленно поддерживали многие особенности, традиционно отличавшие немецкое радиовещание, включая его тяжеловесный стиль и перегруженность серьезной культурой и классической музыкой. Они оставили на своих местах технический и режиссерский персонал, трудившийся при нацистах, и даже многих дикторов, избавившись лишь от тех, кто слишком увлекался нацистской пропагандой. Как писал Вольф в письме родителям в июне 1945 года, «здесь шесть “наших” и один офицер, а также 600 сотрудников из “бывших”. ...Отсев был возможен лишь в очень ограниченной степени, хотя многих из них стоило бы выгнать»⁹. Но политические ориентиры станции не вызывали ни малейших сомнений. Никто из ее руководителей никогда не сомневался в том, какая именно политическая линия со временем возьмет верх. По мнению Мале, его задача заключалась в том, чтобы предлагать массам правдивое отображение жизни на переходный период, в течение которого они будут осваивать «демократическое самосознание». В это время будет возможна «разногласица» и открытые столкновения мнений; но средства массовой информации, регулируя такие дискуссии, должны будут «формировать сознательность масс и их демократические устремления»¹⁰.

Не все СМИ в тот ранний период следовали столь ясным директивам; газеты, в частности, предоставляли свои страницы

для самых различных точек зрения. В сентябре 1945 года либеральная газета *Der Tagesspiegel* начала выходить в Берлине с американской помощью; при этом ее свободно можно было приобрести во всех секторах города вплоть до 1948 года, как и консервативную газету *Die Welt*, которую начали печатать в британской зоне оккупации в 1946 году. Даже в советской зоне всем легальным политическим партиям — социал-демократам, христианским демократам и либеральным демократам — на первых порах позволялось издавать свои газеты при условии, что они будут публиковать определенное количество материалов, предоставляемых оккупационными силами¹¹. Эти и другие издания выступали реальными конкурентами газет, спонсируемых советскими властями, таких как *Tägliche Rundschau*, голоса Красной армии в Берлине, и *Berliner Zeitung*, выходившей над началом Херрнштадта и некоего полковника Красной армии¹². Позднее, однако, независимым газетам пришлось столкнуться с проблемами. Так, *Neue Zeit*, газета христианских демократов, за политическую несдержанность была наказана снижением тиража (власти контролировали все запасы бумаги). *Das Volk*, газета социал-демократов, слилась с газетой коммунистов *Deutsche Volkszeitung*, преобразовавшись в *Neues Deutschland*, официальный орган коммунистической партии Восточной Германии с 1946 года вплоть до прекращения ее выхода. Это издание поначалу также редактировал Херрнштадт.

Но в отношении радио все было по-другому. Даже если его предвзятость скрывалась, а отношение к «иным мнениям» поначалу казалось более терпимым, чем в последующие годы, радио Восточной Германии с самого своего основания выступало прокоммунистической и просоветской монополией. Позже Мале вспоминал, что «в понимании ЦК радио было призвано играть непосредственную, действенную и организующую роль в преобразовании немецкой жизни». В 1945–1946 годах радио оставалось наиболее доступным для населения видом СМИ¹³. Рабочие, крестьяне и прочие граждане слушали его, особенно в период нехватки печатных изданий, и потому коммунисты намеревались использовать его в своих целях.

Первоначально им это удавалось. В Берлине радио сразу же обрело особый статус; его воспринимали как единственную «немецкую» власть в городе. По мнению многих, это был уникальный публичный голос, говорящий по-немецки, причем не только в столице, но и в стране в целом. Престиж радио в глазах общества был настолько высок, что за пять лет существования радиостанции немцы отправили в редакцию тысячи писем с вопросами, затрагивающими буквально все — от советской внешней политики до цен на картошку. Некоторые хотели больше классической музыки, другие, напротив, просили сократить ее объем. В письмах были похвалы: одному слушателю понравилась программа о Гёльдерлине, а другой с удовольствием слушал передачу о немецких сказках, но и недовольства было достаточно. Послания, зачастую начинавшиеся со слов «Дорогое радио», порой оказывались предельно откровенными. Десятки людей хотели узнать, когда их сыновья, мужья и братья вернутся домой из советских лагерей. А после передач, посвященных этой теме, слушатели сетовали на то, что радиожурналисты представляют слишком радужный портрет немецких узников, большинство из которых «возвращаются из России раздавленными и больными»¹⁴.

Следуя советской практике, радиостанция регистрировала все письма, выясняя, какие темы наиболее волнуют аудиторию (скажем, в июле 1947 года в 232 посланиях выражалось беспокойство по поводу нехватки продовольствия), и скрупулезно подсчитывая, увеличивается или сокращается количество «негативных» писем¹⁵. По крайней мере в первые два года сотрудники радиостанции пытались откликаться на самые насущные запросы слушателей и убеждать их в том, что в коммунистическом «завтра» жизнь будет счастливее и радостнее.

По-видимому, самой известной попыткой мягкого навязывания коммунизма радиоаудитории стала авторская программа Маркуса Вольфа «Вы спрашиваете — мы отвечаем». В течение нескольких месяцев, с 1945 года, Вольф в прямом эфире отвечал на письма, присылаемые немцами в редакцию. И хотя достававшиеся ему вопросы были самыми разнообразными, а ответы на

них требовались самые конкретные («что будет с Берлинским зоопарком?»), ведущий, используя навыки, приобретенные в школе Коминтерна в Уфе, под все свои ответы подводил идеологическое звучание. Во время радиопередачи 7 июня, например, он с энтузиазмом ответил слушателю, признавшемуся, что он восхищен энергией и духом Красной армии, поскольку «нам всегда внушали, что в России не ценят тех, кто выделяется из общего ряда». По словам Вольфа, «те, кто верит в сказки о том, что в СССР повсюду царят посредственность и серость, пали жертвами геббельсовской пропаганды», ибо нигде «творчество рабочего» не поощряется так, как в советской системе.

Другая слушательница интересовалась, можно ли рассчитывать на то, что в Германии появятся еще какие-то продукты, помимо тех, которые распределяются по карточкам. Вольф сначала напомнил, что «мы не голодаем» — и в этом плане немцам даже повезло. Затем заявил, что «все трудности будут преодолены с помощью Красной армии», а в конце заверил, что «городской совет делает все возможное, обеспечивая закупки овощей и прочих продуктов для берлинцев». Даже вопрос о зоопарке был использован, чтобы напомнить слушателям, какое жалкое существование он влачил в последние дни гитлеровской тирании. Впрочем, по словам ведущего, и зоопарк, вне всякого сомнения, ждет светлое будущее: ведь там еще осталось около сотни животных, включая слона, восемнадцать обезьян, двух гиен, двух молодых львов, носорога, четырех экзотических буйволов и семь енотов¹⁶.

В ответах Вольфа коммунизм редко восхвалялся напрямую, а марксистскую идеологию ведущий не использовал. Но почти в каждом комментарии превозносились Красная армия и советская система, выгодно сопоставлявшиеся с их немецкими эквивалентами. И подспудно во всех ответах содержалось обещание того, что жизнь, которая при нацистах, и особенно в последние дни войны, была невыносимой, теперь быстро начнет улучшаться.

В других программах проводилась аналогичная линия. В конце 1945 года некий радиокорреспондент, командированный в

Саксонию для изучения «настроений молодежи» в регионе, нашел множество обнадеживающих признаков новой реальности. Бывшие члены гитлеровских молодежных союзов делились с ним радостью по поводу того, что им больше не нужно «вскидывать руку в нацистском приветствии». Все были рады окончанию войны. Школы еще не открылись, жизнь была трудной, но репортер предсказывал молодым людям «свободное и прекрасное будущее». Слово «коммунизм» при этом не упоминалось¹⁷. Другой репортер посетил Заксенхаузен, сделав по-настоящему ужасающую передачу о последних днях этого лагеря. И хотя в конце в адрес красноармейцев звучали благодарственные слова, в этой радиопередаче также не содержалось ничего особо идеологического¹⁸.

Но с течением времени тон берлинского радио начал меняться. После столичных муниципальных выборов 1946 года, в ходе которых коммунисты Восточной Германии потерпели первое серьезное поражение, пропаганда сделалась более жесткой, а коммунистические симпатии комментаторов стали более явными. Перемену незамедлительно уловили радиослушатели, отразив ее в своих письмах. «Дорогое радио, — писал один из них в 1947 году, — вы постепенно становитесь скучными. Ваши вечерние программы начинают повторяться». Другой слушатель жаловался на резкость языка, используемого журналистами: «Можно подумать, что слушаешь московское радио».

Отчасти новый тон был инспирирован советскими офицерами, которые работали вместе с персоналом радиостанции. Вплоть до 1949 года они читали (и подвергали цензуре) тексты, предназначенные для эфира, а также глубоко вникали в финансовые аспекты деятельности станции, которая на ранних этапах получала огромные субсидии. В 1945—1946 годах радио должно было запрашивать разрешение советских чиновников на прием новых сотрудников, производственные траты, координацию новостной политики с газетами¹⁹. Причем в этом не было никакого секрета: в ходе торжественных мероприятий Мале постоянно делал реверансы в адрес советских коллег. Как он заявил на одном из приемов, организованных для сотрудников радиостанции, «для нас

большая честь благодарить советских друзей и особенно маршала Жукова». Он также напомнил хозяевам, что радио является «одной из главнейших культурных институций в советской зоне», и убеждал советскую администрацию и впредь опекать его как можно теснее: радиожурналисты «нуждаются в частых встречах со своими друзьями и влиятельными попечителями»²⁰.

Но непопулярность коммунистической партии среди немцев в целом и берлинцев в частности начала в конце концов беспокоить Мале и его немецких сослуживцев. К 1946 году их радиостанции пришлось напрямую конкурировать с Радио американского сектора (*Rundfunk im amerikanischen Sektor* „RIAS“), которое готовило более живые новостные программы и, что более важно, транслировало лучшую музыку. По мере того как берлинское радио начало уступать западным соперникам, а коммунисты Восточной Германии стали осознавать, что жизнь на западе Германии налаживается быстрее, чем на востоке, в руководстве радиостанции разворачивалась внутренняя дискуссия, продолжавшаяся потом многие годы. В центре обсуждения был единственный вопрос: как овладеть массами?

Одним казалось, что станция стала слишком элитарной, утратила связь с партией и не очень хорошо понимает, чего хотят от нее «массы». «Мы требуем от масс, чтобы они слушали наши передачи, — заявлял некий партийный журналист в ходе внутренней дискуссии, — но слушаем ли мы их сами?» По его словам, радио должно быть «народным рупором». Многие соглашались с тем, что в эфире должны чаще звучать голоса «простых людей», а партийные речи, напротив, надо сокращать. Сотрудники также понимали, что аудитория, присылающая в редакцию письма, считает передачи скучными, и опасались, что это было правдой. В состоявшемся в 1948 году обсуждении вопроса, как помочь партии в продвижении первого двухлетнего плана, некоторые комментаторы доказывали, что просто трансляцией речей Ульбрихта ограничиваться нельзя: «Чтобы слушатели не скучали, радио должно научиться рассказывать о плане в живой и увлекательной манере». Эту задачу поручили лучшим репортерам, которым предстояло интер-

вьюировать рядовых граждан о том, как план будет воплощаться в жизнь. В другой дискуссии, посвященной театральным постановкам, сотрудники радиостанции констатировали, что «драматургам и сценаристам нужно уметь создавать живые и реалистичные постановки из материала, который зачастую бывает очень сухим». Им необходимо также сочетать художественные приемы с идеологией, и «особая миссия радио состоит в том, чтобы воспитывать все больше способных на это писателей»²¹.

Не все, впрочем, соглашались с этим. По мере того как популярность коммунистической партии падала, на радио, в партии и в штаб-квартире советского командования все громче звучала другая точка зрения. Советские офицеры, курировавшие культурную политику, отмечали, что комбинация идеологии и культуры работает не всегда: так, они обратили внимание на то, что во время одной из подготовленных ими «культурных недель» люди приходили слушать музыку, но игнорировали лекции²². Им казалось, что попытки облекать идеологию в облегченную форму просто убивают ее. Некоторые настаивали, что долгие трансляции официальных речей, какими бы скучными они ни были, должны оставаться в репертуаре радио. А иначе как граждане узнают своих вождей? Общее заключение было таково: идеологии должно быть больше, а не меньше — и на радио, и повсеместно.

В Польше советским войскам не удалось захватить такую же радиостанцию, как в Берлине, поскольку здесь просто не осталось радиостанций. К концу войны во всей стране невозможно было отыскать годное радиовещательное оборудование, ибо большую его часть конфисковали нацистские оккупанты. Польское радио ушло из эфира в сентябре 1939 года под звуки нокturna до-диез минор Фредерика Шопена в исполнении Владислава Шпильмана, по автобиографии которого был снят потом фильм «Пианист». 8 августа 1944 года, после начала Варшавского восстания, передачи на короткое время возобновились. В течение двух месяцев радио *yskawice* («Молния»)

Армии крайовой героически выпускало четыре радиосводки ежедневно, рассказывая о военных событиях, а также о литературе и культуре. Но в первую неделю октября, когда повстанцы капитулировали, трансляции прекратились.

Окончательно радио вернулось в Польшу вместе с советскими солдатами. Радио *Pszczółka* («Пчелка») начало вещание на советском оборудовании из железнодорожного вагона, размещенного неподалеку от Люблина, 11 августа 1944 года. Затем вместе с Красной армией радиостанция вошла в город, разместившись в частной квартире на улице Шопена. Под студию была отведена гостиная, а вторая комната использовалась как приемная днем и как спальня для дикторов ночью. Первые радиопередачи, которые неизменно шли в прямом эфире, состояли из постоянно обновляемых военных сводок, предназначенных преимущественно для войсковых командиров и партизан, имевших, как предполагалось, радиоприемники. В освобожденных городах — Люблине, Жешуве и Белостоке — установили также уличные репродукторы, позволявшие людям слушать радиопередачи на городских площадях и в других публичных местах. Вскоре в радиопрограммах зазвучала и музыка, которая в прямом эфире исполнялась музыкантами, бежавшими в Люблин после провала восстания в столице²³.

Как и в Германии, в Польше многие первые радиожурналисты были коммунистами. Эти люди не пользовались такой известностью в советских военных кругах, как руководители нового берлинского радио, но в Польше той поры вообще оставалось мало коммунистов. Вильгельм Биллиг, первый директор Польского радио, был инженером, вступившим в партию до войны. Позднее он возглавил Польское агентство ядерных исследований, а намного позднее помогал антикоммунистам из «Солидарности»²⁴. Поначалу все новостные выпуски, передаваемые на волнах Польского радио, готовились сотрудниками отдела пропаганды Люблинского временного руководства и только потом шли в эфир.

Некоторые из первых сотрудников попали на радио случайно. Стефания Гродзенская, позднее ставшая известной актрисой и

писательницей, впервые в жизни увидела микрофон 2 сентября 1944 года и уже на следующий день сделалась диктором Польского радио. В своих мемуарах она описывает первые недели в Люблине, наполненные импровизациями: «На улице Шопена вместе с дикторами работали несколько техников. Наибольшей популярностью пользовался один инженер, который жил в деревне неподалеку от города и ежедневно приезжал оттуда на работу. Своей славой он был обязан большой бутылки с самогоном собственного приготовления, которую неизменно приносил с собой. К горлышку были привязаны блокнот с авторучкой и кружка. Каждый, кто желал выпить, записывал на листке свое имя и количество выпитого — например, «Сикорский, полкружки». В день выдачи зарплаты этот добрый человек пристраивался с записной книжкой у кассы и собирал с нас дань»²⁵.

Как сообщалось в летописях коммунистической эпохи, первые месяцы работы были героической страницей в истории Польского радио. «По мере того как страна освобождалась, — говорились в одном повествовании времен Польской Народной Республики, — специалисты Польского радио выдвигались к линии фронта, стремясь обнаружить и спасти любое уцелевшее оборудование», бесстрашно налаживая передатчики и сотрудничая с Красной армией. В конце 1945 года Биллиг публично заявит, что радио смогло начать работу только благодаря «бескорыстной помощи Советского Союза».

Биллиг грамотно рассчитал сроки реконструкции. Всего за три года специалисты Польского радио построили двенадцать станций и десять передатчиков. Благодарность, адресованная им Советскому Союзу, также была обоснованной. В 1945 году на советские деньги и с помощью советских инженеров был налажен передатчик в одном из варшавских пригородов, сигнал которого покрывал всю территорию страны. По словам Биллига, строительство было одобрено лично Сталиным, и у нас нет причин сомневаться в этом утверждении — как и в том, что Советский Союз действительно хотел восстановить Польское радио. Правда, чувства, с которыми это делалось, оставались довольно противоречивыми. Разумеется, теоретически советская

власть хотела поддержать «коммунистическое» вещание, но при этом НКВД опасался, что поляки могут возродить радиостанции Армии крайовой или найти технические возможности для приема «вражеских» радиосигналов из Лондона.

Советские офицеры, приветствовавшие послевоенную реконструкцию Польского радио, все же с большим недоверием относились к тем, кто занимался строительством или ремонтом радиотрансляционного оборудования. Авторы письма, отправленного в июне 1945 года в дирекцию Польского радио из города Забже в Силезии, жаловались, что бывшие сотрудники местной радиостанции были отстранены от обеспечения вещания советским комендантом. В послании говорилось об этом весьма дипломатично: «Хочется верить, что это недоразумение, которое будет разрешено в духе польско-советской дружбы». Когда местные польские власти примерно в то же время попытались наладить работу радиостанции в Гливице, советские войска пресекли эту инициативу под угрозой оружия. Неприятности возникли и у властей Нижней Силезии, пожелавших убедить советских командиров передать им местный радиотрансляционный центр. Когда им все-таки удалось получить часть оборудования, его немедленно конфисковали польские спецслужбы²⁶.

В самые первые дни после прихода Красной армии советские командиры настороженно относились даже к перераспределению радиоприемников, некогда конфискованных немцами. В августе 1944 года, то есть сразу после того, как радио «Пчелка» начало вещание, командование издало приказ, который предписывал всем полякам, проживавшим на освобожденной территории, сдать любые устройства, принимающие или передающие радиосигналы, «независимо от их типа и применения». Все собранное должно было поступить в распоряжение Польского комитета национального освобождения. Те, кто отказывался подчиниться, объявлялись «вражескими агентами»²⁷. Через несколько месяцев сам Комитет издал более жесткую версию этого приказа: с 30 октября, объявлял Болеслав Берут, каждый, кто владеет радиоприемником без разрешения, будет приговорен к смерти. Как минимум один из таких приго-

воров был приведен в исполнение. 1 мая 1945 года за нелегальное владение радиоприемником *Philips* был расстрелян житель Познани Станислав Маринченко²⁸.

Отношение властей к газетам, журналам и прочим печатным изданиям в тот период тоже оставалось сложным. В теории Временное правительство поддерживало свободу прессы. Всем легальным политическим партиям позволялось иметь собственные газеты: в 1944 году свою газету, со временем получившую название *Trybuna Ludu*, начали издавать коммунисты, а потом их примеру последовали и другие партии. На протяжении 1944 года десятки маленьких газет и журналов выпускала Армия крайова и прочие группы Сопротивления. Несколько газет возникли по инициативе журналистов; наиболее заметной из них стала *ucie Warszawy*. Бумаги, однако, хронически не хватало: 70 процентов всех бумажных фабрик было разрушено, а продукция остальных составляла лишь пятую часть довоенной выработки. Кроме того, к декабрю 1944 года, благодаря национализации уцелевших предприятий, все производство газетной бумаги перешло под правительственный контроль, а полиграфические мощности сосредоточились в руках единственной компании — *Czytelnik*²⁹. В июне 1945 года был принят закон, ограничивающий частную собственность в издательском деле, и к 1946 году все газеты, неугодные режиму, начали испытывать трудности с получением газетной бумаги. Несмотря на это *Gazeta Ludowa*, наиболее откровенная легальная газета, являвшаяся органом влиятельной Крестьянской партии, продолжала смело критиковать правительство. Чиновникам, курировавшим вопросы пропаганды, не всегда удавалось держать под полным контролем и партийную прессу: некоторые журналисты-коммунисты полагали, что чиновники им не указ, поскольку в коммунистической иерархии «партийные перья» занимают более высокую ступень. По этой причине даже партийные газеты не всегда «держали строй»³⁰.

Польское радио не было столь же смелым, хотя на первых порах оно не было и профессиональным. На протяжении 1945 года тема войны преобладала не только в новостных выпусках, но и в остальных передачах. Комментаторы вспоминали свой

военный опыт, заставляли своих собеседников заниматься тем же, зачитывали в эфире длинные списки людей, потерявших в годы войны связь с родственниками. Некоторые рассказывали военные истории для детей. Радиопередача от 2 февраля напоминала жителям Варшавы о необходимости соблюдать комендантский час, так как «гитлеровские варвары» еще не сдались, хотя линия фронта и продвинулась далеко на запад. Среди других тем, обсуждавшихся довольно часто, были сюжеты о восстании заводов и школ, а также о приглашении солдат, воевавших за границей, вернуться на родину³¹.

Подобно другим государственным организациям новой Польши, радио, помимо выполнения своих непосредственных задач, занималось и другими делами. Например, студия в Быдгоще в июне 1945 года почти не имела оборудования и поэтому готовила очень мало программ, но зато держала повара, который ежедневно кормил обедом сотню людей³². Руководители радио со всей страны неустанно просили о дополнительном финансировании, особенно музыкантов, многие из которых голодали. Согласно письмам, направляемым в Варшаву, список недугов, от которых страдали радиожурналисты и обслуживающий персонал, включал туберкулез, ревматизм, глазные и кожные болезни³³.

Жители Варшавы с ликованием встретили появление на улицах освобожденного города первых трамваев, но возвращение польского радио вызвало еще больший энтузиазм, поскольку в нем увидели знак национального возрождения. Радио очень скоро стало магнитом для артистических талантов. Во время своего первого выступления в прямом эфире Владислав Шпильман исполнил тот же самый ноктюрн до-диез минор Фредерика Шопена, которым в 1939 году завершилась работа Польского радио. Несмотря на то что вся его семья погибла в Трешлинке и Варшавском гетто, Шпильман продолжал сочинять музыку. Он работал на радио до 1963 года³⁴.

Несмотря на то что радио представляло себя голосом всего народа, давление, направленное на его подчинение политике Варшавы, постоянно нарастало. После того как радиостанция

в Быдгоще не отреагировала на празднование Дня победы 9 мая в Советском Союзе, ее директор вынужден был объясняться с начальством. В письме Биллигу он сообщал, что находящееся в его распоряжении «примитивное и старое» оборудование в тот день просто отказалось работать. Однако комендант советского гарнизона и местные чекисты не согласились с такой интерпретацией. По их мнению, трансляция не состоялась из-за «нелояльности технического персонала». Для проверки этой версии на радиостанцию был направлен советский специалист³⁵. Подобное давление, усугубляемое общей атмосферой насилия, помогает понять, почему польские радиопередачи на протяжении первого послевоенного года все более благоприятно освещали деятельность нового режима. Кроме того, тех журналистов, которые обнаруживали готовность к сотрудничеству, поощряли материальными благами, включавшими продовольственное и медицинское обслуживание, в то время как те, кто проявлял неповиновение варшавскому начальству, лишались работы, а вместе с ней и продуктовых карточек.

Даже не будучи поначалу коммунистами, многие радиожурналисты к концу года успешно осваивали коммунистическую лексику. Тот же самый директор радиостанции из Быдгоща, которому пришлось защищаться от обвинений в нелояльности после 9 мая 1945 года, уже через месяц в своей переписке сообщал, что теперь он общается с отделом пропаганды местного правительства не менее трех раз в неделю. В сентябре он попросил выделить в его распоряжение автомобиль и мегафон, причем власти пошли ему навстречу. Это позволяло его персоналу работать в тех местах, куда не доходил радиосигнал: можно было вещать с помощью громкоговорителя³⁶. Осенью с радиостанции в Катовице заверяли Варшаву в том, что в передачах все больше внимания уделяется «миру труда» и рабочему классу. Примерно в то же время варшавские радиожурналисты занимались подготовкой программ, посвященных очередной годовщине Октябрьской революции и преимуществам централизованного планирования. В ноябре в ходе совещания, на котором руково-

дители Польского радио обсуждали планы на будущее, один из чиновников призвал их более активно готовить передачи, прославляющие спецслужбы и милицию: «Из прессы мы все чаще узнаем о воровстве и убийствах, вершимых криминальными бандами... причем жертвами обычно оказываются демократические активисты — люди, в которых Польша нуждается больше всего».

На той же встрече обсуждался предстоящий съезд Крестьянской партии, остававшейся тогда единственной независимой силой в польской политике. По мнению большинства участников совещания, заседания съезда следовало освещать в эфире, но некоторые полагали, что «относительно Крестьянской партии следует проявлять осторожность», поскольку пока не ясно, «освободится ли она от враждебных элементов и присоединится ли к демократическому лагерю». В тот период Крестьянская партия еще оставалась легальной, но это, как считало руководство национального радио, вовсе не давало ей права обращаться к населению на радиоволнах.

К концу первого года работы люди, возглавлявшие Польское радио, представляли свои задачи предельно четко. В выступлении перед своими сотрудниками в декабре 1945 года — в той самой речи, где говорилось о «благородной и бескорыстной» помощи СССР, — Биллиг охарактеризовал свое видение будущего, ожидающего польское радиовещание. Он призывал к наращиванию производства радиоприемников — «мы хотим, чтобы радио слушали крестьяне, рабочие, трудящиеся интеллигенты» — и сообщал, что в наступающем году два новых завода выпустят 15 тысяч таких устройств. Он категорически не соглашался с тем, что на новом Польском радио слишком много «болтовни». По его словам, довоенное радио могло позволить себе заниматься исключительно развлечением элиты, а вот новому радио предстоит играть «колоссальную пропагандистскую роль, поскольку это мощнейшее оружие». И силу этого оружия должен ощутить каждый житель Польши.

Радио, разъяснял Биллиг, должно содействовать «формированию человека нового типа, который нарождается в Польше.

...Главная цель радио — это мобилизация общества на выполнение главных исторических задач, включающих реконструкцию страны, укрепление демократии, объединение нации»³⁷. В последующие годы Польское радио приложило немало сил к тому, чтобы нация воспринимала «реконструкцию», «демократию», «объединение» в том же духе, в каком их трактовала коммунистическая партия.

Радио Восточной Германии начиналось с обученных в Москве коммунистов, радио послевоенной Польши — с советского оборудования. Что касается Венгерского радио, то начало ему положил декрет на русском языке, обнародованный 20 января 1945 года будапештским Временным правительством на второй день его существования. Декрет восстанавливал работу Венгерского агентства новостей и Венгерского радио. Директором обоих учреждений назначался Дьюла Ортутай. Перед тем как приступить к делам, новый руководитель отправился в здание центрального офиса будапештского радио, которое в последние дни войны использовали в качестве конюшни. Оборудование было разбито, на крыльце валялся разлагающийся труп лошади, а посередине внутреннего двора зияла воронка от бомбы. На дверях полуразрушенного здания Ортутай повесил объявление: «Сотрудники радио! Тех из вас, кто еще жив, будем ждать 21 января в комнате напротив лифта»³⁸.

С советской точки зрения Ортутай идеально подходил для выполнения новой роли. Известный этнограф, литературный критик и левый интеллигент, уже работавший на Венгерском радио до войны, он был, как потом выяснилось, тайным членом коммунистической партии. Публично Ортутай декларировал свою принадлежность к Партии мелких хозяев, одной из четырех партий, которым после войны позволили действовать легально, и на протяжении 1945–1946 годов поддерживал тесный контакт с ее руководителями. В то же время он неофициально получал указания от венгерских коммунистов, которые в ходе тайной церемонии, состоявшейся в марте 1945 года, вручили ему партийный билет на фальшивое имя.

Разумеется, в советском командовании в Венгрии знали о скрытых симпатиях Ортутая. Формально, по соглашению о перемирии, ответственность за венгерские средства массовой информации принимал на себя Союзный Контрольный совет. После завершения войны этот орган разрешил каждой легальной партии учредить собственную газету. Печатным органом Венгерской коммунистической партии стала *Szabad Nép*, но Социал-демократическая партия, Крестьянская партия и Партия мелких хозяев также обзавелись партийными изданиями. Очень быстро *Kis Újság*, газета Партии мелких фермеров, сделалась самой популярной в стране³⁹. Однако в Венгрии, как и в других странах, коммунистов больше интересовало радио, а присутствие Ортутая гарантировало им контроль над радиовещанием. С самого начала Венгерское радио полностью зависело от советского оборудования, советских передатчиков, советских специалистов и консультантов. Очень скоро его продукцией стало советское мировоззрение.

Поначалу ни радиослушатели, ни специалисты, прочитавшие объявление Ортутая и вернувшиеся к работе, ничего этого не знали. В городе, лежащем в руинах, они с необычайной энергией начали готовиться к возобновлению вещания. На первых порах условия труда были ужасающими. В журнале радиопередач за май 1945 года осталась следующая запись: «Лайош Хернади, пианист, попросил сделать семиминутный перерыв, поскольку в студии было очень холодно»⁴⁰. Поначалу «зарплату» сотрудников составляла лишь ежедневная тарелка супа, хотя кое-какие преимущества у них все же были: например, каждый получил удостоверение личности, отпечатанное на русском и венгерском, которое помогало предъявителю избежать уличных облав и депортации⁴¹. Но, даже обладая таким документом, добраться на работу в городе, где не функционировал общественный транспорт, было нелегко. На радио ходила легенда о том, что однажды утром к началу дневных передач не успел никто, и тогда уборщица поставила граммофонную пластинку, которая играла до прибытия журналистов⁴².

В Венгрии, подобно Польше и Германии, одни специалисты работали на радио еще до войны, а другие оказывались там по

воле случая. Арон Тобиаш поступил на работу после окончания школы летом 1946 года, надеясь заработать деньги на учебу в колледже. Его обязанности предполагали «отбор рассказов известных венгерских писателей для чтения в воскресный полдень профессиональными актерами» — задача, для молодого человека вполне достойная. В колледж он так и не поступил, оставаясь радиожурналистом до 1955 года⁴³. Были и другие молодые рекруты. Среди них оказался, в частности, Дьюла Шопфлин, член коммунистической партии с 1930-х годов, который стал первым программным директором. В своих мемуарах, написанных после бегства из Венгрии в 1949 году, он вспоминает, что хотя в 1945-м страна теоретически оставалась многопартийной демократией, на кадровые решения, которые принимал Ортутай, уже тогда влияла его тайная принадлежность к коммунистической партии: «Прием на работу, как и увольнения, определялись сугубо политическими соображениями». Ортутай также разработал политическую инструкцию для тех сотрудников, которые занимались составлением сетки вещания и разработкой программ: «Избегать всего того, что может нарушить мир и согласие между великими державами; остерегаться открытой партийности; пропагандировать антифашистскую и интернационалистскую политику; поддерживать курс демократического правительства на восстановление страны и проведение земельной реформы; подчеркивать значение прогрессивных традиций в венгерской и мировой культуре». Сам Шопфлин посещал штаб-квартиру венгерских коммунистов «как минимум раз в неделю», рассчитывая на «детальные наставления» по подготовке и планированию радиопередач. Получаемая им помощь была, однако, незначительной; причина заключалась в том, что радио находилось под прямым надзором Союзного Контрольного совета и, следовательно, СССР. Венгерские коммунисты не слишком беспокоились о его работе, доверившись советским властям⁴⁴.

В то время как венгерские товарищи еще не осознали всего значения радио, советские товарищи уже давно его оценили. Хотя до завершения войны они запретили гражданам иметь

радиоприемники, это не помешало им наладить новую радиостанцию и выдать ей лицензию, назначить советского офицера ее постоянным «консультантом» (и главным цензором) и подготовиться к регулярному вещанию⁴⁵. К 1 мая 1945 года новое радио было готово к работе. В полдень громкоговорители, размещенные в стратегических точках Будапешта, впервые передали в эфир позывные новой станции — начало венгерской революционной песни XIX века, и программа началась. В ней выступили лидеры всех четырех легальных политических партий; читались новости; исполнялась музыка. Исполнялись известнейшие произведения венгерских композиторов, в частности Бартока, а затем фрагменты русской оперы «Борис Годунов». После этого громкоговорители транслировали часовую радиопередачу на русском языке, предназначенную для советских солдат⁴⁶.

На протяжении почти всего 1945 года радиопередачи в основном вписывались в рамки, которые задал Ортутай. Об этом свидетельствовали их темы: реализация земельной реформы, учреждение общества венгерско-советской дружбы, основание новых профсоюзов, ход судов над военными преступниками, рассказы о партизанской борьбе коммунистов. Вместе с тем в эфире все еще можно было услышать произведения «буржуазных» (то есть некоммунистических) писателей, а также популярную музыку⁴⁷. Преобладание русскоязычных программ (например, передачи «Учимся петь по-русски») объяснялось прямым советским вмешательством и, вероятно, отражало ту фрустрацию, с которой столкнулись красноармейцы, оккупировавшие страну со столь диковинным языком. К концу года на радиостанции обосновались и венгерские спецслужбы. Офицеры госбезопасности периодически запрашивали расшифровки «политически острых» программ. Они также контролировали доступ в здание радиостанции — еще один признак политической значимости радио, — проверяя документы входящих и выходящих людей. Со временем отдельному подразделению спецслужб было поручено охранять технические службы радиостанции; это объяснялось предполагаемой политической неблагонадежностью инженеров, многие из которых работали на радио в прежние времена⁴⁸.

Но в основном, разумеется, советским кураторам Венгерского радио приходилось полагаться на интуицию коммунистов, знающих, как готовить «правильные» программы. Даже не пройдя школу Коминтерна, многие из них строго придерживались партийной линии и оценивали реальность сугубо на этой основе. Например, как-то раз Матьяш Ракоши приказал Шопфлину подготовить прямой эфир, освещавший суд над Ласло Бардоши, премьер-министром военного времени, который принял фатальное для Венгрии решение вступить в союз с Германией и объявить войну Советскому Союзу. Судебные заседания проходили накануне первых венгерских выборов и, как вспоминал Шопфлин, стали для радио настоящей катастрофой: «Бардоши держался как джентльмен, на возбужденные выкрики судьбы отвечал твердо, с достоинством и без эмоций. ...Лично я не сомневался в его виновности, но попытка склонить общественное мнение на нашу сторону завершилась полным провалом». Шопфлин, который в рядах будапештских товарищей был далеко не самым законченным доктринером, прекратил трансляции в разгар процесса. Бардоши был слишком хорош, а его слова вредили делу коммунизма. Впоследствии Шопфлин выдавал в эфир только выдержки из судебных заседаний⁴⁹.

На какое-то время Ортутай пытался сохранить хотя бы видимость политического разнообразия. До 1945 года Венгерское радио находилось в собственности частной холдинговой компании, которая занималась производством новостей по заказу правительства. Та же компания владела агентством печати, рекламной службой, полиграфическими мощностями и небольшими банками. После завершения боевых действий ее собственники, которые в глазах общественного мнения ассоциировались с режимом Хорти, попытались вернуть свое имущество. В определенной мере их поддерживала Партия мелких хозяев, которая предлагала выдать им компенсацию, но при этом считала, что контрольной пакет новой станции должен принадлежать правительству.

Ортутай боролся против обеих идей и в конечном счете победил. К концу лета бывшие владельцы лишились гражданских прав, их собственность конфисковали, а национальное радио

перешло в руки государственной компании *MKH Rf*⁵⁰. Эта компания, в свою очередь, управлялась не правительством, которое в то время еще оставалось коалиционным, а советом директоров, сформированным из представителей всех политических сил страны. Каждая из четырех политических партий была представлена в нем двумя голосами; столько же голосов имели и профсоюзы.

Подобное распределение внешне казалось вполне справедливым, но на практике профсоюзные активисты были коммунистами, и в итоге коммунистическая партия имела в совете директоров не два, а четыре голоса. Из оставшихся членов совета некоторые представляли левое крыло своих партий и зачастую блокировались с коммунистами. Были, наконец, и те, кто, подобно Ортутаю, тайно сотрудничал с коммунистической партией. К началу 1946 года, всего лишь через год после заключения перемирия, Венгерская коммунистическая партия установила контроль над кадрами национального радио, его управленческими структурами и соответственно над содержанием передач. При этом и общество, и политический класс делали вид, будто ничего не происходит. В результате, когда год спустя партия решила укрепить свое идеологическое влияние на радио, никто не смог помешать ей.

Глава 9

Политика

Установление порядка в Европе и переустройство национальной экономической жизни должно быть реализовано, чтобы позволить освобожденным народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору.

*Из Декларации об освобожденной Европе,
принятой на Крымской (Ялтинской) конференции лидеров стран
антигитлеровской коалиции.*

Февраль 1945 г.

На картину мира, столь недавно озаренную победой союзников, пала тень. ...Коммунистические партии, которые были весьма малочисленны во всех этих государствах Восточной Европы, достигли исключительной силы, намного превосходящей их численность, и всюду стремятся установить тоталитарный контроль.

*Уинстон Черчилль, речь в Фултоне, штат Миссури,
5 марта 1946*

С подписания Ялтинских соглашений, обещавших Восточной Европе свободные выборы, до речи Уинстона Черчилля о железном занавесе прошел всего год. За этот период случилось многое. Благодаря Красной армии во всех оккупированных ею странах появились собственные спецслужбы, коммунисты взяли под контроль национальное радио, началась ликвидация молодежных групп и прочих гражданских организаций. Красноармейцы арестовывали, убивали и депортировали людей, подозреваемых в «антисоветских настроениях», и предпринимали безжалостные этнические чистки.

Все эти акции не были секретными и проводились на виду у всего мира. Британский премьер-министр впервые использовал выражение «железный занавес» вовсе не в своей знаменитой фултонской речи, а в мае 1945 года, сразу же после завершения

войны и всего лишь через три месяца после Ялты. В письме президенту Трумэну он писал: «Их пределы отделены от нас железным занавесом. И мы не имеем ни малейшего представления о том, что за ним происходит»¹. Но любовь Черчилля к изящному слову в данном случае скрывала истину. Он прекрасно знал, что делается за железным занавесом, поскольку об этом премьер-министра, к его немалой досаде, информировали польские собеседники.

Фактически теплые взаимоотношения между англосаксонскими державами и Советским Союзом начали остывать гораздо раньше. «Альянс между нами и демократической частью капиталистов состоялся потому, что последние были заинтересованы в предотвращении гитлеровского доминирования, — говорил Сталин Георгию Димитрову в конце войны. — А в будущем нам придется бороться и с этой капиталистической группой». По мере того как война близилась к завершению, напряженность нарастала. И хотя встреча Красной армии с американцами, состоявшаяся в апреле 1945 года на Эльбе, стала поводом для рукопожатий и тостов, за ней последовали пустяковые споры о том, где и кому должны сдаваться немцы (в конечном счете состоялись две церемонии капитуляции). Кроме того, после встречи двух армий была внезапно свернута американская программа ленд-лиза, с помощью которой в годы войны финансировались советские закупки американских товаров². Первое применение ядерного оружия, состоявшееся в августе, породило новый приступ советской паранойи. К концу этого месяца между американскими и советскими солдатами, расквартированными в Берлине, довольно часто вспыхивали ночные перестрелки³.

Но главным поводом для нарастания взаимного недоверия, позже вылившегося в холодную войну, послужили события в Восточной Европе, и особенно в Польше. Уже осенью 1944 года Джордж Кеннан сделал вывод о том, что те члены польского правительства в изгнании, которые продолжают отстаивать идеалы демократии, «являлись обреченными представителями обреченного режима — просто никто не желал быть настолько жестоким, чтобы сообщить им об этом»⁴. Через полгода, в мае

1945-го, Гарри Гопкинс, один из ближайших сподвижников Рузвельта, отправился в Москву, чтобы встретиться со Сталиным и передать ему озабоченность президента Трумэна «нашей неспособностью реализовать Ялтинские договоренности относительно Польши». В ответ Сталин жестко осудил решение американцев свернуть ленд-лиз и заявил, что Советскому Союзу в качестве приграничного соседа нужна «дружественная», то есть просоветская, Польша⁵.

И все же Сталин пока не собирался отказываться ни от Ялтинских протоколов, ни от предусмотренных ими выборов. На первых этапах советской оккупации и работы коалиционных правительств — примерно в 1945 и 1947 годах — свободно действовали многие (хотя и не все) некоммунистические партии, продолжали выходить некоммунистические газеты, проводились политические кампании. Уровень политической свободы варьировал от страны к стране, как и степень фальсификации выборов. Но все же первоначально СССР явно намеревался сохранить видимость и в некоторой мере даже реальность демократического выбора.

За проведением подобной линии стоял простой расчет. И Советский Союз, и его приверженцы в Восточной Европе полагали, что демократия принесет им пользу. Здесь уместно в очередной раз обратить внимание на обстоятельство, которое нередко игнорируется: хотя искренность таких упований в различных странах была разной, большинство восточноевропейских партий проявляло явную заинтересованность в скорейшем проведении послевоенных выборов, поскольку каждая из них не без оснований полагала, что в процессе голосования можно будет одержать победу. После войны почти все политические партии Европы, по современным критериям, считались вполне левыми. В конце 1940-х годов даже такие правоцентристы, как христианские демократы в Западной Германии и консерваторы в Великобритании, были готовы мириться с расширением государственного вмешательства в экономику и даже с национализацией некоторых отраслей. Почти повсеместно на континенте преобладала идея социального государства. Коммунистические

партии, которые неплохо выступали на европейских выборах в прошлом, намеревались вновь повторить свой успех. Так, Французская коммунистическая партия на парламентских выборах 1945 года получила рекордное для нее число голосов. Почему бы не рассчитывать на победу и на востоке континента?

У европейских коммунистов были и идеологические причины верить в победу. Согласно Марксу, рабочий класс рано или поздно осознает свое предназначение и обязательно свяжет свои надежды и упования с коммунистической партией. Как только это произойдет, коммунистические партии естественным путем придут к власти, опираясь на рабочее большинство. Польский коммунист Леон Касман в одном из своих интервью пояснял: «Мы прекрасно знали, что до войны партию поддерживало лишь меньшинство населения, но мы верили, что это было просвещенное меньшинство, влекущее нацию по пути прогресса. Нам также было известно, что если мы завоюем власть и будем проводить правильную политику, то на нашу сторону перейдут люди, которые прежде нам не верили или даже выступали против нас»⁶. Ульбрихт, выступая перед партийными работниками в начале 1946 года, выражал подобный оптимизм: «Нам задают вопрос: вы собираетесь проводить выборы в советской зоне? Мы отвечаем: да, мы займемся этим, и вы посмотрите, как мы организуем эти выборы! Мы исполним эту работу с надлежащим чувством ответственности, и это будет сделано так, что в городах и селах большинство пойдет за рабочим классом»⁷. На публике по крайней мере Ульбрихт никогда не рассматривал возможность иного исхода какого-либо голосования.

Сам Сталин относился к этому вопросу более цинично; возможно, он просто не понимал, что европейцы имеют в виду под «демократией» и «свободными выборами». Встретившись в годы войны со Станиславом Миколайчиком, возглавлявшим эмигрантское правительство Польши, он заявил: «Некоторых людей, как левых, так и правых, мы не можем допустить к участию в польской политике». Миколайчик, в свою очередь, пытался обратить внимание вождя на то, что при демократии невозможно диктовать, кто может, а кто не может заниматься политиче-

ской деятельностью. «Сталин посмотрел на меня так, будто я не в своем уме... и встреча быстро завершилась», — рассказывал он потом⁸.

Позже, в августе 1944 года, Сталин бесцеремонно пояснял группе польских эмигрантских лидеров, что Советский Союз позитивно воспримет образование в Польше «коалиции демократических партий» — хотя, конечно же, эти вопросы должны «решаться самими поляками». Под «коалицией» он имел в виду предвыборную коалицию, члены которой не конкурируют друг с другом. Под «демократическими» подразумевались просоветские партии⁹. Бесспорно, он предпочитал выборы, вообще лишенные состязательности. При таком раскладе даже у польских коммунистов появлялся шанс на победу. Как говорил советский руководитель Владиславу Гомулке в 1945 году, «при хорошей агитации и надлежащем подходе к делу вы сможете получить внушительное число голосов»¹⁰.

Некоторые государства покорно последовали сталинской формуле и провели выборы без конкуренции. Югославия, например, организовала именно такие выборы в ноябре 1945 года: Советскому Союзу не нужно было убеждать Тито в необходимости разделаться с оппонентами. Согласно официальным результатам, 90 процентов голосов получил Югославский народный фронт — единственная партия, включенная в избирательный бюллетень. Советский посол в Белграде безудержно хвалил эту инициативу, убеждая Молотова в том, что прошедшие выборы «укрепили» страну. По его оценке, это был грандиозный успех¹¹. В Болгарии накануне ноябрьских выборов 1945 года коммунистическая партия также объединила несколько левых партий в предвыборную коалицию¹². В обеих странах подлинная оппозиция центристских и правоцентристских партий, отказавшихся вступить в блоки будущих победителей, призывала соотечественников бойкотировать голосование. Многие граждане так и поступили, но это не помешало коммунистам заявить о своей безраздельной победе.

И все же, несмотря на усилия НКВД и местных коммунистов, далеко не все местные политики согласились вступать в созда-

ваемые коммунистами союзы и не все местные рабочие быстро проникались классовым сознанием. В 1945–1946 годах экономика региона пребывала в хаосе. Разгул политического насилия порождал недоброжелательство к Советскому Союзу. В итоге первый раунд свободного или наполовину свободного голосования, вопреки прогнозам Маркса, стал крупным поражением коммунистических сил почти во всех странах Восточной Европы. После выборов тактика коммунистических партий стала гораздо жестче.

В Польше на первых порах Сталин действовал осторожно, по крайней мере когда дело касалось выборов. Его эмиссары не пытались силой загнать польский политический класс в постановочные однопартийные выборы, как это было сделано в Югославии или Болгарии. После ареста и депортации шестнадцати командиров Армии крайовой западные державы начали относиться к польской политике с повышенным вниманием, и Сталин, вероятно, считал, что поддержание фикции коалиционности временного правительства страны в такой ситуации является важным. По всей видимости, под влиянием именно этих соображений он весной 1945 года позволил одному из последних некоммунистических польских руководителей, Станиславу Миколайчику — политику, который пытался спорить с вождем о демократии, — вернуться в страну и заняться политической деятельностью.

В отличие от польских коммунистов, которые не участвовали в электоральной жизни страны в предвоенный период, Миколайчик был широко известен польской публике. До 1939 года он возглавлял Польскую крестьянскую партию, располагавшую социальной базой в деревне, социал-демократической программой и реальной легитимностью. После двойного германо-советского нашествия он перебрался в Лондон, где присоединился к польскому правительству в изгнании. После того, как в 1943 году генерал Владислав Сикорский трагически погиб в авиакатастрофе в Гибралтаре, Миколайчик стал вместо него премьер-министром. Именно в этом качестве он в последние

месяцы войны вел переговоры о послевоенном статусе Польши со Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. Их бесплодность удручала польского политика. Во время особенно неприятной встречи со Сталиным и Черчиллем в Москве в октябре 1944 года польский премьер-министр случайно узнал о том, что, несмотря на заверения Рузвельта, союзники уже уступили восточную часть Польши Советскому Союзу. Это произошло на Тегеранской конференции — в ходе той самой встречи, на которой Черчилль предположил, что Польша вполне может «подвинуться на запад». Миколайчик накричал на Черчилля и потребовал изменения политики. Британский премьер в ответ повысил голос: «Своим вечным недовольством вы смертельно нам надоели!»¹³.

После массового ареста руководителей Армии крайовой в марте 1945 года Миколайчик почти не верил в возможность становления демократии в Польше. Тем не менее он решил вернуться в страну. Как отмечает польский историк Кристина Керстен, Миколайчик «пребывал в иллюзии, что Сталин всерьез считает своей целью не коммунистическую Польшу, а именно демократическую Польшу, дружественно относящуюся к СССР»¹⁴. За это его критиковали многие поляки, как в Лондоне, так и в самой Польше, считавшие, что его возвращение укрепило легитимность правительства, де-факто уже контролируемого Советским Союзом. Одна из эмигрантских газет делилась мрачным пророчеством: «История учит нас тому, что поступь диктаторского тоталитаризма не могут остановить даже самые далеко идущие компромиссы. ...Единственный путь к освобождению — быстрое склонение мирового общественного мнения на нашу сторону»¹⁵. Миколайчик постоянно подчеркивал, что Ялтинские договоренности гарантировали «скорейшее проведение свободных и честных выборов на основе всеобщего избирательного права и тайного голосования». Он был склонен принимать это обещание за чистую монету¹⁶.

В июне 1945 года Миколайчик побывал в Москве, где принял участие в переговорах, итогом которых стало формирование временного правительства Польши. На них присутствовали как

«люблинские поляки» в лице Берута, Гомулки и прочих просоветских деятелей из Польского комитета национального освобождения, так и лидеры Польской крестьянской партии. В подписанном соглашении отмечалось, что Временное правительство национального единства будет управлять страной до проведения всеобщих выборов. Крестьянской партии выделили несколько министерских портфелей, а также запасы бумаги, позволявшие ей начать издание собственной газеты. В горьких мемуарах, написанных в изгнании, Миколайчик вспоминает, что хотя это соглашение «вновь разочаровало большинство поляков... уже недалек был тот день, когда его соблюдение показалось бы нам большой удачей, ибо в конечном счете наша партия так и не получила того, что ей было обещано. Она вообще ничего не получила»¹⁷.

На какой-то краткий миг сторонникам Миколайчика показалось, что им есть на что надеяться. Его первые поездки по стране оказались триумфальными. Когда его самолет в июне 1945 года приземлился в Варшаве, главу эмигрантского правительства встречали тысячи поляков. Толпа следовала за его cortege через весь город, а потом, собравшись под окнами здания, выделенного Временному правительству на южной окраине Варшавы, горячо приветствовала его. Во время визита в Краков, состоявшегося через несколько дней, ликующие сторонники буквально подхватили автомобиль Миколайчика на руки и пронесли его по улицам города. Потом подхватили и носили на плечах самого политика. Но вся эта эйфория не могла скрыть ощущения какой-то угрозы. Вечером, после встречи с местным руководством Крестьянской партии, Миколайчик едва не натолкнулся на автоматную очередь. Его не собирались убивать — его хотели лишь напугать, и это вполне удалось. Позже он узнал, что все руководители, присутствовавшие на встрече с ним, были арестованы сразу после его отъезда¹⁸.

В последующие месяцы Миколайчик и его преданные сторонники провели избирательную кампанию, которая оказалась необычайно бесстрашной и удивительно напористой. Сначала его партии пришлось добиваться права открыто заниматься

оппозиционной деятельностью, потом она требовала слова в ходе первого общенародного референдума, затем она сражалась за места в первом послевоенном парламенте. К 1947 году Крестьянская партия проиграла все три битвы, но перед этим своей силой и общественной поддержкой успела напугать и польских коммунистов, и их советских менторов.

С самого начала польские коммунисты всеми силами старались изолировать Миколайчика и его партию. Предвыборная «коалиция», которую предложил Сталин, была оформлена довольно быстро. В просоветский блок вошли сами коммунисты, до конца не определившаяся Социал-демократическая партия и две «декоративные» партии: еще одна Крестьянская партия, контролируемая коммунистами и призванная запутать избирателей, а также Демократическая партия, созданная с аналогичной целью. Настоящая Крестьянская партия отказалась присоединиться к этому странному альянсу, оставшись единственной не вошедшей в него легальной партией. В результате вокруг Миколайчика сплотились все антикоммунисты страны, от умеренных социалистов до радикальных националистов.

В течение нескольких месяцев коммунистическое руководство осознало допущенную ошибку. На заседании ЦК партии зимой 1946 года Гомулка впервые открыто раскритиковал партию Миколайчика. Он охарактеризовал оппонентов как нового реакционного «врага», тесно связанного с западными империалистами. Крестьянская партия, намекал он, может оказаться более опасной, чем партизаны-антикоммунисты, до сих пор скрывающиеся в польских лесах¹⁹. По словам молодого партийного экономиста Влодзимежа Бруса, присутствовавшего на заседании, «многие были удивлены прямолинейностью этого выпада, прежде всего потому, что поддержка коммунистов внутри страны была не столь очевидной, а это означало необходимость не борьбы, а диалога. Кроме того, люди устали от долгой войны, от потерь и жертв». Впрочем, хотя самого наблюдателя «жестокость атаки сильно удивила», другие присутствовавшие встретили новый курс «с удовлетворением»: по крайней мере, полагали они, партия «покончит с реакцией»²⁰.

Сам Миколайчик, разумеется, знал, что его организация подвергается нападкам. Легальная в принципе партия с самого начала подвергалась жесткому давлению, включая полицейское насилие, пытки и даже убийства. Уже в ноябре 1945 года он направил руководству польских спецслужб первую из многочисленных жалоб, касавшуюся «массовых арестов членов Крестьянской партии в Тарнобжеге, а также конфискации партийного имущества». В том же месяце полицейские и коммунистические функционеры воспрепятствовали собранию сторонников Миколайчика в Тржебнице. Кроме того, крестьян, проживавших в окрестностях Олесницы, предупреждали, что любого, кто ходит на такие собрания, могут арестовать. Наконец, из офиса Крестьянской партии в Ловиче были украдены партийные документы. 9 января 1946 года Миколайчик составил список из восемнадцати своих активистов, арестованных во Вроцлаве; чуть позже он добавил в список еще восемьдесят арестованных в Лодзи²¹.

Иногда членов Крестьянской партии обвиняли в акциях, которые совершались членами вооруженного подполья. Например, в марте 1946 года местные коммунисты организовали политическое собрание в Лапанове, к юго-востоку от Кракова, на которое члены Крестьянской партии не были приглашены. По пути домой несколько коммунистов и полицейских подверглись нападению партизан, вооруженных автоматами. В перестрелке семеро коммунистов были убиты и еще трое ранены. На следующий день полиция начала без разбора арестовывать местных членов Крестьянской партии на том основании, что, отсутствуя на собрании, они якобы вполне могли организовать засаду. Полицейские также сожгли дом местного лидера оппозиции. По словам Миколайчика, государственные службы «не проводили никакого расследования и не пытались выявить виновных. ...Речь идет о несомненном злоупотреблении властью»²².

В разгар всей этой смуты Крестьянская партия добилась необычайного успеха: ей удалось наладить выпуск партийной газеты, которая называлась *Gazeta Ludowa*. У ее издателей был

очень ограниченный доступ к бумаге, а возможности почтовой рассылки газеты подписчикам полностью отсутствовали. Время от времени газету вынужденно продавали по одному экземпляру в руки, не разрешая покупать ее для друзей и знакомых, поскольку тиража не хватало. По воспоминаниям Миколайчика, «спрос на ежедневный тираж газеты составлял полмиллиона экземпляров, но выделенной нам бумаги хватало всего на 70 тысяч. Сотни экземпляров удерживались коммунистами в типографиях и на сортировочных пунктах. ...А индивидуальных подписчиков предупреждали, что, если они не откажутся от подписки, их уволят с работы»²³. В отличие от радио, *Gazeta Ludowa* не могла дойти до каждого поляка. Но ее статьи, выходящие под откровенными заголовками типа «Маски сброшены» или «Спецслужбы пытаются поляков», предельно точно описывали реальность для тех, кому удавалось достать экземпляр издания. Газета публиковала имена арестованных людей, а также даты и обстоятельства их задержания, а ее журналисты горько сетовали на то, как обходятся с Миколайчиком в ходе парламентских заседаний. Хотя его партии выделили в парламенте треть мест, во время выступлений лидера Крестьянской партии или кого-то из его заместителей зал наполнялся невообразимым гулом: невозможно было разобрать ни слова²⁴.

Нападки на Крестьянскую партию не смогли ее уничтожить. Напротив, похороны убитых партийцев собирали все больше негодующих людей.

Священники, которые в то время еще могли высказываться открыто, в своих проповедях начали обличать правительство. В одном из приходов ксендз выступил со следующей речью: «Если нас спросят, кто представляет в стране так называемую реакцию, то однозначно надлежит отвечать, что именно мы, католики, и есть реакция — и мы обязательно победим марксизм». Как пронизательно отмечал один из членов коммунистического ЦК, «идея блока [левой коалиции] не смогла обрести широкой популярности в массах». Даже слабая и запуганная Социал-демократическая партия начала жаловаться на то, что тайная полиция обходится с Крестьянской партией слишком строго²⁵.

Понимая, что почва уходит у них из-под ног, польские коммунисты приняли на вооружение тактику проволочек. Вместо того чтобы провести выборы осенью 1945 года, как это сделали венгры, болгары и югославы, Якуб Берман, главный идеолог партии, убедил Берута назначить референдум на начало лета 1946 года. Суть этого предложения, объяснял он потом, заключалась в том, чтобы изучить общественное мнение, «отделить зерна от плевел» и подготовить людей к примитивному выбору «за» или «против» Миколайчика²⁶. Вопросы, предлагаемые избирателям, были сформулированы так, чтобы подтолкнуть граждан к утвердительным ответам: Поддерживаете ли вы упразднение Сената [довоенного института, имевшего незначительные функции]? Поддерживаете ли вы земельную реформу и национализацию крупной промышленности при сохранении частной собственности? Одобряете ли вы приобретение Польшей новых территорий и ее новую западную границу?

«Правильным» ответом на все три вопроса было «да», и поэтому коммунисты проводили свою кампанию под простым и понятным лозунгом: «Трижды “да”!». Миколайчик принял вызов, призвав своих последователей утвердительно ответить на второй и третий вопросы. Как отмечал Берман, ему было сложно противиться присоединению новых территорий на западе, а идеи национализации и земельной реформы пользовались широкой поддержкой в обществе, особенно с дополнением, касающимся сохранения частной собственности²⁷. Но при этом Миколайчик ориентировал партию сказать «нет» по довольно бессмысленному вопросу, затрагивающему будущее Сената.

В действительности вопрос о том, сохранится ли в Польше верхняя палата парламента, не интересовал никого. Этот пункт референдума просто давал Крестьянской партии возможность померяться силами с коммунистами, и она старалась изо всех сил. В Польше, по-видимому, никогда больше не было электоральной кампании, подобной этой: совокупный тираж плакатов, листовок и брошюр, напечатанных коммунистической партией, составил 84 миллиона экземпляров — и это несмотря на то, что бумаги в стране по-прежнему не хватало. Согласно пар-

тийной инструкции, каждую стену и каждый забор предписывалось украсить партийным лозунгом «Трижды “да”!». В пропагандистских целях использовались радио и публичные события, рассчитанные на все категории населения: женщин, крестьян, рабочих, интеллектуалов... Иногда коммунистический призыв облекался в грубую националистическую форму: «Трижды “да” не понравится немцам» или «“Да” — означает, что ты настоящий поляк». Другие интерпретации были более популистскими и сентиментальными: «Трижды “да” — если вы не хотите возвращения помещиков» или «Трижды “да” — во имя процветания и счастья наших детей»²⁸.

Когда кампания достигла апогея, пропаганду начали подкреплять угрозами. Обученный в куйбышевской школе Мечислав Мочар, возглавлявший «чекистов» Лодзи, заявил местному лидеру Крестьянской партии, что арестует любого, кто осмелится агитировать за лозунг «Только “нет”». Режим также решил, что преддверие референдума является удобным моментом для проведения открытого и гласного суда над руководителями Армии крайовой, в ходе которого прокуроры мрачно намекали на существование тайной связи между партизанским подпольем и Крестьянской партией. Разумеется, все оппоненты режима, как вооруженные, так и безоружные, поддерживали «крестьян» (хотя сама партия дистанцировалась от подпольщиков), причем некоторые из них шли еще дальше, предлагая дать отрицательные ответы на два или даже на три вопроса. Власти были обеспокоены этим. По мере приближения дня голосования военные и полувоенные структуры, включая армию, пограничников, народную милицию и спецслужбы, все более широко привлекались к организации митингов и демонстраций. Людей, подозреваемых в поддержке ошибочных лозунгов, могли арестовать, допросить или подвергнуть чему-то худшему.

Но пропаганда повлекла за собой вовсе не тот эффект, на который рассчитывали коммунисты. Вечером накануне голосования 20 тысяч болельщиков собрались в Варшаве, чтобы посмотреть футбольный матч между командами Польши и Югославии — один из первых международных матчей после

войны. Во время перерыва между таймами несколько политиков-коммунистов вышли на поле, чтобы призвать граждан прийти голосовать. Увидев, как еще одно нейтральное событие превращается в политическую акцию, а также возмущившись высокопарностью одного из ораторов, болельщики начали хлопать и свистеть — в Польше это сочетание означает крайнее неодобрение. Кто-то пустил слух, что Миколайчик находится на стадионе, и трибуны начали скандировать его имя. Югославская сборная была смущена — даже «ошеломлена», как выразился один из комментаторов, — но матч продолжился, причем Польша проиграла. Ближе к концу встречи к стадиону подъехали два грузовика с активистами «Союза сражающейся молодежи», которые начали скандировать: «Да здравствует народная Польша, да здравствует народная армия!». Покидающие матч люди осыпали молодых коммунистов презрительными насмешками²⁹.

На следующее утро, 30 июня 1946 года, свыше 11 миллионов поляков явились на избирательные участки, продемонстрировав необычайную явку в 85,3 процента. Поначалу коммунистическая партия возликовала, решив, что подобная активность означает готовность нации следовать за ее призывами. Молодой экономист Брус занимался приемом отчетов о ходе референдума, поступавших из провинции. Он вспоминает, что, узнав первые цифры количества проголосовавших, его товарищи меняли настороженность на крайний энтузиазм: их опасения не оправдывались — бойкота не было. Если активность рабочих и крестьян столь высокая, то результаты должны быть хорошими. Партийные вожди сразу начали рассуждать, что парламентские выборы тоже будут для коммунистов легким делом³⁰.

Эйфория рассеялась довольно быстро. На участки действительно явились миллионы избирателей, но большинство последовало за призывом Миколайчика. Результаты голосования оказались для властей обескураживающими. Согласно архивным документам, лишь четверть населения проголосовала в соответствии с призывом «Трижды “да”». Подавляющее большинство сказала «нет» по меньшей мере по одному из вопросов³¹. На

протяжении десяти дней коммунисты скрывали итоги народного волеизъявления. Наконец они обнародовали абсолютно фальсифицированную подборку цифр, подделав соотношение «да» и «нет». Крестьянская партия заявила протест против очевидной фальсификации. У нее не было доступа к реальным цифрам, но из неформальных опросов, производимых ее информаторами на выходе с избирательных участков, было известно, что ответ «Трижды “да”» никак не мог составить большинство.

Коммунисты между тем стеной встали на защиту своей подделки. Таким образом, возникли декорации для еще более конфликтных парламентских выборов, которые решено было проводить не сразу, а спустя шесть месяцев.

Что же случилось? Обсуждая провал кампании, коммунистическая партия с горечью заключила, что массовое производство агитационных материалов и повсеместное размещение партийных лозунгов вызвали раздражение населения. Как писал во внутреннем отчете инспектор недавно созданного министерства информации и пропаганды, «после назначения референдума было очень важно сохранять осторожность и терпимость, поддерживая три позитивных ответа, которые и без того были предельно очевидны, но бесконтрольная агитация в пользу трех “да” заставила людей подозревать, что дело нечисто»³². В будущем, говорили коммунисты друг другу, агитаторов надо обучить правильной аргументации ответов на два наиболее распространенных вопроса избирателей: Почему Польша лишилась своих восточных территорий? И почему в стране до сих пор находятся советские войска? Некомпетентных агитаторов было решено увольнять немедленно. Основной упор надлежало делать не на листовки и плакаты, а на живое общение с электоратом³³.

Но, даже допуская мысль о наличии «ошибок» в пропагандистской работе, коммунисты не могли понять, почему рабочие и крестьяне столь массово отвергли их призывы. Увязнув в идеологии, которая, как предполагалось, приведет их к победе — должны же рабочие поддерживать рабочее государство! — они не могли постичь настроения своих соотечественников. Ведь

даже поляки, живущие на недавно аннексированных западных территориях, проголосовали против аннексии³⁴. Один из членов варшавского парткома заключил, что его сограждане, видимо, попросту впали в умопомрачение: «Во всем этом есть какой-то непостижимый дух отрицания и полного невежества, причем со стороны даже тех людей, для которых демократическое правление стало благом. Почему, например, пролетарские округа в Радоме во многих случаях трижды ответили “нет”? Почему так же проголосовали крестьяне Илжы и Енджеюва? Как объяснить, что даже военнослужащие и полицейские зачастую отвечали на вопросы референдума отрицательно?»³⁵.

В истории Польши референдум стал более важным поворотным пунктом, чем последовавшие за ним парламентские выборы. Прежде всего в ходе его проведения впервые был осознан тот факт, что пропаганда имеет свои пределы. Не только польские коммунисты, но и коммунисты других стран со временем сделали вывод о том, что «больше» отнюдь не значит «лучше». Что еще важнее, польские коммунисты после референдума твердо знали, что у них нет никаких шансов на «чистую» электоральную победу: им придется либо запугивать сторонников Миколайчика, либо фальсифицировать результаты голосования.

В конечном счете они сделали и то и другое. За полугодие, отделявшее дату референдума от даты парламентских выборов января 1947 года, спецслужбы арестовали все руководство Крестьянской партии в Кракове, обыскали и разгромили ее штаб-квартиру в Варшаве, вызвали на допрос и потом арестовали всех сотрудников ее департамента по работе с прессой. По сообщениям американского посла в Варшаве, «разгонялись даже те собрания партии, которые были посвящены польско-советской дружбе»³⁶. Все предвыборные встречи организовывались непосредственно армией, поскольку, как писал Брус, «армейский мундир действует гораздо эффективнее гражданского пропагандиста»³⁷. Под предлогом обеспечения безопасности по всей стране рассылались особые подразделения, призванные «защитить» публику от вооруженных партизан.

По мере приближения дня голосования используемая режимом тактика становилась все более наглой. За неделю до выборов имена кандидатов от оппозиции были исключены из бюллетеней в десяти из пятидесяти двух округов, в основном в юго-восточной части Польши, где у сторонников Миколайчика были традиционно сильные позиции. В последний предвыборный вечер коммунисты разослали активистам Крестьянской партии тысячи фальшивых телеграмм с одним и тем же текстом: «Вчера ночью Миколайчик погиб в авиакатастрофе». В своих мемуарах руководитель Крестьянской партии называет день голосования, 17 января 1947 года, «черным днем польской истории»: «Миллионы людей, которым было приказано проголосовать, открыто собирались на предприятиях, в учреждениях и в других назначенных местах и в сопровождении оркестров и вооруженного конвоя отправлялись на участки. ...Стоя в очереди к избирательным урнам, люди должны были держать над головой заполненные бюллетени с отмеченным в них номером 3 [номер коммунистического блока], чтобы проверяющие могли это видеть. Но, добавляет политик, подчинялись не все: «Сотни тысяч отважных людей, стоя в очередях, все же находили возможность заполнить бюллетени по своему усмотрению»³⁸.

Другие выходили из очередей и возвращались на участки только после ухода солдат. Все эти уловки, впрочем, не имели значения. Согласно официальным итогам выборов, 80 процентов польских избирателей проголосовали за «демократический блок», и лишь 10 процентов предпочли Крестьянскую партию. В знак протеста Миколайчик вышел из состава правительства. Новый парламент избрал президентом Польши Владислава Берута, а премьер-министром Юзефа Циранкевича, социал-демократа, желавшего объединить свою партию с коммунистами. Послы США и Великобритании заявили официальные протесты и бойкотировали церемонию открытия первой парламентской сессии, но это, разумеется, не имело никакого эффекта³⁹.

Через девять месяцев после описываемых событий, в октябре 1947 года, Миколайчик ускользнул из Польши, прибыл в британскую зону оккупации Германии, а оттуда вылетел в Англию.

Там он заявил, что его тайно предупредили о предстоящем аресте. И хотя англичане восприняли его заявления как проявление истерики, польский оппозиционер, возможно, был прав. Болгарин Никола Петков, возглавлявший противостоящую властям Аграрную партию, был арестован, отдан под суд и казнен летом 1947 года. Венгр Ференц Надь, лидер оппозиционной Партии мелких хозяев, посредством шантажа был отправлен в изгнание примерно в то же время. Что касается самой польской Крестьянской партии, то формально она продолжала жить — в лице упоминавшейся выше «декоративной» партии, созданной коммунистами специально к выборам 1947 года, не игравшей никакой роли в реальной политике и вскоре распущенной. После ухода партии Миколайчика легальная политическая оппозиция коммунистическому правлению в Польше исчезла на тридцать лет⁴⁰.

Электоральный провал Польской коммунистической партии не стал полной неожиданностью, по крайней мере для Москвы: у Сталина не было иллюзий по поводу политических симпатий поляков. Но Советский Союз по-прежнему верил в электоральную привлекательность коммунистов в других странах. Так, предполагалось, что коммунистические силы хорошо выступят на осенних выборах в восточной части Австрии, где все еще стояла Красная армия, а также в Румынии. Но ни одна страна не вызывала в Кремле больших надежд, чем Венгрия.

Действительно, Венгерская коммунистическая партия была абсолютно уверена в своем успехе на первых после войны общенациональных выборах, которым предстояло стать уникальным для венгерской истории случаем свободного и справедливого волеизъявления. Кампания в прессе и на публике была открытой и гласной. Впервые полное избирательное право было распространено на женщин, крестьян и неграмотных⁴¹. Свои списки для участия в выборах зарегистрировали шесть партий: Партия мелких хозяев, по социальной базе и идеологии напоминавшая польскую Крестьянскую партию; социал-демократы; коммунисты и три малые партии.

Сам Матяш Ракоши ожидал великого триумфа. Безработица и социальная неустроенность были таковы, что на улицы легко можно было вывести разгневанные и агрессивные толпы. Его партия не раз обращалась к этому оружию. Коммунистические вожди по всей стране организовывали массовые демонстрации с лозунгами и транспарантами. Присутствие красных активистов на улицах венгерских городов было столь заметным, что Ракоши предсказывал победу блока коммунистов и социал-демократов даже на столичных муниципальных выборах, намеченных за несколько недель до общенационального парламентского голосования. Выступая на заседании ЦК компартии, он говорил, что две левые партии «получат, вероятно, 70 процентов голосов, а может быть, и больше». Генерал Ворошилов, возглавлявший тогда Союзный Контрольный совет, подозревал, что Ракоши преувеличивает; в разговорах с Молотовым он сетовал на то, что венгерский лидер слишком увлекается массовыми шествиями⁴². Да, Ракоши действительно мог вывести на улицы 300 тысяч человек, но при этом он «даже не начал проводить с членами партии воспитательную работу». Ворошилову также казалось, что Ракоши «не уделяет достаточного внимания» экономике — этот эвфемизм использовался, когда стало очевидно, что экономическая политика венгерского руководства уже начала проваливаться⁴³.

В рядах коммунистов перечить Ракоши осмеливались немногие. Енё Селл, занимавшийся тогда в партии вопросами пропаганды (и в 1956 году выступивший против коммунистического правления), был назначен ответственным за предвыборную пропагандистскую работу в городе Папа в западной Венгрии. Накануне голосования его пригласили на региональное совещание по подведению итогов агитационной кампании. Слушая многочисленные отчеты о необычайной массовой поддержке, молодой партиец ощутил беспокойство: «Каждый оратор докладывал о том, что коммунистическая партия всех опережает, а две рабочие партии в совокупности получают абсолютное большинство. ...И я сказал себе: “Бедный Селл, тебе

придется либо присоединиться к большинству и солгать, либо сказать правду и нажать неприятности”»⁴⁴.

Молодой человек набрался храбрости и представил собравшимся объективную информацию. Согласно его оценкам, левая коалиция пользовалась в городе довольно слабой поддержкой. Партия мелких хозяев, напротив, была весьма сильна и могла завоевать большинство (в конечном счете так и случилось). Ракоши не принял этот отчет, заявив, что товарищ Селл заблуждается, что он встречался только с реакционерами, что в регионе нужно усилить пропагандистскую работу. И тогда скептики увидят, что все получится, как надо.

Однако все сложилось иначе. Первое потрясение случилось ночью 7 октября 1945 года, когда были подведены итоги муниципальных выборов в Будапеште. При подсчете бюллетеней выяснилось, что Партия мелких хозяев получила более половины голосов. Ракоши, «бледный, как смерть, упал в кресло, не говоря ни слова». Парламентские выборы 4 ноября оказались не лучше. Когда в партийный штаб начали поступать результаты общенационального голосования, Селл увидел, как еще один высокопоставленный коммунист «сначала побледнел, потом посинел, а затем позеленел». Контрреволюция наступает, объявил этот деятель: «Грядет белый террор»⁴⁵. Ракоши, на этот раз готовый к неожиданностям, реагировал на сообщения более спокойно; по воспоминаниям Селла, он вошел в кабинет, широко улыбаясь, и спросил: «Какие новости, товарищи?». «Мы мрачно рассказали ему, что происходит, и показали результаты, — рассказывает Селл. — “Перестаньте, товарищи, это всего несколько округов, гнилых и реакционных округов, эти цифры не должны вводить нас в заблуждение”. ...Именно тогда я понял, насколько опытным политиком является этот человек. Ракоши полностью осознавал, что мы потерпели сокрушительное поражение, но свою роль он исполнял идеально. Сообщив, что отправляется домой спать, он попросил подготовить полный отчет об итогах выборов к 6 часам утра завтрашнего дня. Пожелав нам хорошей работы, Ракоши попрощался, внешне в благостном расположении духа. ...Я убежден,

что сразу же после этого партийное руководство начало серию совещаний, посвященных обсуждению дальнейших действий»⁴⁶. Партия мелких хозяев одержала полную победу, получив 57 процентов голосов. Социалисты, показатель которых составил 17,4 процента, пришли вторыми. Коммунисты, чуть-чуть не дотянув до 17 процентов, финишировали третьими.

Хотя советские власти в Будапеште и раньше считали оптимизм Ракоши преувеличенным, масштабы поражения не могли не обеспокоить их. Им требовались «козлы отпущения». В докладе, отправленном в Москву, майор Тугарев из политуправления Красной армии объяснял провал «экономической ситуацией в стране», прежде всего инфляцией и нехваткой угля, а также происками «правых сил», исхитрившихся возложить ответственность за неудачи на коммунистов. Он обвинял Партию мелких хозяев в использовании антисоветских лозунгов и насилия, а также пространно анализировал враждебную деятельность кардинала Йозефа Миндсенти, примаса Венгерской католической церкви. По-видимому, Тугарев опасался, что в электоральном поражении могут обвинить Красную армию, в активе которой были многочисленные кражи, изнасилования и депортации, и что это будет иметь последствия для него лично. Венгры, заявлял политработник, порой сами «провоцируют» советских солдат на дурное поведение. Они угощают красноармейцев алкоголем, а также подсказывают им, какие дома стоит ограбить, выменивая потом полученные в ходе таких рейдов вещи на продукты и алкоголь. В итоге ответственность за все безобразия ложится на коммунистическую партию, известную своими теснейшими связями с Советским Союзом⁴⁷.

В свою очередь, Ворошилов без всякого стеснения винил в поражении своих венгерских союзников. Он сообщал Сталину, что в Венгерскую коммунистическую партию во множестве просочились «криминальные элементы, карьеристы и авантюристы, люди, которые прежде поддерживали фашистский режим или даже состояли в фашистских организациях». По его словам, «партии очень вредит то, что ее возглавляют деятели, не являющиеся венграми по происхождению». Разумеется, под

этим имелось в виду, что среди венгерских коммунистов слишком много евреев⁴⁸. Пройдет немного времени, и Ракоши подвергнет репрессиям именно тех «козлов отпущения», на которых указали советские друзья: Партию мелких хозяев, Миндсенти и церковь, а также коммунистов-евреев (по крайней мере некоторых из них).

На первых порах Партия мелких хозяев пыталась воспользоваться плодами собственной победы. Ее лидер Золтан Тилди и ставший спикером парламента Ференц Надь объявили Ракоши, что их партия хотела бы получить половину министерских постов в новом кабинете — вполне разумный расчет, поскольку партия заручилась поддержкой больше половины избирателей. Оставшиеся голоса, по их мнению, следовало разделить между всеми остальными партиями. Они также попробовали вывести из-под контроля коммунистов министерство внутренних дел или хотя бы некоторые его подразделения.

Все эти усилия, однако, оказались тщетными. Ворошилов, действуя по указанию Москвы, велел Ракоши проинформировать Тилди и Надя о том, что за 17 процентами голосов, полученных коммунистами, стоит рабочий класс — самая активная сила страны. Более того, поскольку тяжелое бремя восстановления экономики «лежит на плечах рабочего класса», он заслуживает расширенного представительства в органах власти. По мысли советского чиновника, руководство Партии мелких хозяев должно было понимать, что «Венгрия находится в особых условиях. Будучи страной побежденной, она благодаря великодушию Советского Союза получила возможность быстрого возрождения на демократической основе». Широкое присутствие рабочего класса в новом парламенте станет гарантией того, что Венгрия выполнит свои обязательства перед Советским Союзом⁴⁹.

В нормальных обстоятельствах ни одна демократически избранная политическая партия не обратила бы внимания на столь вопиющую чушь. Но к ноябрю 1945 года уже был арестован отец Киш. Еще были свежи воспоминания о массовых арестах, произведенных Красной армией. Полиция уже принялась

разгонять молодежные группы, а коммунистическая пропаганда заполонила радио. Советские представители были недовольны — и Тилди уступил. Коммунисты получили МВД — Ласло Райк, их знаменитость, стал министром внутренних дел, — а Ракоши сделался заместителем премьер-министра. Тилди получил пост главы правительства, однако в феврале покинул его, передав кресло Надю.

После этого Партия мелких хозяев быстро начала разваливаться. Находясь под постоянным давлением, ее руководители совершали одну ошибку за другой. В последующие месяцы коммунисты, создавая временные коалиции с другими партиями, повсеместно атаковали отдельных политиков из Партии мелких хозяев или целые ее фракции. В качестве средств давления использовались массовые демонстрации и обличительные кампании в газетах и на радио. В начале марта левая коалиция организовала кампанию в СМИ, призывавшую к изгнанию из Партии мелких хозяев «реакционных элементов», а затем провела гигантскую демонстрацию под тем же лозунгом. Через два дня Надь сдался и, потакая толпе, исключил из своей организации ряд «реакционеров». Позже из его партии выделилась фракция, переименовавшая себя в Венгерскую партию независимости, которую возглавил Дежё Шуйок. Ее лидеры надеялись дистанцироваться от Тилди и Надя, которых левая пресса воспринимала с ненавистью, а единомышленники упрекали в слабости. На протяжении всего следующего 1946 года в стране продолжались аресты сторонников партии, включая бывших партизан-антифашистов и молодых членов.

Осенью появились слухи, что правоохранные органы инициировали расследование в отношении руководства Партии мелких хозяев. Сначала неявно, а потом открыто газеты, политики и советские власти в Венгрии начали обвинять Белу Ковача, генерального секретаря партии и близкого друга Надя, в подготовке переворота. После того, как советский посол открыто назвал Ковача заговорщиком, Ракоши посоветовал Надю избавиться от него. Но Ковач быстро уехал в «отпуск» в деревню, а венгерская полиция не торопилась задер-

живать его. Тогда в дело вмешалась советская военная администрация, которая 26 февраля 1947 года сама арестовала политика: «Ковачу прямо на дому был предъявлен ордер на арест, подписанный советским военным комендантом; его жилище обыскали, бумаги конфисковали, а самого увезли»⁵⁰. Ковач провел в тюрьме в СССР восемь лет.

Вот так, кусочек за кусочком, согласно линии, позже получившей название тактики салями (постепенного продвижения к цели), изводилась главная оппозиционная партия Венгрии. После исчезновения Ковача многие активисты начали покидать ее сами. Лидеры Партии мелких хозяев и двух других легальных некоммунистических партий один за другим уезжали из страны. В мае 1947 года Венгрию покинул и Ференц Надь, хотя до сих пор не ясно, сделал ли он это добровольно или его заставили уехать. Как бы то ни было, он каким-то удивительным образом выбрал для отпуска именно тот политически острый момент, когда его организация распадалась на части, а единомышленники удалялись в изгнание. Столь же интересно и то, что он взял с собой жену, но оставил в Венгрии сына. Добившись от Ракоши сомнительного обещания не принимать в его отсутствие нового законодательства о национализации, Надь выехал в Швейцарию — официально для того, чтобы изучать швейцарский опыт сельского хозяйства. («В мои намерения не входило нежиться на курортах», — объяснял Надь в своих мемуарах.)

Почти сразу же после выезда из страны он начал принимать телефонные звонки из Будапешта, в которых сначала ему приказывали вернуться на родину, а потом настоятельно советовали не делать этого. Арестовали личного секретаря Надя, его обвиняли в подрывной деятельности. Самому Надю говорили, что он не доедет до Будапешта, если вдруг попытается сделать это — по дороге с ним может «что-нибудь случиться», возможно, на границе. «Вы недооцениваете серьезность ситуации», — предупредил его Ракоши, когда Надь в телефонном разговоре назвал обвинения своего сотрудника в заговоре «позорной ложью». После нескольких дней метаний Надь выбрал эмигра-

цию. Он написал заявление об отставке с поста председателя правительства, которое передал венгерским властям в обмен на возвращение ему сына: «В конце концов, заключив в объятия своего ребенка, я вручил эмиссару коммунистов письмо о сложении полномочий — документ, который был крайне нужен им, чтобы “легализовать” их государственный переворот»⁵¹.

С устранением Надя, а также других политиков, вслед за премьер-министром выбравших эмиграцию, исход выборов 1947 года можно было считать предрешенным. Но даже теперь коммунисты не желали допускать никаких неожиданностей. Накануне голосования они удалили из списков избирателей тысячи людей, не только «врагов», но и их друзей и родственников, а также тех, кто недавно вернулся из лагерей для военнопленных. В ходе предвыборной встречи, состоявшейся в июле, один из активистов без обиняков изложил замысел партии. Он надеялся, что в целом права голосовать лишатся от 700 до 800 тысяч человек. «Товарищи, вы не должны быть слишком законопослушными, — объяснял он. — Нам нужно потихоньку распространять идею, что после выборов социал-демократы объединятся с коммунистами. Нужно также пустить слух, что деревни, где коммунисты получают большинство, смогут рассчитывать на дополнительную правительственную помощь»⁵².

Некоторые партийцы предлагали активистам проявлять «забывчивость», когда речь заходила о выдаче регистрационных документов определенным избирателям. Стараниями Енё Селла в курируемом им округе коммунистическая партия была обозначена в бюллетене в первой строке: он просто договорился с «надежной активисткой» о том, что в ходе якобы «нейтральной» жеребьевки бумажка коммунистов будет извлечена из шляпы первой. Кое-где коммунисты формировали банды молодчиков, которым поручалось разгонять митинги и собрания других партий. Лидер Венгерской партии независимости Дежё Шуйок рассказывает, что случилось, когда он попытался выступить на предвыборном собрании: «Отовсюду неслись крики: “Выкинуть его в окно! Забить его до смерти! Повесить его! Изменник!” ...Когда подошла моя очередь, толпа впала в

еще большее неистовство. Поскольку в этом бедламе я не мог произнести ни слова... мы встали и запели папский гимн. Часть толпы разразилась бранью, а другие в ответ затянули “Интернационал”. Это был шанс для меня и моих людей. Пока толпа вставала, изготавливаясь петь пролетарский гимн, мы быстро покинули подиум. ...Некоторые, однако, заметили наш маневр; снова зазвучали выкрики: “Не выпускайте их, хватайте, выбросьте их из окна!”...». Позже Шуйок подал жалобу министру внутренних дел Райку. «Как коммунист, — заявил ему тот, — не стану скрывать от вас, что, если бы это зависело от меня, всех вас убили бы». Вскоре оппозиционер покинул страну⁵³.

К 31 августа 1947 года, когда состоялось голосование, из списков избирателей были исключены около 500 тысяч человек — около 8,5 процента всего электората. Еще 300 тысяч вообще не появились на участках; возможно, этих людей запугали. Несмотря на все это, коммунисты, желая твердо гарантировать себе успех, пошли еще на один обман: они выдали десятки тысяч специальных голубых бюллетеней созданным ими командам граждан, которые голосуют в «чужих» избирательных округах, поскольку находятся якобы в отпуске или командировке. Эти бригады переезжали из округа в округ, голосуя повсюду, причем особого секрета из своего занятия они не делали. Их перевозили из одной деревни в другую на грузовиках венгерской армии и даже на советских автомобилях. Поездки сопровождались смехом и песнями; активисты явно были рады участвовать в этом фарсе⁵⁴.

В стране почти не оказалось тех, кто протестовал бы против всего этого беззакония. Одной из немногих была Сара Кариг, член Социал-демократической партии с 1943 года и участница антифашистского Соппротивления с 1944 года. Будучи другом и коллегой шведского дипломата Рауля Валленберга, эта женщина помогла сотням венгерских евреев сбежать из гетто, приобрести фальшивые документы, спрятать детей в приютах, покинуть Венгрию. С ее помощью обзаводились фальшивыми документами и венгерские коммунисты. (Ее будапештская квартира, по свидетельству очевидца, была «настоящей фабри-

кой по изготовлению свидетельств о рождении».) После войны она продолжила заниматься политической деятельностью и в 1947 году в качестве социал-демократа была назначена главой избирательной комиссии одного из районов Будапешта. На этом посту она наладила неформальное телефонное сообщение с избирательными участками на территории района, позволявшее оперативно отслеживать явку избирателей. К концу дня ей стало понятно, что выборы фальсифицированы. О нескольких случаях двойного голосования Кариг лично уведомила полицию. Фальсификаторы — члены компартии — были задержаны, хотя потом их быстро отпустили.

На следующий день арестовали саму Кариг. Ее схватили прямо на улице, насильно усадили в черную советскую машину и доставили в штаб Красной армии в Бадене неподалеку от Вены. Там женщину держали в заключении три месяца, обвиняя в шпионаже, допрашивая и пытая. В конечном счете ей было сказано, что, хотя улики против нее нет, ее высылают из страны как лицо, «препятствующее венгерскому демократическому процессу». Со временем Кариг оказалась в Воркуте, в одном из самых суровых лагерей ГУЛАГа. Ее родственникам, друзьям и коллегам в Будапеште не предоставили никакой информации о судьбе пропавшей. Ракоши и Райк заявляли, что не располагают данными о ее местонахождении. Даже представители советской военной администрации в Венгрии с невинным видом говорили, что они ничего не знают, но не исключают, что Кариг эмигрировала на Запад.

Кариг вернулась домой лишь в 1953 году, после смерти Сталина⁵⁵. Между тем подавление протестной активности оказалось успешным: всего лишь за один год венгерское правительство отказалось от всяких претензий на то, чтобы изображать из себя парламентскую демократию. Отныне Венгерская коммунистическая партия правила страной в одиночку.

Подобно своим единомышленникам в других странах восточного блока, Ульбрихт и его окружение были уверены, что

левые силы могут и должны выиграть общенациональные выборы в Германии. В сентябре 1945 года Вильгельм Пик конфиденциально писал, что немецкие рабочие не только «понимают, что Гитлер привел страну к катастрофе», но также осознают, что Советский Союз гарантирует Германии «стабильный рост и хорошие перспективы». Следовательно, они отдадут предпочтение политикам, которые симпатизируют СССР. Спустя несколько месяцев Пик вновь заявил, что выборы определенно принесут победу «пролетарскому режиму»⁵⁶.

Немецкие коммунисты проявляли осторожность лишь в одном отношении. Как их венгерские и польские собратья, они предпочитали идти на выборы в коалиции с германскими социал-демократами. «Если мы сумеем размыть границу, отделяющую умеренных левых от крайних левых, — считали они, — то немецких рабочих удастся завоевать с легкостью». Действительно, со временем всем социал-демократическим партиям Центральной Европы пришлось объединиться с коммунистическими партиями. Но первое такое «добровольное» объединение левых — упразднение социал-демократии как чего-то обособленного и отличного от коммунизма — произошло в Восточной Германии.

Процесс шел нелегко. У социал-демократов Германии и всей Восточной Европы была долгая и достойная история, а многие из них были убежденными антисоветчиками и антикоммунистами. Немецкие коммунисты, со своей стороны, тоже издавна презирали социал-демократов⁵⁷. На заре XX века Ленин затеял знаменитую ссору с Каутским, одним из «отцов» германской социал-демократии, который отважился выступить против революции, отстаивая завоевание власти посредством выборов. В написанной в 1918 году работе «Пролетарская революция и ренегат Каутский» Ленин обрушился на своего немецкого товарища как на болтуна, несущего чушь и изрекающего абсурдный вздор о буржуазной демократии⁵⁸. По всей Восточной Европе социал-демократы выступали с менее радикальными программами, чем коммунисты. Они отстаивали не диктатуру пролетариата, а то, что сейчас называется «социальным государством»,

и ориентировались на эволюцию, а не на революцию. Но больше всего ненависть коммунистов подогревалась тем, что их конкуренты пользовались большей популярностью, как до войны, так и после нее.

Однако опыт политического краха, пережитый социал-демократической партией по вине нацистов, деморализовал ее. В Веймарской республике левые силы оказались расколотыми, а правые выиграли от этого раскола. После 1945 года многие были убеждены в том, что именно неспособность левых к единству позволила Гитлеру прийти к власти. Отто Бухвиц, ветеран СДПГ, в марте 1946 года объявил о своей поддержке объединения его партии с коммунистами. «Реформизм», — писал он, — провалился; теперь для социал-демократов наступило время осваивать «революционный социализм» рука об руку с коммунистами».

Свою роль в этих процессах сыграло и советское влияние. Отто Гротеволь, возглавлявший социал-демократов восточной зоны, в августе 1945 года заявил, что его партия имеет право на независимость и не будет выдвигать общий с коммунистами избирательный список. В октябре он повторил этот тезис в беседе с Куртом Шумахером, лидером социал-демократов западной зоны. Через два месяца, в декабре, он выступил с речью на объединенном собрании социал-демократов и коммунистов, где перечислил десять аргументов против объединения двух партий. Самое главное, по его словам, заключалось в том, что «в рядах социал-демократов материализовалось глубокое недоверие к братской коммунистической партии»⁵⁹.

Впрочем, Гротеволь сменил тональность довольно быстро. В феврале 1946 года он поделился с британским чиновником своей крайней обеспокоенностью. Поскольку, объяснял лидер СДПГ, лично его «щекочут русскими штыками», а давление, которому подвергается партия, привело к тому, что «партийные структуры в провинции полностью развалены», больше нет смысла сопротивляться объединению с коммунистами⁶⁰. Позиция Гротеволья стала иной из-за того, что осенью 1945 года изменилась тактика немецких коммунистов и их покровителей

из советской военной администрации. Провал коммунистических сил в Венгрии, слабое выступление Австрийской коммунистической партии на ноябрьских выборах, где она, несмотря на высокие ожидания, сумела получить лишь четыре места в парламенте, а также популярность социал-демократов в западных оккупационных зонах убедили коммунистов Восточной Германии и их советских менторов в том, что время для объединения пришло. В начале 1946 года командование Красной армии на местах получило указание содействовать слиянию двух левых партий. В последующие несколько месяцев около 20 тысяч социал-демократов, осмелившихся возражать против объединения, «подверглись преследованиям, тюремному заключению или даже убийству»⁶¹. Депутат городского совета Берлина Руфь Андреас-Фридрих записала в своем дневнике: «Кто мы такие, чтобы сопротивляться давлению великой державы? В восточной зоне процесс слияния идет с неумолимой последовательностью»⁶².

Гротеволь, подобно Циранкевичу в Польше, мог также руководствоваться тем соображением, что если он «подыграет» коммунистам, то у него появится шанс обзавестись хорошей работой. (Со временем так и получилось: с 1949 года до самой своей кончины в 1964-м он был премьер-министром ГДР.) Будь то из-за страха, оппортунизма или того и другого, но Гротеволь согласился на объединение. Социалистическая единая партия Германии (*Sozialistische Einheitspartei Deutschlands* — *SED*) была учреждена на объединительном съезде 21–22 апреля 1946 года. «Речь идет не о создании однопартийной системы, а о консолидации объединенного антифашистского демократического фронта, — комментировала это событие коммунистическая газета *Neues Deutschland*. — Наличие такой партии, представляющей миллионы, в долгосрочной перспективе не оставит места ни для каких фракционных групп». Андреас-Фридрих в своем дневнике едко подытожила: «Система не однопартийная, но, с другой стороны, для других партий нет места»⁶³.

Хотя Гротеволь поддался давлению, не все товарищи по партии последовали его примеру. Во время бурной встречи с бер-

линскими социал-демократами громкие выкрики «Лакей!», «Не желаем насильного объединения!», «Не позволим себя изнасиловать!» не давали ему говорить. «Возмущенные голоса звучали все громче. В них слышалось все больше злости, все больше и больше страсти. Слова выступающего тонули в этих криках. “Предатель... обман... отставка... прекратить...”». Кто-то затыкнул гимн социалистов, и товарищи немедленно поддержали певца. Лица светились гордостью и возбуждением. “Теперь мы не позволим себя унижить. Впервые за тринадцать лет мы защитили свою свободу”»⁶⁴.

Больше 80 процентов берлинских социал-демократов проголосовали против объединения с коммунистами. Это голосование поставило обе партии в довольно странное положение. Покинув политическую арену на большей части Восточной Германии, Социал-демократическая партия оставалась главной политической силой города Берлина. Кроме того, ее берлинское отделение, занимая все более антикоммунистические позиции, начало налаживать тесные связи с столь же антикоммунистической западногерманской СДПГ. Курт Шумахер открыл в городе «Восточное бюро», призванное помогать местным социал-демократам, оказавшимся под советским давлением. Ульбрихт в своих пространственных речах нападал на Шумахера, называя его «реакционером, проводящим раскольническую политику»⁶⁵.

Начавшаяся на этом фоне в сентябре 1946 года первая в послевоенной Германии предвыборная кампания по выборам в местные и земельные органы власти представляла интересное зрелище. С самого начала советская военная администрация и ее пропагандистское подразделение, возглавляемое полковником Тюльпановым, тщательно курировали ее ход. «Все решения СЕПГ должны согласовываться с советскими властями», — заявил Тюльпанов. Полковник убедил вышестоящее начальство на время приостановить выплату репарационных платежей, расширить поставки сырья в восточную зону, а также увеличить норму отпуска продуктов для детей и беременных женщин⁶⁶.

Невзирая на первоначальный скептицизм относительно политических талантов своих немецких союзников, советские военные к концу лета все же более или менее уверились в их победе. Располагая неограниченным доступом к бумаге, немецкие коммунисты, подобно их польским собратьям, отпечатали сотни тысяч плакатов и миллионы листовок. Прочим партиям приходилось буквально сражаться за бумагу. СЕПГ целенаправленно использовала нейтральные и успокаивающие лозунги — «Единство, мир, социализм!» или «Единая Германия: сделаем наше будущее безопасным!» — воздерживаясь от слова «коммунизм», а также от любого упоминания Советского Союза. Во всех пяти землях советской зоны советские чиновники открыто агитировали за СЕПГ. В некоторых регионах командование Красной армии допускало кандидатов к выборам или снимало их с дистанции, а также санкционировало все предвыборные мероприятия⁶⁷.

Но, несмотря на все принятые меры, итоги голосования оказались разочаровывающими. СЕПГ не смогла завоевать большинство в регионах: она была вынуждена договариваться о разделе власти с «буржуазными» христианскими демократами и либеральными демократами. В Берлине, где социал-демократы вели кампанию отдельно от «объединенной» СЕПГ, а выборы одновременно проходили в восточной и западной частях города, результаты оказались просто катастрофическими. СДПГ решительно победила, получив 43 процента голосов в советской зоне и 49 процентов по городу в целом. СЕПГ добилась лишь 19,8 процента голосов, отстав даже от христианских демократов, получивших 22,2 процента⁶⁸.

Тем не менее партия попыталась интерпретировать итоги выборов в позитивном ключе. Редакционный заголовок в *Neues Deutschland* объявлял о «крупной победе СЕПГ в восточной зоне». Но за кулисами партийное руководство не скрывало своего разочарования, а советские власти — негодования. В Москве обсуждали перспективы смены курса и говорили об отставке Тюльпанова. В берлинской штаб-квартире Красной армии шли даже разговоры о том, что «демократию нельзя

насаждать только штыками» и что нужна либерализация политики⁶⁹.

Однако вместо либерализации советская военная администрация решила перейти к «закручиванию гаек». Одним из тех, кто ощутил на себе смену курса, стал Эрнст Бенда. В 1946 году этот молодой человек изучал право в Университете Гумбольдта в Восточном Берлине и возглавлял студенческую ассоциацию Христианско-демократической партии. Христианская демократия казалась ему тогда очевидным выбором: «После того, что мы пережили при нацистах, нам просто необходимо занимать активную политическую позицию, привносить в нее личные религиозные убеждения, стараясь формировать политику, достойную веры в нее»⁷⁰.

Партия выделила Бенде маленький офис неподалеку от университета, где он мог проводить внутренние дискуссии с участием партийных лидеров. В то время ХДС была расколота на две фракции. Первую из них, прозападную и антисоветскую, возглавлял Конрад Аденауэр. Члены второй группы, руководимые Якобом Кайзером, полагали, что возможен компромисс между Востоком и Западом, который позволит избежать раздела Германии. В платформе партии не было ничего «консервативного» в современном смысле этого слова. «Если вы посмотрите на программу ХДС Восточного Берлина той поры, то без труда убедитесь, что она левее многих левых программ», — говорил Бенда в 2008 году.

Но даже ориентация на левое крыло христианской демократии — в то время Бенда отстаивал создание государства «всеобщего благосостояния» и сосуществование частного предпринимательства с некоторой централизацией экономики — не избавила студенческую ассоциацию ХДП от конфликта с университетскими коммунистами. Когда в 1947 году здание университета украсили алыми знаменами по случаю большого собрания коммунистов, Бенда выступил с протестом. В содружестве с другими активистами он распространял листовки, в которых спрашивалось, где же учатся студенты — «в Университете Гумбольдта или Высшей партийной школе?».

Большинство в студенческом совете — этот орган, как и весь Берлин, раскололся по линиям партийного размежевания — поддержало Бенду и его друзей из ХДС. «Не важно, за какую партию вы голосуете; гораздо важнее то, какую партию вы не поддерживаете, — говорил Бенда на одном из университетских митингов. — Все понимают, что я имею в виду. ...Вы можете быть за коммунистов или против них. Но если вы против, то не имеет значения, кого именно вы поддерживаете — социал-демократов, христианских демократов или кого-то еще».

На рубеже 1947 и 1948 годов подобные протесты звучали все чаще. Власти отвечали на них все более жесткими репрессиями. Манфред Кляйн, лидер ХДС, пытавшийся сотрудничать с руководством Союза свободной немецкой молодежи, был арестован еще весной 1947 года, а протестные акции в университетах Ростока, Иены и Лейпцига повлекли за собой новые аресты. Еще один студенческий лидер, Арно Эш, был приговорен советским военным трибуналом к смерти (расстрелян в Москве в 1951 году. — *Ред.*)⁷¹. В Берлин репрессии пришли с небольшой задержкой, поскольку союзники внимательно наблюдали за тем, что происходит в восточной части города, — но все же пришли. Пауль Вандель, ректор Университета Гумбольдта, отчислил трех студенческих активистов. В ответ студенческий совет, в котором все еще преобладали противники коммунистов, проголосовал за забастовку.

История этого противостояния завершилась очень быстро, причем как лично для Бенды, так и для христианских демократов Восточного Берлина. В своих воспоминаниях он рассказывал: «Однажды в марте 1948 года я узнал о том, что мой друг, студент, состоящий в ХДС, был арестован прямо на станции метро “Фридрихштрассе” [на ветке, ведущей в западную часть города]. ...Я незамедлительно отправился в штаб-квартиру партии и позвонил другому товарищу, также входящему в руководство нашей студенческой группы. Он находился тогда где-то в американском секторе. Связавшись с ним, я рассказал о том, что слышал, и спросил, что мы можем сделать в этой ситуации. Как только я задал вопрос, кто-то вмешался в наш разговор.

Неизвестный произнес всего четыре слова: *Seien Sie nur vorsichtig* [Будь осторожен]. ...Я мгновенно все понял: человек, работа которого заключалась в подслушивании телефонных разговоров, использовал свои возможности, чтобы предупредить меня об опасности». Бенда повесил трубку и, покинув офис, отправился на станцию метро — но не на «Фридрихштрассе», где только что задержали его коллегу, а на «Кохштрассе», также находящуюся неподалеку от границы. Через несколько минут он уже был в американском секторе. В Восточный Берлин Бенда вернулся лишь через сорок лет⁷².

К концу 1947 года Миколайчик бежал из Польши и жил в Великобритании. Надь отправился в изгнание, обосновавшись в конце концов в Соединенных Штатах. Якоб Кайзер ушел с поста председателя ХДП восточной зоны оккупации и собирался, подобно Бенде и многим его единомышленникам, перебраться в Западный Берлин. Со дня окончания войны прошло всего три года, но за это время всякая организованная и легальная оппозиция коммунистическому режиму была уничтожена. 1948-й — год, когда началась блокада Берлина, — часто называют отправной точкой холодной войны и утверждения сталинизма в Восточной Европе. Это, однако, не вполне справедливо: утверждение сталинизма, тоталитаризма или советизации началось задолго до этой даты.

К осени 1947 года Сталин уже не пытался доказывать внешнему миру, что он намеревается придерживаться буквы Ялтинских соглашений. Во время войны, желая продемонстрировать западным союзникам свою добрую волю, он прекратил работу Коминтерна. Но теперь им создавалась новая организация — Информационное бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформбюро) — и это был явно агрессивный жест в отношении тех же самых союзников.

Хотя разговоры о воссоздании международного органа, объединяющего «революционные» коммунистические партии, ходили давно, непосредственным импульсом для создания Коминформбюро послужила весть о том, что президент Гарри

Трумэн и его государственный секретарь Джордж Маршалл собираются реализовать план, направленный на восстановление европейской экономики посредством масштабных инвестиций и крупных кредитов. В 1947 году в речи, впервые излагавшей «доктрину Трумэна», президент США заявил, что «ростки тоталитаризма питаются бедностью и нищетой». Практическим воплощением доктрины стал «план Маршалла», обеспечивший основу для возрождения Европы. Внесенный в июне 1947 года план был нацелен на реконструкцию европейской экономики, а также — в зависимости от позиции оценивающего его наблюдателя — на искоренение угрозы коммунистической революции или на упрочение западного капитализма. Согласно одному из американских комментаторов того времени, «план сформирует в Европе такую экономическую среду, которая будет благоприятной для зарождения и развития демократии и экономического процветания». Кроме того, он сможет «предотвратить распад политической и экономической структуры континента» и тем самым снизит риск коммунистической революции в Западной Европе, которая тогда считалась реальной угрозой⁷³.

Поначалу «план Маршалла» вверг Советский Союз в полное замешательство. Когда было объявлено о проекте, польское правительство, отчаянно желая присоединиться к нему, запросило инструкции из Москвы.

Молотов ответил, что у него пока нет детальной информации по этому вопросу⁷⁴. Инстинктивной реакцией югославского правительства был отказ от участия, но оно тоже на всякий случай обратилось за советом в Москву⁷⁵. Чехословацкое правительство между тем, решив, будто у него есть выбор, проголосовало за принятие американского предложения и за участие в конференции по обсуждению «плана Маршалла», созываемой в Париже. В ответ Сталин вызвал председателя Чехословацкой коммунистической партии Клемента Готвальда и министра иностранных дел Яна Масарика, не являвшегося коммунистом, в Москву. Там он объяснил гостям, что американцы «пытаются создать западный блок и изолировать Советский Союз».

Чехословакии, по мнению вождя, не пристало участвовать в подобных делах; он грубо приказал визитерам воздержаться от присутствия на конференции: «Необходимо, чтобы вы *прямо сегодня*, 10 июля 1947 года, объявили о своем отказе ехать в Париж». Именно так они и поступили⁷⁶.

Коминформбюро стало ответом Сталина на вызов Трумэна. Новая организация была призвана символически сплотить сталинский блок и позволить сателлитам СССР более эффективно бороться с западной «пропагандой». С его учреждением теряло смысл понятие особого — польского, немецкого, чешского, венгерского — пути к коммунизму. Все коммунистические партии мира должны были принять единую линию, как на востоке, так и на западе Европы. К вступлению в новую организацию пригласили десять коммунистических партий. Восточную Европу представляли Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Советский Союз, Чехословакия и Югославия, а Западная Европа была представлена партиями из Франции, Италии и «Свободной территории Триест» (в то время спорной территории, позже разделенной между Италией и Югославией).

Далеко не все участники первой конференции новой организации, состоявшейся в польском курортном городке Шклярска-Поремба в сентябре 1947 года, отдавали себе отчет в ее предназначении. Гомулка, представлявший хозяев форума, в своей вступительной речи подчеркивал «неформальный характер» встречи и наивно рассуждал о «потребности в обмене опытом между коммунистическими партиями». Никакой обмен опытом, однако, вовсе не предусматривался. Советская делегация быстро взяла мероприятие под контроль и навязала ему свою повестку. Андрей Жданов, отвечавший у Сталина за вопросы культуры, выступил с энергичной речью, в которой рассуждал о «новой расстановке сил», «образовании двух лагерей» и «американском заговоре по порабощению Европы». В конце он представил собравшимся проект резолюции, в котором европейский континент изображался полем противостояния между «политикой СССР» и его союзников, «призванной сокрушить империализм и укрепить демократию», и «политикой США и

Великобритании, нацеленной на упрочение империализма и удушение демократии»⁷⁷.

Порой создание Коминформбюро описывают как внезапную и решительную демонстрацию советского могущества, предопределившую судьбу всех присутствовавших на встрече сторон. Иногда это событие называют поворотным пунктом, после которого Советский Союз отказался от терпимого отношения к плюрализму внутри восточного блока. Наконец, в ревизионистских интерпретациях истории холодной войны конференция в Шклярска-Порембе предстает панической реакцией Кремля на агрессию Запада и неприкрытый империализм «плана Маршалла».

И все же более внимательное чтение речей, с которыми выступали делегаты конференции, открывает несколько иную картину. Согласно их собственным оценкам, почти все коммунистические партии, участвовавшие в работе форума, к тому моменту уже держались за власть мертвой хваткой. Гомулка, например, хвастался тем, что «несмотря на коалиционный состав правительства», Польская коммунистическая партия закрепила за собой все важные посты «в министерстве безопасности и министерстве обороны», причем в спецслужбах ее сторонниками укомплектованы и все рядовые должности. Он также пространно повествовал об уничтожении польскими коммунистами своих социалистических собратьев, бахвалился поражением, нанесенным Крестьянской партии, и с юмором описывал новую, кастрированную и ориентированную на режим «крестьянскую партию», пришедшую ей на смену⁷⁸.

Йожеф Реваи, представлявший Венгрию, также излучал самодовольство. «В результате недавних выборов, — объяснял он делегатам, — мы стали ведущей партией, хотя прежде на протяжении четверти века оставались небольшой группой подпольщиков». Он говорил о «ликвидации Ференца Надя» и о развале Партии мелких хозяев, на которую «возлагали надежды американские и британские империалисты». В свою очередь, румыны сообщали об успехах своего «блока демократических партий», позволивших «углубить процесс демократического

развития» и устранить оппонентов. Даже чешский коммунистический лидер Рудольф Сланский самодовольно заявлял о том, что его партия, еще не получив пока всей полноты власти (она добилась этого лишь через несколько месяцев), уже утвердилась в Чехословакии режим народной демократии⁷⁹.

Информационному бюро коммунистических и рабочих партий не удалось стать ни постоянно действующим, ни сколько-нибудь влиятельным институтом. Оно не преуспело в координации политики, проводимой блоком, и в 1956 году было распущено. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), образованный в 1949 году, оказался более живучим и вредоносным органом, ибо он на протяжении десятилетий реформировал экономические отношения в границах восточного блока. Тем не менее создание Коминформбюро отметило завершение целой эпохи. После встречи на польском курорте коммунистические партии Восточной Европы уничтожили даже фиктивную оппозицию.

На практике это означало исчезновение последних признаков социал-демократии. Немецкая социал-демократия уже была сокрушена. В 1948 году польских социал-демократов тоже заставили объединиться с польскими коммунистами. Единую партию назвали Польской объединенной рабочей партией (ПОРП) (*Polska Zjednoczona Partia Robotnicza* „*PZPR*”), хотя и тогда и позже ее по-прежнему именовали коммунистической. Венгерские коммунисты проглотили социалистов в том же 1948-м. В их случае имя для новой структуры было выбрано в Москве. Венгры предлагали назвать ее Венгерской рабоче-крестьянской партией, но русские настояли на удалении слова «крестьянская». В итоге на свет появилась Венгерская рабочая партия (*Magyar Dolgozók Pártja* „*MDP*”). Разумеется, новорожденная структура присвоила себе все активы прежней социалистической партии, включая ее газеты, и изгнала из своих рядов тех, кто не проявлял по поводу объединения должного энтузиазма⁸⁰. Ее членов также обыденно считали коммунистами.

Все эти изменения эхом отозвались в других институтах. Прямо накануне объединения двух партий коммунистический

вождь Ракоши и руководитель социал-демократов Арпад Сакашиц приехали на Венгерское радио, чтобы принять участие в интервью в прямом эфире. Прибыв на место, они на час уединились в отдельной комнате. За две минуты до начала программы оба появились в студии, вручив радиожурналисту не только список вопросов, которые он должен был задать, но и предполагаемые ответы. «Не провали это дело и получишь премию в 500 форинтов», — шепнул на ухо журналисту его начальник⁸¹. Все претензии на демократическую состязательность были отброшены. Вслед за этим в прах рассыпалась и свобода прессы.

В других странах блока в политике воплощались те же тенденции. Подобно прочим братским партиям, Чехословацкая коммунистическая партия в какой-то момент поняла, что ее поддержка в народе слабеет. На парламентских выборах 1946 года она получила 38 процентов голосов. Но в 1947 году, отчасти из-за непопулярного решения отказаться от участия в «плане Маршалла», партия знала, что большой удачей для нее станут хотя бы 20 процентов. Уподобляясь остальным «маленьким Сталиным», Готвальд решил идти к власти в обход демократических процедур. В феврале 1948 года он организовал конституционный переворот, а потом ликвидировал оставшуюся оппозицию⁸².

Примерно так же развивались события и в Болгарии: вслед за победой левого блока на парламентских выборах болгарские коммунисты распустили некоммунистические партии, вступившие с ними в союз (как сказал Сталин Димитрову, «выборы закончились, и оппозиция может идти к черту»). Они также убили единственного серьезного оппонента, Николу Петкова, который, несмотря на террор и подтасовки, сумел завоевать третье место на болгарских выборах 1946 года⁸³.

В некоторых странах некоторым «коалиционным партиям» позволили существовать, создавая видимость своеобразного демократического фасада. Польша сохранила свою «обновленную» Крестьянскую партию. Восточная Германия терпела официально разрешенных «христианских демократов» и «свобод-

ных демократов», которые никак не соответствовали названиям своих организаций. Лидеры таких декоративных партий хорошо понимали, что их роль предельно ограничена, а то и вовсе фиктивна. Они издавали верноподданнические газеты и журналы, получали синекуры и чиновничьи привилегии и никогда не возражали против гегемонии коммунистической партии. Разумеется, к концу 1948 года политика в странах «народной демократии» отнюдь не кончилась. Но из процесса взаимодействия нескольких партий она превратилась в дело единственной партии. Так оставалось и впредь.

Глава 10

Экономика

Новый социалистический человек должен думать, как Ленин, действовать, как Сталин, и работать, как Стаханов.

Вальтер Ульбрихт

Определение социализма: бесконечное преодоление трудностей, которых при любой другой системе просто не было бы.

Венгерский анекдот 1950-х годов

Согласно классике марксизма, базис определяет надстройку. Другими словами, традиционные марксисты полагали, что особенности экономики того или иного общества — разделение труда, средства производства, распределение капитала — определяют его политику, культуру, искусство и религию. Если руководствоваться этой логикой, то ни одна страна не может изменить свою политическую систему, не преобразовав прежде экономические основы.

Так было в теории. А на практике новым коммунистическим правителям Восточной Европы пришлось разрешать проблему яйца и курицы. Они не сомневались в том, что для создания коммунистического общества необходимо перестроить экономику. В то же время они знали, что из-за противодействия народа радикально трансформировать экономику им не удастся. Поэтому в первые послевоенные месяцы коммунистические партии руководствовались сугубо политическими приоритетами: устанавливали контроль над силовыми структурами, укрощали гражданское общество, прибирали к рукам средства массовой информации. В результате в 1945 году в Восточной Европе не произошло никакой экономической революции. Вместо этого состоялась институциональная революция, после

которой государство приступило к постепенному ужесточению контроля над экономической жизнью. Новые режимы начинали с реформ, которые, по их мнению, не должны были вызвать сопротивления населения.

Проще всего было начинать с аграрной реформы. По всему региону огромные поместья оказались бесхозными. Еврейская собственность была конфискована нацистами, а немецкие владения, хозяева которых погибли или сбежали, пребывали в запустении. Крупные землевладельцы на востоке Германии в большинстве своем еще до прихода советских войск перебрались на запад. Поскольку теперь огромные земельные массивы вообще никому не принадлежали, присвоение этих богатств государством почти не встретило возражений.

В 1945 году аграрная реформа вовсе не считалась сугубо «коммунистической» политикой и отнюдь не связывалась с Советским Союзом. В довоенной Венгрии перераспределения земельной собственности добивались многие либеральные реформаторы; подобные планы никак не связывались с насаждением колхозов. В Польше и коммунисты, и их оппоненты знали, что в народе лозунг земельной реформы пользуется широкой популярностью; вот почему коммунисты вынесли вопрос о ней на референдум, хотя запретное слово «коллективизация» при этом вовсе не упоминалось. Первые земельные преобразования были нацелены не столько на глубокие экономические сдвиги, сколько на обеспечение поддержки со стороны беднейшего крестьянства, как это было в России, когда в ходе большевистской революции первейшим лозунгом коммунистов стал лозунг «Земля — крестьянам!». Придя в Восточную Европу, Красная армия всеми силами старалась проводить ту же линию, конфискуя земли у богатых собственников и передавая их безземельным крестьянам¹. Но в Восточной Европе эта простая формула не дала того эффекта, которого ожидали советские чиновники и на который надеялись их коммунистические собратья.

Хотя впоследствии немецкая земельная реформа затронула всех и каждого, на первых порах она фокусировалась на круп-

ных поместьях, находящихся в собственности у юнкеров — бывших прусских аристократов. Рифмованный лозунг, под которым реализовывался этот проект — *Junkerland im Bauerhand* («Помещичью землю — в крестьянские руки!») — придумал Вильгельм Пик. 3 сентября 1945 года советские оккупационные власти издали декрет, согласно которому изъятию подлежали любые земельные владения, превышавшие примерно 50 гектаров, а также все земли лиц, активно сотрудничавших с нацистской партией. Под эти критерии попадали около 7 тысяч крупных поместий. Конфискованная земля была разделена на маленькие участки. Две трети ее были переданы 500 тысячам безземельных батраков, безработных горожан и беженцев с востока. Еще треть осталась в руках государства².

Разумеется, некоторые из тех, кого облагодетельствовала эта программа, были благодарны советским властям. Сельские управы украшали транспарантами и цветами, люди пели песни и восхваляли коммунистов. Но подобные случаи были не слишком частыми. Чаще процесс перераспределения осложнялся пристрастностью и нелепостью. В отдельных комиссиях, созданных для раздела земли, преобладали бывшие нацисты. Другие комиссии использовали полномочия для сведения старых счетов или даже для удовлетворения корыстных интересов своих членов. Кое-где земельная реформа привела не к сокращению земельных наделов, а, напротив, к их укрупнению. Некоторые из «новых фермеров», обретя землю, не получили ни инвентаря, ни семян, ни рабочего скота. Очень скоро их постиг голод.

Далеко не всех, кто лишился земли, если даже это были большие юнкерские поместья, можно было отнести к надменной аристократии. Поскольку очень многие хозяева земельных угодий погибли в годы войны или оказались в тюрьме, комитеты зачастую отбирали землю у женщин и детей, тем самым обрекая их на полную нищету. Эрих Лёст, который в то время батрачил на ферме в Саксонии, позже описал процедуру отъема земли у двух добродушных и пожилых сестер-аристократок. Местные жители сочувствовали им; особенно они пожалели об изгнании

бывших хозяек, когда в отобранный у них замечательный дом вселилась группа беженцев из Силезии. «В поместье больше не выступал хор и не играл духовой оркестр, — писал Лёст. — Никому и в голову не приходило украсить дом цветочными гирляндами. Это совсем не походило на благодетельные картины, изображавшиеся потом в официальных хрониках». Переселенцы тосковали по фермам, брошенным ими в Силезии, и мечтали вернуться назад³. Поскольку подобных ситуаций было очень много, численность коммунистов в сельской местности росла не столь быстро, как ожидалось⁴.

В Польше к земельной реформе относились с особой подозрительностью, поскольку здесь слово «коллективизация» имело самые негативные ассоциации. Многие поляки в восточной части страны имели родственников или друзей, проживавших по ту сторону границы, в Советской Украине, где крестьяне сначала пережили земельную реформу, потом коллективизацию, а затем голод. Страх перед подобной судьбой был настолько велик, что польские крестьяне нередко вопреки собственной выгоде противились дроблению крупных хозяйств, полагая, что такая реформа может стать прелюдией к коллективизации всей земли (кое-где именно так и получилось). Даже в гипотетическом плане аграрная реформа не пользовалась в Польше такой популярностью, как в других странах. Несколько попыток провести ее, предпринятых в 1920-е и 1930-е годы, провалились именно из-за того, что крупные хозяйства в целом хорошо управлялись, заставляя реформаторов задумываться о том, что маленькие фермы будут менее эффективными⁵. Как бы то ни было, большая часть крупнейших латифундий находилась на востоке Польши, отошедшей к СССР.

Осознавая все это, польские коммунисты проявили осторожность, первоначально освободив мелкие и средние хозяйства от реформирования. Вместо этого декрет о земельной реформе, принятый в 1944 году, предписывал немедленную конфискацию всех земель, принадлежавших «гражданам рейха, не являвшимся поляками, а также польским гражданам с немецкими корнями» (*Volksdeutsche*) и «предателям родины»,

определяемым весьма расплывчато. Изъятию подлежали и все хозяйства, превышавшие 100 гектаров⁶. В целом экспроприации подверглись около 10 тысяч поместий, а еще 13 тысяч были уменьшены в размерах⁷. Всего акция затронула 20 процентов сельскохозяйственных земель.

Но даже такая политика, затрагивающая исключительно богатых, немцев и коллаборационистов, оказалась не столь популярной в Польше, как предполагалось. В мае 1945 года на совещании в Москве Гомулка признал это. «В этом вопросе мы не провели необходимую агитационную работу», — осторожно разъяснял он. Хотя аграрная реформа должна была бы пробудить в крестьянской массе благодарность к коммунистическому режиму, крестьяне, по словам Гомулки, все еще воспринимают ее с подозрением и прислушиваются к «реакционным силам». Чтобы справиться с этой проблемой, заявлял польский лидер, коммунистической партии нужно ясно и четко высказаться против коллективизации. «На этой стадии нет никакого смысла даже думать о польских колхозах; мы открыто говорим фермерам, что партия не поддерживает колхозы, поскольку она руководствуется волей народа». Георгий Димитров, бывший руководитель Коминтерна, был обеспокоен таким подходом. Его интересовало, что произойдет, если часть крестьян все-таки захочет перейти к коллективному хозяйствованию. «Мы не допустим такой ситуации», — ответил Гомулка⁸.

Теоретически земельную реформу с большим энтузиазмом могли встретить в Венгрии, сельская экономика которой по-прежнему сохраняла феодальные черты. В 1939 году тысячная часть всех землевладельцев контролировала около 30 процентов венгерских сельскохозяйственных угодий. Многие из этих хозяев жили в древних замках, возвышавшихся посреди обширных латифундий. В то же время крестьянские наделы были очень маленькими, а крестьяне жили в крайней бедности. В довоенной Венгрии популисты часто рассуждали об аграрной реформе, хотя обычно они имели в виду не коллективизацию советского типа, а замену аристократических поместий кооперативами мелких собственников⁹.

После войны венгерские политики пришли к нелегкому консенсусу относительно самой необходимости аграрных преобразований, но по вопросам их масштабов и сроков они договориться не смогли. Обе проблемы были разрешены советскими оккупационными властями, которые весной 1945 года заставили Временное правительство немедленно приступить к осуществлению аграрной реформы. В качестве главного аргумента командование Красной армии указывало на то, что начало земельного передела заставит венгерских крестьян, продолжающих воевать с советскими войсками, сложить оружие и вернуться домой. Столь же быстро советское командование определилось и с масштабом реформы, которой предстояло стать всеобъемлющей и жесткой. Согласно декрету о начале аграрных преобразований, принятому в марте 1945 года, экспроприировались все поместья — включая угодья, скот и технику, — превышавшие 570 гектаров, а также владения «немцев, предателей и коллаборационистов». Церковная собственность осталась нетронутой¹⁰.

Все изъятые имущество было распределено между 750 тысячами венгерских безземельных крестьян и батраков. Чтобы предотвратить возрождение крупных хозяйств, был введен десятилетний мораторий на все сделки купли и продажи земли. В 1948 году начался новый этап реформы: богатым фермерам запретили даже арендовать землю у более бедных крестьян. Вместо этого все неиспользуемые сельскохозяйственные угодья предписывалось передавать в аренду коллективным хозяйствам, причем за очень низкую плату¹¹.

Многие крестьяне были благодарны коммунистам за получение земли. Но столь же многие испытывали неловкость от наделения их «чужой» собственностью, особенно оттого, что это осуждалось духовенством. Крестьянство все еще хранило недобрые воспоминания о коммунистическом режиме Венгерской народной республики 1919 года Бэлы Куна и, подобно полякам, что-то слышало об украинских несчастьях. Андраш Хегедюш, молодой и энергичный активист *Madisz*, был отправлен в деревню для ведения агитации в пользу реформы.

Реакция людей была очень разнообразной, от признательности до враждебности. В тех деревнях, где население отказывалось получать землю, агитаторы не сомневались в причастности к таким настроениям «реакционного священника». Временами Хегедюш был вынужден применять силу. В одном из районов, где его регулярно и ошибочно представляли как «товарища, прибывшего в Дебрецен на самолете» (на деле Хегедюш не был пассажиром самолета, доставившего команду Ракоши из Москвы), местный руководитель из дворян отказался сотрудничать с агитаторами. «Я вынужден был доложить об этом командиру советского гарнизона, — рассказывает Хегедюш. — Офицер сказал чиновнику, что поставит его к стенке, если тот в течение суток не подчинится требованиям коммунистов». Иногда, напротив, ему самому угрожали смертью. Интересно, что даже в то время Хегедюш был убежден в том, что «партия переоценивает политическое влияние земельного передела на крестьянство»¹². На большей части страны аграрная реформа повышала авторитет не коммунистов, а Партии мелких хозяев, сельские корни которой привлекали новоявленных собственников. Почувствовав благодаря реформе свою значимость, они тяготели к «собственной» партии и к церкви, а не к «городским» коммунистам, несмотря даже на то, что они продвигали земельные преобразования¹³.

Хотя в 1945–1946 годах о коллективизации речь не шла, и венгерские, и немецкие коммунисты вернулись к этой идее в 1948 и 1956 году соответственно. Так же поступили и прочие коммунистические партии Восточной Европы — за исключением поляков. Венгры начали с добровольной коллективизации, которой способствовала волна сельских банкротств. В 1950–1953 годах они сурово преследовали кулаков, повышая для сельских производителей земельный налог и страховые взносы и одновременно заставляя их продавать продукцию по заниженным ценам. Словом «кулак», заимствованным из русского языка, обозначали зажиточного крестьянина; по-венгерски оно звучало нелепо и искусственно. Но этот политический термин быстро вошел в оборот: кулаками, а также троцкистами и фаши-

стами называли всех, кто не нравился коммунистической партии. Немцы после 1956 года тоже навязали своему крестьянству «добровольную» коллективизацию, заставившую тысячи восточногерманских фермеров перебраться на запад. Так же тогда поступали и многие другие экономические беженцы¹⁴.

Когда закончилась война, Ульриху Фесту исполнилось десять лет. Его отец пропал без вести. Город Виттенберг, где семья мальчика на протяжении нескольких поколений держала бакалейную лавку, оказался в советской зоне оккупации. Фест вспоминает: «Все здесь было разрушено. Витрины магазина были разбиты, а сам он обчищен дочи́ста: не осталось ровным счетом ничего. Дверь по-прежнему запиралась, но любой желающий мог проникнуть в магазин через окно. Мы обили фасадную витрину досками, заделав проем куском стекла полтора на два метра. Таким был наш магазинный фасад...»¹⁵ Тем не менее даже в этой катастрофической ситуации мать Ульриха и его дед ничуть не сомневались в том, что надо открывать лавку и заново налаживать бизнес. В таком намерении они были не одиноки.

Между двумя мировыми войнами Восточная Европа уступала западной части континента в зажиточности и промышленном развитии¹⁶. Местные предприятия были мелкими, торговля слабая, а инфраструктура неразвита. Многие страны региона, прежде всего нацистская Германия, следовали модели корпоративного государства, предполагавшей активное вмешательство власти в дела бизнеса, особенно крупного. Тем не менее в своей основе Польша, Венгрия, Чехословакия и другие страны оставались явно капиталистическими обществами. Крошечные мастерские, маленькие фабрики, небольшие магазины — все это находилось в частных руках. Подобно Западной Европе и Соединенным Штатам, оптовой торговлей здесь занимались кооперативы, но в Восточной Европе это были в основном кооперативы частных, организованных торговцами для их нужд. Повсюду действовала система коммерческого, корпоративного и контрактного права, функционировали фондовые рынки, защищались права собственности.

После войны мелким предпринимателям, подобным семейству Фест, поначалу разрешили работать. Это объяснялось не тем, что новые власти восхищались достижениями малого бизнеса. Сам Ленин, четко осознавая ключевое значение мелкого предпринимательства для функционирования здоровой рыночной экономики, когда-то писал, что «мелкого производства осталось еще на свете, к сожалению, очень и очень много, а мелкое производство *рождает* капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе»¹⁷. И хотя на публике об этом говорилось не всегда, коммунистические лидеры в большинстве своем разделяли ленинское отвращение к мелкому бизнесу. Так, на заседании ЦК своей партии, состоявшемся в октябре 1946 года, немецкие коммунисты обсуждали вопрос не о том, *надо ли* брать частные магазины под государственный контроль, а *когда* это лучше сделать. Один из участников предостерегал от торопливости в этом деле: слишком быстрое разорение частного сектора приведет к хаосу, доказывал он, и толкнет людей в объятия реакционеров. Другой партиец, напротив, советовал поспешить, поскольку иначе мелкие коммерсанты заразятся опасными идеями экономического либерализма: «Мы должны доказать торговле, что плановая экономика — это высшая форма народной экономики»¹⁸.

Враждебно относясь к мелкому бизнесу, все участники заседания отдавали себе отчет в том, что подобный настрой необходимо скрывать. Публика может негативно воспринять быструю национализацию всей торговли. Более того, присутствовавшие товарищи знали, что альтернативы частной торговле пока нет. Обитателям разрушенных городов невозможно запретить торговать: в конце концов, никаких иных путей распределения продовольствия не существует. В наиболее опустошенных войной местах карточная система попросту не смогла бы прижиться. Итальянский писатель Примо Леви, освободившись из Освенцима, побрел в ближайший город: «Рынок возник в Кракове сразу после ухода немцев и в считанные дни захватил целый квартал. Здесь торговали всем, чем только можно, сюда стекался весь город, буржуазия продавала мебель, книги, картины, одежду, серебро. Заку-

танные с ног до головы крестьянки — мясо, кур, яйца, творог. Мальчишки и девчонки с красными от холода щеками и носами предлагали курильщикам табак, который советская военная администрация выдавала с поразительной щедростью — по триста граммов в месяц всем, в том числе грудным детям»¹⁹.

Но по мере того, как по всему региону оккупационные власти начинали вводить карточное снабжение, налоги, различного рода регулирование, репутация подобных торжищ стала портиться: их начали называть черным рынком. Обычных продавцов на них сменили спекулянты. Стремясь избавиться от этих очагов капитализма, коммунисты всех стран Восточной Европы взяли курс на национализацию оптовой и розничной торговли. В Восточной Германии, например, советский оккупационный режим возродил довоенный кооператив *Konsum*, превратив его в подобие государственной компании. Вместо того чтобы обслуживать своих членов, как это делал *Konsum* до его закрытия нацистами, новая структура получила привилегированный доступ к оптовым запасам товаров, самостоятельно решая, кому их продавать²⁰.

Хотя их предприятия в 1945—1946 годах действовали вполне легально, мелкие капиталисты Восточной Европы с самого начала понимали, что работать им придется во враждебной среде. Согласно семейной саге Феста, решение его деда об открытии своей лавки в то время выглядело почти героическим.

Сразу же после войны магазину пришлось бороться за право участвовать в государственной системе нормированного распределения муки и сахара. «Нам не хватало товаров, нечего было продавать», — вспоминает Фест. Поэтому члены семьи собирали продовольственные карточки граждан, несли их в *Konsum* и обменивали на товары, которые покупатели не могли достать сами. Вся эта деятельность не приносила никакой прибыли и была нацелена лишь на то, чтобы оказать услугу потребителям. Владельцы лавки надеялись, что тем самым они завоюют лояльность покупателей и поддержат дело²¹.

Располагавшийся неподалеку от лавки Феста семейный магазин Ульриха Шнайдера, специализировавшийся на тканях

и одежде, переживал аналогичные трансформации. Это заведение также находилось в собственности одной семьи на протяжении нескольких поколений, а его владельцы переживали те же надежды и страхи. В последние дни войны отец Ульриха попрятал все товарные запасы — пальто, костюмы, платья, рулоны ткани — по домам и сараям своих друзей. Все, что осталось в магазине, было отобрано русскими в мае 1945 года. Дом семейства красноармейцы заняли под штаб, используя магазинные витрины, чтобы временно держать там гробы с телами погибших товарищей. Шнайдер и его родители перебрались в квартиру, находившуюся над магазином. В августе его отец, который никогда не состоял в нацистской партии и благодаря этому избежал ареста и депортации, получил разрешение оккупационных властей на открытие магазина.

Подобно Фестам, Шнайдеры заколотили витрины досками, оставив лишь небольшие «форточки», через которые можно было показывать и продавать товары, сохранившиеся по чердакам и подвалам. Они также достали из тайников несколько швейных машин и занялись ремонтом одежды и изготовлением тряпичных кукол. «Нам все равно больше нечего было делать», — вспоминает Шнайдер.

Через несколько недель глава семейства начал совершать регулярные вояжи в горный район Эрцбюрге на немецко-чешской границе, который издавна славился текстильным производством. Несмотря на сотни километров пути, он отправлялся туда на подводе: «Это было мучительно, повсюду были контрольно-пропускные посты, и его останавливали везде, где службу несли русские». Но делать было нечего, поскольку иного источника поставок магазин не имел. Все товары, которые удавалось доставить с фабрик домой, шли нарасхват²².

Надежды на то, что жизнь вот-вот наладится, поддерживали на плаву Фестов, Шнайдеров и прочих мелких предпринимателей на протяжении 1945—1946 годов. Однако к 1947 году стало ясно, что улучшения не будет. Лейпцигская ярмарка, тогда впервые открывшаяся после войны, разочаровала торговцев текстилем, став для них поворотным пунктом. И хотя вокруг этого

события, со времен Средневековья остававшегося кульминационным моментом коммерческой жизни Германии, была поднята большая пропагандистская шумиха, на ней практически ничего не продавали. В прошлом, объясняет Шнайдер, там «можно было встретиться с представителями других компаний или узнать, что нового происходит в отрасли». Теперь же, перестав быть местом, где обмениваются коммерческой информацией, ярмарка превратилась в чисто агитационное мероприятие.

1947 год оказался роковым и для Польши. После январских выборов в парламент коммунисты-«победители» развернули серию реформ, нацеленных на то, чтобы нарастить численность промышленных рабочих, которые, как предполагалось, поддержат их в будущем. Одновременно началось наступление на частное производство и торговлю — те сектора экономики, где поддержка коммунистов была минимальной. Акцию, получившую название «битва за торговлю», инициировал министр экономики Хилари Минц. Этот человек, назначенный на свой пост лично Сталиным, был коммунистом еще довоенной закалки, весьма искушенным в экономическом языке. «Борьба за рынок не означает ликвидацию капиталистических элементов, — говорил он, выступая на пленуме ЦК партии в апреле. — Она означает лишь установление контроля над этими элементами со стороны народно-демократического государства»²³. Иными словами, «свободный рынок» будет, но работать ему придется под жестким правительственным контролем, что означало, разумеется, его несвободу.

На деле Минц старался уничтожить частные предприятия без лишних разговоров. «Битва за торговлю» обернулась жестким ценовым регулированием, введением высоких налогов, сопровождаемым уголовными наказаниями за непредставление должной отчетности, и суровой системой лицензирования. Каждый предприниматель должен был иметь лицензию на ведение бизнеса, для приобретения которой требовалось доказать свою «профессиональную пригодность» — что бы это ни означало в послевоенном хаосе. Ограничивалось не только число занятых на одном частном предприятии, но также объе-

мы товаров, которые позволялось вывозить из страны и ввозить в нее. Поляки, подобно немцам, полностью национализировали оптовую торговлю. Частному бизнесу запрещалось покупать и продавать определенный набор товаров, включая продукты питания, по оптовым ценам.

Официально коммунистическая пресса преподносила «битву за торговлю» как выдающийся успех; официальная польская историография придерживалась такой трактовки до 1980-х годов. Но, как отмечает экономист Андерс Ослунд, достижение оказалось недолговечным: «Разделить тогдашнее ликование трудно, поскольку “битва за торговлю” нанесла жестокий удар по торговле в целом». В 1947–1949 годах число частных торговых и дистрибьюторских фирм сократилось наполовину, а государственный сектор не смог восполнить образовавшуюся брешь. Из-за прекращения нормального опта оставшиеся частные лавки, особенно в маленьких городках, лишились легального доступа к потребительским товарам²⁴. Внедрение новых правил происходило бессистемно. «Каждый день то одна, то другая разновидность экономической деятельности оказывалась вне закона», — вспоминает польский экономист²⁵. Но совокупный результат был предсказуемым: ограничения обернулись бурным подъемом черного рынка, хаосом в распределении товарной массы и хроническим дефицитом всего. Бывший аудитор из сельского кооператива — это учреждение называлось так лишь по недоразумению, поскольку представляло собой государственное предприятие оптовой торговли, — рассказывает, что порой ей трудно было разобраться, чем объясняется нехватка товара в ее секторе: воровством или некомпетентностью. В должностные обязанности этой женщины входила проверка учетно-бухгалтерских книг региональных отделений предприятия — и эти книги изобиловали ошибками: «Зачастую я просто не могла определить, чем объясняется недостача. ...Продавщицы в большинстве своем были неграмотными, и от них было мало помощи». К 1950 году ее кооператив полностью избавился от старых сотрудников, заменив их «надежными» представителями рабочего класса, среди

которых был даже парикмахер. Неудивительно, что ситуация не улучшалась²⁶.

Очень быстро в отрасли воцарилось беззаконие, поскольку коммерсанты могли выжить, только нарушая закон. Мелкие бизнесмены утратили былую респектабельность, превратившись в *prywatniarze* — полуполюгальных ловчил. Дочь талантливого инженера, который в то время управлял небольшим мануфактурным производством, вспоминает, что ей стыдно было рассказывать друзьям о том, чем занимается ее отец²⁷. Обходя правила, квотирующие наем рабочей силы, некоторые предприниматели привлекали к работе своих родственников. Иногда предприятия специально дробились, чтобы не превышать установленных размеров, а другие члены семьи назначались «владельцами» образовавшихся частей. Бизнесмены также избегали инвестиций, поскольку вложения привлекали внимание налоговых органов, предпочитая проекты с быстрой отдачей. Долгосрочное планирование в такой ситуации было невозможно.

Со временем бизнесмены научились отстаивать свои интересы сообща. Многие перерегистрировались в «ремесленников»: это позволяло им иметь пусть крошечное, но собственное дело, не неся клейма «капиталист». Они также создавали гильдии — государственные институты, иногда действовавшие в интересах своих членов. Эти объединения старались организовать поставки продукции в частные магазины по официальным, установленным государством, ценам. Они также добились переквалификации в «ремесленников» представителей некоторых профессий мелкого бизнеса — автомехаников, водопроводчиков и других. Бывший руководитель такой гильдии, формально являвшийся государственным служащим, вспоминает о многочисленных трюках и фокусах, к которым приходилось прибегать в надежде на то, что рано или поздно система изменится к лучшему: «Я полагал, что люди, которые приобретают новые знания, будут меняться, а вместе с ними и система начнет становиться более умной». Увы, этого не произошло²⁸.

В Венгрии национализация оптовой торговли проходила медленнее. Не в последнюю очередь это объяснялось тем, что в

1945—1946 годах коммунистическая партия здесь еще не обладала парламентским большинством, позволявшим контролировать все аспекты экономической политики, и не могла ввести жесткое регулирование и налогообложение. Это не помешало, впрочем, венгерским коммунистам развернуть «войну за торговлю», действуя не через государственное регулирование, а через полицейские и пропагандистские органы. Летом 1945 года инвективы партии в отношении мелких бизнесменов, лавочников и уличных торговцев по своему неистовству почти сравнялись с обличениями фашистов. В июле начальник полиции Будапешта объявил, что он намерен «освободить столичных рабочих от гиен черного рынка». К сентябрю 600 венгерских полицейских при поддержке 600 советских солдат и 300 уполномоченных арестовали 1500 «дельцов». Большинство из них были задержаны в ходе двух крупных облав на будапештских улицах.

«Антикапиталистическая» пропаганда быстро выплеснулась за пределы городских рынков. В конце июля газета *Szabad Nép* опубликовала подборку фотографий, на которых группа рабочих укладывала трамвайные рельсы на фоне людей, сидящих в кафе и потягивающих кофе, — другими словами, наслаждающихся жизнью, пока рабочий класс трудится. Вслед за этим последовали рейды по кафе, барам и ресторанам Будапешта. Полиция даже закрыла *Café New York*, одно из самых излюбленных заведений довоенного Будапешта; были конфискованы найденные в его кладовых запасы продуктов и демонстративно розданы бывшим военнопленным²⁹.

Используя взятки и связи, некоторые рестораны смогли избежать закрытия. Но через год на них обрушилась новая кампания и новые рейды. В июне 1946 года *Szabad Nép* сообщила о закрытии десяти «люксовых» ресторанов из-за того, что, «предлагая самые дорогие и дефицитные мясные продукты на потребу немногим, они подрывали социальную стабильность и спокойствие». Возможно, в этом была доля истины: во времена дефицита, инфляции, голода те, кто мог позволить себе хорошо питаться, вызывали негодование. Эта кампания коммунистов,

добивавшихся популярности, не без успеха использовала эти настроения³⁰.

В других статьях подчеркивалась не только безнравственная природа частных ресторанов, но и их нелепые привычки: например, буржуазный обычай давать чаевые. В одной статье насмешке подвергся фрак — типичное облачение будапештского официанта: «Этот старомодный наряд до сих пор распространен, официанты по-прежнему щеголяют в нем, как будто бы демонстрируя лакейский дух ушедших времен. ...В ближайшем будущем профсоюз запретит официантам носить фрак... и это нездоровое и неудобное облачение исчезнет навсегда, уступив место более подобающей, удобной и изящной одежде».

Своим делом занималась и полиция, неустанно проверявшая мелкий бизнес на предмет всевозможных злоупотреблений и нарушений. Булочник из фешенебельного района был задержан полицией, когда выяснилось, что в его хлебе «не было ни грамма соли», хотя в тот месяц ему выделили ее аж 400 килограммов³¹. Подозревалось, что он реализует соль на черном рынке. Другой мишенью полицейских стал хозяин *Café Baghdad*, внутреннее убранство которого было сочтено аморальным. «Войдя внутрь, посетитель попадает в гардеробную, украшенную настенными зеркалами и картинами, изображающими женщин в вечерних туалетах, в эротических позах с обнаженными бедрами», — сообщалось в полицейском отчете. Что еще хуже, «в штате числятся два негра». В последнем наблюдении отражались не только расистские предрассудки, но глубокое подозрение в отношении заведения, способного держать столь экзотических иностранных служащих³².

Стремясь сохранить бизнес, рестораторы прибегали к различным стратегиям спасения. Одна владелица кафе перерегистрировалась в уличную разносчицу, а другие вступали в коммунистическую партию, надеясь, что это избавит их от политических подозрений. Позже многие владельцы кафе согласились на «добровольную» национализацию, рассчитывая получить место управляющих своими заведениями. Ходатайство, поданное госпожой Ласлоне Гёттлер в Будапеште в 1949 году, выгля-

дит как объявление о продаже: «Настоящим прошу дирекцию Национальной компании принять на баланс мой ресторан, работающий с 1923 года по адресу: улица Бенирки, 19, район Сашалом, оставив меня в должности управляющей. ...Это угловой дом, где есть зимний бар, отдельное помещение, открытая веранда, терраса, буфет и беседка в саду. До настоящего момента это заведение, расположенное рядом с консервным заводом, приносило хороший доход и не имело долгов по налоговым платежам»³³.

Некоторые преуспели в подобных инициативах. Клара Ротшильд, с 1934 года владевшая салоном «Клара» на улице Ваца, главной торговой артерии Будапешта, сумела остаться руководителем своего магазина и после национализации. Во многом это объяснялось огромной популярностью салона у жен партийных руководителей. Ротшильд следила за парижской модой, приспособливая ее новинки к будапештским вкусам. Благодаря своему высокому положению, она могла даже выезжать в Париж, чтобы узнавать о новейших веяниях из первых рук³⁴.

Со временем почти все частные рестораны Будапешта превратились в «народные» кафетерии или государственные «пролетарские» пивные. Названия тоже менялись: вместо вычурных *New York Café* теперь преобладала краткость названий, звучащих по-венгерски. Иногда названием заведения был просто номер. Официанты и чаевые исчезли. Вместо качественного обслуживания появились очереди. Для города, который многие десятилетия поддерживал свой тонус кофе и кремовыми пирожными, это были по-настоящему революционные изменения.

Земельную реформу выдвинули на первый план потому, что считалось, будто она станет популярной в народе. С оптовой торговлей коммунисты разобрались позже, поскольку понимали, что ее ликвидация, напротив, не прибавит им авторитета. Но главным призом, однако, выступала промышленность — в особенности тяжелая промышленность. Индустрия всегда интересовала коммунистов больше, нежели «отсталые» или «безынтересные» сектора, подобные фермерству или оптовой торговле.

Согласно марксистскому мировоззрению, будущее принадлежало машинному производству. Машиностроительным заводам и сталелитейным комбинатам предстоит модернизировать страну, ломая старое мышление. В конечном счете индустриализация вдохновлялась политическими целями: если все станут промышленными рабочими, то поддержка коммунистической партии окажется абсолютной — так по крайней мере считалось в теории. Одновременно уничтожение собственнического класса должно было лишить оппозицию мощного союзника.

Начала радикальных перемен нужно было подождать до завершения репарационных платежей Советскому Союзу и прекращения охватившей страну эпидемии воровства. Из-за плохих результатов, продемонстрированных венгерскими коммунистами на всеобщих выборах, СССР в 1946 году согласился притормозить процедуру взимания с Венгрии репарационных платежей, а в 1948 году объем репараций был сокращен в два раза³⁵. Германия к концу 1948 года тоже завершила выплату репараций; в основном это произошло благодаря обращениям в Москву Вальтера Ульбрихта и других лидеров, понимавших, насколько большой ущерб это обременение наносит репутации коммунистической партии³⁶. В Польше и Чехословакии официально никаких репараций не было, соответственно и завершать тут было нечего. Но и здесь с наиболее явными формами расхищения национального достояния Красной армией к 1947–1948 годам тоже покончили.

Дело, однако, было сделано: поскольку в послевоенный период для расхитителей было доступно все, теперь никакая собственность не пользовалась неприкосновенностью. В подобной атмосфере первая волна широкомасштабной национализации опиралась на определенную поддержку общества. Многие люди больше не испытывали возмущения, наблюдая за массовой конфискацией чужого имущества, а кто-то полагал, что только государственная собственность принесет избавление от экономического хаоса. Так, в октябре 1945 года Временное правительство Польши внезапно национализировало все земли в границах города Варшавы, включая жилые помещения и пред-

приятия³⁷. И до 1939 года, и в наши дни принятие подобного документа представлялось бы немыслимым. Но в 1945 году национализация городских земель, на которых остались лишь руины, казалась многим полякам логичным шагом³⁸. Принятое в январе 1946 года решение Временного правительства о национализации всех предприятий, на которых численность занятых превышала пятьдесят человек, также не вызвало особого сопротивления. У многих из них и без того уже не было владельцев, а прежние управленцы умерли или сбежали. Когда это имущество перешло под государственный контроль, ситуация стала более стабильной: по крайней мере вопрос о собственности был решен³⁹.

В Германии укрупнившаяся коммунистическая партия первоначально представляла национализацию базовых отраслей промышленности в качестве элемента не экономической, а антифашистской политики. Подобно помещикам-юнкерам, немецкие промышленники были обвинены в потворстве нацизму. Если кто-то из них сумел обзавестись до войны чем-то стоящим, конфискацию предлагалось считать вполне заслуженной. На всякий случай коммунистическая партия объявила национализацию промышленности консолидированным решением всего «антифашистского блока», запретив прочим легальным партиям высказываться против этой меры. На первых порах Якоб Кайзер, возглавлявший в Восточной Германии Христианско-демократическую партию, пытался возмущаться. Не возражая против такого шага в принципе, он опасался, что если в советской зоне будет проведена сепаратная национализация, то это расколется экономическую систему Германии на две разные экономики (именно так в конце концов и получилось). Но под давлением советской военной администрации политик вынужден был изменить свою позицию. В порядке пропагандистского обеспечения намеченной акции коммунисты решили в 1946 году вынести вопрос о национализации на референдум. Чтобы не провалить голосование, как это вышло у поляков, они ограничили территорию проведения референдума лишь Саксонией, внося в бюллетень только один вопрос. Гражданам предлагалось ответить, хотят ли они «передать

промышленные предприятия военных и нацистских преступников в руки народа». Большинство ответило утвердительно⁴⁰.

Проходившая одновременно венгерская национализация была поэтапной. Сначала к государству перешли угольные шахты, потом крупные промышленные конгломераты, а затем банки. В марте 1948 года правительство национализировало оставшиеся предприятия, где число занятых превышало сто человек, тем самым завершив передачу 90 процентов тяжелой промышленности и 75 процентов легкой промышленности в государственные руки. К 1948 году в стране почти не осталось частного производственного сектора⁴¹.

В Венгрии, как и везде, за этот успех пришлось заплатить определенную политическую цену. На практике национализация почти не сказалась на повседневной жизни рабочих: им платили ту же зарплату, они выполняли ту же работу и пытались справляться с теми же проблемами. Какая им разница, на кого работают мастера и начальники цехов — на капиталиста или на министерство промышленности? Преисполнившись уверенности в своей непогрешимости — ведь он, в конце концов, служит народу, — государственный менеджер мог быть еще более надменным, чем частный собственник. Вместо того чтобы прибавить коммунистической партии популярности, национализация вызывала у рабочих настороженность и недоверие, а в отдельных местах оборачивалась даже забастовками. В частности, в Лодзи, городе польских текстильщиков, она, по словам историка Падрика Кенни, вызвала настоящий конфликт: «Трудовому коллективу одной из фабрик удалось доказать, что действия директора предприятия вредят не только работникам, но и государству. Устанавливая завышенные нормы, не принимавшие в расчет возможности людей и механизмов, он лишил рабочих премиальных выплат, которые зачастую составляли значительную часть их заработка. Он также унижал рабочих, используя их вместо лошадей для перемещения вагонеток»⁴².

Конфликт в Лодзи достиг пика в сентябре 1947 года, когда на забастовку вышли 40 процентов местных рабочих. Впрочем, далеко не каждое предприятие в Польше шло по этому пути;

Кенни, например, отмечает, что в бывшем немецком Вроцлаве, населенном в основном беженцами, забастовок почти не было, поскольку социальные связи были слабее. Однако в Силезии в 1946 году на стачку выходили и шахтеры, и фабричные рабочие. А в ходе забастовок в портовых городах Гданьск и Гдыня в том же году два человека погибли⁴³.

Польскую ситуацию следует признать довольно типичной: национализация почти повсеместно политизировала трудовые конфликты. Теперь, если рабочих государственных предприятий не устраивали оплата или условия труда, они направляли возмущение непосредственно на государство. В 1947 году, когда забастовка охватила будапештский район Чепель, рабочие захватили двадцать грузовиков и отправились на них в центр города, требуя, чтобы правительство подняло им зарплату. В тот же день в Чепель прибыл министр внутренних дел Ласло Райк, сопровождаемый руководителем официального профсоюза. Рабочие освистали обоих. Вслед за этим последовало неотвратимое наказание: полиция ворвалась на территорию фабрики, арестовав 350 человек. Желая предупредить подобные неприязности в будущем, полиция, полагаясь на донесения информаторов, приступила к «зачистке» других заводов и фабрик. Осведомители фиксировали свидетельства разочарования — так, согласно полицейскому досье, один из рабочих сетовал: «В прежние реакционные времена с нами обращались лучше, чем при так называемой народной демократии», — и выявляли «подстрекателей», которые потом наказывались. Только за май и июнь 1948 года на сталелитейном заводе в городе Диошдьёр состоялись 113 административных разбирательств по «политическим» мотивам. Начиная с 1949 года любое обсуждение забастовочных действий стали рассматривать как «антидемократическое» преступление против государства, а рабочих, предлагавших прибегнуть к забастовке, исключали из партии⁴⁴.

В более долгосрочной перспективе национализация экономики продлила состояние дефицита и экономических переко-

сов, порожденных войной. Центральное планирование и фиксированные цены искажали действие рыночных сил, осложняя экономические обмены, причем как между физическими лицами, так и между предприятиями. Эти проблемы усугублялись слабостью или конкуренцией валют. Так, в 1944–1945 годах на территории Польши одновременно ходили «оккупационный» польский злотый, советский рубль и германская рейхсмарка. В некоторых местах в качестве валюты выступали также дрожжи и алкоголь⁴⁵. В советской зоне оккупации Германии к августу 1945 года были закрыты все банки и экспроприированы все банковские депозиты. Доступными для владельцев остались лишь те счета, где хранилось не более 3 тысяч рейхсмарок. Это решение одновременно «ликвидировало» на территории зоны всех богачей, лишило частную экономику средств и породило волну банкротств.

Подобно британцам, французам и американцам, советские оккупационные власти выпустили в своей зоне собственную валюту. Предполагалось, что советская военная марка должна обмениваться на старые немецкие марки по курсу один к одному и использоваться для выплаты довольствия военнослужащим и покупки товаров. Хотя это никогда не признавалось публично, советская военная администрация немедленно начала печатать новую валюту в грандиозных масштабах: с февраля по апрель было выпущено 17,5 миллиарда марок. В результате другие союзные державы, желая избежать гиперинфляции, были вынуждены в 1946 году провести денежную реформу⁴⁶.

В Венгрии сочетание новой плавающей валюты, угрозы неминуемой национализации, крупных репарационных выплат и общей экономической нестабильности обусловило невиданную гиперинфляцию, в тисках которой страна жила полтора года. На ее пике, летом 1946 года, венгерские пенго считали в миллиардах. Стоимость национальной валюты менялась каждый час. Будапештский художник Тамаш Лошонци записал тогда в своем дневнике: «Вчера в 10 часов утра я отправился в министерство культуры, чтобы получить деньги за свою картину, купленную одним из музеев. Стоимость сделки составляла

десять граммов золота. По пути домой я поинтересовался в ювелирной лавке, какова сегодня цена на золото. Утром, сказали мне, грамм стоил 190–200 миллиардов пенго. За доллар давали 170 миллиардов». Художник, таким образом, получил 2000 миллиардов пенго. Но к тому времени, когда состоялся расчет, уже наступил полдень: «К 2 часам дня стоимость золота достигла 280 миллиардов за грамм, а американской валюты — 260 миллиардов за доллар. Я хотел потратить заработок на то, чтобы застеклить окна в своей мастерской. Это стоило 11 долларов, или, исходя из обменного курса вчерашнего дня, 2860 миллиардов пенго. На этой операции я потерял 860 миллиардов»⁴⁷. Разумеется, на смену наличным платежам в подобной ситуации пришел бартер. Через несколько дней художник сообщал о продаже одной из своих работ за «двадцать килограммов муки». В августе правительство наконец провело денежную реформу. Одна единица новой валюты — форинт — обменивалась на 400 000 септильонов пенго (септильон — единица с 15 нулями)⁴⁸.

Инфляция была далеко не единственной экономической проблемой. Несмотря на яростную пропаганду, полицейские преследования и политическое давление, полуправильный черный рынок продолжал расширяться, приобретая самые разные формы — от простых уличных разносчиков до операций искусственных контрабандистов. Сразу же после войны большинство восточных немцев проводило по несколько часов в день, «работая» на черном рынке. По выходным берлинцы обшаривали окрестные деревни в поисках продуктов, которые либо покупались, либо обменивались⁴⁹. Потребление товаров первой необходимости повсеместно нормировалось. Но карточки не только позволяли людям выжить; введение карточной системы означало также и то, что цены черного рынка взмывали вверх, порождая еще большее недовольство. По словам польского пропагандиста, «нехватка товаров и их неэффективное распределение стимулируют возмущение в массах. Рабочий из Лодзи никогда не смирится с тем фактом, что его дети могут только смотреть на пирожные; он категорически не согласен с тем, что

он, честный труженик, зарабатывает копейки, в то время как какой-нибудь паразит “наваривает” на черном рынке огромные деньги и государство ничего не может с ним сделать»⁵⁰.

По мере того как национализация набирала обороты, нехватка товаров становилась все ощутимее, заметно осложняя жизнь предприятий и покупателей. В отчаянии руководство восточно-германского химического предприятия *Leuna* решило обменивать удобрения на продукты: «Четырнадцать вагонов картофеля и овощей, которые собирались нелегально вывезти из округа Хальденслебен, были отправлены обратно. Как выяснилось позже, чиновников не удивил тот факт, что *Leuna* отправляет состав удобрений для обмена с фермерами двух деревень, хотя эти деревни еще не выполнили обязательств по поставкам картофеля и овощей»⁵¹. Хотя эта история происходила в 1947 году, она вполне могла повториться и в 1967-м, и в 1987-м. Товарный дефицит и экономические диспропорции сопутствовали народным демократиям с момента их зарождения и до самого конца. Экономики Восточной Европы после войны росли из-за того, что им пришлось начинать буквально с нуля, но западноевропейские страны их быстро опередили. Вновь нагнать конкурентов им так и не удалось.

Как бы странно это ни звучало, партийные экономисты зачастую очень хорошо понимали причины неэффективности. Сохранившиеся в архивах документы польского министерства торговли и промышленности, вотчины Минца, содержат множество писем от проницательных чиновников со всей страны: эти люди терпеливо разъясняют начальству негативное влияние государственного контроля. Частные предприятия, по мнению многих из них, более эффективны, чем их государственные аналоги. Поспешная национализация крупной и мелкой промышленности ухудшила экономическую ситуацию. В письме, весной 1947 года направленном министру центральным бюро технической информации, говорится, что частные предприятия меньше государственных предприятий, и это позволяет им «выполнять заказы быстрее, эффективнее и дешевле. ...Такая ситуация обусловлена тем, что частные и кооперативные компании

напрямую заинтересованы в прибыли и быстром обороте капитала»⁵². В том же послании, взывавшем к милосердию в отношении частного бизнеса, был представлен и список товаров, выпускаемых частными фирмами. В нем упоминались насосы, термометры, запчасти, строительные материалы. «В целом, — заключали сотрудники бюро, — мы подтверждаем, что частные и кооперативные компании закрывают многие товарные позиции, а это позволяет государству быстрее и лучше решать затратные производственные задачи».

Отдельные предприятия пытались выступить против национализации, иногда даже заручившись поддержкой в правительстве. В июне 1946 года менеджеры краковского издательства *Anczyc*, специализировавшегося на печати высококачественных иллюстрированных книг и находившегося в собственности одной семьи на протяжении семидесяти лет, подготовили обращение в министерство образования. Демократизм фирмы, ее великолепное обращение с сотрудниками, наработанный ею богатейший опыт позволяли, по их мнению, вывести ее из-под действия законодательства о национализации: «Сегодня, когда идет процесс восстановления польской культуры... было бы неразумно, устраняя индивидуальное влияние владельца предприятия, ставить под удар качество наших научных и художественных публикаций»⁵³. Владельцы издательства приложили к своему прошению письма поддержки от Краковского общества книголюбов, Ягеллонского университета, а также от своих рабочих-печатников, которые, одобряя национализацию «в принципе», выражали убежденность в том, что их материальному положению «частная собственность не вредит». Столь основательная поддержка помогла убедить министерство образования, которое перенаправило обращение издателей в вышестоящие инстанции. Но, несмотря на все усилия, инициатива провалилась. Согласно вердикту некоего бюрократа из министерства информации и пропаганды, «фирма, используя в качестве предлога заботу о полиграфической промышленности и высоком качестве своей продукции... желает остаться капиталистическим предприятием и извлекать прибавочную стои-

мость, эксплуатируя рабочих и инженеров». В 1949 году издательство было национализировано, а собственность его хозяев конфискована⁵⁴.

Свидетельства того, что частные предприятия не только были прибыльными, но и пользовались широкой популярностью среди рабочих, также беспокоили немецких коммунистов. В 1950 году они произвели анализ частного сектора в экономике, результаты которого были представлены экономическим отделом ЦК. Вероятно, изучая этот документ, партийные руководители были весьма удручены. Партийная инспекция обнаружила, что в частных компаниях выше производительность труда, рабочие более довольны жизнью, а частные собственники по-прежнему популярны. В одной из фирм хозяин «к Рождеству выделил своим работникам 12,5 тысячи марок»; другой собственник премировал своих служащих половиной месячного оклада и подарил каждому праздничный продуктовый набор, включавший масло и сахар.

Хотя на некоторых из этих предприятий были коммунистические ячейки, авторы доклада отмечали, что на частных фабриках «вопрос классовой борьбы почти не обсуждается», а рабочие пребывают в невежественности. Один из тружеников шокировал проверяющих заявлением о том, что хозяин его фабрики «не эксплуататор, а предприниматель», а другой сказал, что если его компанию национализируют, то он и зарабатывать будет меньше, и рождественских премий лишится. Ответ бюрократов на все это был чисто идеологическим: члены ЦК решили, что «необходимо кардинально усилить образовательную и пропагандистскую работу на частных предприятиях», привлекая к решению этой задачи и профсоюзы⁵⁵.

Коммунистический ответ на относительный успех оптовой торговли оказался примерно таким же. В 1948 году один экономист жаловался на то, что в советской зоне оккупации «торговли» нет, есть только «распределение». Но вместо того чтобы создавать для торговли более благоприятный климат — это означало бы освобождение цен и укрепление частной розничной и оптовой торговли, правительство решило создать для нее

заменитель: сеть управляемых государством «свободных» магазинов, *Handelsorganization*. В этих магазинах люди могли приобретать потребительские товары и продукты, отсутствовавшие в других местах, причем без карточек и по ценам, которые считались рыночными.

Как отмечалось в партийных справках, население встретило новшество неоднозначно. Так, некая покупательница приветствовала его, поскольку «теперь у нас появилась возможность свободно приобретать жизненно важные потребительские товары». Другие высказывались в том духе, что «свободные магазины — это хорошо, но не по таким ценам», что «на зарплату рабочего тут ничего не купишь» и что «они нужны только людям с большими деньгами»⁵⁶.

Довольно скоро стало понятно, что «свободные» магазины не в состоянии конкурировать с частным сектором. Эта проблема продолжала мучить партийных экономистов. Спустя несколько лет на одном из совещаний в том же экономическом отделе ЦК были проанализированы соответствующие цифры. Численность людей, занятых в частном секторе, резко сократилась, что было неудивительно, учитывая финансовое и политическое давление, которому подвергались частные собственники. Несмотря на это, доля продукции, производимой в частном секторе, продолжала расширяться. Частная торговля установила прочные деловые связи с частной промышленностью, а это, как предполагали бюрократы, помогало частникам изымать из государственного сектора «неучтенные товары». Кроме того, частный сектор казался более гибким и обладал более прочной потребительской базой.

Вывод чиновников был вполне тривиальным: нужно создать особую комиссию. Необходимо также усложнить получение разрешений на частную торговлю, повысить налог на прибыль и ужесточить правила аренды коммерческих помещений частными предприятиями. Долю частной оптовой торговли, заключали партийцы, «необходимо снизить до 10 процентов». Если реальность не вписывалась в идеологию, следовало подкорректировать реальность⁵⁷. В 1949 году политбюро коммуни-

стов Восточной Германии приняло решение о том, что на каждом государственном предприятии наряду с экономическим руководством должен появиться заместитель директора по политическим вопросам. Он обязан подавать «пример дисциплины и партийной бдительности», держать рабочих в курсе событий национальной жизни и информировать их о жизни в Советском Союзе: «Трудящихся необходимо убеждать в том, что победа прогрессивных и демократических сил в Германии может быть достигнута только при поддержке СССР»⁵⁸.

В иных областях и других восточноевропейских странах реакция была примерно такой же. Ни требования забастовщиков, ни разочарование общества, ни низкие экономические показатели не могли заставить коммунистов ослабить хватку созданной ими системы. Вместо того чтобы поступиться идеологическими догмами, они усиливали пропаганду, наращивали темпы «реформ» и искали все новые способы, убеждающие их соотечественников подчиниться новым порядкам. Как и в политике, экономические провалы лишь повышали градус коммунистического радикализма.

По мнению коммунистических партий Восточной Европы, не ослабление, а, напротив, ужесточение контроля должно было остановить забастовки, покончить с дефицитом и поднять жизненные стандарты до западного уровня. Исходя из этого, восточноевропейские правительства одно за другим начали разрабатывать многолетние централизованные планы советского образца, задававшие нормативные показатели для любой экономической деятельности, от строительства дорог до производства обуви. Венгрия запустила трехлетний план в августе 1947 года, а в 1950-м объявила о реализации пятилетнего плана. Польша в 1947 году также начала с «трехлетки», которую в 1950 году сменил шестилетний план. Германия с 1949 года занималась реализацией двухлетнего плана, на смену которому пришла пятилетка 1951–1955 годов.

Показатели, вносимые в эти планы, зачастую брались с «потолка», а предполагаемые ими механизмы ценообразования

были, мягко говоря, незамысловатыми. Так, один из ведущих польских чиновников, отвечавших за экономику, постарался отследить изменение цен на уголь и хлеб на протяжении нескольких месяцев, предшествовавших запуску первого плана, предполагая, что это поможет ему задать «правильные» цены на все товары. Разумеется, будучи установленными, эти ценовые нормативы, по его мнению, не подлежали дальнейшим изменениям, поскольку в коммунистической экономике нет инфляции. В какой-то момент поляки даже обсуждали, не стоит ли им взять за основу системы цены на основные товары, применяемые в Советском Союзе — стране, очевидно, уже открывшей секрет правильного ценообразования⁵⁹.

На микроуровне цифры устанавливались столь же произвольно. Джо Лангер, жена видного словацкого коммуниста, в 1948 году работала в экспортной компании в Братиславе и видела, как планирование работает на уровне одного предприятия: «Первое потрясение я испытала в декабре, когда глава планового отдела попросил меня подготовить таблицу, показывающую, сколько именно зубных щеток (с какой щетиной, какого цвета и так далее) я планирую отправить в Швейцарию, Великобританию, на Мальту, Мадагаскар и в другие места в первой половине будущего года. Я заявила, что знать такие вещи просто невозможно, поскольку наши представители за рубежом — обычные смертные, которые ошибаются, болеют и умирают. ...Возражения не были приняты; мне было приказано незамедлительно браться за работу». Лангер пишет, что выдумывание фиктивной статистики далось ей мучительно. Начальство, однако, было удовлетворено: «Сотрудники босса составляли комплексную таблицу, сводящую воедино данные, полученные из других отделов. В Праге это творение было включено в более масштабный труд, который передавался наверх. По дороге его объединяли с аналогичными разработками других предприятий, что в конце концов должно было вылиться в План с заглавной буквы — основу основ нашей национальной экономики»⁶⁰.

Несмотря на причудливую природу подобного планирования, коммунисты свято верили в планы, фокусируя на них

грандиозные пропагандистские кампании. На заводах и фабриках висели огромные транспаранты: «Выполним и перевыполним план!», «Трудимся на выполнение плана!», «План — путь к победе социализма!». В плакатах, баннерах, печатной продукции в Восточной Германии очень часто и в позитивном ключе использовалось слово *Aufbau* — «строительство», «созидание». Планы и планирование с необычайным рвением обсуждались на радио. В 1948 году радиожурналистам в Восточной Германии предписывалось «многократно» комментировать четыре показателя, внесенные в двухлетний план 1949—1950 годов: 35-процентный прирост производства, 30-процентный рост производительности труда, 15-процентное увеличение заработной платы и 7-процентное сокращение затрат.

Чтобы не повергать слушателей в скуку, или, как это более деликатно формулировало руководство радио, чтобы не «вызывать апатию», комментаторам рекомендовалось оживлять упомянутые цифры интервью и репортажами с мест. Предполагалось, что они будут рассказывать о предприятиях, перевыполняющих производственные планы, а также подвергать «позитивной критике» отстающих хозяйственников. Успехи нужно было противопоставлять неудачам (разумеется, исправимым), и это, как предполагалось, сделает программы более интересными⁶¹. В филиалах Польского радио «обсуждение шестилетнего плана» в 1950—1956 годах значилось в списке политических приоритетов для программ любого типа, начиная с культуры и спорта и заканчивая политикой.

Планирование преподносилось в качестве универсального решения всех проблем. В 1948 году радио Восточной Германии призывало своих слушателей не беспокоиться по поводу денежной реформы в Западной Германии, взволновавшей тогда многих восточных немцев: «Выполнение и перевыполнение плана поможет нам преодолеть тяжелые, но неизбежные валютные проблемы»⁶². Борьба за выполнение плана не ограничивалась только производством. «Необходимо, чтобы наши мастера культуры создавали такие произведения искусства, которые способствовали бы нашей каждодневной борьбе за выполнение

пятилетки», — писала в 50-х годах газета из Восточной Германии⁶³. Немецкие бюрократы от культуры разрабатывали свои годовые и квартальные планы, а потом готовили годовые и квартальные отчеты об их выполнении. В них включались как общие цели — например, распространение знаний об экономическом и культурном развитии СССР, — так и более узкие задачи. Так, один из планов 1948 года требовал, чтобы каждый музей страны развернул специальную экспозицию, посвященную двухлетнему плану⁶⁴.

Одной из центральных задач польского шестилетнего плана, принятого в январе 1950 года, было восстановление Варшавы. Чтобы отметить это событие, был выпущен роскошный 350-страничный фотоальбом, автором-составителем которого выступил сам Болеслав Берут. Это издание объединяло фотографии Варшавы того времени — груды мусора, ютящиеся в руинах дети, развешанное на обваливающихся балконах белье — с образами Варшавы будущего. Здесь были представлены строгие небоскребы в стиле социалистического реализма, величественные правительственные здания, широкие бульвары. В обновляемом городе предусматривалось место для «массовых шествий и демонстраций», занятий спортом, прогулок на открытом воздухе⁶⁵.

Однако польский шестилетний план выдохся еще до завершения своего срока. Его реализация была остановлена в 1953 году, после смерти Сталина, а большую часть запланированного так и не завершили. Хотя восстановление города продолжалось, одни здания из варшавского альбома вообще не были возведены, а другие радикально изменили свой облик. Впрочем, будущие поколения варшавян были благодарны за это.

Часть вторая

Разгул сталинизма

Глава 11

Враги-реакционеры

Церковь учит тому, что надлежит отдавать кесарю кесарево, а Богу Божье.

Но когда кесарь усаживается на алтарь, мы твердо говорим, он не должен этого делать.

Кардинал Стефан Вышинский, 1953

К концу 1948 года коммунистические партии Восточной Европы и их советские союзники спровоцировали в новых народных демократиях грандиозные перемены. Они истребили наиболее дееспособных потенциальных оппонентов. Они взяли под контроль самые важные государственные и общественные институты. Они с чистого листа создали спецслужбы. В Польше вооруженная оппозиция была уничтожена, а легальная лишена возможности действий. В Венгрии и Восточной Германии спонтанно возникшие «антифашистские» движения прекратили существование, а по-настоящему оппозиционные партии были устранены. В Чехословакии успешный государственный переворот обеспечил коммунистам абсолютную власть. Лояльные и просоветские коммунистические партии утвердились у власти в Болгарии, Румынии и Албании. Социал-демократия, несмотря на ее глубокие корни в регионе, полностью исчезла с политической арены. Та же судьба постигла крупные частные компании и многие независимые организации.

И все же до социалистического рая было еще далеко. Новые режимы, обзаведясь и временными попутчиками, и фанатичными приверженцами, стремились к дальнейшему укреплению своей социальной базы. Десятки тысяч людей вступали в партию и близкие к ней массовые организации, включая молодежные, женские, профсоюзные объединения. Но коммунистические партии по-прежнему оставались непопулярными, а их поддержка была шаткой. Миллионы жителей Восточной Европы, про-

должая считать коммунистическую идеологию чужеродной, были убеждены в том, что коммунисты представляют интересы иностранной державы. Восточноевропейские коммунистические партии не смогли завоевать легитимность ни посредством выборов, ни благодаря экономическим успехам. Созданные ими экономические системы сразу же начали отставать от западных. Население Восточной Германии, и особенно Восточного Берлина, убедилось в этом после денежной реформы 1948 года, проведенной в западной части страны. Впрочем, о лучшей жизни хорошо знали не только они, но и все те, у кого были родственники на Западе или кто мог слушать западные радиопередачи.

Не вполне доверяя своим восточноевропейским приверженцам, Сталин решил, что для сохранения власти они должны перейти к более жестким методам. На протяжении последующих пяти лет страны Восточной Европы будут не критически копировать советскую внутреннюю и внешнюю политику, рассчитывая устранить оппонентов, обеспечить экономический рост, воспитать посредством пропаганды и образования новое поколение твердых приверженцев. До самой кончины советского лидера в 1953 году коммунистическим партиям региона предстояло работать над достижением одних и тех же целей, используя для этого идентичные инструменты. Это была эпоха «разгула сталинизма».

Хотя риторика той поры была преисполнена уверенности в завтрашнем дне, начиналась она в кризисе. В марте 1949 года Болеслав Берут, тогда неоспоримый лидер Польской коммунистической партии, обрисовал стоящие перед ним проблемы в письме Вячеславу Молотову, переданном потом Сталину. Вначале Берут воздаст должное польским спецслужбам, «сумевшим отбить атаки врага» в 1945–1946 годах. Подготовленные Советским Союзом польские чекисты не только искоренили подполье и «разгромили» Крестьянскую партию, которую возглавлял Миколайчик, но и превратились в «отточенный инструмент народной власти в борьбе против классового врага и проникновения иностранных разведок». И все же лидер был недоволен. Несмотря на все усилия, спецслужбы не сумели

«решительно и последовательно перестроить свою работу для более успешной борьбы против врага». В ряду активных недругов Берут перечислил не только подпольщиков, но и «клерикалов», польских социал-демократов, бывших членов Армии крайовой и даже бывших коммунистов, ныне исключенных из партии¹.

Далее, перечислив многочисленные «недостатки» польских спецслужб, Берут предлагает меры по их преодолению. Среди них — полное закрытие западной сухопутной и северной морской границ; внедрение агентов в потенциально «враждебные» группы и организации; усиление системы безопасности на предприятиях и в партийных комитетах; «тактическая» работа в рядах духовенства с использованием методов «принуждения» в одних случаях и «нейтрализации» в других. В письме Берута, многократно упоминающем шпионов, англо-американских агентов и прочих врагов, сквозит явная паранойя: «В течение последних месяцев можно было заметить признаки самоуспокоенности, недооценки способности врага к возрождению его организационной сети, недостаточную бдительность по отношению к деятельности врага, склонность к механическому применению старых методов борьбы, явно не отвечающих новой обстановке»². В определенном смысле паранойя партийного руководителя была оправданной. Действительно, недовольство резко нарастало не только в церковных кругах, но и среди бывших бойцов Армии крайовой, бывших коммунистов и бывших социал-демократов. Значительная доля польского общества симпатизировала не Советскому Союзу, а Соединенным Штатам; для многих идеалы распушенной Армии крайовой были ближе установок новой польской армии, в которой верховодили советские офицеры.

Но паранойя Берута подкреплялась сталинской паранойей, усилившейся в 1948—1949 годах, причем по тем же причинам. Миллионы советских граждан за годы войны впервые открыли мир зажиточности и свободы Западной Европы; теперь им предстояло вернуться в родной мир нищеты. «Велосипеды были старые, довоенные, а владелец футбольного мяча почитался буржуем», — писал Иосиф Бродский о своем послевоенном детстве³.

Разочарование, даже среди истовых коммунистов, было вполне реальным. Об этом знали и Сталин, и советские спецслужбы. В частном разговоре, подслушанном и записанном КГБ, советский генерал-фронтовик сетовал: «Абсолютно все открыто говорят о своем недовольстве жизнью. В поездках, да и вообще везде, все разговоры только об этом»⁴.

В результате военных завоеваний и кровавого подавления движения Сопротивления Советский Союз обзавелся новыми категориями в высшей степени неблагополучных граждан. Поскольку государственная граница переместилась на несколько сот километров к западу, миллионы обитателей довоенных территорий Польши, Румынии, Чехословакии и Балтийских стран в одночасье превратились в советских граждан. Разумеется, многие из них вовсе не симпатизировали тому, что представлялось им обновленной формой русского империализма, и спецслужбы прекрасно знали об этом. В 1945 году КГБ рассматривал всех жителей новых западных территорий в качестве потенциальных агентов иностранного влияния, саботажников и шпионов. Несмотря на то что большая часть узников ГУЛАГа покинула лагеря после смерти Сталина, прибалтийские и украинские националисты оставались в советских тюрьмах вплоть до 1960-х годов⁵. Желая подавить общее недовольство и, возможно, принудить новых граждан к повиновению, Сталин в 1948–1949 годах санкционировал масштабную волну арестов, по своему охвату сравнимую с Большим террором 1937–1938 годов. Колосс ГУЛАГа вновь начал набирать силу; в 1950–1952 годах его размеры и экономическая значимость достигли пика⁶.

Паранойя Сталина способствовала также провоцированию холодной войны, которая, в свою очередь, еще более обострила страхи и опасения вождя. К моменту прозвучавшей в 1946 году речи Черчилля в Фултоне о железном занавесе сомнения Запада, касающиеся советских намерений в отношении Европы, полностью подтвердились и к 1947 году оформились в новую политическую линию. В заявлении, получившем известность как «доктрина Трумэна», президент США объявил о желании Америки «поддерживать свободные народы, которые

сопротивляются агрессии вооруженного меньшинства или внешнему давлению»⁷. Со временем такая поддержка обретет различные формы, от демонстративных агитационных мероприятий (как, например, перебрасывание листовок через границу с помощью воздушных шаров) до более действенных акций⁸. Наиболее эффективным американским оружием в годы холодной войны стала радиостанция «Свободная Европа», вещавшая из Мюнхена, финансируемая правительством США и укомплектованная эмигрантами и изгнанниками, ведущими передачи на своих родных языках. Эффективность «Свободной Европы» была обусловлена не столько предлагаемой ею контрпропагандой, сколько объективным освещением новостей из социалистических стран⁹.

Западные опасения касательно советских намерений в сочетании с паранойей Сталина постепенно привели к глубоким переменам в военной и дипломатической сфере, многократно и порой блистательно описанным в книгах, посвященных холодной войне¹⁰. В апреле 1949 года западноевропейцы подписали Североатлантический договор, учредивший НАТО. В октябре 1949 года Сталин отказался от идеи незамедлительного объединения Германии, и Восточная Германия стала независимым государством, назвавшим себя Германской Демократической Республикой. Перевооружение Германии, всего несколько лет назад представлявшееся немыслимым, набирало обороты по обе стороны новой границы: на западе был создан Бундесвер, а на востоке формировалась Народная армия. Для обеспечения лояльности других восточноевропейских армий предпринимались специальные меры. В ноябре 1949 года видный советский генерал Константин Рокоссовский был назначен министром обороны Польши. Несмотря на свое польское происхождение (его семья по-прежнему утверждает, что он родился в Варшаве¹¹), этот военачальник делал свою карьеру в Красной армии и никогда не отказывался от советского гражданства. Его присутствие в польском правительстве стало свидетельством установления символического и практического контроля Советского Союза над польскими вооруженными силами и внешней политикой.

Одновременно высокие посты в польских и венгерских вооруженных силах получали и другие советские офицеры, порой даже не говорившие на иных языках, кроме русского. В обеих армиях молодые офицеры рабоче-крестьянского происхождения быстро продвигались по службе, в то время как опытные старые офицеры увольнялись в запас¹².

В 1948 году по престижу Советского Союза были нанесены три мощных удара. Первым стало выделение начального транша помощи европейским странам, предусмотренного «планом Маршалла»; он составлял 4 миллиарда долларов, которые предстояло распределить в ближайшие два года. «План Маршалла» был далеко не единственной причиной набравшего силу экономического возрождения Европы, но он тем не менее выступил важнейшей моральной и финансовой поддержкой этого процесса. Американские деньги служили общепринятым объяснением разрыва в развитии, который обозначился между восточной и западной частями континента¹³.

Второй удар стал следствием провокации, инициированной самим Советским Союзом. Реагируя на проведение западными державами денежной реформы, осуществленной в их оккупационных зонах в июне 1948 года, и на последовавшее за ней появление в обороте немецкой марки, СССР организовал блокаду западного сектора Берлина. Советские оккупационные власти перекрыли электроснабжение Западного Берлина, а также все автомобильное, железнодорожное и речное сообщение с ним, одновременно прекратив поставки продовольствия и топлива. Денежная реформа действительно усугубила экономическое отставание Восточной Германии, но блокада была не просто акцией протеста против новой немецкой валюты. Она явно преследовала цель вытеснить американцев из Берлина, а если удастся, то и из всей Германии. Красная армия не сомневалась в успехе. Согласно воспоминаниям бывшего сотрудника советской военной администрации, после сообщения о начале блокады офицеры, служившие в штабе советских войск, разразились аплодисментами: они были уверены, что западные союзники наконец-то покинут Берлин¹⁴.

Как известно, ничего подобного не произошло. Вопреки ожиданиям СССР, западные союзники наладили работу «воздушного моста», посредством которого с 24 июня 1948-го по 12 мая 1949 года в западный сектор Берлина ежедневно доставлялись топливо и продовольствие в количествах, достаточных для жизнеобеспечения двух миллионов жителей. Готовность союзников на столь масштабную операцию ради закрепления своего присутствия в Германии поразило Москву. Советская разведка, уверившись в быстром уходе американцев, недооценила возможности «воздушного моста». В первые же недели блокады советским аналитикам пришлось пересмотреть первоначальные оценки. Превосходная логистика союзной операции обескуражила русских и в самом Берлине. По словам одного офицера, «самолеты как будто бы нарочно пролетали над штаб-квартирой Красной армии на предельно низкой высоте, причем полеты шли без перебоев: когда над нашими головами пролетал один самолет, предыдущий уже скрывался за горизонтом, а с другой стороны показывался следующий»¹⁵. Успех «воздушного моста» со временем заставил советское руководство снять блокаду, а в последующие месяцы Западный Берлин стал добиваться того, чтобы войти в состав Западной Германии. Советская агентура в регионе докладывала Сталину о нависшей угрозе войны. Он был склонен верить этим сведениям¹⁶.

Третий удар по сталинскому престижу был нанесен изнутри самого социалистического блока. Иосип Броз Тито, «маленький Сталин» Югославии, был единственным из коммунистических лидеров Восточной Европы, кто не страдал от отсутствия популярности. И хотя у Тито было много врагов, с которыми он беспощадно расправлялся, возглавляемая им Югославская коммунистическая партия имела прочные источники легитимности. Встав во главе антигитлеровского Сопротивления и сформировав лояльную себе армию и спецслужбы, югославский вождь, в отличие от прочих руководителей стран «народной демократии», перестал нуждаться в советской военной поддержке, чтобы оставаться у власти. Советское вмешательство во внутренние дела страны тоже казалось ему нежелательным.

Хотя разногласия нарастали на протяжении нескольких месяцев, полный разрыв состоялся в июне 1948 года, когда прочие участники блока решили исключить Югославию из Коммунистического информационного бюро.

В то время как эффективность берлинского «воздушного моста» подкрепила советскую одержимость западными заговорами и англо-американскими шпионскими сетями, уход Тито усугубил советские опасения касательно стабильности внутри блока. Если югославский вождь сумел вырваться из-под влияния Сталина, не захотят ли и остальные лидеры поступить так же? Если югославы могут руководствоваться собственной экономической политикой, то что мешает полякам или чехам последовать их примеру? Со временем «титоизм», или «правый уклонизм», превратился в серьезнейшее политическое преступление: в восточноевропейском контексте «титоистом» называли всякого, кто хотел обеспечить своей коммунистической партии хотя бы минимальную независимость от Москвы. Как и в случае с «троцкизмом», этим ярлыком клеймили тех, кто противодействовал (казался или считался противодействующим) генеральной линии. «Титоисты» превратились в новых «козлов отпущения». Если Восточная Европа отстает от Западной Европы, то виноватыми, безусловно, были они. На них же возлагалась ответственность и за пустые полки магазинов, и за низкий уровень производительности труда.

Для восточного блока 1948 год стал знаменательным и еще в одном отношении: именно в этом году восточноевропейские союзники СССР отказались от завоевания власти посредством выборов и терпимого отношения к оппозиции. Отныне вся мощь полицейского государства обрушилась на врагов режима в церковных кругах, ранее поверженной политической оппозиции и даже внутри самой коммунистической партии.

В отношении оппонентов широко применялись насилие, аресты, запугивание, но арсенал используемых средств не ограничивался только этим. С 1948 года коммунистические партии приступили к долгосрочной программе по разложению институтов гражданского общества изнутри. Первейшими объ-

ектами такой работы стали религиозные организации. Целью при этом было не уничтожение церквей, а преобразование их в «массовые организации», способные распространять государственную пропаганду так же, как это делали молодежные движения, женские организации, профсоюзы¹⁷. В эту новую эпоху среди коммунистов возобладало убеждение в том, что просто запугивать противников уже недостаточно. Их надо избличать перед обществом как предателей или злодеев, подвергать показательным и унижительным судебным разбирательствам, чернить в средствах массовой информации и отправлять в новые, более суровые, чем прежде, тюрьмы и лагеря.

Возобновившиеся нападки на врагов коммунизма оказались наиболее зримым и драматичным элементом «разгула сталинизма». Но не менее важным делом для восточноевропейских коммунистических партий стало создание широкой системы воспитания и пропаганды, призванной предотвратить появление врагов в будущем. Теоретически они рассчитывали сформировать не только новую разновидность общества, но и новый тип личности, такого гражданина, который не мог бы даже помышлять об альтернативах коммунистической ортодоксии. В ходе бурных дискуссий о неуклонно снижающейся аудитории радио Восточной Германии высокопоставленный коммунист заявлял: «Необходимо в каждой редакции и в каждой программе неустанно и детально обсуждать линию партии, а также ее применение в каждодневной работе»¹⁸. Именно это и происходило в молодых коммунистических странах: с 1948 года марксистско-ленинская теория разъяснялась в детских садах, школах и университетах, обсуждалась на радио и в газетах, раскрывалась в ходе массовых кампаний, демонстраций, публичных мероприятий. Каждый государственный праздник становился поводом для политического просвещения, а любые организации, от потребительского кооператива *Konsum* в Восточной Германии до Общества Шопена в Польше, становились инструментами распространения коммунистической пропаганды. Общественность коммунистических стран принимала участие в кампаниях «борьбы за мир», собирала деньги для Северной Кореи, ходила

на демонстрации и парады¹⁹. Внешним наблюдателям, а также некоторым инсайдерам «сталинизм» казался такой политической системой, которая вот-вот преуспеет в установлении тотального контроля над обществом.

С первых дней советской оккупации церковные организации подвергались преследованиям и гонениям. Религиозные лидеры, в числе прочих авторитетных и влиятельных представителей гражданского общества, оказались среди самых первых жертв той волны насилия, которую подняла Красная армия. Польских католических священников во множестве отправляли в советские лагеря. В немецких лагерях после войны можно было найти как католическое, так и протестантское духовенство, причем особенно часто за решетку попадали лидеры католической молодежи. Советские оккупационные власти массово закрывали летние лагеря и центры для молодежи, поддерживаемые религиозными объединениями. В Венгрии наступление на группы католической молодежи началось после ареста в 1946 году отца Киша, обвиненного в подготовке убийства советских военнослужащих; затем оно вылилось в запрет католического движения *Kalot*, клеветническую кампанию против кальвинистов и лютеран, прочие формы нападок на религиозные организации и религиозных деятелей. Уже в мае 1945 года лютеранский епископ Золтан Туроши предстал перед народным судом и был приговорен к тюремному заключению. Вероятно, его пример был призван запугать других²⁰.

Коммунистические вожди боялись и ненавидели религиозных лидеров не только из-за своего догматического атеизма. Религиозные руководители предлагали обществу иную мораль и альтернативную духовность. Они располагали независимыми источниками финансирования и прочными контактами с Западной Европой. Особую боязнь вызывали католические священники: это объяснялось их тесными связями с Ватиканом и влиятельностью международных католических обществ и благотворительных организаций. Во многих странах, в особенности в Польше и Германии, церковные деятели ассоциировались также

с антифашистской или антигитлеровской оппозицией, что в послевоенный период придавало им дополнительную легитимность и авторитетность. Помимо власти над умами церковь обладала и большой организационной мощью. У нее были помещения, где могли встречаться недовольные, а также организации, где они могли найти работу. Каждое воскресенье священникам и проповедникам была гарантирована аудитория, а у церковных публикаций всегда был читатель. Это превращало церковь в сторонника и покровителя гражданских, благотворительных, образовательных организаций.

И все же сразу после войны новые режимы и их советские покровители демонстрировали в отношении к религии заметную сдержанность. В 1945 году Красная армия, в отличие от большевиков во время русской революции и Гражданской войны, не занималась закрытием, разграблением или разрушением церквей, а также массовыми расстрелами священнослужителей²¹. Напротив, в Германии оккупационное командование способствовало восстановлению религиозных учреждений, включая храмы, школы и даже семинарии. Оно позволяло новым радиостанциям транслировать проповеди и санкционировало выпуск Библии и прочей религиозной литературы. Все это делалось для того, чтобы противопоставить новых властителей их нацистским предшественникам. Как писал советский чиновник, работавший в Германии, предоставляя церквям полную свободу, советские военные власти демонстрировали терпимое отношение к вере и тем самым лишали антисоветскую пропаганду важного оружия²². При этом религиозное невежество порой заставляло их вести себя довольно странно. Например, в 1949 году командир советского гарнизона в Нордхаузене вызвал к себе молодых лютеран, готовивших обряд конфирмации, и поинтересовался у них, зачем нужна «вся эта дополнительная пропаганда». В чем цель этого особого церковного обряда, допытывался он, не в агитации ли против марксизма и Советского Союза?²³

В Польше почтение к церкви было еще более значительным; здешним коммунистическим руководителям хотелось, чтобы их воспринимали как поляков, а не как «советских» (или, не дай

бог, евреев), и поэтому они на первых порах с пиететом относились ко всем национальным символам, включая католицизм. Коммунистические вожди вместе с католическими иерархами принимали участие в ежегодных процессиях по случаю праздника Тела и Крови Христовых, а также участвовали в богослужениях. За кулисами, однако, они признавались в том, что подобная политика должна позволить партии «обойти» церковь: сначала коммунисты реформируют все прочие институты, затем уведут от церковников молодежь, а потом просто подождут, пока вымрет старшее поколение прихожан.

В Польше, как и в Германии, новое правительство очень хотело, чтобы показное возобновление деятельности некоторых католических учреждений воспринималось как свидетельство того, что «нормальная жизнь» возвращается, а присутствие Красной армии вовсе не является новой оккупацией. Самое знаменитое религиозное учебное заведение страны — Католический университет Люблина — вновь открыло свои двери в августе 1944 года. Это решение церкви вызвало бурю негодования среди польских эмигрантов в Лондоне, поскольку означало неявное признание *status quo*. Вскоре после этого Краковская епархия получила разрешение на публикацию еженедельника *Tygodnik Powszechny* — интеллектуального журнала, быстро сделавшегося одним из самых популярных в стране. В дополнение к этому писатель и журналист Ежи Борейша организовал в Кракове регулярные встречи коммунистических и католических интеллектуалов, призванные закрепить «прекращение огня» между церковью и партией²⁴.

В Венгрии партия тоже хотела казаться веротерпимой, хотя слово «казаться» в данном случае следует подчеркнуть. В ноябре 1945 года, выступая на заседании ЦК, посвященном религии, Матьяш Ракоши заявил: «Нам следует работать осторожно; к вопросам о том, как и кого атаковать, следует подходить особо внимательно»²⁵. Призыв к «осторожности», по крайней мере на первых порах, оборачивался тем, что венгерские коммунисты старались воздерживаться от открытых нападок на церковь, а коммунистические бригады под аккомпанемент публичных

похвал, помогали восстанавливать церковные здания, разрушенные во время бомбардировок²⁶. Впрочем, это не мешало официальной прессе изображать руководителей церкви как гнусных «реакционеров», стремящихся реставрировать режим Хорти.

Враждебность к религии проявлялась в разных формах. Так, в ходе аграрной реформы венгерское государство отобрало у католической церкви три четверти ее земель, а у протестантских церквей — почти половину²⁷. На словах власти объясняли конфискацию церковной собственности экономической необходимостью, а не антирелигиозными гонениями. Религиозные организации при этом не получили никакой компенсации. На священнослужителей был распространен статус государственных служащих, а религиозные объединения впервые в своей истории попали в полную зависимость от государственных субсидий.

Впрочем, к концу 1947 года коммунистические партии региона, зная о своей непопулярности, были готовы действовать еще жестче: ведь на воспитание молодых людей в коммунистическом духе требовалось слишком много времени, а верующие умирали недостаточно быстро. В сентябре Йожеф Реваи, отвечавший в Венгрии за идеологию, начал говорить, что «пора покончить с клерикальной реакцией»²⁸. В октябре руководители региональных отделений польских спецслужб собрались в Варшаве на совещание, где перед ними выступила Юлия Бристингер, которая возглавляла «чекистский» департамент, отвечавший за работу с духовенством. Она заявила, что «борьба с подрывной деятельностью клириков, несомненно, является одной из самых сложных задач, стоящих перед спецслужбами». Эта женщина, одна из самых ненавистных чекисток восточного блока, представила собравшимся несколько новых методов работы, начиная с «систематического» полицейского давления на религиозные организации и тайного проникновения агентов спецслужб в их ряды и заканчивая вербовкой священнослужителей в качестве информаторов и использованием «молодых активистов» для выяснения степени религиозности учителей и

преподавателей²⁹. Со временем все эти методы получили широкое распространение в странах Восточной Европы.

В Восточной Германии и тайная, и обычная полиция тоже довольно быстро переключили внимание на «врагов» в среде христианской молодежи. К декабрю 1949 года генеральный инспектор Народной полиции объявил остатки протестантского молодежного движения *Junge Gemeinde* враждебной организацией, стремящейся разрушить Союз свободной немецкой молодежи. В ходе совещания с руководством Союза инспектор заявил: «Если под видом отправления религиозных обрядов проводятся встречи преступных элементов, то мы будем препятствовать этому всеми правовыми средствами, имеющимися в нашем распоряжении»³⁰. За короткое время риторика стала предельно жесткой. Сам Вальтер Ульбрихт назвал *Junge Gemeinde* «шпионским гнездом», состоящим в связи с «так называемыми молодежными группами Западного Берлина». Власти Восточного Берлина получили специальную директиву, предписывающую им «пресекать деятельность реакционных групп внутри церкви, и в особенности *Junge Gemeinde*, которые в интересах иностранных империалистов препятствуют социалистическому строительству, саботируют борьбу за мир, подрывают немецкое единство»³¹.

До 1949 года преследованиям подвергалась в основном горстка влиятельных лидеров молодых христиан. Но теперь религиозная пропаганда сделалась совсем неистовой. Режим официально запретил *Kreuz auf der Weltkugel* — эмблему *Junge Gemeinde*, которая представляла собой крест, венчавший символическое изображение земного шара. Банды немецких «комсомольцев» являлись в церкви и разгоняли собравшихся людей. (Авторы одного из отчетов Союза с удовлетворением описывают «гонки на мотоциклах», которые они устроили вокруг одного из религиозных мероприятий³².) Кроме того, Союз свободной немецкой молодежи организовывал в учебных заведениях собрания, чтобы «осудить фашистский террор в Западной Германии» и «изобличить враждебные элементы», под которыми подразумевались религиозные студенты. Школьные «трибуналы» допра-

шивали детей, подозреваемых в наличии религиозных убеждений. Это делалось на публичных мероприятиях, порой протекавших весьма драматично. Один из таких спектаклей состоялся в школьном театре Виттенберга: школьников, которые отказывались вступать в Союз свободной немецкой молодежи или настаивали на желании посещать церковь, по одному вызывали на сцену, выносили порицание и изгоняли прочь на глазах всей школы. Многие уходили с этого судилища в слезах³³.

В 1954 году государство ввело церемонию *Jugendweihe* (праздник вступления в юношество по достижении 14 лет. — *Ред.*) — светскую альтернативу протестантской конфирмации. Она была призвана «приобщать молодежь к научному мировоззрению и социалистической морали, воспитывать ее в духе социалистического патриотизма и пролетарского интернационализма, способствовать ее вовлечению в строительство развитого социалистического общества и создание главных предпосылок для постепенного перехода к коммунизму». Пасторы протестовали против этого нововведения, но их возражения не возымели действия. Хотя на первых порах в ритуале участвовала лишь шестая часть молодых людей, к 1960-м годам в церемонию вовлекались до 90 процентов молодежи в Восточной Германии³⁴.

От 300 до 3 тысяч детей были исключены из школ из-за того, что отказались публично осудить религию; еще больше молодых людей были изгнаны из университетов. Многие из исключенных отправились в Западную Германию или в Западный Берлин, где западногерманское министерство внутренних дел предлагало им бесплатное обучение и проживание. Естественно, власти восточной части страны воспринимали такую политику с ненавистью³⁵. Иногда религиозные семьи вовсе отказывались отдавать детей в университеты. Проигнорировав в школьные годы вступление в Союз свободной немецкой молодежи, Ульрих Фест из Виттенберга и его друзья знали, что им никогда не удастся получить высшее образование: «Хотя нас было очень мало, мы были твердо уверены в своей правоте»³⁶.

В Венгрии события развивались в том же русле: сначала туманные разговоры о шпионаже, потом преследования, а затем

запреты и аресты. Ракоши в начале 1948 года согласился с мнением, которое высказал упомянутый выше Йозеф Реваи: «К концу этого года мы должны покончить с клерикальной реакцией»³⁷. В течение нескольких месяцев были национализированы сотни церковных школ, иногда вопреки горячим возражениям общественности. В ходе печально известного инцидента в деревне Почпетри местные жители, протестовавшие против закрытия их школы, были атакованы полицейскими, вооруженными дубинками. В ответ раздалась стрельба, и один из полицейских был убит. Позже власти арестовали местного нотариуса и священника; нотариус был приговорен к смерти и казнен. Многие с самого начала подозревали, и сегодня эти догадки получили документальное подтверждение, что беспорядки были намеренно спровоцированы спецслужбами. Инцидент использовался в пропагандистской войне против церковных школ. К июню более 6500 из них вынуждены были отказаться от своей религиозной идентичности, превратившись в государственные школы³⁸.

Вскоре начали закрывать и монастыри. Монахиням из города Дьёр дали всего шесть часов на то, чтобы собрать вещи и покинуть обитель. В южной Венгрии 800 монахов и 700 монахинь выселили из монастырей прямо посреди ночи, разрешив каждому взять с собой не более 25 килограммов книг и личных вещей. По всей стране монахиням объявляли, что им больше не позволено работать в больницах и госпиталях: это правительственное распоряжение заставило многие медицинские учреждения сократить перечень оказываемых услуг. Сестер насильственно возвращали в их семьи, отправляли на заводы и фабрики, депортировали в Советский Союз³⁹. Шандор Керестеш, бывший католический политик, постоянно находившийся под полицейским наблюдением, — у него было восемь детей, что само по себе казалось властям подозрительным, — тайком нанял группу монахинь, чтобы ремонтировать нейлоновые чулки: это позволило сестрам держаться вместе и избежать голода⁴⁰.

В Польше произведенная партией в 1948 году смена тактики совпала с кончиной польского примаса, кардинала Августа Хлонда. С его уходом распространенные среди духовенства

надежды на то, что коммунистический режим скоро падет, а западные державы заставят Советский Союз уйти из Восточной Европы, начали таять⁴¹. Церковь была еще более деморализована арестами священнослужителей, запретом на преподавание катехизиса в школах и закрытием семинарий. Закрывались также католические госпитали, приюты, благотворительные организации. В начале 1950 года режим перешел еще одну черту, развернув атаку на *Caritas*, наиболее крупную благотворительную организацию католического толка. *Caritas* курировала 4,5 тысячи детских домов, в которых воспитывались более 166 тысяч сирот, содержала 240 благотворительных кухонь и распределяла пожертвования, получаемые из-за границы (в основном из США), с помощью которых восстанавливались церкви, школы и монастыри.

Непосредственно после завершения войны *Caritas* была одной из немногих организаций, оказывавших полякам медицинскую помощь. Именно из-за влиятельности, престижа и независимости этой структуры партийное наступление на нее оказалась особенно мощным. В январе 1950 года Польское агентство печати объявило, что *Caritas* попала под контроль «аристократов» и «сторонников нацистов», а в отношении большинства ее руководителей возбуждены дела о незаконном присвоении средств. Организацию немедленно передали в государственное ведение, а ее начальство уволили. Фактически благотворительная деятельность подверглась национализации. Ошеломленные таким поворотом событий польские епископы единодушно отвергли все обвинения и осудили нападки: «Целью подобных акций выступает отнюдь не общественное благо, а разрушение *Caritas* как церковного института — при одновременном возведении хулы и клеветы на католицизм и польскую церковь. Именно такое впечатление производит масштабная кампания, развернутая в печатной прессе, на радио, на собраниях и митингах. ...Кое-где объявлена настоящая охота на священников. Люди, вооруженные автоматами, ранним утром выволакивают их прямо из постелей, препятствуют проведению мессы, вторгаются на богослужения. ...Иногда клириков арестовывают прямо в священническом облачении»⁴².

Духовные лица, протестовавшие против национализации *Caritas*, сурово наказывались. Один священник, громко зачитавший протест перед своей паствой, был оштрафован на 75 тысяч злотых — в те времена это было целое состояние⁴³. Когда группа родителей из Катовице письменно высказала свое возмущение закрытием городской католической школы, местных священников неоднократно вызывали в штаб-квартиру полиции. Как сообщалось в одном из внутренних церковных документов, «в диоцезе Катовице трудно найти священнослужителя, которого не вызывали бы, причем не один, а два, три, четыре раза, в органы госбезопасности, где после многочасовых допросов их заставляли подписывать различные протоколы и заявления»⁴⁴.

После этой истории церковное руководство попросило клир впредь воздерживаться от подобных протестных акций. К 1954 году в стране осталось лишь восемь католических начальных школ, шесть из которых заканчивали свою работу, выпуская последних учащихся. Две другие школы продолжали обучать детей только потому, что на местах их нечем было заменить. Католические больницы, сестринские курсы, последние религиозные группы, сумевшие остаться независимыми, закрывались. Среди них была и *Bratni pomoc* — старейшая в стране студенческая благотворительная организация. Некоторые монастыри продолжали функционировать, но на них тоже оказывалось давление. Монахиням больше не позволялось посещать сестринские школы, которые формально принадлежали их орденам, а за оставшимися монахами пристально следили. Уникальным случаем для всей Восточной Европы можно было считать то, что Католический университет Люблина продолжал работать. Но его ректор, не допустивший на территорию университета коммунистические молодежные группы, находился под арестом, а преподаватели подвергались мощному нажиму⁴⁵.

Волны противоправных арестов священнослужителей прокатились по всему восточному блоку — к 1953 году только в Польше за решеткой находились около тысячи лиц духовного звания. За духовенством наблюдали с нескрываемым подозрением. Расследование в отношении приходского священника из

Кротошина было начато на том основании, что он «явный враг нынешнего режима, о чем однозначно свидетельствуют его двусмысленные проповеди, личные высказывания, допускаемые в ходе исповеди»⁴⁶. Информатор из Будапешта фиксировал наличие завуалированных, но тем не менее бесспорных контрреволюционных настроений в проповеди, посвященной героизму апостола Павла. Ему также показалось подозрительным то, что церковный хор исполнял в тот день «малоизвестное песнопение, изобилующее стенаниями и безысходными мольбами»⁴⁷. Среди лиц, арестованных в Германии, были не только священники (например, Йоханнес Хамель из Галле и Херберт Дост из Лейпцига, пользовавшиеся большой популярностью среди молодежи), но и миряне (в частности, Эрих Шуманн, обвиненный в нарушении немецкой конституции)⁴⁸. Кампании по дискредитации церкви обсуждались на самом высоком уровне. В Венгрии политбюро поручило руководителям предприятий «организовывать семинары о роли церкви как главной опоры капитализма», а тайной полиции — распространять на производстве и по месту жительства граждан слухи о том, что невыполнение плановых показателей объясняется саботажем церковников⁴⁹.

Но наиболее жестокими были не тайные, а открытые акции. С конца 1940-х годов духовные лидеры региона подвергались непрекращающимся гонениям. Зимой 1952–1953 годов вся епархиальная верхушка Кракова была вовлечена в жуткий судебный процесс, сопровождавшийся фабрикацией доказательств, использованием невидимых чернил, подделкой документов⁵⁰. Расследование, начатое в отношении архиепископа Йожефа Гроша, в католической иерархии Венгрии второго по значимости лица, также обернулось арестами священников и мирян по обвинению в «вооруженном заговоре» и террористической деятельности⁵¹. Еще раньше преследованиям подверглись кальвинистский епископ Ласло Раваш и лютеранский епископ Лайош Ордаш. Последний был арестован в августе 1947 года и приговорен к двум годам тюрьмы за нелегальные операции с иностранной валютой⁵². Впрочем, среди всех этих «уго-

ловных дел» было два, которые особо выделялись одержимостью и предвзятостью их инициаторов. Речь идет об атаке на двух ведущих католических лидеров Восточной Европы — кардинала Йозефа Миндсенти, назначенного примасом Венгрии в 1945 году, и кардинала Стефана Вышинского, ставшего примасом Польши в октябре 1948 года.

Итак, духовенству Восточной Европы приходилось работать в рамках политической системы, которая считала церковь одним из наиболее ярых своих врагов. Некоторые полагали, что единственной гарантией выживания и защиты верующих в подобных условиях могло быть сотрудничество с коммунистическими партиями или даже прямое содействие им. Другие категорически отвергали такую точку зрения. Талантом заглянуть в будущее не обладал никто, а в то время далеко не всегда было ясно, какой выбор окажется «правильным» или «нравственным». Неопределенность становится очевидной, если внимательно всмотраться в истории кардиналов Миндсенти и Вышинского — двух выдающихся людей, сделавших разный выбор.

В социологическом плане у двух деятелей было много общего. Оба будущих кардинала родились в провинции, в скромных крестьянских семьях, и оба были обязаны церкви своим образованием и карьерой. Миндсенти в мемуарах благодарит своих родителей за решение отдать его в среднюю школу — среди его сверстников далеко не все имели возможность продолжать обучение после младших классов⁵³. Вышинский вспоминает, как в детстве часто любовался двумя святыми образами, украшавшими его спальню: на одном была Черная Мадонна из Ченстоховы, обожаемая его отцом, а на другом Остробрамская икона Божьей Матери из Вильно, почитаемая его матерью⁵⁴.

Оба будущих клирика были патриотами, имевшими опыт борьбы с тиранией. В 1919 году Миндсенти был на короткое время арестован властями Венгерской советской республики, а в 1944 году, после того как он отказался принять присягу лидеру националистической партии «Скрещенные стрелы» Ференцу Салаши, его подвергло аресту венгерское фашистское прави-

тельство⁵⁵. Вышинский в годы нацистской оккупации подпольно работал учителем; на протяжении всей войны он сохранял тесные связи с Армией крайовой. Во время варшавского восстания он служил капелланом в районе Жolibож и в одном из госпиталей на севере города.

Оба священнослужителя были политически образованы и прекрасно понимали всю шаткость своего положения при новом режиме. После своего назначения главой польской церкви в 1948 году Вышинский иронично заметил, что теперь ему чаще стали предлагать книги по вопросам христианского мученичества и дарить изображения мучеников. В его окружении в любой момент ждали появления полиции. «Мой арест казался настолько неизбежным, что даже мой водитель постоянно приглядывал для себя новую работу»⁵⁶. В том же году Миндсенти, также опасаясь ареста, обнародовал специальное заявление, заранее прощая тех католиков, которых в будущем вынудят подписать осуждающие его петиции и письма: «Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то из паствы лишился средств к существованию. Если верующему придется подписать осуждающую меня бумагу, он может делать это в осознании того, что такой поступок совершается не по доброй воле. Будем молиться за нашу возлюбленную Церковь и нашу бесценную Венгрию»⁵⁷.

В первые годы епископского служения оба глубоко размышляли о роли церкви при коммунистическом режиме, обсуждая с коллегами различные варианты развития событий и молясь о попечении свыше. Каждый старался действовать исходя из блага религиозных институтов и верующих. Тем не менее, как свидетельствуют их мемуары, постепенно они пришли к различному пониманию того, какой путь следует предпочесть. Для глубоко религиозных личностей ни один из этих вариантов не был ни легким, ни очевидным.

В этой паре Миндсенти был более политичен, более красноречив, более непримирим в отношении коммунизма. Его конфликт с новым венгерским правительством начался очень рано. В 1945 году во время первого визита в Ватикан в качестве прима-са венгерской церкви Миндсенти принял предложение амери-

канских католиков об оказании Венгрии благотворительной помощи. Это ввергло коммунистов в неистовство; они всеми силами попытались воспрепятствовать тому, чтобы помощь достигла Венгрии. Миндсенти публично обличил их маневры: «Эти американские пожертвования — знак всеобъемлющей солидарности церковного мира. Понятно, что мировому большевизму они вовсе не по нраву». Столь же резко он реагировал на попрание законности коммунистической партией. Накануне выборов 1945 года он издал пастырское послание к верующим, в котором, не называя ни одну из партий по имени, обличал полицейское насилие и заявлял о том, что, «по-видимому, на место прежней диктатуры приходит тоталитарная диктатура». После того как послание кардинала было обнародовано, Ракоши созвал экстренное заседание партийного руководства, а полиция пыталась помешать священникам в зачитывании послания примаса в храмах⁵⁸.

По мере того как нарастало давление на организации католической и протестантской молодежи, Миндсенти принял на себя ответственность по их публичной защите. В мае 1946 года он участвовал в шествиях, организованных Католической ассоциацией родителей против предполагаемого закрытия церковных школ. В марте 1947 года он публично осудил отказ от преподавания религии во всех учебных заведениях, заявив о том, что «обещание свободы вероисповедания при одновременном насаждении атеизма есть верх лицемерия». После того как венгерские епископы провозгласили 1947 год «святым», посвятив его Деве Марии, Миндсенти с головой окунулся в праздничные мероприятия. Сотни тысяч паломников могли встретиться с ним в ходе богослужений, совершаемых примасом по всей стране, несмотря на «неисправные» поезда и «ремонт» дороги. Он обращался к ним с пылкими и мобилизующими речами: «В это трудное время борьбы католические приходы должны быть начеку. ...Мы никому не причиняем зла и не собираемся делать это в будущем. Но если кто-то попытается уничтожить справедливость и любовь, на которых мы стоим, то нам придется воспользоваться правом на самозащиту»⁵⁹.

Миндсенти не бросал слов на ветер; он не шел ни на компромиссы, ни на переговоры с властью. Он отвечал на каждый выпад против церкви контратакой. Он не желал подписывать никакого соглашения с государством до тех пор, пока режим не вернет церкви конфискованные здания и иную собственность, не восстановит распущенные католические организации, не наладит дипломатические отношения с Ватиканом. Разумеется, коммунистическая партия не собиралась выполнять эти условия, и осенью 1948 года партийная пресса развернула пропагандистскую кампанию под лозунгом «Дело Миндсенти будет подавлено!».

После рождественских праздников кардинал был арестован. Его лишили священнического облачения, постоянно допрашивали и на протяжении нескольких недель подвергали пыткам. Он пишет, что его били палкой по пяткам и бросали на пол тюремной камеры. Затем был организован показательный процесс, на котором он публично «признался» в серии абсурдных преступлений — например, в подготовке похищения короны венгерских королей и заговоре с целью вернуть на венгерский трон эрцгерцога Отто фон Габсбурга. Миндсенти оставался в тюрьме до октября 1956 года⁶⁰.

Участь Вышинского была иной, и не только из-за того, что Польша была непохожей на Венгрию страной, но и потому, что примас Польши избрал другую тактику. По натуре этот человек был склонен к компромиссам. Хотя Вышинского тоже подвергали нападкам с самого вступления в должность — кардинал стал примасом в 1948 году, когда антицерковная кампания набирала обороты, — он тем не менее старался избежать открытого конфликта. Он избегал неистовых проповедей и публичной критики режима, предпочитая протестовать за кулисами. В своих мемуарах примас сожалеет, что его тактика не всегда была понятна людям: «Общественность ничего не знала о многочисленных письмах, меморандумах, протестах... нацеленных на защиту прав церкви». Он даже наметил пункты, по которым можно было согласиться с коммунистической идеологией, указывая на то, что церковь традиционно защищала «социальную справедлив-

вость». Он объявлял себя сторонником экономических преобразований и земельной реформы, которая, по его мнению, сильно запоздала. Кардинал признавал, что «узко понимаемый атеизм» делает сотрудничество с коммунистами очень сложным, но, несмотря на это, стремился искать точки соприкосновения⁶¹.

С момента вступления в должность Вышинский занимался подготовкой того, что позже было названо «соглашением о взаимопонимании» между государственными властями и церковью. Три видных епископа были выделены для участия в регулярных встречах с коммунистическими чиновниками. Они вели разговоры с коммунистами, невзирая на то, что религиозная деятельность в стране все более ограничивалась, а сами власти постоянно откладывали или саботировали подобные контакты. Хорошо это или плохо (оценка зависит от позиции наблюдателя), но в апреле 1950 года соглашение между польским правительством и католической церковью было подписано. Среди прочего документ обязывал польских иерархов «внушать представителям духовенства, что их пастырский долг, согласно учению церкви, предполагает воспитание паствы в духе законопослушания и уважения государства»⁶². На деле церковь обязалась не поддерживать подполье или любую другую деятельность антикоммунистического толка. Соглашение было встречено неоднозначно и долгие годы вызывало споры. Многим его положения казались чрезмерными; в нем видели постыдный компромисс, укрепляющий легитимность режима и ослабляющий церковь. Один из священников, находившийся в 1950 году под следствием, узнал о договоре в тюрьме. Впоследствии он писал, что принял это за ложь, чтобы сломить его волю. Подписание примасом польской церкви столь явно коллаборационистского документа казалось ему немыслимым.

Решение о подписании соглашения далось Вышинскому с трудом, и временами он сожалел о нем. Выступая в 1953 году на епископской конференции, он говорил, что все попытки церкви вести диалог и сотрудничать с режимом воспринимаются не иначе, как «слабость»: «Правительство всегда рассматривало церковь под политическим углом зрения. Церковь — это Ватикан, а

епископы — агенты и шпионы». Когда в сентябре 1953 года его наконец арестовали, примас, по-видимому, испытал немалое облегчение, поскольку теперь его положение прояснилось. Как заявлял он в беседе с одним из своих сподвижников, «в ту пору, когда рабочие, крестьяне, интеллигенты томятся в тюрьмах по всей стране, примасу и клиру тоже надлежит быть за решеткой, поскольку наш долг — оставаться вместе с нацией»⁶³.

Вышинский прекрасно понимал, почему договор между церковью и государством вызвал такое негодование; знал он и о том, что Миндсенти отказался подписать аналогичный документ. Его решение вступить в диалог не означало, что у него были какие-то иллюзии касательно природы режима: он знал, что подписание не даст ничего, кроме возможности выиграть время. Но именно время было нужно примасу более всего. Позже он писал, что война нанесла польской церкви колоссальный урон: тысячи польских священнослужителей были брошены в тюрьмы и еще тысячи погибли в немецких и советских концлагерях. Духовенство нуждалось в передышке, чтобы прийти в себя. Польской церкви было необходимо любой ценой избежать такого разгрома, которому после революции подверглась Русская православная церковь: «Чтобы отстаивать Божье дело, мы должны выиграть время и укрепнуть»⁶⁴. Кардинал считал соглашение необходимым компромиссом, позволяющим церкви жить и лишаящим режим возможности заявлять о том, что она строптива и непокорна.

Результаты этих двух линий поведения также оказались различными. Сильной стороной конфронтации, в которую вступил Миндсенти, была предельная ясность его позиции. Его готовность сражаться за правду вызывала восхищение тогда и продолжает восхищать сегодня. Он смело говорил о закрытии церковных школ, разрушении католических организаций, арестах и убийстве невинных людей. Его прямота превратила его в важный символ антикоммунистического сопротивления в Венгрии и во всем мире. Когда венгерские революционеры в 1956 году выпустили Миндсенти из заключения, у ворот тюрьмы его ждала ликующая толпа⁶⁵. И все же непреклонность примаса не

избавила венгерскую церковь от жесточайших репрессий. После его ареста, пыток и унижительного судилища венгерских епископов все равно заставили подписать «соглашение о взаимопонимании», подобное тому, что подписал Вышинский, но только на более жестких условиях⁶⁶. Венгерская версия не только признавала Конституцию Венгерской Народной Республики, но и призывала верующих включиться в выполнение пятилетнего плана. Она также предостерегала священников от воспрепятствования коллективизации сельского хозяйства. А через неделю после того, как соглашение было подписано, государство приняло закон о роспуске венгерских монашеских орденов⁶⁷.

У тактики, которую избрал Вышинский, было иное достоинство — гибкость. Он старался избегать столкновений, вызволять священнослужителей из тюрем и поддерживать работу максимального числа церковных институтов. В его подходе не было того морального пафоса или вдохновения, которые отличали Миндсенти, а его гладкие проповеди заставляли прихожан недоумевать по поводу того, как же на самом деле церковь относится к коммунизму. Но именно этот миролюбивый стиль позволяет понять, почему Вышинского арестовали относительно поздно, в 1953-м, а не в 1949-м, почему он так и не предстал перед судом, почему польская церковь вышла из эпохи сталинизма относительно невредимой — по крайней мере в сравнении с религиозными организациями Венгрии, Чехословакии и Германии. Вышинский был убежден, что его примирительный тон затруднял нападки коммунистов на польский католицизм. Кардинала, согласившегося на столь многочисленные уступки, трудно было обвинить в реакционной непреклонности. По крайней мере до 1980-х годов позиция Вышинского была ориентиром для других польских клириков, которые в большинстве своем публично признавали легальный авторитет партии. На протяжении коммунистического периода польские священники в большинстве своем всеми силами старались уходить от политических конфликтов, продолжая выполнять свой пастырский долг. В отличие от польского католицизма, венгерские католики и протестанты вышли из сталинизма деморализованными, а в

1970—1980-е годы их церкви сверху донизу опутала агентурная сеть тайной полиции. В отличие от католической церкви в Польше и протестантских церквей в Германии венгерские религиозные организации не сыграли заметной роли в формировании оппозиции коммунистическому режиму, происходившем в 1980-е годы.

Оба подхода имели свои недостатки и преимущества, а особенности выбора линии поведения двумя выдающимися католическими лидерами региона, эхом отдавались в мыслях и поступках священников и мирян. Кто-то выбрал неповиновение и тюрьму. Другие предпочли менее эффектный путь переговоров, компромиссов и тихих закулисных протестов, исходя из того, что так будет лучше для верующих. Ханс-Йохан Шиче, лютеранский пастор из Восточной Германии, говорил: «Мы должны быть церковью не только для сильных духом, но и для большинства. Церковь — это институт для слабых и боязливых; если я затею большой конфликт с государством, это может повредить им»⁶⁸.

Но выбор верующих при новом режиме не ограничивался только этими двумя стратегиями. Довольно скоро появились и другие возможности.

С первых же дней советской оккупации только что созданные секретные службы пытались вербовать священников и верующих, так же как они вербовали представителей прочих профессиональных групп. Но в ситуации с духовенством одного только тайного сотрудничества было недостаточно: «чекисты» хотели, чтобы клирики открыто служили режиму, как опора коммунистической партии. Несомненно, эта идея родилась в Советском Союзе⁶⁹. По данным Юзефа Святло, высокопоставленного сотрудника польской секретной службы, бежавшего на Запад в 1953 году, предложение «не ликвидировать церковь, а постепенно превратить ее в инструмент советской политики» исходило лично от генерала Серова. План заключался в том, чтобы внедриться во внутренние структуры церкви, расколоть ее на враждующие фракции — как это было в России до 1929 года — и осла-

бить ее влияние на общество⁷⁰. Именно такой, по сути дела, оказалась участь Русской православной церкви, которая к 1930-м годам превратилась в государственный институт.

Контуры этой политики четко были обозначены лично Сталиным в октябре 1949 года на совещании Коминформбюро в Карлсбаде. Вождь предложил коммунистическим партиям занять более жесткую позицию в отношении религии, а на роль первопроходца в этом деле назначил Чехословакию: «Необходимо изолировать католическую иерархию и вбить клин между Ватиканом и верующими. В зависимости от того, насколько мы преуспеем в Чехословакии, мы выстроим политику в отношении католицизма в Польше, Венгрии и других странах. Кроме того, нам надо взять на себя вопросы финансирования рядовых служащих. Эти шаги обособят рядовых священнослужителей от иерархии. Правительствам следует обязать священников принимать гражданскую присягу, а коммунистические партии должны заставить их распространять на религиозных занятиях и в проповедях, а также в прямых контактах с верующими идеи Маркса, Энгельса и Ленина. Что касается церковной иерархии, то с ней необходимо вести систематическую борьбу; к декабрю 1949 года церкви должны перейти под наше полное управление»⁷¹.

В Венгрии власти неукоснительно следовали этой тактике; антирелигиозная кампания шла в унисон с массовой «борьбой за дело мира», развернутой в стране в 1948 году. Это движение, как отмечалось выше, не было похоже на спонтанные и низовые миротворческие инициативы, реализуемые в западноевропейских странах; его инициировало правительство и проводили в жизнь активисты коммунистической партии, которые организовывали демонстрации, спортивные пробеги, конференции в защиту мира. Журналистам поручалось освещение этих мероприятий, а художники-оформители разрабатывали плакаты и брошюры, пропагандировавшие мир во всем мире.

В этой стране, как и везде, подписывались петиции в защиту мира. Подписи собирались в школах и конторах, на заводах и фабриках, где партийцы состязались между собой за то, кому удастся собрать больше подписей. К весне 1950 года кампания

достигла интенсивности, граничащей с истерией. К началу мая 24 583 сборщика собрали 6 806 130 подписей под обращением, содержащим призыв к миру во всем мире. Для страны с населением в 9 миллионов человек это был невероятный результат⁷².

Священников тоже просили ставить подписи под документом, и некоторые соглашались на это. Другие, однако, уклонялись от подписания или даже от участия в кампании в целом, ссылаясь на то, что не знают, позволяет ли их сан подписывать политические петиции. В конце концов архиепископ Грош, ставший после ареста Миндсенти исполняющим обязанности примаса Венгрии, внес ясность в этот вопрос. Он публично заявил о том, что католическая церковь всегда защищала дело мира, но при этом заметил, что только Ватикан может решать, имеет ли священнослужитель право содействовать международной организации или подписывать какие-либо договоры и соглашения. Следовательно, лично он, как и все остальные венгерские священники, не сможет подписать ни эту, ни какую-либо другую петицию⁷³.

Это заявление предоставило в распоряжение коммунистов оружие, которого им так не хватало. Партийные журналисты незамедлительно зачислили церковь в ряды поджигателей войны. Дьёрдь Лукач, временами сотрудничавший с коммунистами, а иногда избегавший этого, раскритиковал «лицемерное» решение архиепископа. Коммунистическое руководство было довольно: оно решило, что борьба за мир «позволяет противопоставить рядовое духовенство клир церковным иерархам»⁷⁴. Давление на церковные низы необходимо усилить, а тем, кто решит, вопреки мнению примаса, принять участие в «борьбе за мир», следует предложить какое-то поощрение.

Потенциальных коллаборационистов подыскивали довольно быстро, и Йозеф Реваи начал подготовку мероприятия, на котором предполагалось учредить организацию «священников-миротворцев». Все детали этой встречи «продумывались» заранее, включая итоговую декларацию, которую потом подписали 279 священнослужителей и монахов — около 2 процентов всего духовенства страны. Даже настроение участников программы

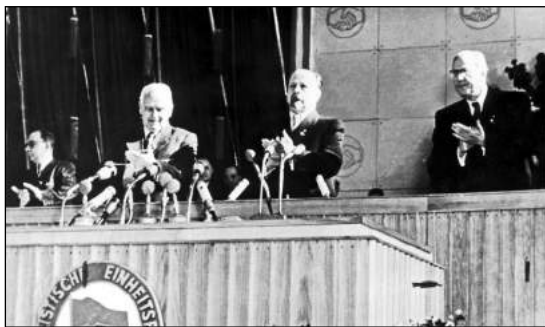
ровалось наперед. На одном из заседаний ЦК Янош Кадар, после 1956 года ставший венгерским диктатором, заявил, что «атмосфера форума не должна быть ни избыточно праздничной, ни слишком сдержанной»: «Нам необходимо поддерживать высокий боевой дух. Участникам следует подчеркивать ошибки Миндсенти, критиковать отношение епископата к власти, а священникам надлежит рассказывать о тех угрозах, которые они получают из-за своих демократических убеждений и планируемого участия в конференции. ...Речи должны содержать критику епископов, а выступающие должны требовать от епископата пересмотра отношения к демократии и борьбе за мир. Но им не следует быть излишне радикальными, чтобы не подорвать атмосферу единодушия на встрече»⁷⁵.

Примерно такая же тщательная подготовка сопровождала организацию форума польских «прогрессивных священников», как именovala их коммунистическая партия. (Эту группу клириков не без иронии называли также «попами-патриотами».) В Польше их приписали не к движению за мир во всем мире, а к официальному объединению ветеранов войны — Союзу борцов за свободу и демократию (*Związek Bojowników o Wolność i Demokrację*). Оно было создано коммунистической партией из-за того, что настоящие ветеранские группы, неформально и эмоционально связанные с Армией крайовой, казались режиму слишком опасными.

Священники, которые не медлили с вступлением в организацию, сразу же получали доступ к привилегиям, включавшим специальное медицинское обслуживание, путевки в санатории, стройматериалы для строительства и ремонта церквей. После роспуска в январе 1950 года организации «*Caritas*» льготы были еще более расширены. Клирики, готовые сотрудничать с государством, получали деньги, офисы и ресурсы *Caritas*. Примерно в это же время польские спецслужбы начали поощрять появление «официально одобренных» католических организаций и публикаций. К тому моменту уже существовали католическая газета *Dziś i jutro*, а также католическая псевдопартия *Pax*, подробнее о которой будет сказано ниже. На волне таких перемен

«Московские коммунисты»

Венгрия.
Слева направо:
Иштван Доби,
Матьяш Ракоши,
Эрнё Герё,
Михай Фаркаш,
Йожеф Ревай.



ГДР.
Слева направо:
Вильгельм Пик,
Вальтер Ульбрихт,
Отто Гротеволь.

Польша.
Болеслав Берут
(в центре)
принимает
поздравления
с 60-летием.



Церковь



Поначалу партия идет на уступки церкви. Замминистра обороны Польши Петр Ярошевич рядом с примасом польской церкви кардиналом Августом Хлондом в день Праздника Тела Христова. 1947 г.



В Венгрии начинаются репрессии: кардинал Йозеф Миндсенти в сопровождении военного конвоя в Будапеште. 1947 г.

Средства информации



Доставка газет в советскую зону оккупации Германии. 1945 г.



Венгерские крестьяне слушают передачу местной радиостанции. 1951 г.

Молодежь



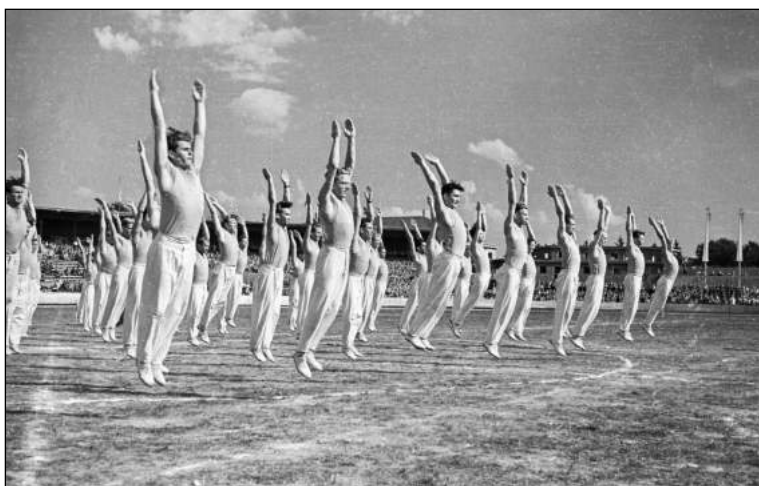
Союз Свободной немецкой молодежи растит юную смену.



Молодые люди из Союза с толком проводят летние каникулы.



Члены Союза польской молодежи на восстановлении Варшавы.



Показательное выступления юношей из Союза польской молодежи.

Труд



Польские ударники труда в Гданьске отмечают дневную выработку.



Постановочное фото для воспитания сверстников. София Теван и Юлия Коллар на стройке в венгерском Сталинвароше.

Немецкий шахтер
Адольф Хеннеке (слева),
добывший 287% нормы
угля, на фоне своего
портрета с отбойным
молотком.



Венгерский рабочий
Игнац Пиокер выполнил
1470% нормы и закончил
личную пятилетку
на четыре года
раньше срока.



Дворец культуры — подарок Сталина Варшаве.

«прогрессивные священники» наращивали свои ряды; в 1952 году они провели общенациональную конференцию с участием 350 клириков⁷⁶.

Но церковь тоже не сдавалась. В Венгрии совет епископов лишил «священников-мироотворцев» сана. В Кракове кардинал Сапега настоял на встрече с местными «прогрессивными клириками» и приказал им покинуть движение. В обеих странах духовные лица, поддерживавшие режим, подвергались также нападениям со стороны возмущенной публики. В одной венгерской деревне верующие «прекратили ходить на исповеди и причащаться у “священника-мироотворца”», а его проповеди прерывали криками⁷⁷.

Из-за такой враждебности движение так и не смогло стать подлинно массовой организацией, занимающейся распространением коммунистической литературы и поддержкой режима. Его ряды росли, но не так быстро, как рассчитывали коммунисты: на пике своей популярности оно насчитывало в Польше 1000 «прогрессивных священнослужителей» и столько же сочувствующих мирян. Что касается венгерской группы, то она никогда не обнародовала официальные данные о своей численности: ее руководство как-то заявило о наличии 3000 членов, хотя радиостанция «Свободная Европа» спонсируемая американцами и находящаяся в Мюнхене, говорила всего о 150 настоящих активистах. Обе группы публиковали свои газеты и проводили периодические собрания членов.

Мотивы тех, кто предпочел остаться в стороне от всей этой деятельности, вполне очевидны: этому противилось их церковное начальство, а также противоречила религиозная система ценностей. Сложнее понять тех, кто включался в работу «официальных» церковных структур. Историк Йожеф Дюла Орбан полагает, что примерно десятая часть сотрудничала с коммунистами из желания поддержать новый режим. Одни сами раньше были марксистами или левыми социалистами, возлагавшими надежды на экономическую программу партии. Другие надеялись, что, работая с коммунистами, смогут улучшить жизнь своих прихожан. Историк польской церкви отец Тадеуш

Исакович-Залевский видит причину также в том, что некоторые из «прогрессивных священников», а особенно те, кто прошел немецкие концлагеря, были психологически раздавлены переживаниями военных лет и легко становились объектами манипуляции со стороны коммунистов⁷⁸.

Других явно шантажировали или принуждали силой. Руководителя венгерской группы, епископа Миклоша Берестови, в 1948 году арестовали и жестоко пытали. Другой священнослужитель вступил в группу после того, как ему предъявили обвинение в поджоге (в его приходе сгорел стог сена) и пригрозили тюрьмой. Польский «чекист»-перебежчик Святло говорит, что спецслужбы были разочарованы деятельностью движения: ««Патриотические священники» — порождение секретных служб; чаще всего это люди, физически и морально сломленные советскими или нацистскими лагерями»⁷⁹. А некоторые из участников официальных собраний вообще были полицейскими агентами, переодетыми в сутаны. Так, делегаты первой встречи «клириков-миротворцев» в Венгрии рассказывали о таинственных «францисканцах», которых никто не встречал ни до, ни после мероприятия.

Были и такие, кто, присоединяясь к коммунистическому начинанию, рассчитывал на продвижение по службе или привилегии. Спецслужбы, в свою очередь, активно искали людей, недовольных своим положением или конфликтующих с начальством. Отец Генрик Веринский, польский священнослужитель, некогда горячо поддерживавший довоенный режим, принадлежал именно к этой категории. До войны он работал в католическом информационном агентстве и отличался большими политическими и литературными амбициями. Клирик даже пытался избираться в парламент, но не преуспел в этом. После войны он сменил убеждения — и с этого момента его карьера резко пошла в гору.

Для начала Веринский согласился стать внештатным сотрудником секретной службы. «Чекисты» выплачивали ему ежемесячное вознаграждение в размере 5 тысяч злотых и обеспечивали публикацию его апологетических статей в католических

газетах, которые в противном случае просто отвергали бы эти материалы. Агент, в свою очередь, помогал им подбирать потенциальных «прогрессивных священников». Он доносил на всех своих коллег из Кракова, как клириков, так и мирян; регулярно отчитывался перед властями; неоднократно публично высказывал признательность режиму. В 1951 году на заседании местного комитета «прогрессивных священников» в Кринице он заявил, что довоенное правительство, «столь любимое многими священнослужителями, никогда не заботилось о них так хорошо, как это делают коммунисты»⁸⁰. По данным перебежчика Святло, Веринский снабжал полицейских даже теми сведениями, которые получал на исповеди. Перебежчик заявляет, что однажды он лично передал Веринскому купон на приобретение новой сутаны⁸¹.

Страх, удушающая политика сталинизма и неуверенность в завтрашнем дне воздействовали на многих священников. Арест кардинала Миндсенти и его бессвязное «признание» ужаснули католических клириков по всему советскому блоку. Национализация *Caritas* и прочих благотворительных организаций в Польше, закрытие монастырей в Венгрии и повсеместное уничтожение церковных школ многим казались началом краха традиционной церкви. Польский кардинал Сапега в тот период находился в столь мрачном настроении, что даже обнародовал заявление, согласно которому в случае его ареста никто не должен был доверять любым его «признаниям», сделанным в неволе⁸². В подобной атмосфере решение пойти на сотрудничество с властями не казалось таким аморальным, каким оно представляло в более поздние времена.

Тот же сложный комплекс мотивов помогает объяснить не только публичное содействие, оказываемое клириками государству, но и их готовность к тайному сотрудничеству. Шандор Ладани, историк венгерской лютеранской церкви и сын лютеранского пастора, отмечает: хотя многих священников, согласившихся стать информаторами, предварительно подвергали пыткам, а многие другие, подобно Веринскому, оказывались карьеристами — среди них были священники, преподаватели

духовных учебных заведений, недовольные своим карьерным ростом, или семинаристы, желавшие учиться за границей, — существовали и другие мотивы коллаборационизма. Священников и пасторов постоянно заставляли делиться информацией со спецслужбами — на них давили больше, чем на остальных, — и некоторые шли на сотрудничество добровольно, надеясь, что власти оставят их в покое. Кто-то соглашался быть информатором, но при этом не предоставлял никакой информации. В досье венгерских осведомителей нередко встречаются заключения о том, что того или иного клирика нужно удалить из списка тайных агентов, поскольку «предоставляемая информация некачественна». Других шантажировали, открыто или негласно. Считалось, что особенно восприимчивы к давлению протестантские пасторы, поскольку у них есть семьи: им можно было предлагать хорошее образование для детей или улучшенное медицинское обслуживание для жен. (Католические священники, не имевшие ни жен, ни детей, рассматривались в качестве «более крепких орешков», и с ними зачастую обращались гораздо суровее.)⁸³

Разумеется, «священники-мироотворцы», как и «патриотические клирики», не приносили режиму ожидаемой пользы. Венгерские власти негласно критиковали мироотворцев за то, что те «недостаточно эффективно ведут борьбу с клерикальной реакцией». В Польше «прогрессивное» движение духовенства не было по-настоящему принято ни партией, ни широкой публикой: само понятие «священник-патриот» со временем стало нарицательным. По мере того как они отдалялись от церковной среды, их ценность в глазах режима тоже падала — использование их в пропагандистских целях делалось не столь эффективным. Тем не менее само наличие в церкви такого явления оказывало угнетающий эффект на остальное духовенство, и на борьбу с ним церковные иерархи тратили немало времени и сил. Кардинал Вышинский регулярно встречался с «прогрессивными» клириками; несколько таких встреч состоялось незадолго до его ареста в 1953 году. Более того, на какой-то короткий период перспектива массового «обращения» католи-

ческого духовенства в коммунистическую веру казалась вполне реальной.

Наконец, само наличие громко заявляющего о себе прокоммунистического духовенства заметно усугубляло моральную смуту того времени. Поддерживает ли церковь коммунизм или противостоит ему? Обновленная *Caritas* в Польше — это подлинная организация или эрзац? «Священники-миротворцы» на самом деле борются за мир, и если так — нужно ли их поддерживать? А клирики-коллаборационисты подталкивали к коллаборационизму других людей: если представитель духовного сословия принимает от режима привилегии и льготы, то почему остальным нельзя поступать так же?

Глава 12

Внутренние враги

Партия обещает только одно: после победы, когда вреда от этого больше не будет, материалы всех секретных архивов будут опубликованы. И тогда мир узнает, что лежало в основе шоу Панча и Джуди...

Артур Кёстлер. Спящая тьма, 1941¹

Человек, которого бьют, признается во всем, чего хотят допрашивающие его сотрудники, — он назовет себя английским, американским, любым другим шпионом. Но вот выявить истину таким путем никогда не удастся.

Лаврентий Берия, выступление на закрытом заседании Политбюро ЦК КПСС после смерти Сталина в 1953 году (из архивных документов, обнародованных после 1991 года)²

«Реакционное духовенство» выступало одной из очевидных мишеней властей в безумной атмосфере «разгула сталинизма». Но список потенциальных врагов был, разумеется, более обширным. После того как по стране прокатилась волна забастовок и экономических потрясений, польские спецслужбы решили, что пришло время «самым тщательным образом изучить рабочую силу, от самого низового уровня до административного звена... на предмет наличия конкретных политических влияний, как прошлых, так и нынешних». Они порылись в своих архивах и обозначили двадцать пять категорий «врагов». В список вошли бывшие бойцы Армии крайовой, активисты довоенного социал-демократического движения, члены других политических партий, солдаты и офицеры польской армии, служившие за границей. Под подозрением снова оказались люди, вышедшие из тюрем в 1947 году или попавшие под послевоенную амнистию. Постепенно список разросся до сорока трех категорий. К 1954 году, как свидетельствует Анджей Пачковский, «реестр криминальных и подозрительных элементов» содержал 6 миллионов имен, то есть в

него был внесен каждый третий взрослый житель Польши. В 1948 году в стране было 26 400 политических заключенных, к середине 1950-го их число выросло до 35 200, а к 1954-му — уже 84 200³.

Похожей была ситуация и в других странах восточного блока. В Венгрии секретные службы также не спускали глаз с потенциальных врагов. В Восточной Германии местные «чекисты» занимались выявлением настоящих и вымышленных западных шпионов. В Чехословакии спецслужбы составляли списки тех, кто выступил против коммунистического переворота 1948 года или только попал под подозрение. Румыны в мае 1950 года развернули специальную операцию, направленную на то, чтобы изолировать всех оставшихся в стране министров, которые входили в правительство в 1919—1945 годах, включая самых дряхлых стариков, а также всех униатских и католических священнослужителей⁴.

Жертвами этой второй волны расследований и арестов часто становились крестьяне и землевладельцы. Осенью 1952 года польская тайная полиция арестовала десятки тысяч крестьян, не выполнивших нормы обязательных поставок зерна государству⁵. В 1948—1953 годах аресту подверглись около 400 тысяч венгерских крестьян, также не справившихся с нормами поставок, и еще 850 тысяч были оштрафованы⁶. В 1949 году в рамках подготовки к коллективизации около 3 тысяч землевладельцев лишились своей собственности⁷.

Но массовые аресты советского типа создали вполне «советскую» проблему: где содержать всех этих врагов? В Польше власти просто согласились на то, что тюрьмы теперь будут переполнены, а условия содержания заключенных ухудшатся. Вацлав Бейнар, бывший партизан Армии крайовой, арестованный в 1948 году, был брошен в душную камеру варшавской следственной тюрьмы, которая располагалась на улице Раковецкой. В камере невозможно было дышать; узники, среди которых были ветераны Варшавского восстания, обмахивались рубашками, пытаясь создать хоть какое-то движение воздуха. В камере не было туалета, и заключенных только дважды в день выводили на оправку. Для тех, кого из-за дурной тюремной пищи мучила диарея, это было настоящей пыткой. В ходе допросов Бейнара избивали «самым

примитивным образом» — ударами по лицу, по бокам, а потом объявили о вынесении ему смертного приговора. «Я выслушал это сообщение равнодушно, — рассказывает он. — Мне трудно было поверить, что я преступник».

Этот вердикт, однако, вскоре аннулировали, заменив его длительным тюремным сроком и отправив осужденного в большую тюрьму Вронки неподалеку от Познани, где содержались около 4 тысяч политических «преступников». По прибытии туда, вспоминает Бейнар, «все мы плакали как дети», хотя больше всех страдал арестант, уже прошедший Дахау. Этот человек ощущал себя в атмосфере полнейшего *déjà vu*⁸. Здесь же сидел и Станислав Шостак, впервые арестованный вместе с генералом Волком в окрестностях Вильно в 1944 году, а потом вновь задержанный в Щецине в 1948-м и брошенный в камеру вместе с пособниками нацистов. В тюрьме Вронки, вспоминает он, «было полно вшей, не хватало воздуха, было мучительно жарко летом и ужасающе холодно зимой». И Шостак, и Бейнар смогли выйти на свободу только в 1956 году⁹. Грозный средневековый замок в Люблине, в котором в 1944—1945 годах содержали и расстреливали бойцов Армии крайовой, также оставался тюрьмой до 1954 года. Мрак, грязь и безмолвие этого сооружения усугубляли кошмар его узников¹⁰.

Но в местные тюрьмы попадали не все. Десятки тысяч поляков и немцев оказывались в советском ГУЛАГе. Многие немецкие граждане арестовывались непосредственно НКВД — иногда прямо на улицах Западного Берлина — и доставлялись в Советский Союз. В настоящее время имеются документальные свидетельства о нескольких сотнях случаев, когда немцев арестовывали в послевоенной Германии, судили в Москве и казнили там же¹¹. Венгры заимствовали другую технологию советской исправительной системы: они отправляли бывших аристократов, офицеров, землевладельцев и прочих «неблагонадежных», живших у австрийской и югославской границы, не в тюрьмы, а в крошечные деревеньки восточной Венгрии. Этот метод имел два дополнительных преимущества: во-первых, он освобождал просторные городские квартиры для новых партийных чинов-

ников, нуждавшихся в улучшении жилищных условий; во-вторых, он обеспечивал сельские сообщества рабочей силой для неквалифицированного труда, пусть даже не слишком производительного¹². В Румынии так были переселены около 44 тысяч человек, проживавших вдоль румыно-югославской границы. Целые семьи погружали в вагоны, отвозили в малонаселенную степную часть страны и высаживали в чистом поле, предоставив обустроиваться самостоятельно¹³.

Других отправляли в концентрационные лагеря. К 1949 году находящиеся под управлением НКВД лагеря ГУЛАГа на территории Германии, о которых говорилось в главе 5, были закрыты: они привлекали слишком большое внимание на Западе и портили репутацию советского оккупационного режима. Взамен восточноевропейские правительства выстраивали свои лагерные системы, не входившие в советский ГУЛАГ, но бравшие его за образец. Как и в СССР, узники здесь должны были работать за еду и «приносить пользу» социалистической экономике.

В 1949—1953 годах в Чехословакии функционировали восемнадцать лагерей, расположенных вокруг городка Яхимов в северо-западной Богемии. Их узники работали в урановых шахтах, добывая сырье для советской ядерной программы. Поскольку им не выдавали никакого специального снаряжения, защищающего от радиации, смертность в лагерях была чрезвычайно высокой¹⁴. Своя сеть лагерей была и у румынского режима; большая часть из них располагалась вдоль Дунайско-Черноморского канала, строившегося с помощью СССР и отличавшегося сомнительной экономической выгодой. В разгар работ на этой стройке были заняты 40 тысяч заключенных — примерно четверть всего лагерного населения Румынии, составлявшего 180 тысяч человек¹⁵. Отличавшиеся особым садизмом трудовые лагеря были и в Болгарии, причем они прекрасно функционировали и в 1960—1970-е годы, когда большую часть советских лагерей уже закрыли¹⁶. Несмотря на свой «антисталинизм», режим Тито в Югославии тоже обзавелся собственными лагерями; один из них располагался на острове в Адриатическом море, где не хватало воды, и главным мучением была жажда¹⁷.

Особое место в этом мрачном списке занимал венгерский лагерь в городе Рекск. Интернирование — то есть лишение свободы или переселение граждан без суда — было особенностью венгерской системы с самого ее зарождения, а лагеря для интернированных лиц во множестве строились вокруг Будапешта и других крупных городов¹⁸. Но в 1950–1951 годах режим решил, что эти временные учреждения не в состоянии обеспечить особо опасным политическим преступникам ни достаточно сурового наказания, ни адекватной системы безопасности. В поисках более подходящего решения венгерское руководство обратилось за советом к упоминавшемуся выше Рудольфу Гарасину.

Поучаствовав в годы войны — более или менее успешно — в партизанском движении (об этом упоминалось в главе 4), Гарасин вернулся в Советский Союз. Там, согласно официальной биографии, он до 1951 года работал заместителем директора государственного издательства, после чего неожиданно вернулся в Венгрию, где трудился на высоких управленческих должностях — сначала в министерстве юстиции, а потом в министерстве внутренних дел¹⁹. В личном листке по учету кадров он рассказывал о себе чуть более подробно, сообщая, что в начале 1940-х годов являлся командиром военизированного объекта в тайге под Новосибирском, который, по всей видимости, был одним из лагерей ГУЛАГа²⁰. В венгерских государственных архивах его имя мелькает в переписке с Ракоши, с которым наш герой несколько раз обсуждает «ситуацию в трудовых лагерях». Например, в июне 1953 года Гарасин направил Ракоши отчет, содержащий статистику и данные о людях, которые были интернированы²¹.

Хотя об этом никогда не говорилось публично, все — партийные руководители, правительственные чиновники и заключенные — считали Гарасина человеком, который «импортировал» в Венгрию технологию советского ГУЛАГа²². Его вторичное появление в Будапеште в 1951 году совпало с учреждением в декабре дирекции общественных работ (венгерский акроним — КЦМ). Новому органу предстояло «действовать, с одной стороны, в интересах народной экономики, а с другой стороны,

обслуживать интересы пенитенциарной системы»²³. Иными словами, подобно своему советскому аналогу, КЦМІ должна была создать прибыльные компании, использующие труд заключенных в производстве, добыче полезных ископаемых и строительстве. Сначала дирекция входила в состав министерства юстиции, где как раз и числился Гарасин. В 1952 году новое ведомство — и Гарасин тоже — перешло под юрисдикцию министерства внутренних дел. К январю 1953 года КЦМІ имела «в своем распоряжении» 27 тысяч заключенных.

Рекск был лишь одним объектом в лагерной империи Гарасина, включавшей такие печально известные транзитные и стационарные лагеря, как Кистарча, Казинбарсика и Тисалок. Но именно в нем содержались наиболее известные узники, и поэтому само существование этого места было окружено завесой секретности. В отличие от прочих лагерей, ему не присваивался официальный номер, а здешним обитателям не разрешалось поддерживать контакты с внешним миром. О ранних днях лагеря Рекск не сохранилось почти никаких документов; возможно, причина заключалась в том, что решение о его строительстве принимал сам Янош Кадар, позже ставший руководителем страны²⁴.

Для венгерской национальной памяти Рекск стал символом не только секретности, но и абсурдных сюрпризов, которые судьба преподносила людям в эпоху «разгула сталинизма». Этот лагерь существовал недолго — его открыли в 1950-м и закрыли в октябре 1953-го, и в этот период в нем содержались люди, обвиненные в экономических и политических преступлениях, а также вовсе не совершавшие преступлений. Среди заключенных было много представителей Партии мелких хозяев и Социал-демократической партии, в частности те социал-демократы, кто противился объединению с коммунистами. Здесь сидели также бывшие аристократы или люди, имевшие связи с зарубежьем — порой самые невинные. Одного студента, изучавшего историю искусств, посадили за то, что он подружился с приехавшей на стажировку студенткой из Франции²⁵. Другого отправили за решетку после того, как его машина врезалась в автомобиль

Ракоши: несчастный опаздывал на свадьбу²⁶. Венгерский поэт Дьёрдь Фалуди оказался в лагере, предварительно побывав в американской эмиграции. Вернувшись, он активно сотрудничал с Социал-демократической партией, работал в ее газете, свел знакомство с людьми, позже ставшими жертвами показательных процессов, и был осужден как американский шпион²⁷.

Члены антифашистского Сопротивления, которых забирали и в предыдущие волны арестов, теперь также направлялись в Рекск. Человека, входившего в группу, которая в 1944 году откололась от правящего в Венгрии режима ради борьбы с нацистами, следователь избивал на допросах, приговаривая при этом: «Тот, кто был способен участвовать в заговоре в 1944-м, и после 1945-го вполне может стать врагом народа»²⁸. Режим хотел избавиться от подобных элементов еще до того, как они начнут вновь размышлять о сопротивлении.

По сравнению с огромными советскими лагерями, по образцу которых он создавался, лагерь в городе Рекск был небольшим. В дни его «расцвета» здесь содержались лишь 1700 узников, а многие используемые здания, например те, где жил обслуживающий персонал, прежде были крестьянскими избами. Для лагеря расчистили поляну посреди леса; каменоломня, где работали заключенные, находилась неподалеку; охранники жили в маленьком флигеле по соседству. Когда я посещала это место в 2009 году, от бараков осталось немного: два восстановили, разместив в них музей, но об остальных напоминали только таблички или отметки на лагерной карте. Местные археологи обозначили также местоположение других важных объектов, в частности карцера и лагерных ворот, но самым сильным впечатлением здесь была грязь, та самая, которая, по воспоминаниям Фалуди, буквально стаскивала обувь с ног.

Как и многие советские лагеря, Рекск строился на пустом месте самими заключенными, валившими лес и рубившими камень, чтобы «заработать» себе на еду, которую поглощали потом стоя, прямо под открытым небом, будь то солнце, снег или дождь: «И кружку ячменного кофе в завтрак, и суп с овощами в обед, и сырые овощи на ужин — все это мы вкушали, стоя на скло-

не холма, прямо перед лагерной кухней, под железным навесом которой, укрепленном на четырех столбах, прятались от непогоды котлы и повара. Мы заливали горячий суп себе в глотки, вылавливали овощи — и машинально считали крошечные кусочки конины, которую клали в похлебку трижды в неделю...»²⁹.

Как и в ГУЛАГе, в венгерских лагерях была своя иерархия: с бывшими социал-демократами, например, обращались лучше, чем с членами правых и центристских партий, а некоторым узникам позволялось сотрудничать с администрацией и становиться бригадирами. Заключенные называли их русским словом «начальник». Как и в ГУЛАГе, тут действовала изощренная система надзора и наказания. Лагерное население выходило на проверки в любую погоду. Процедура длилась довольно долго, поскольку охранники постоянно сбивались со счета. Тех, кто нарушал правила, отправляли в карцер и лишали пищи или бросали на ночь в «мокрую» камеру, которую вода, стекая по стенкам, заливала по колено. Желая увидеть советские инновации в действии и, возможно, дать какие-то рекомендации по совершенствованию работы, лагерь периодически посещали советские консультанты и сам Ракоши. По советскому обыкновению в преддверии таких визитов создавалась очередная «потемкинская деревня»: заключенных мыли, их рабочие места приводили в порядок, по периметру лагеря высаживали цветы.

ГУЛАГ после смерти Сталина стал приходить в упадок; то же самое произошло и с венгерскими лагерями. Наградой — или, возможно, наказанием — Гарасина за импорт советских концлагерей в Венгрию стало его назначение венгерским послом в Монголию. В его досье есть также письма с просьбами о помощи, адресованные его венгерским товарищам: он нуждался в деньгах для операции на гортани, которую могли сделать только в Москве, а пенсия его была невелика. К 70-летию Гарасина в венгерское политбюро было направлено письмо, автор которого предлагал наградить его медалью. Вскоре после своего юбилея Гарасин умер³⁰.

В списке «врагов», который Болеслав Берут направил Вячеславу Молотову весной 1949 года, была одна особая группа:

«лица, исключенные из партии». По мере того как на смену 1949 году шел 1950-й эта категория врагов становилась все более значимой. По всему блоку партийные и военные руководители все чаще попадали под подозрение, арестовывались и становились фигурантами показательных процессов. Заслуженные партийцы и доблестные генералы изобличались как предатели или шпионы. Из коммунистов, лояльность которых раньше казалась несомненной, к 1950 году в этот список попали Ласло Райк, венгерский министр внутренних дел, и Габор Петер, основатель и глава венгерского ведомства госбезопасности; Рудольф Сланский, генеральный секретарь Чехословацкой коммунистической партии; Владислав Гомулка, генеральный секретарь Польской коммунистической партии; Пауль Меркер, видный член политбюро Восточной Германии, и Анна Паукер, румынский министр иностранных дел. Позже перечень пополнится албанскими и болгарскими именами.

В ходе революции, пожирающей своих детей, не было ничего нового. Та же одержимость одолевала советское руководство в конце 1930-х годов, во времена «великой чистки» и Большого террора. Дипломатам и журналистам, присутствовавшим на показательных процессах той эпохи, на которых такие прославленные революционеры, как Лев Каменев, Григорий Зиновьев и Николай Бухарин, делали унижительные признания, эти судилища казались гротескным спектаклем и доказательством того, что присущая Сталину безумная жажда власти не знает никаких пределов. Фицрой Маклин, британский дипломат, наблюдавший за судом над Бухариным, описывает это постановочное действие как «фантастическую оргию самоуничтожения», сопровождаемую «кроважатым бредом генерального прокурора». Один за другим, вспоминает он, перед судом представляли видные партийные руководители, которые «со стеклянными глазами признавались в самых немыслимых деяниях»³¹.

Попыткам выявить рациональные причины, стоявшие за показательными процессами 1936–1938 годов, посвящены горы книг. Их бесспорной целью было установление политического террора, но время действия, методы, технологии исполнения

оставляют простор для интерпретаций. Выдвигаются самые разные теории. Спустя годы после своего бегства из Восточной Германии упомянутый выше Вольфганг Леонард — тогда уже профессор Леонард — посвятил этому вопросу известную лекцию в Йельском университете. Среди возможных объяснений Большого террора он упомянул психоз Сталина, исторически присущий России страх перед иноземными нашествиями и повышенную в 1930-е годы солнечную активность³². Но восточноевропейские показательные процессы 1949–1950 годов позволяют расширить наше представление о них. Помимо всего прочего тот факт, что все местные судилища курировались советниками из СССР и почти имитировали прежние московские процессы, доказывает, что Сталин рассматривал суды 1930-х как политический успех, считая эту тактику достойной воспроизведения новыми сателлитами Советского Союза.

Каждая серия таких процессов обозначала поворотный пункт в истории Советского Союза и Восточной Европы соответственно. И в России конца 1930-х годов, и в Восточной Европе конца 1940-х экономическая политика партии проваливалась, а партийцы постепенно утрачивали былые иллюзии. Показательные суды перекладывали ответственность за многочисленные экономические провалы со Сталина (в 1930-е) и «маленьких Сталиных» (в 1940-е) на кого-то другого. Одновременно они помогали партийным лидерам избавиться от наиболее опасных внутренних врагов, запугивая оппонентов и обрекая их на молчание. Помимо задач, реализуемых внутри партийной элиты, показательные процессы выполняли и важную общественную функцию: подобно почти всем сталинским институтам, они воспитывали население. Если коммунистическая Европа не может обогнать капиталистическую Европу, если инфраструктурные проекты проваливаются или откладываются, если продовольствия не хватает, а жизненные стандарты низки, то объяснения всему этому нужно искать в материалах показательных судов: иностранные шпионы, гнусные саботажники и предатели, выдающие себя за преданных делу коммунистов, похитили у народа долгожданный прогресс.

Советские спецслужбы с самого начала были вовлечены в подготовку восточноевропейских показательных процессов. Многочисленные документальные и прочие свидетельства убеждают в том, что московские чиновники помогали выбирать жертвы, отдавали приказы об арестах и организовывали следственные действия. На съезде Чехословацкой коммунистической партии, проходившем в мае 1949 года, руководитель НКВД в Венгрии советский генерал Федор Белкин отвел в сторону венгерского министра обороны Михая Фаркаша и сказал ему, что Москва «пришла к заключению, что Райк — венгерский резидент европейской троцкистской организации, состоящей в связи с американцами». На партийном жаргоне сказанное означало, что «документы для показательного процесса уже готовятся»³³.

В Польше участь Гомулки была предreshена в докладной записке, которая в апреле 1948 года была подготовлена для Михаила Суслова, секретаря ЦК КПСС. Документ назывался «Об антимарксистских идеологических установках руководства Польской рабочей партии». Его авторы, три советских чиновника, специализировавшихся на вопросах идеологии, указывали на «националистические тенденции», которые, по их мнению, присущи некоторым польским коммунистам, замалчивающим успехи Советского Союза и игнорирующим ленинско-сталинское учение. Гомулка назывался лидером этого направления; авторы резко критиковали введенное им понятие «польского марксизма» и его категорический отказ от коллективизации польского сельского хозяйства. Советские идеологи подозревали руководителя Польши в «правом уклонизме», то есть в «титоизме», который, в свою очередь, означал недостаточную лояльность СССР. Они опасались, что Польская объединенная рабочая партия пойдет по «социал-демократическому пути». Кроме того, они проявляли озабоченность идеологическим состоянием польской армии, лидеры которой казались Москве недостаточно просоветскими, несмотря даже на утверждение генерала Рокоссовского на посту министра обороны Польши³⁴.

Почувствовав, куда дует ветер, Гомулка в декабре того же года посетил Москву, чтобы защитить себя. Позже он подготовил

бесславленную декларацию (цитировавшуюся в главе 6), в которой говорил, что Польскую коммунистическую партию захватили евреи, а он сам всегда считал Советский Союз «лучшим другом Польши», а Сталина — «великим учителем»³⁵. Однако, несмотря на все старания, вскоре начались аресты среди ближайших сподвижников Гомулки, в частности был арестован член политбюро генерал Мариан Спыхальский, а также большая группа офицеров польской армии. Берут регулярно информировал Сталина о том, как идет расследование их дел. В конце концов в 1951 году был арестован и сам Гомулка³⁶.

Аналогичный документ, подготовленный советскими идеологическими работниками в отношении Чехословацкой коммунистической партии, был направлен Суслову в том же 1948 году. По своему замыслу и исполнению записка «О некоторых ошибках коммунистической партии Чехословакии» оказалась более широкой, теоретичной и бессвязной, нежели ее польский эквивалент. Указывая на острые проблемы во многих сферах, авторы среди прочего обвиняли генерального секретаря компартии Чехословакии Сланского в кадровых ошибках³⁷. Этот документ подготовил почву для личного послания Сталина Клементу Готвальду, отправленного в июле 1951 года и предписывавшего чехословацкому руководителю арестовать Сланского³⁸. Такое требование ставило Готвальда в неловкое положение: Чехословацкая коммунистическая партия только что отметила 50-летний юбилей Сланского, имя которого было присвоено угольной шахте, а также еще нескольким предприятиям³⁹.

Не доверяя своим восточноевропейским коллегам, руководство НКВД отправило своих представителей «на места» — Белкина в Будапешт и Бесчастнова в Прагу, где им предписывалось преодолеть саботаж местных спецслужб, сопротивлявшихся советским «рекомендациям», и взять расследование в свои руки⁴⁰. Они захватили с собой команду консультантов, готовых спланировать и провести процессы. В Праге Бесчастнов и его команда разместились в пригородной вилле, где с ними постоянно работали четыре переводчика. Группа отсылала регулярные отчеты о проделанной работе лично Сталину⁴¹. В Будапеште

каждый шаг местных следователей контролировался советскими кураторами. Когда из Варшавы в Будапешт прибыл польский офицер, намеревавшийся узнать у венгров, как идет их часть расследования, его поразило, что генерал НКВД, только что прибывший из Москвы, осведомлен о «подоплеке всего дела» более глубоко, чем сами венгры⁴².

Личности обвиняемых и приписываемые им преступные деяния также изображались в духе той параноидальности, которая тогда отличала Сталина. Хотя железных правил тут не было, определенные типы людей были подвержены риску ареста в большей мере, чем другие. Прежде всего подозрения вызывали «правые уклонисты» и «титоиисты», подобные Гомулке. К ним примыкали «левые уклонисты», именуемые также космополитами или сионистами, — иначе говоря, евреи. Как отмечалось выше, к этой категории «врагов» Сталин стал относиться с особой непримиримостью после образования в 1948 году государства Израиль. Именно тогда была развернута широкомасштабная кампания против советских евреев. Еврейские врачи, которым приписывалось намерение отравить советских руководителей, стали навязчивой манией последних лет жизни вождя. Кроме того, в Восточной Европе гонения на евреев имели дополнительное прагматическое обоснование. Сталин и его приспешники не без оснований верили, что преследование евреев-коммунистов будет с радостью встречено остальными партияцами.

Другой мишенью оказались коммунисты, которые провели военные годы вне Москвы — либо у себя дома, либо в Западной Европе. Опасность оказаться в рядах левых или правых «уклонистов» подстерегала также и тех, кто имел контакты с зарубежными коммунистическими партиями, кто сражался в составе интернациональных бригад во время гражданской войны в Испании, кто имел родственников за границей. Райк, например, воевал в Испании, а военные годы провел в Будапеште. Меркер, еврей, переживавший войну в Мексике, также попал на мушку. Гомулка, в свою очередь, всю войну оставался в Варшаве (именно тогда Берут начал злоумышлять против него: уже в июне 1944 года он говорил руководителям Коминтерна, что его

конкурент не имеет навыков, необходимых для руководства коммунистической партией, и просил Москву помочь в его смещении)⁴³.

Советскому сценарию не всегда следовали неукоснительно. По всему восточному блоку вожди использовали аресты и суды в своих политических целях. Готвальд, например, тянул с арестом Сланского до тех пор, пока его собственное положение не стало шатким. Гомулка вообще избежал суда; испытывая немалую радость от ареста популярного партийного лидера, Берут, несмотря на оказываемое давление, не стал пытаться его и устраивать показательный процесс. Возможно, он опасался, что подобное судилище сделает свергнутого руководителя не менее, а более популярным; он мог также сомневаться в том, что его соперника, пользовавшегося немалым авторитетом, удастся вынудить признать вымышленные преступления. Наконец, Берут мог с настороженностью воспринимать долгосрочные последствия ниспровержения Гомулки; точно так же и Готвальд испытывал тревогу от последствий смещения Сланского. И хотя оба лидера не испытывали ни малейших колебаний, бросая в тюрьмы и подвергая пыткам священников или высокопоставленных офицеров, убийство генерального секретаря коммунистической партии представлялось им делом крайне опасным. Ведь каждый из них, по словам венгерского историка, сам мог оказаться следующим: «Топор, занесенный над головой партийного вождя... включал защитный механизм, заставлявший других партийных лидеров думать о самосохранении»⁴⁴.

У руководителей Восточной Германии были дополнительные причины для колебаний, и когда по всему восточному блоку уже шли аресты, видным немецким коммунистам поначалу удавалось оставаться в стороне. В то время в Германии по-прежнему ощущалось присутствие Союзного Контрольного совета, а события в Берлине были в фокусе мировых новостей. Но позже, после официального провозглашения 7 октября 1949 года Германской Демократической Республики, отсроченная партийная чистка все-таки началась. Около десятка немецких коммунистов были арестованы, а некоторых потом даже казнили.

Но поскольку Советский Союз и руководство Восточной Германии с чуткостью относились к тому, как новорожденная ГДР будет восприниматься общественным мнением Западной Германии, никаких показательных процессов не было. Помимо дурного паблисити их проведение осложнялось и другим обстоятельством: «успех» таких судов зависел от внушительности представляемого публике вымышленного заговора, а на Западе теперь было слишком много немецких коммунистов, способных изобличить подобную ложь.

Впрочем, даже те страны, где от процессов в конечном счете воздержались, к ним все же готовились, проводя под советским патронажем аресты и расследования. По мере того как дел возбуждалось все больше, требовалась международная координация предпринимаемых спецслужбами усилий. Для успеха показательного процесса, рассуждали советские чекисты, нужна длинная и разветвленная линия заговора с множеством действующих лиц. По этой причине московские кураторы предлагали своим восточноевропейским собратьям объединить изменников из Праги, Будапешта, Берлина и Варшавы в одно дело. Но для этого требовался центральный персонаж — некий человек, который знает хотя бы часть фигурантов, и которого можно было бы обвинить в их вербовке. Со временем подходящий герой был найден: им стал эксцентричный выпускник Гарвардского университета и сотрудник Государственного департамента США по имени Ноэль Филд.

При жизни Филд пользовался весьма сомнительной репутацией: в нем видели американского шпиона, двойного агента, провокатора, подосланного ЦРУ, чтобы посеять смуту в рядах коммунистов Восточной Европы⁴⁵. В 1954 году в своем «реабилитационном» свидетельстве, недавно обнаруженном венгерским историком Марией Шмидт, Филд напрямую объявляет себя коммунистом, работавшим рука об руку с НКВД. Это подтверждается и некоторыми другими документами. Филд писал, что он работал на СССР с 1927 года, «полностью отделяя нелегальную жизнь от своей официальной жизни», и был знаком с другими членами компартии США, также занимавшимися

шпионажем. Среди них, в частности, Алгер Хисс и Уиттакер Чамберс⁴⁶.

Хотя Филд знал также и Аллена Даллеса — американского разведчика, работавшего в Швейцарии, позже ставшего директором ЦРУ, — и, возможно, даже имел с ним какие-то дела, нет никаких свидетельств, подтверждающих заявления венгерских, польских, чехословацких и немецких прокуроров о том, что он был американским агентом. Тем не менее с советской точки зрения выбор Филда в качестве жертвы был идеальным. Он покинул Государственный департамент в 1936 году, а в годы войны проработал в Унитарном комитете помощи — организации, помогавшей беженцам из гитлеровской Германии. Многие из его подопечных, естественно, были коммунистами, и благодаря этому Филд обзавелся друзьями и знакомыми по всей Восточной Европе.

По иронии судьбы Филд попал в руки СССР из-за того, что хотел извлечь выгоду из этих дружеских и приятельских связей. Весной 1949 года он остался без работы, а возвращаться в Америку опасался, поскольку его имя уже упоминалось на публичных слушаниях по делу Хисса. После того как его женевская контора была закрыта, Филд в поисках работы отправился через Прагу в Варшаву⁴⁷. В мае он вновь появился в Праге — и исчез без следа. Его жена Герта принялась искать его, но в августе исчезла и она. Позже бесследно пропали брат Филда Герман и его приемная дочь Эрика Уоллак, первый в Варшаве, вторая в Восточном Берлине.

Левые взгляды Филда не мешали прокурорам из Советского Союза и восточноевропейских стран сплести изощренную паутину небывлиц, касающихся его лично и членов его семьи, причем многие построения правоохранителей граничили с откровенным абсурдом. Действительно, чтобы в полной мере воздать должное этому причудливому эпизоду восточноевропейского сталинизма, потребовалось бы написать книгу такого же объема, как эта. Достаточно сказать, что после 1949 года дружба или даже мимолетное знакомство с Филдом служили достаточным основанием для привлечения к ответственности

любого коммуниста Восточной Европы, невзирая на его место в иерархии и самые великолепные связи. Тень этого персонажа порочила даже тех, кто никогда не встречался с ним непосредственно. Так, Якуб Берман, отвечавший в Польше за идеологическую работу — в местной иерархии это был второй человек после Берута, многие годы жил под подозрением только из-за того, что его секретарша однажды мимолетно виделась с Филдом.

Арест Филда в Будапеште повлек за собой целую вереницу событий. Почти сразу чекисты задержали Тибора Шони, венгерского антифашиста, который в годы войны жил в Швейцарии, где познакомился с Филдом и Райком. Венгерские следователи были довольны: в поле их интересов наряду с десятками других людей теперь попал и Ласло Райк. Одиннадцать граждан Восточной Германии, уличенных в связях с таинственным американцем, в 1950 году были арестованы в Берлине; среди них оказался и Меркер. Через два года, когда Сланский и тринадцать его сподвижников признались в титоизме, сионизме, измене и заговоре, обвинение также заявляло о том, что их преступную группу создал «известный агент» Ноэль Филд.

Будучи главным персонажем всей этой истории, сам Филд тем не менее так и не предстал перед судом. Но многие другие признавались, причем публично и детально, что именно он вдохновлял их на преступные замыслы и деяния. Оказавшись на скамье подсудимых, Шони заявил, что Филд и Даллес подталкивали его к насаждению «шовинистических и проамериканских настроений» среди венгерской диаспоры в Швейцарии⁴⁸. Райк признался в том, что он в компании Филда и Тито планировал устранение венгерского руководства. Бела Сас сознался в абсурдном заговоре, в который были вовлечены датская няня и некий англичанин, которого он как-то раз встретил, будучи в изгнании в Аргентине. Его вина была доказана тем фактом, что во время войны он однажды проезжал по территории Швейцарии; то, что он не встречал Филда и никогда не слышал о нем, не сыграло никакой роли⁴⁹. Согласно признанию словака Гезы Павлика, арестованного венграми в 1949 году, он состоял в

троцкистской организации, созданной Филдом и Даллесом для внедрения в руководство Чехословацкой коммунистической партии⁵⁰. Как бы вторя ему, Сланский в Праге рассказывал следователям, как под влиянием Филда он «позволил враждебным элементам проникнуть в ЦК» и организовал «антигосударственный центр», поддерживаемый среди прочих масонами, сионистами и титоистами. Отто Шлинг, региональный партийный секретарь, сделал признание о долговременном сотрудничестве с британской секретной службой. Наконец Бедржих Геминдер, возглавлявший международный отдел КПЧ, раскрыл свои связи с израильскими дипломатами; то обстоятельство, что это были действительно дипломаты, а не шпионы, не имело значения. В мире, где торжествовал криминальный гений Филда, любой сотрудник дипломатической миссии, даже в самой мелкой должности, был опасным тайным агентом⁵¹.

Советские консультанты готовили сценарии показательных процессов и одновременно помогали «убедить» подсудимых в необходимости сознаться. При этом использовались технологии, ранее отработанные в СССР. Искусство вынужденных признаний в советской системе было доведено до совершенства; его типовые методы, как сообщал чехословацкий наблюдатель, обычно начинались с того, что «допросы жертвы велись бесконечно, а следователи сменяли друг друга, не давая человеку почти никакой передышки». В арсенале были также «избиения, пытки голодом и жаждой, помещение в темную камеру, угрозы в адрес семьи узника, использование “подсадных уток”, прослушивание камер и многие другие тонкости»⁵². В официальных разговорах упоминания пыток часто заменялись эвфемизмами. Например, Берут и его друг Берман приказывали полиции «создать для заключенного такие условия, которые располагают к правдивости»⁵³. А чехословацким следователям объясняли, что «такие люди крайне упрямые, и мы не должны давать им время на подготовку к процессу»⁵⁴.

Конкретные подходы и приемы, используемые следствием, менялись от человека к человеку и от дела к делу. Сас рассказывал, как его «заставляли стоять на протяжении двадцати четы-

рех часов», а за время пребывания в тюрьме ему сломали пять ребер. «По указанию ли, или просто от безделья, но они использовали меня как средство от скуки. Например, мне приказывали стоять неподвижно, а потом, под предлогом того, что я пошевелился, накидывались на меня с кулаками...»⁵⁵. Польские протоколы допросов содержат упоминания о том, что подследственным прижигали ноги или руки, выдирали волосы, заставляли часами стоять на одной ноге или на коленях с поднятыми вверх руками⁵⁶. Генерала Спыхальского держали голым в сырой, темной, заплесневелой камере⁵⁷. Чехословацкие полицейские избили беременную женщину до такой степени, что у нее случился выкидыш. Другую свою узницу, тоже беременную, они заставили на протяжении десяти дней без одежды спать на голом полу. Когда та попросила вызвать доктора, ей ответили: «Будет лучше, если еще одно такое чудовище, как ты, вовсе не появится на свет»⁵⁸.

В ходе допросов заключенных пытались также «сломать» психологически. Им показывали фотографии их родных за решеткой, мучили разговорами о том, как пострадают их дети, если те не признаются, предлагали довериться «доброму» следователю или «сочувствующему» соседу по камере. Имея дело с коммунистами, восточноевропейские следователи считали весьма эффективной методикой обсуждение их прошлого. События, имевшие место десятилетия назад, анализировались снова и снова. Годы, проведенные подозреваемым в подполье, рассматривались самым подробным образом. Как проницательно заметил Иштван Рев, это делалось намеренно. Проблема в том, что никто из членов бывшего коммунистического подполья не мог с уверенностью восстановить события своей конспиративной жизни. Подпольщики порой не догадывались, с кем им придется общаться или какие тайные планы они реализуют. В итоге «начинать расследование политического дела с вопросов о том, не сотрудничал ли подозреваемый с “фашистской” политической полицией, было очень правильно не только из-за соблюдения хронологии, но и для того, чтобы запутать жертву и сделать ее беззащитной. Обвиняемые никогда не располагали всеми

фактами, имеющими отношение к делу; логика нелегального существования предоставляла лишь частичную, фрагментарную информацию, открытую для сомнений и интерпретаций. ... Обвиняемый не мог быть уверенным ни в чем, и в итоге отвечал на вопросы невнятно, а его прежние поступки можно было представить каждый раз в новом свете»⁵⁹.

Практически любого коммуниста, ранее занимавшегося конспиративной работой, можно было смутить, запутать, заманить в ловушку. Случайное слово или неосознанный поступок из прошлого использовались, чтобы вызвать у человека чувство вины. На протяжении долгих допросов Гомулку без конца заставляли отвечать на одни и те же вопросы. День за днем и месяц за месяцем его просили рассказывать снова и снова разным людям одни и те же истории, касавшиеся «неоднозначных» эпизодов из далекого прошлого. У него интересовались, когда конкретно он встретил того или иного человека или когда впервые услышал чье-то имя. От него требовали по памяти восстановить события, имевшие место десять лет назад. Иногда целый день посвящался единственному человеку или одному эпизоду⁶⁰.

Несколько раз его расспрашивали о генерале Спыхальском, который в годы войны возглавлял коммунистическую милицию и в этом качестве проводил — предположительно, во взаимодействии с гестапо — операции против Армии крайовой. В основном следователей интересовали более поздние высказывания генерала, который якобы предлагал избавить польскую армию от военных советников из СССР. В мельчайших деталях он должен был рассказывать и об убийстве коммуниста Марселя Новотко, случившемся в годы нацистской оккупации и осуществленном, вероятно, одним из его товарищей по партии. Гомулка также обвинялся в приглашении на работу «не заслуживающих доверия» людей. На это обвинение он отвечал, что, привлекая подобные кадры к сотрудничеству, он полагал, что это советские агенты и что он обязан их трудоустроить.

Такая тактика допросов возымела эффект. Поначалу чекисты констатировали, что Гомулка «спокоен», но позднее он стал «нервным» и даже «слезливым». Время от времени он писал

жалостливые письма в ЦК: «На сегодняшний день я по-прежнему не знаю ни о причине моего ареста, ни о ходе расследования моего дела, хотя нахожусь в изоляции уже одиннадцать месяцев». Он начал жаловаться на боль в ногах, нехватку физических упражнений, отсутствие медицинской помощи. Он писал письма и своему сыну, спрашивая, не забыл ли тот его: «Рано или поздно я дойду до изнеможения». Обо всем этом сообщали в Москву. Позже, когда Сталин умер, а Гомулка вышел на свободу — со временем он даже сменит Берута на посту руководителя партии, — Хрущев трогательно интересовался его здоровьем, изъявляя готовность даже прислать советских докторов, которые помогли бы ему встать на ноги.

За «нервностью» и «слезливостью» высокопоставленного узника скрывались более глубокие страхи. Гомулка хорошо знал коммунизм и прекрасно понимал, что вскоре может наступить черед пыток, а потом и смерть. Впрочем, из его рассказов, а также из отчетов о допросах Сланского, Спыхальского и других прекрасно видно, что сама попытка восстановить прошлое — темное и неясное конспиративное прошлое — причиняла эмоциональную и психологическую травму даже без всякого насилия. Советские товарищи, по-видимому, хорошо понимали, что людей, с которыми они имеют дело, можно заставить запутаться в собственной жизни и даже сожалеть о ней. Это было верно в отношении как тех, кто уже подвергся аресту, так и тех, кто еще — пока — не был арестован. Чехословацкий коммунист Оскар Лангер, которому вскоре самому предстояло отправиться за решетку, говорил своей жене, комментируя показательные процессы: «Возможно, в самом простом и повседневном смысле слова все эти люди и невиновны. Но сейчас судьбы и интересы отдельных личностей отходят на второй план. На карту поставлено наше будущее, может быть, и будущее всего человечества»⁶¹. Вероятно, в этом более величественном порядке вещей, который для обычных смертных остается непостижимым, аресты являются необходимыми. «Во мраке смысл событий нельзя изложить ясно, поскольку никто не живет по нормальным правилам», — замечает Рев.

Однако нелегко было не только узникам. Зловещее ощущение *déjà vu* накрыло коммунистов, а также сочувствующих и некогда сочувствовавших коммунистам и в Восточной, и в Западной Европе. Писатель Артур Кёстлер два дня прорыдал у радиоприемника в своей лондонской квартире, слушая признания своего старого товарища Отто Каца, сделанные на показательном процессе в Праге⁶². И сам Кёстлер, и многие его единомышленники когда-то уже видели все это, хотя старались подавить дурные воспоминания ради борьбы с фашизмом. Теперь двуличность советского режима вновь ясно предстала перед ними, а партийные лозунги снова показали свою зияющую пустоту. «Моя жизнь подошла к концу, — писал Геминдер, осужденный на смертную казнь по делу Сланского, — и единственное, что я могу сделать — это встать на путь истины и тем самым спасти партию. ...Я иду на эшафот с тяжелым сердцем, но в спокойствии духа. ...Воздух становится чище: еще одно препятствие на победном пути к социализму будет устранено. Партия всегда права»⁶³.

Политические последствия показательных процессов с участием коммунистических лидеров, которые состоялись в 1949—1953 годах, нелегко оценить. В то время подобные суды для Восточной Европы были знакомым зрелищем. Через них прошли бойцы Армии крайовой в Польше, священники и пасторы во многих странах, а кардинал Миндсенти именно на таком процессе признался в заговоре, направленном на разжигание третьей мировой войны. Но зрелище, когда героические лидеры нации публично каялись в самых абсурдных преступлениях, повергало обычных граждан в ужас и недоумение⁶⁴. Если обвинения ложны, значит, партия вышла на новый уровень безумия. А если они правдивы, то тогда страну действительно наводнили шпионы и диверсанты. Даже среди сотрудников спецслужб признания обвиняемых порождали странное смешение страха и недоверия. Следователь, допрашивавший Саса, со смехом называл дубинку, которой он избивал арестованных, «народным учителем», но в то же время его цинизм «сочетался с какой-то фанатичной и слепой верой»⁶⁵.

Эти судилища посеяли сомнения в состоятельности и дееспособности коммунистического руководства, пусть даже тогда и не выражавшиеся открыто. Один историк рассказывает о двух сестрах-венгерках, стойких коммунистах, каждая из которых самостоятельно и отдельно от родственницы разочаровывалась в режиме по мере развертывания показательных процессов. Несмотря на то что они жили в одной квартире, каждая из сестер была убеждена, что другая по-прежнему остается правоверной сталинисткой, и поэтому в разговорах друг с другом они постоянно повторяли коммунистические лозунги — как делали это и за пределами дома⁶⁶. Подобно самим осужденным, публика должна была вести себя так, будто бы она свято верила в истинность всего сказанного в зале суда, несмотря на все частные сомнения.

В краткосрочном плане аресты коммунистических руководителей укрепили общественную паранойю, достигшую пика в 1949 году и сохранявшуюся до самой кончины Сталина в марте 1953 года. Они серьезно повлияли на обывателей, вождей, «чекистов». Поскольку обвиняемым приписывался шпионаж в пользу иностранных государств, их аресты сопровождалась особо неистовым разгулом антиамериканской и антизападной пропаганды. В 1952 году ЦК Польской коммунистической партии распространил памятку для партийных агитаторов, содержащую образцы политических выступлений. В одном из них в типичной для той эпохи манере провозглашалось, что «американские империалисты восстанавливают неонацистский вермахт и готовят новое вторжение в Польшу», в то время как Советский Союз «помогает стране развивать технологию, культуру и искусство»⁶⁷. Примерно в то же время восточногерманские активисты получили брошюру, в которой разъяснялись правильные способы освещения западногерманской политики в аудитории ГДР: «Кто такие эти “немецкие” политики? Это крупные капиталисты, собственность которых в Германской Демократической Республике была конфискована, а также их прихвостни. Это помещики-юнкера, лишившиеся своих земельных владений и бежавшие в Западную Германию. Они уверены, что в ходе новой войны смогут вернуть

себе все утраченное. Это военные преступники и милитаристы, мечтающие о новых “подвигах”, а также лакеи англо-американских империалистов, такие как Аденауэр, Блюхер, Кайзер, Шумахер и другие»⁶⁸.

Польских и немецких агитаторов обеспечивали также указаниями, касавшимися войны с колорадским жуком — сельскохозяйственным вредителем, наводнившим в то лето картофельные поля Центральной Европы. *Tribuna Ludu* и *Neues Deutschland* однозначно обвиняли в этой напасти американцев: согласно их публикациям, американские пилоты разбросали десятки тысяч этих жучков в небе над Восточной Германией, а оттуда они перебрались на восток. Польских школьников объединяли в бригады, занимавшиеся сбором и уничтожением вредителей, а фабричные рабочие проводили выходные в полях, занимаясь тем же⁶⁹. Власти ГДР, окрестившие насекомых словом *Amikäfer*, приглашали дружественных журналистов из Китая, Польши, Чехословакии, Франции и Италии, чтобы засвидетельствовать опустошения, произведенные колорадским жуком. В результате иностранные журналисты и их немецкие коллеги подписали совместное письмо протеста: «Колорадские жучки меньше, чем атомные бомбы, но они тоже являются оружием американского империализма в его войне против мирных трудящихся. Мы, журналисты, работающие на дело мира, гневно осуждаем этот новый преступный метод американских поджигателей войны»⁷⁰.

Хотя сегодня лексика такого рода звучит диковато, в те времена она оборачивалась вполне реальными последствиями. В Венгрии в нехватке продовольствия винили не жуков, а кулаков, зажиточных крестьян, которые, как предполагалось, прятали произведенные ими продукты, чтобы подорвать режим. «Враги государства пытаются помешать накормить нацию», — гласил газетный заголовок 1950 года. В том же году состоялось сложное судебное разбирательство, фигурантом его был крестьянин, который готовил себе обед в поле и по неосторожности его поджег. Хотя жертв не было, а урожай не пострадал, маленькое поле выгорело полностью. Сначала местный прокурор хотел закрыть дело, не увидев в нем преступного умысла. Но после того как глу-

бокой ночью его посетили сотрудники тайной полиции, разъяснившие, что подозреваемый — кулак, а поджог очень похож на диверсию против государства, прокурор передумал. Кроме того, на следующее утро ему позвонили и из министерства юстиции, предупредив о том, что на завершение процесса, за которым пристально следят высокие лица, у него всего три дня. Дело получило общенациональную известность, и крестьянин был осужден. Его приговорили к смертной казни; приговор был приведен в исполнение сразу же после суда. Его дочь вспоминает: «Когда мы входили в зал суда утром, за окном уже готовили виселицу к полудню»⁷¹. Власти целенаправленно искали подобные случаи, о чем свидетельствует личная корреспонденция Ракоши того времени. Начиная с 1948 года он сокрушается по поводу слишком мягких приговоров, которые выносились крестьянам, осужденным за сокрытие зерна или незаконный забой скота. «При вынесении приговоров нужно принимать во внимание классовое происхождение обвиняемых», — писал он Эрнё Герё⁷².

В тот же период быстрая выучка восточноевропейских спецслужб также начала приносить свои плоды: сотрудники твердо усвоили, что все независимые организации подозрительны по определению, а любые контакты с иностранцами, как правило, связаны со шпионажем. Суды над высокопоставленными чиновниками убедили их в истинности подобных предположений. Когда арестовывался очередной коммунистический лидер, вслед за ним под подозрение попадали его родственники, коллеги, сотрудники и работодатели — многих из них также подвергали аресту. После того как забрали Пала Юстуса, проходившего по делу Райка, тайные агенты по очереди приходили за его женой, секретаршей, друзьями, а потом знакомыми друзей, в числе которых оказался и Дьёрдь Фалуди. «Они возьмут и вас, товарищ Фалуди», — бесстрастно сказал ему водитель, и через несколько дней именно так и случилось⁷³. Каждый чувствовал, что ему могут предъявить обвинения, и почти все готовились к тому, чтобы защитить себя. Весь коллектив редакции, где работал Фалуди, собрался у радиоприемника, когда зачитывался приговор Райку: «В этом сожжении еретиков усматривали едва ли не

праздничное событие, и в определенном смысле именно так оно и было: всякий раз приговор становился разрешением неопределенности, царившей на протяжении долгих недель, завершая очередную кампанию и даря ощущение безопасности — по крайней мере на пару месяцев, до начала новой волны арестов. Но если привязанный к столбу для сожжения еретик был широко известен как истинно верующий, то обвинить в принципе можно было каждого; поэтому считалось разумным присутствовать на таких коллективных радиосеансах и последующих партсобраниях, чтобы не получить обвинение в соучастии»⁷⁴.

Даже те, кому удавалось избежать ареста, нередко оказывались париями. Джо Лангер не было в Праге на выходные, когда выяснилось, что ее муж арестован. Женщины, в компании которых она находилась, сразу же выразили возмущение, симпатию, сострадание и желание помочь. «Но слов почти не было. Когда зазвонил телефон, нас было шестеро в номере отеля — все добрые подруги. Но в подобные моменты и в такие времена можно ли довериться сразу пяти людям? Даже стенам нельзя было доверять». В последующие месяцы Лангер лишилась работы, квартиры, большинства друзей. Она и ее маленькая дочь едва выжили. Лишь храбрецы могли позволить себе общаться с врагом народа⁷⁵.

Иными словами, к началу 1950-х годов все было готово для того, чтобы органы госбезопасности Восточной Европы завершили дело, начатое ими в 1945 году, а именно — искоренение любых остававшихся независимыми институтов вместе со всеми их сторонниками. В этом ряду окончательному уничтожению подверглись и венгерские масоны.

У восточноевропейского масонства были глубокие корни, ибо оно вело свое происхождение из модернизационного проекта Просвещения. Первая венгерская ложа открылась в 1749 году — масонство проникло в страну из Польши и Франции одновременно, а вольные каменщики были важной силой в ходе венгерской революции 1848 года. В межвоенный период к ним относились со скептицизмом, а в годы войны нацисты вовсе их

запретили, но в 1945 году первая послевоенная ложа возобновила свою работу. В ней состояли семьдесят шесть человек, по словам одного из членов — обыкновенные буржуа: врачи, адвокаты, университетские профессора, государственные служащие. При содействии временного мэра города, который сам был масоном, они вернули себе старое помещение — прекрасный особняк в самом центре Будапешта⁷⁶. Масонство по определению является международной организацией, и поэтому венгерские вольные каменщики получали помощь из-за границы. Постепенно они начали проводить концерты, лекции, благотворительные вечера.

Но к концу 1950 года организации уже не было — ее запретили. Спецслужбисты обыскали здание ложи, конфисковав книги и картины⁷⁷. В отношении масонских лидеров было возбуждено несколько уголовных дел. Наиболее важным и заметным стало расследование, в центре которого оказался Геза Супка, великий магистр будапештской ложи. Этот человек, которому в 1950 году исполнилось 67 лет, сделал к тому времени блистательную карьеру. Опытный археолог, он был директором Национального музея, членом парламента и основателем ведущего литературного журнала, а также, в послевоенные годы, редактором недолго просуществовавшей центристской газеты. В военное время он не сотрудничал с фашистами и не шел на компромиссы. В центре его жизни были благотворительность и патриотизм.

Тем не менее, с точки зрения «чекистов», Супка представлял угрозу национальной безопасности Венгрии. В объемном и детальном полицейском досье, излагающем обстоятельства его жизни и подготовленном в 1950 году, он назван «человеком, представляющим в Венгрии интересы англосаксов» и изменником, злоумышляющим против режима. «Согласно агентурным данным, — говорилось в этом материале, — в августе 1949 года граф Геза Телеки, проживавший в Соединенных Штатах, направил Супке послание, в котором советовал поддерживать постоянные контакты с политическими лидерами, на которых можно будет рассчитывать после смены режима. Следуя этой линии, Супка расширил спектр своих связей»⁷⁸.

В предшествующие годы органы госбезопасности уже задерживали и допрашивали многих друзей и знакомых великого магистра. Как свидетельствуют полицейские протоколы, многие шли на сотрудничество. Журналист, работавший в его газете, путем угроз — или даже пыток — был принужден заявить, что Супка — «человек американцев», что он рекрутирует приверженцев с 1944 года, часто читает заграничные газеты, а после войны не раз посещал американское посольство «для бесед со своим куратором». По словам журналиста, он тоже ходил в посольство США в компании Супки и обратил внимание на то, что у масона прекрасные отношения с американскими гражданами. Что еще хуже, «он участвовал в приемах и вечеринках, организуемых англосаксами». Примерно в то же время, когда делались эти признания, тайная полиция начала перлюстрацию писем Супки. К документам, свидетельствовавшим против него, были приложены подписные квитанции на его журнал, присланные из Парижа.

Тем не менее наиболее ужасающим разделом досье является подшивка частых, почти ежедневных отчетов, составленных неким лицом, очень близким к Супке. Этот неназванный информатор был, скорее всего, близким другом или личным секретарем масона, поскольку располагал доскональными знаниями о его передвижениях, разговорах и мыслях. Супка многократно был с ним откровенен, а тот предоставлял в полицию полные отчеты. Итоговый отчет без всякого осознанного намерения со стороны его авторов позволяет заглянуть в жизнь человека, который знает, что за ним следят и он в опасности, но все же сохраняет наивную веру в доброту и преданность близких людей, включая доносящего на него информатора.

По мере того как атмосфера в Будапеште становилась все более гнетущей, Супка подумывал об эмиграции. «Не стоит ждать скорых политических перемен», — сказал он информатору 20 декабря 1949 года. Он размышлял, не пора ли покинуть страну, как рекомендовали многие друзья, включая вице-президента Национального банка. Впрочем, он не был уверен в правильности такого решения; кроме того, ему не хотелось обра-

щаться за заграничным паспортом, поскольку это привлекло бы внимание властей. Информатор сообщил об этом курировавшему его офицеру госбезопасности, а тот в ответ поручил выяснить, «о чем конкретно беседовал подозреваемый с вице-президентом банка», а также приказал незамедлительно докладывать о любых приготовлениях к эмиграции.

Осведомитель взял под козырек. Он также продолжал информировать начальство о воззрениях Супки по самому широкому кругу вопросов. В январе масон сообщил ему о своей разочарованности в действиях американской дипломатии в Китае, которые были, по его мнению, слишком нерешительными: он ожидал, что американцы будут более твердо проводить антикоммунистическую линию. Тем не менее он приветствовал назначение генерала Брэдли на место Эйзенхауэра, поскольку тот тоже был масоном — наряду, как заметил Супка, с Трумэном и Макартуром. На полях этого сообщения офицер госбезопасности сделал приписку: «Все это подкрепляет наше предположение о том, что Супка состоит в тесном контакте с агентами империалистических держав».

Супка также говорил информатору, что у Венгрии есть два канала эффективной связи с Западом: это церковь и масонство, причем последнее, по его мнению, может избежать пристального внимания тайной полиции. Через несколько дней досье было дополнено следующим сообщением: «После того как в 23.15 наш агент покинул квартиру Супки, там появился неизвестный молодой человек из британского посольства, доставивший журнал и газеты». Этот эпизод также был использован ответственным офицером для доказательства исходного тезиса: «Супка является наиболее значительным представителем империалистических держав в Венгрии. На основании его суждений можно сделать вывод о том, что эти державы делают ставку на масонское движение. ...Визит сотрудника посольства Великобритании доказывает, что подозреваемый имеет прямые и регулярные контакты с западными странами».

С весны 1950 года доклады осведомителя о мыслях и поведении Супки становятся ежедневными. Среди прочего масон

сообщил ему, что в любой момент ждет ареста и по этой причине уже договорился с высокопоставленными друзьями о помощи, если такое произойдет. Он также посетовал, что его больше нигде не приглашают, поскольку люди, зная, что он под наблюдением полиции, начали остерегаться его. Но теперь он решил не эмигрировать по причине своего преклонного возраста и слабого здоровья, попросив информатора помочь ему избежать неминуемого, как он полагал, ареста. Он пытался получить академическую должность где-нибудь в провинции и рассчитывал, что информатор поможет ему подыскать подходящее место.

В июле Супка обсуждал с осведомителем ситуацию на Корейском полуострове, а также произошедший недавно арест нескольких масонов. В сентябре они говорили о соглашении между государством и церковью и о возможности новой войны в Европе. В июне 1951 года Супка сообщил собеседнику, что к нему в дом приходила полиция и что он очень боится, что его могут депортировать. Среди прочих тем они обсуждали бегство бывшего руководителя Венгерского радио в Великобританию, суд над Райком, по поводу которого у масона были сомнения, здоровье Супки, оставлявшее желать лучшего. У Супки по-прежнему было много посетителей. Женщина, убиравшая его квартиру, передавала имена посетителей информатору, а тот сообщал о них своему куратору из госбезопасности.

Вскоре масон, постоянно находившийся в ожидании ареста, впал в депрессию. Он получил у своего врача медицинские справки, которые, как он надеялся, должны были избавить его от заключения под стражу или депортации. Он попытался наладить контакты с знакомыми, близкими к руководству коммунистической партии. Он встретился с парой масонов, нашедших общий язык с режимом, — один из них приехал на встречу в новом костюме и на новой машине, — обсудив с ними слухи о том, что неблагоденственных принудительно отправляют работать в советские колхозы. В августе 1952 года Супка сказал информатору, что почти не выходит из своей квартиры. Подозреваемый не хочет соприкасаться с реальностью, писал осведомитель в полицейском отчете, поскольку она совсем не похожа на реаль-

ность его надежд и мечтаний: «Он добавил, что постоянно спрашивает себя: стоило ли бороться и преодолевать трудности, если все обернулось вот так? Ему почти семьдесят лет, и приспособиться к новой жизни он не в состоянии. ...Он все еще верит в свободу, и хотя о ситуации в Соединенных Штатах ему известно недостаточно, он знает, что в Англии гражданская свобода по-прежнему жива. По его мнению, он не дожидется того дня, когда начнется неизбежная третья мировая война, но он уверен, что когда-нибудь в мире восторжествует свобода — настоящая свобода, а не лживая свобода лживой Октябрьской революции. Самой большой его печалью стало закрытие масонской ложи, рассматриваемое им как фундаментальное покушение на гражданскую свободу. ...На протяжении всей своей жизни он сохранял антирелигиозные и антиклерикальные убеждения, но, несмотря на это, он не согласен с преследованиями церкви и духовенства... его симпатии на стороне гонимых».

Хотя устроить большой праздник было невозможно, на семидесятилетие бывшего великого магистра собралась небольшая группа друзей. После этого дня, по свидетельству информатора, он часто болел, хотя по-прежнему любил поговорить о политике. Геза Супка скончался в мае 1956 года, не дожив пять месяцев до венгерской революции. Проводить его пришли около четырехсот человек. Как сообщал осведомитель, «было несколько венков, причем в некоторые из них были вплетены листья акации — символ масонства».

Глава 13

Homo Soveticus

Мы наблюдали за процессией — массы с красными знаменами, девушки в белых платьицах. С нами был Григорьев, советский сотрудник Союзной контрольной комиссии. ...Когда вся площадь заполнилась народом, он, повернувшись, обратился ко мне: «Скажите, эти собравшиеся сегодня здесь 200 тысяч пролетариев с таким же энтузиазмом откликались на призывы фашистов полгода назад?»

Дьюла Шопфлин, мемуары¹

Показательные процессы, аресты, нападки на духовенство, характерные для эпохи «разгула сталинизма», терзали население отдельных стран, вызывали тревогу людей за их границами. Но репрессии были лишь одним из инструментов, с помощью которых коммунистические режимы закрепляли свое право на власть. Одновременно они пытались пробудить энтузиазм и добровольное сотрудничество народа снизу. Если первые послевоенные годы характеризовались силовым давлением на существующие институты гражданского общества, то после 1948 года коммунистические власти сосредоточились на создании новой системы подконтрольных государству школ и массовых организаций, которые были призваны опекать граждан с самого их рождения. Предполагалось, что оказавшись внутри тоталитарной системы, граждане коммунистических государств никогда не захотят и не смогут покинуть ее. Им предстояло стать, используя саркастическое определение известного советского диссидента, представителями нового вида — *Homo Sovieticus*, «человека советского». *Homo Sovieticus* не только никогда не противостоял коммунизму, но и не мог даже помышлять об этом².

В пору «разгула сталинизма» от идеологической опеки не освобождался никто, даже самые маленькие граждане. И хотя к под-

росткам коммунисты издавна были внимательны, теперь в сфере их интересов оказались и детские сады. Как заявлял в 1949 году Отто Гротеволь, новый премьер-министр Восточной Германии, самые юные немецкие дети — «наш чистейший и отборнейший человеческий материал», «золотой запас нашего будущего». Они не должны «попасть в объятия реакционных сил», им нельзя позволить «расти в дикости, без заботы и попечения»³.

Представление о маленьком человеке как о «чистой доске» или «необработанном куске глины», с которым государство может делать все, что угодно, не было для Германии новым: подобные метафоры широко использовали нацисты, а также среди прочих иезуиты. Но то содержимое, которое немецкие коммунисты намеревались вложить в предположительно пустые головы немецких детей, не имело никакого отношения к нацизму. Уже в июне 1945 года берлинская газета рассуждала об ущербе, который причинила детям нацистская система образования: «Обратим внимание на следующие факты. Малыши особенно восприимчивы к внешнему миру в возрасте от пяти до семи лет. Сопоставив это обстоятельство с продолжительностью нацистского правления, мы сразу же получим ужасающий результат: вся нынешняя молодежь... выросла исключительно под влиянием лжи, которая вбивалась в головы в школе и гитлеровских молодежных организациях»⁴. Советская оккупационная администрация почти сразу же закрыла частные детские сады и запретила бывшим нацистам и их «попутчикам» (весьма вольно определяемая категория) работать воспитателями в дошкольных учреждениях. Когда это решение обернулось дефицитом кадров, советские власти, невзирая на всю свою занятость, организовали шестимесячные курсы по подготовке новых педагогов для дошкольников⁵.

Но главное было еще впереди. Степень и сущность отстаиваемого Советским Союзом влияния на образование неприятно поразили в Восточной Европе многих. Особенно шокированы были немецкие педагоги, многие из которых с энтузиазмом рассчитывали на то, что левый режим начнет поддерживать прогрессивную, авангардную педагогику, оформившуюся в 1920-е годы и делавшую акцент на спонтанность, творчество и нужды

самого ребенка. Еще до Первой мировой войны в Будапеште и Берлине открылись детские сады Марии Монтессори. В тот же период передовой воспитатель и детский писатель Януш Корчак экспериментировал с идеей самоуправления в возглавляемом им варшавском детском доме, вдохновляя детей на самостоятельную разработку правил внутреннего распорядка и создание собственных парламентов⁶.

Однако воспитателям Восточной Европы довольно скоро пришлось узнать, что «правильные» методы обучения теперь следует искать не в учебниках Монтессори, а скорее в трудах советских теоретиков образования, и прежде всего в работах Антона Макаренко, сталинского любимца. С конца 1920-х до середины 1930-х годов он занимал должность директора исправительной колонии для малолетних преступников имени Горького и в других подобных колониях на Украине. Его методика базировалась на жестком давлении, зубрежке и индоктринации, причем особое значение он придавал жизни в коллективе и производительному труду. Наиболее выразительные пассажи «Педагогической поэмы», книги о колонии Горького, прославляют радости коллективного труда: «Было наслаждением, может быть, самым сладким наслаждением в мире, чувствовать эту взаимную связанность, крепость и эластичность отношений, вибрирующую в насыщенном силой покое великую мощь коллектива»⁷.

Подобно Трофиму Лысенко, сталинскому биологу-мошеннику, который верил в наследуемость приобретенных качеств, Макаренко был убежден в пластичности человеческой природы. Любого ребенка, каким бы скромным ни было его происхождение и какими бы реакционерами ни являлись его родители, можно превратить в добропорядочного советского гражданина. Введите его в коллектив, внушите ему, что каждый работает на благо группы, неустанно повторяйте в его присутствии лозунги, и он сделается другим человеком. И хотя настоящий Макаренко был, конечно, более сложен, чем его последователи, грубая «макаренковщина» (подобно примитивной «лысенковщине») очень походила на идеологическое промывание мозгов.

Прогрессивных воспитателей быстро поставили на место. «Я придавала чрезмерное значение независимой деятельности детей, недооценивала необходимость политического руководства и [ошибочно] полагала, что люди становятся образованными посредством освоения нового опыта», — писала немецкая женщина-педагог в своих покаянных мемуарах. Она также сожалела, что пренебрегала советами Эриха Хонеккера, который, даже не будучи экспертом в деле воспитания детей-дошкольников, «подходил к всем вопросам с четкой идейно-политической позицией» и благодаря этому всегда делал «правильные выводы»⁸. В то время, когда немецкая воспитательница делилась подобными откровениями, Януш Корчак, трагически погибший в Треблинке вместе со своими воспитанниками, подвергался поношению в Польше за то, что его образовательные концепции «безрассудно подрывали существующий порядок»⁹.

Пройдя всего лишь шестимесячную подготовку, армия новоиспеченных воспитателей, отправляемых в детские сады Восточной Германии, едва ли могла разобраться во всех этих теоретических тонкостях, не говоря уже о применении тех или иных концептуальных подходов в классных комнатах. Но, как вскоре они и их собратья по восточному блоку узнали, освоить азы было не трудно. Центральное место в учебном плане каждого ребенка, начиная с детского сада и далее, должна была занимать политика. В список приоритетных тем входили история рабочего класса, русская революция, достижения Советского Союза. Детям предстояло участвовать в проводимых партией кампаниях по борьбе за мир, в поддержку Северной Кореи, за выполнение пятилетки. Учителя, не уделявшие внимания такой тематике или избегавшие общественно-политических кампаний, рисковали потерять работу.

Естественно, некоторые материалы приходилось приспособливать под детское восприятие. Например, в Польше культ Сталина пропагандировался посредством изучения полностью вымышленной версии детства советского диктатора, которое в действительности было достаточно мрачным. Польских детей приучали называть его детским прозвищем Сосо (столь же игри-

вое прозвище — Франек — было и у зловещего основателя советской тайной полиции Феликса Дзержинского) и заставляли читать о его юношеских подвигах и успехах. Популярные детские журналы публиковали истории, призванные вызвать восхищение Сталиным. В одном из таких рассказов малыш спрашивает маму, что означает слово «генералиссимус». Она объясняет, что советский народ наградил своего вождя этим специальным титулом, поскольку «горячо любит его».

Достоинства централизованного планирования восхвалялись в таких книжках, как, например, «Шестилетний Бронек и шестилетний план»¹⁰. Пороки же капитализма обличались в таких повествованиях, как история Мистера Твистера, американца, который, посещая Ленинград, был шокирован, обнаружив среди постояльцев своего отеля чернокожего, или же в стихах об агрессивных планах США:

В сумасшедшей Америке
Они мечтают о войне,
Рисую линии фронтов на картах
Человеческой кровью¹¹.

Прозаики также усердно старались обеспечить детей новой эры книгами для чтения. В конце 1940-х и в 1950-е годы немецкая писательница Грета Вайскопф, творившая под псевдонимом Алекс Веддинг, коммунистка, книги которой сжигались Гитлером в 1933 году, опубликовала в Восточной Германии серию детских произведений. Одна из этих книг была посвящена крестьянскому восстанию XV века, вождь которого, проповедник и музыкант, мечтает о «свободной родине» без правителей и подданных. Восстание закончилось плохо, но бунтовщики не утратили надежду: «Когда-нибудь солнце свободы пробьется сквозь тучи. Когда-нибудь наше изгнание закончится, и мы снова увидим нашу родину, прекрасную и свободную от господ... а народный стяг взвевается над каждой башней...»¹².

Иногда старые детские произведения переписывались в новом идеологическом духе. Обожаемая польскими детьми книжка комиксов «Странные приключения козлика Матолека»

после войны появилась в новой редакции, в которую были внесены едва заметные изменения. Так, если прежде Матолек, обозревая панораму Варшавы, видел Королевский замок и шпиль костела, то теперь его взору открывался Дворец культуры и науки — величественный монумент Сталину. Если до войны суровые полицейские грозили козлику жезлами за то, что он нарушает правила уличного движения, то сейчас, как вспоминал один читатель, «добродушные социалистические милиционеры вежливо объясняли ему, как найти верную дорогу». Если раньше Матолек отдавал найденные им сокровища «детям польских бедняков», то ныне, поскольку при коммунизме в Польше не стало бедных, этими богатствами одаривались просто «дорогие дети»¹³.

Учебники тоже приходилось подгонять под новую реальность. Уже в ноябре 1945 года, когда польские чиновники все еще раздавали обнищавшим учителям обувь и свитера, полученные от ООН в порядке гуманитарной помощи, министерство образования страны приступило к разработке новой истории национальной школы, делающей акцент на «борьбу за демократизацию образования», а также учредило комитет по написанию новых учебников по истории¹⁴. Когда процесс переписывания учебных пособий застопорился, были приняты более радикальные меры: на короткий период, в 1950—1951 годах, в польских школах допускались к изучению только советские исторические тексты¹⁵. В Восточной Германии выработка нового подхода к исторической науке шла более успешно. В программе по истории, предназначенной для тринадцатилетних детей, послевоенный период описывался следующим образом: «С помощью советских оккупационных властей демократические силы смогли разрушить власть капиталистов и помещиков в восточной части Германии и установить антифашистский демократический порядок. Этот антифашистский демократический порядок... опирается на поддержку и помощь со стороны великого социалистического Советского Союза, уважающего национальные права немецкого народа и представляющего его национальные интересы»¹⁶.

Самой актуальной задачей была переподготовка — или замена — педагогов, причем не только в детских садах. Первоначально советский военный режим сам в августе 1945 года заявил о «демократическом возрождении немецкой школы», в специальном документе призвав к воспитанию «демократического, ответственного и творческого учителя нового типа». Вскоре образовательная политика в советской зоне была передана наиболее опытным и доверенным «московским» коммунистам: Антону Аккерману, в военные годы возглавлявшему Национальный комитет «Свободная Германия»; Паулю Ванделю, члену советской, а не германской коммунистической партии; и Отто Винцеру, состоявшему в «группе Ульбрихта»¹⁷. Образовательная реформа использовалась советскими властями в качестве разновидности денацификации, а также как средство для быстрого карьерного продвижения молодежи, поддерживающей режим¹⁸. Целое поколение *Neulehrer* — «новых учителей», зачастую обладавших самой минимальной подготовкой, — быстро вытеснило старых педагогов. Режим соответственно рассчитывал на их признательность в процессе реализации его политических установок.

В отличие от немецких коллег польские учителя в послевоенном хаосе были предоставлены сами себе, несмотря на то что педагоги тесно сотрудничали с движением Сопротивления. На большей части территории Польши в годы нацистской оккупации детям вообще запрещалось ходить в школу: немцы намеревались превратить поляков в нацию невежественных рабов. В результате многие малыши не умели ни читать, ни писать, и возобновление нормального школьного обучения превратилось в национальный приоритет. В сентябре 1945 года министр государственной безопасности Станислав Радкевич даже подписал внутреннее распоряжение, согласно которому в свете «плачевного состояния школ» спецслужбам предписывалось «арестовывать учителей только в случаях крайней необходимости». В тех ситуациях, когда их все же приходилось брать под стражу, дела должны были расследоваться максимально быстро¹⁹.

Со временем, однако, тех педагогов, которые не подчинялись идеологическим требованиям, начали притеснять, запугивать и

постепенно увольнять. За их поведением следили местные «чекисты», присланные со стороны школьные директора и даже сами учащиеся. Кроме того, педагоги следили друг за другом. В 1946 году в министерстве образования стало известно, что в маленьком городке Члухув подросток, сын местного «чекиста», занимался запугиванием своих учителей и одноклассников. С похвалой заявляя, что он «в любой момент может войти в здание управления безопасности без пропуска», он угрожал одному ребенку тем, что «посадит его за решетку», а другого шантажировал за исполнение на фортепьяно «религиозного» рождественского гимна «Тихая ночь». Когда учитель географии рассказал в классе об «исторически присущей России тяге к Константинополю», этот мальчик злорадно сообщил другому ученику, что «старик только что выдал себя с потрохами». Будучи полной бездарностью («он не мог освоить элементарную математику... и во французском языке был безнадежен»), подросток бравировал тем, что из-за влиятельности своего отца сдавать контрольные работы ему вовсе не требуется. Когда же директор школы в конце концов пригласила его родителей для беседы, ее саму через два часа вызвали в офис местной тайной полиции²⁰.

Этот частный инцидент был разрешен в пользу школы — не в последнюю очередь потому, что даже самим «чекистам» не нравилось, что дети их коллег угрожают одноклассникам арестом. Но другие подобные истории заканчивались менее благополучно: так было, например, когда на учителей возлагалась ответственность за политические взгляды учеников. Педагоги, которые подозревались в «дурном влиянии» на детей, высказывавших «реакционные» или антикоммунистические взгляды, могли лишиться работы²¹. В январе 1947 года около трех десятков вооруженных сотрудников управления спецслужб ворвались в среднюю школу в окрестностях города Собешин. Войдя в классы, они приказали всем присутствовавшим выйти из помещения с поднятыми руками. Некоторых учащихся отделили от остальных, допросили, а потом избили; протесты директора школы были оставлены без внимания. Офицер грубо объяснил, что задержанные учащиеся — выходцы из «бандитских» семей;

также он сообщил, что несколько учителей из этой школы уже арестованы. Предпринятый «чекистами» рейд был призван наказать всю школу за неспособность поддерживать «идеологически правильную» атмосферу²².

К 1948 году, однако, атмосфера изменилась еще более радикально, и польское министерство образования решило подвергнуть проверке на соответствие «идеологическим и профессиональным качествам» директоров, учителей и наставников во всех школах; одновременно оно взяло курс на «совершенствование идеологического воспитания педагогов и учащихся», а также на «повышение сознательности» будущих учителей²³. Примерно в тот же период некий немецкий чиновник заявил, что советская практика образования после тридцати лет социалистического эксперимента достигла апогея: опыт Советского Союза, по его убеждению, доказал, что обучение «на основе социалистического гуманизма» может быть успешным. Следовательно, все немецкие учителя, которые стремятся стать «квалифицированными и прогрессивными педагогами», должны «изучать и применять на практике положения марксистской педагогической науки, заложенные Марксом и Энгельсом, обогащенные Иосифом Дицгенем, Августом Бебелем и Карлом Либкнехтом, а позже углубленные Лениным и Сталиным»²⁴. Подобные программы были разработаны для учителей во всех странах восточного блока.

С 1948 года знакомство с трудами Маркса, Ленина и Макаренко стало обязательным для педагогических учреждений всех стран «народной демократии». Самое пристальное внимание теперь уделялось классовому происхождению новых учительских кадров: продвижение специалистов из «рабоче-крестьянской среды» стало государственным приоритетом. По данным Министерства образования Польши, в 1948 году 52 процента учащихся, осваивавших педагогическую профессию, составляли выходцы из рабочих семей, 32 процента были детьми крестьян, а 7 процентов относились к ремесленникам. Если эта статистика верна, то лишь 9 процентов учителей в то время происходили из семей интеллигенции²⁵.

Пролетаризация профессуры высших учебных заведений оказалась более сложной задачей. В Восточной Германии несколько ректоров университетов попытались в мае 1945 года «перестроиться», предложив себя для поддержания «немецкой университетской традиции», но их почти незамедлительно уволили советские чиновники, которых категорически не устраивали их «реакционные философские взгляды» и прежние связи с нацистами. В ходе последующей денацификации, как вынужденной, так и добровольной, многие немецкие профессора бежали на Запад. К началу зимнего семестра в январе 1946 года профессорский состав университетов в Берлине, Лейпциге, Галле, Грейфсвальде и Ростокe сократился на три четверти, и советским офицерам пришлось играть самую активную роль в наборе новых кадров²⁶. Поскольку у них не было возможности руководить университетской системой лично, они создали специальную немецкую структуру, центральную администрацию национального образования, перед которой зачастую ставились не слишком реалистичные задачи. Так, в марте 1947 года советская военная администрация издала приказ «о подготовке следующего поколения преподавателей». Документ предписывал центральной администрации образования за десять дней найти для выполнения этой задачи «двести активных антифашистов». Как отмечал тогда один из сотрудников этого органа, «мы во всей Германии не сможем отыскать двести активных антифашистов с должной преподавательской квалификацией». Постаравшись, немцы отобрали семьдесят пять «политически непредубежденных» профессоров, но советские чиновники отвергли тридцать две кандидатуры. Из оставшихся большинство было старше пятидесяти лет и не слишком подходило для программ переподготовки²⁷.

С 1948 года власти Восточной Германии, а также Венгрии и Чехословакии развернули более систематическую атаку на факультеты истории, философии, права и социологии, которые, по примеру Советского Союза, преобразовывались в «кузницы идеологических кадров». История превращалась в марксистскую историю, философия становилась марксистской филосо-

фией, правовая наука преобразовывалось в марксистское право, а социология зачастую вообще исчезала из учебных планов. Многие специалисты-гуманитарии, еще остававшиеся в своих странах, уехали именно в этот период, хотя советские власти предпринимали попытки удержать некоторых ученых. Как говорил немецкий чиновник, занимавшийся вопросами культуры, «когда реакционный философ или историк уезжает от нас [в Западную Германию], мы радуемся. Но с физиками, математиками или инженерами ситуация иная: мы нуждаемся в них и замены им нет»²⁸. Ученые, однако, были частью образовательной системы, и происходившие в восточном блоке перемены сказывались и на них. Решив перебраться на Запад, один химик, например, объяснял коммунистическим функционерам причины этого решения. Как сообщал он начальству, среди прочих причин «его не устраивало образование, которое его дети могли получить в наших вузах»²⁹. Совокупным результатом описанных процессов стала почти полная трансформация университетов Восточной Германии. За относительно короткий срок новое поколение молодых преподавателей — более идейных, более циничных, более послушных — заняло все учебные должности и стало контролировать будущие кадровые назначения.

Ситуация в Польше была несколько иной, поскольку война, Варшавское восстание и расправа в Катыни произвели в рядах польского интеллектуального класса настоящее опустошение. В 1939 году нацисты выслали целый факультет находящегося в Кракове старейшего в стране Ягеллонского университета в концлагерь Заксенхаузен, где уже находились в заключении более тысячи студентов из университетов Праги и Брно³⁰. Поэтому уволить польского профессора после войны было нелегко: квалифицированных специалистов, способных замещать подобные должности, практически не было. В силу этого в польских университетах присутствие молодых пламенных идеологов не ощущалось столь явно, как в Восточной Германии. Даже в конце 1953 года студенты-юристы в Кракове все еще могли изучать большинство классических дисциплин, включая историю польского права, правовую теорию и логику, под нача-

лом довоенных профессоров. Новые назначенцы преподавали лишь один или два обязательных курса, посвященных марксистско-ленинской теории. Как отмечается в наиболее полном труде Джона Коннелли, посвященном университетам Восточной Европы в период «высшей стадии сталинизма», культура академической жизни в Польше также была особенной. Многие выжившие преподаватели в годы войны работали в «летучих» университетах, обучая студентов тайно. Чувство патриотизма здесь было очень сильно. Как правило, руководители в академической сфере на словах поддерживали режим, но образовательные процессы, а также прием на работу и увольнение с работы, осуществлялись без всякой оглядки на политику. Даже в конце 1940-х — начале 1950-х годов заслуженные польские профессора, как правило, защищали молодых коллег и студентов от полицейских расследований³¹. Семейные связи, влияние академической среды нередко оказывались сильнее, по крайней мере исподволь, чем страх перед партией или тайной полицией.

Впрочем, пролетаризация студенческого корпуса казалась коммунистическим партиям более важной задачей. Буржуазные профессора рано или поздно должны будут сойти со сцены по естественным причинам, и тогда им на смену придут энергичные выходцы из рабочего класса. На польском языке эту волну «покровительственной политики» в академической сфере именовали специальным термином *awans spoweczny*; с бюрократического языка это с большей или меньшей точностью можно перевести как «социальное продвижение». Со временем термин приобрел огромную значимость, сочетая определенную политику — обеспечение приоритетного доступа к образованию для рабоче-крестьянских детей — и стимулируя «социально продвинутый» класс, формировавшийся в результате ее реализации. Об аналогичных формах социального продвижения задумывались во всех странах Восточной Европы. Так, выступая в 1949 году на немецком партийном съезде, Гротеволь предлагал выделять и продвигать вверх выходцев из «рабочих и крестьян», начиная с пионерской организации. По его словам, эти молодые люди «с самого раннего детства получали разнообразный и богатый

опыт обучения», и потому именно они должны превратиться в «подлинно новую, демократическую, социалистическую интеллигенцию... которой предстоит руководить нашей экономикой и осуществлять социалистические программы»³².

В попытках создать «новую, демократическую, социалистическую интеллигенцию», которой предписывалось вытеснить вызывающих подозрение буржуазных специалистов, новая власть реализовывала самые разные меры, от гениальных до абсурдных. В Польше, где на протяжении всей нацистской оккупации были закрыты любые образовательные учреждения, послевоенный уровень неграмотности составлял поражавшие воображение 18 процентов. В 1951 году партия развернула массовую «кампанию по ликвидации неграмотности», которой предшествовала школьная реформа, выдвигавшая на первый план техническое образование³³. Успех этой программы убедил многих интеллектуалов в добрых намерениях коммунистов. Бывший школьный учитель, не состоявший в партии и начавший свою карьеру, обучая чтению и письму взрослых беженцев с Украины, был впечатлен достигнутыми результатами: «Они стали другими людьми». Само участие в кампании убедило его в том, что партия, несмотря на все допущенные ошибки, в целом ведет правильную линию³⁴.

Но только по себе обучение чтению и письму явно не могло создать новую элиту, поэтому в восточном блоке использовались и другие, более активные формы покровительственной политики в отношении «трудящихся классов». Дети рабочих и крестьян имели преимущественный доступ к университетским местам, программам переподготовки, кадровым вакансиям. В Восточной Германии чиновники в сфере образования активно набирали рабочих и крестьян для участия в специальных курсах, чтобы помочь их продвижению по карьерной лестнице. Студенты могли претендовать на зачисление на эти подготовительные курсы, если их родители были из «трудящихся» и если они могли представить рекомендации «демократических организаций» — профсоюзных или молодежных³⁵. В Польше активисты Союза польской молодежи фактически взяли под контроль процесс

зачисления в университет: это делалось через институт «технических секретарей» — служащих, которые располагались в помещениях деканатов и «своей самоотверженной работой способствовали общему делу». Благодаря всем этим усилиям в 1945—1952 годах в университетах Восточной Германии доля студентов, вышедших из рабоче-крестьянской среды, возросла с 10 до 45 процентов. В 1949 году число студентов из «трудящихся» в Польше увеличилось до 54,5 процента³⁶.

Стремясь ускорить темпы этих социальных метаморфоз, польские коммунисты создавали альтернативные учреждения высшего образования. Учащимся, окончившим неполную среднюю школу, предоставлялся шанс получить степень бакалавра — по-польски *matura* — через шесть месяцев обучения в центральной партийной школе. По сравнению с прочими бакалаврами их *matura* считалась «маленькой», но ее наличие позволяло поступать в университет. И хотя в то время ускоренный процесс обучения предлагался во многих образовательных учреждениях, многие молодые люди поступали на двухгодичные подготовительные курсы, дающие им возможность стать студентами без окончания полной средней школы — центральная партийная школа пользовалась особыми критериями: «политическая сознательность» считалась здесь более важным качеством, чем умение хорошо читать и писать.

Результат всех этих мер был вполне предсказуемым. В 1948 году секретариат ЦК коммунистической партии выражал недовольство тем, что 20 процентов слушателей центральной партийной школы — в основном молодые люди из рабочего класса, получившие незаконченное среднее образование, — не смогли завершить обучение в партшколе, поскольку отсутствие соответствующих навыков не позволяло им грамотно конспектировать лекции³⁷. Более полусотни студентов Университета Гумбольдта в Восточном Берлине, по имеющимся данным, в 1950-е годы пережили нервный срыв³⁸. Преподаватели, особенно в Польше, иногда негласно склоняли молодых рабочих, приступавших к процессу обучения, отказаться от получения высшего образования и вернуться на заводы и фабрики. Есть также

сведения о том, что польские студенты скрывали свое социальное происхождение: как с возмущением сообщалось в одном отчете, «сыновья и дочери торговцев, кулаков, офицеров буржуазной армии приходили на экзамены в рабочих спецовках, выдавая себя за пролетариев»³⁹. В Венгрии некоторым студентам из буржуазных семей напрямую рекомендовали какое-то время потрудиться в качестве рабочих и только потом подавать заявление в университет. Незначительное проявление лояльности, например избрание лидером молодежной группы, тоже помогало получить университетское место⁴⁰. Тем не менее разрыв в материальных условиях обучения между рабоче-крестьянской учащейся молодежью и студентами из семей довоенных интеллектуалов сохранялся: первые в основном ютились в убогих общежитиях, а вторые жили по домам, и общение между этими группами было самым минимальным⁴¹.

В Германии попытки переучить рабочих, подготовив их для интеллектуальной работы, порой заканчивались полным фиаско. Писателя Эриха Лёста однажды назначили ответственным за обучение группы фабричных рабочих новой для них профессии *Volkskorrespondenten*, народного корреспондента. Логика этой инициативы была довольно прямолинейной: если пролетариев удастся обучить журналистским навыкам, то газеты по определению станут идеологически правильными, и потребность в буржуазных журналистах исчезнет. Так по крайней мере было в теории. Но на практике эта особая миссия, предполагавшая превращение рабочих, например, в театральные критиков, оказалась куда менее успешной. «В моей группе было пятнадцать человек, двенадцать женщин и трое мужчин, и все они были рабочими, — вспоминает Лёст. — На предприятии им сказали: “Нам нужны люди, которые любят ходить в театр”. Отобрали всех тех, кто поднял руки. Сначала мы вместе сходили в театр, а через пару дней встретились. Я попытался рассказать им, что такое театральная рецензия, а потом мы сообща написали обзор спектакля. Мне тогда было двадцать пять лет, и я любил ходить в театр. ...Итог нашей работы был ужасен. Мы все были недовольны. Недоволен был я, а они еще больше. ...Предполагалось,

что они напишут театральную рецензию, но они не были способны на это и научиться этому у меня у них тоже не вышло. Спустя полгода все начинание рухнуло»⁴².

Но в более узком смысле подобные стратегии оказались вполне успешными: со временем они изменили состав городской интеллигенции. Согласно воспоминаниям современника, в его элитной варшавской школе в 1950-е годы почти все учащиеся были выходцами из деревни. Когда учитель спрашивал детей, куда они собираются на летние каникулы, те почти в унисон отвечали: «Поеду к бабушке в деревню». Лишь со временем этот человек понял, что у обитателей большинства европейских столиц не было, как правило, бабушек и дедушек, которые проживали бы на крошечных фермах и сажали картошку⁴³. Кроме того, политика социального продвижения представителей трудящихся классов сформировала поколение лояльных, хотя и не слишком талантливых лидеров коммунистической партии. Как поясняет польский историк, некоторые люди с самого начала понимали, что система будет толкать их наверх, невзирая на способности, — нужно только играть по правилам: «Они были активны в партии, им всегда было что сказать на митингах и совещаниях, причем их слова неизменно соответствовали “генеральной линии”. Они всегда стояли на стороне директора и парткома, после работы участвовали в “культурной” деятельности и выполняли прочие общественные обязанности. Независимо от качества выполняемой работы и профессиональной подготовки они быстро шагали вверх, причем не обязательно на своем рабочем месте. Чаще всего их приглашали в администрацию или отправляли на курсы... а иногда они оказывались в партийном аппарате»⁴⁴.

Если взглянуть на социальное происхождение коммунистического руководства Восточной Европы 1980-х годов, то можно убедиться, что активисты из самых скромных семей порой взбирались на самый верх. Мечислав Раковский родился в крестьянской семье, подростком работал токарем, в 1956 году получил степень доктора в Варшавском институте общественных наук, а в 1988 году стал премьер-министром Польши. Милош Якеш

также вышел из семьи крестьян, работал на обувной фабрике, в 1958 году окончил высшую партийную школу в Москве, а в 1987 году был избран генеральным секретарем Чехословацкой коммунистической партии. Наконец, Эгон Кренц, родившийся в семье беженцев из Восточной Пруссии, в 1970-е годы возглавил молодых пионеров ГДР, а в октябре 1989 года стал премьер-министром Восточной Германии, занимая этот пост до декабря 1989 года. Все эти люди в наибольшей мере были благодетельствованы системой «социального продвижения». Правда, все они достигли вершин власти слишком поздно, чтобы успеть насладиться ею.

На протяжении школьного или рабочего дня коммунистический образовательный истеблишмент располагал всеми возможностями для того, чтобы уберечь детей, студентов, молодых рабочих от воздействия реакционных сил. Но после школы, по выходным или в каникулы они не были защищены от вредных идей. Макаренко считал, что советские дети и подростки должны быть постоянно заняты коллективным трудом, спортом или учебой. К концу 1940-х годов чиновники Восточной Европы также стремились к этому идеалу. Так, в ходе работы польской учительской конференции, состоявшейся в 1951 году, большая часть времени была посвящена теме факультативного образования. Присутствовавшие соглашались с тем, что оно должно использоваться для «углубления и расширения образования, полученного в школе... создания условий для коллективной жизни, поддержания общественно значимых черт характера, соответствующих социалистической морали».

Как отметил один из выступавших, внеклассные программы защищают детей от дурного влияния: «Неспособность организовать детский досуг за пределами школы создает условия для подстрекательской деятельности реакционного духовенства, а также прочих реакционных элементов и империалистических агентов». В качестве иллюстраций подобных подрывных акций на конференции упоминались создание детского сада в подвальном помещении некой варшавской церкви, а также «уча-

стие священников в спортивных и прочих коллективных мероприятиях для детей» (хотя в то время не многие священники занимались такой работой)⁴⁵.

Желая оградить детей, подростков и молодых рабочих от «реакционных контактов», образовательные структуры восточного блока создали широкую сеть внешкольных и вечерних клубов, команд, кружков, которые находились под государственным, хотя и не обязательно политическим, контролем. Некоторые из официальных программ внеклассного воспитания были нарочито аполитичными, ориентируясь на музыку, народные танцы, рисование или рукоделие. Особенно популярными были шахматные клубы. Главная идея состояла в том, чтобы вовлечь детей в такие начинания, где на них можно было бы исподволь влиять. Воспитателей радовал уже тот факт, что дети пели, шили или играли в шахматы в комнатах, украшенных портретами Сталина и под надзором идеологически надежных наставников. Следует также добавить, что все эти кружки были бесплатными и, следовательно, привлекательными для работающих родителей⁴⁶.

Предусматривалась также и более политизированная работа с детьми. В частности, в Польше «Общество друзей детей» организовывало не только внешкольные клубы, но и «массовые мероприятия» — например, украшение общественных новогодних елок в противовес церковным рождественским елкам. В Венгрии «юные пионеры» создавали мичуринские клубы, в которых экспериментировали с хлопком и другими растениями в духе советского ботаника Ивана Мичурина, коллеги академика Лысенко и оппонента генетики⁴⁷. Наконец, немецкие «юные пионеры» тоже занимались в технических кружках и клубах юных натуралистов, которые, как предполагалось, будут воспитывать у детей профессиональные навыки, полезные для партии⁴⁸.

Но подлинным раздольем для педагогов-коммунистов были, конечно, летние каникулы: два долгих месяца праздности открывали заманчивые перспективы для тех, кто желал влиять на молодежь. В летних лагерях молодые люди не только выводились из-под семейного и прочего реакционного влияния, но и оказывались в такой среде, которую теоретически партийные и

молодежные движения могли контролировать до мельчайших деталей. Конечно, летние лагеря не были для этой части мира чем-то новым. Но в послевоенной Восточной Европе только государство имело право открывать подобные учреждения, и оно весьма серьезно относилось к этой форме влияния на детей. В Германии летние лагеря для детей считались настолько важным делом, что их обсуждали на заседаниях политбюро и ЦК партии. А в Польше министерство образования в 1948 году учредило специальную комиссию по вопросам летнего отдыха детей и юношества⁴⁹.

Поначалу в подобных экспериментах участвовали только самые «идеологически надежные» дети. В первые послевоенные годы только 10 процентов немецких детей посещали летние лагеря. Но вскоре политбюро немецких коммунистов пришло к выводу, что в большей степени в подобном летнем отдыхе нуждается молодежь с *неправильным* мировоззрением: в лагерях таких ребят могли бы научить «прочной дружбе со всеми людьми доброй воли, а в особенности с гражданами великого Советского Союза и лучшим другом и учителем всех детей, великим Сталиным». Поэтому в 1949 году немецкие коммунисты развернули новую кампанию под лозунгом «Счастливые каникулы для всех детей» (*Frohe Ferientage für alle Kinder*), обязав государственные предприятия финансировать ее. К лету 1951 года 75 процентов детей в советской зоне Германии участвовали в какой-нибудь летней программе отдыха.

После того как лагеря заработали в полную силу, все аспекты их внутренней жизни начали жестко контролировать сверху. В Германии методические пособия для директоров молодежных лагерей составлялись центральным советом Свободной немецкой молодежи и Центральным комитетом коммунистической партии. Там были учтены любые мелочи, начиная с количества часов, отводимых для плавания за трехнедельную лагерную смену (восемнадцать), и заканчивая временем, выделяемым в тот же период для пения (два с половиной часа). Отдыхающих следовало информировать о достоинствах пятилетнего плана и обучать истории советского комсомола — «авангарда демокра-

тической молодежи мира». Предусматривалось также коллективное чтение романа Николая Островского «Как закалялась сталь». Каждый день должен был начинаться с утренней зарядки и утренней линейки. В определенные праздничные дни планировались особые церемонии: 18 июля отмечали «День Интернациональных бригад», 6 августа вспоминали о бомбардировке Хиросимы, а 18 августа чествовали Эрнста Тельмана, убитого в Бухенвальде⁵⁰.

Традиционные игры — салочки, прятки, захват флага — приспосабливались к новой эпохе. В 1950-е годы, например, сторонний наблюдатель так описывал времяпровождение подростков в немецком летнем лагере: «Мальчики и девочки прятались на склонах холмов, под кустами и деревьями, ползали в камуфляже. ...Повстречав пионервожатую с красной нарукавной повязкой, мы поинтересовались, во что играют дети. Она объяснила, что ребят поделили на две армии, народную армию и армию капиталистов, а потом показала развевавшееся над горой знамя Свободной немецкой молодежи, которое хотело захватить капиталистическое войско. ...С соседнего холма воины народной армии призывали солдат капиталистов: “Не сражайтесь за буржуазию, переходите на сторону народа!”. В ходе борьбы следовало сорвать с противника нарукавную повязку. Пионер, лишившийся повязки, считался убитым»⁵¹. Позже начальник лагеря пояснил гостям, что военные игры готовят детей к «борьбе за мир»: «Дети должны знать, что им защищать!».

Обучение, однако, не ограничивалось только играми. Примерно в те же годы центральный совет Венгерского молодежного движения также обнародовал инструкции для директоров летних лагерей в Венгрии. Среди прочего им предлагали набор подходов, допустимых в работе с детьми, нарушающих дисциплину. Образованные детьми компании необходимо было рассеивать, но «без применения насилия». Чтобы заслужить уважение товарищей, командиры отрядов должны были подавать пример для всех: каждое утро им приходилось вставать и одеваться раньше остальных.

Согласно инструкции, если справиться с непослушанием не удается, применяются наказания, но только такие, которые, по Макаренко, оказывают позитивное воздействие на всю группу. Составители методички настоятельно рекомендовали такую кару, как «отлучение от коллектива»: например, если подросток отказывался участвовать в каких-то занятиях группы, другие не должны были называть его «товарищ» и общаться с ним. Такое воздействие не только заставляло лагерного нарушителя изменить поведение, но и демонстрировало всему отряду, насколько велика честь зваться товарищем и насколько важно быть достойным такого обращения⁵².

По мере того как лагерная сеть расширялась, применявшиеся стандарты снижались. Одно дело — объявить, что каждый ребенок должен посещать летний лагерь, и совсем другое дело — строить оздоровительные учреждения в необходимом количестве, снабжать их должным образом, обучать инструкторов в короткие сроки. Инспекция, проверявшая лагерь продленного дня в венгерской глубинке в 1950 году, показала, что хотя детям надлежало быть под присмотром с восьми утра до шести вечера, на деле они приходили домой намного раньше. Некоторые покидали лагерь еще до обеда. К моменту важнейшей для лагерной жизни церемонии спуска флага, завершавшей день, «не оставалось уже никого». Проверяющие возмущались тем, что лагерному начальству не хватало организованности и инициативы: «Ни в одном из этих лагерей мы не отметили ни организованных групповых занятий, ни часов, посвященных учебе». Что еще хуже, некоторые руководители лагерей «не понимали всей важности борьбы с клерикальными реакционерами... а один командир отряда даже играл на органе в местной церкви». В итоговой резолюции инспекция предлагала «усилить идеологическое воспитание»⁵³.

Из-за обилия проблем возможности для занятости молодых и преисполненных энтузиазма активистов были фактически безбрежными, несмотря на то что саму работу трудно было назвать легкой. Кшиштоф Помян, который в начале 1950-х годов возглавлял молодых коммунистов в варшавском районе Мокотов,

говорит: «Быть молодежным лидером — это означало сидеть на бесконечных совещаниях, заканчивающихся глубокой ночью, причем даже для школьников. Заседания, пение хором, марши, шествия, проверка явки на первомайских демонстрациях и празднованиях 22 июля. ...Те, кто приходил на эти заседания с чувством ответственности, были весьма серьезны, а другие воспринимали их с долей иронии. ...Зеленые рубашки, красные галстуки, “Гимн молодежи” перед уроками — мне все это давалось легко, поскольку я вышел из семьи коммунистов, и навязываемая коммунистическая “литургия” не напрягала меня так сильно, как других»⁵⁴.

Люди, занимавшиеся всем этим, могли оставаться «молодежными лидерами» многие годы. Хонеккер окончательно ушел с поста руководителя Свободной немецкой молодежи в 1955 году, в возрасте сорока трех лет, с легкостью влившись в состав руководства коммунистической партии Восточной Германии. Юзеф Тейхма, активист Союза польской молодежи с 1948 по 1956 год, когда ему исполнилось двадцать девять лет, стал министром культуры в 1974 году. Андраш Хегедюш, который присутствовал на учредительных мероприятиях молодых венгерских коммунистов в 1945 году, спустя десять лет вдруг оказался на должности премьер-министра Венгрии — незадолго до своего вынужденного бегства из страны после провала венгерской революции. Для тех, кто играл в эту игру, дивиденды могли быть высокими, но столь же высокой могла быть и плата⁵⁵.

Дети и молодежь были для партийных пропагандистов наиболее благодатной аудиторией — они в буквальном смысле представляли собой будущее партии. Но партийные активисты также чувствовали, что на них лежит еще одна особая миссия: им предстояло завоевать расположение и симпатию «синих воротничков», промышленных рабочих, мужчин и женщин (но в основном мужчин), во имя которых и делалась революция. Чтобы укрепить самосознание рабочего класса, они превращали фабрики и рабочие места в центры идеологического воспитания, используя тот же арсенал, который применялся в школах, —

лекции, знамена, плакаты, шествия. Кроме того, к концу 1940-х годов сам труд был признан родом политической деятельности. Физический труд, особенно в тяжелой промышленности, превратился в форму служения не только государству или экономике, но и самой партии.

Фактически с помощью идеологии латалась заметная брешь, наметившаяся в экономике того времени. Дело в том, что на государственных предприятиях более усердный труд не означал повышения зарплаты; тарифные сетки разрабатывались центральной бюрократией и не содержали стимулов производить больше или лучше. Соблазн не работать — или работать медленно и плохо — был силен. Новые руководители промышленности знали, что им необходимо как-то мотивировать людей; они пытались делать это, увязывая индивидуальный труд с общегосударственными пятилетними или шестилетними планами: своя ежедневная норма была в каждой отрасли, на каждом предприятии, у каждого рабочего, а заработки зависели от выполнения этих норм. Рабочие также состязались друг с другом в ходе «социалистического соревнования», стремясь не только выполнить, но и перевыполнить свою норму и тем самым перевыполнить государственный план.

Подобный подход не был новаторским. Социалистическое соревнование широко применялось в довоенном Советском Союзе, где с его помощью пытались мотивировать рабочих, повышать производительность труда и ускорять экономический рост. Подобно руководителям Восточной Европы конца 1940-х, лидеры Советского Союза начала 1930-х хотели доказать преимущества своей экономической модели, которая, как они еще надеялись, вскоре превзойдет модель капиталистического Запада. Пытаясь взбодрить вялый рабочий класс, советские пропагандисты сосредоточились на избранном числе выдающихся (или предположительно выдающихся) примеров. Речь идет об «ударниках» — героях труда. Они добывали больше угля, производили больше металла, прокладывали больше километров железных дорог. Образцом для них стал Алексей Стаханов, донбасский шахтер, который 31 августа 1935 года, как утвержда-

лось, добыл 102 тонны угля за пять часов и сорок пять минут. Этот результат в четырнадцать раз превысил установленную норму. Сам Сталин обратил внимание на достижение Стаханова, что впоследствии обернулось выстраиванием вокруг этого рабочего миниатюрного культа личности. Стаханов стал героем статей, книг и картин; его именем назывались улицы и площади. Украинский город в его честь переименовали в город Стаханов. Всех героев труда в СССР стали именовать «стахановцами», а стахановское движение охватило всю страну.

Коммунисты Восточной Европы знали о культе Стаханова, и некоторые из них с большой точностью воспроизвели стахановскую модель у себя дома. «Стахановым» в Восточной Германии был Адольф Хенеке, забойщик, который в 1948 году поразил товарищей, выполнив план добычи на 287 процентов. И хотя это было намного ниже стахановского рекорда — немцам не позволялось превосходить русских, имя Хенеке тем не менее вскоре появилось на плакатах и в брошюрах. День 13 октября, когда он совершил свой великий подвиг, несколько лет отмечался как национальный праздник.

В Польше тоже был свой шахтер-ударник, которого звали Винцент Пстровский. В 1947 году он добыл 273 процента от установленной нормы угледобычи, а потом, к удовольствию властей, бросил вызов своим товарищам: «Кто сможет добыть больше, чем я?». Этот человек был не столь удачливым, как Хенеке. Хотя с идейностью у Пстровского все было в порядке — он эмигрировал из Польши во время войны и вступил в коммунистическую партию в Бельгии, пропагандист из него получился неважный. На встречах с общественностью он зачастую со слезами в глазах рассказывал о жизни на чужбине, вместо того чтобы повествовать воодушевленной толпе о радостях тяжелого труда. К сожалению, в 1948 году он скоропостижно скончался; возможно, причиной стала неудачная стоматологическая операция. (Ему хотелось быть более фотогеничным, но после того, как ему за один раз удалили несколько зубов, он получил заражение крови⁵⁶.) После кончины героя поляки сложили о нем стихотворные строки:

Ch esz si uda na s d bosk
Pracuj tak jak górnik Pstrowski.

В переводе это звучало примерно так: «Если хочешь кратчайшим путем попасть в рай — работай, как шахтер Пстровский»; правда, на польском языке строчки рифмуются. Венгры тоже сочиняли стихи о своих выдающихся ударниках: «Игнац Пикер мне милее всех на свете девушек». Этот венгерский труженик был фабричным рабочим, в 1949 году выполнившим годовой план на 1470 процентов и закончившим личный пятилетний план в 1951 году, на четыре года раньше срока⁵⁷. Впрочем, смеялись над подобными достижениями далеко не все. На протяжении какого-то времени многие трудящиеся Восточной Европы действительно соревновались друг с другом, желая повторить подвиги Хенеке, Пстровского и Пикера, причем не только в индустриальном производстве. В Германии, по свидетельству историка, «17-летняя девушка рассортировала 20 тысяч сигарет за день, превысив предыдущий рекорд в 14 тысяч штук. 16-летний подросток установил двадцать радиоламп за один час. Машинист из Лейпцига возглавил “Движение-500”: согласно этому почину каждый локомотив должен был проходить не менее 500 километров за день. Водитель грузовика превзошел его: он положил начало “Движению-100 000”, участие в котором требовало от шоферов сотысячного пробега без ремонта. Стоит также упомянуть и “Движение за 4000 литров”, призывавшее коров-героинь труда давать по 4 тысячи литров молока ежегодно»⁵⁸.

Поскольку планы и нормы действовали повсеместно, ударники со временем обнаруживались (или создавались) во всех профессиях. В Восточной Германии проводились специальные академические конкурсы имени Хенеке для школьников и студентов, состязавшихся друг с другом за то, чтобы завершить обучение в рекордные сроки⁵⁹. Были также целые «героические бригады», подобные коллективу молодых венгерских строителей, трудившихся на возведении сталелитейного завода в городе Сталинварош: темп их работы был таким, что им постоянно не хватало

кирпичей. На помощь ударникам пришли молодые активисты: определив нехватку 14 тысяч кирпичей, «они мобилизовали молодежь с других строительных участков завода. ...С половины одиннадцатого до половины третьего эти помощники по колено в грязи и под проливным дождем доставляли кирпичи туда, где в них наиболее остро нуждались. Такая помощь позволила строителям-передовикам закончить работу на месяц раньше срока»⁶⁰.

На короткое время герои-передовики действительно превратились в привилегированную группу, игравшую важную роль в создании коммунистической истории. Ударников превозносили на местах их работы, а порой и в масштабах всей страны, причем не просто за рекорды, а за крупный вклад в процветание всего общества — или, в большей степени, в дело партии. Стахановцев поощряли не только материально: их имена появлялись на плакатах и транспарантах, их чествовали в газетах и радиопередачах, они были гостями публичных мероприятий, включая демонстрации и парады. Иногда, как вспоминает одна польская текстильщица, поощрения оказывались весьма необычными: «В 1950-м или 1952-м... не помню точно... я удостоилась звания лучшей стахановки моей фабрики. Я тогда выдала 250 процентов нормы. ...Прихожу однажды на работу, разумеется, в обычной своей одежде, поскольку на работу ведь в праздничном наряде не ходят. А мне вручают билет и говорят, чтобы собиралась на бал стахановцев. Я сказала, что не могу, не так одета, но меня заставили. Так и пошла вместе с другими. Это было поразительно: меня, обычную швею, встретил сам президент Берут. Он приветствовал нас и поблагодарил за хорошую работу. Мне вручили благодарственное письмо. Домой вернулись под утро. Мать начала кричать: где была? Я показала ей грамоту, но она не поверила мне. Я до слез пыталась убедить ее, что была в Варшаве и виделась с Берутом! Спустя какое-то время она начала верить мне, а когда поверила — очень мной гордилась»⁶¹.

И все же в чисто экономическом смысле движение ударников оказалось провалом. Во-первых, оно создавало ложные стимулы к труду: рабочие соревновались за то, чтобы быстрее завершить работу, не особенно думая при этом о качестве. В итоге «социа-

листическое соревнование» не делало экономику более производительной — ни в Советском Союзе, ни где-либо еще. Историк экономики Пол Грегори полагает, что в Советском Союзе стахановское движение совсем не оказывало влияние на производительность труда: выплаты премий и высоких зарплат стахановцам «съедали» весь прибыль, приобретенный за счет нечеловеческих усилий отдельных рабочих⁶².

В политическом плане эффект движения был менее однозначным. В некоторых местах ежедневные нормы становились «яблоком раздора»: они начинали расти быстрее, чем зарплаты и стандарты жизни, и партии приходилось изобретать все новые способы, чтобы остановить волну недовольства. В 1952 году большое будапештское предприятие пригласило партийных активистов выступить перед сотрудниками с лекцией о том, «как рабочие жили при режиме Хорти», «какое положение молодых рабочих сегодня», «что несет с собой будущее» и «каковы последствия нынешнего международного положения и борьбы за мир». Лекторы рассказывали, каким ужасным было прошлое, насколько хороша жизнь теперь и до какой степени хорошо начнут жить рабочие в будущем, когда капитализм потерпит поражение⁶³.

В Германии партия боролась с жалобами на высокие нормы, используя *Betriebsfunk* — заводские радиоточки. Партийные активисты помогали рабочим писать и готовить радиопрограммы, которые затем транслировались по всему предприятию посредством громкоговорителей. На совещании, посвященном обсуждению этой инициативы в 1949 году, руководители немецкого общенационального радио соглашались с тем, что фабричные трансляции очень важны. «Мы должны найти язык, понятный людям, которые усердно трудятся», — сказал один из них; возможно, те, кто «потерял доверие к национальному радио», пересмотрят свои позиции, когда услышат трансляции с собственных предприятий. На совещании строились планы по запуску передач в обеденный перерыв, а также после работы, когда трудящиеся ожидали транспорта, развозящего их по домам. Главная идея состояла в том, что «достижения тружеников

должны чувствоваться и повторяться каждый день». (Некоторые, впрочем, считали, что «избыток политики был бы ошибочным» даже для заводских радиоточек и что в их программы надо включать музыкальные и развлекательные передачи⁶⁴.)

И все же политически стахановское движение добилося некоторых успехов. В Советском Союзе Сталин использовал ударников как ресурс обновления технических и управленческих кадров. Выступая на съезде стахановцев в 1935 году, он призывал собравшихся ударников «ломать консерватизм некоторых наших инженеров и техников» и «высвободить новые силы рабочего класса»⁶⁵. На многих из этих «инженеров и техников» впоследствии возложили ответственность за экономические сбои системы, и они оказались в ГУЛАГе. В Восточной Европе движения ударников выполняли столь же революционную, хотя немного отличную функцию. На практике они зачастую стравливали молодых и неопытных, но более «идейных» рабочих с более старшими и более опытными мастерами. Старшее поколение рабочих еще помнило довоенный фабричный быт, который был не хуже — хотя и не лучше — новых условий. Некоторые его представители в свое время участвовали в настоящем профсоюзном движении и хорошо понимали, что государственные профсоюзы, ориентированные на правительство и заводское начальство, не имеют к подлинным профсоюзам никакого отношения.

На многих предприятиях рабочие-ветераны очень быстро начали относиться к социалистическому соревнованию с враждебностью, справедливо подозревая, что оно придумано с единственной целью: заставить людей работать более интенсивно, но за ту же плату. Отголоски этой враждебности можно найти в официальной биографии Йожефа Кислингера, венгерского стахановца, который вступил в прямой конфликт с пожилыми рабочими: «Иногда он работал другим, более совершенным резцом и благодаря этому перевыполнял норму. Старшие рабочие накидывались на него: “Ты что, с ума сошел? Подводишь всех нас!”». Даже один из профсоюзных начальников пришел как-то предупредить его: Будь осторожен, сынок, это не слишком хорошая затея. Не гонись за слишком высокими процентами»⁶⁶.

Молодая работница, которая участвовала в производственном соревновании на заводе комбайнов в Восточной Германии, тоже сталкивалась с враждебностью ее старших коллег-мужчин. Один из них даже сказал ей, что если бы заводское начальство сажало на территории предприятия деревья, ее «первую повесили бы на одном из них»⁶⁷. Легко понять, почему молодые энтузиасты, готовые добровольно таскать кирпичи по колено в грязи, быстро превратились в раздражающий фактор: их усилия создавали прецеденты, которым вынуждены были следовать остальные.

Этот конфликт поколений разжигался целенаправленно и столь же намеренно поддерживался официальной пропагандой. Индустриализация набирала темпы, и партии приходилось интегрировать тысячи необученных и приехавших из деревни рабочих в состав городского пролетариата. В Будапеште, по наблюдению газеты *Szabad Nép*, «стахановское движение начало формировать новый тип рабочего: он стал предвестником рождения коммунистического рабочего класса. ...На своем каждодневном опыте трудящиеся познают истину, о которой говорит нам теория: строительство социализма... связано с ростом народного благосостояния»⁶⁸.

К 1950 году многие из тех, кто отказывался участвовать в социалистическом соревновании, просто исчезли. Так, в Венгрии в ходе расследования случаев «саботажа» в строительной индустрии было установлено, что за разрушение недавно выстроенной плотины несут ответственность сотни рабочих старшего поколения: в результате целую отрасль решили очистить от «враждебных элементов»⁶⁹. К 1951 году около 250 «довоенных специалистов» были уволены в Варшаве. На их места пришли молодые и более идейные коллеги, на которых партия могла положиться.

Если воздействие пропаганды, адресованной молодым, отнюдь не прекращалось с концом школьного дня, то пропаганда для взрослых с завершением рабочего дня тоже не заканчивалась. На больших предприятиях работали собственные вечерние клубы и «дома культуры», организовывались культпоходы в

театр. Во многих местах проводились также дискуссии и лекции на политические темы. Помимо всех этих вполне повседневных событий и встреч партия готовила бесчисленные празднования, фестивали, годовщины, которые были призваны повышать образовательный уровень широкой публики и одновременно занимать ее в непродолжительное свободное время.

К концу 1940-х годов в каждой коммунистической стране установился собственный список памятных и праздничных дат, замещавший традиционные дни почитания святых и религиозные праздники. День международной солидарности трудящихся (1 мая), годовщина Октябрьской революции (7 ноября) и день рождения Сталина (21 декабря) были общими для всех. В то же время в каждой стране имелись свои торжественные даты: день обнародования манифеста Комитета национального освобождения в Польше (22 июля); день рождения Эрнста Тельмана в Германии (16 апреля); дни начала венгерской революции 1919 года и освобождения Венгрии советскими войсками (19 марта и 4 апреля). Каждая страна отмечала дни рождения собственного лидера. Все эти праздничные выходные дни ознаменовывались шествиями, музыкальными и гимнастическими представлениями с флагами и плакатами, произнесением речей, подготовкой специальных выпусков газет и радиопрограмм, что требовало затрат времени и энергии.

Некоторые из таких событий специально предназначались для того, чтобы вытеснить старые праздники. В Польше 1 мая оттесняло 3 мая, когда отмечалась годовщина подписания в 1791 году первой демократической конституции страны. В Венгрии 19 марта, когда началась коммунистическая революция 1919 года, сталкивалось с 15 марта, отмечавшим начало революции 1848 года. Тайные празднования «ошибочных» праздников на многие годы стали в этих двух странах характерным признаком общественной жизни и формой низовой оппозиции.

За участие в «правильных» праздниках полагалось поощрение: на 1 мая, например, участников демонстрации иногда бесплатно угощали колбасой. Но одновременно за поведением демонстрантов пристально наблюдали. Согласно инспектору,

который посетил несколько мест празднований дня рождения Матьяша Ракоши в 1950 году, результаты такой работы иногда оказывались обескураживающими. На одном мероприятии венгерских пионеров ребенок, оболваненный пропагандой, заливаясь слезами, кричал, что «у него нет отца, но если бы даже и был, то он все равно любил бы товарища Ракоши больше». На другом митинге тот же проверяющий случайно услышал, как один ребенок говорил другому: «Я хотел бы, чтобы Ракоши никогда не вышел из тюрьмы». О реплике донесли директору школы, который побеседовал с родителями ребенка, а также с работодателями его родителей. Мальчиков исключили из пионерской организации, а после школы, вероятно, им было нелегко найти себе работу⁷⁰.

Круглые даты отмечались с особой торжественностью. Шестидесятая годовщина со дня рождения Ракоши в 1952 году была ознаменована специально подготовленной биографией, которую быстро перевели на несколько языков, а также многочисленными праздничными церемониями. Кроме того, была организована специальная выставка, на которой представлялись фотографии вождя в юности, картины, отражавшие различные эпизоды его жизни, и подарки, подготовленные благодарным народом, включая кукол, искусные крестьянские вышивки, керамику, резьбу по дереву⁷¹. Шестидесятилетие Болеслава Берута в 1952 году тоже потребовало публикации юбилейной биографии и специальной поэтической антологии. Предприятия отмечали юбилей руководителя сверхплановой продукции; со всей страны в адрес вождя шли поздравительные письма и телеграммы. Два предприятия решили просить о присвоении себе его имени. Так же поступила и маленькая горная деревушка Берутовице. На главном чествовании в Варшаве фотографический портрет Берута располагался между бюстами Ленина и Сталина⁷².

В 1953 году столь же тщательно готовилось и празднование шестидесятилетия Вальтера Ульбрихта. Предстояло опубликовать три тома его речей, изваять два памятника, завезти в магазины его портреты, подготовить специальный номер газеты

Neues Deutschland с поздравлениями и славословиями, присвоить лидеру звание почетного гражданина Лейпцига, а вечером в день юбилея 30 июня организовать грандиозный торжественный ужин с юбиларом⁷³. К огорчению немецкого вождя, незадолго до его дня рождения умер Сталин и большинство праздничных мероприятий отменили, а советские чиновники выразили недовольство необычайной пышностью торжеств. (Так, один из них обронил, что Ленин праздновал свое пятидесятилетие, «пригласив на обед всего несколько друзей»⁷⁴.)

Коммунисты отмечали масштабными празднованиями и другие исторические даты. Парады, представления, спектакли и речи, призванные вызвать в массах патриотические чувства, посвящались и универсальным культурным персонажам давно минувшего прошлого. Накануне празднования 28 августа 1949 года двухсотлетия со дня рождения Иоганна Вольфганга фон Гёте, одного из самых почитаемых немецких писателей, восточногерманские коммунисты осознали, что он родился в Веймаре, то есть на их территории. В результате партия, министерство культуры и даже спецслужбы предприняли невероятные усилия, пытаясь представить этого аристократичного просветителя в качестве едва ли не предшественника коммунизма. Власти тщательно разрабатывали программу фестиваля, призванного показать Западу, что коммунисты пекутся о высокой культуре с большим рвением, нежели это делали капиталисты, и убедить свой народ в том, что именно они являются истинными немецкими патриотами.

В идеале партия хотела не только мобилизовать высоколобых интеллектуалов, но и воодушевить массы. Выступая на заседании ЦК партии в феврале 1949 года, один чиновник от культуры заявлял, что празднование юбилея Гёте должно «способствовать демократическому воспитанию народа» и «оказать пропагандистский эффект» за границей: «Мы хотим, чтобы восточная зона стала не только экономическим и политическим образцом, но и культурной моделью для [будущей] объединенной Германии». Разумеется, рассуждал он, партия не должна «замалчивать противоречивые стороны жизни и работы величайшего из немцев» — к

несчастьем, Гёте скептически относился к французской революции и к революциям в целом. Однако, «если изучить труды Гёте, то можно увидеть, что он всегда двигался к [марксистскому] диалектическому материализму, пусть даже не осознавая этого»⁷⁵. Советская военная администрация одобрила намерения немецких коммунистов, и у нее имелись основания для этого⁷⁶. В СССР к тому времени был разработан собственный патетический культ Пушкина, русского поэта XIX века, который, несомненно, посчитал бы большевизм ужасающим явлением.

Культурные фестивали не были для Германии чем-то новым. Но в данном случае все делалось с необычайным размахом, особенно поразительным на фоне всеобщей бедности восточных немцев в то время. Начало праздничным мероприятиям положило постановление политбюро, обнародованное 8 марта. За ним последовали лекции в Национальном театре; декламации поэтических произведений Гёте; премьерные показы его пьес; научные конференции о творческом наследии гения; речи, возвеличивающие Гёте, и, наконец, фестивальная неделя в Веймаре⁷⁷. Для молодых людей Союз свободной немецкой молодежи предусмотрел особое мероприятие, включая длинную речь Хонеккера и еще более пространное выступление Гротевоя (его опубликованная версия занимала восемьдесят страниц), которое призывало немецкую молодежь «завершить великий труд Гёте». Премия имени Гёте была присуждена писателю Томасу Манну, чье противоречивое появление в Веймаре рассматривалось коммунистами как пропагандистская победа, несмотря даже на тот факт, что великий писатель выступил с такой же точной речью на фестивале Гёте в Западной Германии. Радио Восточной Германии сполна воспользовалось его присутствием, транслируя в эфире пожелания Манну от «юных пионеров и рабочих», а также изъявления признательности от различных сановников, включая бургомистра Веймара. (Манн, впрочем, позже написал бургомистру письмо, в котором нарочито подчеркивал, что он в равной степени счастлив быть и почетным гражданином города, и полноценным гражданином США, каковым он к тому времени уже являлся)⁷⁸.

Эстетическим апофеозом фестиваля стало факельное шествие Союза свободной немецкой молодежи: сотни молодых факельщиков промаршировали по неосвещенным и переполненным улицам Веймара, а потом возложили свои факелы на каменный постамент памятника Гёте и Шиллеру. Это событие удивило многих как на западе, так и на востоке страны, поскольку подобные факельные шествия очень любили молодые нацисты⁷⁹. Тем не менее событие было оценено как пропагандистский и воспитательный успех. На будущее были запланированы другие подобные фестивали: 1950 год был объявлен годом Баха (великий композитор много лет жил в Лейпциге), 1952-й стал годом Бетховена (несмотря на то что он родился в западногерманском Бонне), 1953-й сделали годом Маркса, а 1955-й — годом Шиллера.

В Польше любители музыки начали размышлять о собственном фестивале — годе Шопена — сразу же после завершения войны. Первоначально подготовкой этого события занимался довоенный Институт Шопена. Однако к тому моменту, когда время празднования пришло — столетие со дня кончины композитора отмечалось в 1949 году, фестиваль уже находился под жестким контролем «почетного комитета», официальным председателем которого был Берут.

Год Шопена в Польше прошел почти так же роскошно, как год Гёте в Германии, и включал публикации новых изданий музыки Шопена, новых вариантов научной и популярной биографии композитора, собрание эссе о нем, фотоальбомов, а также реставрацию дома в городке Желязова Воля, где мастер родился. Для масс готовились «рабоче-крестьянские» концерты, специально разработанные для заводских домов культуры подборки записей, радиоконцерты⁸⁰. В каждом воеводстве формировался Комитет Шопена. Наиболее приоритетными считались национальные музыкальные конкурсы имени Шопена, а также традиционный международный конкурс его имени, впервые проводившийся в послевоенной Польше. Талантливые пианисты со всего мира прибывали в Варшаву, и толпы съезжались в концертные залы, чтобы услышать и увидеть их.

Эмоции, переживаемые польскими поклонниками Шопена, были столь же неоднозначными, как и чувства немцев, восхитавшихся Гёте. С одной стороны, Шопен был истинным национальным героем Польши, чья музыка в годы войны запрещалась нацистами и исполнялась на сотнях тайных концертов. И миллионы людей были счастливы в ходе празднований слышать ее вновь. С другой стороны, режим старался выжать из праздничных мероприятий максимум возможного, а подведение итогов международного конкурса смутило многих. Судьи объявили двух победителей, одним из которых оказался русский, а другим поляк⁸¹. Еще более сложно проходило празднование 150-летия Адама Мицкевича, польского национального поэта, в наследии которого были явно антирусские работы. Некоторые его поэмы читались с трибун, а пьесы ставились на театральных подмостках. Но другие произведения оставались под запретом, и поэтому режим не смог вызвать этим праздником такой же массовый энтузиазм, какой сопровождал год Шопена⁸².

Однако национальное культурное наследие не было единственным фокусом для массовых событий. Спортивные мероприятия также занимали в коммунистической повестке дня видное место и были столь же жестко монополизированы государством. Немецкие коммунисты методично упразднили к 1948 году все некоммунистические спортивные группы, объявив их «незаконной формой работы с детьми»⁸³. Легальным статусом в Восточной Германии пользовались только государственные спортивные клубы, которые в основном были военизированными. Спорт, как утверждалось в директиве Союза свободной немецкой молодежи в 1951 году, может помочь превратить детей в «здоровых, сильных, целеустремленных людей, которые любят родину и готовы к труду и защите мира», — иными словами, в солдат⁸⁴. В 1952 году немецких «юных пионеров» также призывали закалять себя «для строительства социализма и защиты родины»⁸⁵. А венгерское молодежное движение тогда же осуществляло кампанию по «подготовке к труду и обороне», обещая оснастить спортивным инвентарем школы и открыть

новый стадион для детей и юношества на острове Маргит на Дунае в центре Будапешта⁸⁶.

Коммунистические партии очень быстро оценили пропагандистскую роль международных спортивных соревнований. В последующие десятилетия восточные немцы, в частности, прославились применением допинга и милитаристским стилем, демонстрируемым в ходе Олимпийских игр. Но использование спортивной тематики в коммунистической пропаганде началось задолго до появления на пьедесталах мужеподобных пловчих из ГДР. Уже в 1946 году два журналиста-партийца, чех и поляк, выступили с идеей велогонки мира, международного велопробега от Праги до Варшавы. Первое состязание состоялось в 1948 году, и энтузиазм по поводу этого события был обязательным: чешское и польское коммунистическое руководство заблаговременно поручило местным парторганизациям мобилизовать зрителей и болельщиков по всей трассе. Велогонка мира, объясняли они, призвана заинтересовать тех людей, которые не слишком чувствительны к «другим пропагандистским акциям», продемонстрировать «рост жизненного уровня широких масс и подъем национальной экономики», а также стать «символом братского сотрудничества между миролюбивыми народами и, в частности, польско-чешской дружбы».

В те годы, когда Велогонка мира только начиналась, ее участники открывали событие своим появлением на первомайском параде. Старт самому состязанию давался 2 мая. В спортивных комментариях подчеркивалась «коллективная» природа велогонки, во время которой индивидуальным гонщикам иногда приходилось жертвовать собственными амбициями ради славы команды. Чтобы повысить «международный» статус соревнования, к участию приглашались велосипедисты из Советского Союза и других стран «народной демократии», а в 1952 году трасса была продлена, пройдя через территорию Восточной Германии. Организаторы стремились к тому, чтобы по своему престижу Велогонка мира превзошла Тур де Франс — соревнование, которое чешские, польские и немецкие коммунисты осуждали как вульгарное и коммерческое. Впрочем, им так и не уда-

лось преуспеть в этом, и не в последнюю очередь из-за того, что Велогонка мира не могла предлагать своим победителям столь же привлекательные призы, как те, что вручались на Тур де Франс⁸⁷.

История состязания также показывает, какими неприятными издержками порой оборачивалась политизация спортивных событий. Один из участников соревнования жаловался, что, как только велогонщики пересекали границу Чехословакии, чешские СМИ забывали об «интернационализме» состязания, а в его освещении появлялись «элементы чешского шовинизма». Велосипедистов из других коммунистических стран освистывали, причем это не было единичным инцидентом. В начале 1950-х годов Ракоши как-то раз был вынужден объяснять советскому послу в Будапеште Юрию Андропову, почему советских атлетов, приехавших на международные соревнования в Венгрию, освистали несмотря даже на их выигрыш. Венгерский вождь деликатно списывал это на «азарт болельщиков»: разумеется, венгры видели в спортсменах из СССР самых главных конкурентов и состязания с их участием вызывали самый большой интерес. Андропова это не слишком убедило; он беспокоился, что подобная реакция венгров «предоставит журналистам из капиталистических стран повод для того, чтобы в ложном свете изобразить чувства венгерского народа к Советскому Союзу». Все, что Ракоши мог предложить в ответ, сводилось к более действенному идеологическому воспитанию: Центральный комитет, пообещал он, запинаясь, «предпримет все необходимые меры для улучшения воспитания венгерских спортсменов»⁸⁸.

Культура и спорт, песни и пляски, массовые шествия и митинги — календарь эпохи «разгула сталинизма» изобилдовал подобными вехами, для каждой из которых находилось особое место. Было, однако, одно событие, где все вышеупомянутое сплывало воедино. Речь о Всемирном фестивале молодежи и студентов — масштабном форуме, впервые состоявшемся в Праге в 1947 году, а затем в Будапеште в 1949 году. Хотя первые два фестиваля по стандартам своего времени были весьма экстравагантными шоу, третий фестиваль, проходивший в 1951 году

в Восточном Берлине, далеко превзошел их. Этим событием был отмечен зенит сталинизма: проводимый в один из самых напряженных моментов холодной войны, он стал центральным событием советской и восточноевропейской пропаганды, впервые выдвинув коммунистическую Восточную Германию на международную арену.

Берлинский фестиваль с самого начала планировался с грандиозным размахом. Как отмечал западный наблюдатель, события форума должны были проходить в шестнадцать берлинских театрах общей вместимостью 20 тысяч человек; в ста трех кинотеатрах на 40 тысяч мест; на только что построенном стадионе имени Вальтера Ульбрихта, вмещавшем 60 тысяч зрителей, и в новом плавательном комплексе на 8 тысяч мест. Мероприятия под открытым небом должны были состояться на четырех десятках площадей и в парках⁸⁹. Чтобы освободить пространство для массовых мероприятий, берлинские власти убрали груды мусора, оставшегося в центре города с военных времен. Они также восстановили некоторые монументы на Унтер-ден-Линден и подготовили Берлинский музей к размещению большой экспозиции из Китайской Народной Республики. По отелям, общежитиям и частным домам были распределены 120 тысяч матрасов, чтобы разместить всех зарубежных гостей. Около 80 тысяч восточных немцев, участвовавших в фестивале, расселяли в палатках⁹⁰.

Спецслужбы также готовились к форуму загодя. Еще в мае полицейские начали наблюдение за «атмосферой», сопровождавшей подготовку праздника. Они собирали сообщения осведомителей и перлюстрировали письма сотен студентов и преподавателей университетов Лейпцига, Росток и Йены. Это делалось для того, чтобы узнать, как предстоящее событие воспринимается в молодежной среде⁹¹. В июне подразделения Штази приступили к операции «Восход», целью которой была слежка за приехавшими из Западной Германии. Участвовавшие в ней сотрудники, возглавляемые лично министром государственной безопасности Эрихом Мильке, должны были встречать западногерманских делегатов прямо на границе и доставлять сначала в пункты приема, где их регистрировали, а потом на

места проживания. Работавшие в лагерях агенты Штази, выдающие себя за шоферов, официантов и массовиков, сразу приступали к вербовке потенциальных осведомителей и выявлению шпионов⁹². Другие осведомители должны были следить за тем, «с кем встречаются члены буржуазных политических партий», а также выяснять, «не отговаривают ли священники от участия в фестивале и осуждают ли они фестиваль в своих проповедях»⁹³. По каждому мероприятию собирались статистические данные, на основании которых подавались еженедельные отчеты, частично зашифрованные. Так, каждой западногерманской земле было присвоено кодовое наименование (Шлезвиг-Гольштейн стал «Меркурием», Нижняя Саксония была «Юпитером», Северный Рейн — Вестфалия — «Марсом», и так далее⁹⁴.) Кроме того, министерство отправило в места проведения фестиваля дополнительные контингенты вооруженных полицейских, которым, что любопытно, было приказано иметь с собой собственные зубные щетки, бритвы и даже музыкальные инструменты⁹⁵.

Все эти дотошные приготовления в определенном смысле были оправданными. Третий Всемирный фестиваль молодежи и студентов оказался настоящим чудом в плане массовой хореографии и массовой организации. Он включал церемонии открытия и закрытия, день солидарности с девушками («потому что они активные защитницы мира») и «демонстрацию немецкой молодежи против ремилитаризации Германии»⁹⁶. Форум посетили Пабло Неруда и его друг Бертольд Брехт. В выпусках кинохроники, пропагандировавших фестивальные шоу, показывали участников, выпускающих в небо белых голубей. Особое почтение было оказано делегации из Северной Кореи: как пояснял диктор новостного выпуска, «молодежь всего мира хочет показать вашему отважному народу, что мы на вашей стороне». В ходе другой церемонии делегаты возлагали цветы на могилы советских солдат в Берлине («молодежь всего мира благодарит Советский Союз»). На церемонии открытия было представлено столько флагов, манифестантов и хореографических номеров, сколько в Германии не видели со времен войны⁹⁷.

Для тех, кто уже был восторженно настроен к коммунистическому режиму, берлинский фестиваль молодежи стал восхитительным и незабываемым событием. Функционер Союза свободной немецкой молодежи много десятилетий спустя вспоминал парад открытия с необычайным подъемом: «Это было потрясающее зрелище, людской поток заполнил все центральные улицы, стекаясь сюда со всех концов города, это было просто потрясающее событие»⁹⁸. Яцек Тржнадел, молодой польский писатель, получил нормированные карточки на приобретение нового костюма: теперь он мог участвовать в фестивале наряду с другими представителями «молодого поколения литераторов». Его встретил Берлин, который был еще «бедным, серым и замусоренным, но украшенным к празднованию многочисленными красными знаменами». О самом фестивале он помнил немного — «портрет Сталина в небе и молодую немку, с которой удалось обменяться адресами», а также «настроение всеобщей эйфории»⁹⁹. Как вспоминает Ганс Модров, его до слез тронула церемония закрытия, в которой принимали участие сотни людей со всего мира. Модров был среди тех членов Союза свободной немецкой молодежи, которые решили сделать фестиваль еще более интернациональным: взявшись за руки, они отправились к границе, где затеяли потасовку с западноберлинской полицией. Через много лет этот человек по-прежнему полагал, что фестивальный опыт укрепил его убежденность и веру в новый режим¹⁰⁰.

Но зато в глазах тех, кто воспринимал Восточную Германию или коммунизм в целом скептически, фестиваль выглядел весьма мрачным зрелищем. Война завершилась совсем недавно, и поэтому колонны молодых немцев, марширующих в униформе, по команде выполняющих гимнастические упражнения и в один голос скандирующих лозунги, многим казались чем-то странным. Юзеф Тейхма, бывший в те годы польским молодежным активистом, вспоминал, что церемония открытия вызвала у него не только восхищение, но и страх: «Эта гигантская машина, этот невероятный взрыв энергии, эта концентрация немецкого порядка произвели на меня чудовищное впечатление. ...Мне казалось, что все эти молодые люди наделены огромной

властью, что они действуют в соответствии с каким-то заранее заданным сценарием». И хотя он был «впечатлен тем, как удалось организовать подобное», его терзали сомнения¹⁰¹. Вернер Штётцер, позднее ставший известным немецким скульптором, испытал еще более смешанные чувства. Как и Модров, Штётцер входил в состав группы Союза свободной немецкой молодежи, которая отправилась на границу с Западным Берлином, но воспоминания двух людей заметно различаются. Все начиналось вполне доброжелательно, рассказывает Штётцер в своих мемуарах, но затем настроение толпы изменилось: «Внезапно один из старших принялся организовывать наши ряды. Все случилось очень быстро, и люди сначала смешались, но перед выходом на широкую улицу мы все же выстроились в подобие отряда. Знаменосцы взметнули свои флаги столь виртуозно, будто тайно тренировались этому последние пять лет, а люди быстро перестроились с прогулочного шага на марш. Я слишком поздно заметил, что товарищи по соседству уже печатают шаг и держат равнение налево. Кто-то из тех, кто тянул носок, пнул меня в спину, я не ожидал, споткнулся, а мои бесцеремонные товарищи справа и слева зашипели: “дубина”, “бестолочь”, “ублюдок”. Еще до того как мы дошли до места, меня вышвырнули из колонны. Почувствовав себя униженным, я побежал к станции городской железной дороги... и отправился в Западный Берлин без билета»¹⁰².

Как убедились польские коммунисты в ходе своего первого референдума, больше пропаганды вовсе не означает больше убедительности. Немцам же, в свою очередь, вскоре тоже предстояло узнать, что обилие распевających молодых людей, знамен, парадов, гимнастических выступлений отнюдь не является средством убеждения германцев и вообще кого бы то ни было.

Глава 14

Социалистический реализм

Литература должна стать партийной. ...Долой литераторов беспартийных!

Владимир Ленин, 1905 год¹

Варшавский анекдот, рассказывающий о конкурсе на лучший памятник Пушкину.

Победивший проект представлял собой гигантскую скульптуру сидящего Сталина, держащего на коленях маленькую книгу, на обложке которой крошечными буквами написано: «Пушкин. Поэтические произведения».

Анджей Пануфник, 1949 год²

В одном углу картины — молодой чиновник в костюме и с портфелем под мышкой уверенно вышагивает куда-то; в противоположном углу молодая семья — папа, мама и ребенок улыбаются и помахивают флажками, явно идут на демонстрацию. А посередине инженеры склонились над чертежами, рабочие укладывают железнодорожные пути, крестьяне с трактора приветствуют белокурую крестьянскую девушку со снопом пшеницы в руках. Юноши и девушки в голубой униформе Союза свободной немецкой молодежи и с синими галстуками немецких «юных пионеров» весело идут, хлопая в ладоши под аккомпанемент аккордеона и гитары. На заднем плане, за человеческими фигурами, возводятся новостройки — жилые дома, промышленные объекты, стадион. В самом центре композиции молодой рабочий жмет руку седовласому партийному начальнику. Человек в фуражке и сапогах — обычная форма полицейского — широко улыбается им обоим, будто благословляя. Цвета на полотне светлые, оно излучает солнце.

Лица всех симметричны и идеализированы, а их тела будто невесомы, как у героев детского мультфильма.

Но это вовсе не мультик, а восемнадцатиметровая фреска, помпезно названная «*Aufbau der Republik*» («Созидание республики»). Роспись была задумана Максом Лингнером, немецким художником-коммунистом, и перенесена на плитку на Мейсенском фарфоровом заводе (вот почему поверхность сияет), а затем установлена на фасаде бывшего здания министерства военно-воздушных сил — одного из немногих памятников нацистской архитектуры, уцелевших в войну. Поначалу здание использовалось советскими войсками, но в 1949–1991 годах в нем размещался Дом правительства Германской Демократической Республики³.

Понятно, что фреска «Созидание республики» была выполнена в духе социалистического реализма на пике его расцвета. В то время как повседневную жизнь и часы досуга *Ното Советичесус* должны были заполнять парады, фестивали, трудовые конкурсы и летние лагеря, его фантазии и мечты призван был отражать социалистический реализм. В Восточной Европе под тем или иным влиянием соцреализма оказались все виды искусства — живопись, скульптура, музыка, литература, дизайн, архитектура, театр, кино. Ему были подчинены жизни художников, скульпторов, писателей, актеров, музыкантов, архитекторов, дизайнеров, а также самых простых людей, которым приходилось жить среди архитектурных творений социалистического реализма, читать беллетристику социалистического реализма, смотреть фильмы социалистического реализма.

Фреска «Созидание республики» была типичным образчиком соцреализма эпохи «разгула сталинизма», хотя для ее создателя эта работа не была характерной. Лингнер родился в Германии, но после прихода Гитлера к власти в 1933 году эмигрировал во Францию. В Париже на него очень сильно повлияли светлые краски и абстрактные формы его французских коллег-постимпрессионистов; он начал рисовать в той же манере. Определенную известность ему принесли также желчные и мрачные политические карикатуры, публикуемые во французской коммунистической прессе. Хотя его графические труды были явно политизированными, в них в то время отсутствовали сентимен-

тальность, слащавость или сходство с детским мультфильмом. Фреска «Созидание республики» открыла новый этап в его творчестве. По указанной причине историю этого произведения — как оно создавалось и почему получилось именно таким — можно также считать повествованием о том, каким образом социалистическому реализму на короткое время удалось восторжествовать в изящных искусствах по всей Восточной Европе.

Лингнер не единственный художник в Восточной Германии, чьи довоенные работы были эклектичными, сатирическими или абстрактными. До 1933 года такие немецкие мастера, как Эмиль Нольде, Макс Бекман, Франц Марк и Георг Гросс, входили в число наиболее заметных новаторов европейского искусства. Немецкие художественные школы и движения, например экспрессионизм или *Bauhaus*, оказывали влияние на художников и архитекторов во всем мире, от Эдварда Мунка и Василия Кандинского до Марселя Брейера и Филипа Джонсона. Многие из этих художников и движений были связаны с левыми силами в политике, а после войны некоторые знаменитости немецкой культуры, включая Отто Дикса и Бертольда Брехта, намеренно вернулись в восточную часть страны, намереваясь участвовать в строительстве социалистической Германии.

Их ожидала необычайно талантливая группа советских чиновников от культуры. К огромному удивлению тех немцев, которые уже испытали ужас от первых контактов с Красной армией, среди оккупантов вдруг обнаружилась горстка людей, свободно говоривших на немецком языке, читавших немецкую литературу и восхищавшихся немецкой культурой. Некоторые из них знали немецкое искусство лучше, чем сами немцы. Два наиболее значительных персонажа из этого числа — Александр Дымшиц, глава культурного отдела советской военной администрации, и Григорий Вайспапир, первый редактор берлинской красноармейской газеты *Tägliche Rundschau*, — когда-то были сокурсниками в ленинградском Институте истории искусств. Некоторые офицеры получили философское образование. Были среди них и евреи. Они прибыли в Берлин с заданием сделать восточную часть города более динамичной, чем западная в культурном отно-

шении, надзирать за «буржуазной революцией» в культуре, расчищая путь для коммунистической культурной революции, которая должна была последовать вскоре. В противовес большинству своих соотечественников, которые относились к местному населению с презрением и грубо, эти люди поддерживали контакты с немецкими художниками и литераторами, посещали спектакли, ходили на выставки.

На самых первых порах культурная сцена Восточной Германии пребывала в таком же хаосе, как и все остальное. Сразу после войны в руководстве Культурной палатой (*Reichskulturkammer*), где все еще хранились личные дела всех немецких художников, артистов, музыкантов, писателей, сменилось несколько случайных людей. Первой в этом ряду оказалась Элизабет Дильтей, бывшая активистка нацистской партии. Она сделала себе фальшивые советские документы, объявила себя главой новой Культурной палаты, въехала в ее здание и незамедлительно собрала вокруг себя культурных «знаменитостей» вроде Мартина Герике, театрального парикмахера и гримера. Когда в июле в городе появилась армия США, Герике, называвший себя философом, сделался осведомителем американцев. Потом на горизонте появился Клеменс Херцберг, личность столь же сомнительная, который уволил Дильтей, провозгласив себя «полномочным представителем коменданта Берлина по культурным вопросам». Этот титул он сохранял полторы недели, на протяжении которых успел дать несколько великолепных балов. В конце концов советская военная администрация сменила его на более опытного и политического нейтрального актера Пауля Вегенера⁴.

На короткое время Культурная палата стала для творческих и интеллектуальных людей Берлина важнейшим учреждением, используемым в качестве клуба, артистического кафе, места встреч. Что еще более важно, она сделалась центром раздачи продовольственных и промтоварных карточек — важнейшей ценности каждого берлинца. Даже в самые первые послевоенные недели, когда было особенно тяжело, Красная армия надеялась тех, у кого были документы деятелей культуры, вождленным пайком «первого разряда», предполагавшим больше хлеба,

мяса и овощей. Объясняя эту привилегию, Дымшиц говорил: «Возможно, где-то среди вас живет новый Максим Горький. Неужели его бессмертные произведения останутся ненаписанными только потому, что он вынужден страдать от голода?»⁵. Влияние, оказываемое посредством культуры, было настолько значительным, что советские власти решили использовать его еще более эффективно. Поскольку Культурная палата восстанавливалась и работала стихийно, через несколько месяцев у нее отобрали наиболее важную функцию — распределение привилегий, передав ее специально созданному советской администрацией учреждению, названному Культурным союзом (*Kulturbund*).

Эта организация послужила образцом для создания подобных структур во всей послевоенной Восточной Европе. Ее руководителем стал не какой-то случайный проходимец, а «московский» коммунист Йоганнес Бехер, который двенадцать лет жил в изгнании в Советском Союзе. Создание и становление Культурного союза происходили не спонтанно, а строго по плану. Уже с сентября 1944 года, участвуя в советских совещаниях, посвященных будущему Германии, Бехер говорил о необходимости расположить к себе деятелей образования и священнослужителей, а также актеров, писателей, художников. Подобно Союзу свободной немецкой молодежи, Культурный союз намеревался стать массовой организацией и незамедлительно открыл филиалы по всей стране.

Подобно многим другим организациям того времени, Культурный союз одновременно реализовал две различные стратегии. Внутренне его руководство сохраняло абсолютную лояльность советской оккупационной администрации и немецкой коммунистической партии. Бехер находился в постоянном контакте с Дымшицем и другими советскими чиновниками, отвечавшими за культуру, причем по всем вопросам, от показа советских фильмов до дизайна марок⁶. На внутренних совещаниях функционеры пользовались узнаваемо коммунистическим языком. В январе 1946 года руководство организации решило, что пришла пора начать «борьбу с реакционными влияниями и

тенденциями», а региональные лидеры, сделавшиеся «слишком самостоятельными», получили взыскания. При этом все прекрасно понимали, что под слишком самостоятельными чиновниками подразумевались «недостаточно просоветские» руководители⁷.

Внешне, однако, Культурный союз выглядел как беспартийная, аполитичная и, разумеется, некоммунистическая организация. Надеясь привлечь «буржуазную интеллигенцию», Бехер расположил свою штаб-квартиру в Далеме, элегантном пригороде Западного Берлина, где жили многие деятели искусства. Открывая ее, он призвал к созданию «национального фронта всех немецких интеллектуалов», а в одном из своих ранних официальных обращений добавил, что организация «не ориентирована ни на Запад, ни на Восток»⁸.

Некоторое время Культурный союз вполне успешно играл свою двойственную роль. Благодаря советским патронам, организация могла не только обеспечивать своих членов продовольственными карточками и углем — Бехер и его коллеги зимой 1945 года получали их стабильно, но и раздавать заказы художникам, организовывать театральные постановки и получать помещения для выставок. Довольно скоро Культурный союз начал также распределять квартиры, дачи, путевки на море, правительственные оклады. Деятели, связанные с этим объединением, могли рассчитывать на то, что их ранее запрещенные книги будут изданы большими тиражами, а их пьесы увидит более широкая аудитория⁹. Среди прочего организация помогла подготовить первую после войны крупную выставку немецкого искусства, на которой впервые с 1933 года были выставлены работы, презрительно названные Гитлером «дегенеративными».

Культурный союз финансировал культурную жизнь, по крайней мере на протяжении некоторого времени, и в декабре 1945 года тесно связанная с ним группа журналистов начала издавать сатирический журнал *Ulenspiegel*, едкий, критичный и очень смешной. В работе над ним объединили усилия лучшие художники, карикатуристы и писатели той эпохи. Его главный редактор Херберт Сандберг, выживший в Бухенвальде, был талантлив

вым сатириком-карикатуристом. Обложки журнала дерзко насмехались над ненормальной раздвоенностью Германии, а его авторы принимали близко к сердцу любые общественные проблемы. «Их активность была ключом, и они верили, что начинается золотой век», — говорил Сандберг позднее¹⁰.

Наблюдая за тем, что казалось им подлинным возрождением немецкой культуры, эмигранты не желали оставаться в стороне. Ганс Эйслер, один из музыкальных сподвижников Брехта, в 1946 году обратился к советской военной администрации с просьбой: «Я был бы очень благодарен, если бы мог пригодиться, ибо даже разрушенный Берлин остается для меня все тем же Берлином. По моему убеждению, я мог бы возглавить орган, занимающийся развитием немецкой музыки»¹¹. Сам Брехт, объявив, что он возвращается в страну, пожелал, чтобы на немецкой границе его встречал автомобиль, причем большой и комфортный. Если подходящую машину найти не удастся, писал он в Культурный союз, он предпочел бы добраться до Берлина на поезде¹². Представительская машина была предоставлена, и в октябре 1949 года он и Хелена Вайгель по высшему классу были доставлены сначала в Дрезден, где драматурга приветствовали многочисленные фотографы, радиокорреспонденты и официальные лица, а затем в Берлин, где он остановился в отеле «Адлон». На приеме, организованном в его честь на следующий день, присутствовали Бехер, Дымшиц и многие другие ответственные товарищи¹³.

Даже художникам и писателям с нацистским прошлым было даровано прощение, и если они прежде были достаточно знаменитыми, им предлагалась новая работа — к большому раздражению некоторых немецких коммунистов. На заседании президиума Культурного союза один из его членов жаловался на то, что организацию постоянно просят обеспечить «загородным домом или приморской виллой» культурных деятелей, ранее состоявших в нацистской партии. Художники с безупречной политической репутацией наделялись привилегиями за счет рабочих: «Когда мы в Культурном союзе составляем списки интеллектуалов, которым предстоит получить рождественские

посылки от советской военной администрации, волосы просто дыбом встают. ...Мне стыдно перед товарищами из рабочего класса, для которых мы делаем так мало»¹⁴.

Веймарских художников, придерживавшихся левых политических взглядов — а таких было немало, обхаживали с особой истовостью. Как отмечает венгерский поэт Дьёрдь Фалуди, подобное отношение нередко повергало в замешательство. Некий коммунистический функционер, рассказывает он, однажды «попытался расположить меня к себе тошнотворным, бестактным и едва ли не физически отвратительным прославлением моего величия как писателя. Затем он сказал, что партия восстановит мою разрушенную виллу. ...Кроме того, после укрощения инфляции, которое, разумеется, не за горами, они тайно установят для меня повышенное ежемесячное жалование»¹⁵.

Макс Лингнер, однако, находил подобные методы привлекательными. Новый департамент народного образования (*Volksbildung*), учрежденный под советской эгидой, но руководимый немецкими чиновниками, в 1946 году пригласил его срочно вернуться в Берлин. К тому моменту он состоял в переписке с Вальтером Ульбрихтом, которому среди прочего отправил свою рукопись о художественном образовании. Живописец был нездоров: тяготы нацистской оккупации он пережил во Франции и в свои шестьдесят лет имел серьезные проблемы с сердцем и печенью. Тем не менее Лингнер полагал, что долг марксиста заставляет его принять участие в строительстве коммунизма в Восточной Германии.

Лингнер окончательно возвратился назад в Германию в марте 1949 года. Подобно Брехту, его встретили как героя, что чрезвычайно ему понравилось. Газета *Neues Deutschland* назвала его «великим художником, который признан во всем мире, но неизвестен в Германии»¹⁶. Для него организовали несколько крупных выставок и выдали заказ на украшение главного берлинского бульвара Унтер ден Линден к Первомайской демонстрации. Художника ввели в состав жюри второй национальной выставки изящных искусств. В 1950 году он помог основать новую Немецкую академию художеств¹⁷.

Но 1949 год не был похож на 1945-й, и Восточный Берлин, который, казалось, столь тепло приветствовал Лингнера, переживал серьезные трансформации. Отчасти это объяснялось воздействием набравшей силу холодной войны. В 1947 году западные союзники изгнали штаб-квартиру Культурного союза с территории Западного Берлина на том основании, что под прикрытием этой организации осуществляется коммунистическая деятельность. Разумеется, так оно и было; учреждение было вынуждено переехать в советский сектор. В мае 1948 года за Культурным союзом последовала и редакция журнала *Ullenspiegel*. И хотя Сандберг остался на своем посту, многие его коллеги отказались переезжать на восток.

За переменами стояла также и нарастающая советская паранойя по поводу ненадежности восточноевропейских союзников. В марте 1949 года, когда европейский отдел Министерства иностранных дел СССР составлял перечень предложений, направленных на «укрепление советского влияния на культурную жизнь Польши, Чехословакии и других стран Восточной Европы», советские чиновники четко осознавали, в чем главная проблема: «Значительная часть польской и чехословацкой интеллигенции еще не встала на путь прямой поддержки нового народно-демократического строя, еще идет на поводу у наиболее реакционной верхушки буржуазии, связанной тысячами нитей с реакционными империалистическими кругами западных стран»¹⁸. Аналогичный анализ положения в Венгрии, Болгарии, Румынии и Албании привел их к похожему выводу: нужно заниматься идеологическим воспитанием, переводом и распространяя советские фильмы и книги, открывая советские культурные центры и школы советского типа, расширяя культурные обмены¹⁹.

Но советские чиновники от культуры, работавшие на местах, желали не просто пропагандировать советское искусство, а коренным образом преобразовать всю культуру Восточной Европы. Об этом устремлении Дымшиц объявил в своей статье «О формализме в немецком искусстве», опубликованной в *Tägliche Rundschau* в ноябре 1948 года. «Форма без содержания

пуста», — заявил он, обрушившись на абстрактное и модернистское искусство всех видов. Он высмеивал «художников-формалистов», которым «нравилось изображать из себя революционеров... и вести себя так, будто они носители нового». Особенно крепко досталось Пабло Пикассо, коммунисту и в глазах многих немецких художников герою. Хотя в своих рассуждениях о современном искусстве Дымшиц не использовал слово «дегенеративный», применяемый им эпитет «декадентский» был весьма близок по смыслу. Немецкие интеллектуалы и художники незамедлительно откликнулись на эту критику. Одни отнеслись к ней с одобрением, другие были возмущены ею. Сандберг, например, энергично выступил в защиту Пикассо. В большинстве своем, однако, деятели культуры были изумлены: мастера левых взглядов не ожидали, что «прогрессивный» Советский Союз поддержит «консервативное» искусство.

Некоторые из них знали, что подобные дебаты уже имели место в Советском Союзе в 1920-е и 1930-е годы, когда деятельность поэтов-экспериментаторов и архитекторов-конструктивистов ограничивалась в угоду творцам, к которым благоволил режим. И уже всем без исключения было известно, что собственная версия «дискуссии о формализме» разворачивалась в веймарской Германии, когда театральный мир раскололся на традиционалистов, поддерживавших классические подходы в духе Лессинга и Гёте, и радикалов типа Брехта, отстаивавших принципы авангардизма²⁰. Художники тогда тоже жестко делились на тех, кто приписывал изящным искусствам социальную или политическую роль, и на тех, кто верил в «искусство для искусства».

Но в новой дискуссии о формализме, выплывшейся во множество глубокомысленных эссе, неудобочитаемых книг и бесконечных комитетских заседаний, был один аспект, который отсутствовал в прежние времена. Поскольку «формализм» можно было трактовать как политически, так и эстетически, его определение оказывалось очень скользким делом. Действительно, едва ли кто-то точно представлял себе, как именно должно было выглядеть политически корректное искусство социалистического реализма.

Легко было осуждать художников, ставивших красоту выше политики, или увлекавшихся абстрактной живописью, атональной музыкой и экспериментальным стихосложением. С такой же легкостью можно было задавать сюжеты и темы нового искусства. Так, в ходе одного из конкурсов живописи, проходивших в Польше в 1950 году, мастерам предлагалось создать работы, раскрывающие такие темы, как «технология и организация забоя скота», «рационализация и механизация в работе индустриальных свиноферм», «выведение новых пород быков и свиней в Малопольском воеводстве»²¹.

А вот иные суждения выносить было сложнее даже для завязтых приверженцев метода соцреализма. Должен ли портрет рабочего быть сугубо реалистичным или в нем допустимо присутствие вымысла? Если слова песни «прогрессивны», то имеет ли значение мелодия? Может ли нерифмованное стихотворение отражать позитивные социалистические установки или же коммунистическая поэзия требует определенной формы? На практике такие вопросы решались не критиками или художниками, а чиновниками от культуры, чьи суждения зачастую мотивировались политическими или личными соображениями. Польский историк искусства утверждает, что первейшее значение имела личная установка художника: если он соглашался оставить всякие притязания на индивидуальную манеру и отражал на холстах правильную тональность, каким названием ни определялась бы подобающая на сегодня манера, то он был преуспевающим социалистическим реалистом²². Следовательно, проявлявшему достаточную гибкость и почтительно относящемуся к режиму мастеру позволялось безнаказанно применять самые дикие сочетания красок, а склонному к сотрудничеству поэту разрешалось использовать диковинные фигуры речи. Но зато произведения деятелей, заподозренных в политической неблагодарности, могли запрещаться по тем же самым основаниям²³.

На практике чиновники от культуры использовали зыбкость определения «хорошего» социалистического реализма, чтобы держать художников и интеллектуалов в узде. Например, после того как опера «Осуждение Лукулла» (музыка Пауля Дессау, либ-

ретто Бертольда Брехта) в 1951 году была представлена узкой группе лиц, ее отправили на переделку. Как показалось некоторым критикам, музыка содержала «все элементы формализма, отличаясь преобладанием деструктивного диссонанса и механического шума ударных инструментов». Вероятно, коммунистическую партию больше встревожила не столько нетрадиционная музыка (девять видов ударных и никаких струнных инструментов), сколько антивоенный пафос оперы — корейский конфликт тогда только начинался. Брехт написал Вильгельму Пику, пообещав добавить три арии, «позитивные по содержанию», и в конце концов «Осуждение Лукулла» вновь выпустили на сцену в октябре того же года — правда, лишь на один вечер. Изменения, внесенные авторами, были очень незначительными: главной причиной задержки, по-видимому, было желание убедить Брехта и Дессау в том, что именно партия — а не деятели культуры — имела в подобных вопросах решающее слово²⁴.

Другим мастерам тоже пришлось пострадать от переменчивости социалистической изобразительной манеры. В 1948 году Хорст Штремпель украсил новую станцию метро «Фридрихштрассе» настенной фреской под названием «Уберем обломки, восстановим город!». Абстрактную и метафоричную работу поначалу оценили очень высоко, увидев в ней «многоцветную симфонию возрождения». Но после выхода статьи Дымшица Штремпель публично выразил недовольство советскими нападками на «формализм». В ответ партийные критики уличили работу в «отсутствии ясности», а газета *Tägliche Rundschau* назвала ее «бессмысленным произведением». В феврале 1951 года, как раз в то время, когда Лингнер начал разрабатывать дизайн своей грандиозной берлинской росписи, фреску Штремпеля закрасили, и она была утрачена навсегда²⁵.

В творческую деятельность постоянно вмешивались и администраторы от культуры, тем более что теперь у них появилась такая возможность. В Германии, как и повсюду в Восточной Европе, главное артистическое объединение — Ассоциация изящных искусств — в 1940-е годы перестало быть самоуправляющейся организацией. К 1950 году она превратилась в цент-

рализованную бюрократическую систему с регистрацией членства. Чтобы покупать краски и кисти, художнику нужно было получить индивидуальный номер, присваиваемый ассоциацией, а также членскую карту, подтверждающую этот номер. Иными словами, каждому, кто хотел рисовать, приходилось поддерживать хотя бы минимальный уровень конформизма, который позволял оставаться членом ассоциации²⁶. Мастера, не состоявшие в союзе, вообще не считались художниками.

Похожая ситуация сложилась и в Польше, где довоенный Союз деятелей изящных искусств, восстановленный в Люблине в 1944 году, с тех пор был неразрывно связан с коммунистической партией. Свои задачи союз видел не только в «контроле над художественным творчеством и его оценке», но и в организации выставок, курсов и даже, в раннюю пору, в жилищном обустройстве художников. Надзор за творческими людьми осуществлялся также через художественные школы и академии. Так, на протяжении 1950–1951 годов руководство отделения живописи Академии изящных искусств регулярно жаловалось на плохие материальные условия, в которых учатся студенты, а также на недостаточное обеспечение соответствующими материалами для работы. Они также постоянно занимались поиском студентов-добровольцев, готовых выполнять политические поручения: оформлять экспозиции, посвященные Сталину, или украшать залы для праздничных партийных мероприятий. Поскольку подобная работа хорошо оплачивалась, многим малоимущим студентам такое «волонтерство» казалось весьма привлекательным²⁷.

Как и его немецкий аналог, польский художественный союз, наряду с партийными и государственными органами, а также, время от времени, промышленными предприятиями, выступал одним из основных заказчиков и покупателей произведений искусства. Частные галереи к тому времени исчезли почти полностью — вместе с остатками частного сектора. В документе польского министерства культуры, датированном 1945 годом, без обиняков говорится о том, что «из-за изменения структуры экономики государственные и местные органы власти должны

принять на себя роль клиентов, приобретающих предметы искусства». Если художники желали продавать свои работы, им нужно было оставаться на хорошем счету в союзе. К 1947 году союз имел примерно 2 тысячи членов по всей стране, а также многочисленные отделения за пределами Варшавы. Одним из них был, в частности, филиал в Ченстохове, с гордостью докладывавший в столицу, что его члены постоянно рисуют «плакаты и портреты» по заказам местных властей и украшают официальные мероприятия, партийные лекции и первомайские демонстрации²⁸. Впрочем, столь похвальное единодушие царило не во всех филиалах: за влияние в отделении, находящемся в Кракове, соперничали между собой традиционалисты, «колористы», реалисты и молодые авангардисты²⁹.

В этой работе применялись и кнут, и пряник. Художники, подобные Отто Нагелю, который очень долго оставался в Германии в немилости — он даже был отправлен в концлагерь Заксенхаузен, теперь впервые в жизни были обласканы государством, готовым решить все их проблемы. В 1950 году президент Немецкой академии художеств выписал Нагелю промтоварные карточки на пару ботинок, ткань для приличного костюма и материал для пальто. После зачисления в состав академии Нагель получил персональное письмо от Пика: «Как сын берлинских рабочих, вы накрепко связаны с немецким пролетариатом», а его участие в оформлении Берлинского фестиваля молодежи было отмечено личной благодарностью Хонеккера³⁰.

Несомненно, Лингнер хорошо знал и об опале Штремпеля, и о восхождении Нагеля. Ему известно было и о том, что членство в союзе художников еще надо оправдать. Ведь он более двадцати лет провел за границей, был связан с французской, а не с советской коммунистической партией, а в какой-то момент напрямую обвинялся в «формализме». В 1950 году в письме руководству немецких профсоюзов он извинялся за «трудности», возникшие из-за подготовленных им декораций первомайского парада: 1 мая была плохая погода, и цвета агитационных материалов поблекли. Он ощущал необходимость подтвердить и свою политическую лояльность. На протяжении двух десятиле-

тий, заявлял он, «мой карандаш и моя кисть служили прогрессивному пролетариату Франции». Теперь, разумеется, это повторится в Германии: «Будьте уверены, что и вы лично, и берлинский рабочий класс, и весь немецкий пролетариат всегда могут рассчитывать на меня»³¹. Его извинения были приняты, Лингнер получил заказ на изготовление грандиозной фрески для Дома правительства, правда при условии, что его наставником в этом деле выступит сам Отто Гротеволь, тогдашний премьер-министр Восточной Германии.

Мир официального искусства воспринял эти договоренности с энтузиазмом. В брошюре, опубликованной в то время, один из искусствоведов разъяснял, что с партнерством Гротеволья и Лингнера связи партии с деятелями искусства «выйдут на новый уровень, соответствующий обновившимся отношениям между Искусством и Народом»³². В дальнейшем, заявлял критик, художники перестанут творить только для себя, своих друзей или богатых заказчиков. Теперь они станут рисовать для партии и под партийной опекой.

На деле это означало, что Гротеволь критиковал каждый набросок фрески Лингнера, заставляя его добавлять и убирать фигуры, изменять цвета и акцентировать те или иные детали. Ознакомившись с первыми эскизами, он заявил, что «художник не понял ключевого значения промышленности для развития социализма», поскольку «тяжелая индустрия не представлена в работе как предпосылка будущих успехов». Он также возражал против размещения в центре композиции фигуры интеллигента, а не рабочего: «Инициатором и опорой этого союза выступает именно рабочий класс»³³. Комментарии премьер-министра по поводу второго эскиза касались эстетической стороны дела: ему казалось, что цвета недостаточно сбалансированы, а некоторые фигуры слишком статичны. Как полагал Гротеволь, они не отображали величия совершаемого немецким обществом марша в будущее: зрители, воспринимающие картину, углубятся в детали, упустив смысл полотна как целого³⁴.

Лингнер принял все эти комментарии как руководство к действию, изготовив еще несколько набросков. Некоторые из них

были продемонстрированы «ученым, женщинам и пионерам», а также парламентариям и другим политикам, которым позволялось высказаться по данному поводу. По ходу дела Лингнер сам переживал психологическую трансформацию. Ему пришлось освоить навыки заискивания перед политическими критиками. Работая над проектом, он написал эссе, полное самобичевания. Его упрекали в том, жаловался художник, что он «утратил контакт с реальностью ГДР и, следовательно, изображал только схемы и шаблоны». Но теперь он сменит тактику: «Изучив собственные работы, созданные по возвращении в Германию, я пришел к выводу, что эти упреки вполне правомерны. Я страдал от интеллектуальной лени, от неспособности вжиться в среду, которая сделалась мне чужой после двадцати четырех лет отсутствия, от желания почивать на старых лаврах. ...Но теперь я намерен решительно преодолеть эти недостатки; надеюсь, что очень скоро смогу представить окончательный эскиз для фрески, созданный за месяцы сотрудничества с главой правительства»³⁵.

Побудительными мотивами этой исповеди не были ни прямое насилие, ни страх ареста: Лингнер *действительно хотел* стать конформистом. Впервые за многие десятилетия он получал заказы и пользовался признанием в собственной стране. Он не был больше изгнанником, более того, дома его тепло пригласили. Кроме того, в какой-то мере ему казалось, что партия на самом деле лучше разбирается в живописи, чем он сам: ведь если комментарии Гротеволла ему непонятны, то, вероятно, он недостаточно просвещен³⁶.

Фреска была торжественно открыта 3 января 1953 года, в день рождения Пика — к всеобщему одобрению, которое, впрочем, быстро угасло. Избыточно пропагандистский и политизированный характер этой работы обусловил ее скандальную репутацию. В каталоге работ Лингнера, опубликованном в последние годы существования Германской Демократической Республики, искусствоведческий истеблишмент постарался отстраниться от этого произведения: «Возможно, недостатки работы были обусловлены малым временем, отведенным художнику, ее грандиозными масштабами или же тем обстоятельством, что пере-

нос изображения на плитку мог осуществляться только сторонними лицами. Не исключено также, что для 25-метрового изображения просто подобрали неподходящее место». Как бы то ни было, критик заключал: «Итог работы не удовлетворил никого»³⁷. Лингнер умер в 1959 году, а его фреска по-прежнему жива. Говорят, что в последние годы жизни он старался обходить свою работу стороной, чтобы не видеть ее.

«Массы были оторваны не только от прекрасных сторон повседневной жизни, но от такой великой радости, как развитие собственных художественных дарований». Во вступлении к своей книге «Народное творчество в современном дизайне», изданной в 1954 году, директор польского Института промышленного дизайна Ванда Теляковская рисовала мрачную картину довоенной Польши. 1920—1930-е годы были, по ее утверждению, «типичной капиталистической эпохой». Богатые подтверждали свое благосостояние, демонстрируя многочисленные предметы роскоши. Те, кому не хватало средств, вынуждены были довольствоваться дешевыми и жалкими подражаниями. Предприятия, преимущественно принадлежавшие зарубежному капиталу, «ориентировались на иностранный дизайн, разумеется, третьесортный, поскольку лучшие образцы дизайна сохранялись иностранцами для собственных надобностей, в результате чего массовая продукция была безобразной и, самое главное, несовместимой с нашей культурой»³⁸.

В начале своей карьеры Теляковская не пользовалась языком ортодоксального марксизма. Поработав в разное время преподавателем искусствоведения, дизайнером, художественным критиком и музейным хранителем, она получила наибольшую известность в связи с деятельностью польского художественного объединения *•ad*. Знатоки истории народного искусства знают, что эта группа была близка к британскому движению «Искусства и ремесла». Ее члены проходили обучение у народных ремесленников, которые все еще процветали в сельских областях северо-восточной Польши, используя их наработки в качестве основы для новой и «аутентично польской» народной росписи. Мастера,

связанные с группой, были убеждены, что «современное» отнюдь не тождественно «модернистскому» или «футуристическому». В машинную эпоху упрощению поддается далеко не все: народный стиль мебели, текстиля, стекла, керамики, по их мнению, можно было усовершенствовать и даже взять за образец для промышленного производства.

Теляковская не была коммунисткой ни по настроению, ни по воспитанию. Хотя многие левые художники той эпохи, включая дизайнеров немецкого объединения *Bauhaus*, говорили о революционной необходимости уничтожить прошлое и начать все с чистого листа, Теляковская придерживалась чуждой коммунистам идеи, согласно которой вдохновение следует черпать из истории. Но одновременно ей хотелось, чтобы *•ad* продолжил работу и после войны, и поэтому она присоединилась к новому коммунистическому правительству. Довольно быстро она поняла, что ее проект, ставивший крестьянское и народное искусство выше скользкого модернизма городских интеллектуалов, отчасти соответствовал некоторым целям коммунистической партии³⁹. Как отмечал один работник культуры, для польского рабочего народное искусство более притягательно: «Наш рабочий класс тесно связан с деревней и более тяготеет к народному творчеству, а не к культуре интеллектуальных салонов». К концу 1940-х годов продвижение крестьянского искусства, которым занималась Теляковская, оказалось также в русле атаки на «формализм», развернувшейся одновременно в Польше и Германии. По словам одного марксистского критика, «в отличие от искусства, производимого для дворянства и королевского двора, которое все более отрывалось от национальной почвы, незамутненная культура деревни могла сопротивляться космополитическим тенденциям и успешно защищать себя от закоснелого формализма»⁴⁰.

Рассуждая на польский манер, Теляковская вполне была «позитивисткой», что на английском вполне могло сойти за прагматизм. Она воспринимала коммунистический режим как неизбежность и была готова работать с ним — даже внутри его, чтобы достичь целей, которые, как ей казалось, были в интере-

сах нации. Весной 1945 года она начала трудиться в обновленном министерстве культуры, не обращая внимания на то, что Временное правительство Польши было коммунистическим. В 1946 году она создала ведомство, получившее удивительное название — Бюро эстетического надзора за производством (*Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji*). Под его эгидой она провела ревизию всех представителей и групп народного творчества страны, убеждая мастеров из объединения *•ad* и Варшавской школы изящных искусств подключиться к ее самому амбициозному проекту — разработке нового «национального» дизайна, который польские предприятия могли бы запустить в массовое производство. Обосновывая свое устремление перед начальством, она использовала экономические аргументы. Усовершенствованный дизайн мог бы сделать польские товары привлекательнее: «Красота и изящество повышают ценность таких изделий, как мебель, ткани, книги, одежда. ...Французские, австрийские и немецкие изделия доминируют на мировом рынке только благодаря своей художественной форме, а не из-за качества материалов»⁴¹.

Поначалу художественное сообщество восприняло новую инициативу с подозрением. Опасаясь, что этот проект может обернуться административным давлением на живопись и скульптуру, художественные союзы начали отстаивать ценность «чистого» искусства в противоположность искусству «полезному». Еще более важно, что многие деятели культуры просто не хотели сотрудничать с польскими коммунистами, которые в 1946 году приступили к разгрому Армии крайовой. Но Теляковская, однако, смогла заручиться основательной поддержкой, опираясь на личные связи, оказывая кому-то материальную помощь и благодаря пылкой приверженности своему делу. Польский художник Богдан Урбанович так вспоминает о своей встрече с ней, состоявшейся в августе 1945 года после его возвращения из немецкого лагеря для военнопленных: «Я вернулся в Польшу, полный тревог и опасений, не имея никаких документов. Миновав границу в Щецине, я направился в Варшаву. В дороге мимо нас проезжали советские грузовики, украшенные

знаменами и транспарантами: стада скота перевозили на восток. ...И вот наконец Варшава. Я потерялся в лабиринтах бывших улиц. Через Вислу был перекинут временный мост. В огромном здании в районе Прага, бывшей штаб-квартире государственных железных дорог, теперь располагалось министерство культуры. Темная лестница вела к дверям департамента изящных искусств. Большая комната, полная людей, шумная и прокуренная. ...И вдруг меня кто-то обнял. Я оглянулся и обнаружил себя в объятиях Ванды»⁴².

Теляковская полезла в ящик стола, вытащила 2 тысячи злотых и вручила их Урбановичу — «без всякой расписки». Она также нашла место, где он мог остановиться, и устроила его вступление в союз художников. На протяжении нескольких лет этот человек, как и многие другие, оставался под ее влиянием и протекцией. Поскольку Урбанович ощущал ответственность за «восстановление нашей разрушенной культуры», он тоже поступил на работу в министерство⁴³. Теляковская не имела тех возможностей, которыми располагал Бехер в Восточном Берлине, — послевоенная Польша мало что могла предложить возвращающимся эмигрантам. Но, в отличие от Бехера, ей не приходилось конкурировать с другой, некоммунистической, Германией, ибо альтернативой коммунистической Польше выступало изгнание. Она звала людей в свое министерство, вызывая к их патриотизму и убеждая, что их приход важен для восстановления Польши, причем независимо от того, кто в данный момент руководит страной.

На сотрудничество согласились многие. Под лозунгом «Красота — на каждый день и для каждого» бюро, которое возглавляла Теляковская, заказало и закупило десятки удивительно оригинальных образцов дизайна для тканей, мебели, посуды, керамики, ювелирных изделий, одежды⁴⁴. Одну группу мастеров она направила на стекольную фабрику, находившуюся в городке Шклярска-Поремба, а другую — на стекольную фабрику в Силезии. Группы должны были наладить контакт с рабочими и управленцами, чтобы разработать новые образчики привлекательного и популярного дизайна, достойного запуска в массовое производство. Одна из групп занималась созданием вида стекла,

украшенного каллиграфией в довоенном стиле. Другая группа использовала для вдохновения более старое антикварное стекло. Теляковская также убедила известного польского скульптора Антония Кенара вернуться в Польшу из парижского изгнания, ради того чтобы организовать мастерскую резьбы по дереву; она отправила команду дизайнеров в Карпаты, где те работали с ткачихами, помогая усовершенствовать дизайн ремесленной продукции. Когда ее бюро организовало конкурс для поощрения крестьян-резчиков изготавливать новые образцы «народных» игрушек, один из художественных критиков восторженно заявил: «На наших глазах зарождается новый подход к производству игрушек, в котором не будет места изготовлению предметов, в 1920-е годы побуждавших польских детей играть в войну»⁴⁵.

В своем энтузиазме Теляковская была далеко не одинока. Настроением, которое в послевоенные годы объединяло поляков самых разных политических убеждений, стало горячее желание восстановить разрушенную страну. Особенно сильным оно было в Варшаве, городе, претерпевшем такие разрушения, что многие даже предлагали навсегда оставить его в руинах — как вечный памятник войне. Писатель Казимеж Брандыс помнит свое ощущение, что «все это не стоит трогать: пусть остается, как есть. ...Мы, любившие этот город, в тот момент готовы были любить и его россыпи кирпичей»⁴⁶. Некоторые считали реконструкцию непрактичной или невозможной. Александр Яковский, в то время молодой офицер, а позже видный историк польского фольклорного искусства, говорил: «Я не верю, что все это можно восстановить в течение моей жизни»⁴⁷.

Тем не менее не успела война закончиться, как бывшие жители города начали очищать его улицы и записываться в ряды добровольных строителей и инженеров. Притяжение Варшавы было столь велико, что как только это сделалось возможным, люди стали самовольно селиться в руинах, обустривая жизнь на развалинах своих бывших домов. Коммунистическое руководство попыталось приобщиться к этому всплеску

энергии и энтузиазма: восстановление Варшавы, полагали коммунисты, поможет им стяжать если не популярность, то хотя бы молчаливое одобрение. В любом случае они готовы были выступить заодно с такими людьми, как Теляковская и Урбанович, которые всеми силами стремились к воссозданию художественного и архитектурного наследия страны, не подписываясь под коммунистическим проектом в целом. В феврале 1945 года Временное правительство учредило Комитет по восстановлению столицы (*Biuro Odbudowy Stolicy*), назначив его руководителем Юзефа Сигалина, архитектора, который провел военные годы в Советском Союзе.

Нового главу тут же завалили советами. Кое-кто хотел вообще убрать оставшиеся развалины, построив на их месте солнечный, современный город из стали и стекла в популярном тогда «международном» стиле. В польской архитектурной школе, в годы войны основанной поляками-эмигрантами в университете Ливерпуля, группа молодых польских архитекторов разработала серию проектов, которые в то время ничуть не уступали разработкам их британских коллег. Ежи Пяткевич, воссоздавая средневековый центр Варшавы — Старый город, намеревался сохранить прежнюю планировку улиц, заменив при этом барочные фасады современными зданиями со сплошным остеклением. Другие предлагали застроить городское пространство бетонными жилыми домами и административными зданиями в стиле, который в Британии был известен как «брутализм»⁴⁸.

Но общественное мнение с самого начала ориентировалось прямо противоположно. Большинство хотело вернуть старую Варшаву, того же желали и многие архитекторы. «Наша ответственность перед будущими поколениями обязывает нас восстановить то, что было разрушено», — так выразил эту точку зрения один из них⁴⁹. Реставраторы, в частности, настаивали на том, что старейшие фрагменты городской среды — средневековые, барочные, ренессансные постройки и здания XVIII века — должны быть восстановлены в первозданном виде, кирпич к кирпичу. Это нужно было для того, чтобы архитектурное наследие страны не исчезло навсегда.

К 1949 году сложилась еще одна, третья позиция. Ни функциональные стеклянные коробки, ни педантичная реконструкция не вписывались в советскую культуру социалистического реализма. Кроме того, ни один из прежних вариантов не удовлетворял маниакальное стремление польских коммунистов перевоспитывать своих сограждан и не отражал их убежденности в детерминизме среды. Ведь если люди формируются внешним окружением, в котором живут, то на варшавских архитекторов ложится ответственность по сотворению новой реальности, созданию пространств, в которых предстояло жить новому человеку — *Homo Sovieticus*. В выступлении 1949 года, посвященном восстановлению Варшавы, Болеслав Берут говорил: «Новая Варшава не может стать копией старой, она не должна заново воспроизводить, пусть даже в слегка измененном виде, ту мешанину капиталистических и классовых интересов, которую являл город перед войной. ...Новой Варшаве предстоит стать столицей социалистического государства»⁵⁰. В ту эпоху существовал лишь один город, который определялся подобным образом. По этой причине официальный план восстановления Варшавы, принятый в 1949 году, содержал прямые и раболепные заимствования из московской архитектуры.

В период «разгула сталинизма» советская архитектура была призвана впечатлять и утрашать. Учреждения, монументы, жилые дома Москвы выглядели массивными, тяжелыми и декорированными. Улицы были впечатляюще широкими, но при этом пересекать их было нелегко. Площади тоже были просторными и ровными, идеально приспособленными для массовых демонстраций, хотя созерцание их вселяло уныние. Расстояния между зданиями были большими, и пешеходам приходилось надеяться на общественный транспорт. Поскольку городскому дизайну полагалось быть «понятным» для рабочих, главных обитателей социалистического города, архитекторы щедро украшали фасады хорошо знакомыми элементами, заимствованными из классического наследия: колоннами, балконами, арками⁵¹.

Иными словами, для Варшавы, города, который приспособлялся под нужды пешеходов и конных экипажей в ту эпоху, когда

автомобилей еще не было, и план которого выстраивался вокруг церквей и торговых улиц, советский городской дизайн совсем не подходил. Здешние площади и парки предназначались для проведения досуга, а не для массовых демонстраций, и покрывались травой, а не асфальтом. Тем не менее восстановительные проекты, предложенные столице в 1949 году, были типичными порождениями социалистического реализма, присущего эпохе «разгула сталинизма»: среди прочего можно упомянуть министерство сельского хозяйства с украшающими его двумя рядами колонн, спроектированные для Первомайских парадов широкие бульвары, декоративные фонарные столбы на массивных бетонных опорах, фундаментальные балконы⁵². И хотя все эти проекты сохраняли какую-то связь с польской архитектурной традицией, обязательное следование «примеру Советского Союза», как пишет историк искусства, «для архитекторов было не просто рекомендацией: оно буквально выжималось из них, а противиться этому давлению было столь же сложно, как и мириться потом с его последствиями»⁵³. К моменту, когда развернулось строительство, вся городская земля уже принадлежала государству, все городские архитекторы были наняты городским комитетом, а выходившие в стране архитектурные издания — как в Чехословакии, Венгрии и Восточной Германии — принадлежали государству и регулярно печатали статьи и приложения по советской архитектуре. В 1946–1947 годах государственные издательства даже выпустили антологию «Советская архитектура», в которой восхвалялись советские архитектурные достижения, а также критиковалось культурное инакомыслие. К 1949 году никого уже не нужно было убеждать в том, что именно партии принадлежит последнее слово во всех основных строительных проектах в Варшаве, хотя в то же время никого не приходилось и принуждать работать над ними.

В этом смысле польские архитекторы напоминали немецких художников, никого из которых не заставляли изготавливать дикие пропагандистские работы под дулом пистолета. Подобно немцу Макс Лингнеру, кое-кто из них даже сумел убедить себя в преимуществах советской архитектуры. В 1948 году

Юзеф Сигалин отправился в Москву встретиться с Эдмундом Гольдзамтом, польским архитектором, в годы нацистской оккупации нашедшим убежище в Советском Союзе, изучавшим в Москве архитектуру и теперь, казалось, собиравшимся остаться там навсегда. В памятном диалоге, который продолжался всю ночь, Гольдзамт разъяснил Сигалину теорию сталинского социалистического реализма в архитектуре. «Мы тоже нуждаемся в этом», — отреагировал Сигалин, убедив своего собеседника вернуться в Варшаву в качестве консультанта⁵⁴.

Ни тогда, ни позже Гольдзамт отнюдь не был советским лакеем. Как и Теляковская, он разделял принципы британского Движения искусств и ремесел, делая акцент на традиционные образцы искусства. В конце жизни он написал книгу об английском поэте, писателе и художнике Уильяме Моррисе (в ней была глава под названием «Место Морриса в классовой борьбе»)⁵⁵. Но в его трудах, как и в работах его учеников, эти идеи толковались иначе, чем в Бюро эстетического надзора за производством Теляковской или самого Уильяма Морриса. В теории Гольдзамт верил, что здания должны быть «социалистическими по содержанию, но национальными по форме». А на практике, по его мнению, архитекторы должны были навязать «национальные мотивы», то есть «китчевые» подражания народному стилю, массивным структурам советского типа.

Варшавский Дворец культуры и науки, наиболее известный образец архитектуры эпохи сталинизма в Польше, стал тем зданием, в котором теоретические воззрения Гольдзамта отразились наиболее полно. Это строение до сих пор довлеет над Варшавой, занимая непропорционально большое пространство в самом сердце города и лишая центр столицы эстетической цельности. Здание стало подарком Сталина польскому народу — подарком, от которого, вероятно, нельзя было отказаться. По свидетельству Якуба Бермана, обязанности которого сочетали заботу о культуре с курированием спецслужб, польский министр экономики Хилари Минц предлагал построить это место жилыми домами, но Сталину хотелось разместить здесь «дворец, который было бы видно из любой точки города»⁵⁶. Многим коммунистам вид этого

небоскреба был не по душе (позже Берман признавал, что его создатели «не слишком старались»), но Берут восхищался им или по крайней мере делал вид, будто восхищается.

Дворец культуры и науки оказался дорогим подарком: хотя Советский Союз возместил стоимость строительных материалов, полякам пришлось оплачивать советскую рабочую силу, для которой выстроили совершенно новый микрорайон с кинотеатром и плавательным бассейном. Польское правительство брало на себя и ответственность за расчистку площадки в центре города, причем в ходе этих работ сносились жилые дома, а также нарушалась традиционная планировка улиц.

Дворец проектировался советскими архитекторами и возводился при участии советских строителей и использовании советской техники и материалов. Но поскольку ему предстояло быть «социалистическим по содержанию и национальным по форме», группа советских архитекторов во главе с Львом Рудневым отправилась в рабочую поездку по стране. Они посетили старинные города, среди которых были Краков, Замощь и Казимиш, всюду делая зарисовки барочных и ренессансных мотивов. Кроме того, их консультировали Юзеф Сигалин и другие польские специалисты⁵⁷.

Результатом всех этих усилий стало довольно причудливое творение. Издалека Дворец культуры и науки выглядит как точная копия одной из сталинских высоток, разбросанных по Москве; его украшает высокий шпиль, а в четырех его корпусах расположились театры, гимнастические залы, плавательный бассейн, выставочные павильоны. Если присмотреться поближе, то в убранстве можно заметить и «польские» элементы. Верхняя часть стен украшена декоративными элементами ренессансных фасадов, которые советские специалисты видели во время своей поездки. Вокруг главного корпуса здания группируются огромные статуи «рабочих» в величественных позах; их метафорическое значение довольно туманно. На протяжении десятилетий дворец оставался единственным варшавским небоскребом, с 1955 по 1957 год он был даже самым высоким зданием в Европе, и сейчас продолжает казаться не слишком

уместным, хотя теперь поблизости появились более высокие и более современные здания. Единственным достоинством этого строения можно считать то, что оно по-прежнему выражает именно те идеи, которые закладывались при его строительстве: это элемент советской культуры, навязанный польской столице, отличающийся ошибочным размером и неправильными пропорциями, сконструированный без учета истории и культуры города.

В польской столице можно найти и другие примеры советской архитектуры. Неподалеку от Дворца культуры и науки был возведен жилой квартал в духе социалистического реализма — *Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa*, или *MDM*, отличающийся монументальными подъездами, колоннами, лестницами и теми же странноватыми скульптурами «рабочих», пристально всматривающихся в пространство. Советские мотивы можно обнаружить и в Муранове, жилом районе, появившемся на месте бывшего варшавского гетто, а также в нескольких других местах.

Но, как хорошо знали коммунисты, план 1949 года был не слишком популярен, или по крайней мере не пользовался всеобщей поддержкой. Одновременно со строительством Дворца культуры и науки варшавский городской комитет взялся за тщательное и детальнейшее восстановление средневекового Старого города и его главной исторической улицы — Новы Свят. Партию эта инициатива явно смущала: Берут сразу же начал настаивать на том, чтобы за старинными фасадами было построено современное и отвечающее всем санитарным требованиям жилье для наиболее достойных представителей рабочего класса⁵⁸. Тем не менее даже с встроенными в проект водопроводом и канализацией реконструированный Старый город оказался невероятно похожим на свой исторический аналог. Один из его бывших обитателей позднее рассказывал: «Дом, в котором я родился, был разрушен до основания... но теперь у меня вновь появилась такая же спальня, как была в детстве, а через окно, как будто бы вернувшееся из прошлого, я видел привычный для меня дом напротив. Даже кронштейн люстры в моей квартире располагался в том же месте, что и раньше»⁵⁹.

Такая реконструкция явно понравилась жителям, и на какое-то время восстановленный Старый город послужил хорошей рекламой режима. Очередной квартал неизменно открывался с большой помпой — разрезались ленточки и поднимались тосты; зачастую событие приурочивалось к годовщине образования Польской объединенной рабочей партии или к какому-нибудь другому коммунистическому празднику. На фотографиях обновленного Старого города, сделанных в 1950-е годы, массы обывателей любят «чудесами реконструкции». Темная, уродливая, обветшавшая часть городской среды теперь сделалась хорошо освещенной, открытой и заполненной туристами.

Но по мере реализации восстановительного проекта странное сочетание воссозданного поляками Старого города и подаренного Советским Союзом Дворца культуры и науки так и не удалось сделать органичным. Не способствовало этому и заполнение пространства между ними дешевыми панельными домами, происходившее в последующие десятилетия. Но в конечном счете план реконструкции Варшавы пал жертвой не эстетических просчетов, а экономической системы сталинского типа. Примечательно, что первоначальные планы составлялись без какого-либо учета затрат. Монументальные и тяжелые строения возводились с трудом; нередко деньги заканчивались еще до завершения фасадов, водружения скульптур и сооружения фонтанов. Огромные залы Дворца культуры и науки расточительно тратили тепло и электричество, поскольку никто и не задумывался об энергосбережении, а из-за высокой стоимости обслуживания внутренние помещения быстро начали приходить в упадок. Реконструкция Старого города тоже не отличалась экономической эффективностью, так как ее осуществление полностью игнорировало острейший дефицит жилья в послевоенной Варшаве. В начале 1950-х годов многие молодые люди все еще жили в примитивных деревянных бараках, и им вовсе не хотелось ждать, пока изысканные планы архитекторов воплотятся в жизнь. Всего за несколько лет весь общественный энтузиазм относительно и сталинских проектов, и исторической

реконструкции полностью иссяк. В своем узком кругу архитекторы признавали, что городскому комитету так и не удалось обеспечить целостность городского пространства. В 1953 году Сигалин говорил группе своих коллег о том, что «форма по-прежнему отстает от содержания». Он так и не добился интеллектуального прорыва в том деле, которым занимался.

Примерно в то же время от социалистической экономики пострадало и Бюро эстетического надзора за производством, которое возглавляла Теляковская. Невзирая на все тщание, с которым они создавались, и во многих случаях вопреки их высочайшему качеству и оригинальности сотни передовых образцов дизайна, произведенных в недрах этого учреждения, так и не смогли превратиться в элегантные потребительские товары. Как выяснилось, у польских предприятий отсутствовали стимулы для производства вещей, радующих потребителя: поскольку в экономике царил тотальный дефицит, на любое, даже самое неказистое изделие всегда находился покупатель. Поскольку цены в стране регулировались, предприятия не могли назначать для вазы, например, созданной коллективом известных художников, цену, которая сильно превышала бы ценовые показатели, установленные для стандартной продукции такого рода. Плата за создание подобных изделий также не выходила за рамки обычного уровня оплаты труда. Заводское руководство — это государственные служащие, получавшие фиксированный оклад, и лишние усилия им были ни к чему⁶⁰.

В конечном счете «дизайн для рабочих» не заинтересовал ни провинциальных бюрократов, ни директоров государственных предприятий. Как тактично пояснял один художественный критик, «руководство министерства промышленности полностью осознает необходимость сделать искусство доступнее, но среди рядовых рабочих этот подход пока еще не пользуется популярностью». Предлагалось также и марксистское объяснение: «При народной демократии анархия в сфере производства вытесняется социалистическим планированием. Однако в области эстетического производства предметов быта анархия, унаследованная от эпохи капитализма, все еще сохраняется»⁶¹.

Если сравнивать с Западной Европой, то польские товары народного потребления, подобно аналогичной продукции из Восточной Германии, Венгрии, Чехословакии и Румынии, сильно уступали им по качеству. Польский экспорт стекла и керамики, традиционно (как и ныне) приносивший стране высокий доход, был мизерным. Чиновники, ответственные за отбор товаров для отправки за рубеж, отнюдь не всегда имели хороший вкус или понятие о качественном дизайне⁶². Массовая продукция стала, пожалуй, даже безобразнее, чем прежде: это объяснялось прежде всего тем, что подавляющее большинство потребительских товаров изготавливалось на поточных линиях максимально быстро и максимально дешево.

Бюро эстетического надзора за производством не преуспело в сохранении традиционной народной культуры. Рынок народных промыслов быстро взяла под контроль государственная компания *Cepelia*, которая получила известность благодаря производству типовых деревянных сувениров. У нее, впрочем, есть свои защитники; среди них и выдающийся исследователь польского народного искусства Александр Яковский, утверждавший, что *Cepelia* помогла крестьянам выжить в самые трудные времена. По его мнению, «насильственная урбанизация сельской местности» разрушала народную культуру; кроме того, запрос на китч шел из городов, от промышленных рабочих, которые и выступали его главными потребителями⁶³.

Теляковская, однако, продолжала свою деятельность. Она основала Институт промышленного дизайна, которым руководила вплоть до выхода на пенсию в 1968 году. Но ее влияние оказалось непродолжительным. Следующее поколение польских художников открестилось от нее как от сталинистки, а потом и вовсе о ней забыло. В целом Теляковская на собственном примере продемонстрировала, что с коммунистическим государством можно работать, даже если ты не коммунист; но при этом ей не удалось доказать, что такое сотрудничество может быть успешным.

К 1950–1951 годам, когда Всеволод Пудовкин нанес два визита в Будапешт, от его былой славы советского режиссера-новатора

почти ничего не осталось. В свое время наряду с Сергеем Эйзенштейном Пудовкин выступил одним из основателей советского экспериментального кино. Известно, в частности, его высказывание, что кинематограф есть новая форма искусства и должен восприниматься именно в таком качестве: кино не является ни зеркалом повседневной жизни, ни прямым изложением событий, присущим традиционному роману. Примитивный реализм настолько претил ему, что на первых порах он даже противился озвучиванию фильмов, утверждая, что при подобном подходе кинофильм уподобится пьесе. Его наиболее известная работа — вышедший в 1926 году фильм «Мать» по роману Максима Горького — представляла собой образчик немого кино, в котором весьма творчески использовалась новая для того времени техника монтажа. Пудовкин стал одним из первых режиссеров, совмещавшим различные ракурсы и планы, чтобы усилить эмоциональное воздействие на зрителей⁶⁴.

К несчастью для Пудовкина, а также для Эйзенштейна и всего советского кинематографического авангарда, Сталин, который любил смотреть фильмы, предпочитал линейную модель повествования. По мере того как могущество Сталина возрастало, популярность Пудовкина снижалась. Сначала его фильмы перестали радовать вождя. Потом их разлюбила советская критика. А затем в них разочаровались и чиновники от культуры, которые не позволили ему продолжать творческую деятельность. В конце концов режиссер отказался от излюбленных теорий, забросил экспериментальный монтаж и начал снимать «реалистические» картины, в которых коммунизм так или иначе торжествовал над своими врагами⁶⁵. Ссылка в Будапешт стала последним пунктом в его увядающей карьере.

В принципе, обучение венгерских режиссеров, которым предстояло заниматься Пудовкину, выглядело нелегкой задачей. Перед войной венгерская киноиндустрия была третьей по величине в Европе и одной из самых технически оснащенных в мире. По технологии и режиссерскому опыту она намного опережала советскую кинопромышленность. Венгерская практика распространения фильмов также была передовой. В довоенный

период в стране действовала сеть из 500 кинотеатров, половина из которых к 1945 году избежала разрушения и продолжала функционировать. В Польше или Германии дело обстояло намного хуже. Хотя антисемитское законодательство 1930-х годов раскололо отрасль и обусловило бегство чрезвычайно талантливой группы венгерских евреев в Голливуд, большая часть оборудования осталась в стране. В Польше, напротив, послевоенную киноиндустрию пришлось оснащать трофейными кинокамерами, вывезенными из Германии.

Пропаганда коммунизма, в отличие от других стран Восточной Европы, не была основополагающей целью восстанавливаемой венгерской киноиндустрии. Летом 1945 года *Hunnia*, одна из самых крупных венгерских киностудий, получила от советских оккупационных властей разрешение на возобновление работы в качестве государственной компании. В ее тщательно выверенном совете директоров присутствовали три коммуниста, два социал-демократа, чиновники из трех министерств, а также представители некоммунистической общественности. Одновременно четыре основные политические партии учредили собственные кинокомпании, между которыми теоретически были поделены и кинотеатры. Впрочем, в этом деле, как и во многих других сферах, коммунистическая партия оказалась «более равной», чем все остальные: вместе с социал-демократами коммунисты контролировали большую часть кинорынка, а также львиную долю финансирования.

Несмотря на столь обнадеживающее начало, дальнейший прогресс киноиндустрии блокировала инфляция: в 1945 году удалось снять только три фильма, а в 1946 году не вышло ни одного. Потом в производство кино начала вмешиваться и политика. Летом 1947 года молодой и талантливый режиссер Иштван Сёч, получивший Гран-при на Венецианском кинофестивале в 1942 году, приступил при поддержке одной из частных компаний к работе над фильмом «Песня кукурузного поля» («*Ének a búzamez kről*»). В основу ленты был положен роман о трагическом отражении Первой мировой войны в судьбе венгерской крестьянской семьи, а одной из сюжетных линий стала

любовная история венгерской девушки и русского военнопленного. Согласно всем оценкам, режиссер сделал очень удачную экранизацию. Но, невзирая на тему венгерско-русской любви, которая, как полагал Сёч, защитит его от цензуры, у фильма возникли проблемы. Цензорам не понравились религиозные сцены, которые, на их взгляд, оказались слишком сильными. Им был не по душе пацифистский посыл, больше не считавшийся политически корректным. Наконец, цензоров насторожил тот факт, что венгерские крестьяне в фильме слишком прочно привязаны к земле: для режима, который планировал продолжение земельной реформы и в конечном счете коллективизацию, это был дурной знак. Сёч был удивлен подобными претензиями, но, внося небольшие поправки, объявил об окончании работы. Зрители, которые первыми увидели его ленту, отзывались о работе восторженно.

Как вспоминает Сёч, похвалы закончились довольно скоро: «Критики напали на фильм уже после того, когда дата и место премьерного показа были назначены. Они заявляли, что это реакционная и религиозная лента, поддерживающая кардинала Миндсенти. ...За десять дней до премьеры фильм запретили без каких-либо объяснений. В конечном счете был устроен закрытый показ в ЦК партии, но приглашенным не удалось досмотреть фильм до конца, поскольку Ракоши, увидев первые сцены, в которых люди молятся за своих детей, находящихся на чужбине, демонстративно встал и вышел из зала. ...Инцидент был исчерпан: фильм запретили»⁶⁶.

«Песня кукурузного поля» так и не появилась на экранах кинотеатров. Похожая судьба постигла и другие ленты, снятые частными компаниями. В 1948 году киноиндустрию полностью национализировали, политически выдержанный совет директоров студии *Hunnia* распустили, а претензии на артистическую свободу оставили вовсе. Следуя сталинскому примеру, новый министр культуры Йозеф Реваи подверг ревизии все стадии производства фильмов, от создания сценария до съемки. Не желая оставлять на волю случая ни одной детали, он незамедлительно обратился к советским товарищам за эстетическими советами.

Прибыв по приглашению министра в Будапешт высокопоставленный московский чиновник, курировавший производство фильмов, заявил: «Прежде всего я посоветовал бы венгерским кинематографистам изучать советское кино. ...Великое искусство родится лишь в том случае, если вы обогатите венгерской большевистской эстетикой то, что заимствовано у нас»⁶⁷. Приглашение в Будапешт получил и Пудовкин. Подобно школе, рабочему месту, публичному пространству, кинотеатр превращался в очаг идеологического образования, и советскому режиссеру предстояло объяснить венграм, как эффективнее обеспечить его функционирование в новом качестве.

Согласно многочисленным свидетельствам, Пудовкин, прибывший в Будапешт в 1950 году, уже был «сломленным человеком». По-видимому, это правда. Его страсть к экспериментированию давно была подавлена. Ему только что вручили Сталинскую премию за «Жуковского» — скучный агиографический фильм, посвященный основателю советской авиации. Он, разумеется, мог бы обучать венгров психологии сервилитета, но вряд ли чему-нибудь еще. Оставленные Пудовкиным записки о венгерском периоде жизни поразительно скупы и схематичны. Если он и был впечатлен архитектурой или материальной культурой Будапешта, который даже после войны выглядел богаче Москвы, то скрыл это. Его отношение к предвоенной венгерской кинематографии также осталось неясным.

Вопреки стереотипным представлениям о том, как должен вести себя настоящий режиссер, никто из венгров не помнил Пудовкина ни флиртующим с венгерскими девушками, ни выпивающим в баре после работы. Презрев подобные увлечения, он в небольшой брошюре, опубликованной в 1952 году на венгерском, подчеркивал важность теории: «Чтобы понимать жизнь, необходимо знать марксизм-ленинизм... не получив политического образования, невозможно снимать кино». Он писал и о необходимости того, что в Голливуде обозначают термином «хеппи-энд»: «Драма должна отражать борьбу и победу народа, идущего по пути социализма». В брошюре подчеркивалось также значение позитивных ролевых моделей: «Создание положительного образа

есть одна из самых важных и волнующих задач из всех, стоящих перед социалистическим художником». Пудовкин критиковал западное кино как «пессимистическое» и превозносил «органический оптимизм» советских фильмов⁶⁸. Режиссер давал иностранные интервью местной прессе; одно из них Сёч, находившийся тогда на положении парии, прочитал с ужасом. По сути, Пудовкин в этом тексте утверждал, что историческому фильму нужно стремиться к идеологической, а не к фактической точности: «Важнейшая задача, по его словам, заключается в том, чтобы события в фильме выстраивались исходя из идеологической логики. То, что не вписывалось в утвержденную схему, предлагалось считать фальшивым “натурализмом”, чем-то отличным от идейно-исторической реальности, жизненно необходимой для этого вида кино. ...Ознакомившись с подобными откровениями, я, несмотря на все мое прежнее уважение к Пудовкину... был рад тому, что мне не довелось с ним встретиться»⁶⁹.

Но влияние, оказываемое Пудовкиным, не ограничивалось лишь рассуждениями о теории. В венгерской киноиндустрии, как, впрочем, и в польской, главная роль в создании фильма принадлежала режиссеру, который от начала и до конца задумывал, готовил и организовывал весь процесс производства нового фильма. В Советском Союзе, напротив, ключевую роль играл сценарист, еще до написания сценария обсуждавший с цензорами каждый аспект картины, включая ее основные темы и ключевые диалоги. Ирония — а возможно, и трагедия — заключается в том, что режиссер Пудовкин, прежде бывший виртуозом визуального, немого образа, перенес советские административные подходы в Венгрию. Ему принадлежит немалая заслуга в том, что в этой стране появилась собственная система, в которой доминировали послушные сценаристы и самоуверенные бюрократы. Уйти от нее не было ни малейшей возможности: с 1948 года каждому, кто желал работать в качестве режиссера, приходилось оканчивать Венгерскую академию театра и кино. До 1959 года специалисты по кинематографии могли предлагать свои услуги только одной студии — *Hunnia*, позднее переименованной в *Mafilm*. В тот период все сценарии и все законченные

фильмы подлежали многоступенчатому одобрению в профильном министерстве.

Находясь в Будапеште, Пудовкин участвовал во многих обсуждениях киносценариев, проходивших в министерстве культуры. В ходе этих разговоров он концентрировал внимание на политических и социальных аспектах киноискусства, а не на визуальных или технических проблемах. Так, он бранил киносценаристов фильма о присоединении крестьян к кооперативному движению за то, что они делали акцент на морали, а не на практических и материальных преимуществах кооперативов: «Это серьезный просчет». По его мнению, нужно было ввести новых героев и предложить новые сюжетные линии, которые подчеркнули бы преимущества коллективного труда. Пусть, например, предлагал Пудовкин, это будет ребенок, удрученный отказом отца вступить в кооператив и опасющийся, что в результате его будущее окажется под угрозой⁷⁰. В другой ситуации Пудовкин раскритиковал фильм за финальную сцену, в которой умирал рабочий: такой конец показался ему недостаточно оптимистичным. В обоих случаях критика мэтра принималась без дискуссии. Записка, посвященная одному из заседаний с участием советской знаменитости, заканчивалась единственной фразой: «Мы принимаем предложения товарища Пудовкина и внесем в фильм предложенные им поправки»⁷¹.

Кроме того, Пудовкин непосредственно работал над несколькими венгерскими картинами. Одним из них стал фильм «Замужество Каталины Киш» (*«Kis Katalin Házassága»*) о работнице Каталине и рабочем Йошке, отношения которых портятся из-за того, что Каталина теряет интерес к труду, учебе и впадает в хандру. Вместо того чтобы помочь девушке, Йошка с головой уходит в работу. Но на помощь молодой героине приходит секретарь заводской парторганизации, который убеждает ее стать ударницей, хорошей студенткой и даже членом партии. В конце концов Йошка осознает, что он сам должен учиться у Каталины. Как пояснял в то время сценарист, «фильм показывает, как партия помогает молодым людям найти свое место в жизни; кроме того, он убеждает, что счастье возможно даже тогда, когда один

из пары работает в заводском цехе, а другой — в конторе»⁷². Исходя из того, что лучшие образцы социалистического киноискусства должны содержать как можно больше назиданий, создатели фильма включили в сценарий эпизод о «вредителе». Соответственно зрителям картины предстояло в очередной раз убедиться в руководящей роли партии, значении социалистического соревнования, необходимости борьбы с реакцией, ценности различных видов труда и важности брака. Как говорил Пудовкин, «кино должно отражать правду жизни»⁷³.

Любому венгерскому режиссеру или сценаристу приходилось действовать исходя из тех же стереотипов. Выбора не было: в случае несогласия оставалось только оставить профессию — и голодать. После злополучного запрета «Песни кукурузного поля» Сёчу предложили место в государственной кинокомпании. «Я не использовал эту возможность, — пишет он, — поскольку был уверен, что никогда не смогу снять фильм по лживому, политическому, пропагандистскому сценарию. ...В итоге мне пришлось выживать самостоятельно, а это было нелегкой задачей, так как я не имел доходов. Я продал квартиру, а потом начал распродавать все, что у меня было: кинокамеру, объективы и прочее. В принципе, на это можно было существовать какое-то время, но власти смотрели на подобную торговлю искоса. Меня могли приравнять к дельцам черного рынка, ибо никаких документов, разрешающих заниматься коммерцией, я не имел. Я боялся даже сидеть в кафе: если бы кто-то захотел проверить у меня документы, пришлось бы признаться в том, что я не работаю, а это означало отправку в лагерь для интернированных лиц»⁷⁴.

Именно в такой атмосфере в 1951 году появился фильм «Странная свадьба» (*«Különös házasság»*), рассказывающий о человеке, которого заставили жениться на девушке, забеременевшей от священника. Этот образчик венгерской классики прекрасно вписался в партийную кампанию по борьбе с «реакционным духовенством». В том же году студия *Mafilm* сняла картину «Подпольная колония» (*«Gyarmat a föld alatt»*) — об американском вредительстве на венгерском нефтеперерабатывающем предприятии. Главный герой, венгерский секретный агент, разо-

блачает саботаж, причем заканчивается фильм замечательно: венгерскую нефтеперерабатывающую промышленность национализируют. Примерно в то же время аналогичные антикапиталистические и антиамериканские темы разрабатывали и кинематографисты Восточной Германии. В качестве примера можно привести картину «Совет богов» («*Der Rat der Götter*»), центральным сюжетом которой был тайный сговор между американскими химическими концернами и немецкой химической компанией *IG Farben*, которая производила газ «Циклон-Б», используемый нацистами для массовых убийств.

И все же жесточайшая система контроля над кинопроизводством, налаженная Пудовкиным в Будапеште, советскими оккупационными властями в Берлине и польскими коммунистами в Варшаве, оказалась недолговечной. На первых порах режиссеры и сценаристы соглашались создавать фильмы в духе социалистического реализма, так как у них не было других вариантов. Но довольно скоро они начали искать обходные пути. В последующие годы восточноевропейские создатели фильмов и пьес ввели в широкий оборот невербальную «шутку» — бессловесно-визуальный политический комментарий, понятный зрителям, но незаметный для цензоров, — превратив его в самостоятельный жанр искусства. Анджей Вайда, один из основателей послевоенного польского кино, пишет: «Мы с самого начала знали, что с диалогами будут проблемы... ведь цензоры обращали внимание прежде всего на слова, ибо идеология воплощается именно в словах. ...Но хотя выразить себя в слове не было никакой возможности, с картинкой дело обстояло иначе. Она ведь может быть двусмысленной. Зрители вполне могут понимать содержащееся в ней послание, и при этом у цензоров не появится никаких оснований для принятия мер»⁷⁵.

Например, в фильме Вайды «Пепел и алмаз» («*Popiół i diament*») есть сцена, в которой два персонажа, сидя в баре, поджигают одну за другой рюмки со спиртным, называя при этом чье-то имя. Никто из них ни слова не говорит о том, что это — поминальные свечи в память о друзьях, погибших во время Варшавского восстания — события, само упоминание о котором

в то время было запрещено. Но зрители сразу же понимали, о чем идет речь. К столь же изощренному использованию метафор со временем перешло и венгерское кино. Вероятно, наиболее показательное это проявилось в фильме Иштвана Сабо «Мефистофель» («*Mephisto*»), современной версии «Фауста». Картина, действие которой происходит в нацистской Германии, рассказывает об актере, который соглашается сотрудничать с национал-социалистами ради карьеры. А публика, сидящая в зале, знала, что эту историю одновременно можно считать и комментарием к недавнему коммунистическому прошлому: ведь актеры в сталинской Венгрии тоже сотрудничали с режимом для того, чтобы преуспеть в продвижении по служебной лестнице.

Намеки и аллюзии сполна использовались и постановщиками пьес, как современных, так и классических. В коммунистической Польше даже Шекспир служил делу актуального политического комментирования. В сюжетной линии «Дания — тюрьма» можно было усмотреть аллюзию на советскую оккупацию Польши. Фраза «прогнило что-то в датском государстве» интерпретировалась в том же духе. Даже раздел владений короля Лира мог трактоваться как метафора расчленения Польши и утраты ею восточных территорий⁷⁶.

Как ни странно, подлинный реализм с его спонтанностью, аутентичными диалогами и натуральными сценами, в которых зрители узнавали собственную жизнь, тоже превращался в оружие, которое можно было осторожно использовать против социалистического реализма, импортируемого из СССР. Этой технике воздали должное в венгерском фильме с непритязательным названием «Государственный универмаг» («*Állami Áruház*»). Хотя ни интрига, ни место действия — все действительно происходило в государственном универмаге — не представляли собой ничего особенного, в фильм включили несколько очаровательных сцен, снятых на Дунае. В них люди ныряли, плескались, брызгались, перемещаясь беспорядочным и неорганизованным образом, почти как в реальной жизни, а не как на постановочном первомайском параде. В другом эпизоде покупатель,

услышав о том, что привезли товар, толпой бросались в магазин, являя картину, хорошо знакомую современникам. При этом в фильме, в отличие от реальной жизни, товар действительно привезли, причем хватило всем покупателям; в реальности же ничего подобного не бывало, и потому вся сцена оказывалась весьма двусмысленной.

В первом фильме Вайды, который назывался «Поколение» (*«Pokolenie»*) и вышел на экраны в 1955 году, тоже использовался этот вид «реализма». Хотя в нем были сцены, которые могли порадовать коммунистических чиновников, он содержал и иные эпизоды, спонтанные и естественные. Несколько молодых актеров, включая и подростка Романа Полански, будучи детьми, помогали Сопротивлению и хорошо помнили оккупацию. В фильме, бегая вверх и вниз по лестницам и прячась в переулках от гестапо, они просто играли самих себя и вели себя так, как это было во время оккупации. Зрители понимали это⁷⁷.

Со временем фильмы, снятые в эпоху сталинизма, стали тяготить их создателей; после смерти Сталина в 1953 году некоторые режиссеры начали отрекаться от своих картин. Та же судьба постигла и другие шедевры «разгула сталинизма» — в живописи, скульптуре, литературе, архитектуре. Польская поэтесса Вислава Шимборская, ставшая лауреатом Нобелевской премии по литературе, предпочитала не вспоминать о своих произведениях сталинской поры и не включать их в позднейшие сборники. Сами названия этих стихов сделались неудобными: «Ленин», «Песнь о созидании социалистического города», «Рабочее слово об империалистах». Была у нее и элегия, посвященная Сталину («Тот день»). Позже, однако, она создавала прекрасные и загадочные стихи на другие темы, а в последующие годы вообще избегала обсуждения той трудной поры⁷⁸.

Но даже после своего заката эпоха сталинизма оставила след в культуре региона. Художники Восточной Германии на протяжении десятилетий продолжали спорить об определениях «реализма». Агнеш Хеллер, одна из наиболее заметных венгерских женщин-философов, большую часть жизни занималась проблемами тоталитаризма. Милан Кундера, чешский писатель-

изгнанник, создавал рассказы о цензуре, тайной жизни и коллаборационизме. Известнейший роман восточногерманской писательницы Кристи Вольф «Размышления о Кристе Т.» представляет собой историю женщины, преодолевающей конформизм⁷⁹. Анджей Вайда возвращался к темам тоталитаризма и сопротивления на протяжении всей своей жизни, будь то в контексте Великой французской революции или Второй мировой войны. По множеству причин — исторических, политических, психологических — творческие люди Восточной Европы в 1949–1953 годах соглашались стать «социалистическими реалистами». Но потом им самим, их современникам, а также приемникам приходилось проводить целые годы в размышлениях о том, почему и как такое могло случиться.

Глава 15

Идеальные города

О, мой литейный цех, отец людей труда,
Кующих сообща тебе почет и честь!
У каждого из нас ты в сердце навсегда,
Мы выросли в тебе, заслуг твоих не счесть...

Моему литейному цеху. Урсула Чижек-Франкевич¹

Я ожидал найти здесь город. Миновал деревню, но за околицей простиралась бескрайняя лужа. На человека с портфелем, чей автомобиль безнадежно застрял в грязи, рабочие смотрели с явным сочувствием. Кругом царил хаос. Люди прибывали сюда целыми толпами, и никто не знал друг друга.

*Йозеф Бондор, партийный функционер,
Из воспоминаний о своем прибытии в Сталинварош²*

Подобно многим фотографиям эпохи, этот явно постановочный снимок должен был воспитывать зрителя. Слева — молодая женщина, волосы перехвачены крестьянским платком, руки за спиной, внимательно слушает. На ней клетчатая рубашка и рабочая спецовка. Справа другая женщина, нога опирается на ступеньку, указующий жест направлен в какую-то точку неподалеку. На ней строгая юбка и блузка, в руках карандаш и листок бумаги, она, как видно, дает руководящие указания. Обе женщины состоят в бригаде, которая трудится на строительстве металлургического комбината в новом городе Сталинварош — городе Сталина. Женщина с карандашом — это София Теван, инженер-архитектор; женщина в спецовке — Юлия Коллар, каменщица.

Коллар приехала в Сталинварош в 1951 году. Крестьянская дочь, она окончила школу после войны в возрасте тринадцати лет и сразу же начала работать: «В то время мы соглашались на любую работу, какую только ни предлагали». Так она оказалась на стройплощадке в Мохаче, неподалеку от югославской грани-

цы, где начиналось возведение огромного сталелитейного комбината. Летом 1949 года здесь открылись специальные курсы для неквалифицированных рабочих, подобных Коллар: их учили смешивать строительный раствор и класть кирпичи. Девушка также вступила в молодежную коммунистическую организацию, называвшуюся в то время Лигой рабочей молодежи (*Dolgozó Ifjúság Szövetsége* „ *DISZ*). Но через несколько месяцев работы в Мохаче внезапно прекратились. Руководство стройки объявило, что строительная площадка будет перенесена на берег Дуная в центральную часть Венгрии — в окрестности деревне Пентеле. Соответственно всем рабочим и прорабам также предложили переехать туда.

Согласившись на переезд, Коллар была направлена на пяти-месячные курсы при министерстве строительства в Будапеште и приехала на новую строительную площадку весной 1951 года. Условия, которые девушка там обнаружила, поначалу шокировали ее. Если в Мохаче она жила в доме с матерью и другой родней, то в новых краях молодые рабочие ютились в палатках и временках: «Спали на нарах, по пять-шесть человек в одной комнате». Испытав разочарование, она уже собралась вернуться домой, но Теван, ее непосредственная начальница, уредила ее остаться.

У Теван было собственное жилье, что в те времена было редкостью. «На объекте имелось общежитие для инженеров, но поскольку все они были мужчинами, мне выделили отдельную комнату в недостроенном здании, — рассказывает она. — Штукатурки на стенах не было, а в комнате было настолько сыро, что спать приходилось в одежде, которая к утру промокала насквозь». Но здесь были и явные плюсы: водопровод, канализация и маленькая кухня, а кроме того, Теван жила одна. Хотя она не призналась в этом Коллар, ее жених тогда был в тюрьме, попав туда с десятками других людей, которых арестовали после завершения суда над Райком. Она пригласила Коллар к себе, и две женщины жили вместе до тех пор, пока Коллар через год не вышла замуж.

Эти месяцы кажутся Коллар самым счастливым временем в ее жизни. Когда мы встретились в 2009 году, она с глубочайшей

ностальгией вспоминала свои первые годы на стройплощадке сталелитейного завода. Как и Теван, девушка сразу же присоединилась к первой полностью женской строительной бригаде Сталинвароша, что считалось большой честью. С помпой приступив к работе 8 Марта, в Международный женский день, бригада трудилась с переменным успехом. Хотя класть настенную и напольную плитку было занятием, вполне подходящим для женщин, заливка бетона, по словам Теван, «давалась тяжелее, в особенности при отсутствии необходимого оборудования... это было физически трудно, хотя энтузиазма у нас хватало». Поскольку за успехами бригады пристально следили средства массовой информации, коллектив не мог позволить себе провал: когда у женщин возникали проблемы со своевременным завершением работ, одна из мужских бригад тайком помогала им выполнить план в срок.

Хотя ее бригада работала с раннего утра до позднего вечера, Коллар активно занималась делами своей ячейки Лиги рабочей молодежи. По ее словам, она «делала добровольную работу, участвовала в общественных кампаниях, распространяла облигации государственного займа “в защиту мира”». Она выступала наставницей новичков, бегала на танцы, помогала ставить пьесы и организовывать концерты: «Людам нужна была общественная жизнь. Ведь мы социальные существа, нуждающиеся в других». Узнав, что Лига рабочей молодежи собирается направить делегацию на международный молодежный фестиваль в Берлине, она зашла к Элеку Хорвату, отвечавшему на заводе за работу с молодежью и возглавлявшему отборочный комитет. Они столкнулись на лестнице (она нашла его поразительно привлекательным молодым человеком), и Коллар попросила включить ее в состав делегации.

Но в этой просьбе ей было отказано. Позже Хорват признался ей, что он не захотел отправлять молодую работницу в Берлин, так как боялся, что она «может встретить там кого-нибудь». Он безоглядно влюбился в девушку, и через несколько месяцев они поженились. Гражданская церемония, происходившая в только что выстроенном бюро регистрации браков, была простой, «без

особых нарядов», а Теван выступила свидетельницей. Невеста опоздала, поскольку наводила порядок в однокомнатной квартирке, которую молодожены днем ранее получили от городских властей. Фотоснимки не делались, потому что не было фотоаппаратов. После бракосочетания гости пошли в ресторан, а утром в понедельник все были на работе³.

В период возведения громадный металлургический комбинат, с которым были связаны ранние этапы жизни и карьеры Коллар, Теван и Хорвата, был крупнейшей и наиболее амбициозной промышленной стройкой в Венгрии. Все детали и нюансы этого проекта были предельно политизированными и с самого начала формировались под влиянием советских рекомендаций и при непосредственном советском участии. Проект был задуман на встрече между венгерскими и советскими чиновниками, состоявшейся в Москве в 1949 году. Расположение будущего предприятия также определялось совместно: Мохач первоначально выбрали из-за удобства транспортной схемы и качества тамошнего грунта, но после ссоры СССР с Югославией место строительства оказалось в опасной близости от границы. Как заявил Матьяш Ракоши на заседании венгерского политбюро партии в декабре 1949 года, новая площадка на берегу Дуная была в некоторых отношениях менее приспособленной, а песчаный грунт затруднял строительные работы, но тем не менее она была ближе к Будапешту и дальше от Тито.

Как только место было определено, реализация проекта пошла стахановскими темпами: строительство начали еще до завершения всех этапов планирования. На первых порах до возведения жилья не доходили руки, и поэтому рабочие, подобно Коллар, жили в палатках и примитивных бараках. Штукатурить стены новых квартир тоже было некогда. Чтобы строительство не останавливалось и в выходные дни, на стройку в порядке «воскресной помощи» доставляли рабочих с близлежащих коллективных ферм. С наступлением темноты работа ночной смены продолжалась при прожекторах. Летом на стройку приезжали молодежные отряды со всей страны⁴.

Сталинварош был объектом, уникальным для Венгрии, но не для советского блока в целом. Это был один из нескольких «социалистических городов», которые выросли вокруг крупных сталелитейных предприятий, в совокупности представлявших собой наиболее серьезную попытку коммунистов Восточной Европы форсировать создание по-настоящему тоталитарной цивилизации. Металлургические комбинаты должны были подстегнуть индустриализацию и тем самым способствовать производству вооружений. Огромные стройплощадки были призваны привлечь на заводы крестьянство и, следовательно, увеличить численность рабочего класса. Новым фабричным комплексам, построенным с нуля, предстояло окончательно доказать, что централизованное планирование, упразднившее путы прежних экономических отношений, способно обеспечить более быстрый экономический рост, чем капиталистическая система.

Кроме того, архитектура и дизайн новых городов были призваны способствовать развитию особой разновидности социума, приспособленной к потребностям *Homo Sovieticus*. В этих новых сообществах традиционным организациям и институтам просто не было места, старые обычаи и привычки не мешали прогрессу, а коммунистические организации оказывали огромное влияние на молодежь, так как других организаций не было вообще. Социалистический город, как пишет один немецкий историк, был местом, «свободным от исторического бремени, где рождались на свет новые человеческие существа; город и завод становились лабораториями будущего общества, будущей культуры, будущего образа жизни»⁵.

Новые предприятия и выраставшие вокруг них новые города с самого начала подчинялись коммунистическим задачам. Сталинварош отодвинули от югославской границы по соображениям безопасности, но новый город польских сталелитейщиков Новая Гута намеренно разместили поближе к Кракову, отличавшемуся многолетними аристократическими, историческими и интеллектуальными традициями. Это обуславливалось сугубо идеологическими причинами. «Им хотелось изменить сам характер Кракова, — пояснял Станислав Юхнович, один из первых

архитекторов Новой Гуты. — Они пытались сформировать рабочий класс, который изменил бы город»⁶.

Даже в то время подобный подход казался спорным. Десятки краковских организаций и учреждений протестовали против размещения огромного предприятия в непосредственной близости от старинного города со средневековым университетом, но — безрезультатно. Согласно отчету того времени, советские инженеры, которые помогали выбирать строительную площадку, «были крайне удивлены тем, что предполагаемое строительство сталелитейного завода неподалеку от Кракова вызывает среди городской общественности не энтузиазм, а неприятие и противодействие». Они подозревали, что городские власти просто проявляют нерадение и «боятся тяжелой работы», которую повлечет за собой столь масштабный проект. Протесты были проигнорированы, а решение окончательно утверждено⁷. К 1970-м годам все средневековые здания Кракова почернели от дыма, валящего из труб комбината. Как говорит Юхнович, позже основавший городское экологическое объединение, «в то время наше осознание проблемы оставалось на весьма низком уровне»⁸.

Местоположение первого сталелитейного города Восточной Германии — им стал Айзенхюттенштадт, в 1953 году переименованный в Сталинштадт, — тоже предопределялось политическими соображениями. Немцы ощущали острую потребность в новом предприятии, так как до войны угольная и металлургическая промышленность Германии размещалась в основном в западной части страны. Отборочная комиссия рассматривала несколько мест возможного строительства, включая одно на Балтике, очень удобное в плане ввоза железной руды из Швеции. Этот проект не получил поддержки со стороны Вальтера Ульбрихта; вероятно, окончательное решение стало следствием его разговора со Сталиным, который не хотел, чтобы «его» Германия слишком зависела от Запада. В конечном счете на встрече с экспертами, занимавшимися планированием строительной площадки, Ульбрихт блестяще разрешил вопрос, где именно расположить новый завод. Он достал циркуль и поставил его на карту Германии, которая была развернута на столе. «Посмотрите сюда», —

сказал он, окружив полукругом военные базы США в Баварии. Затем, развернув циркуль, он указал на предполагаемую строительную площадку: «Чтобы долететь до этого места, вражеским самолетам понадобится всего семь минут». Затем, дотянув ножку циркуля до Фюрстенберга, находящегося на восточной границе ГДР, он произнес: «А вот здесь подлетное время составляет около пятнадцати минут». Один из присутствующих заметил, что подобную аргументацию вряд ли можно будет предъявить общественности. «Конечно, нет», — ответил Ульбрихт; основным мотивом размещения сталелитейной индустрии на востоке страны станет, по его словам, легкий доступ к украинской железной руде и польскому углю. «Это будет жест дружбы: именно так мы и представим свое решение»⁹.

Среди прочих преимуществ Фюрстенберга было и то, что в городе оказалось большое число переселенцев, которых можно было бы привлечь на стройку. Поблизости не было большого города, и это тоже считалось плюсом¹⁰. Ульбрихт, подобно польским и венгерским коллегам, был приверженцем идеи абсолютно нового города, «не подверженного пагубному влиянию прежних ценностей»¹¹. Фюрстенберг прежде вообще не имел промышленности и, таким образом, не был обременен старым багажом.

Подобно комбинату в Сталинвароше, сталелитейные заводы в Новой Гуте и Сталинштадте строились по советским проектам, а советские инженеры с самого начала участвовали в их строительстве. И в Венгрии, и в Польше все планы и инструкции, подготовленные советским государственным институтом по проектированию металлургических заводов (Гипромез), приходилось переводить с русского языка. Это стало причиной многочисленных недоразумений; даже в хвалебных официальных отчетах о строительстве в Новой Гуте упоминалось о «языковых трудностях»¹². Из России также приходило промышленное оборудование, большую часть которого приходилось «адаптировать» к польским условиям или даже целиком переделывать¹³. В Германии между тем решение использовать советскую технологию обернулось курьезными последствиями. Оказалось, что план, предложенный Сталин-

штадту, почти полностью идентичен документу, разработанному американскими специалистами для металлургического комбината в уральском Магнитогорске в 1930-е годы. Следовательно, он был не только «капиталистическим» по своему происхождению, но и менее современным, нежели те проекты, которые тогда использовались в западной части страны¹⁴.

Архитектура новых городов была не менее политизированной. Мастера социалистического реализма рассматривали индустриальные проекты как важный эксперимент. Почетные иностранные гости приглашались, чтобы засвидетельствовать их бурное развитие. Рабочие и инженеры Сталинштадта, Новой Гуты и Сталинвароша наносили визиты друг другу. С течением времени для запечатления новой жизни обитателей новых городских пространств начали приглашать художников и писателей. В планировании городской жизни использовались элементы культуры «сталинизма»: культ тяжелой промышленности, культ ударников, эстетика социалистического реализма.

Ставки были высоки: к началу 1950-х годов коммунисты Восточной Европы отчаянно хотели доказать, что их провальные экономические и политические теории способны работать. Многие верили, что эта последняя сверхчеловеческая попытка улучшить материальное благосостояние рабочих и создать «новых людей» обеспечит наконец коммунистам ту легитимность, в которой они отчаянно нуждались.

На что должен быть походить «социалистический» город? Этого опять же никто не знал. Пытаясь найти ответ на этот вопрос, в 1950 году небольшая группа архитекторов из Восточной Германии объехала Москву, Киев, Ленинград и Сталинград. Они спускались в московское метро, ходили смотреть на Первомайскую демонстрацию на Красной площади и даже, как рассказывалось позднее, мельком видели Сталина: «Мы стояли около мавзолея, там, где ступени вели к трибуне, и он, минуя нас, поднялся вверх. ...Взрыв энтузиазма захлестнул площадь. Мы сожалели о том, что не приняли участие в самой демонстрации, а были только зрителями. ...Величие картины

было неописуемым: флаги, транспаранты, плакаты, настоящее буйство красок...»¹⁵.

Впечатленные этим зрелищем, они впитывали все, что слышали на последовавших затем встречах. Они узнали, что Советский Союз построил более 400 новых городов и что в каждом из них «плановый отдел решает все вопросы, касающиеся расположения объектов городского хозяйства и организации их работы». Они представили коллегам планы восстановления центрального Берлина, который советские архитекторы сочли антиисторическим (учитывая их пренебрежение к немецкой истории, такое суждение можно было посчитать парадоксальным): «Единственное критическое замечание, адресованное немцам напрямую, касалось того, что великие традиции немецкого городского планирования, по их мнению, в современной Германии недостаточно поддерживаются». Новым городам, согласно советским оценкам, нужно будет опираться на всю совокупность местных традиций, от берлинского классицизма до северогерманской готики. Это сделает их более «демократичными».

Кроме того, немцы выяснили, что советские коллеги отстаивают приоритет города над деревней («город воплощает политическую волю и национальное самосознание»), тяжелой промышленности над сельским хозяйством и сферой услуг («города возводятся в основном благодаря промышленности и для промышленности») и многоэтажной застройки над зелеными пригородами («город невозможно превратить в сад»). Фактически пригороды их вообще не интересовали. Особенность города в том, говорили советские архитекторы, что «люди живут в нем городской жизнью, в то время как на окраинах города или за его пределами они ведут сельскую жизнь».

Группа вернулась в Берлин, преисполнившись необычайного рвения, обычно отличающего неофитов. Они проводили бесконечные встречи и конференции, семинары и курсы, на которых делились всем тем, чему их научили. Вальтер Пистонек, один из немецких архитекторов, посетивших Советский Союз, прочитал в мае — ноябре 1950 года семнадцать лекций и опубликовал

более десятка статей. Группа также обнародовала «Шестнадцать принципов социалистического планирования», которые вошли в законодательство ГДР и применялись до 1989 года. Ульбрихт воспринял новые планы с таким воодушевлением, что одобрил возведение в Дрездене сталинской «высотки», подобной Дворцу культуры и науки в Варшаве. К счастью, это здание так и не построили.

И все же, несмотря на всеобщий энтузиазм в отношении архитектуры соцреализма, вопрос о том, как воплощать ее практически, для немецких зодчих оставался таким же туманным, как и для их польских коллег. Так, в Сталинштадте многие архитекторы поначалу строили то, что в чем хорошо разбирались: простые и функциональные конструкции в духе *Bauhaus* — архитектурной традиции, связанной с левыми политическими движениями и уделявшей много внимания «жилью для рабочих». Но когда Ульбрихт в январе 1952 года посетил первые завершенные квартиры, он заявил, что они слишком малы, примитивны и похожи на «некрашенные коробки». В ходе застройки постоянно выдвигались и отвергались все новые и новые идеи¹⁶.

Наконец руководство Восточной Германии определилось с кандидатурой на пост главного архитектора. Карл Лойхт увеличил штат городского отдела архитектуры с 40 до 650 сотрудников, ускорил процесс проектирования и заявил, что в будущем городские постройки должны «воплощать растущее благосостояние социалистического общества» и отражать высокий статус рабочего класса. Началась новая, «монументальная» фаза строительства. Многоквартирные дома связывались друг с другом высокими арками. Дверные проемы украшались колоннами. На фасадах, порой беспорядочно, устанавливались элементы, напоминавшие о классической традиции в немецком искусстве, которая объявлялась самым «прогрессивным» периодом в культурной жизни страны. Сердцем нового города был завод: хотя предприятие отделялось от жилых массивов зеленой зоной, заводские ворота были видны со всех главных улиц — подобно тому как берлинцы могли созерцать Бранденбургские ворота с

самого дальнего конца Унтер ден Линден. До 1981 года в городе не было построено ни одной церкви; вместо этого Лойхт спроектировал городскую ратушу со шпилем.

Строительство Новой Гуты следовало аналогичному принципу. На раннем этапе городским архитекторам хотелось оформить «город будущего» в том стиле, которому они следовали до войны. В Польше в этой роли выступал не стиль *à la Bauhaus*, а скорее пригородная застройка Британии образца 1920–1930-х годов: одноэтажные или двухэтажные здания, окруженные зелеными газонами и деревьями. И хотя это никак не вписывалось в идеалы социалистического реализма, несколько таких проектов удалось завершить. Впрочем, и в Новой Гуте настроение изменилось достаточно быстро: партийные власти раскритиковали эти начинания за недостаток идейности и несоответствие польскому национальному характеру.

В Варшаве с необычайной быстротой и в атмосфере полной секретности был разработан новый план застройки. До официального обнародования эти бумаги не видел никто, а в Краков их доставили под вооруженной охраной¹⁷. Подобно советским архитекторам, которые украсили варшавский Дворец культуры и науки декоративными элементами Ренессанса, архитекторы Новой Гуты тоже решили, что эпохой, когда Польша являлась «наиболее польской», был XVI век. В то время как настоящие краковские постройки XVI века оказывались под угрозой из-за строительства вредного производства, Новую Гуту украсило неоренессансное здание заводоуправления, декорированное изысканным зубчатым фасадом. За образец для местной ратуши взяли здание ратуши ренессансного города Замош, расположенного на юго-востоке Польши, но она так и не была построена. Подобно Сталинштадту, Новая Гута стала первым за многие века польским городом, спроектированным без церкви.

Не менее грандиозные проекты разрабатывались и для венгерского Сталинвароша. Согласно планам, в городе предстояло разместить: общественные столовые, где люди могли бы коллективно питаться вместо того, чтобы готовить дома; ясли и другие дошкольные учреждения, расположенные в пешей доступности;

театры и спортивные залы в пределах досягаемости. Населению требовались также публичные пространства, где оно могло бы собираться, чтобы выразить любовь к режиму. Исходя из этого, городские архитекторы запланировали строительство широкого бульвара — улицы Сталина, — который должен был протянуться от завода к центральной площади и идеально подходил бы для первомайских парадов. Одной из своих сторон площадь была обращена к Дунаю, а в ее центре располагалось колоссальное изваяние Сталина¹⁸.

Убранство новых городов было заботой не только архитекторов. По словам Лойхта, «социалистические города» должны были выступать «зримым выражением экономического и культурного подъема Германской Демократической Республики». Прямо или косвенно они должны были отражать перспективу более высокого уровня благосостояния. Трудящиеся в тот момент могли проживать в примитивных бараках, которые так ужасали Юлию Коллар, но все они были убеждены, что это временные трудности. «С самого начала мы знали и верили в то, что своим трудом заработаем себе квартиру, даже если об этом не говорилось вслух», — вспоминала одна немка¹⁹. Другая в интервью городской газете рассказывала, что ее понимание «социалистического города» предполагает «много света, зелени, воздуха и свободного пространства повсюду»²⁰. В Сталинвароше власти поставили перед собой впечатляющую задачу вводить в строй тысячу новых квартир ежемесячно, не забывая при этом и об обустройстве зеленых парковых зон²¹.

Ожидания и без того были высоки, а власти делали их еще выше. По их мнению, квартир для рабочих должно быть не просто много: они должны быть большими, просторными и оснащенными всем, что требуется для комфортной жизни. После визита Ульбрихта в Сталинштадт в 1952 году руководители городского строительства приняли документ, согласно которому высоту потолков в квартирах следовало увеличить с 2,42 до 2,7 метра; что оконные рамы должны быть улучшенного качества; что жилые дома должны быть одинаковой высоты²². Лойхт заявил, что многоэтажки будут оснащаться центральным отоп-

лением, а будущим жильцам предстоит «сказать свое слово» в строительстве: архитекторы не должны в одиночку решать, сколько пространства получают люди²³.

В том же 1952-м туда приезжал и премьер-министр Отто Гротеволь. Он осмотрел несколько только что сданных квартир и пришел к выводу, что «рабочие не получили надлежащих советов, как меблировать и оборудовать свои новые жилища»²⁴. Сразу же была организована экспозиция «образцовых квартир», на которой людей учили тому, как обустроить выделенное государством жилье. Вся мебель, представленная на выставке, была «фабричного производства» и соответственно считалась более передовой, нежели примитивная мебель, используемая нынешними рабочими в их прежние, крестьянские времена. Конечно, на представленные экспонаты могли рассчитывать только те, кто удостоивался проживания в этих социалистических домах. Поскольку 80 процентов вводимых в строй жилых площадей принадлежало сталелитейному комбинату, квартиры незамедлительно были включены в число стимулов, которыми поощрялись победители «социалистического соревнования» и ударники, готовые выполнять нормы еще быстрее²⁵.

В качественном обновлении нуждались и учреждения торговли. В Новой Гуте огромное внимание уделили дизайну тех магазинов, которые располагались вдоль центрального бульвара. Один из них, ныне входящий в сеть *Cepelia*, и сегодня сохраняет декор 1950-х годов, включая гигантские потолочные светильники, напоминающие ренессансные канделябры, сконструированные человеком, который никогда их не видел. Магазины надлежало наполнить товарами, и в некоторых случаях это даже удавалось сделать. В Сталинвароше многие рабочие, вышедшие из крестьянских семей и имеющие родственников в деревне, включая Коллар, даже посылали продукты своим семьям²⁶. Новая Гута тоже имела репутацию такого места, где товарное снабжение было лучше, чем в близлежащем Кракове.

Удовлетворение материальных запросов жителей Сталинштадта на первых порах шло труднее, так как в Восточной Германии товарный голод был проблемой общенационального масштаба.

В августе 1952 года министр торговли ГДР написал гневное письмо одному из руководителей города: «Во время моего визита на сталелитейный комбинат в субботу, 16 августа, многие рабочие и члены партийной организации говорили мне, что снабжение рабочих семей овощами, фруктами и другими товарами не выдерживает никакой критики. Мне посоветовали побеседовать на эту тему с домохозяйками, приготовившись к серьезным упрекам с их стороны. Торговая улица в новом районе, которую обещали открыть к 1 мая, до сих пор не достроена — якобы из-за разногласий по поводу внутренней отделки магазинов»²⁷. Получив это послание, городские власти срочно организовали специальные «торговые ярмарки», выделив для них среди прочего 740 велосипедов, 5000 ведер, 2400 пар обуви и 10 000 метров ткани для постельного белья.

Наконец, последним по очередности, но не по значимости необходимо упомянуть пункт о том, что в «социалистическом городе», как предполагалось, рабочие будут не только питаться и спать, но и развлекаться так, как в прошлом проводила досуг только буржуазия. Посетивший Сталинварош в 1952 году Золтан Вас — тот самый коммунист, который, прилетев в 1944 году к венгерским партизанам, разбил очки, — на встрече с молодыми инженерами поинтересовался у них, что они делают после работы. Услышав в ответ, что «здесь делать нечего, поэтому обычно после работы мы отправляемся спать», он велел городским властям построить ресторан. Они подчинились²⁸. Во время той же поездки этот партийный идеолог спросил у главы планового отдела, можно ли в городе взять такси. «Но у нас даже дорог нет», — ответили ему²⁹. Юхновича тоже как-то озадачили неожиданным звонком с указанием построить театр³⁰. Он подчинился: Народный театр в Новой Гуте был открыт в 1955 году. В Сталинштадте театр, названный в честь Фридриха Вольфа, отца Маркуса Вольфа, сдали в том же году. Внешне напоминающее греческий храм здание не было подключено к городской системе теплоснабжения и долгое время отапливалось с помощью старого паровозного котла. Но, несмотря на трудности, проекты продолжали реализовываться, один за другим. В Сталинвароше, напри-

мер, желание повысить культурный уровень городских обитателей вылилась в строительство в 1954 году нового отеля *Arany Csillag* («Золотая звезда»). В одной из газет его здание было названо «самым красивым в городе», а ресторан отеля получил статус лучшего городского ресторана. Официантов и поваров пригласили из Будапешта; на открытии глава города торжественно объявил, что в этом заведении общественного питания простые люди будут обслуживаться прежде начальства³¹.

Помимо развлечений для рабочих социалистические города призваны были гарантировать культурный досуг и для остальных граждан. В начале 1950-х годов художники, писатели и режиссеры посещали «города будущего», желая «учиться у рабочих». Советский композитор Дмитрий Шостакович приезжал в Сталинштадт в 1952 году. Режиссер Карл Гасс здесь же через год снимал хвалебный документальный фильм. Хотя работать ему приходилось на примитивном оборудовании, Гасс отобразил строительство доменной печи в мельчайших подробностях³². В свою очередь, немецкий писатель Карл Мундшток опубликовал книгу, в основе которой был его личный опыт проживания в городе. Роман «Белые ночи» («*Helle Nächte*») включает и лиричное описание строительной площадки: «Бревна, строительные леса, завершенные бараки, печки, столы, стулья, кровати, кучи щебенки — вокруг не было пустого места. ...Но вскоре из первозданного хаоса начали проступать ряды бытовок, магазины, склады, образующие какую-то рациональную систему. Потом бульдозеры проложили канал, на долгие десять лет превратившийся в реку, очищавшую город от грязи. А уж затем запели пилы и началось строительство дороги к сердцу комбината — дороги дружбы»³³.

Польский писатель Тадеуш Конвицкий в 1949–1950 годах работал в Новой Гуте, позже использовав собранный там материал для романа «На стройплощадке» («*Przy Budowie*») — возможно, самого слабого своего произведения. В центре сюжета рабочая бригада, которая стремится закончить работы в поставленные сроки, несмотря на противодействие классовых врагов и своих недостаточно сознательных товарищей.

Естественно, в конце им удалось преодолеть все трудности и выполнить план³⁴.

Но писатели и художники черпали на новых строительных площадках не только опыт работы. В некоторых случаях они искали здесь возможность измениться самим, как менялись рабочие под воздействием новой среды. В 1952 году художник Оскар Нерлингер приехал в Сталинштадт, надеясь избавиться от присущих ему пережитков буржуазного формализма. В довоенные годы он был активным авангардистом, а после войны его назначили директором западноберлинской Школы изящных искусств. Его тесные связи с единомышленниками-коммунистами на востоке, резкое неприятие «капитализма» и поддержка разворачиваемой Восточной Германией «борьбы за мир» вскоре стали причиной появления у него множества врагов. Участие в нескольких художественных выставках, проводимых в ГДР, принесло Нерлингеру репутацию «красного профессора», из-за которой он вместе с некоторыми другими людьми лишился работы³⁵. В начале 1950-х годов отсутствие толерантности отличало не только коммунистов.

С большой помпой Нерлингер в 1951 году перебрался с запада на восток — он стал одним из немногих деятелей культуры, сделавших такой выбор, — и присоединился к артистическому истеблишменту ГДР. Несмотря на это, он, по его собственным словам, еще «не утвердился в своей художественной позиции в полной мере». Его жена Алиса Лекс-Нерлингер испытывала трудности с выставлением своих картин на востоке, несмотря на то что, как было написано в ее письме к властям ГДР, она « всю свою жизнь художника посвятила делу мира »³⁶. Сам Нерлингер чувствовал, что пребывание на востоке стало для него «облегчением», но понимание здешней эстетики бывшему абстракционисту давалось с большим трудом. Надеясь избавиться от «пессимизма» и обрести «оптимизм», присущий рабочим, он решил на какое-то время обосноваться в новом «социалистическом городе»³⁷.

Руководство завода в Сталинштадте заказало именитому гостю большую фреску; благодаря этому он сделался сотрудни-

ком сталелитейного предприятия, с такими же «правами и обязанностями, как у любого трудящегося». Решив вникнуть в каждый аспект жизни своих новых коллег, он ходил в гости к рабочим, ужинал с ними в ресторанах, посещал спортивные мероприятия. Днем он «мерз на строительных лесах, томился от жара у доменных печей, вслушивался в грохот машин и агрегатов», надеясь постичь природу «тех удивительных людей, которым своим трудовым подвигом удалось воздвигнуть величественное предприятие на том месте, где раньше шумели леса». Вечерами он штудировал техническую и инженерную литературу. Он пытался рисовать рабочих прямо на производстве, но это было нелегко: «Завод был шумным и опасным местом, а фотокамера не помогала, так как от раскаленного металла шел жар и ослепительный свет»³⁸.

Первые результаты его производственных опытов не понравились тем, кого он пытался запечатлеть. Наброски и зарисовки показались им слишком мрачными и неприглядными — «как в плохой западногерманской компании», и они начали давать художнику советы по их корректировке. Нерлингер прислушался; теперь фабричный цех на его полотнах предстал более светлым и приятным местом. Изображаемые им рабочие выглядели более счастливыми и оптимистичными. По его мнению, было очень важно отразить «гордость» инженеров за свое дело. Рабочие-критики были довольны, а репродукции с картин, для которых они позировали, развешивали в своих квартирах³⁹.

Его стиль действительно изменился: он не без хвастовства заявил об этом на открытии персональной выставки эскизов, набросков и незавершенных работ, открывшейся в ноябре 1952 года и ставшей самой первой художественной экспозицией в Сталинштадте. Чтобы продемонстрировать, насколько далеко он продвинулся, Нерлингер выставил также четыре предвоенных полотна, истолковав их как доказательство того, что «далее так не могло продолжаться». По словам художественного критика, анализировавшего показ, среди этих старых работ были «равнодушное изображение мрачного завода» 1930 года и «меланхолический, темный ландшафт» 1945 года, за которым скрывалась «тра-

гическая ситуация художника, чья политическая неискушенность завела его в творческий тупик». К счастью, «передовой дух восстал против парализующего пессимизма: в пульсирующем ритме огромного комбината давящий страх нарастающего одиночества обернулся утопической мечтой о новой реальности»⁴⁰.

Заводским рабочим эта первая выставка пришлась по душе. «Дорогой коллега Нерлингер, — писал один из них в книге отзывов, — когда я проходил по залам экспозиции, было очень приятно видеть, как вы, с горячим сердцем и творческим рвением, взялись за новые проблемы. ...Надеюсь, что завершённые работы обернутся большим успехом». Другой писал: «Убеждение в том, что в центре всех наших усилий находится человек, не должно оставаться просто фразой — его необходимо выражать и в искусстве». Представители дружественных социалистических стран оставляли восторженные отзывы на польском, венгерском, чешском.

Спустя несколько недель обсуждение выставки состоялось и на самом предприятии. Нерлингер попросил у рабочих «здоровой критики», и некоторые рекомендации были удивительно конкретны. Вот, например, отзыв, подписанный тремя членами профсоюза: «Нам очень нравятся черно-белые рисунки, но акварельные краски дают больше света и естественности». Другой зритель сетовал на то, что на одной из работ он не смог различить лица людей, поскольку их изображение было слишком обобщающим. Представитель Союза свободной немецкой молодежи отнесся к экспозиции с энтузиазмом: «Наверное, это первый случай в нашей истории, когда художник выносит свои произведения на критический суд человека труда, придающий ему мотивацию и силу»⁴¹.

Триумф Нерлингера был столь же полным, как и его психологическая трансформация. Подобно Макс Лингнеру, ему искренне хотелось соответствовать духу времени, и он сознательно пошел на «перековку», позволяющую приспособиться к новой социальной среде. В этом смысле у художника было много общего с рабочими, которые изображались на его картинах, а также с их коллегами из Сталинвароша и Новой Гуты. Они тоже, как счи-

талось, перевоспитывались своей средой и тоже желали соответствовать духу своих новых городов.

Мечты создателей социалистического города выходили далеко за пределы кирпичей и строительного раствора. С самого начала их амбиции предполагали трансформацию не только искусства и урбанистического планирования, но человеческого поведения. Сталинварош, согласно первоначальному замыслу, представлялся как «город без нищеты и без периферии», то есть без трущоб на окраинах⁴². В самом социалистическом городе рабочим полагалось вести более «культурную» жизнь, чем прежде, причем ее образы в мельчайших деталях воспроизводили быт довоенной буржуазии. В Сталинвароше проблески манящего будущего стали заметны летом 1952 года, когда жилые дома вдоль улицы Первого мая привели в относительный порядок, саму улицу заасфальтировали, а строительный мусор вывезли. Прилегающее пространство стало местом, где нарядно одетые люди могли неспешно прогуливаться по воскресеньям; вскоре его прозвали местной Швейцарией. Именно на это, по словам историка Шандора Хорвата, и рассчитывали планировщики. Новые городские пространства порождали новый вид рабочего — «городского человека»: «Городской человек» ведет трезвую жизнь, вместо пивных ходит в кино и театр или слушает радио, носит современную и удобную готовую одежду. Ему нравятся пешие прогулки, он любит «разумно» проводить свободное время на пляже. В отличие от деревенского жителя, он обставляет свою квартиру городской мебелью, предпочитая фабричные гарнитуры столам и стульям, изготовленным краснодеревщиком вручную. Отдыхает он на практичной софе. В квартире «городского человека» есть ванная комната, где он регулярно моется. Он не использует ванну для содержания домашних животных или хранения продуктовых запасов. В рабочие дни он питается на комбинате, используя кухню в квартире для приготовления только легкой пищи. Вечернее время он проводит с семьей в гостиной. На балконе своего современного, светлого, просторного жилища «городской человек» принимает солнечные ванны или дышит свежим

воздухом с детьми. Белье здесь не сушится, потому что в здании есть общественная прачечная»⁴³.

Но «швейцарский рай» посреди Сталинвароша был крошечным. В 1952 году он состоял лишь из одной улицы. Повседневность прочих городских районов этого города, как и жилых кварталов Сталинштадта и Новой Гуты, выглядела совсем иначе.

Первое десятилетие своего существования социалистические города отметили необычайными успехами: каждый из них рос фантастическими темпами. В Новой Гуте, основанной в 1949 году, к концу 1950-го проживали 18 800 жителей, а к 1960 году — уже 101 900⁴⁴. Сталинварош с конца 1950 года всего за год увеличил численность жителей больше чем вдвое — с 5860 до 14 708 человек⁴⁵. Сталинштадт, где в 1952 году было 2400 горожан, в 1955 году достиг отметки в 15 150 жителей. В любой развивающейся стране такой быстрый рост гарантировал хаос, дезорганизацию, управленческие ошибки, а возможно, и что-то худшее. Так и получилось во всех упомянутых случаях. Как вспоминал Юзеф Тейхма, «все это было... поразительно примитивно».

Тейхма прибыл в Новую Гуту в 1951 году, когда ему исполнилось двадцать четыре года — в том же году он участвовал и в берлинском фестивале молодежи и студентов. Родившись в крестьянской семье в забытой богом деревеньке на юго-востоке Польши, юноша смог получить высшее образование благодаря тому, что теперь оно стало бесплатным; при сохранении довоенных порядков родители никогда не сумели бы его выучить. Будучи студентом, он вступил в молодежную организацию Крестьянской партии, а когда в 1948 году она объединилась с Союзом польской молодежи, автоматически стал его членом. Талантливому и преисполненному энтузиазма юноше быстро предложили работу в штаб-квартире Союза в Варшаве. И хотя он надеялся поступить в университет, это намерение отступило перед другими, более неотложными задачами. Глава варшавской кадровой службы партии неожиданно позвонил ему в офис, предложив возглавить открываемое в спешном порядке отделе-

ние Союза польской молодежи в Новой Гуте. Юноша согласился. Вот так, вспоминал он, «мне пришлось стать лидером многих тысяч молодых людей: я нес ответственность за их образование, культуру, спорт — за все»⁴⁶.

Тейхма занимался этим делом три года, на протяжении которых он постоянно сталкивался «с серьезными трудностями, сопровождавшими перемещение молодых людей из села на большие заводы». Многие из новых обитателей Новой Гуты были безграмотными или полуграмотными. Они ни разу не выезжали за пределы своих деревень, никогда не отрывались от своих семей, ничего не знали о внешнем мире. Молодой руководитель, впрочем, не видел в этом непреодолимой проблемы. Ведь он и сам был выходцем из глухой деревни, а скромный «угол», занимаемый им в рабочем общежитии, был роскошнее, чем любое жилье, которое он знал прежде: «Здесь были вода и электричество». Кроме того, у него была секретарша и жалование, выплачиваемое Союзом польской молодежи, которое делало его независимым от заводского начальства.

На первых порах новая жизнь казалась ему чрезвычайно интересной. Хотя в Варшаве Тейхма получил подробные инструкции, касающиеся того, как организовывать лекции и демонстрации, он любил проявлять самостоятельность. Молодой комсомольский лидер расхаживал по строительной площадке, «интересуясь, как молодежи работает, вмешиваясь и внося предложения, навещая столовые и образовательные учреждения». О своих выводах он сообщал руководителям стройки, обосновывая предлагаемые им новации. Чтобы рабочие после завершения трудового дня не били баклуши, он договорился о доставке их на строительных грузовиках в Краков, где многие впервые в жизни посетили театр. По его приглашению в Новую Гуту приезжали известные писатели, художники и поэты, искавшие здесь творческого вдохновения. Одновременно Тейхма следил за тем, как выполняются производственные нормы, и замечал тех, кто перевыполняет их. Следуя духу времени, он поощрял «социалистическое соревнование» и награждал победителей. «Многие относились к соревнованию с заинтересованностью и очень старались

стать передовиками, — вспоминает он. — Но, конечно, в жизни это выглядело не так, как в выпусках новостей».

Очень скоро работа начала разочаровывать молодежного вожака. Некоторые из его подопечных ценили его усилия, желали расширять свой кругозор, изучали историю рабочего движения, знакомились с театральной и литературной жизнью. Но зато другие не только не поддавались его стараниям, но и активно противодействовали им. Многие из них «вообще не имели представления о культурных стандартах. У них не было тяги ни к образованию, ни к высоким материям. Они постоянно пили и получали удовольствие в драках. Ничего из того, что мы хотели им дать, этим людям было не нужно».

Тейхма был не единственным, кто пришел к такому заключению. В 1955 году, когда уже умер Сталин, а пресса стала гораздо свободнее, молодой журналист Рышард Капушинский посетил Новую Гуту по заданию газеты *Sztandar Młodych*, официального органа Союза польской молодежи. В только что выстроенных многоэтажных жилых домах он встретил много людей, которые были вполне удовлетворены своим положением. «Я здесь уже два года и не собираюсь никуда уезжать», — говорил журналисту один из них. Но зато в бараках на окраинах города Капушинский обнаружил не только жуткие бытовые условия, достойные Дантова ада, но и первые признаки нарождающегося класса новых неимущих: «Недавно четырнадцатилетняя девчушка наградила венерической болезнью целую роту здешних парней. Когда мы встретились, она рассказывала о своем достижении с такой вульгарностью, что нас чуть не стошнило. Таких девушек здесь множество, хотя не все из них так молоды: чтобы их увидеть, достаточно сходить в Могильский лес или в местные бары. ...В Новой Гуте есть такие квартиры, где в одной комнате мать берет с мужчин деньги, а в другой дочь их ублажает, причем такие случаи вовсе не единичны. ...Посмотрите на жизнь местного молодого рабочего. Он встает спозаранку и отправляется на комбинат. Домой возвращается в три часа. Именно так: в три его день заканчивается. Я походил вокруг общежитий, где живут такие люди. Я заглядывал в их комнаты. Они сидят там.

Фактически это единственный вид деятельности, которым они занимаются дома. Они молчат, потому что о чем разговаривать? Они могли бы почитать, но здесь это не принято; они могли бы попеть, но это мешает соседям; они могли бы подраться, но им не хочется. И поэтому они просто — сидят. Самые беспокойные из них бесцельно болтаются по улицам. Черт возьми, куда бы пойти и чем бы заполнить оставшуюся половину дня? Здесь много баров, но одним они опротивели, а у других нет денег. А больше тут ничего и нет...»⁴⁷.

Аналогичные наблюдения делал и Тейхма. Он пытался втягивать в коллективные обсуждения местных проблем наиболее апатичных рабочих, но, несмотря на то что они с готовностью жаловались на условия труда, заставить их говорить о чем-нибудь еще ему не удавалось. На встречах с известными писателями они в основном сидели молча, как будто бы ожидая наставлений от пришельцев из другого мира. Тейхма заранее предупреждал об этом приезжающих литераторов, прося их не переоценивать Новую Гуту. Так, он предлагал Казимежу Брандысу, самому известному в тот период сталинскому писателю, смягчить описание строительной площадки: реальная жизнь, по его мнению, не так оптимистична и не так радостна, как это преподносится в книгах. Между настоящей повседневностью Новой Гуты и жизнью этого города в газетных репортажах, кинохрониках и романах пролегла зияющая пропасть.

Столь же заметными были различия между разными районами социалистических городов. Неподалеку от улицы Первого мая, «Швейцарии» Сталинвароша, располагались целые кварталы бараков с названиями типа «Радар» или «Юг». Это были почти трущобы — без водопровода, канализации, асфальта. Мусор убирался нерегулярно. В сараях, прилепившихся к баракам, а также в незавершенных зданиях поблизости, местные обитатели держали свиней и цыплят. Когда шел дождь, грязь была такой вязкой, что родителям приходилось нести детей в детский сад, усадив их на спину. Иногда две или три семьи проживали на площади, предназначенной для одного семейства⁴⁸. Желая развлечься, жители барачных поселков ходили не

в театры или рестораны при отелях, а в пивные и бары. Самой зловещей репутацией обладало заведение *Késdobáló* — название этого бара буквально переводится как «метатель ножей», хотя на венгерском сленге это слово означает также «кабак» или «притон». Согласно репортажам местной прессы, здесь процветали пьянство, дикое пение, драки и поножовщина. О другом баре, называвшемся «Леопард», ходила такая шутка: прежде чем пересечь его порог, следовало выстрелить в воздух, и если никто не стрелял в ответ, можно было входить. Полиция время от времени пыталась закрывать подобные заведения, но их посетители энергично защищали их от «городской» полиции и от СМИ⁴⁹.

Сталинштадт был расколот на два города. В одной части жили счастливы, которым удалось переехать в новые квартиры и которые с энтузиазмом приобщались к новой жизни. А в другой части все складывалось гораздо сложнее. Большинство рабочих, приехавших на стройку в самом начале, составляли молодые люди со всей Германии, причем каждый третий был переселенцем из Польши, Судетской области или других районов бывшего рейха. Все они явились на новое место без семей. Эту молодежь селили в бараках по десять человек в комнате, а ее главным развлечением было пьянство. Один из очевидцев рассказывает, как он «ходил по шпалам в Фюрстенберг», где, как и в Сталинвароше, было множество питейных заведений с неприятными названиями типа «Дикий кабан» или «Винный погребок»⁵⁰. Другой свидетель вспоминает пивную, в которой всегда было столько народа, что невозможно было зайти — если, конечно, вам не повезло проникнуть туда сразу после драки, когда всех клиентов выставляли за дверь⁵¹.

Высокие темпы строительства, использование ночных смен, долгие рабочие часы и недостаточный опыт рабочих и мастеров оборачивались тем, что на идеальных, как считалось, строительных площадках происходили частые технические сбои. Рыхлый и песчаный грунт Сталинвароша вызывал огромные проблемы и тормозил работы. Теван вспоминает, как по воскресеньям она тайком приходила на стройплощадку, чтобы удостовериться, что

«стены не рухнули и все на месте»⁵². У одной из местных школ действительно обвалилось крыло, и его пришлось строить заново. В 1958 году пришлось менять всю городскую канализационную систему. Кроме того, источником дополнительных технических проблем служила идеология: однажды Теван пришлось потребовать, чтобы с ее объекта удалили прославленную бригаду ударников, поскольку она, стремясь завершить работу в максимально короткий срок и получить премию, трудилась весьма некачественно. Сложности подобного рода возникали и на многих других строительных площадках той поры, но из-за неистовства пропаганды они были особенно заметны именно в «социалистических городах».

Технические сбои возникали и на самих сталелитейных предприятиях. В Сталинштадте плавильная печь, предназначенная для выплавки 360 тонн чугуна, первоначально была в состоянии производить лишь 1,5 тонны. После двухмесячного ремонта и усовершенствования она давала около 205 тонн, что означало выполнение плана на 58 процентов. Производительность со временем улучшилась, но из-за скверного планирования и инженерных ошибок производственный процесс в Сталинштадте многие годы зависел от советской помощи. Даже через десятилетия после того, как завод был «введен в строй», незавершенные изделия приходилось возить через границу для окончательной доработки, а потом возвращать обратно. Полный цикл сталелитейного производства удалось наладить только в 1990-е годы, когда Германская Демократическая Республика уже прекратила свое существование⁵³.

Ускоренное развитие бедных стран часто ведет к промахам и провалам. Но в новых социалистических городах пропасть между утопической пропагандой и зачастую катастрофической реальностью была столь глубока, что коммунистическим партиям приходилось постоянно выкручиваться, чтобы объяснить ее наличие. Разумеется, в социалистических городах массовые пропагандистские кампании осуществлялись с большим размахом, чем где-либо еще. Кампания по переименованию Пентеле в Сталинварош была организована прежде всего для того,

чтобы мобилизовать городской пролетариат и, возможно, подтолкнуть Советский Союз к оказанию более широкой поддержки новому предприятию. Как писал Герё в письме Ракоши в 1951 году, «переименование позволило бы нам подстегнуть социалистическое соревнование на стройплощадках. Смену названия можно было бы организовать так... чтобы подавляющее большинство рабочих, поддержав это начинание, сами попросили бы правительство выполнить их просьбу. ...Я также полагаю, что присвоение сталелитейному комбинату имени товарища Сталина морально обяжет советские экономические организации предложить нам дополнительную помощь в планировании и снабжении»⁵⁴.

После этого «спонтанной» народной инициативе дали старт. По всему городу рабочие писали письма Ракоши, обещая добиться более высоких производственных показателей и скорейшего выполнения плана, если только венгерский лидер согласится переименовать город. «Обещаю, что отдам все свои силы и знания, чтобы помочь маленькому деревцу, посаженному в крошечной деревушке Пентеле, достичь небес в чудесном городе Сталинвароше», — писал один из них. «Прошу товарища Ракоши передать это письмо нашему отцу Сталину», — усердствовал другой труженик. Некоторые слагали стихи:

Есть на Волге Сталинград, на Дунае — Сталинварош,
Имя Сталина родного новый город защитит...

Наконец рабочая депутация доставила Ракоши все написанные трудящимися письма, переплетенные в толстый кожаный фолиант, который хранится сегодня в городском музее. Руководитель венгерских коммунистов тепло встретил рабочих, сообщив им, что он согласен: город нужно переименовать. Трехдневный праздник по этому поводу был приурочен к годовщине Октябрьской революции и сопровождался танцевальными, театральными, оперными представлениями, спортивными состязаниями и книжной ярмаркой, на которой были представлены все сталинские труды. Огромный портрет Сталина украшал здание местного партийного комитета; его подсвечивали

так изысканно, как будто, по словам местного журналиста, «свет благодарности венгерского народа озарял его лицо»⁵⁵.

В Восточной Германии партийное руководство воспринимало неудачи социалистических городов с большей суровостью. Озабоченное инженерными провалами, оно провело в 1952 году специальное заседание партийно-хозяйственного актива Сталинштадта. За закрытыми дверями обсуждались все наиболее серьезные проблемы, включая дефицит стройматериалов, нехватку спецодежды для рабочих, сбои транспортной системы, антисанитарию в бараках, неполадки в работе плавильных печей. Результатом этого разговора стал пухлый отчет, возлагавший ответственность за выявленные недостатки на министра металлургии Фрица Зельбманна, которого обвинили в халатности и оштрафовали. Ему было сказано, что он сохранит свое место при единственном условии: если возглавит экспертную комиссию, которая в трехмесячный срок все поправит и наладит.

Со своей стороны, спецслужбы провели собственное расследование плохой работы новейших доменных печей. Ее руководитель Вильгельм Цайссер лично подготовил рапорт под названием «О подозрениях относительно саботажа при планировании и строительстве в Айзенхюттенштадте». По рекомендации советских наставников он тоже назвал главной причиной всех допущенных просчетов «полностью безответственное поведение министра Зельбманна». Ходили даже слухи о подготовке показательного процесса — возможно, по типу «шахтинского дела» 1930-х годов, в ходе которого несколько незадачливых советских инженеров были осуждены за целый ряд производственных аварий, к которым они были не причастны. Министр и его коллеги спаслись от ареста и публичного унижения лишь благодаря прибытию группы советских специалистов. Всесторонне изучив проект, они одобрили конструкцию печей, но раскритиковали немецких коллег за «неопытность»: низкая норма выработки была обусловлена не саботажем, а неправильной пропорцией кокса и железной руды⁵⁶. Впрочем, давление на инженеров Сталинштадта оставалось настолько сильным, что технический

директор предприятия Ганс Кёниг открыто сетовал на постоянные нападки и обвинения, а в 1955 году бежал на Запад⁵⁷.

Определенная толика ответственности за неудачи возлагалась и на рядовых рабочих. Пресса Сталинвароша активно обличала «уголовников, проституток и прочие деклассированные элементы», которые бесчестными путями проникли в город, а теперь портили показатели преступности и саботировали усилия честных граждан. В этих обвинениях была доля правды. Сталинварош оставался крупнейшей строительной площадкой в стране, и сюда в поисках фортуны стекались самые разные люди. Ужасающие условия жизни — перенаселенность, нехватка развлечений, дефицит жилья — подталкивали рабочих, хотя и не всегда, к дурному и безнравственному поведению. В женской строительной бригаде, которую возглавляла Теван, трудились нескольких бывших проституток: «Некоторые из них, конечно, продолжали “работать” и в Сталинвароше, но другие действительно хотели начать новую жизнь. Одной такой девушке я активно помогала, и позже она стала продавщицей в местном магазине. Каждый раз, когда я ходила за покупками, она предлагала мне лучшие товары — так она выражала свою признательность»⁵⁸.

Впрочем, большинство рабочих и работников, приехавших в новые социалистические города, не были ни преступниками, ни проститутками; точно так же большинство посетителей здешних пивных отнюдь не имело отношения к бандитам и головорезам. В конечном счете мифология Сталинвароша как презирающего закон города «золотой лихорадки», где могло произойти все, что угодно, а никакие правила не действовали, скорее была удобной, чем реальной. Подобно обвинениям в промышленном саботаже, она помогала объяснить, почему уровень жизни не повышается, почему квартиры стоят недостроенными и почему сталелитейные заводы советского образца, возведенные с «чистого листа», не в состоянии выполнять амбициозные планы коммунистической партии.

Кампании против прогульщиков, «криминальных элементов» и прочих антиподов социалистической морали могли, разу-

меется, быть более или менее успешными. Но скрывать расширяющуюся пропасть между пропагандой и реальностью становилось все сложнее, и со временем даже те жители «социалистических городов», которые на первых порах преисполнялись энтузиазма, утратили последние иллюзии. Проработав несколько лет молодежным лидером, Элек Хорват был призван в армию, получив офицерское звание. Юлия Коллар, ставшая Юлией Хорват, была приглашена на партийные курсы в Будапеште, где попала в неприятную ситуацию, публично выступив против государственного займа «в защиту мира», фактически представлявшего собой разновидность государственного налога — вносимые рабочими деньги возвращались в карман государства.

Возглавляя производственную ячейку Лиги рабочей молодежи, она была обязана заниматься распространением этих облигаций среди коллег: чем больше облигаций удавалось продать, тем выше было положение секретаря ячейки в иерархии молодежного движения. Юлия полагала, что неправильно убеждать людей влезать в долги ради того, чтобы покупать государственные ценные бумаги; ей не хотелось заниматься этим, несмотря на опасность того, что молодое семейство могло выпасть из разряда «образцовых кадров». Более того, она высказалась об этом громко. Вскоре кто-то спросил ее, гордится ли она мужем, которому в столь молодом возрасте удалось стать офицером, и она ответила отрицательно: ей не нравилась работа мужа, из-за которой большую часть времени он отсутствовал дома. Об этом разговоре, а также о комментариях касательно облигаций доложили директору партийных курсов. Вызванная для объяснения, Юлия заявила, что никакого «вражеского умысла» в ее словах не было — она просто выражала свое мнение. Инцидент был исчерпан, и Коллар отправилась в Сталинварош в прежнем статусе партийного активиста. Но к работе на стройплощадке она больше не возвращалась и никакой ностальгии по «социалистическому городу» в его поздние годы уже не испытывала.

Когда энтузиазм иссякал, вместе с ним уходили и утопические мечтания. Кончина Сталина в 1953 году не повлекла за

собой мгновенных изменений: названия «Сталинштадт» и «Сталинварош» сохранялись до 1961 года, когда оба города были без лишнего шума переименованы в Айзенхюттенштадт и Дунайварош соответственно. Но зато новые архитектурные принципы заявили о себе сразу. Уже в декабре 1954 года Никита Хрущев развернул кампанию за «индустриализацию архитектуры». В речи, провозглашавшей продолжение политической борьбы с капитализмом, он с жаром рассуждал о панельных зданиях, железобетоне усиленной прочности и типовых квартирах. Новый советский лидер обрушился на архитекторов, которые слишком увлекались оформительскими изысками: «Им нужны красивые формы, а людям требуются квартиры». Он также раскритиковал излишества сталинского социалистического реализма: «Некоторые архитекторы имеют страсть к украшению высотных зданий шпилями, придающими им религиозный вид. Вам нравятся силуэты церквей? Я не хотел бы спорить о вкусах, но для жилых домов такое оформление неуместно. ...Жителям это не создает никаких дополнительных удобств, а вот строительство и эксплуатация такого здания удорожаются»⁵⁹.

В соответствии с новыми политическими веяниями ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли в ноябре 1955 года постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», положениям которого последовала и Восточная Европа. Еще раньше, в январе 1955 года, речь Хрущева появилась в немецком переводе, а в феврале партийное руководство в Берлине заявило, что в дальнейшем все строительные работы в стране будут проходить под новым лозунгом: «Лучше, дешевле, быстрее!»⁶⁰. Вскоре дома из сборных блоков, получившие недобрую славу *Plattenbau* (панельные), начали возводиться в Сталинштадте и других городах ГДР.

Мэрия со шпилем, планируемая для Сталинштадта, так и не была построена. Та же участь постигла и культурный центр на главной площади Новой Гуты, ныне переименованной в площадь Рональда Рейгана и находящейся на стыке улиц генерала Андерса, папы Иоанна Павла II и профсоюза «Солидарность». В Дунайвароше оформили лишь половину городской площади,

оставив ее «кривобокой» и даже сегодня вызывающей архитектурные дискуссии. Инвестиции в металлургический комбинат Сталинштадта в 1954 году сократили с 110 миллионов до 34 миллионов марок, а возведение некоторых цехов было отложено на неопределенное время. Хотя завод в Новой Гуте продолжал развиваться, само его местоположение со временем вызывало все более острые споры.

В связи с тем, что все три «социалистических города» благодаря пропаганде получили широчайшую известность, они и в дальнейшем продолжали играть символическую роль в истории своих стран. Летом 1955 года Новая Гута и трудящиеся этого города были прославлены в первой откровенно антикоммунистической поэме, появившейся в польской печати после смерти Сталина. «Поэма для взрослых», которую написал Адам Важи́к, едко высмеивала крестьян, превратившихся в рабочих, непомерные претензии руководства комбината и пыл коммунистической пропаганды:

Из городов и местечек они приезжают на телегах,
Чтобы строить литейные заводы и созидать город,
Копать землю нового Эльдорадо.
Целая армия пионеров, сгрудившаяся толпа,
Они набиваются в лачуги, бараки, общаги,
Ходят тяжелой походкой и громко свистят на грязных улицах —
Великое переселение, раздвоенное честолюбие,
Со шнурком на шее — Ченстоховский крест,
Трехэтажный мат, пуховая подушка,
Ведро водки и желание женщин...
Великая чернь, вытолкнутая внезапно
Из средневековой тьмы — нечеловеческая Польша,
Воющая от тоски в декабрьские ночи...

Позже та же «армия пионеров» с нателными крестиками и бутылками водки была изображена в фильме Анджея Вайды «Человек из мрамора» («*zowiek z marmuru*»). Эту киноисторию о сталинском передовике, который приходит к осознанию своей ничтожности и к разочарованию в прежней жизни, в 1977 году позволили пустить в прокат только благодаря тому, что в дело

вмешался Юзеф Тейхма, бывший молодежный лидер Новой Гуты, ставший к тому времени польским министром культуры.

В последующие десятилетия первый польский город, построенный без церкви, не раз оказывался в эпицентре жаркой политической и религиозной борьбы. В 1957 году краковская епархия обратилась с просьбой о возведении костела в Новой Гуте. В 1959 году архиепископ Кракова Кароль Войтыла провел мессу под открытым небом в том месте, где предполагалось начать строительство. В 1960—1970-е годы духовенство и власти продолжали спорить по поводу финансирования работ и разрешения на строительство. В 1977 году церковь наконец была построена. Кардинал Войтыла освятил ее, и это укрепило его авторитет, как в Польше, так и в мире. Через шесть лет будущий Папа римский проведет здесь мессу перед ликующей толпой верующих. Новая Гута была и остается для Польши символом крушения тоталитаризма: неудачного планирования, неудачной архитектуры, неудачной утопии.

Глава 16

Колеблющиеся коллорабационисты

Она дала нам все, солнце и ветер,
И она никогда не скупилась.
Где она была, там была и жизнь.
Тем, кем мы являемся, мы стали благодаря ей.
Она никогда нас не покидала
Замерзал мир, нам было тепло.
Нас защищает мать масс
Нас несут ее сильные руки.
Партия, партия всегда права.
И, товарищи, это остается с ней.
Так как, кто борется
За права, тот всегда прав,
Кто человечество защищает,
Всегда прав.
Так, из ленинских идей
Растет Сталиным спаянная,
Партия, партия, партия!

«Песня о партии» (Гимн СЕПГ), 1949

Сегодня это трудно объяснить: эта песня — партия и только партия всегда права, — казалась нам выражением истины в последней инстанции, и мы вели себя соответственно.

Херта Кюриг, Берлин, 2006¹

Современного или, точнее, постсовременного слушателя слова «Песни о партии» (*Das Lied der Partei*), вынесенные в эпиграф, не слишком вдохновляют. Напротив, они кажутся абсурдными, и с того момента, когда Германская Демократическая Республика перестала существовать, они не раз высмеивались, пародировались и даже исполнялись Микки Маусом в ролике, выставленном на *Youtube*². Без поддерживающей их идеологии слова хора — «Партия, партия всегда права!» — кажутся не толь-

ко устаревшими, но и комичными. Трудно представить, что кто-то мог петь такое, сохраняя серьезность на лице.

Но те, кто исполнял эту песню в сталинской Восточной Германии, были вполне серьезны, а ее слова сочинялись со всей искренностью. Их автором был чешско-немецкий коммунист Луис Фюрнберг, который бежал в Палестину во время войны и вернулся в Прагу в 1946 году. Поскольку он был и евреем, и бывшим эмигрантом, в Чехословакии 1949 года к нему относились с подозрением — его даже не включили в число делегатов партийного съезда, состоявшегося в том же году. Негодуя, а возможно, и надеясь вернуть былой статус ветерана-коммуниста, он написал текст песни «Партия всегда права». А потом ему крупно повезло: вместо того, чтобы оказаться, как Сланский, в тюрьме, он получил назначение в Восточную Германию в качестве дипломата. В 1950 году его песня была исполнена на партийном съезде в Берлине, где вызвала всеобщее восхищение. В конце концов она стала официальным гимном СЕПГ. Потом вплоть до 1980-х годов «Песня о партии» исполнялась регулярно, как на государственных, так и на партийных мероприятиях, причем исполнители зачастую выглядели искренне воодушевленными³.

Почему? Некоторые пели оттого, что боялись не петь. Но далеко не каждый пропускал слова исполняемой песни мимо ушей. На самом деле многие из тех, кто аплодировал речам вождей, выкрикивал лозунги на митингах, маршировал на первомайских парадах, делали это со странной двойственностью. Миллионы людей отнюдь не всегда верили тем лозунгам, которые предлагались в газетах, но при этом они не стремились осуждать тех, кто эти лозунги придумывал. Они могли не считать Сталина непогрешимым лидером, но при этом не срывали его портреты. Они не обязательно верили в то, что «партия всегда права», но это не мешало им исполнять эти песенные строки.

Трудно однозначно объяснить, почему они не сопротивлялись более открыто — пусть даже кто-то сейчас считает, что такое объяснение есть. Выдающимся достижением советского коммунизма — в том виде, в каком его представляли в 1920-е годы, совершенствовались в 1930-е и утверждали по всей

Восточной Европе после 1945 года, — стало умение заставить огромное число аполитичных людей во многих странах демонстрировать поддержку режиму, а не протестовать против него. По меньшей мере отчасти эту удивительную способность объясняют опустошительные последствия войны, истощение ее жертв, избирательный террор и этнические чистки, то есть те элементы советизации, которые уже описывались в этой книге. В сознании постоянно присутствовали память о недавнем насилии и угроза будущего насилия. Если одного из двадцати знакомых между собой людей арестовывали, этого было достаточно, чтобы держать в страхе остальных. Повсюду присутствовали осведомители тайной полиции, и даже если их не было, люди все равно думали, что они есть. Настойчивая и непрерывная пропагандистская обработка людей в школах и СМИ, на улицах и на внешне «аполитичных» митингах и мероприятиях также придавала лозунгам ореол состоятельности и убеждала в незыблемости системы. Что можно было возразить на все это?

В то же время риторика, используемая властями, могла быть очень привлекательной. Послевоенная реконструкция, несмотря на то что при ином политическом устройстве она шла бы эффективнее и быстрее, явно продвигалась вперед. И хотя коммунистические власти не всегда соблюдали в этом меру, они все-таки действительно объявляли войну невежеству и безграмотности, равнялись на силы науки и технического прогресса и взывали к тем, кто надеялся на радикальное переустройство общества после ужасной войны. Ежи Моравский, в 1950-е годы состоявший в политбюро Польской рабочей партии, вспоминал: «На первых порах я был преисполнен энтузиазма. Мне казалось, что мы собираемся создавать новую Польшу, отличную от предвоенной Польши... что мы позаботимся о тех, с кем плохо обращались в прошлом»⁴. Другой поляк, в то время служивший младшим офицером, вспоминал, что в те ранние годы «работа ждала людей, Варшава возрождалась, промышленность восстанавливалась, каждый мог учиться. Строились новые школы и университеты — и все эти блага были бесплатными»⁵.

Одновременно систематическое разрушение альтернативных источников власти и гражданского общества, также описанное в предшествующих главах, означало, что те люди, кто сомневался в системе и ее ценностях, чувствовали себя изолированными и одинокими. Писатель-сатирик Яцек Федорович вырос в семье, скептически относящейся к режиму, но он не знал, что думают о коммунизме его одноклассники, и никогда не спрашивал их об этом: «Террор был таким, что о нем просто не говорили»⁶.

Кроме того, у коммунистов были влиятельные покровители на Западе; среди них — интеллектуальные знаменитости уровня Жан-Поля Сартра и Пабло Пикассо, которые придавали коммунистической идеологии флер легитимности и заставляли многих жителей Восточной Европы считать себя не советскими подданными, а подлинным авангардом континента. Ведь если Западная Европа полевела, то почему с Восточной Европой не может произойти то же самое? В 1948 году Пикассо посетил Польшу, где принял участие во Всемирном конгрессе интеллектуалов за мир. И хотя он снял наушники синхронного перевода, отказавшись слушать нападки советских гостей на экзистенциализм и Томаса Элиота, все остальное, похоже, художник одобрял⁷. Пикассо остался в стране на две недели, подарил несколько расписанных им керамических изделий Национальному музею и нарисовал русалку, символ Варшавы, на стене одного из новых многоквартирных домов для рабочих, построенных в стилистике социалистического реализма в центре города. К сожалению, рабочим стали досаждают многочисленные посетители, приходившие во двор посмотреть на творение мастера, и они в конце концов замазали его⁸.

Имел место и прямой подкуп. Он проявлялся во многих формах, от хорошо оплачиваемых работ и эксклюзивных вилок, предлагаемых известным писателям и художникам, до повышения зарплат немецким инженерам и ученым, соглашавшимся остаться в ГДР. Государственным служащим уровнем ниже зачастую предлагалось очень дешевое или бесплатное питание, улучшенные жилищные условия и продовольственные пайки. На высших этажах власти привилегии были весьма изысканны-

ми, особенно по стандартам того времени. В 1946 году секретарь парткома в венгерском городе Чакберень устроил грандиозный обед на вилле, которую он конфисковал у местного дворянина. Один из гостей вспоминал этот вечер так: «Вилла была украшена иллюминацией и декорирована. По правую сторону от входа охотничий клуб выставил почетный караул в праздничной униформе, а слева выстроились лидеры партийной молодежи в голубых рубашках и красных галстуках. ...Снаружи были припаркованы американские лимузины, два советских военных джипа, несколько мотоциклов и конных экипажей. Здесь же находился и полицейский автомобиль. ...В большой зале длинный стол был сервирован жареным поросенком, икрой, индейкой, а также диким кабаном, фазаном и фаршированным гусем. Сладкое вино “Мерано” из конфискованной винодельни наливалось в хрустальные бокалы из хрустальных бутылок...»⁹.

В Будапеште и Берлине партийные вожди «подбирали» особы, освобождавшиеся уехавшей буржуазией. В Варшаве партийная элита предпочитала проводить время за пределами столицы, в городке Констанцин, где в распоряжении номенклатуры имелись собственные рестораны и кинотеатр, а также советская вооруженная охрана. Согласно Юзефу Святло, бежавшему из Польши в 1953 году высокопоставленному «чекисту», когда Болеслав Берут находился в своей резиденции, парк вокруг нее был «заполнен людьми в темных костюмах и с портфелями или просто держащими руки в карманах»: «Они находились здесь на тот случай, если вождь вдруг захочет пообщаться с “массами”». Этот рассказ можно было бы принять за небылицу, но он удивительно перекликается с воспоминаниями Джоэля Аджи о детстве, проведенном в доме его отчима, восточногерманского писателя, который тоже проживал на охраняемой территории за пределами Берлина. Как рассказывает Аджи, поблизости располагалась вилла Вильгельма Пика: «Перед ней всегда стояли черные лимузины, а также бронемшины и армейские джипы. Место было окружено кольцом из колючей проволоки и постоянно патрулировалось. Каждый понимал, что к этому дому лучше не приближаться»¹⁰.

Сотрудники спецслужб привлекались и к оказанию иных услуг, помимо охраны. Согласно Святло, все повара, официанты и уборщицы в доме Берута состояли в штате министерства безопасности, получая зарплату именно в этом ведомстве. Прочие высокопоставленные сановники тоже наделялись большим штатом прислуги и просторными резиденциями. Станислав Радкевич, руководитель тайной полиции, имел квартиру в Варшаве, виллу в Констанцине и четыре машины с водителями, обслуживающими его надобности. Даже чиновники среднего звена, например заместители министров или ответственные сотрудники спецслужб, подобные Святло, «имели в распоряжении бесплатные квартиры со слугами и машины», а также бесплатно обеспечивались одеждой, обувью, постельным бельем и даже носками, перчатками и портфелями¹¹.

Существовала специальная система финансового поощрения людей, которые желали работать на режим тайно, причем особые условия предлагались тем, кто был готов перейти на другую сторону. Одна из наиболее успешных шпионских операций Штази стала возможной потому, что «чекистам» ГДР удалось подкупить низового сотрудника Федеральной разведывательной службы Западной Германии (*Bundesnachrichtendienst* — *BND*). Ганс-Иоахим Гейер, бывший член нацистской партии, успел проработать на должности курьера BND лишь несколько недель, когда его поймали восточные немцы. На допросе он быстро во всем сознался, но при этом заявил, что «может оказаться полезным».

Руководство Штази незамедлительно внесло фамилию Гейера в платежную ведомость: его первая зарплата поступила 12 декабря 1952 года. Гейер продолжал ездить в Западный Берлин, поддерживая свои контакты. Каждый раз, подготавливая рапорт в Штази, он прикладывал к нему чеки, некоторые из них бережно сохранялись в архиве спецслужбы. Среди прочих затрат здесь можно обнаружить, например, счет от окулиста, шесть билетов в цирк, чеки на покупку книг, спортивную экипировку и кожаные изделия. Список рождественских покупок Гейера, содержащий, вероятно, подарки для семьи, включал шоколадные

бисквиты, кокосовый орех, пару детских колготок, марципан, абрикосы, новый костюм и носовые платки.

Очевидно, агент заслуживал всех этих благ. Благодаря Гейеру, по словам офицера Штази, разведка ГДР смогла «арестовать 108 западногерманских шпионов» и получить сотни оригинальных документов. И хотя после разоблачения, состоявшегося осенью 1953 года, Гейер вынужден был вернуться домой, власти Восточной Германии наградили его многочисленными медалями и даже после смерти продолжали выплачивать солидную пенсию его вдове¹². Штази также оплатила все расходы на обучение двух его сыновей, которые получили медицинское образование.

Карьера Гейера в Штази очень хорошо раскрывает тип человека, которого можно было с помощью денег побудить к сотрудничеству. Гейер, писали его кураторы, «стремился понравиться каждому». Кроме того, «он предан жене, детям и дому, в котором живет; пьет очень мало, ни в чем аморальном не замечен». Агент был «политически индифферентным», но «легко поддающимся влиянию», и это требовало для него специальных занятий по «логическому мышлению и диалектическому методу». Вероятно, он соглашался и на это.

Для немногих избранных коммунистическая система также предоставляла мотивацию в виде «социального продвижения», описанного в главе 13. Хорошие возможности открывались и для тех, кто сумел приспособиться. Разумеется, новая образовательная система и новая идеология трудовой деятельности рождали немало неудачников, в частности из интеллигентов довоенной выучки, квалифицированных рабочих старшего поколения, молодых людей, которые не могли или не хотели быть конформистами, — но многие и выигрывали. Тут можно говорить о новых учительских и рабочих кадрах, замещавших представителей прежнего поколения, новых писателях, шедших на смену старшим писателям, и новых политиках, вытеснявших своих предшественников. Яцек Куронь, активист Союза польской молодежи, позже ставший известным диссидентом, наблюдал последствия политики «социального продвижения» в своем варшавском районе в 1950-е годы: «В руководстве мест-

ной ячейки Союза польской молодежи перемены были заметны невооруженным глазом. Кто пришел туда? Это была молодежь из беднейших домов района Маримонт, довоенных трущоб и лачуг, запущенных общежитий, в которые превратились бывшие офицерские виллы района Жолибож. Фактически новые руководители совсем недавно прозябали в самых низах общества. Но при этом у каждого из них были знакомые в структурах власти. Дядя, шурин или друг, раньше от безделья слонявшийся по округе, теперь трудились в службе безопасности, армии, милиции, местном или региональном парткоме. ...Огромное значение имел тот факт, что теперь все эти молодые люди чувствовали себя руководителями. Более того, на низовом уровне они и вправду были таковыми»¹³.

В обмен на это свежее ощущение причастности к власти коммунистический режим требовал немного: новым бенефициарам предлагалось лишь время от времени закрывать глаза на противоречия между пропагандой и реальностью. Некоторым подобная плата за быстрый социальный рост казалась очень незначительной.

И все же в основном люди при коммунистических режимах не имели дела с щедрым подкупом, жесткими угрозами или поощрениями. Большинство не стремилось ни в партийные боссы, ни в гневные диссиденты. Они хотели наладить жизнь, восстановить свои страны, дать образование детям, кормить семьи и держаться в стороне от тех, кто имеет власть. Но восточноевропейская культура «разгула сталинизма» не позволяла заниматься всем этим, просто сохраняя молчаливый нейтралитет. Никто не мог быть аполитичным: система требовала, чтобы все граждане неустанно ее восхваляли, пусть даже неискренне и вынужденно. По этой причине в своем подавляющем большинстве граждане Восточной Европы вовсе не заключали сделку с дьяволом и не продавали свои души, становясь осведомителями; они просто поддавались всеобъемлющему, каждодневному психологическому и экономическому давлению. Сталинизм отличался наличием больших групп людей, которым не нравил-

ся режим и которые знали, что его пропаганда фальшива, но под давлением обстоятельств были вынуждены подчиняться. Из-за отсутствия лучшего определения я назову их «колеблющимися» или «вынужденными» коллаборационистами.

Например, после возвращения в ГДР из сибирского лагеря некто Вольфганг Леманн хотел найти работу на стройке, но из-за его лагерного прошлого все от него отворачивались. Кто-то посоветовал ему вступить в общество немецко-советской дружбы. Он так и сделал. К счастью, у него оказался также русский товарищ, который смог написать письмо, удостоверяющее, что даже во время пребывания в ГУЛАГе Леманн оставался добрым другом Советского Союза. В итоге он получил работу¹⁴. Михал Бауэр, бывший боец Армии крайовой, который тоже отсидел в ГУЛАГе, после возвращения устроился в государственную компанию. Каждый день весь ее персонал собирался на утреннюю политинформацию. Бауэру иногда приходилось руководить этими собраниями, хотя сам он никогда не симпатизировал коммунизму: «Мне говорили: “Бауэр, завтра с газетами работаешь ты, найди подходящую тему”. ...Если отказываться заниматься этим, могли уволить с работы»¹⁵.

Музыкант Анджей Пануфник также не питал любви к системе, которую считал «художественно и морально бесчестной». «Я испытывал отвращение при мысли о том, что мне предстоит в творческом акте отразить “борьбу людей, победно шагающих к социализму”», — писал он. После войны Пануфник не желал ничего иного, кроме как участвовать в восстановлении страны и сочинять музыку. Но чтобы ему позволили делать это, нужно было вступить в Союз польских композиторов. Когда Союзом был объявлен творческий конкурс на сочинение новой «Песни объединенной партии», молодому композитору тоже пришлось в нем участвовать: ему сказали, что в случае отказа не только сам он потеряет место в Союзе, но и весь Союз лишится финансовой поддержки государства. Он написал песню «буквально за несколько минут, положив какой-то абсурдный текст на первую пришедшую в голову мелодию. Все это было полнейшим вздором, и я ухмылялся, отправляя работу в жюри», — вспоминает

композитор. Когда его песня получила первый приз, Пануфник испытал полнейшее замешательство¹⁶.

Все приведенные примеры достаточно типичны. К 1950-м годам граждане Восточной Европы в основном работали на государство, жили в государственных домах и квартирах, водили детей в государственные школы. Они зависели от государственной системы здравоохранения и покупали еду в государственных магазинах. Они по понятным причинам остерегались конфликтовать с государством — за исключением самых крайних случаев. Но подобные случаи были редкостью, ибо в мирное время жизнь большинства людей лишена драматизма.

В 1947 году, например, советская военная администрация в Восточной Германии обнародовала приказ № 90, регулирующий деятельность издательств и типографий. Согласно этому документу, каждый типографский станок подлежал лицензированию, а на этом оборудовании можно было печатать только те книги и брошюры, которые получили предварительное одобрение цензуры. Конечно, нарушение этих простых правил не влекло за собой арест или расстрел, но вполне могло послужить причиной наложения штрафа на владельца типографии или вообще ее закрытия¹⁷. Наличие такого документа ставило собственника печатного станка в Дрездене или Лейпциге перед простым выбором: или он следует закону и печатает только то, что дозволено, или нарушает закон, рискуя потерять лицензию и, следовательно, средств к существованию. Для большей части собственников второе оказывалось абсолютно неприемлемым. Для тех, у кого были больная жена, сын в советском лагере или нуждающиеся в поддержке престарелые родители, причины оставаться в рамках закона оказывались более вескими.

Но как только, к примеру, дрезденский печатник пошел на этот компромисс, за ним последовали и другие. Ему могла не нравиться коммунистическая идеология, но когда предприятию предлагали напечатать собрание сочинений Сталина, он соглашался. Ему могла быть не по душе коммунистическая экономика, но, получив заказ на печать учебника по марксизму, он тоже соглашался. А почему, собственно, нет? Ведь из-за этого никого

не убивали и никто не оказывался в тюрьме. Зато если бы он сказал «нет», тогда у него самого и его семьи начались бы реальные проблемы, причем и Сталина, и марксистский учебник все равно напечатал бы кто-нибудь другой.

Постепенно это стало обычным делом для других частных печатников Восточной Германии. Через некоторое время (никого, подчеркиваю, не расстреляли, не бросили в тюрьму, и от угрызений совести никто не пострадал) в стране можно было читать только те книги, которые были одобрены властями. А еще через какое-то время и самих частных типографий не осталось. Интересно, что никто из печатников не считал себя при этом ни коллаборационистом, ни тем более коммунистом. И все же каждый из них в какой-то мере способствовал упрочению тоталитаризма. Ибо так поступал каждый, кто изучал курс по марксизму-ленинизму, чтобы стать врачом или инженером; кто вступал в официальный союз художников, чтобы заниматься живописью; кто вешал в своем кабинете портрет Берута, чтобы сохранить работу, и, конечно, всякий, кто вместе с толпой распевал «партия, партия всегда права».

Опыт выживания в обществе, которое постоянно вынуждало людей демонстрировать энтузиазм, а также говорить и делать то, во что они не верили, имел в конечном счете глубокие психологические последствия. Несмотря на все усилия государства, невзирая на образование и пропаганду, многие граждане постоянно пребывали в состоянии внутреннего конфликта и дискомфорта. «Я выступал во Вроцлаве с трибуны университетского митинга и, произнося речь, испытывал панику по поводу того, что говорю. ...Я внушал себе, что стараюсь убедить толпу, но на деле старался убедить самого себя», — вспоминал писатель Яцек Тржнадель¹⁸. Композитора Анджея Пануфника терзали творческие муки: он не выносил «музыкальный язык XIX века», предпочитаемый режимом, но и не хотел быть обвиненным «в преданности искусству прогнившего Запада» — особенно после рождения дочери. Он искал спасение в реставрации старой польской музыки XVI–XVII столетий: «Так я мог содействовать восстановлению хотя бы небольшой части нашего утраченного

наследия, работая больше как ученый, чем как композитор»¹⁹. Если сила советского тоталитаризма коренилась в его умении подчинять людей, то в этом же была и его роковая слабость: необходимость приспосабливаться к лживой политической реальности порождала у многих граждан ощущение того, что они ведут двойную жизнь.

Лили Гимеш-Хайду, психоаналитик и ученица Фрейда, была, возможно, первой, кто диагностировал это проблемное состояние у пациентов и у самой себя. «Я соглашаюсь на игру, предложенную режимом, — говорила она друзьям, — хотя, как только вы принимаете ее правила, вы оказываетесь в ловушке». Гимеш-Хайду была членом Венгерской ассоциации психоаналитиков, некогда влиятельного и преимущественно еврейского научного сообщества, почти уничтоженного во время войны. Желая родиться и вновь интегрироваться в социальную жизнь, ассоциация с марта 1945 года начала заседать по два раза в месяц. Некоторые ее члены, включая Гимеш-Хайду, вступили в ряды коммунистической партии. Кто-то занимался примирением Фрейда с марксизмом, изучая, например, роль экономической нестабильности в развитии неврозов. Новое министерство здравоохранения разрешило группе открыть два консультационных кабинета, а несколько человек начали работать на медицинском факультете университета, надеясь, что со временем их специализацию выделят в отдельную кафедру. Сама Гимеш-Хайду устроилась в главную психиатрическую больницу страны.

Это скоротечное возрождение быстро завершилось. В Советском Союзе фрейдистский психоанализ очень долго считался табу, поскольку фокусировался на иррациональных и подсознательных мотивах индивидуального поведения и не интересовался политикой. Поэтому и в Венгрии его должны были запретить. Нападки на группу начались в 1948 году; сигналом послужила злобная научная статья под названием «Фрейдизм как психология на службе империализма». После этой публикации наделение фрейдизма такими эпитетами, как «буржуазно-феодальный», «антиобщественный» и «иррациональный», стало общим местом²⁰. Так, философ Дьёрдь Лукач называл психоаналитиков

«реакционерами», жаждущими установления англо-американской классовой диктатуры²¹.

Из-за гонений некоторые психоаналитики вовсе оставили профессию. Другие пытались найти средний путь. Стремясь примириться с новым порядком, Гимеш-Хайду и ее коллега Имре Херманн написали письмо Лукачу, отчасти соглашаясь с его критикой — «империалисты в своих странах используют психоанализ в собственных целях», — но возражая против скрытого антисемитизма некоторых его нападок²². В ответ они получили ядовитый упрек: «Убедительно прошу вас, товарищи, не переводить важнейший идеологический спор в русло общей демагогии». Напуганная ассоциация объявила о самороспуске в 1949 году. Гимеш-Хайду и Херманн подписали декларацию о том, что «психоанализ является продуктом гнивающего капитализма и антигосударственной идеологии». Книги Фрейда, Адлера и Юнга были запрещены, Херманна изгнали из университета, а нескольких психоаналитиков арестовали²³.

После этого венгерские психиатры приняли на вооружение советскую практику воздействия на больных, преимущественно основанную на грубых методах электрошоковой и инсулиновой терапии — тогда популярных, впрочем, и на Западе, — основной целью которой было принуждение людей к подчинению. Специалист, обучавшийся в то время, вспоминал, что «нервное истощение» было одним из самых распространенных послевоенных диагнозов, а вызываемый медицинскими средствами сон выступал основной формой терапии: «Даже те люди, которые были травмированы пребыванием в концентрационных лагерях или опытом холокоста, не имели шансов получить связанный с этим состоянием диагноз. ...Всекие разговоры о травме отрицались, поскольку самих психоаналитиков отрицали». Этот специалист полагал, что Гимеш-Хайду, которая была его учителем, подверглась гонениям и из-за своего трагического прошлого. Потеряв мужа во время холокоста, она никогда не упоминала об этом²⁴.

Между тем Гимеш-Хайду, Херманн и некоторые другие преданные фрейдисты продолжали практиковать тайно. Гимеш-

Хайду принимала пациентов на дому и даже преподавала психоанализ на частных квартирах. Публично она разделяла официальное воззрение на человеческую психику, как склонную к врожденному конформизму. Но частным образом она выслушивала, как пациенты, среди которых были узники концлагерей и дети заключенных или казненных коммунистов, описывали свои весьма уникальные психологические проблемы. По воспоминаниям одного из этих пациентов, опыт психоанализа в Будапеште 1948 года был весьма странным, поскольку откровенность в тот период могла оказаться опасной: «Я рассказывал всю правду. ...Но, раскрывая себя психоаналитику, я подвергался несомненной опасности. “Осознает ли он это? Могу ли я доверять ему? Не выдаст ли он меня?” — спрашивал я себя». Но положение доктора было не менее рискованным. После того как один из пациентов Херманна был приговорен к смерти во время процесса над Райком, психоаналитик почувствовал всю глубину грозившей ему опасности: если бы клиент упомянул его имя, то его арестовали бы²⁵. Для Гимеш-Хайду тяготы подобной жизни оказались чрезмерными, особенно после того как режим казнил ее сына, участвовавшего в революции 1956 года. В 1960 году она свела счеты с жизнью²⁶.

Двойная жизнь Гимеш-Хайду была чрезвычайно драматичной, но ее опыт не был уникальным. Антон Райкевич в годы войны сражался в рядах «крестьянского батальона» Армии крайовой, после войны вступил в партию, в 1946 году с отвращением покинул ее, а в 1948 году на короткое время подвергся аресту. При этом он был умным и амбициозным юношей, хотел получить докторскую степень в одном из наиболее престижных университетов — в Школе центрального планирования и статистики — и желал внести вклад в развитие своей родины. Ему казалось, что с некоторыми идеями партии, например с важностью образования и научного прогресса, он может согласиться, хотя отрицал другие. Кроме того, иного выбора у молодого человека просто не было. Он подал заявление и был принят в число студентов. Среди его преподавателей было несколько советских специалистов, которых пригласили специально разъяснять

полякам принципы централизованного планирования, используя учебники, переведенные с русского языка. Он вновь присоединился к партии и начал, по его словам, осваивать двойную жизнь: «Приходилось по-разному вести себя на официальных и партийных мероприятиях и среди своих друзей»²⁷.

Райкевич, подобно многим молодым партийцам, сохранил контакты с друзьями из Армии крайовой и свободно говорил с ними о политике. В то же время в университете он старался следить за своей речью. Никто не давал ему никаких инструкций, но, «читая газеты, такие, например, как *Trybuna Ludu*, можно было интуитивно догадываться, каких тем лучше избегать». Райкевич прекрасно знал все пороки системы и подмечал присущие ей проявления несправедливости. Но иного пути учиться, работать и жить в коммунистической Польше он не видел. Как и Ванда Теляковская, он смотрел на жизнь позитивно, веря в прагматичные решения и преодоление трудностей. Его «двойная жизнь» продолжалась до смерти Сталина, когда круг людей, с которыми он мог говорить открыто, значительно расширился.

В жизни Райкевича идейный водораздел отделил дружеские связи от профессиональной жизни. А для Яцеска Федоровича, позднее актера и артиста кабаре, он оборачивался расколом между домом и школой. Даже будучи ребенком, Федорович понимал, что есть то, что можно говорить среди домашних, но недопустимо произносить в школе. Как отмечает его современник, «мы осваивали этот код очень быстро, уже в начальной школе и с нулевым знанием политики. ...Мы точно знали, о чем можно рассуждать в различных средах — в школе, в кругу близких и не очень близких друзей, дома и на каникулах»²⁸. Подобно Райкевичу, Федорович тоже вышел из семьи, связанной с Армией крайовой, а его отцу отказали в работе в Гданьске, из-за чего семья вынуждена была сменить место жительства. Родители укрепляли его убежденность в том, что дома и в школе применяются различные правила и даже действуют разные толкования одних и тех же слов. Однажды, когда ему предложили принести клятву скаута, он, придя домой, спросил у матери, правильно ли присягать на верность демократии, если «демо-

кратию» в Польше насаждали русские. Она разъяснила ему, что есть два вида демократии: «реальная» и «советская»; к первой следует стремиться, а от второй лучше держаться подальше.

Федорович также отыскивал подсказки для правильного поведения в детских книгах и журналах, где их ненамеренно расставляли авторы. Ему особенно нравился детский журнал *wiat Przygód* («Мир приключений»), так как в нем были комиксы. Но после того как его переименовали в *wiat Młodych* («Мир молодежи»), он перестал быть интересным, а рассказы в картинках с его страниц исчезли. (Возможно, комиксы, как капиталистическое изобретение, сочли идеологически некорректными.) По мере того как мир официоза делался все более скучным, мальчик чувствовал все большее отчуждение от школы.

У Федоровича были учителя, которые не симпатизировали режиму; он вспоминает, как один из них, объясняя что-то, любил воспроизводить одну и ту же схему — «марксисты думают так-то, а мы думаем так-то». Позже он пришел к выводу, что почти все вокруг переоценивали эффективность коммунистической пропаганды и, как следствие, преувеличивали число людей, поддерживавших систему. Но, как и Гимеш-Хайду, он тоже считал, что невозможно жить в коммунистической стране и никак не соприкасаться с системой, полностью избегая компромиссов с ней, пусть даже самых невинных — вроде участия в коммунистических праздниках или подписания петиций за «мир во всем мире»²⁹.

Детский опыт Кароля Модзелевского оказался еще более противоречивым и сложным. Родившийся в России Модзелевский был сыном советского офицера и польской коммунистки. В 1937 году, через три недели после рождения мальчика, его отец был арестован, ребенка забрали в детский дом, где он прожил несколько лет. Однако после второго замужества его матери удалось забрать ребенка из приюта, поскольку отчимом Кароля оказался Зигмунд Модзелевский, коммунист, который был послом Польши в СССР в 1945–1947 годах, а позднее министром иностранных дел Польши. Об аресте своего биологического отца Кароль случайно узнал от одноклассника только в

1954 году, когда ему исполнилось семнадцать лет. Только тогда он впервые смог поговорить с матерью об отце.

Спустя много лет он был убежден, что такой разговор стал возможным только потому, что Сталина уже не было в живых: «Раньше никто не рассказывал детям о таких вещах — всегда существовала опасность, что ребенок выдаст секрет. Ведь это угрожало не только ему, но и его родителям». Жена Кароля Модзелевского лишилась возможности ходить в детский сад в трехлетнем возрасте; это произошло из-за того, что она после смерти Сталина сказала воспитательнице: «Мой дедушка говорит, что Сталин уже горит в аду». Педагоги отослали ребенка домой, причем не в порядке наказания, а из желания избавить дедушку и само учреждение от возможных неприятностей.

Родители Модзелевского столь тщательно оберегали его от своих сомнений в правильности польской политической системы, что, будучи ребенком, он ужасался случайно вырывавшимся у них критическим высказываниям. После ареста генерала Вацлава Комара в 1952 году в связи с показательными процессами того времени Кароль пытался объяснять отчиму, вторя школьным учителям, что Комар был шпионом: «Мой отчим накричал на меня. ...Он никогда не бранился так, как в тот раз. Я говорил, что генерала арестовали, но отчим ответил: “Арест еще не означает, что человек виновен”. В то время эта банальная истина потрясла меня. Если отчим прав, значит, власти арестовывают невинных граждан. Кто мог сказать такое? Только враг...».

Юноша укрепился в своих выводах, когда разговор однажды зашел об изменениях в карточной системе. Его приемный отец высказался в том духе, что реформу задумали с единственной целью: «чтобы люди меньше ели и больше работали». Кароль был шокирован: «Лишь враг мог сказать что-то подобное. ...Я запомнил тот случай потому, что для меня все это было ужасным потрясением, мне трудно было согласиться с услышанным. ...Я не считал отчима врагом, но он рассуждал как враг. Чувство возникшего тогда диссонанса живо во мне и сегодня, после стольких лет»³⁰.

В утаивании и сокрытии «неудобной» информации семья Модзелевских была не одинока. Кишиштоф Помян, еще один выходец из коммунистического семейства, вспоминает, что «об арестах просто не нужно было говорить, их принимали без комментариев. А поскольку предмета обсуждения не было, размышлять также было не о чем». В 1952 году он вместе с приятелем-евреем читал отчеты о показательных процессах в Праге. Друг спросил его, что он думает о суде над Сланским, и Помян ответил, что у него нет никакого мнения по этому поводу: «Такой же процесс, как и другие». Друг взорвался: «Ты не видишь, что это антисемитское дело?». Этот первый разговор о процессах заставил юношу задуматься³¹.

Ощущение раздваивающейся лояльности преследовало даже тех, кто был близок к власти. Ежи Моравский, в то время возглавлявший Союз польской молодежи, не сомневался в своей юношеской вере в коммунизм даже в сталинские 1950-е годы. Но даже тогда он считал партийные собрания откровенно скучными: «Все эти мероприятия проходили предельно формально. На них царил дух нетерпимости к иному мнению. От присутствовавших партийцев ожидалось только согласие. Все должны были думать одинаково и действовать одинаково. ...Эта формалистика губила энтузиазм».

Позже Моравский стал одним из ведущих пропагандистов страны; точнее говоря, именно он был человеком, который решал, какие сталинские лозунги надо использовать в публичных местах. Но даже на этом высоком посту его мучили сомнения по поводу работы: «Что-то внутри меня всегда говорило, что это неправильно, эстетически непривлекательно... но с другой стороны, именно так мы и убеждали людей в своей правоте»³². Возможно, в этом воспоминании мемуарист не вполне честен — задним числом легко рассказывать о сомнениях и колебаниях, но неоднозначность восприятия признавалась в то время многими. «Двенадцать лет нацистского режима кое-чему научили людей, — говорил профессор из Лейпцига знакомому партийцу, — и если они подозревают, что человек как-то связан с властью да вдобавок с партией, они немедленно закрывают рты»³³.

Раздвоение личности между домом и школой, друзьями и работой, персональным и общественным было единственным способом для людей жить в мире с режимом. Некоторые пытались предпринимать то, что Иван Витани называл «собственно-ручной промывкой мозгов». Это не было похоже на решительную попытку Оскара Нерлингера превратиться из художника-абстракциониста в социалистического реалиста, скорее речь шла о том, чтобы заставить себя молчать. После войны Витани, будучи активистом движения народных колледжей, с энтузиазмом изучал крестьянскую музыку и народные танцы. Но после того как он в 1948 году выступил против смещения руководства организации *Nékosz*, его исключили из колледжа и подвергли партийному разбирательству. В конечном счете его оставили в партии, но тут началось дело Райка, и в средствах массовой информации зазвучала некая угроза. Хотя Витани сотрудничал с режимом, работая в министерстве культуры, он решил, как он рассказывает: «Я не буду больше думать о проблемах страны. Я не хочу о них знать. Единственное, чего я хочу, — это заниматься своей работой».

Из общительного и склонного поспорить молодого человека он превратился в молчуна. И хотя через многие годы он соглашался с тем, что о пользе тактики «собственно-ручной промывки мозгов» можно спорить, именно благодаря ей, по его словам, ему «удалось выжить». Он вел себя так, как надо было вести себя в социалистическом обществе. Он знал границы дозволенного; свои мысли держал при себе; избежал ареста. В то время это считалось большой удачей³⁴.

Храня молчание, некоторые еще и преднамеренно «забывали» или игнорировали какие-то факты своей биографии. Эту тактику избрала Эльфрида Брюнинг, журналистка и писательница из Восточной Германии, еще до войны состоявшая в коммунистической партии — ребенком она даже виделась с Вальтером Ульбрихтом — и отправленная нацистами в тюрьму. В конце войны она тихо жила в деревенском доме, принадлежавшем родителям ее мужа, пребывая в радостном ожидании прибытия русских и искренне торжествуя, когда они действительно пришли³⁵.

После завершения боевых действий Брюнинг с энтузиазмом окунулась в культурную жизнь коммунистического Восточного Берлина. Она вступила в *Kulturbund* и начала работать в издаваемом этой организацией еженедельнике *Sonntag*, стремясь освоить журналистскую профессию. В одной из первых своих статей она описывала поездку в Берлин на грузовике, груженном луком и морковью. По прибытии в город грузовик окружили нищенки с детьми на руках: «Пожалуйста, только одну морковку для моего ребенка!». Когда она вручила статью редактору, тот отклонил ее: «Отдайте это в западноберлинскую газету *Tagesspiegel*», — сказал он. Она ошеломленно смотрела на шефа: он действительно хочет, чтобы ее материал опубликовали на Западе? «Мы, граждане Восточной Германии, — объяснил он с презрением, — должны излучать оптимизм». В ее статье слишком много негатива; жизнь надо описывать такой, какой она должна быть, а не такой, какая она есть.

Брюнинг не имела намерения публиковаться или работать в западном издании. Все ее друзья остались на Востоке, и она сама, культурно и интеллектуально, принадлежала к коммунистическому движению. Поэтому она убедила себя в том, что «оптимизм» действительно важен, что в конечном счете важны идеалы коммунизма, а не ошибки, которые допускаются на пути к их осуществлению. Многое в новой системе ей было не по душе: «культ личности Сталина... нелепые транспаранты повсюду... лозунги наподобие “Каждая искусственно оплодотворенная свинья — это удар по империалистическим поджигателям войны”»³⁶. Она не одобряла карточную систему, которая разделила население на классы, а также наличие на предприятиях столовых двух категорий — «обычной» для рабочих и «улучшенной» для управленцев. Но она упорно настаивала: «Мы тем не менее были преданы делу возрождения страны и всеми силами пытались переубедить людей, которые совсем недавно верили Гитлеру».

В своей автобиографии Брюнинг рассказывает, что она была убеждена в правоте своего дела. Она любит противопоставлять достижения Востока неудачам Запада: «Разве мы не открыли

университеты для детей рабочих? Разве мы не освободили женщин от невежества, открыв им доступ ко всем профессиям и гарантировав равные с мужчинами права, включая право на одинаковую зарплату за одну и ту же работу? Ведь западные государства не выполняют это требование даже сегодня. Наше государство было наилучшим — мы были убеждены в этом... мы гордились своей независимостью и полагали, что идем правильным путем»³⁷.

Брюнинг научилась обосновывать свои решения, находить им рациональный смысл, вписывать факты в более широкий контекст и рассматривать их в долгосрочной перспективе. Но она никогда не пыталась убедить себя, что черное есть белое или что в системе, которую она предпочла, вообще нет изъянов. В 1968 году, после советского вторжения в Чехословакию, она хотела эмигрировать, но не сделала этого. Она подружилась с Сусанной Леонард, матерью Вольфганга Леонарда, которая побывала в воркутинском лагере, но потом вернулась в Восточный Берлин. Под впечатлением от истории жизни этой семьи Брюнинг начала интервьюировать других бывших заключенных ГУЛАГа. После 1989 года она опубликовала сборник этих интервью под названием *Lästige Zeugen* («Неудобные свидетели»). Слова из предисловия вполне применимы к ней самой: «Их слишком долго заставляли молчать и таиться. ...Теперь пришло время, чтобы выслушать мужчин и женщин, которые стали жертвами сталинской эпохи и которые сейчас рассчитывают на справедливость»³⁸.

В ходе интервью 2006 года я несколько часов беседовала с Брюнинг о ее жизни. Мы говорили о карьере, сотрудничестве с *Kulturbund*, ее существовании в послевоенном Восточном Берлине. Среди прочего она сообщила мне о том, что в 1945 году ничего не знала о массовых изнасилованиях и воровстве, которыми занимались красноармейцы, как не догадывалась и о массовых арестах, которые последовали потом. Я не настаивала на своей точке зрения. Но спустя несколько дней она перезвонила мне, сказав, что кое-что все-таки забыла и теперь хотела бы об этом поговорить. Так мы встретились во второй раз.

Действительно, сказала мне Брюнинг, она была рада освобождению. Но эта радость быстро угасла. Весной 1945 года советские солдаты, расквартированные в доме ее тестя, начали воровать книги и другие вещи для продажи на черном рынке. Ее муж обратился к командиру с просьбой остановить безобразие. В отместку один из военнослужащих подбросил в его чемодан пистолет. Оружие скоро «обнаружили», а мужа Брюнинг арестовали как диверсанта. Используя свое давнее членство в коммунистической партии, она смогла добиться его освобождения. Но после этого инцидента ее супруг отвернулся от коммунизма — и от нее самой — и эмигрировал на Запад. Больше она замуж не выходила.

Она подтвердила и то, что в сельской местности, где она проживала, массовых изнасилований не было. Но после войны она приехала в Берлин, чтобы найти своих родителей, и вот тогда ей довелось не только много услышать об изнасилованиях, но и встречаться с многими пострадавшими женщинами. Более того, на протяжении нескольких дней ей самой пришлось прятаться от советских солдат, которые «охотились» на женщин в тех местах, где жили ее родственники.

Спустя несколько месяцев Брюнинг провела какое-то время на морском побережье в селении Аренсхоп, где *Kulturbund* хотел основать писательский поселок. Но для этого нужно было подыскать подходящие места. Чтобы решить эту проблему, в отношении владельцев некоторых наиболее привлекательных прибрежных вилл были сфабрикованы обвинения. Те из них, кого не успели арестовать, бежали на Запад. В освободившиеся дома вселились чиновники от культуры.

Да, мы слышали обо всем этом, сказала мне Брюнинг, «но вы должны понимать: я приветствовала прибытие Красной армии и хотела строить социализм, а поэтому — сегодня я иногда упрекаю себя — всему этому мы старались не придавать большого значения». Ее голос стих — это было все. Она только хотела, чтобы я узнала то, о чем знала сама.

Жесткое разделение жизненного пространства на публичное и частное, домашнее и школьное, дружеское и рабочее отнюдь

не было единственным решением для тех, кто хотел преуспевать при коммунистическом режиме. Вместо того чтобы прятать свои противоречивые настроения, небольшая и неординарная группа людей предпочитала выражать их открыто. Вместо того чтобы испытывать конфликт раздвоенности чувств, они пытались играть двойную роль, оставаясь внутри системы и в то же время сохраняя некоторую независимость от нее. Удобными способами для этого были, например, официальные «оппозиционные» партии — фальшивые образования, которые создавались для замены реальных партий после того, как их лидеры бежали или арестовывались, и которые оставались лояльными режиму во всех отношениях. Так, восточным немцам, остававшимся в Христианско-демократической партии, позволялось открыто практиковать религию, хотя одновременно предполагалась их приверженность принципам марксизма-ленинизма. А полякам, сохранявшим членство в Крестьянской партии, разрешалось представлять фермеров, если только это не вступало в конфликт с официальной политикой.

Никто в Восточной Европе не играл в эту особенную игру более искусно, чем Болеслав Пясецкий, политик, чья необычная карьера в течение одного только десятилетия привела его от радикальных правых к радикальным левым. Оценки его жизненного пути весьма разнообразны. Еще в 1956 году Леопольд Тыманд осуждал его как человека, для которого «любая мораль в политике представляется вредным мифом»³⁹. Недавно один из биографов назвал его «трагической фигурой»⁴⁰. Прочие мнения, касающиеся Пясецкого, лежат где-то между этими суждениями. Для одних это классическая история коллаборациониста, для других — повесть о выживании.

Карьера Пясецкого началась в беспокойные 1930-е годы, когда будучи очень молодым человеком, он сделал себе имя, основав фракцию в рамках крайне правой польской национал-радикальной партии. Члены этой группы, называвшейся «фалангой» — прямая аллюзия на испанский франкизм, были убеждены, что живут во времена морального и экономического кризиса. Подобно коммунистическим партиям той поры, они также вери-

ли, что польское общество глубоко прогнило, а слабость демократии и «вздор» демократического либерализма заслуживают всяческого порицания. Впрочем, несмотря на их антисемитизм и восхищение авторитарными режимами в целом и итальянским фашизмом в частности, фалангисты оставались польскими националистами и поэтому, за немногими исключениями, не сотрудничали с Гитлером⁴¹.

В 1939 году гестапо отправило Пясецкого за решетку. После освобождения из тюрьмы он присоединился к движению Сопротивления и в конце концов — к Армии крайовой. Летом 1944 года, когда вспыхнуло Варшавское восстание, его партизанский отряд был взят в плен Красной армией в лесах к востоку от столицы. В ноябре он был помещен советскими оккупационными силами, возможно, в печально известные подвалы Люблинского замка. То, что происходило с ним дальше, по-прежнему остается предметом серьезных разногласий.

Большая часть источников согласна в том, что Пясецкий в плену рассказал абсолютно все. Он предоставил советским офицерам, которые его допрашивали, полный отчет о своей карьере в Сопротивлении. Он также раскрыл имена и, вероятно, места пребывания многих своих товарищей из Армии крайовой, хотя к тому времени эта информация в основном была известна советским спецслужбам. В ходе допросов он усердно намекал на свою значимость, внушая советским офицерам, что именно он — руководитель «тайных операций» Армии крайовой, недавно назначенный на этот пост. Это было преувеличением, но подобная тактика принесла плоды.

Допросы Пясецкого были прекращены. Военные доставили его к Ивану Серову, советскому генералу, который организовывал «зачистку» и умиротворение восточной Польши в 1939 году и занимался тем же в отношении остальной территории Польши в 1944 году. Серов, уже арестовавший генералов Волка и Окулицкого, собирал об Армии крайовой любую доступную информацию. К огромному удивлению Пясецкого, высокопоставленный чекист вообще не интересовался его фалангистским прошлым: подобно большинству советских чиновников, он

полагал, что любой человек, не состоящий в коммунистической партии, являлся «правым» по определению, а между социал-демократами и крайне правыми нет особых различий. Гораздо большее любопытство у него вызывали нелегальная деятельность Пясецкого в годы войны, его предполагаемые «тайные» связи, политические взгляды и декларируемое им презрение к лондонскому эмигрантскому правительству поляков⁴².

Согласно его признанию, Пясецкий был рад найти множество точек соприкосновения с советским генералом. Его восхищали люди власти, он с удовольствием говорил на философские темы и делился некоторыми позитивными соображениями о новом режиме. Он сообщил Серову, что поддерживает коммунистическое Временное правительство и одобряет начатую им аграрную реформу. Он восторженно поддерживал изгнание немцев и завладение территориями на востоке Германии. Он хвалил «идею бескровной социальной революции и передачу власти рабочим и крестьянам». Но одновременно он изложил Серову мнение о том, что новое коммунистическое правительство столкнется с трудностями, завоевывая симпатии поляков, ибо этот народ отличают глубочайшие антирусские предрассудки и паранойя оккупации. Разумеется, это было правдой.

Пясецкий предложил Серову свое содействие. «Я глубоко убежден, — писал он советскому генералу, — что, опираясь на свое влияние, я смог бы подтолкнуть колеблющиеся слои общества к активному сотрудничеству». Иными словами, он обещал склонить патриотические и националистические элементы подполья к поддержке нового режима. Этот меморандум Пясецкого был также передан полковнику Роману Ромковскому, руководившему в оккупационной армии контрразведкой, и Владиславу Гомулке, в то время возглавлявшему коммунистическую партию⁴³.

Спустя десятилетия этот таинственный диалог между известным своей жестокостью генералом НКВД и харизматичным польским националистом стал в Варшаве почти легендой. Деталей встречи никто не знал, но у каждого была своя версия. В 1953 году Чеслав Милош предложил фантастический сценарий

этого разговора в романе «Захват власти» (*«Zdobycie Władzy»*), опубликованном после его эмиграции на Запад. Разумеется, история Милоша — продукт писательского воображения. Но, как отмечает один из биографов Пясецкого, Милош был в Варшаве в 1945 году и слышал рассказы об этой известной встрече. Кроме того, его самого пытались склонить к сотрудничеству с новым режимом. Его видение, таким образом, выглядит вполне аутентичным, особенно в том эпизоде, где Каминский, прототипом которого выступил Пясецкий, предупреждает советского генерала, что «русских здесь ненавидят» и им нужно ожидать сопротивления: «Так вы предполагаете внутреннюю оппозицию, — сказал генерал задумчиво. — Но заговор в нашей системе абсолютно невозможен, вы же это знаете. А поощрение убийств лишь увеличит количество жертв. Мы между тем начинаем строить поезда и возводить заводы. Мы вернули вам западные территории, которые, конечно же, всегда были славянскими, едва ли не до самого Берлина — и, если не ошибаюсь, таков был один из пунктов вашей предвоенной программы. Кстати, эти территории можно удержать только с нашей помощью. И что же в итоге?». В конце концов генерал в романе приходит к выводу: Каминского (Пясецкого) нужно освободить, ему стоит разрешить издание газеты, но при условии, что он «примет статус-кво и поможет нам сократить число жертв». Каменский (Пясецкий), поразмыслив, соглашается. Генерал с удовлетворением отмечает, что он не удивлен: «Вы уже поняли, что тот, кто хочет изменить мир, не должен неискренне клясться в верности фальшивому парламентаризму, а либеральные игры торгашей были лишь краткосрочным эксцессом человеческой истории»⁴⁴.

Хотя точные обстоятельства этого памятного разговора нам неизвестны, архивные свидетельства доказывают, что Пясецкий действительно произвел на Серова впечатление, и он даже рассчитывал помочь предприимчивому поляку с политической карьерой, назначив его на должность мэра Варшавы. (Когда ему напомнили о Пясецком через много лет, Серов, как сообщают, спросил: «И что же, он стал варшавским мэром?»)⁴⁵. Но Серов вскоре уехал в Берлин и в Польшу больше не возвращался.

Отъезд генерала поставил Пясецкого в странное положение. Он явно получил что-то вроде благословения от Советского Союза. Но польские коммунисты, которые не склонны были недооценивать его фалангистское прошлое, с подозрением относились как к нему лично, так и к его побудительным мотивам. Отнюдь не собираясь делать его мэром Варшавы, они поначалу вообще не способствовали его политической карьере. Впрочем, несмотря на это, в ноябре 1945 года они позволили ему начать издание первой в коммунистической Польше «официальной» католической газеты *Dzi i Jutro* («Сегодня и завтра»).

С самого начала газета жестко критиковала остававшуюся тогда легальной польскую Крестьянскую партию и ее лидера Станислава Миколайчика. Она также агитировала поляков поддержать на референдуме коммунистов, трижды отметив в бюллетене вариант «да». После того, как попытка укрепить новый режим посредством референдума провалилась, Пясецкий написал письмо Гомулке. Нынешнюю систему, заявлял он, «необходимо обогатить политическим представительством католиков»⁴⁶. Он также опубликовал интервью с Берутом, в котором коммунистический руководитель торжественно заявлял, что «польские католики имеют не больше, но и не меньше прав, чем все остальные граждане». Из этого комментария, в частности, следовало, что у них есть даже право на собственную партию. Это позволило Пясецкому в 1952 году основать *Рух* («Мир») — лояльную, легальную, прокоммунистическую католическую «оппозиционную» партию, единственную партию подобного типа, которой было дозволено существовать в коммунистической Польше и во всей коммунистической Европе.

И *Рух*, и сам Пясецкий существовали в странном, неопределенном и размытом политическом пространстве. С одной стороны, Пясецкий часто и с энтузиазмом выражал лояльность режиму. «Наша главная цель, — писал он, — это пересмотр католической доктрины с учетом текущего конфликта между марксизмом и капитализмом». С другой стороны, Пясецкий оставался одним из очень немногих общественных деятелей, кто никогда не отрекался от традиций подполья военной поры и

которого никто не принуждал осудить своих товарищей по Армии крайовой. Входящим в его круг ветеранам Сопротивления не нужно было отказываться от своего прошлого; кроме того, их никогда не арестовывали.

Для публичной жизни того времени все это было в высшей степени необычно; вокруг Пясецкого, как говорит Янош Заблоцкий, один из его бывших сподвижников, создавался «анклав свободы», а сам он был окружен аурой тайны. Никто не понимал, почему лидера *Рах* освободили от общепринятых правил — однажды ему удалось даже настоять на удалении полицейского информатора из своего окружения, — но каждый видел, что ему действительно позволено многое. Многие полагали, что «должна существовать какая-то договоренность, заключенная на самом высоком уровне», возможно, с участием советских чиновников, которая позволяла Пясецкому вести себя столь свободно. А кто-то надеялся, что его позиции еще более упрочатся. Именно такие надежды, кстати, вдохновляли Заблоцкого, когда он начинал работать в редакции газеты *Dzi i Jutro*. Сказанное верно и в отношении Тадеуша Мазовецкого, католического интеллектуала, который в 1989 году стал первым некоммунистическим премьер-министром Польши. Оба деятеля считали, что рано или поздно *Рах* сыграет важную роль в управлении страной⁴⁷. Сам Пясецкий тоже надеялся на это.

Двойственный статус Пясецкого на протяжении всей его карьеры создавал затруднения для многих. Из-за сепаратных отношений с советскими чиновниками он не пользовался доверием польских коммунистов. И хотя он продолжал играть в их игру (однажды, например, он предложил отправить наблюдателей-«миротворцев» от *Рах* в Северную Корею), правительство не стало привлекать его к оформлению союза «патриотического духовенства» и не обращалось к его помощи в переговорах между церковью и государством. В то же время его демонстративный католицизм не смог обеспечить ему ту любовь церкви, на которую он рассчитывал. Кардинал Вышинский недолюбливал Пясецкого и однажды запретил клирикам подписываться на

его издания, которые включали журнал *Słowo Powszechne* («Всеобщий мир») и газету *Dzi i Jutro*. Особое негодование Вышинского вызывало то, что именно Пясецкому власти доверили руководство благотворительной организацией *Caritas*, после того как ее прежнее руководство было смещено под надуманными предлогами. Когда беспринципные священники из *Pax* попались на продаже на черном рынке пенициллина, который был получен по линии гуманитарной помощи, кардинал пришел в ярость⁴⁸. Соперничество между двумя деятелями поощрялось коммунистической партией, которая, разумеется, не была заинтересована в создании единого фронта *Pax* и церкви. В более поздние годы партия специально поощряла распространение «официальных» церковных групп, создавая искусственную конкуренцию между ними и церковью.

В конечном счете в своей главной миссии Пясецкий потерпел поражение. Ему так и не удалось убедить «реакционные силы» присоединиться к новой системе, и он не смог уговорить коммунистическую партию сделать *Pax* равноправным партнером. Он был прав в своем предположении, что когда-то коммунистам придется передать власть оппозиционным силам — как это и случилось в 1989 году. Но сам он никак не мог воспользоваться такой ситуацией, поскольку появился на сцене слишком рано. Более того, за свои начинания ему пришлось заплатить очень высокую цену: в 1957 году его юный сын Богдан был похищен и убит. Вероятно, это сделала какая-то группировка внутри польских спецслужб — обстоятельства преступления остаются туманными по сей день⁴⁹.

Пясецкий приоткрыл в те времена для немногих «окошко свободы»; кроме того, благодаря его деятельности католический дискурс оставался частью общественной жизни и при коммунизме. Книги и газеты, издаваемые *Pax*, обеспечивали католическое образование для целого поколения читателей. С точки зрения самого Пясецкого, еще более важно было то, что он смог выжить. В то время как другие офицеры бывшей Армии крайовой погибли или сидели в тюрьмах, он и его коллеги создали свою партию, издавали свои газеты, занимали прочные позиции

внутри системы. Причем они были весьма влиятельными людьми. В 1955 году Мазовецкий, Заблоцкий и несколько их товарищей восстали против руководства Пясецкого. Но, оставив работу в *Dzi i Jutro* или в *Рах*, они обнаружили, что найти новую работу чрезвычайно трудно: все потенциальные работодатели были предупреждены спецслужбами и никто не хотел с ними связываться. Бунтовщикам преподали урок: борьба с Пясецким была столь же опасна, как и борьба с режимом⁵⁰.

Хотя это может показаться странным, но журналистская работа также могла быть для вынужденных коллаборационистов своеобразным выходом. Конечно, у тех, кто в ту эпоху писал о политике, не было особого выбора. Им приходилось принимать телефонные звонки от партийных руководителей, выслушивать их наставления, а потом писать, как велели. Но журналисты, трудившиеся в других сферах, были более свободными. Леопольд Унгер, работавший в начале 1950-х годов в газете *ycie Warszawy*, вспоминал, что даже тогда можно было свободно и критически писать почти обо всем, включая плохие дороги или нехватку городских автобусов, «не разрешалось критиковать лишь саму систему»⁵¹.

Действительно, помимо политики газеты занимались и другими темами, помещая на своих страницах самые разнообразные публикации. Александр Яковский, после неудачного опыта государственной службы в польском министерстве иностранных дел в конце 1940-х годов, начал редактировать в 1952 году — случайно, по его словам — журнал, посвященный народному искусству. В этой должности он задержался на сорок шесть лет, став известным экспертом по народному творчеству, которое он по-настоящему понимал и любил. Занимаясь своим делом, он не противостоял системе, но вместе с тем и защищать режим ему тоже не приходилось⁵².

До определенной степени сами режимы соглашались с необходимостью наличия как для читающей публики, так и для журналистов публичных зон, свободных от политики. Именно этим объяснялось принятое властями ГДР осенью 1953 года

решение об издании газеты *Wochenpost*. Хотя первый номер вышел после смерти Сталина, проект был задуман годом ранее. Идею предложили советские оккупационные власти. Некий генерал Красной армии, служивший в Берлине, пришел к выводу, что пресса Восточной Германии не имеет доступа ко всему населению, и особенно к женской его части. Офицер обратился к Руди Ветцелю, журналисту, который тогда пребывал в немилости у режима, поинтересовавшись, нет ли у того каких-нибудь соображений. Ветцель в ответ выдвинул план, который, казалось, не имел никаких перспектив.

Между тем закулисная дискуссия на эту тему расширялась. Авторы официальных отчетов и справок сокрушались по поводу «бесцветности и однообразия материалов, освещающих жизнь республики», а также сожалели об отсутствии статей по «садоводству, медицине, домоводству»⁵³. Осознав в конце концов всю скуку пропаганды в стране, руководство Восточной Германии обратилось к Ветцелю, предложив ему запустить новый журнальный проект. Их идеи были похожи на то, о чем сам Ветцель прежде говорил советскому генералу. Так появилась на свет газета *Wochenpost*.

С самого начала издание попыталось быть особенным и непохожим на другие. Ветцель начал подыскивать таких сотрудников, которые неоднозначно относились к режиму; первый состав редколлегии он называл «журналистской исправительной колонией, полной бывших осужденных». Их статьи, по крайней мере в сравнении с политическими трактатами *Neues Deutschland*, казались свежими и интересными. Первый номер, опубликованный к Рождеству, содержал советы по домоводству, легкие заметки и «женскую» страницу. В последующих номерах печатались рассказы о путешествиях, пространные репортажи и даже статьи для детей. При этом *Wochenpost* никогда не пыталась стать оппозиционной газетой в общепринятом смысле этого слова, и отчасти ее привлекательность объяснялась именно этим. Как утверждал журналист Клаус Полкен, *Wochenpost* была «не более революционной, чем ее читатели»⁵⁴. Как и они, газета хорошо чувствовала границы дозволенного.

Полкен одинаково хорошо знал и своих коллег, и читательскую аудиторию, поскольку работал в *Wochenpost* с первого дня и почти до самого конца. Спустя много лет он ностальгически вспоминает о своей карьере здесь, и нетрудно понять почему. К концу войны ему исполнилось четырнадцать лет, а в семнадцать он бросил школу и стал работать наборщиком в газете. В этом начинании его вдохновлял отец, коммунист и журналист, который считал, что юноша должен «вкусить настоящей жизни». После войны Полкен-старший стал редактором *Tribune*, профсоюзной газеты Восточной Германии. Но в марте 1953 года его внезапно арестовали: газета допустила опечатку при наборе некролога Сталину. Вместо того чтобы написать: «Сталин всегда боролся за дело мира», наборщик случайно набрал: «Сталин всегда боролся за дело войны». Редактора и наборщика приговорили к пяти годам тюрьмы, из которых они отсидели по три года. Во время судебного процесса Клауса Полкена тоже уволили, заявив, что он «никогда не будет работать журналистом». Тем не менее *Wochenpost* с удовольствием приняла его в свой штат.

В последующие четыре десятилетия Полкен сохранял лояльность изданию, которое предоставило ему второй шанс. Он также до самого завершения своей карьеры полагал, что газета обеспечила ему необычайно широкую свободу внутри необычайно репрессивной системы. Из-за истории с отцом, а также из-за многочисленных сомнений по поводу режима он старался держаться подальше от вопросов внутренней политики. Вместо этого он писал для газеты репортажи о путешествиях, публикуя истории со всех концов мира. Ему разрешали ездить повсюду, требуя, впрочем, соблюдения определенных условий. Перед поездкой в Египет, например, его проинструктировали воздерживаться от критики в адрес президента Анвара Садата, поскольку ГДР покупала у Египта много хлопка. Зато, приехав в Каир, Полкен смог целый день провести среди пирамид. «То была моя привилегия», — говорит он. В эпоху, когда лишь немногие восточные немцы вообще могли выезжать за рубеж, это действительно была большая привилегия.

Но за такую свободу приходилось платить высокую цену. Полкен, как и другие журналисты из *Wochenpost*, вынужден был

научиться читать между строк, следить за политическими сигналами и прежде всего не создавать «проблем». Когда я спросила его, какие проблемы имеются в виду, он объяснил, что обычно они начинались с телефонного звонка из ЦК партии, в ходе которого журналиста упрекали за пересечение невидимых границ. Продолжением могли стать выговор, проработка на партсобрании или увольнение с замечательной работы в относительно свободной газете. Полкен всеми силами старался избежать всего этого. Лишь однажды, когда он нарушил некое негласное правило и написал нечто, выходящее за установленные рамки, ему пришлось принять телефонный звонок с указанием: «Пожалуйста, предоставьте письменное объяснение, почему эта статья была опубликована». Для него этого эпизода было достаточно, чтобы понять, что подобное больше не должно повториться.

Даже тогда Полкен осознавал, что ему улыбнулась удача и что другие люди ему завидуют. Иногда он получал от читателей письма такого содержания: «Поскольку сами мы не можем путешествовать, читать ваши репортажи не желаем». Многие его соотечественники вообще относились к журналистам с настороженностью, воспринимая их как часть коммунистического аппарата, и отказывались давать интервью. Но идею принять участие в более явном инакомыслии он отвергал с порога: «Мне это казалось бессмысленным». Он не любил диссидентов, которые позже вышли на восточногерманскую политическую сцену, считая их «тщеславными и непорядочными людьми». Он подозревал, что некоторые из них примкнули к оппозиции только для того, чтобы получить выездную визу, позволявшую уехать в Западную Германию.

Полкен заключил договор со злом, которое внезапно исчезло в 1990-е годы, после того как и *Wochenpost*, и ГДР прекратили существование. Удивляться этому не стоит: сама жизнь требовала от него постоянного хождения по политическому канату, избегая всех деликатных тем. Тем не менее он чувствовал гордость за свою работу — даже спустя многие годы. Он любил писать и путешествовать; кроме того, ему полагались скромные

материальные преимущества и интеллектуальные удовольствия. Работа в *Wochenpost* оплачивалась относительно хорошо, по крайней мере по меркам Восточной Германии. У газеты было два дома отдыха, один неподалеку от Берлина, а другой на Балтийском море; журналисты могли ими пользоваться раз в три или четыре года. Редакция имела доступ в специальные бытовые учреждения, включая швейное ателье и обувную мастерскую, а также к особому дантисту: «Это берегло время, и он был очень хороший специалист». Как и у любого предприятия в ГДР, в редакционном здании имелась дешевая столовая.

Полкен ничего не изменил в системе, при которой ему пришлось жить, но он и не ощущал своей ответственности за ее бесчеловечные аспекты. Он держался в стороне от тайной полиции, носителей власти, политических дискуссий. Подобно Пясецкому, он преуспевал и процветал; сегодня он с тоской вспоминает годы, когда был странствующим журналистом. «Это была работа моей мечты», — говорил он мне⁵⁵.

Глава 17

Пассивные оппоненты

Пришло время, когда мы обязаны с чувством преданности выслушивать советские приказы, улыбаясь лишь складками наших задниц, скрытых под брюками, как это некогда делали лакеи византийских императоров. Героические жесты теперь не в чести; мы должны говорить языком цветов, быть терпеливыми и осмотрительными, как при Гитлере. Самое главное — выжить.

Дьёрдь Фалуди, 1946¹

Шутка делается смешной тогда, когда она покусается на устоявшийся порядок. Каждый анекдот — это тихая революция.

Джордж Оруэлл

К 1950 или 1951 году в Восточной Европе уже не было ничего, что можно было бы назвать «политической оппозицией». Да, горстка поляков по-прежнему, в ожидании лучших времен, прятала в амбарах пистолеты, а некоторые продолжали скрываться в лесах. Существовала санкционированная режимом оппозиция — в лице, скажем, Болеслава Пясецкого, чьи воззрения оставались весьма невнятными. Более того, некоторым людям разрешалось публично критиковать наименее важные решения, которые принимала власть; их даже поощряли к этому до тех пор, пока они придерживались заданных рамок. Как заявлял Болеслав Берут, «существуют разные виды критики: есть конструктивная критика и есть вражеская критика. Первая помогает нашему развитию, а вторая мешает ему. ...Никакая критика не должна подрывать авторитет лидера»².

Но при этом оставшиеся в живых командиры польской Армии крайовой сидели в тюрьмах или в советском ГУЛАГе. Наиболее влиятельные оппоненты венгерского режима были отправлены в Рекск. Критики коммунистов Восточной Германии либо уехали

из страны, либо затаились. Публичную сферу вычистили столь тщательно, что случайный турист, посещавший в начале 1950-х годов Варшаву, Будапешт или Восточный Берлин — а также Прагу, Софию или Бухарест, — не обнаруживал никаких признаков политической оппозиции. В средствах массовой информации доминировала пропаганда. Государственные праздники отмечались грандиозными парадами. В присутствии посторонних разговоры никогда не отклонялись от официальной линии.

Заграничному визитеру могло даже показаться, что местное общество едино в поддержке режима; некоторые гости действительно уезжали домой с таким впечатлением. Вернувшись из Варшавы в 1950 году, британская социалистка и супруга члена парламента от Лейбористской партии заявила толпе на Трафальгарской площади, что не увидела в Польше «никаких признаков диктатуры». Напротив, настоящий железный занавес, по ее мнению, был создан вокруг Великобритании, ибо британское правительство только что отказало во въездных визах делегатам из Восточной Европы, которые хотели посетить международную миротворческую конференцию в Шеффилде³. Другая ее соотечественница, столь же впечатленная визитом на восток, сравнивала посещение Варшавы с «выходом на яркое солнце после проливного дождя»⁴. И хотя подобные воззрения были крайними, в них отражались довольно распространенные предубеждения. Западное представление о том, что восточный блок состоит из однотипных стран с идентичными режимами и похожими друг на друга народами — «за пропускным пунктом “Чарли” начинается Сибирь», берет свое начало именно в эту эпоху.

И все же оппозиция существовала. Правда, речь шла не об активных и, разумеется, не о вооруженных оппозиционерах. Это была скорее пассивная оппозиция, выражавшая себя в анекдотах, уличных граффити и неподписанных письмах, оставшаяся анонимной и противоречивой. Ее представителей можно было найти во всех социальных слоях и возрастных группах. Иногда пассивные оппоненты режима и колеблющиеся коллаборационисты оказывались, по сути дела, одними и теми

же людьми. Многие граждане испытывали неловкость или стыд от своего поведения, которое позволяло сохранить работу, защитить семью и избежать тюрьмы. У других лицемерие общественной жизни — парады и демонстрации, так восхищавшие некоторых иностранцев, — вызывало отвращение. Скучные собрания, бессодержательные лозунги, нудные выступления вождей и бесконечные пропагандистские нравоучения раздражали их. Лишенные возможности высказывать свое мнение открыто, они тихо ненавидели режим.

Отнюдь не случайно и то, что самыми большими энтузиастами пассивного сопротивления в эпоху «разгула сталинизма» оказывались молодые люди, если, конечно, слово «энтузиазм» в данном контексте уместно. Уже в школе и в детских организациях они были объектами наиболее мощной и концентрированной пропаганды. На них ложилось главное бремя кампаний и навязчивых идей, исходящих от режима: именно молодежь отправляли собирать разные пожертвования и подписи, а также организовывать шествия и митинги. В то же время на новое поколение меньше давили ужасы войны, которую юноши и девушки зачастую не помнили, и они не так, как старшие, боялись перспективы оказаться за решеткой.

В итоге оппозиционные настроения, проявляемые молодежью на низовом уровне, отнюдь не были редкостью. Хотя организованный протест едва ли можно считать типичным для той эпохи, его проявления тоже порой встречались, а молодым людям приходилось дорого платить за участие в подобных акциях. В 1950 году двадцатилетнюю немку Эдельтрауд Экерт арестовали за распространение листовок в поддержку демократии. Она получила двадцать пять лет лишения свободы, которые стали для нее смертным приговором: на тюремном предприятии с девушкой произошел несчастный случай, в результате которого она получила тяжелую травму головы, а затем столбняк, убивший ее. Сначала из камеры, а затем с больничной койки она посылала домой письма, преисполненные надежды и оптимизма. «Мир настолько прекрасен, что в это просто нельзя не поверить», — писала она матери за несколько месяцев до смерти⁵.

Впрочем, гораздо чаще протест конца 1940-х — начала 1950-х годов выливался в шутки, анекдоты и издевки, мишенями которых становились неисправимо мрачные и лишённые чувства юмора молодежные лидеры. Так, в ходе избрания секретаря молодежной организации в одном из шахтерских городов Польши кто-то внес в избирательный бюллетень фамилию Аденауэра — политика, бывшего тогда канцлером Западной Германии. Естественно, в этой выходке усмотрели «враждебные происки», а для обнаружения ее инициатора провели специальное расследование. В другом случае молодой рабочий получил выговор за распространение в своей бригаде сочиненных им самим рифмованных куплетов, один из которых звучал так:

В заводской общаге чистота,
Но, увы, — отсутствует вода.
Если утром хочется умыться,
Не забудь, что надо прослезиться!⁶

К подобным эксцессам относились чрезвычайно серьезно. Только в 1948—1951 годах в Восточной Германии около 300 старшеклассников и студентов, допускавших подобные выходки, были арестованы и отданы под суд. Несколько молодых юношей из Иены получили по десять лет за то, что на официальном праздновании дня рождения президента ГДР Вильгельма Пика они швыряли в руководителей школы самодельные шутихи со зловонным газом. В 1950 году в лагерях и тюрьмах Восточной Германии содержались 800 юношей и девушек моложе семнадцати лет. Некоторые оказались за решеткой только за то, что гримасничали во время лекции о Сталине или рисовали по ночам на стенах домов букву «F», с которой начинается слово *Freiheit* — «свобода»⁷.

Но в распоряжении молодежи имелись и другие, менее вербальные формы протеста. Как раз в то время, когда западные подростки поняли, что с помощью длинных волос и синих джинсов можно весьма успешно выражать неудовлетворенность системой, подростки Восточной Европы, живущие под гнетом сталинизма, приняли на вооружение такие формы протеста, как брюки-«дудочки», пиджаки с накладными плечами, красные носки и джаз. В разных странах эти ранние «мятежные субкуль-

туры» имели различные названия. В Польше такую молодежь называли собирательным термином *bikiniarze* — очевидно, подразумевая тихоокеанский атолл Бикини, где Соединенные Штаты испытывали ядерные бомбы, или, что более вероятно, имея в виду пестрые галстуки с тропическими сюжетами, популярные среди «продвинутых» юношей и получаемые ими из посылок ООН и других организаций, занимавшихся оказанием гуманитарной помощи. (Самыми удачливыми считались те, кому удавалось раздобыть *makarturki* — солнцезащитные очки того фасона, какой носил американский генерал Макартур.) В Венгрии подобных молодых людей именовали *jampecsek* — это слово можно было перевести как «лоботряс» или «чувак». В Германии, и на востоке, и на западе, они были известны как *Halbstarke* — «шалопай» или «стиляги». Была и чешская версия — *potapka*, «утка», — подразумевающая, по-видимому, прическу, напоминавшую утиный хвост. Наконец, румынский вариант *malagambisti* обязан своим появлением известному румынскому джазисту-ударнику Сергиу Малагамбе⁸.

Мода, которой следовали эти юные мятежники, варьировала от страны к стране в зависимости от ассортимента местных бараколок, содержимого гуманитарных посылок с Запада, а также талантов местных портных. В целом парни предпочитали узкие брюки-«дудочки»; в Варшаве был даже портной, который специализировался на изготовлении их из обычных брюк. Девушки поначалу носили облегающие юбки-«карандаши», а позднее перешли на пропагандируемый в то время модельером Кристианом Диором стиль *New Look*, который предполагал платья с зауженной талией и широкие юбки, предпочтительно ярких расцветок. И юноши, и девушки предпочитали туфли на толстой резиновой подошве в американском стиле, которые в Венгрии стали называть *jampi*. В моде были также рубашки яркой расцветки, поскольку они сильно контрастировали с монотонной униформой молодых коммунистов, и широкие галстуки, часто расписанные вручную. Идея заключалась в том, что рубашки и галстуки должны контрастировать друг с другом. Особенно популярной была комбинация зеленого галстука и

желтой рубашки, которую в Польше прозвали «омлет с луком». Проживавший в Варшаве Леопольд Тырманд вводил в моду еще и полосатые носки. Он делал так, по его словам, демонстрируя «право на собственный вкус»⁹. Он с некоторой иронией дистанцировался от *bikiniarze*, которые в большинстве своем были моложе его, хотя в целом воспринимал их с одобрением: «Конечно, это была бедная, немытая, провинциально польская версия стиля *jitterbug*. ...Даже те, кто не искоренял ее, смотрели на нее свысока, хотя одновременно она вызывала и уважение — своей стойкостью, готовностью бороться с всевластным государством, противопоставлением себя серости и бедности»¹⁰.

Как и на Западе, одежда ассоциировалась с музыкой. Подобно своим западноевропейским собратьям, *bikiniarze*, *jam-pesek* и им подобные начинали как фанаты джаза — вопреки (или благодаря) тому, что молодые коммунисты безжалостно разбивали джазовые пластинки. Находясь под запретом, джазовая музыка неизбежно политизировалась. Даже прослушивание радиопередач, посвященных джазу, расценивалось как политическая деятельность: сама настройка отцовского радио на ту или иную заграничную волну считалась формой инакомыслия. Чрезвычайной популярностью пользовались музыкальные передачи коммерческой станции «Радио Люксембург»; позже эти лавры перешли к джазовым программам «Голоса Америки». Подобную деятельность приравнивали к диссидентской на протяжении четырех десятилетий — вплоть до падения коммунистических режимов.

Одежда и музыка сближали молодых мятежников из Польши или ГДР с американскими и британскими рокерами, стилистами, пижонами. Но в силу общей природы восточноевропейских режимов выбор одежды на востоке континента имел более глубокое политическое значение, чем на западе. По мнению властей, молодые стилисты по определению были вовлечены в деятельность черного рынка, а иначе где еще они могли доставать столь необычные наряды? Точно так же, по определению, они считались поклонниками потребительского общества американского типа. Подобно западным подросткам, они желали обладать кра-

сивыми вещами. Но им хотелось того, чего коммунистическая система предоставить не могла, и поэтому приходилось стараться изо всех сил. Бывший венгерский *jampesek* вспоминал, в какую даль ему нужно было забираться, чтобы стать обладателем желанных туфель на толстой подошве: «В южном округе были три торговца, имен я не помню, но они лично привозили товар. Мне кажется, это были югославы или какие-то южане. ...Возможность покупать такие вещи в рассрочку была большой редкостью, для этого нужно было иметь связи. ...Охотясь за дефицитным товаром, люди завидовали друг другу...»¹¹.

Кроме того, режим предполагал, что восхищение западной модой автоматически означало одобрение политики Запада. Коммунистическая пресса довольно скоро начала обвинять молодых мятежников не только в нонконформизме, но и в пропаганде упадочной американской культуры, подрыве коммунистических ценностей и даже получении инструкций с Запада. Нередко их называли саботажниками или шпионами. Но, вопреки ожиданиям, эта своего рода пропаганда оборачивалась тем, что разрозненные и слабые группы приобретали значимость, какой не обладали прежде. Одна польская газета характеризовала американскую поп-культуру как «культ пустой славы и бессмысленной роскоши, одобрение и возвеличивание самых низменных желаний, тягу к сенсации»¹². Официальные СМИ приравнивали *bikiniarze* к «спекулянтам, кулакам, хулиганам и реакционерам»¹³. Яцек Куронь считал, что подобные нападки скорее притягивали молодых людей к джазу, «западным» танцам, экзотичным нарядам. По его мнению, *bikiniarze* превратились в настоящий феномен контркультуры только после того, как на них обрушилась официальная печать: «Им говорили: “Вы *bikiniarze*”, и они отвечали: “Да, мы *bikiniarze*”. Подобное самозащитное утверждение заменяло им политическую программу, которая у них отсутствовала»¹⁴.

Шандор Хорват, венгерский историк, который специально изучал движение *jampesek* в период его расцвета, тоже утверждает, что венгерская молодежная субкультура создавалась газетной пропагандой. Кроме того, по его мнению, кампания против ее

представителей вдохновлялась, по-видимому, советскими гонениями на «хулиганство», развернувшимися как раз в то время. Он даже задумывается над вопросом о том, существовали ли *jampecek* изначально, или же коммунистические власти, нуждавшиеся во враждебном «другом», сами придумали их, позаимствовав описание своих антиподов из «вестернов, гангстерских фильмов, бульварных романов и комиксов», попадавших в Венгрию. Чтобы культивировать образ «хорошего» коммуниста, требовались «плохие» капиталисты, и *jampecek* вполне подходили для этой роли¹⁵.

Оказавшись в положении изгоев, группы модников начали привлекать людей, которые действительно желали бросить вызов системе. В Польше, например, происходили серьезные стычки между группировками *bikiniarze* и *zetempowcy* (прозвище, образованное от аббревиатуры ZMP, обозначавшей Союз польской молодежи), а также между *bikiniarze* и полицией. В 1951 году несколько молодых людей из пригорода Варшавы предстали перед судом по обвинению в вооруженном ограблении. Официальная молодежная газета *Sztandar Młodych* описывала их как «молодых бандитов, служащих американскому империализму», добавляя, что они носят характерные узкие брюки и ботинки на толстой подошве. Некий молодой активист в письме, отправленном в то же издание, делился собственным опытом: после того как шайка молодых «хулиганов», одетых в стиле *bikiniarze*, избил его только за то, что он шел по улице с коммунистическим красным галстуком на шее, он понял: «поклонники американского образа жизни являются врагами польского народа». Кшиштоф Помян, в то время лидер Союза польской молодежи в Варшаве, тоже подвергся нападению неизвестных в городском парке; по подозрению в совершении этого преступления арестовали одного из его одноклассников, которого, впрочем, позже освободили¹⁶.

Наблюдалась, однако, и противоположная тенденция. Молодые коммунисты, иногда в тандеме с полицией, выслеживали *bikiniarze* на улицах, ловили и избивали их, а потом обрезали волосы и кромсали галстуки. «Официальные» танцевальные

Разгул сталинизма



Первомайская демонстрация в Варшаве в 1952 г.

Под портретами Сталина и Берута транспарант «Да здравствует Польская объединенная рабочая партия — авангард рабочего класса, движущая сила народа!».



Первомайская демонстрация в Будапеште. Во главе колонны Ленин из папье-маше. 1949 г.

Соцреализм



Фрагмент панно Макса Лингнера «Строительство республики» (1952 г.).



Андраш Кочиш
за работой
над скульптурой
«Сельскохозяйственная
бригада»
(1954 г.).

Социалистические города



Женская
строительная бригада.
Сталинварош.



Молодые рабочие во время обеденного перерыва. Сталинштадт.

Фестиваль молодежи в Берлине. 1951 г.



Парад делегатов на стадионе им. Вальтера Ульбрихта.



Группа фанфаристов Союза свободной немецкой молодежи.

Фестиваль молодежи в Варшаве. 1955 г.



Спонтанный
танец...



...тщательно подготовленное представление.

Восстания



Демонстранты швыряют камни в советские танки. Берлин, 17 июня 1953 г.



Вынос раненого. Берлин, 17 июня 1953 г.



Венгерские повстанцы на танке. Будапешт, октябрь 1956 г.



Следы стрельбы по портрету Берута. Познань, октябрь 1956 г.



Советские танки возвращаются. Будапешт, 4 ноября 1956 г.

вечера нередко срывались после того, как *bikiniarze* начинали танцевать «в своей манере» — в стиле *jitterbug*, а «оскорбленные» присутствующие в ответ набрасывались на них с кулаками¹⁷. Куронь вспоминает, как секретарь местной партийной ячейки однажды поделился с ним следующим соображением: поскольку на «*bikiniarze* и хулиганов» никак не действуют ни газеты, ни радио, ни сатирические плакаты, пришло время сформировать группу из крепких молодых пролетариев и заняться ими всерьез. «С того момента стоило только *bikiniarze* появиться на нашей танцевальной площадке, молодые коммунисты немедленно устраивали им взбучку»¹⁸. Подобные ситуации имели место и в Венгрии.

В Восточной Германии молодежные проблемы стояли еще более остро; это было связано с несомненным влиянием американского радио, которое вещало не на потрескивающих от помех волнах «Радио Люксембург», а прямо из Западного Берлина. Западногерманская танцевальная музыка, расходившаяся на пластинках, тоже, к неудовольствию режима, пользовалась огромной популярностью. На конференции композиторов ГДР, проходившей в 1951 году, один музыковед обличал «американскую индустрию развлечений» как «канал, посредством которого яд американизма проникает в головы рабочих, парализуя их мозг». Угроза, исходящая от джаза, свинга и прочей популярной музыки, по его словам, «не менее опасна, чем боевые отравляющие газы». За ней стоит «дегенеративная идеология американского монополистического капитала с ее некультурностью, пустой сенсационностью и одержимостью войной и разрушением». «Все это — пятая колонна американизма, — заключал специалист. — Было бы ошибкой недооценивать опаснейшую роль американских хитов в подготовке к войне»¹⁹.

По итогам этой конференции власти Восточной Германии предприняли активные меры по борьбе против новой напасти. По всей стране региональные правительства принялись заставлять танцевальные и музыкальные коллективы получать лицензии. В некоторых частях страны джаз запретили полностью. Хотя контроль не был систематическим, не обошлось без аре-

стов. По воспоминаниям писателя Эриха Лёста, некий джазист, столкнувшись с требованием сменить стиль, указал на то, что исполняет музыку угнетенного негритянского меньшинства. Тем не менее его арестовали и на два года отправили в тюрьму²⁰.

Режим также искал альтернативу западной музыке, хотя получалось у него не очень хорошо. Никто не знал, как должна звучать прогрессивная танцевальная музыка или где ее можно будет исполнять. В Немецкой академии искусств собрали специальную комиссию музыковедов, которым предстояло обсудить «роль танцевальной музыки в нашем обществе». Они были единодушны в том, что подобная музыка «должна предназначаться только для танцев». Но музыковеды не смогли прийти к единству в другом вопросе — стоит ли исполнять танцевальную музыку по радио: ведь «ограничиваться просто ее прослушиванием невозможно, ибо слушатель забудет, для чего она вообще предназначена». Они также опасались, что молодые люди будут настаивать на «буги-вуги» вместо «настоящей» танцевальной музыки²¹.

В мае 1952 года министерство культуры попыталось решить эту проблему, объявив конкурс по созданию «новой немецкой танцевальной музыки». Состязание провалилось, так как никто из участников не смог покорить отборочную комиссию, ожидавшую, вероятно, обрести что-то вроде современной версии венских вальсов Штрауса. Согласно отчету комиссии, представленному в ЦК партии, многие поданные на конкурс работы основывались на темах, далеких от прогресса и воспитания, таких, например, как чувственная любовь, ностальгия, бегство от действительности. Только песню о Гавайских островах, по мнению жюри, вполне можно было бы исполнять и в Любеке.

В основном молодые восточные немцы реагировали на подобные вещи ироничными шутками или откровенным хохотом. Некоторые ансамбли открыто издевались над письмами, которые получали от партийных чиновников, вслух зачитывая их публике. Другие просто не обращали внимания на правила. Один шокированный чиновник представил начальству доклад, где описывал «дикие каскады звуков высокой громкости» и

«столь же дикие телодвижения», которые он услышал и увидел на одном концерте. Разумеется, из-за гонений появились и новые перебежчики. Одна музыкальная группа, числившаяся среди особо заметных «пропагандистов американского бескультурья», вызвала сенсацию сначала своим побегом на Запад, а потом — регулярной трансляцией своей музыки в обратном направлении на волнах Радио американского сектора.

Проблема западной музыки и западной молодежной моды была для восточного блока вечной. Особую актуальность она приобрела после сенсационной записи песни *Rock Around the Clock*, достигшей Восточной Европы в 1956 году и ознаменовавшей пришествие рок-н-ролла. Но к тому моменту коммунистические режимы прекратили борьбу с поп-музыкой. Джаз после смерти Сталина стал легальным, по крайней мере в некоторых странах. Правила, касавшиеся ношения одежды, были смягчены, а Восточная Европа постепенно обзавелась собственными рок-группами. По словам историка, битва против западной поп-музыки «была проиграна Восточной Германией еще до строительства Берлинской стены». Точно так же ее проиграли и в других социалистических странах²².

Для взрослых, которые в эпоху «разгула сталинизма» должны были держаться за свои рабочие места и содержать семьи, броские наряды не являлись приемлемой формой протеста, хотя в некоторых профессиях допускалось и это. Марта Стебницкая, актриса, которая делала профессиональную карьеру в Кракове, в 1950-е годы прилагала немалые усилия, совершенствуя собственные шляпки²³. А Леопольд Тырманд, польский джазовый критик, обожавший узкие галстуки и цветные носки, тоже был для многих взрослых образцом стиля.

Но те взрослые, кто не мог или не хотел вызывающе одеваться, тоже умели выражать недовольство существующим положением вещей. Они, например, могли рассказывать анекдоты. При коммунистических режимах этот разговорный жанр был настолько повсеместным и разнообразным, что о нем написаны целые тома, хотя в самом использовании шуток в качестве

формы пассивного сопротивления нет ничего нового. Еще Платон писал об остроумном развлечении, а Гоббс отмечал, что шутка зачастую ставит шутника выше объекта своих насмешек. По словам Джорджа Оруэлла, «каждый анекдот — это тихая революция». В коммунистической Восточной Европе, где было не так много возможностей выразить недовольство властью или ошутить превосходство перед ней, а желание подорвать установленный порядок оставалось одновременно и неодолимым, и запретным, анекдот процветал²⁴.

Анекдот выполнял разнообразные функции. Самую главную из них наиболее точно обозначил советский диссидент Владимир Буковский, по словам которого «упрощение, производимое анекдотом, изобличает нелепость всех пропагандистских трюков. ...В анекдотах можно найти то, о чем не пишут в газетах, — это подлинное мнение людей о происходящем»²⁵. Хороший анекдот помогал рассказчику громко озвучивать истины, которые невозможно было бы обсуждать иным образом, например тот факт, что Советский Союз покупает польский уголь и прочие польские товары по ценам намного ниже рыночных: «Идут переговоры между Мао и Сталиным. Китайский лидер просит советского вождя о помощи: “Нам нужны миллиард долларов, 50 миллионов тонн угля и много-много риса”. Сталин оборачивается к своим советникам: “Доллары — ладно. Уголь — хорошо. Но где Берут достанет рис?”»²⁶.

В анекдотах также комментировалось и то, что польскую армию в 1950-е годы возглавлял советский генерал с польской фамилией: «Почему Рокоссовский стал маршалом польской армии? Потому что переодеть одного русского в польскую униформу гораздо дешевле, чем переодеть всю польскую армию в советские мундиры».

Не остался без внимания и тот факт, что даже творческим людям приходилось приспосабливаться к коммунизму: «Какая разница между художниками — натуралистами, импрессионистами и социалистическими реалистами? Натуралисты рисуют то, что видят; импрессионисты — то, что чувствуют; социалистические реалисты — то, что им прикажут».

Наконец, в анекдотах улавливалось и то, что даже верноподанным гражданам было весьма непросто принимать непопулярный режим: «Два друга прогуливаются по улице. Один спрашивает другого: “Что ты думаешь о Ракоши?”. — “Я не могу говорить здесь, — следует ответ. — Пойдем со мной”. И они скрываются в переулке. “Ну, теперь говори, что же все-таки ты думаешь о Ракоши”, — повторяет свой вопрос первый из друзей. “Нет, не здесь”, — говорит его собеседник, и они заходят в подъезд жилого дома. “Ну, теперь отвечай”. — “Нет, пока не могу — тут небезопасно”. Они спускаются в подвал. “Ну сейчас-то можно?” — настаивает первый. “Ладно, — отвечает второй, нервно озираясь по сторонам. — Наш руководитель вполне мне нравится».

Как и во многих других областях жизни, в сфере юмора коммунистическая монополия на власть оборачивалась тем, что анекдоты на любую тему, будь то экономика, национальная сборная по футболу или погода, оказывались политическими. Это обстоятельство, как прекрасно понимали власти, превращало анекдоты в антигосударственное деяние, и поэтому с неофициальным юмором пытались бороться. В инструкции, разосланной по венгерским летним лагерям руководством молодых коммунистов Будапешта, вожатых строго предупреждали: молодежь склонна к распространению «вульгарных» шуток. Если это действительно будет замечено, воспитателям предписывалось включаться в эти забавы, чтобы склонить коллектив к более изящным и политически приемлемым формам юмора²⁷.

Однако не все молодежные лидеры были такими разумными. В докладах о настроениях польского студенчества, направляемых в министерство образования, отмечалось, что распространенные среди студентов «частушки, анекдоты и граффити» зачастую выражают «оппозиционные настроения» и, возможно, даже свидетельствуют о «контактах с подпольем»²⁸. За «неправильный» анекдот, рассказанный в неподходящем месте и в неподобающее время, можно было попасть в тюрьму, причем не только в 1950-е годы, но и позднее. Это обстоятельство легло в основу романа Милана Кундеры «Шутка», написанного в 1967 году и впервые представившего чешского писателя

международной читательской публике: его главный герой отправляет девушке почтовую открытку с явно политической шуткой — и в результате его исключают из партии и отправляют работать на шахту²⁹. А в 1961 году артисты кабаре из Восточной Германии были арестованы за представление под названием «Где собака зарыта», в котором была такая сценка: два актера начинают разбирать стену, кирпич за кирпичом. «Что вы делаете?» — спрашивает третий. «Мы сносим стены кирпичного завода!» — отвечают они. «Зачем? Ведь кирпичей и так не хватает!» — удивляется третий. «Вот именно, — соглашаются работники, продолжая трудиться. — Как раз поэтому мы и разбираем стены!».

То же кабаре, с целью обезопасить себя, представило на сцене бюрократа, который на любой вопрос отвечал цитатой из Вальтера Ульбрихта. Это выглядело забавно, но властям персонаж не показался смешным. В служебной записке, подготовленной по этому поводу, местный партийный босс с гневом писал, что «все представление состояло из провокационных поношений прессы, рабочих, партийных руководителей, молодежных лидеров». Актеров продержали в тюрьме девять месяцев, причем некоторых поместили в одиночные камеры. Позже один из них узнал, что сотни анекдотов и шуток, им рассказанных, оказались в распоряжении спецслужб³⁰.

Подобные инциденты свидетельствовали о явном отсутствии у коммунистов чувства юмора. Они также подчеркивали необходимость деликатного баланса, о котором приходилось помнить сатирикам, артистам эстрады и прочим шутникам, желавшим выступать легально. С одной стороны, необходимость привлекать публику требовала, чтобы они выступали смешно, остро и едко. С другой стороны, им приходилось избегать шуток, передающих реальные настроения людей, или вообще уходить от скользких тем. С подобной дилеммой сталкивались и официальные СМИ. Венгерское государственное радио попыталось подступить к этой проблеме в 1950 году, запустив проект «политической эстрады». Цель была вполне ясна: «Каждая хорошая шутка — удар по врагу. Новая программа, излучающая

оптимизм, укрепит наше общество». Впрочем, шоу продлилось всего два месяца, а потом было закрыто³¹.

Почти никто в сталинском восточном блоке не занимался этой проблемой так усердно, как Херберт Сандберг, бывший узник Бухенвальда, ставший редактором сатирического журнала *Ulenspiegel*, издававшегося в ГДР. Хотя первоначально редакция журнала располагалась в Западном Берлине, а само издание получило американскую лицензию, превосходная команда, которую он собрал, почти полностью состояла из художников и литераторов левых взглядов, близких к организации *Kulturbund* и коммунистической партии. Сам Сандберг, однако, не страдал избытком идейности. Смех он считал «целительным средством» и полагал, что он и его коллеги смогут внести вклад в реконструкцию немецкого общества, если направят свое разящее перо на нацистское прошлое и расколотое настоящее Германии.

На первых порах по крайней мере курс журнала полностью соответствовал представлениям главного редактора. В номере от 1 января 1947 года были помещены сатирическая статья об Аденауэре, обзор недооцененной критиками выставки детских книг (в серьезном Берлине просто не заметили ее «забавности, любви и волшебства») и критический материал о Вильгельме Фуртванглере, дирижере, в годы войны работавшем в Германии и не замечавшем зверства нацистов. Здесь были и карикатуры, критикующие застопорившийся процесс денацификации, и весьма открытая дискуссия о Третьем рейхе. Неоднозначное отношение Сандберга к разделению Германии и Берлина отразилось на обложке номера от 2 мая, на которой был изображен слепец, стоящий между флагами четырех оккупационных держав. Название карикатуры — «Смутное будущее» — не возлагало ответственность за раздел страны ни на американцев, ни на русских.

Подобный нейтралитет, однако, не мог сохраняться долго, и со временем Сандбергу пришлось определяться. По мере обострения напряженности между Востоком и Западом влияние коммунистов на редакционную линию, проводимую журналом, также росло. Объектами сатирических нападок все чаще становились

капитализм, Соединенные Штаты и немецкая беспомощность перед лицом западных «поджигателей войны». В декабре 1947 года на обложке рождественского номера появился немецкий ребенок, вопрошающий: «Мама, а что такое мир?». К весне 1948 года журнал лишился американской издательской лицензии. На обложке майского номера, вышедшего уже по советской лицензии, были изображены три моста: два из них, на которых было написано «валютное единство» и «экономическое единство», стояли целыми, а вот третий мост, с надписью «политическое единство», был разнесен взрывом на куски³².

За этим последовали обложки, высмеивающие Трумэна, де Голля и западные обещания демилитаризации, хотя Сандберг всеми силами противился превращению своего журнала в еще один инструмент пропаганды. Он занял «ошибочную» позицию в дискуссии о формализме, настаивая на своем восхищении такими живописцами, как Пабло Пикассо. Но компромисс оказался неустойчивым. К 1950 году отдел культуры ЦК партии позитивно воспринимал только тотальный конформизм. Как говорил один из его сотрудников, «нам нужна поддержка нашей сатирической прессы». Журнал, по замечанию другого, пытался приспособиться — «мы верим, что *Ulenspiegel* постоянно и неуклонно работает над самосовершенствованием», — но сомнения в его партийной принципиальности по-прежнему оставались³³. Все это, впрочем, уже не имело значения, потому что у издания не осталось читателей. Никто не хотел покупать сатирический журнал, который не был смешным, и в августе власти закрыли его. И хотя позднее он вновь начал выходить под похожим названием (*Eulenspiegel*), издание больше никогда не стало тем же.

И все же в узком кругу и за закрытыми дверями даже сами представители власти рассказывали политические анекдоты. Гюнтер Шабовский, журналист из ГДР, а позднее министр последнего восточногерманского правительства, делился с британским журналистом: «В *Neues Deutschland* мы постоянно обменивались анекдотами в столовой. Среди нас не было слепых, не видевших недостатки системы, но мы списывали все проблемы

на то, что прошло слишком мало времени, а классовый враг постоянно вставляет нам палки в колеса. Когда-нибудь, думали мы, все проблемы будут решены, и не надо будет анекдотов, потому что не над чем будет смеяться»³⁴. Об этом тоже были свои анекдоты. Один из них, вероятно, был заимствован из Советского Союза, поскольку в нем упоминались знаменитые стройки ГУЛАГа: «Кто строил Беломорканал?» — «Те, кто рассказывал политические анекдоты». — «А кто строил Волго-Донской канал?» — «Те, кто их слушал».

Юмор не всегда поддавался контролю со стороны государства. Одежда и мода также ускользали от чиновного ока. Кроме того, выяснилось, что и религиозные чувства не выходят контролировать. Те граждане коммунистической Европы, которые нашли себе местечко под крылом церкви, в основном старались вести себя очень осторожно, соизмеряя степень своей вовлеченности в религиозную деятельность с ценой, которую за нее пришлось бы заплатить. Юзеф Пуциловский состоял в ячейке Союза польской молодежи, лидеры которой решили, что вся группа должна обратиться к священнику за пастырским наставлением, причем на постоянной основе. Риск оказался оправданным: никто из членов группы не сообщил об этом властям³⁵. Будучи молодым человеком, Ханс-Йохан Шиче решил стать лютеранским пастором. Хотя в то время, в конце 1940-х годов, у него была возможность обучаться в Западном Берлине, он намеренно вернулся в восточную часть Германии, желая посвятить себя служению здесь. В работе священнослужителя его привлекала открытость: можно было читать самую разнообразную литературу, обсуждать материалы, недоступные большинству граждан ГДР, устанавливать контакты с западными священниками и церквями, одновременно избегая конфликта с режимом и оказывая посильную помощь его жертвам³⁶.

Но не все умели просчитывать, соизмерять и продумывать. Иногда подавляемые религиозные чувства спонтанно прорывались наружу.

Наверное, самая значительная вспышка такого рода произошла в 1949 году в польском городе Люблине. Все началось летом,

3 июля, когда местная монахиня заметила перемену в лике Девы Марии на иконе в городском кафедральном соборе. Мадонна — копия знаменитой Черной Мадонны из Ченстоховы, наиболее почитаемой польской иконы, — казалось, плакала. Монахиня позвала священника. Тот также засвидетельствовал чудо, и оба стали беспрестанно молиться перед иконой. Их примеру последовали другие верующие. С изумительной быстротой — телефонов тогда почти не было — новость о чудесных слезах Святой Девы распространилась по городу. Вечером из-за собравшейся толпы двери собора нельзя было закрыть.

В последующие дни информация разошлась по округе, и вскоре к собору стали стекаться паломники со всей Польши. Конечно, о чуде не объявляли публично, а режим делал все возможное, чтобы сбить волну религиозного энтузиазма. Власти блокировали общественный транспорт, направлявшийся в город, а вдоль дорог расставили полицейские посты, мешавшие тем, кто продолжал путь пешком. Но все эти меры оказались бесполезными. Очевидец тех событий вспоминает: «Был июль 1949 года. Поскольку продажу железнодорожных билетов в Люблин уже приостановили, мы впятером отправились в город пешком. Добравшись до собора, мы остались возле него на ночь. К утру тут была уже многотысячная толпа, и около семи часов люди начали выстраиваться в очередь, ожидая, когда откроют церковные двери. Спустя некоторое время пришел полицейский и увел священника, но люди продолжали ждать. Затем снова пришли полицейские и забрали ключи от церкви, но верующие по-прежнему не расходились. Вскоре к нам вышел епископ, который сказал, что надо расходиться, так как собор не откроют. Люди были потрясены этой новостью, но продолжали петь религиозные гимны и молиться. К обеду я оказался у бокового входа в собор и поначалу не понял, что там происходит. Потом стало ясно, что толпа выламывает двери, я бросился на помощь, а люди пели, молились и кричали: “Не смейте закрывать нашу церковь!”». В конце концов этот человек вошел в собор. Он увидел светящееся лицо Девы Марии, по щекам которой катились кровавые слезы. «Я уверен, что это было истинное чудо», — записал он потом³⁷.

Коммунистические власти оказались в сложном положении. Сначала они воспрепятствовали тому, чтобы эта история попала в газеты, надеясь, что все разрешится само собой. Но паломники прибывали, людей становилось все больше, и вскоре коммунисты сменили тактику. 10 июля началась специальная операция: в Люблин для поддержания порядка прибыли более 500 полицейских из Варшавы и Лодзи, а газетам дали указание начать кампанию по дискредитации чуда. Паломников называли не крестьянами (в коммунистическом лексиконе это слово имеет позитивную окраску), а «толпой безграмотной деревенщины, спекулянтов и торгашей», наживавшихся здесь на торговле водкой по вечерам. Изучив чудотворный образ, власти официально заявили о том, что икона была повреждена во время войны, какие-то отметины на лике Мадонны появились из-за сырости. На церковных лидеров, включая самого кардинала Вышинского, оказывалось давление: их заставляли объявить чудо фальшивым. Опасаясь, что на паломников могут обрушиться репрессии, духовенство попросило верующих разойтись.

Но верующие не расходились, а перед входом в собор появились палатки. В следующее воскресенье, 17 июля, произошло неминуемое столкновение. Местные коммунисты организовали демонстрацию на одной из центральных площадей. Ругань в адрес «реакционного духовенства», усиливаемую мегафонами, можно было слышать во всех городских церквях. В одной из них — в костеле капуцинов — богослужение началось с пения гимна «Нам нужен Бог!». Когда месса подошла к концу, и люди вышли на улицу, начались аресты. Прихожане пытались прятаться в близлежащих переулках, но весь центр был блокирован полицейскими, которые вылавливали верующих и заталкивали их в армейские грузовики. По замечанию одного историка, эта сцена ничем не отличалась от нацистских облав, проводимых в Люблине совсем недавно. Одних задержали на несколько часов, но были и те, кто оставался в заключении три недели³⁸.

Впрочем, к августу власти нашли способ придать событию политическое толкование. Как получилось, что новость о «чуде» разошлась так быстро и о ней узнали даже за сотни километров от

Люблина? Кто распространял этот фантастический слух по всей стране? Польское радио ответило на этот вопрос: организаторами «чуда» в Люблине были реакционные клерикалы, действовавшие вместе с врагами польского народа и его народной республики при поддержке радиостанции «Голос Америки». И это вовсе не удивительно, глубокомысленно заключал комментатор: «Американская радиостанция очень хотела, чтобы польские трудящиеся побросали свою работу в полях, и поэтому советовала им в невыносимых условиях дожидаться чуда на кафедральной площади. ...Произошедшее отнюдь не было проявлением веры. Это была организованная демонстрация средневекового фанатизма, вдохновляемая целями, которые не имели с религией ничего общего»³⁹.

Постепенно ажиотаж вокруг чуда в Люблине угас. Но в сталинской Европе происходили и другие события подобного рода. Двумя годами ранее в венгерской деревне Фаллошкут молодая женщина по имени Клара, сбежав от жестокого мужа, заночевала в поле и увидела сон, в котором Дева Мария велела ей искать в окрестностях родниковый источник. Она нашла его, а после увидела второй сон, в котором Богородица наказала построить вблизи источника часовню. Несмотря на бедность, Клара «с Божьей помощью» оплатила строительные работы: женщина убедила односельчан помочь ей, и в конце 1948 года часовня у родника была открыта — постройку торжественно освятили.

Хотя осторожный венгерский епископат отказался признать «чудо», в 1949 году Богородица являлась Кларе еще несколько раз, после чего девушку поместили в психиатрическую больницу и подвергли лечению электрическим током. Потом ее выписали, но в 1952 году она снова оказалась на больничной койке, получив диагноз «шизофрения». К тому моменту деньги на часовню жертвовали многие люди, включая раскаявшегося мужа Клары. Позднее, в 1970-е годы, она дважды была в Ватикане, пытаясь добиться официального признания открывшегося ей «чуда». В конце концов папское признание было даровано, но произошло это после смерти женщины в 1985 году⁴⁰.

Фаллошкут никогда не притягивал толпы, подобные тем, которые наводняли кафедральную площадь в Люблине. Но этой часовне с годами довелось сыграть особую роль в венгерской культуре. Наиболее пассивные оппоненты режима демонстрировали свою веру, без лишнего шума отправляясь в паломничество к источнику Клары и тихо наблюдая за чудесным действием святой воды. Несколько человек, страдавших от глазных болезней, как рассказывают, благодаря этой воде обрели здоровье. Немой мальчик, по слухам, начал говорить. Никто из людей, молившихся в этом месте, не рассуждал ни о политике, ни о коммунизме, ни о демократии, ни об оппозиции. Но каждый приходивший в Фаллошкут хорошо понимал, почему он здесь, а другие нет.

Формы пассивной оппозиции, связанные с церковью, не ограничивались верой в чудеса, паломничествами и молитвой. В эпоху «разгула сталинизма» религиозные институты продолжали существовать, несмотря на все ограничения, гонения и репрессии. Не каждый клирик присоединялся к «патриотическому крылу» духовенства и не каждый католический интелlectual добивался публичной карьеры. Те представители церковных властей, у которых хватало осторожности и осмотрительности, могли своими особыми средствами помочь людям, не желавшим иметь с коммунизмом ничего общего. Именно такое покровительство позволило Халине Бортновской выжить при сталинизме и не поступиться своей совестью.

Халине, которую мать, учительница, с малолетства наставляла «относиться к жизни серьезно», было тринадцать лет, когда закончилась война. Во время восстания они с матерью бежали из Варшавы и оказались в Торуне. Весной 1945 года девочка вернулась за школьную парту. Занятия возобновились спонтанно, никаких указаний сверху не было: учителя просто вновь начали учить, а дети просто хотели учиться. Это были прежние, довоенные учителя, которые пользовались прежними, довоенными учебниками. Разумеется, не все шло гладко. В мае или в июне, вспоминает Бортновская, прошел слух о том, что русские собираются депортировать польских детей. Учителя отослали школь-

ников по домам. Слух, однако, оказался ложным, и все вновь пошло своим чередом, по крайней мере на какое-то время.

Отряд скаутов, в который попала Халина, тоже начал свою деятельность спонтанно. Руководимая молодыми женщинами, которые прежде состояли в «Серых шеренгах» Армии крайовой, группа всеми силами старалась приносить пользу обществу. Она помогала беженцам, прибывавшим с востока, и поддерживала сирот. Скауты делали то, что считали нужным, не подчиняясь никакой государственной власти, несмотря на тревожные сигналы, которых становилось все больше.

В 1948 году ситуация изменилась. Директора школы уволили, а вместе с ним ушли и многие учителя. В Варшаве скаутское движение было поглощено Союзом польской молодежи, давление сверху усилилось, и девушки-инструкторы решили распустить свой отряд. «Скауты не могут существовать в позорной организации», — заявили они Бортновской и ее подругам. Группа не собиралась переходить на нелегальное положение: «Мы понимали, что это бессмысленно». Бортновская начала искать иные варианты общественно-полезной деятельности. Она присоединилась к католической студенческой группе *Sodalicja Maria ska* за день до того, как ее распустили. То же самое у нее получилось и с благотворительной организацией *Caritas*.

Огорченная, но тем не менее настроенная и далее следовать семейным ценностям и католическим убеждениям, Бортновская искала возможность выразить свое возмущение. Перелом случился, когда ее и подругу попросили подписать Стокгольмское воззвание, одну из многочисленных мирных петиций, которые распространялись в школе. Девочки подписали документ, но потом передумали. Они пошли к директору и попросили его аннулировать их подписи. Если бы их фамилии не стояли среди первых, никто ничего не заметил бы. Но тут получилось иначе: «они вызывали переполох и привлекали к себе всеобщее внимание... о них говорил весь город». После такой «черной метки» о получении высшего образования им нечего было и думать.

Бортновская могла устроиться на фабрику и уже подумывала об этом. Но друзья-верующие предложили ей еще один вариант.

Поступив в Католический институт во Вроцлаве, девушка могла стать преподавателем религии в начальной школе. Этот Католический институт, несмотря на звучное название, был фактически временным и неофициальным учреждением, никем не признанным, за исключением церкви. Вскоре после открытия его здания во Вроцлаве были конфискованы, а само заведение переехало в захудалый сельский пригород Ольштына.

Студенты института одновременно учились и учили. Они жили на деньги местных приходов, получая бесплатную еду от благодарных родителей и продуктовые пожертвования от прихожан. Они сами для себя готовили и за собой убирали. Общество между тем их почти не замечало. «С точки зрения властей нас как бы и не было», — говорит Бортновская. Послевоенный административный хаос, царивший в стране в целом и на бывших немецких территориях в особенности, позволял институту «не попадать на экраны радаров».

Бортновская оставалась в Католическом институте до 1956 года, когда обстановка стала более свободной и она наконец получила возможность подать документы в настоящий университет и получить реальную ученую степень. Тем не менее на протяжении шести лет она сумела выжить в коммунистической Польше, вообще не сотрудничая с государством. Все это время она, преподавая школьникам основы религиозных знаний, имела пищу и кров. Она не представляла угрозы для режима, и режим, вероятно, не интересовался ею. Она не играла роли в обществе и не придерживалась каких-либо политических позиций. У нее не было ни детей, ни семьи, и, таким образом, ей не приходилось беспокоиться о будущем своих близких. Ее мать была в состоянии заботиться о себе сама. Когда через полвека ее спросили, страшно ли ей было в то время, она пожала плечами. И да, и нет, ответила она. «Невозможно бояться непрерывно. Человек привыкает к этому состоянию и перестает обращать на него внимание». Именно так, укрывшись в деревне, она и поступала⁴¹.

Для тех, кто не мог или не хотел сотрудничать с режимом, не находил для себя убежища в церкви, не получал удовольствия,

высмеивая власть в анекдотах, оставался самый последний и наиболее драматичный выход — побег.

Легче всего было это делать восточным немцам. Поляки или венгры, покидавшие свои страны, оставляли на родине не только дома и семьи, но также язык и культуру. Для них покинуть страну означало навсегда стать изгнанниками. После 1949 года паспортный режим по всей Восточной Европе ужесточался, а границы укреплялись, что делало и без того трагический выбор еще более рискованным и трудным, поскольку каждому задержанному при незаконном пересечении границы грозила тюрьма. Согласно статистике Министерства внутренних дел Польши, в 1951 году только 9360 поляков по тем или иным основаниям пересекли государственную границу; из этого числа лишь 1980 отправились в капиталистические страны⁴².

Для немцев в ГДР подобный выбор порой оказывался чрезвычайно трудным, особенно для тех, кто владел собственностью или имел семью. Но это все же не становилось настоящей драмой. Ведь в Западной Германии был тот же язык и проживали такие же немцы. Переправиться через границу тоже было проще. Не в пример полякам, которым приходилось пробираться в западные страны через ГДР, Чехословакию или Балтийское море, немцам, которые в 1950-е годы хотели покинуть Восточную Германию, достаточно было, по крайней мере теоретически, преодолеть границу их страны с Западом.

Со временем эта внешне простая задача становилась все сложнее. Поначалу препятствия часто возникали на западной стороне границы. Поскольку поток беженцев шел почти исключительно с востока на запад, американская армия в Баварии и британская армия в северной Германии пытались притормозить его. Опасаясь, что мигрантов станет слишком много, а контроль над ними ослабнет, военные США в марте 1945 года ввели паспортный контроль на границах своей оккупационной зоны, по своему усмотрению разрешая или не разрешая въезд в нее. Принимаемые ими меры были не слишком эффективными: беженцы пробивались в американскую зону лесными тропами или обходили пограничные посты с помощью контрабандистов

или подкупа советских солдат. Тем не менее прецедент был создан: постепенно все союзные армии в Германии оборудовали собственные пограничные пункты и дорожные блокпосты, контролируя дороги, ведущие в соответствующие зоны, и требуя от людей, пересекавших внутренние немецкие границы, иметь с собой паспорта и визы⁴³.

Как и следовало ожидать, начались приграничные «инциденты» — советские солдаты стреляли в сторону американской зоны и наоборот — и споры о том, где именно должна проходить новая граница между Восточной и Западной Германией. Яблоком раздора стали каменные межевые столбы XIX века, которые можно было умышленно передвигать; апеллируя к этим историческим свидетельствам, некоторые города в советской зоне просили о переводе в американскую зону⁴⁴. В ответ Красная армия начала обустривать пустое пространство вдоль границы, которое позже стало нейтральной полосой. Позже целые деревни, располагавшиеся в этих приграничных районах, были эвакуированы. Союзники не раз проводили переговоры, обсуждая проблемы перемещения людей; с той же целью учреждались различные совместные комиссии. Одновременно создавались правила, регулирующие выдачу пропусков и разрешений.

Тем временем немцы продолжали идти и ехать с востока на запад. С октября 1945 года по июнь 1946-го около 1,6 миллиона человек перебрались в англо-американскую зону из советской зоны. К июню 1946 года уже Красная армия, а не американцы, требовала запретить межзональные перемещения, и американские солдаты, а не красноармейцы помогали немцам тайком просачиваться сквозь границу. (Например, немцы переодевались в американскую форму — этот трюк не так уж и сложно было раскусить⁴⁵.)

С 1949 года власти Западной Германии перестали рассматривать людей, прибывавших с востока, в качестве нелегальных иммигрантов. Теперь они считались политическими эмигрантами и жертвами коммунистической тирании. Их обеспечивали местами в лагерях для беженцев, а потом помогали найти постоянное жилье и работу. Откликаясь на эти изменения, советские

власти усиливали пограничный контроль, выделив для патрулирования границы дополнительные части Красной армии, а также начав возведение специальных ограждений и заборов.

На особом положении оставался Берлин. Хотя город располагался в советской зоне оккупации, организовать в городском пространстве непроницаемую границу было трудно (впрочем, строительство Берлинской стены в 1961 году показало, что это все-таки возможно). К тому же СССР на первых порах не хотел официального разделения города. Советские власти предпочитали, чтобы Берлин оставался единым и накрепко привязанным к восточной зоне. В результате возникли весьма причудливые процессы: восточные немцы начали стекаться в Восточный Берлин, чтобы пересечь границу с Западным Берлином, а оттуда на поезде или на самолете отправиться в Западную Германию. Тайна и интрига Берлина, столь привлекавшая авторов шпионских романов и режиссеров шпионских фильмов, берут свое начало именно в эту эпоху, когда в разделенном городе начиналась дорога к свободе.

Блокада Берлина 1948—1949 годов, описанная в главе 11, задумывалась с целью остановить этот исход, а также заставить союзников покинуть западную часть города. И хотя последнюю из этих задач выполнить не удалось, ужесточение пограничного режима внутри столицы ограничило свободу передвижения берлинцев. Под предлогом поимки спекулянтов черного рынка пограничная стража контролировала все транспортные каналы, проверяя паспорта и визы, а иногда и арестовывая предполагаемых беженцев.

По-настоящему строгий запрет был введен в 1952 году, после того как правительство ГДР образовало специальную комиссию, которой было предписано заниматься проблемой «убегающей республики». Естественно, среди предложенных ею мер было усиление пропагандистской работы: все громче обличались западные агенты, которые переманивали жителей востока фальшивыми обещаниями богатства, трудоустройства, жилья. Тем, кто был готов вернуться назад, правительство ГДР обещало хорошую работу и приличное жилье. Одновременно спецслуж-

бы начали собирать информацию о людях, которые уехали, чтобы лучше понимать их мотивы. В конце концов все пункты пересечения границы между Восточной и Западной Германией были закрыты для свободного передвижения людей; в Берлине это было сделано по мере возможности. Как раз на этом этапе полиция ГДР и Красная армия взяли под свой контроль и все дороги, ведущие в Восточный Берлин из Восточной Германии.

Но люди продолжали бежать. Несмотря на пограничный контроль, автоматы и танки, риск ареста или захвата, около 200 тысяч человек — а если быть точным, то 197 788 — в 1950 году перебрались из Восточной Германии на Запад. В 1952 году, даже после очередного обустройства границы, эта цифра сократилась незначительно — до 182 393 человек. До самого строительства Берлинской стены, прервавшего этот трафик, ежегодный поток перебежчиков составлял все те же 200 тысяч человек. В итоге в 1945–1961 годах из 18 миллионов населения Восточной Германии страну покинули 3,5 миллиона жителей⁴⁶.

Из этих 3,5 миллиона некоторые, останься они в ГДР, вполне могли стать оппонентами режима. Эрнст Бенда, молодой активист из партии христианских демократов, который проскользнул через границу, стал ученым-правоведом, одним из первых энтузиастов Свободного университета Западного Берлина и в конце концов председателем Конституционного суда ФРГ. Гизела Гнейст, в пятнадцатилетнем возрасте заключенная в лагерь Заксенхаузен за учреждение демократической молодежной группы, после освобождения тоже уехала за границу. Спустя десятилетия она помогала создавать мемориал советским узникам этого лагеря. Герхард Финн, арестованный подростком за принадлежность к партизанскому ополчению *Werewolf*, пересек границу и примкнул к антикоммунистическому движению Западного Берлина. Среди перебежчиков были художники, писатели и музыканты, которые, оставшись в ГДР, тоже могли бы стать инакомыслящими.

Не все беженцы попадали в разряд политических. Директор завода, расположенного в восточной части Берлина, объясняя представителям власти отъезд своих сотрудников, указывал на

несколько факторов: наличие родственников в ФРГ, неспособность завода оплачивать их отпуска на время учебы, обремененность долгами, надежды заработать на Западе больше денег. Вероятно, в этих рассуждениях смешение мотивов отразилось довольно точно. Последний пункт был особенно важным. К началу 1950-х годов экономика Западной Германии настолько опередила экономику Восточной Германии, что это было заметно каждому.

Но отнюдь не все из тех, кто остался, были несчастливы. Было бы большой ошибкой видеть дело так, будто после этого массового исхода в ГДР остались лишь пассивные и аполитичные граждане, или, как выразился немецкий ученый Арнульф Баринг, «каждый, кто был инициативен, энергичен и решителен, добровольно уезжал из страны тогда или же выдворялся из нее позднее». По крайней мере до появления в 1961 году стены, у тех, кто оставался, был дополнительный рычаг воздействия на власть: не получая жилья, повышения зарплаты или продвижения по службе, всегда можно было пригрозить отъездом. Представителей самых важных профессий, например врачей, осыпали привилегиями, гасящими мысли о лучшей доле. Когда после смерти Сталина муж двадцатитрехлетней Херты Кюриг сказал ей, что скоро режим изменится настолько, что многие из прежних беженцев могут захотеть вернуться в Восточную Германию, она подумала: «Господи, если это произойдет, то нам придется вернуть кому-то нашу квартиру»⁴⁷.

Зная о том, что у граждан ГДР есть выбор, коммунистическое правительство воздерживалось от сокращения зарплат и не слишком ужесточало полицейский режим. Кроме того, его страх перед массовым бегством граждан помогает объяснить, почему в Восточной Германии не было показательных процессов⁴⁸. Далеко не все оставшиеся были почитателями коммунистической системы, но они принимали сложившуюся ситуацию, определяя для себя степень допустимого компромисса и пассивной оппозиции. Они делали тот выбор, который считали оптимальным для себя и своих семей, с надеждой вглядываясь в будущее.

Глава 18

Революции

После восстания 17 июня поручил
Секретарь правления Союза писателей
Распространить на Сталин-аллее листовки,
В которых отмечалось, что народ
Подверг насмешкам доверие к правительству
И таковое вернуть можно, лишь удвоив усилия.
Не проще ли было бы правительству
Распустить народ и выбрать другой?

Бертольд Брехт. Решение¹

6 марта 1953 года жители Восточной Европы, подобно обитателям всего остального мира, проснувшись, узнали ошеломляющую весть: умер Сталин². По всему региону радиостанции транслировали траурную музыку. Магазины были закрыты. Повсюду вывешивались флаги, а миллионы граждан добровольно облачались в траур, повязывая черные ленты на рукава. Первые страницы газет вышли с черной каймой, фотографии Сталина в конторах и учреждениях декорировались черными уголками, а школьники сменяли друг друга в почетных караулах перед портретом усопшего вождя. Делегации предприятий и ведомств толпились в приемных советских военных комендантов по всей Восточной Германии, где в благоговейном молчании оставляли записи в книгах соболезнований. В городке Хайлигенштадт в католических церквах звонили колокола, а священники молились за упокой души товарища Сталина³. Толпы скорбящих заполнили Вацлавскую площадь в Праге, а в Будапеште десятки тысяч собрались у статуи Сталина. На Александрплац в Восточном Берлине была объявлена минута молчания⁴.

В Москве сталинские сподвижники и подражатели собрались на его похороны. Болеслав Берут и Константин Рокоссовский, Матьяш Ракоши и Клемент Готвальд, Вальтер Ульбрихт и Отто

Гротеволь — все были здесь. Тут же присутствовали Георге Георгиу-Деж из Румынии, Энвер Ходжа из Албании, Вулко Червенков из Болгарии. Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай прибыли из Китая, Пальмиро Тольятти из Италии, Морис Торез из Франции⁵. Георгий Маленков, Лаврентий Берия и Вячеслав Молотов руководили траурными мероприятиями, хотя на их лицах, как отмечал один из наблюдателей, «трудно было обнаружить следы скорби»⁶. Тем не менее эмоциональное напряжение было огромным. Готвальд, например, после похорон пережил сердечный приступ и вскоре скончался.

Перемены последовали довольно быстро. К моменту ухода вождя его сподвижники уже пришли к невеселому выводу о том, что дела в советской империи обстоят неважно. На протяжении многих месяцев они регулярно получали в высшей степени тревожные сообщения из Восточной Европы. Например, в декабре 1952 года советский посол в Праге сообщал о «практически полном хаосе» в чехословацкой промышленности, а также о резком повышении цен и падении жизненного уровня населения. После кончины Сталина и Готвальда Чехословакию захлестнула волна забастовок. В мае тысячи рабочих прошли маршем три километра, отделявшие заводы «Шкода» от мэрии города Пльзень, захватили здание, сожгли советские флаги и выкинули из окон бюсты Ленина, Сталина и Готвальда. Тем самым они спустя пять лет выразили символический протест против дефенестрации Яна Масарика, бывшего министра иностранных дел и антикоммуниста, которого выбросили из окна Пражского замка в 1948 году⁷. Забастовками была охвачена табачная отрасль Болгарии, до того момента самой послушной страны советского блока. Этот факт советское политбюро посчитало особенно показательным: уж если тишайшие болгарские рабочие пришли в волнение, то, значит, в остальных странах региона ситуация совсем скверная⁸.

Дурными были и новости из Восточной Германии. Несмотря на все меры по укреплению границы, полицейский контроль и колючую проволоку, «просачивание» людей с востока на запад становилось все более интенсивным. Более 160 тысяч немцев перебрались из ГДР в ФРГ в 1952 году, и еще 120 тысяч присоеди-

нились к ним за первые четыре месяца 1953 года⁹. Авторы одного из докладов предупреждали о «нарастании среди [восточногерманского] населения недовольства жесткой линией, которую проводит руководство ГДР»¹⁰. Сам Берия оставил весьма четкий и трезвый анализ ситуации: «Растущее число побегов на Запад можно объяснить нежеланием отдельных групп крестьян вступать в сельскохозяйственные кооперативы, страхом мелких и средних предпринимателей по поводу возможной отмены частной собственности и конфискации их имущества, стремлением некоторых представителей молодежи избежать службы в вооруженных силах ГДР, а также серьезными трудностями в снабжении продовольственными и потребительскими товарами»¹¹.

Но, несмотря на все эти осложнения, советские лидеры не ставили под сомнение свои идеологические ориентиры. Идеи марксизма непоколебимы по-прежнему, но, заключали в Москве, люди, которые их воплощали, не всегда оказывались на высоте: они были слишком жесткими, своенравными, торопливыми и некомпетентными. В особенности явными неудачниками выглядели партийные боссы ГДР. 2 июня советское руководство пригласило в Москву Вальтера Ульбрихта, Отто Гротевольа и главного идеолога Фреда Эльснера, чтобы объявить им об этом. На протяжении трех дней немецких товарищей «прорабатывали» в политбюро. Им поручили отменить ежегодные празднования дня рождения Ульбрихта, перейти к более либеральному курсу в экономике и отложить на неопределенный срок объявление о переходе Восточной Германии к «полному социализму». 11 июня на первой полосе партийной газеты *Neues Deutschland* было опубликовано заявление партийного руководства, которое содержало признание «серьезных ошибок» предыдущих лет, призыв прекратить коллективизацию и даже реабилитировать жертв политических процессов.

Спустя неделю состоялись советско-венгерские переговоры. На этот раз жертвами «проработки» стали Матьяш Ракоши, а также Эрнё Герё, Йозеф Реваи и Михай Фаркаш. Берия, который в Советском Союзе лично проводил жестокие допросы, выдвинул обвинение: Ракоши, по его словам, инициировал безоснователь-

ную «волну репрессий» против населения, лично указывая, кто должен быть арестован или подвергнут пыткам. Кроме того, коллеги Берии обвинили венгерского руководителя в «экономическом авантюризме». Принимая во внимание «разочарование венгров», хронический дефицит всего и экономические трудности, советские менторы заставили Ракоши отказаться от поста премьер-министра, позволив ему, впрочем, остаться генеральным секретарем Венгерской коммунистической партии¹².

На смену ему пришел Имре Надь, малоизвестный министр сельского хозяйства. Надь также был «московским» коммунистом, жившим в Советском Союзе еще в довоенный период, где, по утверждению историка Чарльза Гати, он, возможно, работал информатором НКВД и установил неформальные связи с советскими руководителями. Но Надь уже давно отстаивал идею плавного перехода к коммунизму и, еще более важно, не был евреем, что в глазах советского политбюро было огромным преимуществом¹³. Он сразу же принялся разрабатывать для Венгрии «новый курс» и через несколько недель уже был готов огласить его основные положения. В июле Надь впервые выступил в парламенте, поразив партию и страну. Премьер-министр призвал к прекращению форсированной индустриализации, свертыванию коллективизации и более гибкому подходу к культуре и СМИ. «В будущем, — вскоре объявит венгерский центральный комитет, — приоритетной целью нашей экономической политики должен стать неуклонный и существенный рост уровня жизни венгерского населения». Надь оставался марксистом и представлял свою политику в марксистских терминах: в его длинных, скучных и неудобочитаемых писаниях, нацеленных на защиту «нового курса», обильно цитировались Сталин и Ленин, — но в контексте эпохи он выглядел свежим и оригинальным лидером¹⁴.

У политбюро ЦК КПСС не было никакой заинтересованности в том, чтобы Восточная Германия и Венгрия занимались переменами ради самих перемен: либерализация восточного блока была задумана для того, чтобы сбить волну протестов и разочарований. Возможно, кто-то из советских руководителей уже мечтал о том, что со временем подобные перемены затронут

и СССР, где действительно через несколько лет началась «оттепель», убедившая многих в том, что радикальное обновление социализма возможно. Показательно также и то, что во всех своих беседах с восточноевропейскими партнерами, состоявшихся в 1953 году, советские лидеры ясно давали понять, что их критика направлена «не на какую-то одну страну, а на все народные демократии»¹⁵. За переговорами с Ульбрихтом и Ракоши последовали переговоры с албанским руководством. На конец июля планировалось продолжение переговорного процесса, а также разработка «новых курсов» для других стран. Политбюро намеревалось пригласить в Москву поляков, чехов и болгар, где им также должны были посоветовать сменить политическую линию и сделаться популярными — или подвергнуть себя риску неминуемой катастрофы.

Но катастрофа все равно наступила, хотя и не в той форме, которая ожидалась.

День 17 июня 1953 года выдался в Берлине солнечным и ясным. Тем не менее многие берлинцы выбирались из домов с трепетом, не зная, чего ждать от наступившего утра. Дело в том, что днем ранее Восточный Берлин стал ареной первых за послевоенное время массовых забастовок. Воодушевленные провозглашением «нового курса», обрадованные смертью Сталина и разочарованные тем, что обновленная политика, как выяснилось, не предполагает снижения производственных норм, берлинские рабочие вышли на улицы. Лутц Раков, журналист, 16 июня шагал вниз по Сталин-аллее вместе с сотнями рабочих-строителей, которые несли транспаранты: «Берлинцы, присоединяйтесь! Не хотим быть рабами производства!». Прислушались к этому призыву немногие. Но вновь выйдя на Сталин-аллею на следующий день, Раков увидел, что ситуация изменилась: «Теперь люди вливались в нашу колонну. Рабочие шли в центр даже из таких далеких мест, как Хеннингсдорф, несмотря на то что общественный транспорт не работал, а путь оттуда пешком занимал три часа»¹⁶.

Эрих Лёст, писатель, пытавшийся научить пролетариев писать театральные рецензии, тем утром направлялся в столицу из

Лейпцига на поезде и тоже видел забастовщиков. Одновременно он видел советские танки и военные грузовики, которые шли на север со своих баз в Шёнефельде и Альсдорфе. Они продвигались к центру Берлина с той же скоростью, что и его поезд. Из окна другого лейпцигского поезда — а может быть, и того же самого — танки видела и писательница Эльфрида Брюнинг. Она сидела с коллегой, которая вслух прочитала газетный заголовок: «Беспорядки в Бонне». «Удивительно, что о беспорядках в Бонне правительство уже знает, а о бунте в Берлине еще нет», — пошутила ее подруга¹⁷.

В западной части города Эгон Бар, тогда возглавлявший политическую редакцию Радио американского сектора, с волнением ожидал новостей. Пару дней назад в его офисе побывала делегация из Восточного Берлина, попросившая радиостанцию рассказать о планируемой забастовке. Он начал транслировать в эфир требования рабочих — среди прочего они желали снижения производственных норм, удешевления продуктов питания и проведения свободных выборов. Но вскоре в его кабинет ворвался куратор-американец Гордон Эвинг, приказавший немедленно прекратить трансляцию: «Ты что, хочешь развязать третью мировую войну?». Эвинг заявил Бару, что ответственность американцев, как и гарантии безопасности, которые они готовы предоставить, заканчиваются на границе, и ему стоило бы учитывать этот факт при подготовке передач. Позже Бар вспоминал, что это было единственное прямое указание, полученное им от американского правительства за все время работы на Радио американского сектора¹⁸.

В восточной части города члены немецкого политбюро с утра покидали свои дома, чтобы укрыться в штаб-квартире советских войск в Карлсхорсте от толп, желавших пообщаться с ними. Им пришлось провести там весь день, собравшись в кабинете советского посла Владимира Семенова. Причем оставались они там не по своей воле; когда Ульбрихт попросился домой, Семенов зарычал на него: «А если что-то случится с вами, когда вы будете в своей квартире? Подумайте, что сделает тогда со мной мое начальство!»¹⁹. Всем было понятно, кто управляет ситуацией: к

обеду члены политбюро узнали, что советские власти в одностороннем порядке ввели на территории ГДР чрезвычайное положение. Ему предстояло продлиться до конца месяца.

Ощущение своей бесполезности 17 июня мучило не только членов немецкого политбюро. Понаблюдав за маршем на Сталин-аллее, Лутц Раков пошел в свою редакцию. Но работы в тот день практически не было. Журналисты бесцельно слонялись из угла в угол, а главный редактор заперся в своем кабинете с секретарем партийной ячейки, не зная, что делать и какой линии держаться. Между тем Брюнинг и Лёст независимо друг от друга прибыли на давно запланированное заседание Союза писателей, где все говорили исключительно о забастовке. Генеральный секретарь Союза позвонил в Центральный комитет, а потом объявил писателям, что они должны выйти на улицы для обсуждения ситуации с рабочими. «И не позволяйте себя провоцировать!», — добавил он²⁰.

Лёст вместе со своими коллегами подчинился этому указанию. В качестве меры предосторожности они приколотили к пиджакам и рубашкам партийные значки. Брюнинг тоже отправилась в народ. Так же поступил и журналист Клаус Полкен, который приехал на метро в центр города и принялся выяснять, что происходит. К тому времени десятки тысяч человек шли по Унтер-ден-Линден к Дому правительства, на фасаде которого красовалась уже известная нам фреска Макса Лингнера «Созидание республики».

Продвигаясь вместе с людским потоком, Лёст видел, что ситуация выходит из-под контроля. Десятки молодых людей, настроенных крайне воинственно, доминировали в толпе. «Задумавшись, я поймал себя на поразительной мысли, — вспоминал он позднее. — Рабочие протестуют против рабоче-крестьянской партии, то есть против меня!». Кто-то поджег газетный киоск. Народной полиции нигде не было видно. Это было не случайно: Ульбрихт не доверял своим полицейским, и они появились на сцене лишь позднее. Но зато на улицах было множество советских солдат. «Они стояли с совершенно неподвижными лицами, каски пристегнуты, оружие у ног, — рассказывает Лёст. — С ними

были офицеры, никто не двигался»²¹. Но эти солдаты были всего лишь авангардом. Подлинная демонстрация силы была устроена советским командованием чуть позже. Лёст стоял на углу Унтерден-Линден и Фридрихштрассе, когда впереди показались танки. Через несколько сотен метров от него Карл-Хайнц Арнольд, тоже журналист, наблюдал за теми же танками из окна здания на углу Лейпцигерштрассе и Вильгельмштрассе. Сверху ему была хорошо видна толпа, собирающаяся перед Домом правительства: «Среди этих людей было множество провокаторов из Западного Берлина. Таким платят деньги и велят затеять беспорядок. Они абсолютно не были похожи на демонстрантов со Сталин-аллеи, состоявших сплошь из наших рабочих-строителей»²².

Ханс-Вальтер Бенджко, офицер-пограничник, смотрел на ту же толпу, но с другой стороны «баррикад». В то утро ему сообщили об особом задании и отправили охранять Дом правительства. Он не знал, кто преобладает в толпе — строители из Восточного Берлина или провокаторы из Западного Берлина, но зато он четко понимал, что это не «обычная» демонстрация с флагами и транспарантами, а «темная масса, колышущаяся из стороны в сторону». «Я думал, они собираются штурмовать здание, и опасался, что начнется стрельба, но что именно происходит, мне было неясно». Услышав грохот танков, Бенджко ощутил панику: он решил, что в дело вмешались американцы. Но потом офицер с радостью для себя обнаружил, что это Т-34 с красными звездами на башнях. Такое же облегчение почувствовал и Арнольд, наблюдавший эту сцену с верхнего этажа: «Это было что-то вроде разрядки — напряжение начало спадать». Два танка на минимальной скорости продвигались сквозь толпу, собравшуюся у здания. Люди расступались, чтобы освободить им дорогу. Одна из машин остановилась перед входом в Дом правительства, и Бенджко увидел, как из нее вышел командир советского гарнизона в Берлине: «Он вылез из танка и, миновав наш кордон, вошел в Дом правительства. Затем, вернувшись, он что-то громко сказал танкистам, но мы, конечно, не поняли ни слова. Возможно, он объявил о введении чрезвычайного положения. Танки развернулись и ушли в сторону Потсдамской пло-

шади. Люди начали разбегаться, некоторых при этом хватали и задерживали. ...Смутяны пытались атаковать танки; один из них достал из кучи мусора большое полено и засунул его под ведущее колесо так, что гусеница перестала двигаться»²³.

Некоторые танки открыли огонь, достигнув Потсдамской площади, хотя другие начали стрелять уже на Унтер-ден-Линден. Сотрудники народной полиции стреляли из пистолетов. Толпа разбежалась, почти никакого сопротивления не было: кое-кто швырял камни, но более ничего. Как предполагается, около пятидесяти человек погибли в тот день, но эта цифра не подтверждалась официально²⁴. Сотни людей были арестованы, а тринадцать из них позже были осуждены за государственную измену и казнены. Среди жертв были не только демонстранты: в городе Ратенау толпа бросила в канал сотрудника Штази, не позволив ему выбраться на берег²⁵.

В уличной неразберихе Полкен был арестован — его журналистское удостоверение оказалось бесполезным. Его запихнули в грузовик и доставили в штаб советских войск в Карлсхорсте. Там он провел два дня, страдая от грязи и голода, но понемногу успокаиваясь. Большая часть его сокамерников оказалась здесь случайно: в основном это были люди, присоединившиеся к демонстрации из любопытства или по наивности. Не все из них были берлинцами. Действительно, демонстрации в тот день прокатились по всем крупным городам и индустриальным центрам, в особенности тем, которые отличались крепкими коммунистическими или социал-демократическими традициями. Среди них оказались Росток, Котбус, Магдебург, Дрезден, Лейпциг, Эрфурт и Галле. В целом в забастовке в 373 городах приняли участие 500 тысяч человек и около 600 предприятий, а на различные шествия и демонстрации вышли от миллиона до полутора миллионов граждан²⁶.

Эгон Бар был чрезвычайно удивлен столь широким размахом протестов; ему казалось, что акции ограничатся Берлином. Услышав о том, что некоторые демонстранты за пределами столицы выдвигают требования, которые слово в слово совпадают с теми, которые транслировались Радио американского сектора

днем раньше, он ощутил толику ответственности за происходящее²⁷. Как выяснилось, русские в 1945 году были правы: радио в то время действительно являлось самым главным СМИ, и только оно могло собрать максимальную аудиторию. При этом аудитория Радио американского сектора превышала аудиторию государственного радио ГДР. «17 июня мы увидели, сколько людей слушают американское радио, — заявлял недовольный немецкий коммунист на совещании, происходившем через несколько недель. — Мы столько сил вкладывали в образовательную и идеологическую подготовку, но толка как не было, так и нет»²⁸.

В Берлине появление советских танков положило конец демонстрациям. Но к тому моменту, когда Семенов в два часа дня отправил в Москву первую телеграмму, и столице, и стране в целом был нанесен немалый ущерб. Окна в правительственных учреждениях были выбиты, а магазин русской книги в центре Берлина разграблен. В городе Горлиц неподалеку от польской границы толпа из 30 тысяч человек разгромила местное отделение коммунистической партии, управление безопасности и тюрьму. В Магдебурге штаб-квартира правящей партии и тюрьма были сожжены, а на заводах в окрестностях Галле рабочие разогнали полицию²⁹. Применялись и более деликатные формы сопротивления. На одном заводе рабочие свистом заглушали пропагандистские передачи, транслируемые заводской радиоточкой³⁰.

Восточные немцы реагировали на произошедшие события по-разному. Сторонники коммунистов, к которым, например, в то время относился Лёст, были возмущены тем, что рабочие выступили против партии рабочих. Видный журналист, политик Гюнтер Шабовски, официальное заявление которого о свободном порядке выезда из ГДР в 1989 году положило начало сносу Берлинской стены, вспоминает, что 17 июня убедило его «в уязвимости внешне непоколебимого детища коммунистов»³¹. Функционеры, подобные Арнольду, пытались возложить ответственность за беспорядки на подстрекателей из Западного Берлина. С ними соглашались люди, склонные оправдывать режим. Хотя позиция Бертольда Брехта позже стала более слож-

ной, о чем свидетельствует эпитафия к настоящей главе, его первой реакцией на берлинское восстание оказалось обличение «организованных фашистских элементов с Запада». В статье, опубликованной в газете *Neues Deutschland* через несколько дней после бунта, живший в то время в Берлине Брехт одобрял советскую интервенцию: «Только благодаря энергичному и четкому вмешательству советских войск эти попытки были сорваны»³².

Более внимательные наблюдатели, среди которых был и журналист Клаус Полкен, полагали, что большинство вовлеченных в манифестации людей составили возмущенные рабочие и случайные прохожие, — хотя Полкен даже спустя десятилетия считал, что тогда не обошлось без западного влияния. Поверить во что-то иное ему было слишком трудно³³. Лутц Раков придерживался противоположной точки зрения: «Все разговоры о западном заговоре есть полная ерунда, никто в это не верил. Даже сами распространители подобных слухов в них не верили»³⁴.

Советские власти, в распоряжении которых была разветвленная сеть осведомителей и шпионов, были менее удивлены забастовками, чем некоторые немецкие товарищи. Они знали, что 17 июня будут демонстрации и что им придется поддержать немецкую полицию. Они без колебаний вывели танки на улицы. Но они не ожидали, что демонстрации приобретут такой размах, получат столь широкую поддержку и обретут антисоветскую направленность. В одном из донесений, представленных Никите Хрущеву, упоминаются «насмешки», «грубые оскорбления», «неприкрытые угрозы», адресованные манифестантами советским военнослужащим и чиновникам, не говоря уже о швыряемых в них камнях. «Массы населения сохраняли ненависть в отношении советских официальных лиц, — говорилось в документе. — В ходе демонстраций она вырывалась наружу»³⁵.

Поначалу советские власти вообще не упоминали о западном вмешательстве в берлинские события. В первых донесениях посла Семенова говорилось только о забастовщиках, рабочих и демонстрантах. Но потом язык изменился, и он стал говорить о провокаторах, зачинщиках и хулиганах. СССР позже официаль-

но заявлял о «масштабной международной провокации, заранее подготовленной тремя западными державами и их приспешниками из монополистических кругов Западной Германии», хотя даже русские вынуждены были признавать, что для подтверждения этого тезиса им не хватает доказательств³⁶.

Советским дипломатам и военным, работавшим в Германии, версия «масштабной провокации» помогала сохранить лицо и скрыть неспособность предвидеть или предотвратить восстание. Возможно, для них это вообще было единственное логичное объяснение. Согласно их идеологии, их воспитанию, их пред-рассудкам все случившееся вообще представлялось чем-то немыслимым. Рабочие просто не могли подняться против своего государства, а немцы не могли выступать против власти. Сталин некогда высмеивал саму мысль о политических протестах в Германии: «Восстание? Но ведь они даже улицу переходят только на зеленый свет!»³⁷. Но теперь Сталин был мертв.

Непосредственной и довольно неожиданной жертвой берлинских событий стал Лаврентий Берия. 26 июня, спустя девять дней после подавления беспорядков, Хрущев успешно провел операцию по отстранению этого деятеля от власти. Главу советской госбезопасности застigli врасплох: собственные коллеги арестовали его, бросили в тюрьму и вскоре расстреляли. Хрущевым двигали в основном личные мотивы: он тревожился по поводу влияния Берии в органах государственной безопасности и не без оснований подозревал, что у конкурента есть компромат на все советское руководство. Но вместо того, чтобы предать свои опасения гласности, он предпочел возложить на поверженного чекиста ответственность за бунты 17 июня. И хотя никто из членов советского политбюро не возражал против «нового курса», который они сообща навязывали Ульбрихту, это не помешало им именно из-за Германии обвинить Берию в опасном «уклонизме», предательстве, своеволии и высокомерии.

Как и все, что происходило в советском политбюро, арест Берии эхом отозвался в Восточной Европе. Немецкие сторонники «жесткой линии» немедленно бросились в атаку на

«реформаторов», к которым прежде всего причислялись Рудольф Херрнштадт, тогдашний редактор *Neues Deutschland*, и Вильгельм Цайссер, босс Штази, обвиненных в тесных связях с опальным советским руководителем. В Будапеште Ракоши тоже начал намекать на то, что Надь лишился советской поддержки и скоро должен будет уйти³⁸.

Но, хотя немецкие коммунисты в ходе острых партийных дебатов после 17 июня, нелестно упоминали имя Берии, вовсе не вопрос о влиянии этого человека был для них главным. Разговоры, начавшиеся в ГДР летом 1953 года, стали составной частью более широкой дискуссии о природе восточноевропейского коммунизма. Нужна ли коммунистическим режимам либерализация, требуется ли им плюрализм, надо ли вернуть экономическую свободу? Или стоит придерживаться прежней жесткой, карательной и охранительной политики? Не приведет ли либерализм к хаосу? И не случится ли новая революция?

В июле 1953 года в Берлине звучали различные позиции. В ходе бурного пленума ЦК, состоявшегося в том месяце, Антон Аккерман, некогда оппонент Ульбрихта, заявил, что враги партии набирают силу. В связи с этим, говорил он, нужно жестче контролировать СМИ: «Публиковать можно только те письма редактору, которые прошли проверку на соответствие фактам»³⁹. Другой присутствовавший на пленуме функционер соглашался с этим, призвав партию «усиливать борьбу против формализма и за социалистический реализм», а также «прививать массам любовь к советскому искусству»⁴⁰.

Но сторонники либерализации отнюдь не были сломлены. На том же пленуме тогда еще министр госбезопасности Цайссер напомнил товарищам, что «смена курса» была придумана среди прочего и для того, чтобы отвратить людей от бегства из страны, и что «17 июня стало еще более тревожным сигналом массового недовольства». Йоханнес Бехер, бывший глава *Kulturbund*, также высказывался за ослабление контроля над СМИ и сферой культуры. Даже в СССР, говорил он, «выставление в Музее Гёте плакатов Союза свободной немецкой молодежи показалось бы делом немыслимым»⁴¹.

После немецких бунтов 1953 года споры между неосталинистами и сторонниками либерализации кипели и в других европейских столицах. В Варшаве борьба за персональную власть, которую вели между собой Берут и Гомулка, уже давно обернулась борьбой между двумя формами коммунизма — сталинской и «польской», то есть менее советской. Позиции Гомулки внешне усилились в декабре 1953 года, когда высокопоставленный сотрудник спецслужб Юзеф Святло — он возглавлял отдел Х, курировавший слежку за партийцами, — неожиданно бежал на Запад. Через несколько месяцев Святло начал на радио «Свободная Европа» серию выступлений, посвященных польским спецслужбам, где рассказывал о привилегиях партийной элиты, роли советских консультантов, а также — в мельчайших деталях — об аресте и заключении Гомулки. Его слушали миллионы людей, включая обитателей правительственных кабинетов. В своей записке, посвященной этим передачам, министерство безопасности с тревогой отмечало, что надежные прежде информаторы теперь отказываются от сотрудничества и хотят знать, рассекретил ли перебежчик их имена⁴². А в декабре Гомулка был освобожден из-под домашнего ареста⁴³.

В Будапеште события приняли иной оборот. Ракоши, сохранивший пост первого секретаря компартии (Венгерской партии труда), использовал берлинские беспорядки в качестве предлога для того, чтобы призвать к «бдительности» и развернуть подготовку к своему возвращению во власть. Воспользовавшись общей сумятицей в Москве, он настоял на сворачивании венгерского «нового курса». К 1955 году он убедил советские власти сместить Надя с поста премьер-министра. Ему на смену пришел более покладистый партнер — бывший молодежный лидер Андраш Хегедюш. В ответ Надь развернул еще более жесткую атаку на консервативную политику Ракоши⁴⁴. Но пока в верхах венгерской политики разгорались все эти баталии, в низах происходили совершенно иные вещи.

Если в ГДР первые признаки разочарования проявились в рабочих забастовках, то в Польше надлом сталинизма начался с

большого праздника. Этим событием стал Пятый международный фестиваль молодежи и студентов, проходивший в Варшаве летом 1955 года.

Подобно аналогичному событию, состоявшемуся ранее в Берлине, варшавский фестиваль задумывался в качестве масштабного пропагандистского мероприятия, на котором восточноевропейским коммунистам предстояло встретиться с товарищами из Западной Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Как и в Берлине, все нюансы форума тщательно планировались. Бурная пропаганда и официальный энтузиазм привлекли в польскую столицу сотни тысяч гостей со всей Польши. На протяжении пяти дней их развлекали танцами, театральными представлениями и прочими зрелищами⁴⁵.

И все же с самого первого дня работы гости фестиваля в основном интересовались не политикой, не культурой и даже не спортом. Наиболее острое любопытство поляков вызывали иностранцы. Впервые после войны на улицах польской столицы появились арабы в длинных облачениях, африканцы в национальных одеждах, китайцы в кителях, итальянские юноши в полосатых рубашках и французские девушки в цветастых юбках.

Мачей Росаляк, который в то время был ребенком, вспоминает свое удивление: «На смену серым, унылым, плохо одетым людям, жившим посреди мусора и руин, внезапно пришли обитатели другого мира. В отличие от наших родителей, с мрачными лицами слушавших радио “Свободная Европа”, пришельцы улыбались, а вместо того, чтобы говорить шепотом, они пели. Варшавские дети шныряли среди них и собирали автографы в специальные блокнотики. Итальянец нарисовал для нас карту своей родины, похожей на сапог, китаец оставил таинственные иероглифы, а прекрасная африканка написала свое экзотическое имя...»⁴⁶.

Контраст между поляками и иностранцами — в особенности гостями из Западной Европы, принадлежавшими к той же культуре, но более богатыми и открытыми, — был поразительным. *Trybuna Ludu*, газета коммунистической партии, приводила слова какой-то работницы: «Платья французских девушек такие

изысканные и прекрасные, неужели польская одежда не может быть такой же?»⁴⁷. Та же газета обращала внимание на контраст между не улыбающимися лидерами польской молодежи — «мы мрачны, напряжены, застегнуты на все пуговицы» — и их жизнерадостными иностранными партнерами. «Вдруг выяснилось, что можно быть “прогрессивным” и в то же время наслаждаться жизнью, носить яркую одежду, слушать джаз, шутить и влюбляться», — писал Яцек Куронь, который в то время был одним из этих серьезных функционеров⁴⁸. Особенно шокировало многих то, что молодые гости не стеснялись целоваться прилюдно.

Политические последствия этого неполитического опыта были очевидны уже в то время. Яцек Федорович, состоявший в эстрадной труппе «Бим-бом», которая выступала в одном из театров в дни фестиваля, вспоминает о том, как «мир внезапно раскрасился, представ в каком-то абсолютно несоциалистическом виде»⁴⁹. Акция, по его оценкам, была «пропагандистской ошибкой»: «В серую Варшаву запустили многоцветную толпу гостей». Десятилетняя антизападная риторика оказалась поверженной в прах: «Молодые люди из капиталистического мира здоровее выглядели и лучше одевались, несмотря на то что при капитализме, как нам внушалось, все ужасно»⁵⁰.

Непосредственность — человеческое качество, которое при коммунистических режимах из всех сил подавлялось, — внезапно расцвела пышным цветом. К ужасу организаторов фестиваля, поляки, немцы, венгры, чехи и другие представители социалистического блока активно общались друг с другом и с остальными, более экзотическими гостями, причем не только на улицах, но и в частных квартирах по всему городу. Романтические свидания, дружеские встречи, алкогольные вечеринки происходили без всякого надзора и контроля. Студенческая встреча в библиотеке Варшавского университета превратилась в открытую и жаркую дискуссию, в ходе которой выяснилось, что не все члены французской делегации состоят в коммунистической партии. Для таких молодых коммунистов, как Кшиштоф Помян, это был первый опыт публичных дебатов⁵¹.

Многие официально планируемые мероприятия тоже прошли не так, как задумывалось властями. В Арсенале в старой части города молодые польские художники устроили выставку картин, посвященную, разумеется, «борьбе за мир». Но внимание посетителей привлекла не столько тема, сколько необычайное разнообразие того, что было выставлено. Краски были насыщенными, а цвета кричащими. Аллегии казались туманными, а образы неожиданными. Эта абстрактная и авангардная композиция отметила завершение целой эпохи: после выставки в Арсенале социалистический реализм навсегда ушел из польского изобразительного искусства.

Непосредственность в искусстве влекла за собой стихийность в поведении. Иногда толпа впадала в неистовство; так, на одном мероприятии вышла из строя акустическая система, и возмущение гостей оказалось настолько бурным, что техникам пришлось спасаться бегством⁵². Люди громко возмущались нехваткой еды, невыносимой скукой некоторых фестивальных событий и засильем пропаганды, льющейся из повсюду развешанных репродукторов. «В Варшаве танцуют либо за, либо против чего-то», — написал один партийный писатель в своем обзоре фестиваля, но такое положение вещей нравилось далеко не всем⁵³. Публика просто покидала танцевальные представления, если на них преобладали неуклюжие крестьянские пляски и смертельно грустные вальсы.

И все же иногда гости фестиваля внезапно окунались в атмосферу подлинного веселья. В один из дней эстрадная труппа «Бим-бом» должна была встречаться со швейцарской делегацией. Но вместо официального обмена приветствиями, производимого с помощью переводчика под председательством чиновника из Союза польской молодежи, кто-то вдруг начал исполнять джаз, и пошли танцы. На этот раз артисты группы и их новые швейцарские друзья танцевали не «за» и не «против» — они танцевали просто для удовольствия⁵⁴. И в тот миг, когда под звуки джазовых ритмов они веселились, не обращая внимания ни на ошеломленных функционеров, ни на убогое окружение, «тоталитарный кошмар» оказался далеко-далеко.

Летом 1955 года члены Союза польской молодежи, забросив свои скучные собрания, танцевали с мексиканскими коммунистами и французскими парнями. А осенью их венгерские товарищи тоже попытались вдохнуть новую жизнь в деятельность напыщенной и самодовольной Лиги рабочей молодежи. Начинали они с малого: группа молодых сотрудников венгерского Национального музея решила организовать кружок для проведения литературных и политических дискуссий. Они обратились к поэту Иштвану Лакатошу с просьбой возглавить это объединение. Лакатош открыл первое заседание лекцией, посвященной венгерскому Просвещению, на которой читал стихи Дьёрдя Бешенеи, наиболее известного поэта той эпохи. Завершая разговор, он призвал участников встречи ценить идеалы Просвещения. Здесь же было решено образовать «кружок Бешенеи».

Это было скромное, элитарное и в чем-то, если можно так сказать, эзотерическое усилие. Тем не менее даже в таком своем виде оно обеспокоило Лигу рабочей молодежи, которая в каждой спонтанно образовавшейся группе видела угрозу. В прежние годы молодые коммунисты при поддержке властей добились бы запрещения кружка, изучавшего просветительские идеалы. Но теперь, после смерти Сталина, горячие дебаты о «новом курсе» Надя продолжались. Вскоре группа решила сменить руководство и направить энергию на обсуждение сюжетов, более современных и своевременных с политической точки зрения. Более того, ее члены переименовали свое объединение в честь Шандора Петефи, молодого поэта революции 1848 года, который, по их мнению, был ближе прогрессивному обществу, чем «буржуазный» поэт Бешенеи. Так возник «кружок Петефи» — дискуссионная площадка, на которой нарочито академические дискуссии быстро переросли в разговоры о цензуре, социалистическом реализме и централизованном планировании. Среди первоначальных тем значились крестьянское восстание 1514 года (предлог для обсуждения текущей аграрной политики) и анализ венгерской историографии (предлог для обсуждения фальсификации истории в коммунистических учебниках)⁵⁵. Но

выбор имени, как заметил венгерский писатель, оказался делом «обоюдоострым»: Петефи был революционером, отстаивавшим независимость Венгрии, и группа, взявшая себе его имя, вскоре почувствовала, что и ей надо становиться революционной⁵⁶.

Одновременно перемены затронули и различные институты режима. В редакции газеты *Szabad Nép*, прежде верно служившей коммунистам, начались брожения. В октябре 1954 года группу журналистов отправили на предприятия с поручением глубже ознакомиться с жизнью национальной индустрии. Они вернулись с желанием рассказать о дутых производственных показателях, падении жизненного уровня трудящихся, угрозах и шантаже при распространении государственных облигаций «в защиту мира». В вышедшей вскоре публикации они заявляли, что, «хотя жизнь людей труда за последние десять лет заметно улучшилась, рабочие по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами. Многие из них живут в перенаселенных и ветхих бараках, а кому-то приходится дважды подумать, прежде чем купить ребенку пару обуви или билет в кино». На следующий день в редакции приняли гневный звонок от члена политбюро, отвечавшего за партийную прессу: «Что вы хотели сказать этой статьей? Полагаете, мы будем терпеть подобную агитацию?». Не желая отступать, редакционный коллектив провел трехдневную конференцию, в ходе которой журналисты, один за другим, призывали к честному информированию, поддержке реформаторского курса правительства Надя и критике партийного руководства. Некоторые поплатились за это своей работой; среди них был, в частности, Миклош Гимеш, сын Лили Гимеш-Хайду, психиатра-фрейдида, занимавшейся нелегальной врачебной практикой. Но прецедент тем не менее был создан⁵⁷.

Между тем Союз венгерских писателей, отвечавший за политическую корректность венгерской поэзии и прозы, также приступил к коррекции прежних позиций, пересмотру табу и восстановлению ранее исключенных членов. К осени 1955 года это некогда консервативное объединение осмелело настолько, что выпустило специальное заявление, в котором выражало протест против увольнения редакторов, поддерживавших Надя, требо-

вало «автономии» для себя и возражало против «антидемократических методов, которые калечат нашу культурную жизнь»⁵⁸.

Большинство из недавно образованных или заново реформированных групп, клубов и дискуссионных кружков возглавили разочаровавшиеся молодые коммунисты в возрасте около тридцати лет. Их поколение нельзя было считать революционным — или, лучше сказать, контрреволюционным. Они успели ощутить на себе болезненный опыт военной поры и получали образование в коммунистических вузах. Кто-то испытал на себе последствия коммунистической политики «социального продвижения рабоче-крестьянских кадров», добившись заметного карьерного роста. Тамаш Ацел, активно участвовавший в дебатах Союза писателей, в двадцать девять лет уже был главным редактором партийного издательства и лауреатом двух престижных премий — Сталина и Кошута. Тибор Мераи, также член писательского объединения, в том же возрасте получил премию Кошута⁵⁹. Иштван Ерси, состоявший в «кружке Петефи», с юношеских лет печатал свои стихи.

Но при этом многие представители этого поколения были лично задеты разрушением гражданского общества, террором и чистками. Все они знали, что значит быть вынужденным играть роль «колеблющегося коллаборациониста». Тибору Дери, одному из новых руководителей Союза писателей, довелось наблюдать, как его некогда восхваляемый роман попал под огонь критики и запрет из-за недостаточной идеологической выдержанности⁶⁰. Габор Танцош, лидер «кружка Петефи», был преисполненным высоких идей выпускником колледжа Дьёрфи — учебного заведения, до своего внезапного закрытия в 1949 году входившего в объединение венгерских «народных колледжей». Еще один выпускник этой системы, Иван Витани — музыкальный критик, переживший радикальную смену убеждений после исключения из партии в 1948 году, — на заседаниях «кружка Петефи» рассказывал о народном искусстве и народной музыке⁶¹. В одном из свидетельств первые собрания кружка именуются «воссоединением» бывших активистов *Nekosz* — Движения народных колледжей — и *Mefesz* — недолговечного

студенческого союза, насильственно поглощенного Лигой рабочей молодежи в 1950 году. На некоторых заседаниях они, как в старые добрые времена, даже пели вместе⁶².

Этих молодых интеллектуалов крайне взволновала недавно обнародованная правительством Надя информация о незаконных арестах, пытках, тюремных сроках их коллег. В 1954 году Надь начал процесс реабилитации жертв политических преследований, и они стали понемногу возвращаться в Будапешт из тюрем, лагерей и изгнания. Бела Ковач, лидер Партии мелких хозяев, а также несколько его единомышленников вернулись из Советского Союза в 1955 году⁶³. Кардиналу Миндсенти тюремное заключение заменили домашним арестом в замке неподалеку от Будапешта. Даже мнимый шпион Ноэль Филд в том же году был реабилитирован. Литераторы Тамаш Ацел и Тибор Мераи описывали глубочайшее потрясение, пережитое многими венгерскими писателями во время встреч со старыми товарищами, страдавшими за решеткой, пока они сами писали производственные романы и получали литературные премии: «Им было стыдно и за то, что они написали, и за то, что осталось ненаписанным. Теперь они с отвращением смотрели на корешки томов, некогда ласкавшие взгляд, — томов, обеспечивших им награды и премии; им отчаянно хотелось вычеркнуть эти тома из списков своих публикаций»⁶⁴.

Некоторые, впрочем, пытались оправдаться, исправить причиненный своим творчеством ущерб и возродить социалистические идеалы. На дворе стоял 1956-й, а не 1989-й, и далеко не каждый считал, что коммунизм обречен на поражение. По словам Иштвана Ёрси, «наряду со своей уязвленной личностью им хотелось реабилитировать и пошатнувшуюся репутацию марксизма»⁶⁵. Многие, не только в Венгрии, но и в Польше, в поисках поучения обращались к первоисточникам марксистской мысли. Кароль Модзелевский, в то время бывший студентом-радикалом — он входил в группу активистов, которая в 1956 году захватит офис Союза польской молодежи в Варшавском университете, — очень хорошо объясняет этот процесс: «Мы прекрасно усвоили тезис о том, что если политическая система

дурна, то надо делать революцию. Все наши молодые годы нас обучали тому, как делаются революции. ...Их должны совершать рабочие при поддержке интеллигенции, которая привносит революционное сознание в рабочую массу»⁶⁶.

Модзелевский и его коллеги вскоре развернули агитацию на польских предприятиях, рассчитывая создать, как и советовал Маркс, более справедливую экономическую систему: «Мы хотели сделать миф реальностью»⁶⁷. Венгерские интеллектуалы по тем же причинам отстаивали сходные идеи. Как позже писал Ёрси, «это общая ловушка, присущая всем квазиреволюционным системам: со временем люди начинают буквально воспринимать лозунги официально декларируемой идеологии»⁶⁸.

Связи между рабочими и интеллектуалами парадоксальным образом укреплялись их совместным переживанием неудовлетворенности коммунистической системой. В предыдущее десятилетие обе социальные группы выступали основными объектами коммунистической пропаганды, и в итоге именно в их рядах отчуждение и разочарование проявлялись теперь наиболее явно. В определенном смысле венгерские рабочие были даже более озлоблены, чем венгерские студенты или венгерские интеллектуалы. В то время как писатели или журналисты ощущали свою вину за то, что случилось, рабочие чувствовали себя преданными. В «рабочем государстве» им был обещан самый высокий социальный статус, а вместо этого они страдали от дурных условий труда и нищенских зарплат. Непосредственно после войны их гнев направлялся на руководителей предприятий, но теперь они были склонны винить в своих бедах само государство. В 1950-е годы шахтеры «обвиняли систему, сетуя на то, что их работа, несмотря на ее тяжкие условия, плохо оплачивается», а промышленные рабочие были уверены, что «правительство-кровопийца» эксплуатирует их⁶⁹. И хотя после событий предыдущего года *Szabad Nép* остерегалась слишком подробно освещать проблемы промышленности, некогда скучный журнал Союза писателей *Irodalmi Újság* подхватил эту тему, публикуя интервью и письма рабочих, похожие на приводимое здесь послание некоего кузнеца: «Я неоднократно был вынужден

соглашаться с мнением других людей, даже не разделяя его. Когда господствующее мнение менялось, мне тоже приходилось пересматривать свою позицию. Я очень страдал от этого, это хуже физического насилия. У меня ведь есть собственная голова на плечах. И я не ребенок, а взрослый человек, вкладывающий душу, сердце, молодость, энергию в строительство социализма. Я делаю это по доброй воле, но хочу, чтобы ко мне относились как к зрелой личности, живущей своей жизнью и думающей своим умом. Мне хотелось иметь возможность высказываться, ничего не опасаясь. Кроме того, мне нужно, чтобы меня слышали»⁷⁰.

Заседания «кружка Петефи» превратились в замечательную площадку взаимодействия между молодыми интеллектуалами и радикальными рабочими. Зимой 1955 года все основные будапештские предприятия регулярно начали присылать на эти встречи своих представителей, а кружок был вынужден подыскать для себя более просторное помещение. Заседания были открытыми и неформальными, временами даже шумными; на них затрагивались вопросы экономических реформ, интересовавшие многих. И все же они так и остались бы местом для критики и жалоб, если бы не великие события, происходившие в Советском Союзе.

Хрущев, к тому времени ставший генеральным секретарем советской коммунистической партии, неожиданно подтолкнул студентов, рабочих и участников «кружка Петефи» пойти гораздо дальше, нежели они предполагали первоначально. 24 февраля 1956 года, без всякого предварительного уведомления, выступая на XX съезде КПСС, советский руководитель развенчал культ личности Сталина. «Для марксизма-ленинизма является непозволительным и чуждым особо выделять какое-либо отдельное лицо, превращая его в сверхчеловека, наделенного сверхъестественными качествами, приближающими его к божеству, — заявил он. — Предполагается, что такой человек все знает, за всех думает, может делать абсолютно все и является непогрешимым в своих поступках. Вера в возможность существования такой личности, и в особенности такая вера по отношению к Сталину, культивировалась среди нас в течение долгих лет»⁷¹.

Это была знаменитая «секретная» речь Хрущева — хотя благодаря восточноевропейским друзьям СССР она оставалась секретной недолго. Польские официальные лица познакомили с ней сотрудников израильской разведки, от которых она попала в ЦРУ, а потом и в газету *The New York Times*, опубликовавшую текст речи в июне того же года⁷². Но еще до этой публикации коммунисты Восточной Европы искали в речи ключ к мыслям советского руководителя. Хрущев восхвалял Ленина, критиковал Сталина, сожалел об арестах и убийствах представителей партийной и военной верхушки в 1930-е годы, но сделанные им признания были далеко не полными. Он не упомянул множество других преступлений, например украинский голод, за который нес по крайней мере частичную ответственность. Он не призвал общество к экономической реформе или преобразованию институтов. Он не высказал никакого сожаления по поводу действий СССР в Восточной Европе и не предложил никаких перемен в регионе.

Тем не менее именно в Восточной Европе на демарш Хрущева отреагировали наиболее драматично. Хрущевское выступление буквально убило Берута. Польский лидер отправился в Москву на XX съезд и, подобно Готвальду на похоронах Сталина, умер там от сердечного приступа, вызванного, по всей вероятности, испытанным потрясением. На нижних уровнях иерархии многие лояльные коммунисты были столь же ошеломлены. «Любям трудно было в это поверить, — вспоминает поляк, в то время служивший в армии младшим офицером. — Эти откровения о генералиссимусе Сталине, великом вожде половины человечества, казались немыслимыми»⁷³.

Других речь советского лидера заряжала энергией и превращала в радикалов. В конце мая, через несколько месяцев после памятного съезда, «кружок Петефи» организовал открытую дискуссию на тему «XX съезд КПСС и проблемы венгерской политической экономики». Очень скоро разговор превратился в «тотальное обличение мегаломании Ракоши — его бессмысленной политики насильственной индустриализации, недавно предложенного нового пятилетнего плана, нехватки реализма в сельскохозяй-

ственной сфере»⁷⁴. В начале июня Дьёрдь Лукач, наиболее известный в Венгрии философ-марксист, восславил «независимость мышления» и призвал к «диалогу» между теологами и марксистами.

Спустя две недели из недавнего прошлого вышла полузабытая фигура, сделавшая самое убийственное обличение из всех, до того прозвучавших. Вечером 27 июня 44-летняя Юлия Райк, которая всего полгода назад вышла из тюрьмы, поднялась на сцену в большом неоклассическом зале в самом центре Будапешта. «Я стою перед вами, глубоко переживая после пяти лет неволи и унижения, — заявила она сотням членов «кружка Петефи». — Уверяю вас, что тюрьмы Хорти были гораздо лучше, — даже для коммунистов! — чем тюрьмы Ракоши. У меня не только убили мужа, но и отобрали маленького ребенка. Эти преступники не просто уничтожили Ласло Райка. Они растоптали в этой стране все светлое и благородное. Убийц не критикуют — их карают»⁷⁵. Слушатели хлопали, свистели, топали. Через несколько вечеров «кружок Петефи», теперь разросшийся до 6 тысяч человек, многие из которых стояли на улице, собрался для обсуждения свободы печати. В завершение дискуссии люди начали скандировать: «Имре, Имре, Имре!». Они призывали изгнать Ракоши и вернуть Надя.

Их пожелание было исполнено наполовину. В середине июля Анастас Микоян, один из ближайших сподвижников Хрущева, нанес срочный визит в Будапешт. Советское политбюро постоянно получало от Юрия Андропова, посла СССР в Венгрии, сообщения об оживлении вражеской деятельности в этой стране, о спонтанных дискуссиях, о революционных настроениях молодежи. Микояна отправили разобраться с проблемой на месте. Уже в автомобиле по пути из аэропорта московский гость сообщил Ракоши, что в «сложившейся ситуации» тот должен уйти в отставку из-за «пошатнувшегося здоровья». Ракоши последовал приказу и отбыл в Москву «на лечение». Ему не суждено было вернуться: последние пятнадцать лет жизни он провел в СССР, в основном в далекой Киргизии⁷⁶. Но Микоян не поставил на его место Надя. Вместо этого политбюро доверило

высший венгерский пост верному приспешнику Ракоши, консервативному, лишенному воображения и вообще некомпетентному Эрнё Герё⁷⁷.

С октября 1956 года прошло более полувека. С тех пор события этого месяца многократно описывались многими видными авторами⁷⁸. У меня нет возможности здесь детально изложить суть их трудов, поэтому ограничусь лишь несколькими фразами. В июле — октябре Герё отчаянно пытался успокоить своих соотечественников. Он реабилитировал пятьдесят лидеров венгерской социал-демократии, ранее брошенных в тюрьму. Он добился примирения с Тито. Он сократил численность венгерской армии.

После долгих раздумий он также разрешил Юлии Райк устроить похороны своему мужу. 6 октября, в годовщину казни тринадцати генералов, возглавлявших венгерскую революцию 1848 года, Юлия и ее сын Ласло, одетые в траур, стояли у гроба, ожидая перезахоронения Райка на мемориальном кладбище Керепеши, где покоятся национальные герои Венгрии. Десятки тысяч людей собрались для участия в этом необычном мероприятии. «Был холодный, ветреный, дождливый день, — вспоминает один из участников. — Пламя множества свечей, вставленных в большие серебряные подсвечники, исполняло причудливый танец. Груды венков лежали у могилы». Выступавшие на церемонии ораторы восхваляли Райка, словно забыв, что он сам был руководителем зловещей спецслужбы, ответственным за тысячи смертей и арестов, а также за уничтожение молодежного движения *Kalot*, других молодежных групп и организаций гражданского общества, — и проклинали его убийц в самых резких выражениях: «Он был убит садистскими преступниками, которые появились на свет из зловонного болота культа личности»⁷⁹. Енё Селл, партийный деятель, в свое время сомневавшийся в оптимизме партии относительно всеобщих выборов, запомнил эти похороны как «мрачное действо»: «Начался дождь — не сильный, но достаточный для того, чтобы все мы промокли до костей. ...Люди все прибывали, их лица были мрачны, они здо-

ровались друг с другом, но, вопреки обыкновению, не дробились на маленькие группки, чтобы посплетничать. ...Каждый пытался узнать, кто из руководства придет на мероприятие»⁸⁰.

В тот же вечер в Будапеште начались первые разрозненные демонстрации. Около пятисот студентов собрались вокруг статуи первого конституционного премьер-министра Венгрии (Л. Баттяни. — *Ред.*), казненного австрийцами в 1849 году. И хотя эти собрания начинались мирно, город был настороже: «Торжественная церемония похорон произвела впечатление на народ, хотя и не заставила забыть, что в главном ничего не изменилось»⁸¹.

Принципиальную важность похорон Райка в Будапеште и тем более в Москве осознали не сразу. К тому же в начале октября внимание Кремля было приковано не к Венгрии, а к Польше, которая также погружалась в политический кризис. В июне 100 тысяч рабочих Познани вышли на забастовку. Как и в ГДР, все начиналось с требований повышения зарплаты и снижения норм выработки, но довольно быстро зазвучали призывы «покончить с диктатурой» и «изгнать русских». Протесты были жестоко подавлены польской армией: около 400 танков и 10 тысяч солдат стреляли в забастовщиков, убив несколько десятков людей, среди которых оказался и тринадцатилетний мальчик. Сотни демонстрантов были ранены. Но поляки винули в кровопролитии не соотечественников. Операцией в Познани руководил маршал Рокоссовский, советский гражданин польского происхождения, а приказ стрелять отдал его заместитель, тоже советский гражданин. В то время начальник генерального штаба польской армии также имел советский паспорт, как и еще 76 высокопоставленных «польских» офицеров⁸². В рядах коммунистической партии все громче звучали голоса внутривластной группы, призывавшей окончательно избавиться от советских военных. В октябре, согласно одностороннему и не согласованному с Москвой решению Польской объединенной рабочей партии, фактический лидер этой группы, Владислав Гомулка, был не только реабилитирован, но и избран первым секретарем.

Обеспокоенный Хрущев 19 октября прибыл в Варшаву. Визит не планировался — советский лидер хотел своим внезапным вмешательством помешать Гомулке взять власть. Чтобы придать своим аргументам большую убедительность, он приказал советским войскам, расквартированным на польских базах, немедленно выдвигаться к Варшаве. Согласно имеющимся свидетельствам, Гомулка ответил собственными угрозами. Он проявил «грубость», обвинив советских офицеров, проходящих службу в польской армии, в создании общественного недовольства. Он также заявил, что если его поставят во главе страны, то он легко обойдется без советского вмешательства. Еще более важным было то, что он приказал внутренним войскам и другим лояльным ему вооруженным формированиям занять стратегические позиции вокруг Варшавы и быть готовыми к защите нового правительства и его лично. Жесткое столкновение между польскими войсками, переданными Гомулке, и польскими войсками, подчиняющимися советскому командованию, внезапно стало вполне вероятным⁸³.

Хрущев отступил первым. «Найти сейчас причины для вооруженного конфликта с Польшей очень легко, — заявил он своим коллегам 24 октября. — Но выйти из такого конфликта позже будет очень и очень трудно»⁸⁴. Решив, что примирение станет лучшей политикой, он согласился на отзыв Рокоссовского, его заместителя и еще нескольких высокопоставленных советских офицеров. В ответ Гомулка пообещал сохранять лояльность Москве во внешнеполитических вопросах и поклялся не выходить из Варшавского договора.

Возможно, от Хрущева можно было добиться и большего, но на этот раз от польских проблем его отвлекли события в Будапеште, где информация о возвращении Гомулки к власти укрепила надежды венгров на восстановление позиций Надя. Странные похороны Райка устранили последние барьеры страха: создавалось впечатление, будто бы вместе с его телом был символически погребен и сталинизм. В течение октября по всей стране формировались филиалы «кружка Петефи». В колледжах, институтах и университетах образовывались демократические органы самоуправления и дискуссионные клубы. Средства

массовой информации с упоением освещали эту деятельность. Выступая на одной из радиостанций, представители самоуправленческих органов будапештского вуза заявили о своем желании «путешествовать за границей и изучать современную западную литературу». Кроме того, они высказали убеждение в том, что решающим фактором при поступлении в университет должны быть результаты вступительных экзаменов, а не личные связи и партийные рекомендации. Когда сотни тысяч людей в Варшаве вышли на улицы приветствовать Гомулку, венгерский журналист в комментарии с места событий подчеркнул, что «курс на демократизацию пользуется полнейшей поддержкой народных масс и, что еще важнее, рабочего класса»⁸⁵.

Вдохновленные всеми этими событиями, 5 тысяч студентов Будапештского технологического университета собрались 22 октября в актовом зале своего вуза и проголосовали против Лиги рабочей молодежи и за основание новой, альтернативной организации. С трех часов дня до полуночи они писали радикальный манифест, позже получивший известность как «Шестнадцать пунктов». Среди требований молодежи были вывод советских войск с территории Венгрии, проведение свободных выборов, начало экономических реформ и восстановление 15 марта, даты начала революции 1848 года, в качестве национального праздника⁸⁶. На следующий день студенты решили собраться перед памятником Юзефу Бему, польскому генералу, который в 1848 году сражался вместе с венграми, и провести демонстрацию в защиту своих требований и в поддержку польских рабочих.

Спустя сутки на площадь вышли 25 тысяч человек и еще тысячи собрались на прилегающих улицах. Люди шли к статуе польского генерала через весь город, по пути декламируя строки Петефи, которые, как говорят, вдохновляли революцию 1848 года:

Встань, мадьяр! Зовет отчизна!
Выбирай, пока не поздно:
Примириться с рабской долей
Или быть на вольной воле?

(Перевод Л. Мартынова)

Как и в Познани год назад, многие скандировали «Русские, убирайтесь!». Как и в Берлине три года назад, толпа по дороге разгромила магазин русской книги и подожгла его. Группа демонстрантов, отделившись от общей массы, отправилась к зданию радио. Они окружили его и заявили сотрудникам, что радио должно принадлежать народу. Поскольку на волнах радиостанции продолжала звучать легкая музыка, манифестанты принялись таранить здание грузовиком. С наступлением темноты толпа собралась на Площади героев, где четырьмя годами ранее была воздвигнута гигантская бронзовая статуя Сталина. После нескольких безуспешных попыток стащить ее с пьедестала с помощью веревок, протестующие люди пригнали тяжелую технику — краны, заимствованные в городском отделе общественного транспорта, добыли и пилы по металлу. Под крики толпы статуя начала качаться, а потом, в 21.37 по местному времени, с грохотом рухнула⁸⁷.

Подобно самому венгерскому режиму, советское руководство испытывало тревогу, несогласованность, смятение. Герё, который впал в состояние паники, звонил советскому послу Андропову и требовал направить в город советские танки. Хрущев сначала дал согласие на использование танков, но потом отозвал их назад. Надь поначалу пытался умиротворить толпу, убеждая людей разойтись по домам и предоставить разрешение кризиса партийным ветеранам. Но когда Хрущев передумал, отдав наконец Красной армии приказ пересечь государственную границу, Надь сменил позицию, объявил о выходе Венгрии из Варшавского договора и призвал Организацию Объединенных Наций защитить венгерский суверенитет.

Западные державы тоже пребывали в растерянности. Венгерская служба радио «Свободная Европа», базирующаяся в Мюнхене и укомплектованная яростными эмигрантами, набросилась на революционеров. Несмотря на свои прежние призывы «отбросить» коммунизм и «освободить» Восточную Европу, государственный секретарь США, признанный ястреб Джон Фостер Даллес не придумал ничего лучшего, как направить советскому руководству послание следующего содержания:

«Мы не рассматриваем эти государства [Венгрию и Польшу] в качестве потенциальных военных союзников»⁸⁸. В то время ЦРУ имело на венгерской территории лишь одного агента, который окончательно утратил контакт со своим начальством после второго советского вторжения⁸⁹.

За двенадцать дней эйфории и хаоса атаке подверглись почти все символы коммунистического режима. Статуи и памятники свергались с постаментов, а красные звезды удалялись со стен домов. Жители Сталинвароша, которых в свое время заставили назвать город в честь советского вождя, теперь единодушно и по собственной инициативе решили дать ему другое название. Вместе с 8 тысячами политических заключенных кардинал Миндсенти вышел на свободу из средневекового замка, где его держали в полной изоляции. Молодые венгры захватили национальное радио, переименовав его в «Свободное радио “Кошут”»; это название явно перекликалось с «Радио “Кошут”», на волнах которого коммунисты в годы войны агитировали за освобождение страны. «На протяжении многих лет наше радио было инструментом лжи, — заявили они. — Оно лгало утром и вечером, все его передачи были напичканы ложью. Но теперь у микрофонов новые люди»⁹⁰.

По всей стране радикальные рабочие, опираясь на югославский опыт, начали образовывать «рабочие советы», которые брали под контроль предприятия и изгоняли прежнее руководство⁹¹. Не желая сражаться с революционерами, венгерские военнослужащие толпами дезертировали из армии и передавали оружие своим соотечественникам. Одним из первых на сторону народа перешел полковник Пал Малетер, которого быстро назначили министром обороны в правительстве Имре Надя. Глава будапештской полиции Шандор Копачи также присоединился к повстанцам. Возбужденные толпы по всей стране линчевали сотрудников спецслужб и громили их архивы. Протестующие ворвались также на виллу Ракоши, роскошь убранства которой привела их в ярость.

Последствия всего этого были столь же хаотичными и ужасающе кровавыми. Генерал Иван Серов — человек, прежде «умиро-

творявший» Варшаву и Берлин, а теперь возглавивший КГБ, — лично руководил арестами Малетера и Надя. Венгерский премьер-министр пытался искать убежище в югославском посольстве, где ему сначала пообещали безопасный переезд в Белград, а потом обманули. Обоих деятелей позже казнили, причем по приказу не Хрущева, а Яноша Кадара, на протяжении трех последующих десятилетий руководившего Венгрией. Журналист Миклош Гимеш, подобно многим рабочим, продолжал сопротивление до ноября, когда его арестовали и в 1958 году казнили. С декабря 1956-го до лета 1961 года 341 человек был повешен, а еще 26 тысяч отданы под суд, причем 22 тысячи из этого числа получили тюремные сроки, превышавшие пять лет. Десятки тысяч людей лишились работы или жилья⁹². Тем не менее забастовки и протестные акции по всей Венгрии продолжались, особенно на заводах и фабриках. Миндсенти укрылся на территории американского посольства, где оставался на протяжении пятнадцати лет. Около 200 тысяч венгров уехали за границу и стали беженцами. Одним из них оказался поэт Дьёрдь Фалуди, некогда попавший в лагерь Рекск. «У меня были жена и малолетний сын, — писал он. — Я опасался, что если останусь в стране, то ради выживания семьи вступлю в коммунистическую партию и сломаюсь»⁹³.

Венгерская революция способствовала изменению внешнего восприятия Советского Союза в Восточной Европе и остальном мире, а в особенности в рядах западных коммунистических партий. После 1956 года во Французской компартии произошел раскол, Итальянская коммунистическая партия отошла от Москвы, а Коммунистическая партия Великобритании потеряла две трети своих членов. Даже Жан-Поль Сартр в октябре 1956 года раскритиковал СССР, хотя еще долго питал слабость к марксизму⁹⁴.

Отчасти такая реакция стала следствием блестящего освещения венгерских событий в мировых СМИ: лучшие журналисты и лучшие фотографы того поколения в дни революции съехались в Будапешт. Фотографии тех дней шокировали среди прочего и тем, что на них было отражено то, чего никто не ожидал. До начала событий никто из аналитиков, включая самых ярых

антисоветчиков, не думал, что в странах восточного блока возможны революции. И коммунисты, и антикоммунисты (за редкими исключениями) считали, что советские методы индоктринации предельно эффективны; что большинство населения безоглядно доверяет официальной пропаганде; что тоталитарная образовательная система устраняет всякое разномыслие; что разрушенные гражданские институты невозможно восстановить; что переписанная история будет забыта. В январе 1956 года американская разведка предсказывала, что со временем инакомыслие в Восточной Европе будет слабеть «из-за постепенного роста численности молодежи, подвергшейся коммунистической обработке»⁹⁵. В позднем эпилоге к «Истокам тоталитаризма» Ханна Арендт написала, что венгерская революция стала полной неожиданностью, всех заставшей врасплох. Подобно ЦРУ, КГБ, Хрущеву и Даллесу, Арендт была уверена, что тоталитарные режимы, получившие доступ к самой душе нации, становятся неуязвимыми.

Но все они ошибались. Люди не превращались в «тоталитарную личность» с такой легкостью. Если внешне казалось, что они совершенно помешались на культе лидера или партии, видимость могла быть обманчивой. Даже когда под действием самой абсурдной пропаганды люди на демонстрациях скандировали лозунги или пели песни о том, что партия всегда права, чары так же внезапно, драматично, неожиданно могли рассеяться.

Эпилог

Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашения отучить людей судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратное очевидности.

Борис Пастернак. Доктор Живаго

На протяжении тридцати лет, вплоть до падения в 1989 году Берлинской стены, коммунистические лидеры Восточной Европы задавали себе те же вопросы, которые начали мучить их после смерти Сталина. Почему экономические достижения их системы оказались такими скудными? Почему пропаганда была столь неубедительной? Что питало источник неугасающего инакомыслия и как лучше его перекрыть? Достаточно ли арестов, репрессий и террора, чтобы коммунистические партии могли удержать власть? Или более надежным средством предотвращения социального взрыва должны служить либеральные реформы — толика экономической свободы плюс немного свободы слова? Наконец, на какие изменения готов Советский Союз и где именно Москва проведет запретную черту?

В разное время на эти вопросы отвечали по-разному. После смерти Сталина ни один из коммунистических режимов не демонстрировал той жестокости, какая отличала их в 1945–1953 годах, но даже и после государства Восточной Европы оставались жесткими, деспотичными и чрезвычайно репрессивными. Приход Владислава Гомулки к власти в Польше был отмечен либеральными надеждами и народным энтузиазмом, но очень быстро в стране восторжествовали консерватизм и антисемитизм. Янош Кадар начал править Венгрией с кровавых репрессий, но позднее попытался укрепить свою легитимность, согласившись на некоторую свободу предпринимательства, торговли и пересечения границ. В разгар Пражской весны 1968 года Чехословакия переживала бурный культурный подъем: ее писатели, режиссеры и драматурги завоевали тогда международное

признание, но после советского вторжения чехословацкое правительство стало одним из самых жестоких во всем блоке. В 1961 году Восточная Германия, пытаясь воспрепятствовать отъезду своих граждан, отгородилась от Запада стеной, но в 1980-е годы режим без лишнего шума начал позволять диссидентам покидать страну в обмен на твердую валюту, получаемую от правительства ФРГ. Румыния и Югославия в разные периоды пытались занимать особую позицию во внешней политике, дистанцируясь от советского блока, но такая линия была непоследовательной.

Хотя правительства Восточной Европы всегда держались рамок, установленных Советским Союзом, время от времени они экспериментировали — расширяя свободу кооперативов или ограничивая деятельность церкви, наращивая силы спецслужб или допуская большую свободу в сфере искусства. Иногда либеральные реформы оказывались вполне успешными: так, польские коммунисты после 1956 года вообще отказались от социалистического реализма, а в Венгрии в 1980-е годы были легализованы совместные предприятия. В иных ситуациях либерализация заканчивалась насилием. Во время Пражской весны Чехословацкая коммунистическая партия под руководством Александра Дубчека взяла курс на постепенные реформы, предполагавшие децентрализацию экономики и демократизацию политической системы. Через несколько месяцев в Прагу вошли советские танки, сокрушившие реформаторов и отстранившие Дубчека от власти. В августе 1980 года Польская коммунистическая партия легализовала профсоюз «Солидарность», массовое и низовое движение, к которому со временем присоединились 10 миллионов рабочих, студентов и интеллектуалов. Этот эксперимент завершился через полтора года, когда польские коммунисты объявили военное положение, запретили «Солидарность» и также вывели танки на улицы.

С течением времени страны Восточной Европы все меньше походили друг на друга. К 1980-м годам Восточная Германия создала самое мощное в регионе полицейское государство, Польша отличалась наибольшим количеством верующих, в Румынии постоянно не хватало продуктов питания, Венгрия была извест-

на высоким уровнем жизни, а Югославия имела самые дружеские отношения с Западом. Но все-таки в одном очень узком смысле все они были похожи: ни один из этих режимов не осознавал своей неустойчивости по определению. Они брели от кризиса к кризису вовсе не потому, что были не способны к «тонкой настройке» своей политики, а из-за несовершенства коммунистического проекта как такового. Пытаясь контролировать каждый аспект общественной жизни, режимы возбуждали недовольство во всех сегментах общества. Государство устанавливало для рабочих высокие нормы выработки, и поэтому забастовки трудящихся ГДР против завышенных нормативов быстро превратились в форму антигосударственного протеста. Государство диктовало художникам и писателям границы их творческого самовыражения, и поэтому деятели культуры, работавшие в какой-то особой манере, тоже превращались в политических диссидентов. Государство запрещало учреждать независимые организации, и поэтому любой, кто делал это, пусть даже в самой невинной форме, становился оппонентом режима. А когда в независимую организацию вливалось большое число людей — как, например, в Польше, где миллионы граждан примкнули к профсоюзу «Солидарность», — под вопросом внезапно оказывалось само существование режима.

Коммунистическая идеология и экономическая теория марксизма-ленинизма содержали в некотором смысле внутренний источник разложения. Претензии восточноевропейских правительств на легитимность основывались на обещаниях будущего процветания и повышения жизненного уровня, которые, как предполагалось, были гарантированы «научностью» марксизма. Плакаты и транспаранты, торжественные речи и газетные передовицы, радиотрансляции, а потом и телевизионные передачи — все это пропагандировало экономический рост. И хотя определенная позитивная динамика действительно имела место, рост никогда не был таким высоким, как это представлялось в пропагандистских материалах. Повышение жизненных стандартов на Востоке не успевало за их совершенствованием на Западе, и скрывать этот факт на протяжении длительного времени было

невозможно. В 1950 году Польша и Испания имели очень близкие показатели ВВП. Но к 1988 году польский ВВП вырос в два с половиной раза, а испанский ВВП — в тринадцать раз¹. Радио «Свободная Европа», зарубежные командировки и туризм помогали осознать эту пропасть, которая расширялась по мере того, как технологическая революция в Западной Европе набирала темп. Цинизм и разочарование охватывали даже тех, кто поначалу верил в систему. Улыбающиеся молодые коммунисты 1950-х годов уступили место угрюмым и апатичным рабочим 1970-х, циничным студентам и интеллектуалам 1980-х, эмигрантам и диссидентам. Разумеется, у системы всегда были сторонники, число которых даже увеличилось после того, как правительства некоторых стран Восточной Европы, чтобы обеспечить более высокий уровень потребления, стали занимать деньги у западных банков. Многочисленные бенефициары лукаво демонстрировали преданность режиму, а те, кто пользовался плодами политики «социального продвижения», продолжали преуспевать в рядах бюрократии. Но, хотя некоторые восточные европейцы в поздние годы с ностальгией относились к коммунистическому идеализму, примечательно, что после 1989 года ни одна политическая партия даже не пыталась восстановить коммунистическую экономику.

В конечном итоге разрыв между реальностью и идеологией заставлял коммунистические партии продолжать поддерживать поток бессмысленных лозунгов, хотя было ясно, что они лишены смысла. Как утверждает философ Роджер Скрутон, марксизм до такой степени отгородился от жизни паутиной того, что Оруэлл однажды назвал новоязом, что спорить с ним было просто бессмысленно: «Факты больше не имели никакой связи с теорией, которая парила над жизнью облаком полнейшей чепухи, словно какая-то теологическая система. Причем нужно было не столько верить в теорию, сколько ритуально повторять ее постулаты, пренебрегая любыми сомнениями. ...В итоге понятие истины исчезало из интеллектуального ландшафта, заменяясь понятием власти»². Поскольку люди были не в состоянии отличить правду от идеологической фикции, они не могли раз-

решать или хотя бы описывать усугубляющиеся социально-экономические проблемы тех обществ, в которых жили.

С течением времени политические оппоненты коммунистических режимов начали понимать эту внутреннюю слабость тоталитаризма советского типа. В блестящем эссе «Сила бессильных», написанном в 1978 году, чешский диссидент Вацлав Гавел призвал соотечественников извлекать выгоду из одержимости правителей тотальным контролем. Если государство желает монополизировать все сферы человеческой деятельности, писал он, то каждый мыслящий гражданин обязан работать над созданием альтернатив. Он призывал сограждан сохранять «независимую общественную жизнь», под которой подразумевалось многое, «от самообразования, размышлений о мире, свободной творческой деятельности и контактов с другими до самых разнообразных свободных гражданских отношений, включающих все формы независимой самоорганизации»³. Он также убеждал их избавиться от лжи и бессмысленного набора слов и «жить по правде», то есть говорить и действовать так, будто коммунистического режима вообще нет.

Постепенно некое подобие «независимой общественной жизни» — «гражданского общества» даже начало кое-где процветать. Чехи создавали джазовые ансамбли, венгры посещали университетские дискуссионные клубы, восточные немцы учреждали «неофициальное» миротворческое движение, поляки организовывали нелегальные скаутские отряды и независимые профсоюзы. Всюду люди играли и слушали рок-музыку, проводили поэтические вечера, занимались нелегальным предпринимательством, собирали диссидентские философские семинары, ходили в церковь. В обществе другого типа такая деятельность расценивалась бы как не имеющая отношения к политике и даже в Восточной Европе далеко не всегда была реальной или даже пассивной оппозицией. Но все же она составляла фундаментальный и бесспорный вызов режимам, которые, говоря словами Муссолини, стремились стать «всеохватывающими».

«Нельзя приготовить яичницу, не разбив яйца»⁴. Это суровое правило, иногда ошибочно приписываемое Сталину, характери-

зует мировоззрение мужчин и женщин, которые, занимаясь строительством коммунизма, верили, что их благородные цели оправдывают человеческие жертвы. Но когда становится ясно, что яичница не получилась, можно ли вернуть яйца в прежнее состояние? Как приватизировать сотни государственных компаний? Как воссоздать давно распущенные религиозные и общественные организации? Как заставить общество, за годы диктатуры приученное к пассивности, опять стать активным? Как убедить людей отказаться от казенной болтовни и говорить ясно? Термин «демократизация», используемый сплошь и рядом, не может отразить все перемены, которые происходят — неравномерно и неустойчиво, где-то быстрее, а где-то медленнее — в посткоммунистической Европе и бывшем СССР после 1989 года.

Пользуясь только понятием «демократизация», трудно описать те изменения, в которых нуждаются послереволюционные общества во всем мире. Многие из наихудших диктаторов XX века удерживали власть, пользуясь, причем вполне осознанно, методами, описанными в этой книге. Ирак под началом Саддама Хусейна и Ливия под руководством Муаммара Каддафи напрямую перенимали опыт советской системы, включая устройство тайной полиции, созданной ими при непосредственном содействии СССР и ГДР. Китайский, египетский, сирийский, ангольский, кубинский и северокорейский режимы среди прочих в разное время тоже опирались на помощь Советского Союза в этой сфере⁵. Впрочем, политическим деятелям, стремящимся имитировать советский процесс тотального контроля над экономическими, общественными, культурными, правовыми и образовательными институтами, а также над политической оппозицией, какие-то явные и специальные рекомендации вовсе не требовались. До 1989 года доминирование Советского Союза в Восточной Европе служило для потенциальных диктаторов блестящим образцом для подражания. Хотя ни в Восточной Европе, ни где-либо еще тоталитаризм никогда не работал так, как это подразумевалось. Ни одному из восточноевропейских сталинистских режимов не удалось эффективно «промыть мозги» всем своим гражданам, навсегда искоренив

инакомыслие; не сумели этого сделать и друзья Брежнева в Азии, Африке и Латинской Америке.

И все же подобные режимы наносили и наносят обществу огромный урон. В своем стремлении к власти большевики, их восточноевропейские приверженцы, а также имитаторы в других частях света преследовали и уничтожали не только политических оппонентов, но и крестьян, священников, учителей, торговцев, журналистов, писателей, мелких бизнесменов, студентов, деятелей искусства, наносили вред институтам, которые эти люди создавали и сохраняли веками. Они подрывали, а иногда и вовсе уничтожали церкви, газеты, компании, биржи, торговые заведения, банки, спортивные клубы, университеты, просветительские общества. Их «успехи» открывали неприятную правду о человеческой натуре: если достаточное количество идейно мотивированных людей получает в распоряжение необходимые ресурсы и достаточную силу, то они обретают возможность стирать с лица земли стародавние и казавшиеся вечными правовые, политические, образовательные, и религиозные учреждения. А если гражданское общество удалось разрушить даже в таких исторически и культурно богатых государствах, как страны Восточной Европы, то так же с ним можно, в принципе, поступить и в любом другом месте. История послевоенной сталинизации доказывает, насколько хрупка наша цивилизация.

Из-за этого цивилизационного погрома посткоммунистические страны, пожелавшие вновь стать действующими либеральными обществами, нуждались в чем-то большем, нежели просто такие институты демократии, как выборы, политические кампании и политические партии. Им нужно было воссоздавать независимые средства массовой информации, частное предпринимательство и поддерживающую его правовую систему, свободные от пропаганды образовательные структуры, государственную службу, продвигающую талантливых, а не идейных. Более успешными оказались те посткоммунистические государства, которым на протяжении коммунистического периода удалось сохранить хотя бы некоторые элементы гражданского общества.

И здесь вновь уместно обратиться к истории Польской лиги женщин. К 1989 году эта организация на общенациональном уровне пребывала в полнейшем застое. В начале 1990-х годов она фактически прекратила свое существование: ведь теперь никто не нуждался в женском объединении, обеспечивавшем пропагандистскую поддержку коммунистической партии. Но в конце 1990-х, и опять в Лодзи, группа женщин решила, что некоторые функции, которые Лига первоначально выполняла, все еще необходимы. Организация перестроилась и учредилась заново — уже в третий раз — в качестве независимой. Как и в 1945 году, руководители Лиги наметили ряд проблем, которые, по их мнению, могла разрешить только она. Прежде всего Лига предложила бесплатные юридические консультации для женщин, у которых не было возможности обращаться за правовой помощью. Позже сотрудники Лиги занялись консультированием безработных женщин, оказанием помощи одиноким женщинам с детьми, а также поддержкой женщин, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. На Рождество Лига готовила праздничные вечера для бездомных Лодзи. На ее сайте и сейчас красуется выразительный призыв: «Если у вас есть проблема, то приходите к нам, и мы поможем справиться с ней или укажем вам нужный путь»⁶. Сейчас эта организация значительно меньше, чем до войны, но ее главной задачей, как и прежде, остается благотворительность.

Отчасти обновленная Польская лига женщин преуспела потому, что ее лидеры, подобно другим общественным лидерам в Польше, стремились к воспроизводству в своей стране западноевропейских моделей. И хотя ее руководительницы никогда ранее не занимались благотворительностью и не работали в некоммерческих организациях, они прекрасно понимали, как действуют подобные правовые структуры. К тому времени их существование было закреплено в национальном законодательстве, а польский политический класс приветствовал их работу наряду с поддержкой независимых школ, частного бизнеса и политических партий. Это отличало Польшу от России, где враждебность по отношению к независимым организациям сохраняется даже через поколение после краха Советского

Союза, а правовой климат не способствует их созданию или финансированию. Российская политическая элита до сих пор относится к независимой благотворительности, правозащитной деятельности, некоммерческим организациям как таковым с нескрываемым подозрением, используя для ограничения подобной работы правовые и внеправовые методы⁷.

Что касается Польши, то здесь законодательство не только допускает наличие независимых организаций, но и позволяет им собирать деньги на свою деятельность. На первых порах Лига польских женщин обращалась к правительству с просьбой выделить средства на поддержку ее проектов, поскольку именно так организация работала в прошлом. Однако в эпоху экономического переустройства это был не слишком эффективный путь. Но Лодзь — город текстильных предприятий, на которых трудятся женщины. Лига польских женщин наладила контакты с новыми владельцами фабрик, убедив некоторых из них помочь ей. Начали поступать пожертвования, и организация смогла выжить. В 2006 году, через семнадцать лет после падения коммунизма, Лига женщин Лодзи зарегистрировалась в качестве частной благотворительной организации. Как выяснилось, в наши дни группы такого типа для своего процветания нуждаются не только в энергичных и патриотичных волонтерах, но и в стабильной правовой системе, динамичной экономике и отлаженной демократии.

Энергия и инициатива, позволявшие запустить эти проекты, обуславливались осознанием истории функционирования организации в довоенный период и при коммунизме. Одна из новых руководительниц, Янина Мизиолек, в раннем детстве жила в одном из приютов, основанных Лигой польских женщин при железнодорожных станциях. А женщины, активно работавшие в Лиге в коммунистический период, пытались извлекать какие-то выводы из последующего упадка организации: некоторые из них говорили мне, что если бы из ее послевоенной деятельности можно было бы устранить политику, то организация приносила бы несомненную пользу. Они много размышляли о былых ошибках и просчетах, чтобы не повторять их.

Женщин Лодзи явно вдохновляла история, но не та история, которой порой пользуются или злоупотребляют политики. Их воодушевляли не оплаченные государством акции памяти о прошлых трагедиях или национальные программы патриотического воспитания, а скорее истории, которые они пережили сами или слышали от других. Их побуждала к действиям история одной, отдельно взятой организации, работавшей в конкретном месте и в конкретное время.

То, что было верным для Лодзи, касается и всего остального мира, преодолевающего коммунистическое и тоталитарное наследие. Чтобы возродить государство, людям прежде всего нужно понять, по каким причинам оно рухнуло: как подрывали его институты, как извращали его язык, как манипулировали его гражданами. Им необходимо знать детали и подробности, а не общие теории; они нуждаются в индивидуальных примерах, а не глобальных обобщениях. Им надо осмыслить, что вдохновляло предшественников, увидеть в них реальных людей, а не черно-белые имитации, будь то жертвы или злодеи. Только тогда появится возможность пусть медленного, но обновления.

Примечания

- ¹ - , , 16 2007.
- ² ! " . : Barbara Nowak.
Serving Women and the State: The League of Women in Communist Poland, dissertation. , Ohio State University, 2004.
- ³ # # 1923 \$ %& ' , \$
(. " & 1925-) # * \$,
+ # \$ \$
/ + %& %& . 8 : Abbott Gleason. Totalitarianism:
The Inner History of the Cold War. , Oxford, 1995. , : 13...1<.
- ⁴ Benito Mussolini, Giovanni Gentile. Fascism: Doctrine and Institutions. , Rome, 1935.
- ⁵ #) # . # = > ? ,
& (= ? = @ = E # \$: Michael Geyer,
Sheila Fitzpatrick. Introduction. Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism
Compared. , Cambridge, 2009. [; = # : (= ? = @ =
E # , . J . -
 , , (, 2011. , .].
- ⁶ : K ' . Q . 8 . \$. , (: V X , 1996.
- ⁷ Carl Friedrich, Zbigniew Brzezinski. Totalitarian Dictatorship and Autocracy. , Cambridge, 1956.
- [<] : http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/doctrine/index.php
- ⁹ V . # : Gregory Bush. Campaign Speeches of American Presidential Candidates, 194<...19<4, New York, 19<5. , P. 42.
- ¹⁰ : Michael Geyer, Sheila Fitzpatrick. Op. cit.
- ¹¹ V . # : Richard Pipes. Communism: A History. , New York, 2001. , P. 105...107.
[8 = # ; X . , (: «(+ # * =»,
2002. , . 130.]
- ¹² C : Michael Halberstam. Totalitarianism and the Modern Conception of Politics. , New Haven, 2000.
- ¹³ Slavoj Žižek. Did Somebody Say Totalitarianism? Five Interventions in the 'Misuse' of a Notion. , New York, 2001. { & & , #
« » # = # # -
= + * « - = \$ \$ ».
- ¹⁴ : http://www.huffingtonpost.com/james-peron/rick-santorum-gay-rights_b_1195555.html | <http://video.foxbusiness.com/v/132<239165001/the-uss-march-toward-totalitarianism/> | <http://articles.latimes.com/2011/dec/25/business/la-fi-hiltzik-20111225>
- ¹⁵ : <http://fare.tunes.org/liberty/library/tppt.html>
- ¹⁶ #) , # * , . \$:
William J. Dobson. The Dictator's Learning Curve. , New York, 2012.

- 17 ~ # , # / ? \$ -
 (X : « • • € # ... \$ \$ -
 / , # , # # = * ,
 1940-* 19<0-* \$ # .
 ...8 = , * # # -
 \ , , > , ! , • , (= =
 # • q & = € # . J \$ #
 + , V =
 € # = , , * , * , \$, 8 + +
 1949 \$? % ; # \ ? q.
 8 # = \$ „ ' , ! \$,
 ; , f\$ „ & # # # ••
 € # •• & , \$ # -
 , ? E , =
 € # , * \$ \$ / = * # & -
 ». ∴ Mark Tramer. Stalin, Soviet Policy, and the Consolidation of a
 Communist Bloc in Eastern Europe, 1944...1953, p. 1. , #
 Q E „ # 30 # 2010.
- 1< ") ~ %& / ; + . ∴ Joseph Rothschild. Return
 to Diversity: A Political History of East Central Europe Since World War II . „ New
 York and Oxford, 2000. „ P. 75...7<.
- 19 8 , 21 1949.
- 20 The Communist Party of the Soviet Union `Bolsheviks Is the Leading and Guiding
 Force of Soviet Society `Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1951q,
 p. 46.
- 21 ∴ Hugh Seton-Watson. The New Imperialism: A Background Book . „ London,
 1961. „ P. <1.
- 22 ∴) \$: William Appleman Williams. The
 Tragedy of American Diplomacy. „ New York, 1959. ! & ~
 # , : Wilfried Loth. Stalin's Unwanted
 Child: The Soviet Union, the German Question and the Founding of the GDR. „
 London, 199<.
- 23 ∴ John Lewis Gaddis. We Now Know: Rethinking Cold War History . „ Oxford,
 1997| Tramer. Stalin, Soviet Policy, and the Consolidation of a Communist Bloc in
 Eastern Europe.
- 24 ∴ • , . = / = € # , 1944...1953 ,
 . 1. „ (, 1999. „ . 23...4<| Norman Naimark. The Sovietization of Eastern Europe,
 1944...1953. „ Cambridge, 2010. `The Cambridge History of the Cold Warq.
- 25 Ivo Banac, ed. The Diary of Georgi Dimitrov, 1933...1949 . „ New Haven and
 London, 2003. „ P. 14.
- 26 Tony Judt, Timothy Snyder. Thinking the Twentieth Century. „ London, 2012. „
 P. 190.
- 27 Tomasz Goban-Ilas. The Orchestration of the Media: The Politics of Mass
 Communications in Communist Poland and the Aftermath. „ Boulder, 1994. „ P. 54.

- 2< " # & \$ \$ X # f\$ -
=, \$ # ,) % -
, # = = , , # # * -# -
\$.
- 29 € , + \$ \$,
J \$!& \$: Zbigniew Brzezinski. The Soviet Bloc: Unity and Conflict . ,
New \ork, 1967.
- 30 Hannah Arendt. The Origins of Totalitarianism. , Cleveland and New \ork, 195< . ,
P. 4<0...4<1.
- 31 .: Timothy Snyder. Bloodlands: ‡urope Between Hitler and Stalin . , New \ork,
2011| }an Gross. War as Revolution, Norman Naimark, Leonid Gibianskii, eds. The
‡stablishment of Communist Regimes in ‡astern ‡urope, 1944...1949. , Boulder,
1997| Bradley Abrams. The Second World War and the ‡ast ‡uropean Revolution. YY
East European Politics and Societies, 16, 3, p. 623...625.
- 32 ., # , ? \$ # # * = = ,
& (& \$ \$ # # * = =
V . ** + * =, * # -
* , & # ~ : }ohn Lewis Gaddis.
The Cold War: A New History. , New \ork, 2005| Šojtech Mastny. The Cold War
and Soviet Insecurity: The Stalin \ears. , Oxford, 1996| Melvyn P. Leffler. For the
Soul of Mankind: The United States, the Soviet Union, and the Cold War. , New
\ork, 2007. . & : Melvyn P. Leffler, Odd Arne Westad. Bibliographical ‡ssay,
vol. 1: Origins. , Cambridge, 2010.
- 33 '. 8 = X. X #) # & ,
\$ = : Andrzej Paczkowski. The Spring Will Be Ours:
Poland and the Poles from Occupation to Freedom. , New \ork, 2003| †rystyna
†ersten. The ‡stablishment of Communist Rule in Poland, 1943...194< . ,
Berkeley, 1991. . & : Norman Naimark. The Russians in Germany: A History
of the Soviet Zone of Occupation, 1945...1949. , Cambridge, Mass., 1995| Peter
†enez. Hungary from the Nazis to the Soviets: The ‡stablishment of the
Communist Regime in Hungary, 1944...194< . , New \ork, 2006| László Borhi.
Hungary in the Cold War, 1945...1956: Between the United States and the Soviet
Union. , New \ork, 2004| †arel †aplan. The Short March: The Communist
Takeover in Czechoslovakia, 1945...4< . , New \ork, 19<7| Bradley Abrams. The
Struggle for the Soul of the Czech Nation: Czech Culture and the Rise of
Communism. , New \ork, 2005| Mary Heimann. Czechoslovakia: The State That
Failed. , New Haven, 2009.
- 34 }ohn Connelly. Captive University: The Sovietization of ‡ast German, Czech, and
Polish Higher ‡ducation, 1945...1956. , Chapel Hill, 1999| Catherine ‡pstein. The Last
Revolutionaries: German Communists and Their Century. , Cambridge, Mass., and
London, 2003| Marci Shore. Caviar and Ashes: A Warsaw Generation's Life and Death
in Marxism, 191<...196< . , New Haven, 2006| Maria Schmidt. Battle of Wits. ,
Budapest, 2007| Martin Mevius. Agents of Moscow: The Hungarian Communist Party
and the Origins of Socialist Patriotism 1941...1953. , Oxford, 2005| Mark †ramer. The
‡arly Post-Stalin Succession Struggle and Upheavals in ‡ast-Central ‡urope: Internal...

- External Linkages in Soviet Policy Making, parts 1...3. *Journal of Cold War Studies* 1, 1 `Winter 1999q, 3...55| 1, 2 `Spring 1999q, 3...3<| 1, 3 `Fall 1999q, 3...66.
- 35 • \$, . € # * = *
* , 1944...1953. ,, " , 1997| • \$, .
= / = € # , 1944...1953 . ,, (, 1999.
- , #
- ? 1. ,
- ¹ Tamas Lossonczy. The Šision Is Always Changing. ,, Budapest, 2004. ,, P. <2.
- ² William Shirer. Šnd of a Berlin Diary. ,, New `ork, 1947. ,, P. 131.
- ³ Marcin Zaremba. Wielka Trwoga: Polska 1944...1947, Ludowa reakcja na kryzys. ,, Warsaw, 2012. ,, P. 71 `"
, # \$ -
= # q.
- ⁴ Anonymous. A Woman in Berlin. ,, London, 2006. ,, P. 64...66.
- ⁵ Šrisztian Ungváry. The Siege of Budapest: 100 Days in World War II. ,, New `ork, 2005. ,, P. 324...325.
- ⁶ Władysław Szpilman. The Pianist. ,, London, 1999. ,, P. 1<3.
- ⁷ .: Bradley Abrams. The Second World War and the Šast Šuropean Revolution. *YY East European Politics and Societies*, 16, 3, p. 623...625.
- < Heda Margolius Šovály. Under a Cruel Star. ,, Cambridge, Mass., 19<6. ,, P. 39.
- ⁹ Anonymous. A Woman in Berlin, p. 297.
- ¹⁰ Marcin Zaremba. Wielka Trwoga, p. 71.
- ¹¹ Ibid., p. 6...7.
- ¹² Stefan Šisielewski. Ci z Warszawy. *YPrzekroj* 6, 5, 1945.
- ¹³ Sándor Márai. Portraits of a Marriage. ,, New `ork, 2011. ,, P. 272.
- ¹⁴ Arthur Marwick. War and Social Change in the Twentieth Century. ,, London, 1974. ,, P. 9<...145.
- ¹⁵ Timothy Snyder. Bloodlands: Šurope Between Hitler and Stalin. ,, New `ork, 2010. ,, P. 19.
- ¹⁶ Ibid., p. viii...ix.
- ¹⁷ Wolfgang Schivelbusch. In a Cold Crater: Cultural and Intellectual Life in Berlin, 1945...194<. ,, Berkeley, 199<. ,, P. <...9.
- ^{1<} Andrew Roberts. Masters and Commanders. ,, London, 200<. ,, P. 561, 569.
- ¹⁹ Bradley Abrams. The Second World War and the Šast Šuropean Revolution, p. 631| Iván T. Berend, Tamás Csató. Švolution of the Hungarian Šconomy, 1<4<...199<, vol. 1. ,, Boulder, 2001. ,, P. 253.
- ²⁰ \$ # , = # ? 5 -
31< , .: Rudiger Overmans. Deutsche militärische Šerluste im Zweiten Weltkrieg. ,, Munich, 2004. ,, S. 260. # # *

- \$ & * , \$ =, * # -
= \$, # \$ & .
- ²¹ Janusz Wrobel. Bilans Okupacji Niemieckiej w •odzi 1939...45. *Wiek 1945 w •odzi* , p. 13...30.
- ²² " = & # # , & 8 ,
\$ \$ # + + = = ,
* ~ = = 8 + . # & / \$ / * -
~ * * =, * * = ~ * -
* + \$. & # , +
~ , , \$ & \$
, # # . # & ,
, # & ~ , * \$ # # & *
* . # * ~ .
- ²³ Jan Gross. War as Revolution, Norman Naimark, Leonid Gibianskii, eds. The Establishment of Communist Regimes in Eastern Europe, 1944...1949 ., Boulder, 1997. ., P. 23.
- ²⁴ Krystyna Tersten. The Establishment of Communist Rule in Poland, 1943...194< ., Berkeley, 1991. ., P. 165.
- ²⁵ M.C. Fraser, A. Radice. The Economic History of Eastern Europe, 1919...1945, vol. II: Interwar Policy, the War and Reconstruction. ., Oxford, 19<6. ., P. 466...472.
- ²⁶ Iván Pető, Sándor Szakács. A hazai gazdaság négy évtizedének története, 1945...19<5, vol. I. Az újjáépítés és a tervutasításos irányítás időszak. 1945...196< ., Budapest, 19<5. ., P. 17...25.
- ²⁷ Berend, Csató. Evolution of the Hungarian Economy, p. 254...255.
- ^{2<} Fraser, Radice. Economic History of Eastern Europe, vol. II, p. 504...506.
- ²⁹ Janusz Palinski, Zbigniew Landau. ., Gospodarka Polski w XX wieku, p. 159...1<9.
- ³⁰ Abrams. The Second World War and the Eastern European Revolution, p. 634.
- ³¹ Fraser, Radice. Economic History of Eastern Europe, vol. II, p. 33<...339.
- ³² Ibid., p. 299...30<.
- ³³ Jan Gross. The Social Consequences of War: Preliminaries to the Study of the Imposition of Communist Regimes in East Central Europe. *Eastern European Politics and Societies*, 3, 2`Spring 19<9q, p. 19<...214| Abrams. The Second World War and the Eastern European Revolution, p. 623...664| Palinski, Landau. Gospodarka Polski w XX wieku, p. 159...1<9.
- ³⁴ Abrams. The Second World War and the Eastern European Revolution, p. 639.
- ³⁵ Czesław Miłosz. The Captive Mind ., London, 2001q. ., P. 26...29. [(+. 8 ~ = ., 8 \$ 2003. ., P. 73...74. . .].
- ³⁶ Sándor Márai. Portraits of a Marriage, p. 272.
- ³⁷ Zaremba. Wielka Trwoga, p. 221...252.
- ^{3<} Ibid.
- ³⁹ , , , ! # +, 12 2009.
- ⁴⁰ Zaremba. Wielka Trwoga, p. <7.

- ⁴¹ Ibid., p. 273.
- ⁴² Hannah Arendt. The Origins of Totalitarianism, p. 322...323.
- ⁴³ Ćarta, Lucjan Grabowski, IY1412.
- ⁴⁴ • + X =, , + , 17 2009.
- ⁴⁵ Hanna 'wida-Ziemia. Urwany Lot: Pokolenie inteligenckiej m>odziezy powojennej w 'wielcie listów i pami tników z lat 1945...194<. „ Ćraków, 2003. „ P. 30...50.
- ⁴⁶ V . #: Anna Bikont, Joanna Szczesna. Lawina i Ćamienie: Pisarze wobec Ćomunizmu. „ Warsaw, 2006. „ P. 69...79.
- ⁴⁷ K (, , ! , 7 2006.
- ^{4<} , (+. 8 ~ = , . 75.
- ⁴⁹ " # (? «, 8 + », # - + 16 / 2010 \$. \$ # / ? & #) .
- ⁵⁰ Peter Grose. Operation Rollback. „ New \ork, 2000. „ P. 2.
- ⁵¹ Dean Acheson. Present at the Creation. „ New \ork, 19<7. „ P. <5.
- ⁵² Ibid.
- ⁵³ (? «, 8 + » .
- ⁵⁴ =) = # \$: Antoni Z. Ćami"ski, Bart>omiej Ćami"ski. Road to •People's Poland•: Stalin's ConŽuest Revisited. „ Šladimir Tismaneanu, ed. Stalinism Revisited: The Ćtablissement of the Communist Regimes in Ćast Central Ćurope and the Dynamics of the Soviet Bloc. „ New \ork and Budapest, 2009. „ P. 205...211| Roberts. Masters and Commanders, p. 54<...55<.
- ⁵⁵ Winston Churchill. The Second World War, vol. ŠI: Triumph and Tragedy . „ London, 19<5. „ P. 300.
- ⁵⁶ Robert Service. Comrades. „ London, 2007. „ P. 220.
- ⁵⁷ Ibid., p. 222.
- ^{5<} 8 # # «" » # - .
http:YYweb.archive.orgYwebY20101116152301Yhttp:YYwww.history.new.edu.YPRO
- ⁵⁹ Stanisław Miko>ajczyk. The Rape of Poland. „ New \ork, 194<. „ P. 60.
- ⁶⁰ László Borhi. Hungary in the Cold War, 1945...1956: Between the United States and the Soviet Union. „ New \ork and Budapest, 2004. „ P. 36.
- ⁶¹ Stanisław Miko>ajczyk. The Rape of Poland, 25.
- ⁶² John Ćarl Haynes, Harvey Ćlehr, Alexander Šassiliev. Spies: The Rise and Fall of the ĆGB . „ New Haven, 2009. „ P. 20...26.
- ⁶³ Roberts. Masters and Commanders, p. 556.
- ⁶⁴ Hubertus Ćnabe, Ćnabe. 17 Ćuni 1953 „ Ćin deutscher Aufstand. „ Berlin, 2004. „ P. 402...406.
- ⁶⁵ Csaba Békés, Malcolm Byrne, János Rainer, eds. The 1956 Hungarian Revolution: A History in Documents. „ Budapest and New \ork, 2002. „ P. 209.
- ⁶⁶ László Borhi. Hungary in the Cold War, p. 21.

? 2. 8

- 1 Ruth Andreas-Friedrich. Battleground Berlin: Diaries, 1945...194<. „ New \ork, 1990. „, P. 36.
- 2 George †ennan. Memoirs: 1925...1950. „, New \ork, 1967. „, P. 74.
- 3 John Lukacs. 1945: \ear Zero . „, New \ork, 197<. „, P. 256.
- 4 ; , , ! , 1 # 200<.
- 5 Christel Panzig. Wir schalten uns ein: Zwischen Luftschutzkeller und Stalinbild: Stadt und Region Wittenberg 1945. „, Wittenberg, 2005. „, P. 40...42.
- 6 / • , , ! # + , 3 2009.
- 7 SNL, * , " - „. €” , , ! # + , 3 \$ 19<5. Q „, ' + K \$ + , ? K , % X , Q % .
- < 8 / ' = , , + , 15 2007.
- 9 George †ennan. Memoirs, p. 74.
- 10 Sándor Márai. Memoir of Hungary: 1944...194<. „, Budapest and New \ork, 2000. „, P. 44...46.
- 11 John Lukacs. 1945, p. 75.
- 12 V # : Anthony Beevor, Luba Šinogradova, eds.. A Writer at War: Šasily Grossman with the Red Army, 1941...1945. „, London, 2005. „, P. 341...342.
- 13 V(, 372Y6570Y7< , . 30...32. > # \$ - > ! .
- 14 Catherine Merridale. Ivan’s War. „, New \ork, 2006. „, P. 3<9.
- 15 Alexander Nakhimovsky. Alice Nakhimovsky. Witness to History: The Photographs of \evgeny †haldei . „, New \ork, 1997.
- 16 †risztján Ungváry. The Siege of Budapest: 100 Days in World War II. „, London, 2002. „, P. 360.
- 17 (= & \$) \$ 8 + 1960-* \$.
- 1< • / « , » , 13- , 1969.
- 19 Sándor Márai. Memoir, p. 44...46.
- 20 Beevor, Šinogradova, eds. Writer at War, p. 326.
- 21 Piotr Bojarski. Czo>g strzela do katedry, \ulian fotografuje. YGazeta Wyborcza, 21.01.2011.
- 22 Norman Davies, Roger Moorhouse. Microcosm: A Portrait of a †uropean City. „, New \ork, 2003. „, P. 40<.
- 23 BstU MfSZ, Sekr Neiber 407, p. <0.
- 34 Beevor, Šinogradova, eds. Writer at War, p. 330.
- 25 Merridale. Ivan’s War, p. 3<1.
- 26 ' & . 8 „, Paris, 1974. „, . 25.
- 27 X # . K „, (, 2004. „, . 150.
- 2< X # . K , . 132.

- ²⁹ • & , . 109.
- ³⁰ Włodzimierz Borodziej, Hans Lemberg, eds. Niemcy w Polsce 1945...1950: Wybór Dokumentów, vol. III. , Warsaw, 2001. , P. 57...61.
- ³¹ James Mark. Remembering Rape. *Yeast & Present* 1<< `2005q, p. 149.
- ³² Stewart Thomson, in collaboration with Robert Bialek. The Bialek Affair. , London, 1955. , P. 31...33.
- ³³ , # : Antony Beevor. The Fall of Berlin, 1945. , New York, 2002.
- ³⁴ Milovan Djilas. Conversations with Stalin. , New York, 1990. , P. 95.
- ³⁵ Antony Beevor. Fall of Berlin, p. 169.
- ³⁶ Margit Földesi. A megszállók szabadsága. , Budapest, 2002. , P. 140.
- ³⁷ K — * @ , , J , 1< 2006.
- ^{3<} Über die Russen und über uns. *Verlag Kultur und Fortschritt* `Berlin, 1949q. 8 -
\$ * *Neues Deutschland* *Tägliche Rundschau* 19 194< \$.
- ³⁹ Ibid.
- ⁴⁰ 1946 \$ \$, # # # -
& = / .
- ⁴¹ Friederike Sattler. Wirtschaftsordnung im Übergang: Politik, Organisation und Funktion der †PDYS†D im Land Brandenburg bei der †tablierung der zentralen Planwirtschaft in der SBZYDDR 1945...1952 Münster, 2002. , P. <<...92.
- ⁴² Serhii Plokhii. *alta: The Price of Peace*. , New York, 2010. , P. 10<...113, 256...262.
- ⁴³ Friederike Sattler. Wirtschaftsordnung im Übergang, p. 93...94.
- ⁴⁴ Norman Naimark. The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945...1949. , Cambridge, Mass., 1995. , P. 16<...169.
- ⁴⁵ Ibid., p. 169.
- ⁴⁶ SAPMO-BA, DNY1 3<032.
- ⁴⁷ Ibid.
- ^{4<} Šolker †oop. Besetzt: Sowjetische Besatzungspolitik in Deutschland . , Berlin, 200<. , P. 71...77.
- ⁴⁹ DRA, 201-00-004Y001, p. 62.
- ⁵⁰ Norman Naimark. Russians in Germany, p. 171.
- ⁵¹ SAPMO-BA, D\30YIŠ 2Y6.02 49, fiche 3.
- ⁵² M.C. †aser and †.A. Radice. The †conomic History of †astern †urope, 1919...1945, vol. II: Interwar Policy, the War and Reconstruction. , Oxford, 19<6. , P. 530...535.
- ⁵³ Iván T. Berend and Tamás Csátó. †volution of the Hungarian †conomy, 1<4<...199<, vol. I. , Boulder, 2001. , P. 257...25<.
- ⁵⁴ Margit Földesi. A megszállók szabadsága, p. <1...97.
- ⁵⁵ PIL, 174.12Y217.
- ⁵⁶ CAW, ŠIIYY<00Y24, teczka 9.
- ⁵⁷ Adam Dziurok, Bogdan Musia». •Bratni rabunek—. O demonta~ach i wywózcze sprz tu

z terenu Górnego 'l ska w 1945 r. W obj ciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944...1993,, Warsaw, 2009. ,, P. 321...344.

5< ! ~ = & # & 8 # = X # , \$
& \$ * * = 8 + . 1990 \$
, 2011 \$ \$ = + \$,
.

59 Richard Pipes, ed. The Unknown Lenin. ,, New Haven, 1996. ,, P. 90.

60 Ibid., p. 62.

61 ' \$. *: Robert ConŽuest. Reflections
on a Ravaged Century. ,, New ōrk, 1999. ,, P. 34...36| François Furet. The Passing
of an Illusion: The Idea of Communism in the Twentieth Century. ,, Chicago, 1999.

62 . \$ = = # :
<http://www.marxists.org/Yarchive/Ylenin/Yworks/Y1901/Ywitbd/Y>

63 Richard Pipes. The Russian Revolution. ,, New ōrk, 1991. ,, P. 60<.

64 .: Paul Lendvai. The Hungarians: A Thousand ōars of Šictory in Defeat. ,, Princeton, 2004. ,, P. 369...372| Richard Pipes. Russia Under the Bolshevik Regime, 1919...1924. ,, New ōrk, 1994. ,, P. 170...172| István György Tóth, ed.. A Concise History of Hungary. ,, Budapest, 2005. ,, P. 4<7...494.

65 Richard Pipes. Russia under the Bolshevik Regime, p. 1<2...1<3.

66 .: # \$ X : Šictor Serge. Memoirs of a
Revolutionary. ,, Oxford, 1967.

67 . # (? «, 8 + », # -
+ 16 / 2010 \$.

6< Adam Zamoyski. Warsaw 1920: Lenin's Failed ConŽuest of Źurope. ,, London, 200<. ,, P. 1...13, 42.

69 Richard Pipes. Russia Under the Bolshevik Regime, p. 192.

70 Tim Tzouliadis. The Forsaken: An American Tragedy in Stalin's Russia. ,, New ōrk, 200<. ,, P. 55.

? 3. X

1 V . #: T. Berend and Tamás Csató. Źvolution of the Hungarian Źconomy, 1<4<... 199<, vol. I. ,, Boulder, 2001. ,, P. 257...25<.

2 \$ * .:
<http://www.marxists.org/Yarchive/Ybulganin/Y1949/Y12/Y21.htm>.

3 . Stern. Ulbricht. € # \$, \$ /
• * ~ = \$ / , # -
X) .

4 Ibid., p. 15.

5 Ibid., p. <9.

6 Źlfriede Brüning, *Und au erdem war es mein Leben* `Berlin, 2004q, p. 2<.

7 ., # : Walter Ulbricht. On Źuestions of Socialist Construction in the GDR ., Dresden, 196<.

- < Stern. Ulbricht, p. 124.
- ⁹ Andrzej Garlicki. Bolesław Bierut. „Warsaw, 1994. „P. 1...20| Andrzej Werblan. Stalinism w Polsce. „Warsaw, 2009. „P. 122...131| Piotr Lipiński. Bolesław Niejasny. „Warsaw, 2001.
- ¹⁰ Polska-ZSRR: Struktury Podległości: Dokumenty 1944...1949, p. 59...61.
- ¹¹ €& (=, , + , 7 2007.
- ¹² Lipiński. Bolesław Niejasny, p. 41.
- ¹³ Q = # & ' , # = # & f /
\$! \$ "X %. ∴ Garlicki. Bolesław
Bierut, p. 16...19| Lipiński. Bolesław Niejasny, p. 40. ? , \$ =
= # ! , # K ~ * , !
\$, = * *.
- ¹⁴ Mátyás Rákosi. *Ésszaemlékezések 1940...1956*, vol.I. „Budapest, 1997. „P. 5...26.
- ¹⁵ Ibid., p. 26...46.
- ¹⁶ ; + # * ? \$ % . ∴ Ivo Banac, ed.
The Diary of Georgi Dimitrov 1933...1949. „New Haven, 2003.
- ¹⁷ Ibid p. 46...<3.
- ^{1<} Ibid., p. 137...13<.
- ¹⁹ Harvey Lehrs, John Earl Haynes, Tyrill Anderson. The Soviet World of American Communism. „New Haven and London, 199<. „P. 110...142. " # ,
X @' # &
\$ 8 , & \$, # + \$ \$ -
= = 1919 \$, # + \$ \$ -
= # , # &) \$ + \$ ' . " =)
& = # -
& .
- ²⁰ Anne Applebaum. Now We know. *The New Republic* `May 31, 2009q.
- ²¹ Thomas Sgovio. Dear America. „New York, 1979. „P. 99.
- ²² Banac, ed. Diary of Georgi Dimitrov, p. 119.
- ²³ Alexander Dallin, F.I. Firsov, eds. Dimitrov and Stalin, 1934...1943: Letters from the Soviet Archives. „New Haven, 2000. „P. 2<...31.
- ²⁴ Marcus Wolf, Anne McIlvoy. Man without a Face: The Autobiography of Communism's Greatest Spymaster. „London, 1997. „P. 32.
- ²⁵ Margarete Buber-Neumann, *Under Two Dictators* `London, 200<q, p. 13.
- ²⁶ PIL, <67Y1YH-16<.
- ²⁷ Banac ed. Diary of Georgi Dimitrov, p. 197.
- ^{2<} Marci Shore. Caviar and Ashes: A Warsaw Generation's Life and Death in Marxism, 191<...196<. „New Haven, 2006. „P. 73...74.
- ²⁹ Ibid., p. 123...127.
- ³⁰ Ronald Aronson. *us and Sartre: The Story of a Friendship and the Quarrel That Ended It* `Chicago, 2004q, p. 150.

- 31 Banac, ed. *Diary of Georgi Dimitrov 1933...1949*, p. 11<...119.
- 32 R.C.. Raack. *Stalin's Plans for World War Two Told by a High Comintern Source*. *YY The Historical Journal* 3<, 4 `December 1995q, p. 1031...1036.
- 33 Buber-Neumann. *Under Two Dictators*, p. 175.
- 34 Piotr Gontarczyk. *Polska Partia Robotnicza: Droga do Władzy, 1941...1944* ,, Warsaw, 2003. ,, P. 101...102.
- 35 Ibid.| HIA, Mieczysław Rakowski Collection.
- 36 Comintern Archive. British Library, f. 31Yo. 1Yd. 1Yl. 3...31.
- 37 Ibid., f. 31Yo. 2Yd. 1Yl. 1...10.
- 3< Ibid.
- 39 Wolfgang Leonhard. *Child of the Revolution*. ,, Chicago, 195<. ,, P. 191...296.
- 40 Ibid., p. 224.
- 41 Ibid., p. 226.
- 42 HIA, Berman Collection, Box 1.
- 43 *Deklaracja Ideowa PZPR: Statut PZPR*. ,, Warsaw, 1950.
- 44 HIA, Berman Collection, Box 1.
- 45 = / = € #, 1944...1953, . 1. ,, (, 1999. ,, P. 23...4<.
- 46 Buber-Neumann. ,, *Under Two Dictators*, p. 13.
- 47 Arthur ħoestler. *Arrow in the Blue*. ,, London, 2005. ,, P. 311.
- 4< Leonhard. *Child of the Revolution*, p. 231.
- 49 Ibid., p. 241...251.
- 50 Catherine ħpstein. *The Last Revolutionaries: German Communists and Their Century*. ,, Cambridge, Mass., and London, 2003. ,, P. <...9.
- ? 4.
- 1 V . # : }ens Gieseke. *The GDR State Security: Sword and Shield* . ,, Berlin, 2004. ,, P. 7.
- 2 Andrzej Friszke. *Polska: Losy pa"stwa i narodu, 1939...19<9*,, Warsaw, 2003. ,, P. 9.
- 3 Manifest Lipcowy `Warsaw, 1974q, p. 5.
- 4 ħrystyna ħersten. *The ħtablissement of Communist Rule in Poland, 1943...194<*. ,, Berkeley, 1991. ,, P. 77...160.
- 5 Martin Meviu. *Agents of Moscow: The Hungarian Communist Party and the Origins of Socialist Patriotism 1941...1953*. ,, Oxford, 2005. ,, P. 53.
- 6 ħrisztian Ungváry. *Magyarország szovjetizálásának kérdései*, Ignác Romsics, ed. *Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történeleml.r.l*. ,, Budapest, 2002. ,, P. 294.
- 7 László Borhi. *Hungary in the Cold War, 1945...1956: Between the United States and the Soviet Union*. ,, New ork and Budapest, 2004. ,, P. 3<.
- < % * * = ? \$ #
= '? ` ? q
= SMAD `Sowjetische Militäradministration in Deutschlandq.

- ⁹ Spilker. The Last German Leadership and the Division of Germany: Patriotism and Propaganda 1945...1953., Oxford, 2006. , P. 46.
- ¹⁰ 8 + = # # & # & #
`Stu!ba Bezpiecze stwa q, \$ # \$ -
= # ` Államvédelmi Hatóságq, , #
\$ # & * * ,
* = \$ + \$.
- ¹¹ • \$, . € # * = *
* , 1944...1953. . 1: 1944...194<., " , 1997. , . 203.
- ¹² Maciej ħorku . ħujbyszewiaczy,,Awangarda UB. YY *Arkana* 46...47 `April...May 2002q. , P. 75...95.
- ¹³ IPN, BU 0447Y120, p. 5...12.
- ¹⁴ IPN, BU 0447Y120, p. 13...15.
- ¹⁵ = \$ # : Allan Levine. Fugitives of the Forest: The Heroic Story of Jewish Resistance and Survival During the Second World War. , New York, 200<.
- ¹⁶ ħorku . ħujbyszewiaczy , Awangarda UB, p. 75...95.
- ¹⁷ IPN, BU 0447Y120, p. 5...12.
- ^{1<} ħrzystof Persak, •ukasz ħaminski, eds. A Handbook of the Communist Security Apparatus in ħast Central ħurope, 1944...19<9. Warsaw, 2005.
- ¹⁹ ħonrad Rokicki. Aparatu obraz W>asny, «Zwyczajny» Resort. , Warsaw, 2005. , P. 26.
- ²⁰ S>awomir Poleszak et al., eds. Rok Pierwszy: Powstanie i 'Dzia>alno' aparatu bezpiecze>stwa publicznego na Lubelszczyŝnie `Lipiec 1944...Czerwiec 1945q., Warsaw, 2004. , P. 50...55.
- ²¹ Rokicki. Aparatu Obraz W>asny, p.13...32.
- ²² , X ~ , , + , 25 2007. . & : Witold Bere',
Jerzy Skoczylas. Genera ħiszczak Mowi œPrawie Wszystko . , Warsaw, 1991.
- ²³ IPN, 352Y7. ' & = 8 = % +)
, \$.
- ²⁴ ħrahulcsán, Rolf Müller, Mária Palasik. A politikai rend-éség háború utáni megszervezése `1944...1946q, # # . P. 3...4.
- ²⁵ Gábor Bacsoni. Pár`tqvíadal „A Magyar Államrend-éség Őidéki F>kapitányiségának Politikai Rendészeti osztálya, 1945...1946. , Budapest, 2002. , P. <1.
- ²⁶ Zsolt ħrahulcsán, Rolf Müller, eds. Dokumentumok a magyar politikai rend-éség történetéből 1. A politikai rendészeti osztályok 1945...1946., Budapest, 2010. , P. 9...63.
- ²⁷ PIL, 274Y11Y10, p. 6...7.
- ^{2<} Ibid., p. 1...12.
- ²⁹ 2002 \$ (= , # ~ = # #
\$ \$ & .
- ³⁰ ħrahulcsán, Müller, Palasik. A politikai rend-éség háború utáni megszervezése, p. 5...6.
- ³¹ > / @ X+ # \$: Géza Böszörményi.
Recsk 1950...1953. , Budapest, 2005. , P. 10.

- ³² Šladimir Farkas. Nincs mentség. ., Budapest, 1990. ., P. 106.
- ³³ †rahulcsán, Müller, eds. Dokumentumok a magyar politikai, p. 159...160, 237...23<.
- ³⁴ Mária Palasik. A politikai rend-ŕség háború utáni megszervezése. YY György Gyarmati, ed. Államvédelem a Rákosi-korszakban. ., Budapest, 2000. ., P. 39| György Gyarmati. †ános †ádár és a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága. YY A Történeti Hivatal Évkönyve. ., Budapest, 1999. ., P. 11<...20| Baráth Magdolna. Ger< †rn< a Belügyminisztérium élén. YY A Történeti Hivatal Évkönyve,, Budapest, 1999. ., P. 159.
- ³⁵ MOL, †EICE-B-1-r-7<7Y1945.
- ³⁶ †ajári †rszébet. ., A magyar Belügyminisztérium szovjet tanácsadói . ., Múltunk, 1999. ., P. 220...227.
- ³⁷ Farkas. Nincs mentség, p. 12<.
- ^{3<} Magyar Internacjonalisták `Budapest, 19<0q| Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig ., Budapest, 199<. ., P. 192.
- ³⁹ PIL,<67Yf. 11Yg-24, p. 15...5<.
- ⁴⁰ Ibid.
- ⁴¹ Q (= @ , @ X + , ! = ! | . & : Bőszörményi. Recsk, p. 49.
- ⁴² †laus †ichner, Gotthold Schramm, eds. Angriff und Abwehr: Die deutschen Geheimdienste nach 1945. ., Berlin, 2007| Roger †ngelmann. «Schild und Schwert» als †xportartikel: Aufbau und Anleitung der ostdeutschen Staatssicherheit durch das †GB und seine Šorläufer `1949...1959q, Andreas Hilger, Mike Schmeitzner, Ute Schmidt, eds. YY Diktaturdurchsetzung. Instrumente und Methoden der kommunistischen Machtsicherung in der SSBYDDR 1945...1955 Dresden 2001. ., P. 55...64.
- ⁴³ †ngelmann. «Schild und Schwert», p. 55...64| Norman Naimark. To †now †verything and to Report †verything Worth †nowing: Building the †ast German Police State, 1945... 1949. YY Cold War International History Project Working Paper no. 10, August 1994.
- ⁴⁴ BStU MfSZ, HA ICE, no. 20603, p. 2.
- ⁴⁵ Jens Gieseke. Die DDR-Staatssicherheit: Schild und Schwert der Partei ., Bonn, 2000. ., P. 1<.
- ⁴⁶ †ngelmann. «Schild und Schwert», p. 55...64.
- ⁴⁷ '=* ? * @ , , ! , 24 200<.
- ^{4<} BStU MfSZ, Sekr. D. Min. no. 1920.
- ⁴⁹ †ngelmann «Schild und Schwert», p. 55...64.
- ⁵⁰ BStU MfSZ, HA ŠII, no. 4000, p. 16...17.
- ⁵¹ Gary Bruce. The Firm: The Inside Story of the Stasi. ., Oxford, 2010. ., P. 34.
- ⁵² ? * @ , .
- ⁵³ Gieseke. Die DDR-Staatssicherheit, p. 19.
- ⁵⁴ Q \$ / «Das Ministerium für Staatssicherheit» `«(\$ = # »q, = 2007 \$ & X X .
- ⁵⁵ ? * @ , .

- ⁵⁶ % * = ? @ .
- ⁵⁷ ? @ , , ! , 24 200<.
- ⁵⁸ Richard Pipes, ed. *The Unknown Lenin*. , New Haven, 1996. , P. 154.
[V # # 19
1922 \$, # ~ % * = , * ; =
\$ * -# = : ; ? 8Q. E. 2. #. 1.
%. 22947. , . .]
- ⁵⁹ BStU MfSZ, 14<6Y2, part 1 of 2, p. 11.
- ⁶⁰ Amir Weiner. *Nature, Nurture, and Memory in a Socialist Utopia: Delineating the Soviet Socio-ethnic Body in the Age of Socialism*. *YThe American Historical Review* 104, 4 `October 1999q, p. 1, 121.
- ⁶¹ BStU MfSZ, 14<6Y2, part 1 of 2.
- ⁶² Ibid., HA ĖŠIII, no. 922, p. 210.
- ⁶³ †ati Marton. †emies of the People: My Family*s }ourney to America . , New }ork, 2009. , P. 11<.
- ⁶⁴ BStU MfSZ, HA ŠII, no. 4000, p. 36.
- ⁶⁵ Ibid., Ff 39Y52.
- ? 5. "
- ¹ V . # : Wolfgang Leonhard. *Child of the Revolution*. , Chicago, 195<. , P. 3<1.
- ² > = # & , , • = . . : Timothy Snyder. *Sketches from a Secret War*. , New Haven and London, 2005. , P. 210.
- ³ # = # . : Tony }udt. *Postwar*. , New }ork, 2005. , P. 41...53.
- ⁴ = \$) * # , \$ 2011 \$
\$ * ? \$.
- ⁵ ;? "Q <9Y1<Y4, . 1...3.
- ⁶ • \$, . € # * = *
* , 1944...1953 . , " , 1997, . 1: 1944...194<, . 42.
- ⁷) / # (X Q & -
* = E - # , # 30 # 2010 \$: Xramer
M. Stalin, *Soviet Policy and the Consolidation of a Communist Bloc in †astern †urope*, 1944...1953.
- [<] V . # : †rystyna †ersten. *The †tablissement of Communist Rule in Poland*, 1943... 194<, , Berkeley, 1991. , P. 2<6.
- ⁹ ' & = 8 = # \$ & # \$, / -
' = . . : Andrzej Paczkowski. *The Spring Will Be Ours: Poland and the Poles from Occupation to Freedom*. University Park, Pa., 2003. , P. <3...<9.
- ¹⁰ Ibid., p. 116.
- ¹¹ Ibid., p. 11<.
- ¹² Apoloniusz Zawilski. *Polskie Fronty 191<...1945*, vol. 2. , Warsaw, 1997. , P. 7.
- ¹³ Ibid., p. 45<...466.

- ¹⁴ Ibid., p. 45.
- ¹⁵ †eith Sword. Deportation and †xile: Poles in the Soviet Union, 1939...194< London, 1996. „, P. 144...147.
- ¹⁶ CAW,Opis ŠIIYY<00Y19 `N†WD ZSRRq, folder 10, p. 3, 6.
- ¹⁷ Ibid., p. 4.
- ^{1<} CAW, Opis ŠIIYY900Y19 `N†WD ZSRRq, folder 10, p. 9.
- ¹⁹ CAW, Opis ŠIIYY<00Y29Y1 `N†WD ZSRRq, folder 1, p. 1...2.
- ²⁰ CAW, Opis ŠIIYY<00Y19 `N†WD ZSRRq, folder 10, p. 6...10.
- ²¹ " 8 . Q : 8 = 8 X?! „, (., 2005. „, . 21...
34| . & : Sword. Deportation and †xile, p. 14.
- ²² CAW, Opis ŠIIYY<00Y19 `N†WD ZSRRq, folder 11, p. 1...2.
- ²³ †arta, }anusz Zawisza-Hrybacz, IYY1730.
- ²⁴ †arta. Henryk Sawala, IYY3315.
- ²⁵ Stanisław Ciesielski, Wojciech Materski, Andrzej Paczkowski. Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich, O’rodek †arta. „, Warszawa, 2002. „, P. 27.
- ²⁶ Zawilski. Polskie Fronty, vol. 2, p. 256.
- ²⁷ € \$ * * \$ # ~ * + . =
=+ *) " %) : Norman Davies.
Rising•44. „, New York, 2004.
- ^{2<} CAW, Opis ŠIIYY<00Y29Y4 `N†WD ZSRRq, p. 197.
- ²⁹ Ibid. Opis ŠIIYY<00Y19 `N†WD ZSRRq, folder 13, p. 33.
- ³⁰ Ibid., folder 11, p. 70...<0.
- ³¹ Ibid. Opis ŠIIYY<00Y13 `N†WD ZSRRq, folder 13, p. 33| folder 12, p. 3<.
- ³² Andrzej Panufnik. Composing Myself. „, London, 19<7. „, P. 131.
- ³³ @ !& , , + , 2< 4 200<.
- ³⁴ Andrzej Friske. Opozycja Polityczna w PRL, 1945...19<0. „, London, 1994. „, P. 9.
- ³⁵ . * \$ + =: <http://Yavalon.law.yale.edu/Ywwii/Yyalta.asp>. [.
& X / = * * & „ -
\$, * @ ' X , " # „
\$ „ . % % ` (, 1970q. . 1<5...193. „ . .]
- ³⁶ †ersten. †stablishment of Communist Rule in Poland, p. 125.
- ³⁷ HIA, }akub Berman collection, folder 1:6.
- ^{3<} †ersten. †stablishment of Communist Rule in Poland, p. 125.
- ³⁹ Ibid., p. 126.
- ⁴⁰ Sławomir Poleszak et al., eds. Rok Pierwszy: Powstanie i Dzia’alno’ aparatu bezpiecze’sstwa publicznego na LubelszczyŹnie `Lipiec 1944 „, Czerwiec 1945q . „, Warsaw, 2004. „, P. 397.
- ⁴¹ Snyder. Sketches from a Secret War, p. 207.
- ⁴² .: }ozefa Huchlowa et al., eds. Zrzeszenie •Wolnosc I niezawislosc— w dokumentach, vol. I. „, Wroc’aw, 1997.

- ⁴³ Justyna Wojcik, ed. *Ántykomunistyczne Organizacje Młodzieżowe w Malopolsce w Latach 1944...1956*,. Łraków, 200<. , P. 33...34.
- ⁴⁴ Poleszak et al., eds. *Rok Pierwszy*, p. 179...1<0.
- ⁴⁵ CAW, Opis ŠIIIY<00Y13 `N†WD ZSRRq, folder 15, p. 31.
- ⁴⁶ Anita Prazmowska. *Civil War in Poland, 1942...194<.*, New York, 2004. , P. 153.
- ⁴⁷ Poleszak et al., eds. *Rok Pierwszy*, p. 352...3<3.
- ^{4<} AAN, M†NY5<7, p. 2...3.
- ⁴⁹ Łarta, *Memoir Archives*, Lucjan Grabowski, ILY1412.
- ⁵⁰ Jakub Nawrocki. Do Łrwi Ostatnej. YYPolska Zbrojna < `February 20, 2011q, p. 60...62.
X # # , + 1965 \$.
1972- .
- ⁵¹ IPN,Rz 05Y36YCD.
- ⁵² CAW, Opis ŠIIIY<00Y19 `N†WD ZSRRq, folder 1<, p. 13.
- ⁵³ > * ” , , =# \$ 12 2006.
- ⁵⁴ * / # = ? .: Frederick Taylor.
Łxorcing Hitler: The Occupation and Denazification of Germany. , London, 2011. ,
P. 260...276.
- ⁵⁵ . / \$ ~ ! = / * & :
http://YYavalon.law.yale.edu/Y20th_centuryYdecade17.asp. [V . # : * \$,
„ 8 . , , (, 1970. , . 3<< , . .]
- ⁵⁶ Gerhard Finn. *Die politischen Häftlinge der Sowjetzone: 1945...1959* ,
Pfaffenhofen, 1960. , P. 26...31| /\$ \$, , ! , 20
2006.
- ⁵⁷ Q (/ 8 # / # /
Zeitzeugen` & % . f \$ q.
- ^{5<} ? ? = , , ! J * , 20 4 -
2006.
- ⁵⁹ Łopka. *Obozy Pracy w Polsce, 1944...1950* , Warsaw, 2002. , P. 147...14<.
- ⁶⁰ 8 & J * # # = \$ • 1. . =
(\$ J * :
<http://YYwww.stiftung-bg.de/YgumsYenYindex.htm>.
- ⁶¹) , * ~ * (J * .
- ⁶² Jan Lipinsky, Renate Lipinsky. *Die Straße die in den Tod führte* „ Zur Geschichte des Speziallagers Nr. 5 ŁetschendorfYFürstenwalde. , Leverkusen, 1999. , P. 177.
- ⁶³ ? ? = , | \$ # =.
- ⁶⁴ * * , " " = \$ 153 953
* 42 022 # \$ + * \$ * = # = . . :
Naimark. To Łnow Łverything and to Report Łverything Worth Łnowing: Building the Łast German Police State, 1945...1949. YY Cold War International History Project Working Paper no. 10, August 1994, p. 377. ? = K = , #
, # 157 <37 *

- 43035 # \$ + *. ∴ Gneist, Heydemann. Allenfalls kommt man für ein halbes Jahr p. 12.
- 65 /\$ \$, .
- 66 ? ? = , .
- 67 Bodo Ritscher. Speziallager Nr. 2 Buchenwald. „ Buchenwald, 1993. „ P. <6...90.
- 68 Ernst Tillich. Hefte der Kampfgruppe. „ Berlin, 1945.
- 69 Ritscher. Speziallager Nr. 2 Buchenwald, p. <6...90.
- 70 " , * ~ * (J * .
- 71 /\$ \$, .
- 72 Tamás Stark. Magyar hadifoglyok a 'szovjetunióban . „ Budapest, 2006. „ P. 36.
- 73 HIA, George Bien collection. . & \$: George Z. Bien, *Lost Years*.
- 74 Stark. Magyar hadifoglyok a 'szovjetunióban , p. 73...<5.
- 75 Ibid., p. 97.
- 76 László Tarsai. The People's Courts and Revolutionary Justice in Hungary, 1945...46. YY István Deák, Jan T. Gross, Tony Judt, eds. The Politics of Retribution in Europe Princeton, 2000. „ P. 233...24<.
- 77 Margit. A megszállók szabadsága. „ Budapest, 2002q, p. 64.
- 78 & # ' \$, # - + + - "X % ! .
- 79 Barbara Bank. Az internálás és kitelepítés dokumentumai a történeti levéltárban. György Gyarmati, ed. Az átmenet évkönyve, 2003. „ Budapest, 2004. „ P. 107...130| Tarsai. People's Courts and Revolutionary Justice in Hungary, p. 233.
- 80 István Szent-Miklós. With the Hungarian Independence Movement, 1943...1947: An Eyewitness Account. „ New York, 19<<. „ P. 136.
- 81 Ibid., p. 13<...139.
- 82 ÁBTL, Š-11339<Y1, p. 1...20| Balogh Margit. A FALOT és a katolikus társadalompolitika 1935...1946, „ Budapest, 199<. „ P. 1<4...1<5.
- 83 ÁBTL, Š-11339<Y1, p. 241...260.
- 84 Szabad Nép, May 4, 1946.
- 85 Kis Újság, May 3, May 4, 1946.
- 86 . # @ X + \$: Géza Böszörményi. Recsk 1950... 1953. „ Budapest, 2005| @ X + , ! # + , 27 2009.
- ? 6. > ' % ' %
- 1 Maria Buczyo. Akcja «Wisła»: Wyp dzi , rozproszy . YYKarta 49 `2006q, p. 32.
- 2 Archie Brown. The Rise and Fall of Communism. „ London, 2009. „ P. 113.
- 3 . 8 \$ # : http://Yavalon.law.yale.edu/Y20th_century/Ydecade17.ašp [„ \$ „ . % % ` (, 1970q, c. 401...40<. „ . .]

- ⁴ Stefano Bottoni. Reassessing the Communist Takeover of Romania: Šilence, Institutional Continuity, ‡thnic Conflict Management, , # = / « % € #, # », , 2<...30 200<.
- ⁵ ‡agle Glasheim. National Mythologies and ‡thnic Cleansing: The ‡xpulsion of Czechoslovak Germans in 1945. YŸCentral European History 33Y4 `2000q, p. 470...471.
- ⁶ Piotr Semków. Martyrologia Polaków z Pomorza Gda“skiego w latach II wojny `wiatowej. YŸBiuletyn Instytutu Pami ci Narodowej <...9 `2006q, p42...49.
- ⁷ Gerhard Gruschka. Zgoda, miejsce zgrozy: Obóz koncentracyjny w `wŸetoch>owicach,, Gliwice, 199<.
- ⁸ . \$ «) * \$, 1939...194<», % , ! # + .
- ⁹ ? X *, , ! , 21 2006. X * , * , # * # + # / - \$ / , = # / Jungmädel, - = \$ \$ + \$.
- ¹⁰ Włodzimierz Borodziej, Hans Lemberg, eds. Niemcy w Polsce 1945...1950: Wybor Dokumentow, vol. III. , Warsaw, 2001. , P. 25...26.
- ¹¹ Marion Gräfin Dönhoff. Namen, die keiner mehr nennt: Ostpreußen-Menschen und Geschichte. , Munich, 1964. , P. 16...1<.
- ¹² Glasheim. National Mythologies and ‡thnic Cleansing, p. 470.
- ¹³ Piotr Pykel. The ‡xpulsion of the Germans from Czechoslovakia, Steffen Prauser, Arfon Rees, eds. YY The ‡xpulsion of the •German— Communities from ‡astern ‡urope at the ‡nd of the Second World War, ‡UI Working Paper H‡C no. 200Y1, p. 1<.
- ¹⁴ Borodziej, Lemberg, eds. Niemcy w Polsce, p. 33...34.
- ¹⁵ Pykel. ‡xpulsion of the Germans from Czechoslovakia, p. 11...21| Balász Apor. The ‡xpulsion of the German-Speaking Population from Hungary, Prauser, Rees, eds. YY ‡xpulsion of the «German» Communities from ‡astern ‡urope, p. 32.
- ¹⁶ Laszlo ‡arsai. The People's Courts and Revolutionary }ustice in Hungary, 1945...46| István Deák, }an Gross, Tony }udt, eds. YY The Politics of Retribution in ‡urope. , Princeton, 2000. , P. 246...247.
- ¹⁷ Witold Stankowski. Centralny Obóz Pracy w Potulicach w Latach 1945...1950| Alicja Paczoska, ed. YY Obóz w Potulicach , Aspekt Trudnego Siedstwa Polsko-Niemieckiego w Okresie Dwóch Totalitaryzmów. , Bydgoszcz, 2005. , P. 5<...59.
- ¹⁸ Helga Hirsch. Zemsta Ofiar. , Warsaw, 1999. , P. 7<| Stankowski. Centralny Obóz Pracy w Potulicach w Latach 1940...1950, p. 62.
- ¹⁹ Waldemar Ptak. Naczelnicy Centralnego Obozu Pracy w Potulicach w Latach 1945...1950, Paczoska, ed. YY Obóz w Potulicach, p. 70...7<.
- ²⁰ .: Hirsch. Zemsta Ofiar, p. 14...146| Witold Stankowski. Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludno'ci cywilnej w Polsce w latach 1945...1950. , Bydgoszcz, 2002. P. 260...269| }ohn Sack. An ‡ye for an ‡ye. , New }ork, 1993. , P. <6...97. 8 \$, + \$, & \$ -

, * # # -

- 21 Borodziej, Lemberg, eds. Niemcy w Polsce, p. 131...147.
- 22 Barbara Bank, Sándor ze. A «német ügy» 1945...1953. A Šolksbundtól Tiszalökig. , Budapest and Munich, 2005. , P. 9...34.
- 23 Timothy Snyder. Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin. , New York, 2010. , P. 323...324.
- 24 Pykel. Expulsion of the Germans from Czechoslovakia, p. 11...21.
- 25 Phillip Ther. The Integration of Expellees in Germany and Poland After World War II. *Ylavic Review* 55, 4 `Winter 1996q, p. 7<7...7<<.
- 26 Piotr Szubarczyk, Piotr Semków. Żyria z Rumii. *YBiuletyn Instytutu Pamiłeci Narodowej* 5 `2004q, p. 49...53.
- 27 Norman Naimark. Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe. , Cambridge, Mass., and London, 2001. , P. 110...111.
- 2< Ibid.
- 29 Tibor Zinner. A magyarországi németek kitelepítése. , Budapest, 2004. , P. 19...2<| . & ! ! \$: Bank, ze. A «német ügy» 1945...1953.
- 30 Bottoni. Reassessing the Communist Takeover of Romania, p. 5.
- 31 Mikołaj Stanisław ĳunicki. The Polish Crusader: The Life and Politics of Bolesław Piasecki, 1915...1979, Ph.D. dissertation. , Stanford University, June 2004, p. 196...203.
- 32 Bottoni. Reassessing the Communist Takeover of Romania, p. 1<...21.
- 33 ĳálmán ĳanics. Czechoslovak Policy and the Hungarian Minority, 1945...194<. , New York, 19<2. , P. 61.
- 34 Ibid., p. 105.
- 35 ' & = X # \$, * = # \$. : Andrzej ĳrawczyk. Czechy: ĳomunizm Wiecznie Żywy. *YĴgazeta Wyborcza* 155 `July 5, 2007q.
- 36 Przesiedlenia Polaków i Ukraińców, 1944...1946, vol. 2. , Warsaw and ĳiev, 2000, p. 41.
- 37 + & #) = # & • = . : Timothy Snyder. The Causes of Ukrainian...Polish Ethnic Cleansing, 1943. , *YYPast and Present* 179 `May 2003q, p. 197...234.
- 3< Barbara Odnous. Lato 1943, *Karta* 46 `2005q, p. 121.
- 39 Waldemar Lotnik. Nine Lives: Ethnic Conflict in the Polish...Ukrainian Borderlands,, London, 1999. , P. 65.
- 40 Przesiedlenia Polaków i Ukraińców, p. 253.
- 41 Ibid., p. 45.
- 42 Ibid., p. 737...741.
- 43 Ibid., p. 915...917.
- 44 Dariusz Stola. Forced Migrations in Central European History. *YInternational Migration Review* 26, 2 `Summer 1992q, p. 324...341.

- ⁴⁵ Przesiedlenia Polaków i Ukraińców, p. 49, 743.
- ⁴⁶ Eugeniusz Misiów. Akcja Wisła. „Warsaw, 1993. „, P. 16...17.
- ⁴⁷ Timothy Snyder. Sketches from a Secret War. „New Haven and London, 2005. „, P. 210.
- ⁴⁸ Misiów. Akcja Wisła, p. 66...69, 73.
- ⁴⁹ Ibid., p. 63.
- ⁵⁰ Ibid., p. 25.
- ⁵¹ Buczyński. Akcja «Wisła», p. 34.
- ⁵² Snyder. Bloodlands, p. 329.
- ⁵³ . (X Q & * =
E - # , # = 30 # 2010 \$: Mark Kramer. Stalin,
Soviet Policy, and the Consolidation of a Communist Bloc in Eastern Europe, 1944...
1953, p. 21.
- ⁵⁴ Dagmar Fusa. Historical Trauma in Ethnic Identity. YY Leonore Breuning, Jill Lewis,
Gareth Pritchard, eds. Power and the People: A Social History of Central European
Politics, 1945...1956., Manchester, 2005. „, P. 130...152.
- ⁵⁵ Janics. Czechoslovak Policy and the Hungarian Minority, p. 219.
- ⁵⁶ Bennet Kovrig. Partitioned Nation: Hungarian Minorities in Central Europe. YY Michael
Mandelbaum, ed. The New European Diasporas. New York, 2000. „, P. 19...21 | Stola.
Forced Migrations in Central European History, p. 336...337.
- ⁵⁷ . \$:
[http://www.ipn.gov.pl/Yportal/YenY2Y71YResponse_by_the_State_of_Israel_to_the_](http://www.ipn.gov.pl/Yportal/YenY2Y71YResponse_by_the_State_of_Israel_to_the_application_for_the_extradition_of_Salomo.html)
[application_for_the_extradition_of_Salomo.html](http://www.ipn.gov.pl/Yportal/YenY2Y71YResponse_by_the_State_of_Israel_to_the_application_for_the_extradition_of_Salomo.html).
199< \$ # & #) K
! , += # = , # # +=
\$ > E / , \$ \$ *
' = =, =# & # \$ / .!
1971 \$ # * / . = 8 + -
& , & =# # -
« ! »! # \$ -
. 8) : Anne Applebaum. The
Three Lives of Helena Brus. YYunday Telegraph, December 6, 199<.
- ⁵⁸ Dariusz Stola. Kraj Bez Wyjścia? Migracje z Polski 1949...19<9 „Warsaw, 2010. „,
P. 49...53. . & : Dariusz Stola, Natalia Aleksyńska, Barbara Polak. Wszyscy krawcy
wyjechali. O Żydach w PRL. YYBiuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 11 `2005q, p. 4...25.
- ⁵⁹ András Kovács, ed. Jews and Jewry in Contemporary Hungary: Results of a
Sociological Survey. „Institute for Jewish Policy Research, 2004. „, P. 49...53.
- ⁶⁰ Jeffrey Herf. Divided Memory: The Nazi Past in the Two Germanys „Cambridge,
Mass., 1997. „, P. 70. Q 600 ,# & + * = ? ,
= 21 .
- ⁶¹ Stola. Kraj Bez Wyjścia? p. 50.
- ⁶² Marek Chodakiewicz. After the Holocaust. „New York, 2003. „, P. 1<7...199.

- ⁶³ ? # \$, 1944...1946 \$ * # 1,5
 , (K \$ 400...700 & *.
 " \$ & 2,5 . . : }an Gross. Fear: Anti-Semitism
 in Poland After Auschwitz. , New York, 2006| Marek Chodakiewicz. After the
 Holocaust.
- ⁶⁴ Chodakiewicz. After the Holocaust, p. 172| }ános Pelle. Az utolsó vérvádak. ,
 Budapest, 1995. , P. 125...149.
- ⁶⁵ > # ~ =. 8 .: Gross. Fear, p. 1 1...129|
 Bożena Szaynok. Pogrom żydów w łelcach. 4. ŚII 1946 r. , Warsaw, 1992.
 + * # * # \$, = X ,
 .: Bożena Szaynok. Spory o pogrom łielecki. YY •ukasz łaminski, }an Jaryn, eds.
 Wokół Pogromu łieleckiego. , Warsaw, 2006.
- ⁶⁶ Shimon Redlich. Life in Transit: }ews in Postwar Łodz, 1945...1950,, Boston, 2010.
 „P. <2.
- ⁶⁷ Robert Gy•ri Szabó. A kommunizmus és a zsidóság az 1945 utáni Magyarországon .
 „ Budapest, 2009. „ P. 147.
- ⁶⁸ Martin Mevius. Agents of Moscow: The Hungarian Communist Party and the Origins
 of Socialist Patriotism 1941...1953,, Oxford, 2005. „ P. 94...9<.
- ⁶⁹ .: Szabó. A kommunizmus és a zsidóság az 1945 utáni Magyarországon| Pelle. Az
 utolsó vérvádak| Peter łenez. Hungary from the Nazis to the Soviets: The łtablissement
 of the Communist Regime in Hungary, 1944...194<, New York, 2006. „ P. 160...162.
- ⁷⁰ X #+ K , « ~ \$ # # -
 , # \$ & \$, # \$ =
 # ».. .: Chodakiewicz, After the Holocaust, p. 171...172.
- ⁷¹ Anita }. Prazmowska. The łielce Pogrom, 1946, and the łmergence of
 Communist Power in Poland. YYCold War History 2, 2` }anuary 2002q, p. 101...124.
- ⁷² Szabó. A kommunizmus és a zsidóság az 1945 utáni Magyarországon, p. 147.
- ⁷³ Gross. Fear, p. 39.
- ⁷⁴ Heda łovály. Under a Cruel Star: A Life in Prague, 1941...196<, Cambridge, Mass.,
 19<6. „ P. 47.
- ⁷⁵ Raphael Patai. The }ews of Hungary: History, Culture, Psychology. „ Detroit, 1996. „
 P. 627.
- ⁷⁶ Stola, Aleksium, and Polak. Wszyscy krawcy wyjechali, p. 11...12. =
 \$? « *: 8 + # »
 ~ , * # & # * & = : Michael
 Steinlauf. Bondage to the Dead: Poland and the Memory of the Holocaust. „ Syracuse,
 1997| R.}. Lifton. The Broken Connection: On Death and the Continuity of Life. „ New
 York, 1979. .: The English Historical Review 122, 499`2007q, p. 1, 460...463.
- ⁷⁷ .: Anna Cichopek-Gajraj. }ews, Poles, and Slovaks: A Story of łncounters, 1944...4<,
 Ph.D. dissertation, University of Michigan, 200<. „ P. 230.
- ⁷⁸ Gross. Fear, p. 130...131.
- ⁷⁹ Stola. łraj Bez Wyj'cia^ : 50...52.
- ⁸⁰ Ibid., p. 53...63.

- ^{<1} Patai. Jews of Hungary, p. 614.
- ^{<2} Bożena Szaynok. Poland...Israel 1944...196<: In the Shadow of the Past and of the Soviet Union. ., Warsaw, 2012. ., P. 110...113| Szabó. A kommunizmus és a zsidóság az 1945 utáni Magyarországon, p. 75...<<.
- ^{<3} Stola. †raj Bez Wyj'cia^ P. 53...63.
- ^{<4} Ibid., p. 4<1.
- ^{<5} Andrzej Paczkowski. Żydzi w UB: Proba weryfikacji stereotyp. YY Tomasz Szarota, ed. †omunizm: Ideologia, System, Ludzi. ., Warsaw, 2001.
- ^{<6} V . # : Gross. Fear, p. 224.
- ^{<7} HIA, Jakub Berman Collection, folder 1<4.
- ^{<<} Mevius. Agents of Moscow, p. 94...9<.
- ^{<9} Szabó. A kommunizmus és a zsidóság az 1945 utáni Magyarországon, p. 91.
- ⁹⁰ Herf. Divided Memory, p. <3.
- ⁹¹ Mevius. Agents of Moscow, p. 1<4.
- ⁹² Marcin Zaremba. †omunizm, Legitimizacja, Nacjonalizm . ., Warsaw, 2005. ., P. 140.
- ⁹³ • \$, . € # * = *
 * , 1944...1953. ., " , 1997, . 1: 1944...194<, . 937...943. 196<
 \$? = « » 8 #
 , \$ * * # .
- ? 7. ()
- ¹ Wolfgang Leonhard. Child of the Revolution. ., Chicago, 195<. ., P. 40<.
- ² HIA, Stefan Jędrzychowski Collection, Box 4, folder 1<.
- ³ AAN, Ministerstwo Oświaty Y6<6, p. 1...2.
- ⁴ Robert Service. Spies and Commissars. ., London, 2011. ., P. 232.
- ⁵ Leopold Tyrmand. Dziennik 1954. ., London, 19<0. ., P. 47...49.
- ⁶ Marek Gaszyński. Fruwa Twoja Marynara. ., Warsaw, 2009. ., P. 12...14.
- ⁷ Tyrmand. Dziennik 1954, p. 47...49.
- [<] > # # . =
 ; X \$, «\$ & ~ »
 , « \$ # * , & * -
 æ # = % ~ = = =
 ». # , * = € # = «\$ & -
 ~ » , #) X # \$) „
 « + ». .: Anne Applebaum. 19<9 and All That. YY Slate, November 9, 2009.
- ⁹ .: The Communist Party of the Soviet Union `Bolsheviks Is the Leading and Guiding Force of Soviet Society. ., Moscow, 1951. ., P. 2<.
- ¹⁰ Dmitri Likachev. Arrest. YY Anne Applebaum, ed., Gulag Šoices, New Haven, 2010. ., P. 1...12.
- ¹¹ Stuart Finkel. On the Ideological Front: The Russian Intelligentsia and the Making of the Soviet Public Sphere. ., New Haven, 2007. ., P. 1...13.

- ¹² Jllen Ueberschär. Junge Gemeinde im Konflikt: Evangelische Jugendarbeit in SBZ und DDR 1945...1961. „ Stuttgart, 2003. „ P. 62.
- ¹³ Alan Nothnagle. Building the East Germany Myth. „ Ann Arbor, 1999. „ P. 103...104.
- ¹⁴ ! ~ # # . : Peter Pringle. The Murder of Nikolai Šavilov. „ New York, 200<.
- ¹⁵ Ulrich Mähler. Die Freie Deutsche Jugend 1945...1949, Paderborn, 1995. „ P. 22...45.
- ¹⁶ Leonhard. Child of the Revolution, p. 299...300.
- ¹⁷ Mähler. Freie Deutsche Jugend, p. 44...45.
- ¹⁸ Leonhard. Child of the Revolution, p. 31...326.
- ¹⁹ DRA, F201-00-00Y0004 `Büro des Intendanten Geschäftsunterlagen, 1945...1950q, p. 2<4...2<7.
- ²⁰ Mähler. Freie Deutsche Jugend, p. 72...73.
- ²¹ Stewart Thomson in collaboration with R. Bialek. The Bialek Affair. „ London, 1955. „ P. 6<...69.
- ²² > ! , , ! , 20 200<.
- ²³ Manfred Jlein. Jugend zwischen den Diktaturen: 1945...1956 „ Mainz, 196<. „ P. 20...35.
- ²⁴ Thomson. Bialek Affair, p. 76...7<.
- ²⁵ Jlein. Jugend zwischen den Diktaturen, p. 34.
- ²⁶ SAPM-BA, D\24Y2000, p. 13.
- ²⁷ Ibid., p. 164.
- ²⁸ Mähler. Freie Deutsche Jugend, p. 114.117| SAPMO-BA, D\24Y2000, p. 36...41.
- ²⁹ Jlein. Jugend zwischen den Diktaturen, p. 67
- ³⁰ Ueberschär. Junge Gemeinde im Konflikt, p. 65.
- ³¹ Jlein. Jugend zwischen den Diktaturen, p. 73...74.
- ³² .. J* , „ , ? \$ / = #
? . YY 1945...1949: . „ (, 2006. „ C. 244...247.
- ³³ • & , . 24<...249.
- ³⁴ DRA, F201-00-00Y0004 `Büro des Intendanten Geschäftsunterlagen, 1945...1950q, p. 2<4...2<7.
- ³⁵ Szabad Nép, June 19, 1946.
- ³⁶ Ibid., June 20, 1946.
- ³⁷ Ibid., June 22, 1946.
- ³⁸ Ibid., June 23, 1946.
- ³⁹ Ferenc Nagy. Tüzdelem a vasszüggöny mögött . „ Budapest, 1990. „ P. 314...316.
- ⁴⁰ Imre Kovács. Magyarország megszállása . „ Budapest, 1990. „ P. 294| József Mindszenty. Tmlékirataim. „ Budapest, 19<9. „ P. 134| Margit Balogh. A talat és a katolikus társadalompolitika 1935...1946. „ Budapest, 199<. „ P. 19<...201.
- ⁴¹ 8 X +) \$ = =.

- ∴ Peter ģenez. Hungary from the Nazis to the Soviets: The ųstablishment of the Communist Regime in Hungary, 1944...194<. „ New ĳork, 2006. „, P. 165.
- ⁴² Balogh. A ųalot és a katolikus társadalompolitika, p. 166.
- ⁴³ PIL, 2<6Y31, p. 7...11.
- ⁴⁴ Ibid.
- ⁴⁵ Ibid.
- ⁴⁶ Ibid., p. 13...15.
- ⁴⁷ Ibid., p. 172.
- ^{4<} Balogh. A ųalot és a katolikus társadalompolitika, p. 167.
- ⁴⁹ Ibid., p. 174...175.
- ⁵⁰ Ibid., p. 1<0...1<3.
- ⁵¹ ģenez. Hungary from the Nazis to the Soviets, p. 279.
- ⁵² *Szabad Nép*: ĳuly 16, 1946, p. 3| ĳuly 1<, 1946, p. 1| ĳuly 19, 1946, p. 1| ĳuly 20, 1946, p. 3| ĳuly 24, 1946, p. 3. ∴ • & : László Borhi. Hungary in the Cold War, 1945...1956: Between the United States and the Soviet Union. „ New ĳork and Budapest, 2004. „, P. 94...95| ģenez. Hungary from the Nazis to the Soviets, p. 279...2<0.
- ⁵³ Balogh. A ųalot és a katolikus társadalompolitika, p. 206...209.
- ⁵⁴ Henryk Saint Glass. Harcerstwo jako czynnik odrodzenia Narodowego. „ Warsaw and Plock, 1924. „, P. 15...1<.
- ⁵⁵ Norman Davies. Rising •44: The Battle for Warsaw. „ New ĳork, 2004. „, P. 177...17<, 496| ĳulian ģwiek. Zwi zek Harcerstwa Polskiego w Latach 1944...1950. Powstanie, rozwój, likwidacja. „ Toru“, 1995. „, P. 5...6.
- ⁵⁶ Memoir Archives, Bronisław Mazurek, IY531.
- ⁵⁷ M. ųowalik. Harcerstwo w Stałowej Woli 193<...19<1. Zapiski kronikarskie „ Warsaw, 19<1.
- ^{5<} ųarta, Memoir Archives, ĳanusz Zawisza-Hrybacz, IIY1730.
- ⁵⁹ (& , , + , 26 200<.
- ⁶⁰ ģwiek. Zwi zek Harcerstwa Polskiego w Latach, p. <...12.
- ⁶¹ Ludwik Stanisław Szuba. Harcerstwo na Pomorzu i ųujawach w Latach 1945...1950. „ Bydgoszcz, 2006. „, P. 35.
- ⁶² ģwiek. Zwi zek Harcerstwa Polskiego w Latach, p. 47.
- ⁶³ Ibid., p. 66...67.
- ⁶⁴ f •& , , + , 20 2009.
- ⁶⁵ ų. Persak. Odrodzenia harcerstwo w 1956 roku. „ Warsaw, 1996. „, P. 60...62| ģwiek. Zwi zek Harcerstwa Polskiego w Latach, p. 123.
- ⁶⁶ (& , .
- ⁶⁷ 8 # & # 1950-* \$ = # 19<9 \$.
- ^{6<} AAN, Ministerstwo Oswiata, 592.
- ⁶⁹ ĳan Zaryn. Dzieje ųosciola ųatolickiego w Polsce, 1944...19<9. „ Warsaw, 2003. „, P. 119...120.

- ⁷⁰ Ferenc Pataki. A Nékosz-legenda. „ Budapest, 2005. „, P. 179...197.
- ⁷¹ PIL,302 1Y15, p. 11.
- ⁷² \$ #) / + # «X / ». ∴
`http:YYwww.imdb.comYtitleYtt0062995Yq.
- ⁷³ Q , , ! # + , 2< 2006.
- ⁷⁴ PIL. 320Y1Y16, p. 162...77.
- ⁷⁵ Tibor Huszar. From ‡lites to Nomenklatura: The ‡volution and Some Characteristics of Institutionalised Cadre Policy in Hungary `1945...19<9q ¶¶view of Sociology 11, 2 `2005q, p. 5...73.
- ⁷⁶ Pataki. A Nékosz-legenda, p. 173...75| Istvan Papp. A Nékosz legendája és valósága. YY Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemr.l. „ Budapest, 2005. „, P. 309...33<.
- ⁷⁷ Dini Metro-Roland.The Recollections of a Movement: Memory and History of the National Organization of People's Colleges. YHungarian Studies 15, 1 `2001q, p. <4.
- ^{7<} Pataki. A Nékosz-legenda, p. 259.
- ⁷⁹ PIL, 302 1Y15| also <67Y1YH-16<.
- ^{<0} Pataki. A Nékosz-legenda, p. 37<...379.
- ^{<1} Papp. A Nékosz legendája és valósága, p. 335.
- ? <. ;
- ¹ ' & = J =, , + , 15 2009.
- ² Wolfgang Schivelbusch. In a Cold Crater: Cultural and Intellectual Life in Berlin, 1945...194<, Berkeley, 199<. „, P. 10<...109.
- ³ DRA,B202-00-00-06Y0617.
- ⁴ Ibid., F201-00-00Y0004, p. 646...50.
- ⁵ Ibid., p. 427...35.
- ⁶ Peter Strunk. Zensur und Zensoren. „ Berlin, 1996. „, P. 10...1<.
- ⁷ Markus Wolf, Anne Mc‡lvoy. Man Without a Face: The Autobiography of the World's Greatest Spymaster. „ London, 1999. „, P. 36.
- < Strunk. Zensur und Zensoren, p. 10...1<.
- ⁹ Schivelbusch. In a Cold Crater, p. 109...110.
- ¹⁰ DRA,F201-00-00Y0004, p. 554.
- ¹¹ Strunk. Zensur und Zensoren, p. 111.
- ¹² ! ? K = \$, ! , 1 2006| Q \$
8 & , 8 , 16 2006.
- ¹³ Michael Geyer, ed. The Power of Intellectuals in Contemporary Germany. „ Chicago, 2001. „, P. 252.
- ¹⁴ DRA,201-00-004Y001, p. 1...32.
- ¹⁵ Ibid., p. 10<...109.
- ¹⁶ Ibid., B202-00-071Y0027.

- ¹⁷ Ibid., B202-00-03Y0002.
- ¹⁸ Ibid., B202-00-06Y40.
- ¹⁹ Ibid., F201-00-00Y0004, p. 532, 540, 600...615.
- ²⁰ Ibid., p. 5<3.
- ²¹ Ibid., p. 71...73.
- ²² " • / , { E = , . 8 " ? ,
 . V , , . 1945...1949 , , (, 2006 . ,
 . 124...125.
- ²³ TŠP,<5Y14| Stefania Grodzieńska. }u` nic nie musz . , , Lublin, 2000. , P . 34...3<.
- ²⁴ 8 19<1 \$ \$ # & ! \$ *
 * \$ = \$ Tygodnik Mazowsze. .: Gazeta Wyborcza, December
 6, 2006 `http:YYwyborcza.plY1,77023,3777590.htmlq.
- ²⁵ Grodzieńska. }u` nic nie musz , p. 34...35.
- ²⁶ TŠP,<5Y2Y2.
- ²⁷ .: Rzeczpospolita, August 15, 1944.
- ²⁸ Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskie 10 `November 3, 1944q| Agnieszka Sowa.
 Gadał ce skrzyński. YYPolityka 37, 2521 `September 17, 2005q, p. 74...76| 8
 8 =, , + , 21 2007.
- ²⁹ Tomasz Goban-Łas. The Orchestration of the Media: The Politics of Mass
 Communications in Communist Poland and the Aftermath. , Boulder, 1994. , P. 53...54.
- ³⁰ Andrzej Ławczyk. Pierwsza Próba Indoktrynacji: Działano` Ministerstwa
 Informacji I Propagandy w latach 1944...1947, Dokumenty do dziejow PRL, vol. 7
 `Warsaw, 1994q, p. 36.
- ³¹ .: www.audiovis.nac.gov.pl| NAC, Dokumentacja programowa Polskiego Radia,
 21.02.1945, 9Y<, s. 19.
- ³² TŠP, <5Y2Y2.
- ³³ Ibid., <5Y2Y1.
- ³⁴ Władysław Szpilman. The Pianist , London, 1999. , P. 7...9.
- ³⁵ TŠP, <5Y2Y2.
- ³⁶ Ibid.
- ³⁷ Ibid., <5Y6Y1.
- ³⁸ István Šida. A demokratikus Magyar Rádió megteremtése és a Magyar Łőzponti
 Híradó Rt. Megalakulása. YY Tanulmányok a Magyar Rádió történetéből 1925...
 1945. , Budapest, 1975. , P. 239...2<6| Béla Lévai, A rádió és a televízió króniká-
 ja 1945...197<, Budapest, 19<0. , P. 11.
- ³⁹ Peter Łenez. Hungary from the Nazis to the Soviets: The Łstablishment of the
 Communist Regime in Hungary, 1944...194<, New York, 2006. , P. <9.
- ⁴⁰ Lévai. A rádió és a televízió krónikája, p. 15.
- ⁴¹ Ibid., p. 12| Šida. A demokratikus Magyar Rádió, p. 246.
- ⁴² ŁenŁ Randé and Łános Sebestyén. Azok a rádiós évtizedek. , Budapest, 1995. , P. 112.
- ⁴³ ' • +, , ! # +, 21 2009.

- ⁴⁴ Gyula Schöpfung. Székiáltó. , Budapest, 19<5. , P. 60.
- ⁴⁵ Šida. A demokratikus Magyar Rádió, p. 249...251.
- ⁴⁶ Ibid., p. 251.
- ⁴⁷ Lévai. A rádió és a televízió krónikája, p. 16...26.
- ^{4<} László András Palkó. A Magyar Rádió és az Államvédelmi Hatóság kapcsolata a Rákosi-korszakban. YValóság`}anuáry 200<q, p. 69...77.
- ⁴⁹ Schöpfung. Székiáltó, p. 63...64.
- ⁵⁰ Randé and Sebestyén. Azok a rádiós évtizedek, p. 110...112.
- ? 9. 8 %
- ¹ NA, RG21<, Stack 190 2Y15Y3 CCSY}CS UD47, Box 15, file 94. #
) \$ > ! .
- ² John Lewis Gaddis. The Cold War: A New History. , New York, 2005. , P. 5...6.
- ³ * = * # \$ & ! = / . :
Ruth Andreas-Friedrich. Battleground Berlin: Diaries, 1945...194<, New York, 1990. , P. <6...92.
- ⁴ V . # : †rystyna †ersten. The ‡stablishment of Communist Rule in Poland, 1943...194<. , Berkeley, 1991. , P. 75.
- ⁵ Ivan T. Berend. Central and ‡astern ‡urope 1944...1993 , Cambridge, 1996. , P. 30.
- ⁶ Teresa Toraska. Oni: Stalin's Polish Puppets. , Warsaw, 2004. , P. 4<4.
- ⁷ Hermann Weber, ed. DDR: Dokumente zur Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik 1945...19<5. , Munich, 19<6. , P. 65...66.
- < Stanisław Mikołajczyk. The Rape of Poland. , New York, 194<. , P. 100.
- ⁹ • \$, . = / = € # ,
1944...1953. , (, 1999. , 1. , 67...76.
- ¹⁰ Gaddis. Cold War, p. 100.
- ¹¹ • \$, . € # * = *
* , 1944...1953. `` , 1997q, . 1. , 330...331.
- ¹² R. J. Crampton. A Concise History of Bulgaria , Cambridge, 2006. , P. 1<2...1<3.
- ¹³ Mikołajczyk. Rape of Poland, p. 9<. . # (? «, 8 +», # + 16 / 2010 \$. \$ # / ? & # -) .
- ¹⁴ †ersten. ‡stablishment of Communist Rule in Poland, p. <1.
- ¹⁵ Ibid., p. 113.
- ¹⁶ . 8 X = / :
http://www.fordham.edu/Yhalsall/YmodY1945\ALTA.html. [. & X / = * * & „ \$, * @ ' X , • \$ „ „ 8 . , (, 1970. , 1<5...193. „ .]
- ¹⁷ Mikołajczyk. Rape of Poland, p. 127.

- ^{1<} Ibid., p. 130...134.
- ¹⁹ Łtersten. Łtablissement of Communist Rule in Poland, p. 242.
- ²⁰ IWM, The Struggles for Poland, Program Six, Roll Ł.156, & ! , - , p. 1...5.
- ²¹ HIA, Stanisław Mikołajczyk collection, Box 103, folder 3, Box 104, folder 9.
- ²² Ibid.
- ²³ Tomasz Goban-Łlas. The Orchestration of the Media: The Politics of Mass Communications in Communist Poland and the Aftermath. , Boulder, 1994. , P. 52.
- ²⁴ Stanisław Mikołajczyk collection, Box 104, folders 4, 5.
- ²⁵ Łtersten. Łtablissement of Communist Rule in Poland, p. 252...253.
- ²⁶ Torańska. Oni, p. 273.
- ²⁷ Ibid., p. 274.
- ^{2<} Łtersten. Łtablissement of Communist Rule in Poland, p. 271...277.
- ²⁹ IWM, ! , .
- ³⁰ Ibid.
- ³¹ Andrzej Paczkowski. Referendum z 30 czerwca 1946: Proba wstpnego bilansu . , Warsaw, 1992. , P. 14.
- ³² Andrzej Łrawczyk. Pierwsza próba indoktrynacji. DziałalnoŁ Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 1944...1947. Dokumenty do dziejów PRL, vol. 7. , Warsaw, 1994. , P. 91.
- ³³ Paczkowski. Referendum z 30 czerwca 1946, p. 221...222.
- ³⁴ Torańska. Oni, p. 274...275.
- ³⁵ Łrawczyk. Pierwsza próba indoktrynacji, p. 91.
- ³⁶ Łtersten. Łtablissement of Communist Rule in Poland, p. 320.
- ³⁷ IWM, ! , .
- ^{3<} Mikołajczyk. Rape of Poland, p. 19<.
- ³⁹ Anita Prałmowska. Poland: A Modern History. , London 2010. , P. 167.
- ⁴⁰ « » # # # & , & \$ 19<0 \$ 19<1 \$ # \$ \$ # / .
- ⁴¹ Ignác Romsics. Hungary in the Twentieth Century. , Budapest, 1999. , P. 230...231.
- ⁴² Peter Łenez. Hungary from the Nazis to the Soviets: The Łtablissement of the Communist Regime in Hungary, 1944...194<, New York, 2006. , P. 96.
- ⁴³ , . € # , . 1, . 271...274.
- ⁴⁴ SNL, * , " €" , , ! # +, 3 \$ 19<5. Q , ' + K \$ +, ? K , % X , Q % .
- ⁴⁵ Ibid., , .
- ⁴⁶ Ibid.
- ⁴⁷ György Gyarmati. «Itt csak az fog történni, amit a kommunista párt akar»: Adalékok

az 1947: évi országgyűlési választások történetéhez. *Yársadalmi Szemle* <...9`1997q, p. 144...161.

4< • \$, . € # * = *
* , 1944...1953, . 1, . 271...274.

49 • \$, . = / = € # ,
1944...1953, . 1, . 243...244.

50 Ferenc Nagy. *The Struggle Behind the Iron Curtain*. , New York, 194< . , P. 369.

51 Ibid., p. 405...426.

52 Gyarmati. Itt csak az fog történni, amit a kommunista párt akar. P. 144...161.

53 Dezső Sulyok. *Ét éjszaka nappal nélkül*. , Budapest, 2004. , P. 3<7...391.

54 Tároly Szerencsés. *A kék cédulás hadművelet*. , Budapest, 1992. , P. 59...73.

55 Margit Balogh, Tatiane Nagy, eds. *Asszonyországok a 20. Században*, conference papers of BM Szociológia és Kommunikáció Tanszék, 2000, p. 297...309.

56 Dirk Spilker. *The East German Leadership and the Division of Germany: Patriotism and Propaganda 1945...1953*, Oxford, 2006. , P. 53...54.

57 Peter Greider. *The East German Leadership 1946...1973*, Manchester, 1999. , P. 17...25.

5< . : <http://www.marxists.org/Yarchive/Ylenin/Yworks/Y191<Yprk/Yindex.htm>.

59 Gary Bruce. *The Firm: The Inside Story of the Stasi*. , Oxford, 2010. , P. 34...36.

60 Wilfried Loth. *Stalin's Unwanted Child: The Soviet Union, the German Question and the Founding of the GDR*. , London, 199< . , P. 31.

61 Spilker. *East German Leadership and the Division of Germany*, p. 47...50.

62 Andreas-Friedrich. *Battleground Berlin*, p. 130.

63 Ibid., p. 125.

64 Ibid., p. 114...115.

65 Walter Ulbricht. *On Questions of Socialist Construction in the GDR*. , Dresden, 196< . , P. 7<...90.

66 Stefan Creuzberger. *The Soviet Military Administration and East German Elections, Autumn, 1946* *The Australian Journal of Politics and History* `1999q.

67 Karl-Heinz Hajna. *Die Landtagswahlen 1946 in der SBZ*. , Frankfurt am Main, 2000. , P. 119...16<.

6< Spilker. *East German Leadership and the Division of Germany*, p. 101.

69 Creuzberger. *Soviet Military Administration and East German Elections*.

70 IWM, ! , .

71 Peter Skyba. *Jugendpolitik, Jugendopposition und Jugendwiderstand in der SED Diktatur. Jugend und Diktatur. Verfolgung und Widerstand in der SBZDDR. Dokumentation des EII. Bautzen-Forums am 4. und 5. Mai 2001* `Leipzig, 2001q, p. 40.

72 IWM, ! , .

73 Sidney S. Alexander. *The Marshall Plan*, National Planning Association Planning Pamphlets nos. 60...61, February 194<, p. 14.

- ⁷⁴ Giuliano Procacci et al., eds. The Cominform: Minutes of the Three Conferences, 1947Y194<Y1949. ,, Milan, 1994. ,, P. 26.
- ⁷⁵ • \$, . = / = € # , 1944...1953, . 1, . 459.
- ⁷⁶ Geoffrey Roberts. Moscow and the Marshall Plan: Politics, Ideology and the Onset of the Cold War, 1947. YEurope...Asia Studies46, < `1994q, p. 1, 37<| • - \$, . = / = € # , 1944...1953, . 1, . 462...465.
- ⁷⁷ Procacci et al., eds. Cominform, p. 26, 225...251, 379.
- ^{7<} Ibid., p. 43.
- ⁷⁹ Ibid., p. 129.
- ^{<0} †enez. Hungary from the Nazis to the Soviets, p. 277...27<.
- ^{<1} }enő Randé, }ános Sebestyén. Azok a rádiós évtizedek ,, Budapest, 1995. ,, P. 127...129.
- ^{<2} Ivor Lukes. The Czech Road to Communism—, Norman Naimark, Leonid Gibianskii, eds. The †stablishment of Communist Regimes in †astern †urope, 1944...1949 ,, Boulder, 1997. ,, P. 259.
- ^{<3} †katerina Nikova. Bulgarian Stalinism Revisited. Šladimir Tismaneau, ed. Stalinism Revisited. ,, New ork and Budapest, 2009. ,, P. 290...294.
- ? 10. > % %
- ¹ Giuliano Procacci et al., eds. The Cominform: Minutes of the Three Conferences, 1947Y194<Y1949 Milan, 1994. ,, P. 17.
- ² Ingolf Šogeler. State Hegemony in Transforming the Rural Landscapes of †astern Germany: 1945...1994. YYinals of the Association of American Geographers <6, 3 `September 1996q, p. 432...433.
- ³ }onathan Osmond. From Junker estate to co-operative farm: †ast German Agrarian Society 1945...1961, Patrick Major and }onathan Osmond, eds. The Workers• and Peasants• State. ,, Manchester, 2002. ,, P. 134...137.
- ⁴ Gary Bruce. Resistance with the People. ,, Oxford, 2003. ,, P. 33.
- ⁵ Peter Stachura. Poland 191<...1945,, London, 2004. ,, P. 47...49.
- ⁶ Nicolas Spulber. †astern †urope: The Changes in Agriculture from Land Reforms to Collectivization. YXmerican Slavic and East European Review 13, 3 `October 1954q, p. 393...394.
- ⁷ †rystyna †ersten. The †stablishment of Communist Rule in Poland, 1943...194<. ,, Berkeley, 1991. ,, P. 166.
- [<] Polska-ZSSR: Struktury Podlego' i. ,, Warsaw, 1995. ,, P. 114...115.
- ⁹ Iván Szelényi, ed. Privatizing the Land: Rural Political †conomy in Post-Communist Societies. ,, London, 199<. ,, P. 24...26.
- ¹⁰ Spulber. †astern †urope, p. 394...9<. Also Peter †enez. Hungary from the Nazis to the Soviets: The †stablishment of the Communist Regime in Hungary, 1944...194<,, New ork, 2006. ,, P. 107...11<.

- ¹¹ Stephen Wegren. Land Reform in the Former Soviet Union and Eastern Europe. , London, 199<. , P. 226.
- ¹² PIL, <67Y1YH-16<.
- ¹³ Mark Pittaway. The Politics of Legitimacy and Hungary's Postwar Transition. *YY Contemporary European History* 13, 4 `2004q, p. 465.
- ¹⁴ Harris L. Coulter. The Hungarian Peasantry: 194<...1956. *YYmerican Slavic and East European Review* 1<, 4 `December 1959q, p. 539...554| Corey Ross. Before the Wall: East Germans, Communist Authority, and the Mass Exodus to the West. *YYThe Historical Journal* 45, 2 `June 2002q, p. 459...4<0.
- ¹⁵ • * E , , \$ 16 # 200<.
- ¹⁶ • \$ \$ # # = *) & =
, # * * *
. , \$ \$ -
, 8 + 1937 \$ 1<41 -
, * , 163<, , \$, 1241 , 8 + , 3610 , -
, 25<6 , E , 2736 , ? , 1<36 , Q 1373 ,
? . . : Mark Harrison. GDPs of the USSR and Eastern Europe: Towards an Interwar Comparison. *YYEurope...Asia Studies* 46, 2 `1994q, p. 243...259.
- ¹⁷ Š.I. Lenin. «Left-Wing» Communism: An Infantile Disorder. , Sydney, 1999. , P. 30.
- ^{1<} SAPMO-BA, D\ 30 IŠ 2Y6.02 3, p. 17...25.
- ¹⁹ Primo Levi. If This Is a Man and The Truce. , London, 19<<. , P. 220...221. [V . # : 8.8 + . (: • , 2011. , .]
- ²⁰ AAN, MPIH, 2<31.
- ²¹ E , .
- ²² • * @ = , , \$ 16 # 200<.
- ²³ Anders Åslund. Private Enterprise in Eastern Europe . , Macmillan, 19<5. , P. 26.
- ²⁴ Ibid., p. 30...31.
- ²⁵ Ibid., p. 27...29.
- ²⁶ , , + , 2< 2007.
- ²⁷ ! X = 8 =, K , 31 2010.
- ^{2<} / ? & + , < , + , 12 2007.
- ²⁹ György Polák. «Csapás» a feketekereskedelemre, «A gazdasági rend-rség ténykedése 1945 után. YY Torrajz 2002: A ŒŒ. Század Intézet Évkönyve Budapest, 2004. , P. 12<...137.
- ³⁰ Ibid., p. 135.
- ³¹ Ibid., p. 12<...137.
- ³² MOL, ŒICE-G5 4<0Y1946.2.
- ³³ Gerg Havadi. Dokumentumok a f-városi vendéglátók államosításáról 1949...1953 `ArchívNet 2009Y2, <http://www.archivnet.hu/index.phtml?cikk=313q>.
- ³⁴ György Majtényi. rök a vártán. Uralmi elit Magyarországon az 1950-es, 1960-as

- években. Sándor Horváth, ed. *Mindennapok Rákosi és társai korában*. Budapest, 2000. , P. 2<9...316.
- ³⁵ Margit Földesi. *A megszállók szabadsága*. Budapest, 2002. , P. 10<...136.
- ³⁶ Norman Naimark. *The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945...1949*. Cambridge, Mass., 1995. , P. 172...173.
- ³⁷ Marek Jan Chodakiewicz, John Radziowski, Dariusz Tolczyk, eds. *Poland's Transformation: A Work in Progress*. Charlottesville, 2003. , P. 157...193.
- ³⁸ David Crowley. *Warsaw*. London, 2003. , P. 2<.
- ³⁹ Padraic Kirby. *Rebuilding Poland: Workers and Communists 1945...1950*. Ithaca, 1997. , P. 30.
- ⁴⁰ *Russians in Germany*, p. 1<4...1<6.
- ⁴¹ Ignác Romsics. *Hungary in the Twentieth Century*. Budapest, 1999. , P. 24<...249.
- ⁴² Kirby. *Rebuilding Poland*, p. <1.
- ⁴³ Kirilenko. *Establishment of Communist Rule in Poland*, p. 251. 19<0 \$,
? & \$ # /-
« ».
- ⁴⁴ Gyula Belényi. *Az állam szorításában. Az ipari munkásság társadalmi átalakulása 1945...1965*. Budapest, 2009. , P. 49...51, 15<...159.
- ⁴⁵ Henryk Różycki. *‘Iademy Wspomnie’ i Dokumentów 1943...194<q*. Warsaw, 19<7. , P. 142.
- ⁴⁶ Jochen Laufer. *From Dismantling to Currency Reform. Konrad H. Jarausch, ed. Dictatorship as Experience: Towards a Socio-Cultural History of the GDR*. New York, 1999. , P. 73...90.
- ⁴⁷ Tamás Lossonczy. *The Šision Is Always Changing*. Budapest, 2004. , P. 9<...100.
- ⁴⁸ William A. Bomberger, Gail J. Makinen. *Hungarian Hyperinflation and Stabilization of 1945...1946*. *The Journal of Political Economy* 91, 5 `October 19<3q, p. <01...<24.
- ⁴⁹ Jeffrey Kopstein. *The Politics of Economic Decline in East Germany, 1945...19<9*. Chapel Hill, 1997. , P. 21.
- ⁵⁰ V. Kirby. *Rebuilding Poland*, p. 90.
- ⁵¹ V. Kopstein. *Politics of Economic Decline in East Germany*, p. 26.
- ⁵² AAN, MPiH 2<32, p. 1.
- ⁵³ *Ibid.*, MO 56<, p. 2...12.
- ⁵⁴ *Ibid.*, p. 22| . & : <http://www.drukarnia-anczyca.com.pl/YhistoriaY1945...1957>.
- ⁵⁵ SAPMO-BA, DC 30YIŠ 2Y6.02 116.
- ⁵⁶ SAPMO-BA, D\ 30 IŠ 2Y6.02 76.
- ⁵⁷ SAPMO-BA, DC 20Y12046.
- ⁵⁸ BStU MfSZ, Sekretariat d. Ministers `Min.q 3<7, p. 622.
- ⁵⁹ Różycki. *‘Iademy Wspomnie’ i Dokumentów*, p. 145.
- ⁶⁰ Jo Langer. *Convictions: My Life with a Good Communist*. London, 2011. , P. 17...19.
- ⁶¹ DRA, F201-00-00Y0004, p. 309...310.
- ⁶² DRA, B204-02-01Y0364.

⁶³ Peter Grothe. To Win the Minds of Men: The Story of the Communist Propaganda War in East Germany. , Palo Alto, 195<. , P. 141...142.

⁶⁴ DRA, F201-00-00Y0004, p. 31<...331.

⁶⁵ Bolesław Bierut. Sześcioletni Plan Odbudowy Warszawy. , Warsaw, 1950.

;
; *# *

? 11. # - %

¹ • , 1944...1953, 2. , (, " , 1997. , . 25...2<.

² • & .

³ Elena Zubkova. Russia After the War: Hopes, Illusions, and Disappointments, 1945...1957. , Armonk, 199<. , P. 1<| Joseph Brodsky. Less Than One: Selected Essays. , New York, 19<6. , P. 26...29.

⁴ Robert Service. A History of Twentieth-Century Russia. , London, 1997. , P. 299.

⁵ .: Amir Weiner. The Empires Pay a Visit: Gulag Returnees, East European Rebellions and Soviet Frontier Politics. *YThe Journal of Modern History* 7<, 2` June 2006q, p. 333...376.

⁶ Anne Applebaum. Gulag: A History of the Soviet Camps. London, 2003. , P. 414...427.
[.: > >## . ?•"? : # + \$. , (, 2006. , .]

⁷ Ivan T. Berend. Central and Eastern Europe 1944...1993 , Cambridge, 1996. , P. 34.

[<] 8 # # + * + .: http:YYwww.psy-warrior.comYRadioFreeEurope.html.

⁹ & , « € # » .: George Urban. Radio Free Europe and the Pursuit of Democracy: My War Within the Cold War. , New Haven, 1997.

¹⁰ ., # , ~ : John Lewis Gaddis. The Cold War: A New History. , New York, 2005| Elizabeth Edwards Spalding. The First Cold Warrior: Harry Truman, Containment, and the Making of Liberal Internationalism. , Louisville, 2006| Martin McCauley. Origins of the Cold War. , New York, 200<| S.M. Zubok. A Failed Empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev. , Chapel Hill, 200<| Jonathan Haslam. Russia's Cold War . , New Haven and London, 2010.

¹¹ , X ~ , , + , 25 , 2007. K
; \$ # , \$ =. €\$ & # -
: # + \$ / * # \$.
& # # ; ! = = & =
) \$ # .

¹² Andrzej Jak. Tradycje Armii Krajowej w Wojsku Polskim. Przeszłość i przyszłość, ed. Armia Krajowa: szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa

- Podziemnego. „, Warsaw 1999| Halmy †und. }ános Mecséri: An Army Officer in the Revolution, „, # # + «% » 2006 \$.
- ¹³ . „, # \$ = E (+ : <http://Ymarshallfoundation.orgYdocumentsYMarshallPlanArticleOPT.pdf>.
- ¹⁴ David †. Murphy, Sergei A. †ondrashev, George Bailey. Battleground Berlin: CIA vs. †GB in the Cold War. „, New Haven and London, 1997. „, P. 57.
- ¹⁵ Ibid., p. 67...69.
- ¹⁶ Ibid., p. 71.
- ¹⁷ .. J * . «(& =», ' ? \$ / = # ? 1945...1949: . „, (, 2006. „, . 50...51.
- ^{1<} DRA,F201-00-00Y0006, p. 11...20.
- ¹⁹ }ózsef Gyula Orbán. †atolikus papok békemozgalma Magyarországon 1950...1956 „, Budapest, 2001. „, P. 94.
- ²⁰ Helmut David Baer. The Struggle of Hungarian Lutherans Under Communism. „, College Station, Tex., 2006. „, P. 16.
- ²¹ Richard Pipes. Russia Under the Bolshevik Regime, 1919...1924. „, London, 1994. „, P. 346...352.
- ²² ' ? \$ / , . 22<...231.
- ²³ †llen Ueberschär. }unge Gemeinde im †onflikt: †vangelische }ugendarbeit in SBZ und DDR 1945...1961. „, Stuttgart, 2003. „, P. 63...64.
- ²⁴ }an }aryn. Dzieje †o'cio'a †atolickiego w Polsce: 1944...19<9. „, Warsaw, 2003. „, P. 64...69.
- ²⁵ PIL, f. <3, †Š.
- ²⁶ }ózsef Mindszenty. Memoirs „, New }ork, 1974. „, P. 31.
- ²⁷ Gábor †iszely. ÁŠH: †gy terrorszervezet története . „, Budapest, 2000. „, P. 102.
- ^{2<} Ibid., p. 104.
- ²⁹ % # \$: }an }aryn. †o'ciól w PRL . „, Warsaw, 2004. „, P. 20.
- ³⁰ SAPMO-BA, DO 1 11Y<73 and D\ 24 3<23.
- ³¹ Hermann Wentker. †irchenkampf in der DDR: Der †onflikt um die }unge Gemeinde 1950...1953. *W}erteljahrshefte für Zeitgeschichte`* }anuary 1994q, p. 116.
- ³² SAPMO-BA, D\ 24 3665.
- ³³ • * E , , \$, 16 # 200<.
- ³⁴ Mary Fulbrook. Anatomy of a Dictatorship: Inside the GDR, 1949...19<9, Oxford, 1995. „, P. 91...99.
- ³⁵ Ueberschär. }unge Gemeinde im †onflikt, p. 192...200.
- ³⁶ • * E , .
- ³⁷ †iszely, ÁVH, p. 104.
- ^{3<} Ibid., p. 104...107.

- 39 Orbán. *†atolikus papok békemozgalma Magyarországon*, p. 56...59.
- 40 @ X +, , ! / , 12 / 2009.
- 41 jaryn. *Dzieje †oscio»a †atolickiego w Polsce*, p. 94.
- 42 V . #: Marian S. Mazgaj. *Church and State in Communist Poland: A History, 1944...19<9.* ., New 'ork, 2010. ., P. 60...61.
- 43 jaryn. *Dzieje †oscio»a †atolickiego w Polsce*, p. 101...102.
- 44 Ibid., p. 120...21.
- 45 Ibid., p. 126.
- 46 Ibid., p. 126.
- 47 Csaba Szabó. *†gyházügyi hangulatjelentések.* ., Budapest, 2000. ., P. 125, 136.
- 4< Wentker. *†irchenkampf in der DDR*, p. 116.
- 49 MOL, 276 f. 65Y359.
- 50 .: Wojciech Czuchnowski. *Blizna. Proces †urii krakowskiej 1953.* ., †raków, 2003.
- 51 . Csaba Szabó. *A Gr<sz-per el<készítés.* ., Budapest, 2001.
- 52 †iszely, ÁŠH, p. 104...105.
- 53 Mindszenty. *Memoirs*, p. 1...2.
- 54 Andrzej Micewski. *Cardinal Wyszy"ski: A Biography.* ., New 'ork, 19<4. ., P. 1...2.
- 55 Margit Balogh. *Mindszenty }ózsef: 1<92...1975.* ., Budapest, 2002. ., P. 60...76.
- 56 Cardinal Stefan Wyszy"ski. *A Freedom Within.* ., New 'ork, 19<2. ., P. 15.
- 57 Árpád Pünkösti. *'ou Are Not Primate Here. YYThe Hungarian Quarterly 36, 144`Winter 1996q.*
- 5< Balogh. *Mindszenty }ózsef*, p. 100.
- 59 Mindszenty. *Memoirs*, p. 76.
- 60 Ibid., p. 100.
- 61 Wyszy"ski. *Freedom Within*, p. 25...26.
- 62 Micewski. *Cardinal Wyszy"ski*, p. 66.
- 63 jaryn. *Dzieje †oscio»a †atolickiego w Polsce*, p. 134...156.
- 64 Micewski. *Cardinal Wyszy"ski*, p. 20.
- 65 Mindszenty. *Memoirs*, p. 197...19<.
- 66 Micewski. *Cardinal Wyszy"ski*, p. 53...55.
- 67 Balogh. *Mindszenty }ózsef*, p. 16...1<.
- 6< K -- * @ , ,) , 1< 2006.
- 69 †eith Armes. *Chekists in Cassocks. YYDemokratisatsiya 4`1993q*, p. 72...<3.
- 70 OSA,300Y50Y6, folder 124.
- 71 M. Tinz. *Friedenspriester in der Tschechoslowakei. Im Dienste der Partei YYDigest des Ostens`1977q*, p. 42.
- 72 Orbán. *†atolikus papok békemozgalma Magyarországon*, p. 94.
- 73 Ibid., p. 103...104.

- ⁷⁴ Ibid., p. 107...10<.
- ⁷⁵ Ibid.
- ⁷⁶ Jacek Jurek. Ruch «řsiez y Patriotow». ., Warsaw, 200<. ., P. 56...59.
- ⁷⁷ Orbán. řatolikus papok békemozgalma Magyarországon, p. 1<<...1<9.
- ^{7<} Tadeusz Isakowicz-Zaleski. řsi za Wobec Bezpieki . ., řraków, 2007. ., P. 44.
- ⁷⁹ OSA, 300Y50Y6, folder 124.
- ^{<0} Jurek. Ruch. řsiez y Patriotow. p. 105.
- ^{<1} Isakowicz-Zaleski. řsi za Wobec Bezpieki, p. 46.
- ^{<2} Ibid.
- ^{<3} @ , , ! # + , 12 200<. . & : Sándor Ladányi. A magyar református egyház 1956 tükrében. ., Budapest, 2006| Isakowicz-Zaleski. řsi za Wobec Bezpieki.
- ? 12. #
- ¹ Arthur řoestler. Darkness at Noon. ., New ĳork, 2006. ., P. 244 .
- ² Csaba Békés, Malcolm Byrne, János Rainer, eds. The 1956 Hungarian Revolution: A History in Documents. ., Budapest and New ĳork, 2002. ., P. 16.
- ³ Jol Jotek, Pierre Rigolout. Le Siècle des camps. ., P. Paris, 2001. ., P. 544...54<| Andrzej Paczkowski. Poland, the řnemy Nation. Stéphane Courtois et al., eds. The Black Book of Communism. ., Cambridge, 1999. ., P. 363...393.
- ⁴ Romulus Rusan. The Chronology and Geography of Repression in Romania. ., Bucharest, 2007. ., P. 2<...30.
- ⁵ Paczkowski. Poland, the řnemy Nation, p. 237...23<.
- ⁶ György Gyarmati. Hungary in the Second Half of the Twentieth Century. István György Tóth, ed. A Concise History of Hungary. ., Budapest, 2005. ., P. 5<...5<1.
- ⁷ Rusan. Chronology and Geography of Repression, p. 31.
- [<] řarta, Memoir Archives, Wacřaw Beynar, IIY542.
- ⁹ Ibid., Stanisřaw Szostak, IIY2944.
- ¹⁰ Alina Gařan, Zygmunt Mařkowski, eds. Wi zniowie Politecyzni na Zamku Lubelskim. ., Lublin, 1996. ., P. 20...31.
- ¹¹ Frank Drauschke. Arseny Roginsky, Anna řaminsky, eds. řrschossen in Moskau . ., Berlin, 2005.
- ¹² Barbara Bank. Az internálás és kitelepítés dokumentumai a történeti levéltárban. Az átmenet évkönyve, 2003. ., Budapest, 2004. ., P. 125...130| Gyarmati. Hungary in the Second Half of the Twentieth Century, p. 5<1.
- ¹³ Rusan. Chronology and Geography of Repression, p. 31...32.
- ¹⁴ řotek, Rigolout. Le Siècle des camps, p. 543...544.
- ¹⁵ Dennis Deletant. Romania Under Communist Rule. ., Bucharest, 2006. ., P. 109.
- ¹⁶ Tzvetan Todorov. řoices from the Gulag. ., University Park, Pa., 1999. ., P. 39...40.
- ¹⁷ řotek, Rigolout. Le Siècle des camps, p. 559.
- ^{1<} Bank. Az internálás és kitelepítés dokumentumai a történeti levéltárban, p. 107...130.

- 19 .: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig . . Budapest, 199<. ., P. 192| Magyar Internacionalisták. ., Budapest, 19<0| Rudolf Garasin. Šörössipkás lovagok. ., P. Budapest, 1967| Rudolf Garasin. Zrínyi íratonai íradó. ., Budapest, 1976.
- 20 PIL, <67Yf.11Yg-24, p. 15...5<.
- 21 MOL, 276Y651<4, p. 133...139.
- 22 Q (= @ , @ X + ! = ! | Géza Bőszörményi. Recsk 1950...1953. ., Budapest, 2005. ., P. 49.
- 23 Bank. Az internálás és kitelepítés dokumentumai a történeti levéltárban, p. 122.
- 24 Q ! = ! , ; , 4 2009.
- 25 Bőszörményi. Recsk, p. 261.
- 26 ABTL, 3.1.9. Š-107373.
- 27 György Faludy. My Happy Days in Hell. ., London, 2010. ., P. 304.
- 2< Törvénytelen szocializmus: A Tényfeltáró Bizottság jelentése. . Budapest, 1991. ., P. 96.
- 29 Faludy. My Happy Days in Hell, p. 371.
- 30 PIL, 962Y2.
- 31 Fitzroy Maclean. ‡astern Approaches. ., London, 1991. ., P. <2, 94.
- 32 # - \$, +) -
19<2 \$.
- 33 Mária Schmidt. Battle of Wits. ., Budapest, 2007. ., P. 171.
- 34 • .` .q. € # * = *
* , 1944...1953. ., (., 1997. ., C. <14...<29.
- 35 • & , . 936...942.
- 36 Andrzej Paczkowski et al. Polska w Dokumentach z archiwow rosyjskich 1949... 1953. ., Warsaw, 2000. ., P. <2...<3.
- 37 € # * = * * , . <30...<5<.
- 3< Igor Lukes. The Rudolf Slánský Affair: New ‡vidence. YŹlavic Review 5<, 1 `Spring 1999q, p. 160...166.
- 39 Ibid., p. 164...166.
- 40 }Źí Pelikán, ed. The Czechoslovak Political Trials, 1950...1954: The Suppressed Report of the Dublek Government's Commission of InŽuiry, 196<. ., Stanford, 1975. ., P. 104...109.
- 41 Igor Lukes. Rudolf Slánský: His Trials and Trial, Cold War International History Project. ., Washington, DC, 2006. ., P. 52.
- 42 Zbigniew BlaŹynski. Mówi }ózef 'wiat.o. ., Warsaw, 2003. ., P. 252...253.
- 43 Andrzej Werblan. Stalinizm w Polsce. ., Warsaw, 2009. ., P. 12<.
- 44 George H. Hodos. Show Trials: Stalinist Purges in ‡astern Źurope, 194<...1954. ., New ork, 19<7. ., P. 135.
- 45 Ibid., p. 2<.
- 46 Schmidt. Battle of Wits, p. 10<| Lukes. The Rudolf Slánský Affair, p. 166...169.
- 47 Schmidt. Battle of Wits, p. 133...135.

- ^{4<} László Rajk and His Accomplices Before the People's Court, publication of the Hungarian state prosecutor's office `Budapest, 1949q, p. 146...163.
- ⁴⁹ Béla Szász. Šolunteers for the Gallows. ., New `ork, 1971. ., P. 123.
- ⁵⁰ řarel řaplan. Report on the Murder of the General Secretary. ., Columbus, 1990. ., P. 44.
- ⁵¹ Ibid., p. 152...192| László Rajk and His Accomplices, p. 146...63| Szász. Šolunteers for the Gallows, p. 123.
- ⁵² Pelikán. Czechoslovak Political Trials, p. <1.
- ⁵³ řonrad Rokicki. Aparatu obraz Wlasny. řazimierz řrajewski, Tomasza Łabuszewski, eds. Zwyczajny Resort: Studia o aparacie bezpiecze"stwa 1944...1956. ., Warsaw, 2005. ., P. 112.
- ⁵⁴ Tomáš Bouřka, řlara Pinerova. Czechoslovak Political Prisoners. ., Prague, 2009. ., P. 14.
- ⁵⁵ Szász. Šolunteers for the Gallows, p. 51, 59.
- ⁵⁶ řonrad Rokicki, ed. Departament Ć MBP: Wzorce„Struktury„Działanie . ., Warsaw, 2007. ., P. 113.
- ⁵⁷ Ibid., p. 110...111.
- ^{5<} Bouřka, Pinerova. Czechoslovak Political Prisoners, p. 15.
- ⁵⁹ . Q+ ; « ;= », # =
\$ / • +
8 1< # 2009 \$: http://YYccat.sas.upenn.edu/YslavicYeEvents/Yslavic_symposium/YComrades_Please_Shoot_Me/YRev_Rajk.pdf.
- ⁶⁰ " & ~ # , * +* # -
& (; \$. .: HIA, Rakowski Collection.
- ⁶¹ řo Langer. Convictions: My Life with a Good Communist ., London, 2011. ., P. 30.
- ⁶² Michael Scammell. řoestler: The Literary and Political Odyssey of a Twentieth-Century Skeptic. ., New `ork, 2009. ., P. 413.
- ⁶³ OSA, 23-1-25.
- ⁶⁴ řózsef Mindszenty. řmlékirataim. ., Budapest, 19<9. ., P. 100.
- ⁶⁵ Szász. Šolunteers for the Gallows, p. 56.
- ⁶⁶ Melissa Feinberg. Only an Imperialist Could Think Up Such a Notion ., ., # = # \$
/ • + 8 1< # 2009 \$.
- ⁶⁷ řarta, Memoir Archives, file «Ró~no'ci, 1944...56».
- ^{6<} Frage und Antwort 6 `1950q.
- ⁶⁹ řarta, Memoir Archives, file «Ró~no'ci, 1944...1956». X \$ & &
: <http://YYwww.youtube.com/Ywatch^v#0C\řU9jmBř0>.
- ⁷⁰ HALT Amikäfer `Berlin: Amt für Information der Regierung der DDR, 1950q.
- ⁷¹ OSA, * / , / « Statarium», &
' + # , 19<9.
- ⁷² MOL, 276Y65Y324, p. 36.

- ⁷³ Faludy. My Happy Days in Hell, p. 254.
 - ⁷⁴ Ibid., p. 240.
 - ⁷⁵ Langer. Convictions, p. 2.
 - ⁷⁶ ' 8 , , ! # + , 13 / 2009.
 - ⁷⁷ Zsuzsanna Ágnes Berényi. A szabadkíművesség kézikönyve . , Budapest, 2001. , P. 1<5...1<7, 193| Grossaufseher: A magyar szabadkíművesség története 1945 és 1950 között: módszerek és célkitűzések. Ykelet` }anuary 200<q, p. 62...76.
 - ^{7<} ABTL, O-<511, p. 1...9.
- ? 13. H omo Sovieticus
- ¹ Gyula Schöpflin. Szélkiáltó. , Budapest, 19<5. , P. 62.
 - ² Alexander Zinoviev. Homo Sovieticus. , Boston, 19<6.
 - ³ Freien Deutschen Jugend und des Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der S†D. Partei und Jugend: Dokumente marxistischer-leninistischer Jugendpolitik. , ‡ast Berlin, 19<6. , S. 326.
 - ⁴ Ulrich Mählert. Die Freie Deutsche Jugend 1945...1949., Paderborn, 1995. , S. 34.
 - ⁵ Heinz-Hermann †rügler, Winfried Marotzki. Pädagogik und ‡ziehungsalldag in der DDR: Zwischen Systemvorgaben und Pluralität. YYtudien zur Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung 2. , Opladen, 1994. , S. 195.
 - ⁶ , # : }anusz †orczak. Ghetto Diary . , New Haven, 2003| <http://www.holocaustresearchproject.org/YghettosYkorczak.html>.
 - ⁷ A.S. Makarenko. The Road to Life, vol. II. , Moscow, 1951. , P. 206. [V . # : ' (. 8 \$ \$ #) . , (: 8 \$ \$, 19<1. , C. 216. , .]
 - [<] Leonore Ansorg. †inder im †lassenkampf: Die Geschichte der Pionierorganisation von 194< bis ‡nde der fünfziger Jahre. , Berlin, 1997. , S. 30...40.
 - ⁹ Marta Brodala. Propaganda dla Najm-odsznych w Latach 194<...1956. Ykebudowac Cz>owieka. , Warsaw, 2001. , P. 21.
 - ¹⁰ Ibid., p. 5<...63.
 - ¹¹ Ibid., p. 57.
 - ¹² Alex Wedding. Die Fahne des Pfeiferhansleins. , Berlin, 1953. , S. 231...232.
 - ¹³ Radek Sikorski. Full Circle: A Homecoming to Free Poland. , New ork, 1997. , P. 37.
 - ¹⁴ AAN, Ministerstwo ‡dukacji Narodowej, 230, p. 1...7.
 - ¹⁵ Rafal Stobiecki. Historiografia PRL . , Warsaw, 2007. , P. 73.
 - ¹⁶ Siegfried Baske, Martha ‡ngelbert. Dokumente zur Bildungspolitik in der sowjetischen Besatzungszone. , Berlin, 1966. , S. <7.
 - ¹⁷ Ibid., p. 4...<.
 - ^{1<} Frederick Taylor. ‡xorcising Hitler: The Occupation and Denazification of Germany. , London, 2011. , P. 327.
 - ¹⁹ AAN, M†N 59<, p. 1.
 - ²⁰ Ibid., M†N 5<7, p. 4...<.

- ²¹ Ibid., M[†]N 592, p. 21...26.
- ²² Ibid., M[†]N 5<<, p. 495.
- ²³ Ibid., M[†]N 241, p. 5...15.
- ²⁴ Baske. †ngelbert. Dokumente zur Bildungspolitik, s. 26.
- ²⁵ AAN, M[†]N 23<, p. 22.
- ²⁶ John Connelly. Captive University: The Sovietization of †ast German, Czech, and Polish Higher †ducation 1945...1956,, Chapel Hill and London, 2000. ,, P. 97.
- ²⁷ Ibid., p. 43.
- ^{2<} Ibid., p. 71.
- ²⁹ Ibid., p. 135.
- ³⁰ Ibid., p. <4.
- ³¹ Ibid., p. 17<.
- ³² Partei und }ugend, s. 345.
- ³³ Andrzej Gawryszewski. Ludnosc Polski w ŒE wieku ,, Warsaw, 2005. ,, P. 32<... 329.
- ³⁴ > \$ + (=, , + , 25 2007.
- ³⁵ Connelly. Captive University, p. 22<.
- ³⁶ Ibid., p. 235, 252.
- ³⁷ Bartosz Cichocki, †rzysztof }ózwiak. Najwa"niejsze s@a †adry: Centralna Szko>a Partyjna PPRYPZPR,, Warsaw, 2006. ,, P. 6<...<0.
- ^{3<} Connelly. Captive University, p. 239.
- ³⁹ Ibid., p. 246...247.
- ⁴⁰ James Mark. Discrimination, Opportunity, and Middle-Class Success in †arly Communist Hungary. YThe Historical Journal 4<, 2` }une 2005q, p. 506.
- ⁴¹ X++ / 8 , , + , 2 200<.
- ⁴² > * ", , =# \$, 12 2006.
- ⁴³ 8 8 =, , + , = 2012.
- ⁴⁴ Blazej Brzostek. Robotnicy Warszawy. ,, Warsaw, 2002. ,, P. 45...47.
- ⁴⁵ AAN, M[†]N 5<1.
- ⁴⁶ Brodala. Propaganda dla Najm>odszych w Latach, p. 40...44.
- ⁴⁷ MOL, 276Y65Y156, p. 63...<6.
- ^{4<} SAPMO-BA, D\ 30Y} IŠ 2Y2 A 415.
- ⁴⁹ Brodala. Propaganda dla Najm>odszych w Latach, p. 4<.
- ⁵⁰ «Frohe Ferientage für alle †inder». Beschluss des Politbüros vom 30.03.1951, Anlagenummer fünf SAPMO-BA, D\ 30YIŠ 2Y905Y130, Bl. <ff.
- ⁵¹ SAPMO-BA, D\ 25Y4<2.
- ⁵² 2<6Y23, p. 11<...130.
- ⁵³ Ibid., 2<6Y1<, p. 214...215.
- ⁵⁴ 8 , .

- 55 1956 Institute, File 22.
- 56 Wi s>aw fot. Wy'cigowiec ofiarney YYWprost 43 `2007q, p. <6...92| Padraic tenney. *Rebuilding Poland: Workers and Communists 1945...1950*, Ithaca, 1997. , P. 247.
- 57 Sándor Horváth. Élmunkások és sztahanovisták YY*Historia* `August 199<q.
- 5< John Rodden. Repainting the Little Red Schoolhouse: A History of Eastern German Education, 1945...1995. , New York, 2002. , P. 5<.
- 59 Ibid., p. 59.
- 60 MOL, 276Y65Y156, p. 35.
- 61 V . #: Izabella Main. President of Poland or •Stalin's Most Faithful Pupil^: The Cult of Bolesław Bierut in Stalinist Poland. Balász Apor et al., eds. *The Leader Cult in Communist Dictatorships*. , New York, 2004. , P. 1<<.
- 62 Paul Gregory. The Political Economy of Stalinism: Evidence from the Soviet Secret Archives. , Cambridge, 2004. , P. 103...109.
- 63 MOL, 276Y65Y156, p. 1...6.
- 64 DRA, F 201-00-00Y0002, p. 41.
- 65 David Priestland. Stalinism and the Politics of Mobilization: Ideas, Power, and Terror in Inter-war Russia. , New York, 2007. , P. 314.
- 66 V . #: Mark Pittaway. The Reproduction of Hierarchy: Skill, Working-Class Culture, and the State in Early Socialist Hungary. YY*The Journal of Modern History* 74, 4 `December 2002q, p. 742.
- 67 Dagmar Semmelmann. Man war total entwurzelt und musste erst wieder Wurzeln schlagen: Zur Integration von Flüchtlingen und Sertriebenen in der SBZYDDR aus lebensgeschichtlicher Sicht, dargestellt am Sonderfall Eisenhüttenstadt ` = , # = CD, 2005q.
- 6< Pittaway. Reproduction of Hierarchy, p. 741.
- 69 MOL, 276Y65Y1<6, p. 10...135.
- 70 PIL, 2<6Y1<, p. 217.
- 71 \$ = =) \$ / 2012 \$)) # - , + . .: http://www.neprajz.hu/Ykiallitasok.php^menu=3^kiallitas_id=121.
- 72 Main President of Poland or •Stalin's Most Faithful Pupil^ p. 179...193.
- 73 SAPMO-BA, D\ 30Y} IŠ 2Y2Y, p. 22.
- 74 Christian Ostermann, ed. Uprising in East Germany 1953: The Cold War, the German Question, and the First Major Upheaval Behind the Iron Curtain. , Budapest and New York, 2001. , P. 20.
- 75 SAPMO-BA, D\Y30YIŠ 2Y1Y 61, p. 136...57.
- 76 ., # : SAPMO-BA, D\ 30YIŠY 2Y9.06Y173| DRA, 201-00-0010003, p. 129...133.
- 77 BStU MfSZ„Sekretariat d. Ministers `Min.q 3<7, p. 502...505.
- 7< DRA, B012675756| Harry Pross. On Mann's Political Career. YY*Journal of Contemporary History* 2, 2 `April 1967q, p. <0.

- ⁷⁹ Alan Nothnagle. Building the East Germany Myth. „ Ann Arbor, 1999. „ P. 63...67.
- ^{<0} AAN, Ministerstwo Kultury, no. 274.
- ^{<1} Ibid., nos. 274, 724, 747.
- ^{<2} Ibid., no. 47<.
- ^{<3} SAPMO-BA, D\ 24Y2.120, p. 55.
- ^{<4} Ibid., D\ 24Y2.414.
- ^{<5} Ibid., D\ 25Y24<.
- ^{<6} PIL, 2<6.19, p. 207.
- ^{<7} Artur Pasko. Wy'cig Pokoju w dokumentach w'adz partyjnych i pa'stowych 194<...19<9, Krak'ów, 2009. „ P. 21...30.
- ^{<<} Magdolna Baráth, ed. Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról 1953...1956 „ Budapest, 2002. „ P. 175.
- ^{<9} J.C.C. The Berlin Youth Festival: Its Role in the Peace Campaign. *YYThe World Today* 7, 7 July 1951q. p. 306...315.
- ⁹⁰ Giles Scott-Smith, Hans H'rabendam, eds. The Cultural Cold War in Western Europe, 1945...1960 „ London, 2003. „ P. 172...173.
- ⁹¹ BStU MfSZ, BdL 003465.
- ⁹² Ibid., 000012.
- ⁹³ Ibid., 000015.
- ⁹⁴ Ibid., 000012.
- ⁹⁵ Ibid., 15194.
- ⁹⁶ J.C.C. The Berlin Youth Festival, p. 311.
- ⁹⁷ „: http:YYwww.youtube.comYwatch^v#oIGa6\cTU<s.
- ^{9<} ? , , '= * + , 27 # 2007.
- ⁹⁹ Jacek Trznadel. Ha'ba Domowa. „ Paris, 19<6. „ P. 22...23.
- ¹⁰⁰ ? (, , ! , 7 2006.
- ¹⁰¹ f / • =* , , + , 14 2007.
- ¹⁰² V . #: Hans Modrow. Ich wollte ein neues Deutschland . „ Munich, 1999. „ S. 5.
- ? 14. ' % *
- ¹ .Q. .8 = \$ # = . YY + / *) 12
- ^13 1905q.
- ² Andrzej Panufnik. Composing Myself. „ London, 19<7. „ P. 1<9.
- ³ =) # \$ (/ E;?.
- ⁴ Wolfgang Schivelbusch. In a Cold Crater: Cultural and Intellectual Life in Berlin, 1945...194< „ Berkeley, 199<. „ P. 39...50.
- ⁵ Friede Brüning. Und außerdem war es mein Leben. „ Berlin, 2004. „ P. 331.
- ⁶ SAPMO-BA, D\ 271Y213.
- ⁷ David Pike. The Politics of Culture in Soviet-Occupied Germany, 1945...1949 „ Stanford, 1992. „ P. 13<.

- < SAPMO-BA, D\ 27Y2751.
- ⁹ Ibid., D\ 27Y341| Schivelbusch. In a Cold Crater, p. <0.
- ¹⁰ # K \$:
«Mit spitzer Feder», ! , ' * & , = 200<.
- ¹¹ Schivelbusch. In a Cold Crater, p. <2.
- ¹² SAPMO-BA, D\ 27Y1512.
- ¹³ Ronald Hayman. Brecht: A Biography. ., New \ork, 19<3. ., P. 325...326.
- ¹⁴ Anne Hartmann, Wolfram ‡ggelin. Sowjetische Präsenz im kulturellen Leben der SBZ und frühen DDR 1945...1953. ., Berlin, 199<. ., P. 155...156.
- ¹⁵ György Faludy. My Happy Days in Hell. ., London, 2010. ., P. 22<.
- ¹⁶ Ad† AB†, Max Lingner, 1<<<...1959 ` \$, += !
19<<< \$ q.
- ¹⁷ Günter Feist, ‡ckhart Gillen, Beatrice Šierneisel, eds. †unstdokumentation: 1945...1990, SBZYDDR, ., Berlin, 1996. ., P. 104...106.
- ¹⁸ • ., . € # * = *
* , 1944...1953, 2. ., (... " , 1997. ., . 36...41.
- ¹⁹ • & , . 41...43.
- ²⁰ 8 8 , / , # * -
+ 1940-* \$ * , ~ * * #) # -
1930-* \$. 8 8 , , ! , 20 # 200<.
- ²¹ Laurie S. †oloski. Painting †raków Red: Politics and Culture in Poland, 1945...1950. Ph.D. dissertation. ., Stanford University, 199<.
- ²² .: Wojciech Włodarczyk. Socrealizm: sztuka polska w latach 1950...1954. ., Warsaw, 19<6. ., P. 112.
- ²³ 8 • () X = , , ' , ! , 5 -
200<.
- ²⁴ Joy Calico. The Trial, the Condemnation, the Cover-up: Behind the Scenes of BrechtYDessau's Lucullus Opera`sq. *YCambridge Opera Journal* 14, 3 `November 2002q, p. 313...342. . & : Hayman. Brecht, p. 354...355.
- ²⁵ Gunter Feist. Das Wandbild im Bahnhof Friedrichstrasse. ‡ckhart Gillen, Diether Schmidt, eds. Zone 5: †unst in der Šiersektorenstadt, 1945...51 [\$] ., `Berlin, 19<9q, p. 92...124.
- ²⁶ • X = , .
- ²⁷ Protoko`y z posiedze` Rady Wydzia`u Malarstwa w ASP w Warszawie, 01.12.1950 ., 17.02.1954 ` ' & ! \$ q.
- ²⁸ AAN, Ministerstwo †ultury, nos. 321, 322, 326.
- ²⁹ †oloski. Painting †raków Red, p. 200...309.
- ³⁰ Ad† AB†, Otto Nagel collection, III| Arnold Zweig collection, Š, folder 5.
- ³¹ Ibid., Max Lingner, IŠ. A.59.
- ³² Gerhard Strauss. Šom Auftrag zum Wandbild. ., Berlin, 1953. ., P. 12.
- ³³ Ibid., p. 16...20.

- ³⁴ Ibid., p. 21...25.
- ³⁵ Ad† AB†. Max Lingner, ŚIA.124.
- ³⁶ Günter Feist, ‡ckhart Gillen. Stationen eines Weges: Daten und Zitate zur †unst und †unstpolitik der DDR 1945...199<, Berlin, 19<<, P. 24.
- ³⁷ Ad†, AB†. Max Lingner, exhibition catalogue.
- ^{3<} Wanda Telakowska. Twórczo' Ludowa w Nowym Wzornictwie ., Warsaw, 1954. ,, P. 5.
- ³⁹ David Crowley. Building the World Anew: Design in Stalinist and Post-Stalinist Poland. Y*Journal of Design History* 7, 3 `1994q.
- ⁴⁰ Lou Taylor. The Search for a Polish National Identity, 1945...6<, #
, * ~ # & 8 \$ \$.
- ⁴¹ AAN, Ministerstwo †ulture, no. 321.
- ⁴² †rystyna Czerniewska, Tadeusz Reindl, eds. •Sztuka dla Zycia: Wspomnienia o Wandzie Telakowskiej. Y*Biblioteka Wzornictwa* 10, <<, p. 11...12.
- ⁴³ ! ' = E ,) # * ,
8 = = , 2007| †rystyna Czerniewska. To Oni
Tworzyli Wzornictwo, # # , * ~ # & -
8 \$ \$.
- ⁴⁴) ~ # & ~ = 8
\$ = \$ = , + =
* = * ~ *.
- ⁴⁵ Aleksander Wojciechowski. O Sztuce U`ytkowej i U`ytecznej ., Warsaw, 1955. ,, P.65.
- ⁴⁶ V . # : Piotr Majewski. Jak zbudowa «Zamek socjalistyczny». ,, Zbudowa
Warsaw Piekń : O Nowy †rajobraz Stolicy 1944...1956. ,, Warsaw, 2003. ,, P. 33.
- ⁴⁷ , = , + , 15 2007.
- ^{4<} Bolesław Szmidt, ed. The Polish School of Architecture, 1942...1945,, Liverpool, 1945. ,, P. <5...95, 1<6...1<<.
- ⁴⁹ Majewski. Jak zbudowa «Zamek socjalistyczny», p. 36.
- ⁵⁰ Bolesław Bierut. Sze'coletni Plan Odbudowy Warszawy: Refereat Na †onferencji Warszawskiej PZPR w dniu 3 lipca, 1949 g. ,, Warsaw, 1949. ,, P. 20...21.
- ⁵¹ †rzystof Mordinski. Marzenia o idealnym mie'cie ,, Warszaw socrealistyczna. YY *Spotkania z Zabytkami* 9, 226, p. 3...<.
- ⁵² >) \$ = # + = #
& \$ + \$: Sze'cioletni Plan Odbudowy Warszawy ., ,
Warsaw, 1950.
- ⁵³ Anders Åman. Architecture and Ideology in †astern †urope During the Stalin †ra ., Cambridge, Mass., 1992. ,, P. 49.
- ⁵⁴ Waldemar Baraniewski. Mi dzy opresj a obojno'ci. Architektura w polsko-rosyjskich relacjach w ŒEE wieku. .: <http://www.culture.pl/YplYcultureYartykuly>.
- ⁵⁵ †dmund Goldzamt. William Morris: A Geneza Spoteczna Architektury Nowoczesnej. ..Warsaw, 1967.
- ⁵⁶ Teresa Tora'ska. Oni: Stalin's Polish Puppets. ,, London, 19<<. ,, P. 306...307.

- ⁵⁷ ʃonrad Rokicki. ʃ>opotliwe Dar: Pa>ac ʃultury I Nauki. YY Zbudowa Warsaw Piekni : O Nowy ʃrajobraz Stolicy `1944...1956q. ,, Warsaw, 2003. ,, P. 107...115.
- ⁵⁸ Bierut. Sze'coletni Plan, p. 20...21.
- ⁵⁹ David Crowley. *Warsaw*. ,, London, 2003. ,, P. 54.
- ⁶⁰ ! ' = E .
- ⁶¹ V . #: Wojciechowski. O Sztuce U`ytkowej i U`ytecznej, p. 71.
- ⁶² Ibid.
- ⁶³ ' =, .
- ⁶⁴ ,, # : <http://www.youtube.com/watch?v=I3jZtruxvA>.
- ⁶⁵ Mira Liehm, Antonin }. Liehm. The Most Important Art: ʃast ʃuropean Film After 1945. ,, Berkeley, 1977.
- ⁶⁶ SNL, Historic Interview Collection. Q+ ", , < 19<<.
- ⁶⁷ Gábor Szilágyi. Tęzkereszttség, A magyar játékfilm története 1945...1953 ,, Budapest, 1992. ,, P. 219.
- ⁶⁸ Šsevolod Pudovkin, András ʃovács, eds. Pudovkin a magyar filmr-d . ,, Budapest, 1952. ,, P. 46, 61, 62.
- ⁶⁹ SNL, ", .
- ⁷⁰ MNFA, ʃe 34Y10a.
- ⁷¹ Ibid., ʃe 34Y7.
- ⁷² Szilágyi. Tęzkereszttség, p. 233...236.
- ⁷³ Ibid., p. 234.
- ⁷⁴ SNL, ", .
- ⁷⁵ ' & = , , 14 2009.
- ⁷⁶ Jan Ciechowicz, Zbigniew Majchrowski. Od Shakespeare Do Szekspira. ,, Warsaw, 1993. ,, P. 24...25.
- ⁷⁷ Q «8 »`1955q, «8 # »`195<q # - . «(/ »# 19<1 \$, \$ & & \$ # + * / .
- ⁷⁸ Wis>awa Szymborska. Ten Dzie". YYcie Literackie 11, 61 `March 15, 1953q.
- ⁷⁹ '\$ + K , , ! # +, 2 2009.
- ? 15. Q) #
- ¹ Urszula Ciszek-Frankiewicz. O Nowej to Hucie: Ballady i Wiersze. ,, ʃraków, 1994.
- ² Sándor Horváth. Alltag in Sztálinváros. ,, Christiane Brenner, Peter Heumos, eds. Sozialgeschichtliche ʃommunismusforschung Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und DDR 194<...196<, Munich, 2005. ,, S. 512.
- ³) \$ \$ # & f = > K `! # +, 30 2009q / = • `! # +, 4 2009q.
- ⁴ István Horváth, ed. Dunaferr: Dunai Šasmu ʃronika. ,, Dunáújváros, 2000. ,, P. 31...33.

- ⁵ Andreas Ludwig. *Łódź: Wandel einer industriellen Gründungsstadt in fünfzig Jahren*. Potsdam, 2000. S. 53...54.
- ⁶ *f**, 19 2007| Idealnego, catalogue of the Wydawnicze Muzeum Historycznego Miasta Łódź, Łódź, 2006q, p. 26.
- ⁷ Tadeusz Golaszewski. *Łódź: Nowej Huty*. Łódź, 1955. P. 34...35| Nowa Huta: Architektura i twórcy miasta, (X), " = ? .
- ⁸ *f**.
- ⁹ Herbert Nicolaus, Lutz Schmidt. *Łódź: 50 lat Odrodzenia*. Łódź, 2000. S. 47.
- ¹⁰ Henryk Richter, Heike Förster, Ulrich Lakemann. *Łódź: Son der Utopie zur Gegenwart*. Marburg, 1997. S. 1...22.
- ¹¹ ! K, *, \$ \$, ' = * + , 5 2007| Ludwig. *Łódź: Wandel einer industriellen Gründungsstadt*, p. 2...30| , ' \$! , 6 2006, ' % = + , ! , 5 2007.
- ¹² Golaszewski. *Łódź: Nowej Huty*, p. 29...31.
- ¹³ ! + =, Q \$ \$ - X " = ? , " ? , 19 2007.
- ¹⁴ Richter et al. *Łódź: Stalinstadt*, p. 14| *f**.
- ¹⁵ Simone Haide, ed. *Reise nach Moskau*. Berlin, 1995. S. 45...53.
- ¹⁶ Ludwig. *Łódź: Wandel einer industriellen Gründungsstadt*, s. 44...50.
- ¹⁷ *f**.
- ¹⁸ ! (= (+ , Intercisa, % = +, 19 2009| Sándor Horváth. *A kapu és a határ: mindenesztől város*. Budapest, 2004. P. 14...16.
- ¹⁹ Dagmar Semmelmann. *Man war total enturzelt und musste erst wieder Wurzeln schlagen—: Zur Integration von Flüchtlingen und Vertriebenern in der SBZ/DDR aus lebensgeschichtlicher Sicht—dargestellt am Sonderfall Łódź*. # , # CD, 2005q.
- ²⁰ OSA, 206-1-1:3.
- ²¹ Horváth. *A kapu és a határ*, p. 35...36.
- ²² Richter et al. *Łódź: Stalinstadt*, p. 32...33.
- ²³ Kurt W. Leucht. *Die erste neue Stadt in der DDR*. Berlin, 1957. S. 79...<3.
- ²⁴ OSA, 206-1-1:3.
- ²⁵ Richter et al. *Łódź: Stalinstadt*, p. 33...35.
- ²⁶ X K , .
- ²⁷ Richter et al. *Łódź: Stalinstadt*, p. 33.
- ²⁸ • , .
- ²⁹ (' + ! \$, * # Dunafer.
- ³⁰ *f**.

- 31 Horváth. A kapu es a hatar, p. 15<...172.
- 32 X ? , , ! , 7 200<.
- 33 Nicolaus, Schmidt. ‡inblicke, s. 54...55.
- 34 Tadeusz †onwicki. Przy Budowie . „, Warsaw, 1950.
- 35 Ad† AB†, Nerlinger Collection, folder 141| 8 = •
(*) X = , ! , 5 200<.
- 36 SAPMO-BA, D\ 30YIŠ 2Y9.06Y175.
- 37 Ad† AB†, Nerlinger Collection, folder 79.
- 3< Ibid., folders 79, 141.
- 39 Ibid., folder 79.
- 40 Günter Feist, ‡ckhart Gillen. Stationen eines Weges: Daten und Zitate zur †unst und †unstpolitik der DDR 1945...199<. „, Berlin, 19<<. „, S. 29.
- 41 Ad†, AB†, Nerlinger Collection, folder 103.
- 42 Horváth. A kapu es a hatar, p. 32.
- 43 Horváth. Alltag in Sztálinváros, p. 517...51<.
- 44 % # = # # , / \$.
- 45 Mark Pittaway. Creating and Domesticating Hungary's Socialist Industrial Landscape: From Dunapentele to Sztálinváros, 1950...195<. Y#Historical Archaeology 39, 3, Landscapes of Industrial Labor `2005q, p. <4.
- 46 f / •=* , , + , 14 2007| }ózef Tejchma.
Po`egnanie z w`adz . „, Warsaw, 1997| }ózef Tejchma. Z notatnika aktywisty ZMP. „, Warsaw, 1954.
- 47 Ryszard †apu'ci“ski. To tez jest prawda o Nowej Hucie. YYSztandar M`odych `September 30, 1955q.
- 4< Horváth. A kapu es a hatar, p. 40...52.
- 49 Ibid., p. 22...24.
- 50 Nicolaus and Schmidt. ‡inblicke, s. 56...5<.
- 51 Richter et al. Stalinstadt „, ‡isenhüttenstadt, p. 31.
- 52 • , .
- 53 Richter et al. Stalinstadt „, ‡isenhüttenstadt, p. 14.
- 54 Ferenc ‡rd<s, Zsuzsanna Pongrácz. Dunaújváros története . „, Dunaújváros, 2000. „, P. 255...256.
- 55 Márta Matussné Lendvai. «œa nagy Sztálinról nevezhessük el», Árgus `}anuary 1995q, p. 70...74.
- 56 Nicolaus, Schmidt. ‡inblicke, s. 65...71.
- 57 Leucht. Die erste neue Stadt in der DDR, s. <6.
- 5< • , .
- 59 V . # # \$ * & Volume. . :
<http://YVolumeProject.org/YvolumeY2009Y00Y00YIndustrialised-Building-Speech-2C->.
- 60 Ludwig. ‡isenhüttendstadt, p. 52.

? 16. X 02 / %

¹ K X \$, ! , 21 2006.

² .: http://www.youtube.com/watch?v=ŠZ_gRlpg.

³ Šolker Müller. ‡s ist so viel Blut umsonst geflossen. YBerliner Zeitung, }anuary 26, 2001, s. 11.

⁴ €& (=, , + , 7 2007.

⁵ 8 ; =, , + , 25 2006.

⁶ E , , + , 25 2009.

⁷ Anna Bikont, }oanna Szczesna. Lawina i †amienia: Pisarze wobec †omunizmu . , Warsaw, 2006. , P. 103...112.

[<] .: <http://fotoforum.gazeta.pl/Y72,2,746,6<<3222,74666403.html>. \$ «; - » 8 / * + *.

⁹ György Majtényi. rök a vártán. Uralmi elit Magyarországon az 1950-es, 1960-as években. Sándor Horváth, ed. YY Mindennapok Rákosi és †ádár korában , Budapest, 200<. , P. 2<9.

¹⁰ Joel Agee. Twelve }ears: An American Boyhood in †ast Germany . , Chicago, 2000. , P. 125.

¹¹ OSA, 300Y50Y6, folders 35, 42, 43.

¹² BStU MfSZ, 5960Y60, p. 130.

¹³ }acek †uro†. †uro†: Autobiografia. , Warsaw, 2009. `http://www.krytykapolityczna.pl/YAutobiografiaYAwans-spoleczny-i-odbudowaYmenuid-232.htmlq.

¹⁴ /\$ \$, , ! , 20 2006.

¹⁵ (* !) , , + , 1< 2007.

¹⁶ Andrzej Panufnik. Composing Myself. , London, 19<7. , P. 1<3.

¹⁷ David Pike. The Politics of Culture in Soviet-Occupied Germany, 1945...1949 , Stanford, 1992. , P. 365.

^{1<} }acek Trznadel. Ha"ba Domowa. , Paris, 19<6.

¹⁹ Panufnik. Composing Myself, p. 191.

²⁰ ' \$ # \$ E . .: André Heynal. Die ungarische Psychoanalyse unter totalitären Regimen. Ágnes Berger et al. YY Psychoanalyse hinter dem †isernen Šorhang, Frankfurt, 2010. , S. 27...49.

²¹ Pál Hermat. Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. , Budapest, 1994. , P. 393...440.

²² Ferenc †r<s. Psychoanalysis and Cultural Memory, , # = # «8 * & » , Collegium Hungaricum, ! , 15...16 200<.

²³ Hermat. Freud, p. 393...440.

²⁴ % " K + , , ! # + , 12 2009.

²⁵ Heynal. Die ungarische Psychoanalyse.

²⁶ f (+ , , 20 # 2009.

- 27 ' ;= , , + , 3 2007.
- 2< 8 8 =, , + , 22 2012.
- 29 E , .
- 30 X (=, , + , 2< # 2009. [X
(. &: .E. 8 \$.8 : 8 + 19<9.,
(., 2014., . 79 ...104., . .]
- 31 X++ / 8 , , + , 2 200<.
- 32 (=, .
- 33 }ohn Connelly. Captive University: The Sovietization of †ast German, Czech,
and Polish Higher †ducation 1945...1956., Chapel Hill and London, 2000. ,,
P. 216...217.
- 34 Q , , ! #+, 2009.
- 35 > / ! \$, ! , 2< 5 2006.
- 36 †lfriede Brüning. Und außerdem war es mein Leben. ,, Berlin, 2004. ,, S. 342...
345.
- 37 Ibid., p. 39<.
- 3< †lfriede Brüning. Lästige Zeugen: Tonbandgespräche mit Opfern der Stalinzeit. ,,
Halle, 1990.
- 39 Leopold Tyrmand. Sprawa Piaseckiego. YŹwiat `November 1<, 1956q.
- 40 }an †ngelgard. Wielka Gra Boles›awa Piaseckiego. ,, Warsaw, 200<., P. 7.
- 41 Andrzej }aszczuk. †woluca Ideowa Boles›awa Piaseckiego. ,, Warsaw, 2005. ,,
P. 27...2<, 56...57.
- 42 †ngelgard. Wielka Gra Boles›awa Piaseckiego, p. 66...67.
- 43 Miko›aj Stanis›aw †unicki. The Polish Crusader: The Life and Politics of Boles›aw
Piasecki, 1915...1979. Ph.D. thesis, Stanford University, June 2004, p. 196...203.
- 44 Czes›aw Mi›osz. Zdobycie W›adzy. ,, Olsztyn, 1990. ,, P. 13<...139.
- 45 †ngelgard. Wielka Gra Boles›awa Piaseckiego, p. <5.
- 46 Ibid., p. 21<.
- 47 + J =, , + , 19 2009.
- 4< †unicki. The Polish Crusader, p. 241...243.
- 49 8 = = 8 \$) . !
8 , + , 17 / 2012.
- 50 J =, .
- 51 # •\$, , ! , 21 2009.
- 52 ' =, , + , 15 2007.
- 53 SAPMO-BA, ZPA, N\ 421Y 5Y53, p. 263...274.
- 54 †laus Polkehn. Das war die Wochenpost: Geschichte und Geschichten einer Zeitung . ,,
Berlin, 1997. ,, S. 7.
- 55 X 8 , , ! , 20 2006.

? 17. 8

- ¹ György Faludy. *My Happy Days in Hell.* , London, 2010. , P. 207.
- ² Celina Budzyńska. *†rytyka i Samokrytyka* . , Warsaw, 1954. , P. 44.
- ³ *Daily Worker*, November 20, 1950, p. 2| Phillip Deery. The Dove Flies ‡ast: Whitehall, Warsaw and the 1950 World Peace Congress. Y *Australian Journal of Politics and History* `December 2002q.
- ⁴ *Sheffield Telegraph*, November 19, 1950| Deery. The Dove Flies ‡ast.
- ⁵ Stiftung Aufarbeitung, Archiv Unterdrucker Literatur, ‡deltraude ‡ckert file.
- ⁶ Joanna †ochanowicz. *ZMP w Terenie* . , Warsaw, 2000. , P. <5...102.
- ⁷ John Rodden. *Repainting the Little Red Schoolhouse: A History of ‡astern German ‡ducation, 1945...1995* , New York, 2002.
- [<] Maciej Chłopek. *Bikiniarze. Pierwsza polska subkultura* , Warsaw, 2005. , P. 69...75| Sándor Horváth. *Hooligans, Spivs and Gangs: Youth Subcultures in the 1960s*. János M. Rainer, György Péteri, eds. *Muddling Through in the Long 1960s: Ideas and ‡veryday Life in High Politics and the Lower Classes of Communist Hungary*, Trondheim Studies on ‡ast ‡uropean Cultures and Societies 16 `May 2005q, p. 199...223.
- ⁹ *Bikiniarze*, p. 101| †athy Peiss. *Zoot Suit: The ‡nigmatic Career of an ‡xtreme Style* . , Philadelphia, 2011. , P. 179.
- ¹⁰ Leopold Tyrmand. *Dziennik 1954* . , London 19<0. , P. 13<...140.
- ¹¹ Horváth. *Hooligans, Spivs and Gangs*.
- ¹² Chłopek. *Bikiniarze*, p. 30.
- ¹³ *Ibid.*, p. 142...143.
- ¹⁴ Jacek †uro“. *Wiara i wina. Do i od komunizmu* . , Wrocław, 1995. , P. 54.
- ¹⁵ .: Sándor Horváth. *Myths of the Great Tree Gang: Constructing Urban Spaces and Youth Culture in Socialist Budapest*. Joanna Herbert, Richard Rodger, eds. *YY Testimony of the City: Identity, Community and Change in a Contemporary Urban World* . , Aldershot, 2007. , P. 73...93| Horváth. *Hooligans, Spivs and Gangs*.
- ¹⁶ X++ / 8 , , + , 2 200<.
- ¹⁷ Chłopek. *Bikiniarze*, p. 130...135.
- ^{1<} †uro“. *Wiara i wina*, p. 54...55.
- ¹⁹ Toby Thacker. *The Fifth Column: Dance Music in the ‡arly German Republic*. Patrick Major, Jonathan Osmond, eds. *YY The Workers• and Peasants• State*, Manchester, 2002. , P. 227...239.
- ²⁰ > * ” , , =# \$ 12 2006.
- ²¹ Ad† AB†, Arnold Zweig, Š.
- ²² Thacker. *The Fifth Column*, p. 227...239.
- ²³ (, , X , 25 / 2009.
- ²⁴ X = / = \$. : Ben Lewis. *Hammer and Tickle* . , London, 2009. . & : Hammer and Tickle, *Prospect* 122 `May 20, 2006q.
- ²⁵ Lewis. *Hammer and Tickle*, p. 11.

- ²⁶ 8 * . \$
8 8 \$) = # .
- ²⁷ PIL, 2<6.23, p. 122.
- ^{2<} AAN, Ministerstwo Oświaty 346, p. 16.
- ²⁹ Milan ħundera. The ĵoke. ., London, 1992.
- ³⁰ .: Lewis. Hammer and Tickle, p. 132.
- ³¹ ĵenĸ Randĸ, ĵános Sebestyĸn. Azok a rádiós ĸvĸizedek. ., Budapest, 1995. ., P. 146...14<.
- ³² Ulenspiegel: Literatur, ĸunst, Satire, vols. II `1947q, III `194<q. / \$ -
, # ~ \$ K 34.
- ³³ SAPMO-BA, D\ 30YIŠ 2.9.06Y23.
- ³⁴ Lewis. Hammer and Tickle, p. 11.
- ³⁵ f / 8 =, , X , 24 2009.
- ³⁶ K — * @ , , J , 1< 2006.
- ³⁷ ĸarta, Memoir Archives, 7YIŠ.
- ^{3<} ĵan Ziówek, Agnieszka Przytu>a. Represje wobec uczestników wydarze“ w ĸatedrze Lubelskiej w 1949 roku. ., Lublin, 1999| Agnieszka Przytu>a. Skazani za wiar w cud, # # `http:YYtnn.plYpamie.phpq.
- ³⁹ ĸarta, Memoir Archives, 7YIŠ.
- ⁴⁰ Q ; / @ , # # .
- ⁴¹ K ! , , 5 / 2006.
- ⁴² Dariusz Stola. ĸraj bez Wyj`cia^ Migracje z Polski 1949...19<9., Warsaw, 2010. ., P. 27.
- ⁴³ William ĸ. Stacy. US Army Border Operations in Germany 1945...19<3 `H` US Army, ĸurope and 7th Army, 2002q `http:YYwww.history.army.milYdocumentsYBorderOpsYcontent.htmq.
- ⁴⁴ ĸdith Sheffer. On ĸdge: Building the Border in ĸast and West Germany. YY*Central European History* 40 `2007q, p. 307...333.
- ⁴⁵ Stacy. US Army Border Operations in Germany.
- ⁴⁶ Corey Ross. Before the Wall: ĸast Germans, Communist Authority and the Mass ĸxodus to the West. YY*The Historical Journal* 45, 2 `2002q, p. 459| Frederick Taylor. The Berlin Wall. ., New `ork, 2006. ., P. 77.
- ⁴⁷ K X \$, ! , 21 2006.
- ^{4<} Ross. Before the Wall, p. 465...477.
- ? 1< ; 0
- ¹ Bertolt Brecht. Poems 1913...1956., Methuen, 1976. ., P. 440. [8 -
\$ ' ; .,, .]
- ² E 5 , # + , # - ,
+ \$ 1 , \$ %o + -
~ = .
- ³ Mark Allinson. Politics and Popular Opinion in ĸast Germany 1945...196< ., Manchester, 2000. ., P. 52...54.

- ⁴ . # / * « \$ ~ »:
http://www.osaarrchivum.org/Ygaleria/Y05031953Ysect06Yindex.html.
- ⁵ Q* / \$ / # * & Life 23 1953 \$.
- ⁶ Amy †night. Beria: Stalin's First Lieutenant. ., Princeton, 1995. ., P. 1<2.
- ⁷ Mark †ramer. The †arly Post-Stalin Succession Struggle and Upheavals in †ast-Central †urope: Internal...†xternal Linkages in Soviet Policy Making. *YJournal of Cold War Studies* 1, 1 `Winter 1999q, p. 1<...21.
- [<] Ibid., p. 17| Christian Ostermann, ed. Uprising in †ast Germany 1953: The Cold War, the German †uestion, and the First Major Upheaval Behind the Iron Curtain . ., Budapest and New York, 2001. ., P. <6...90. (\$ # * - # &) & : http://YYlegacy.wilsoncenter.org.
- ⁹ Ostermann, ed. Uprising in †ast Germany 1953, p. 10...101.
- ¹⁰ †ramer. †arly Post-Stalin Succession Struggles, p. 17.
- ¹¹ Ibid., p. 23.
- ¹² Csaba Békés, Malcolm Byrne, János Rainer, eds. The 1956 Hungarian Revolution: A History in Documents. ., Budapest and New York, 2002. ., P. 15...20.
- ¹³ Charles Gati. Failed Illusions: Moscow, Washington, Budapest, and the 1956 Hungarian Revolt. ., Stanford and Washington, 2006. ., P. 32...40. [. = # : , ? , & : (, + \$, ! # + \$ 1956 \$. ., (: (@8Q, 2006. . . .]
- ¹⁴ Imre Nagy. On Communism: In Defense of the New Course. ., New York, 1957. ., P. 176.
- ¹⁵ †ramer. †arly Post-Stalin Succession Struggles, p. 31.
- ¹⁶ ; , , ! , 1 # 200<.
- ¹⁷ > * ", , =# \$, 12 2006| > / ! \$, ! , 2< 5 2006.
- ^{1<} >\$! , , 26 2006.
- ¹⁹ Rudolf Herrnstadt. Das Herrnstadt-Dokument: das Politbüro der S†D und die Geschichte des 17. }uni 1953. ., Hamburg, 1990. ., P. <5| Hubertus †nabe. 17 }uni 1953 ., †in deutscher Aufstand . ., Berlin, 2004. ., S. 302.
- ²⁰ > * ", .
- ²¹ • & . . & : †rich Loest. Durch die †rde ein Riss: †in Lebenslauf . ., Hamburg, 19<1. ., S. 196...207| , # * # , - + K X : Hubertus †nabe. 17 }uni 1953 ., †in deutscher Aufstand. ., Berlin, 2004. ., S. 31<.
- ²² X -K= ' , , ! , 3 2006.
- ²³ K - ! & , , ! , 2 # 200<.
- ²⁴ &) = . \$: Šolker †oop. Der 17 }uni 1953 ., Legende und Wirklichkeit. ., Berlin, 2003.
- ²⁵ Ibid., p. 343.
- ²⁶ †nabe. 17 }uni 1953, p. <3. > / # + # %; 19<9 \$.

- 27 ! , .
- 28 SAPMO-BA, D\ 30YIŠ 2Y1Y121, p. 35...39.
- 29 Ostermann, ed. Uprising in East Germany 1953, p. 1<6.
- 30 Mary Fulbrook. Anatomy of a Dictatorship: Inside the GDR, 1949...19<9,, Oxford, 1995. ,, P. 155...161.
- 31 ? @ , , ! , 7 2006.
- 32 Ronald Hayman. Brecht: A Biography. ,, New York, 19<3. ,, P. 367.
- 33 X 8 , , ! , 20 2006.
- 34 ; , .
- 35 Tramer. Early Post-Stalin Succession Struggles, part 2, p. 5.
- 36 Ostermann, ed. Uprising in East Germany 1953, p. 1<6, 270| Tramp, Der 17. Juni 1953, s. 333...334. # =) & # # & =:
V:• # * ,, & , \$ # -
* # `Ostermann, ed. Uprising in East Germany 1953, p. 210...212q.
- 37 Tramer. Early Post-Stalin Succession Struggles.
- 38 Gati. Failed Illusions, p. 54...55.
- 39 SAPMO-BA, D\ 30YIŠ 2Y1Y120, p. 2...13.
- 40 Ibid., p. 25...2<.
- 41 Ibid.
- 42 Paweł Machewicz. Polish Regime Countermeasures Against Radio Free Europe. A. Ross Johnson, R. Eugene Parta, eds. Cold War Broadcasting: Impact on the Soviet Union and Eastern Europe. ,, New York, 2010. ,, P. 174...175.
- 43 Andrzej Friske. Polska: Losy państwa i narodu, 1939...19<9. ,, Warsaw, 2003. .
& : Andrzej Paczkowski. Trzy twarze Józefa 'wiat'y: przyczynek do historii komunizmu w Polsce. ,, Warsaw, 2009.
- 44 Gati. Failed Illusions, p. 55, 113...122.
- 45 Andrzej Trzywicki. Poststalinowski 'arnawa' Rado'ci. ,, Warsaw, 2009. ,, P. 1<5...190.
- 46 *Rzeczpospolita*, December 4, 2007.
- 47 Trzywicki. Poststalinowski 'arnawa' Rado'ci, p. 231.
- 48 Jacek Truro. Wiara i wina. Do i od komunizmu. ,, Wrocław, 1995. ,, P. 56.
- 49 E , , + , 25 2009.
- 50 Trzywicki. Poststalinowski 'arnawa' Rado'ci, p. 231.
- 51 X++ / 8 , , 2 200<.
- 52 Trzywicki. Poststalinowski 'arnawa' Rado'ci, p. 2<1.
- 53 Tr. Trzniewski. Sto Wierszy o Festiwalu. *YYSztandar Modych`* August 9, 1955q.
- 54 E , .
- 55 William Griffiths. The Petfi Circle: Forum for Ferment in the Hungarian Thaw. *YY The Hungarian Quarterly* 2, 1`January 1962q, p. 15...31.
- 56 István Trörsi. The Pet-fi Circle. Intellectuele kringen in de twintigste eeuw. ,, Utrecht, 1995. ,, P. 110.

- ⁵⁷ Tamás Aczél, Tibor Meráy. *The Revolt of the Mind*. , London, 1960. , P. 274... 2<2| Békés, Byrne, Ranier, eds. *The 1956 Hungarian Revolution*, p. 10.
- ⁵⁸ Ibid., p. 345...346.
- ⁵⁹ Aczél, Meráy. *Revolt of the Mind*, p. 45.
- ⁶⁰ Ibid., p. 96...113.
- ⁶¹ Iván Šitány. Önarckép„elvi keretben . , Celldömölk, 2007, p. 2<...32.
- ⁶² András Hegedüs. The Petőfi Circle: The Forum of Reform in 1956. *Journal of Communist Studies and Transition Politics* 113, 2, p. 10<...122.
- ⁶³ Békés, Byrne, and Ranier, eds. *The 1956 Hungarian Revolution*, p. 10.
- ⁶⁴ Aczél, Meráy. *Revolt of the Mind*, p. 267...26<.
- ⁶⁵ Fűrsi. The Petőfi Circle, p. 10<.
- ⁶⁶ X (=, , + , 2< # 2009.
- ⁶⁷ Ibid.
- ⁶⁸ Fűrsi. The Petőfi Circle, p. 110.
- ⁶⁹ Mark Pittaway. The Reproduction of Hierarchy: Skill, Working-Class Culture, and the State in Early Socialist Hungary. *The Journal of Modern History* 74, 4 `December 2002q, p. 72<.
- ⁷⁰ Griffiths. The Petőfi Circle, p. 22.
- ⁷¹ • # = :
http://www.marxists.org/Yarchive/Ykhrushchev/Y1956/Y02/Y24.htm. [. & \$: http://www.agitclub.ru/yspezhran/Yhruzev1.htm. , .]
- ⁷² William Taubman. Khrushchev: The Man and His Era . , New York, 2003. , P. 2<4.
- ⁷³ 8 ; =, , + , 25 2006.
- ⁷⁴ The Petőfi Circle, p. 17.
- ⁷⁵ Šictor Sebestyen. *Twelve Days: Revolution 1956*. , London, 2006. , P. <6...<7.
- ⁷⁶ , \$ # * ; + ~ \$ # \$ # + -
~ . " # \$ \$ \$ = + -
 , # * # # =, = + -
+ \$. : http://www.multkor.hu/Ycikk.php?id=036*pId=4.
- ⁷⁷ Gati. *Failed Illusions*, p. 137...13<.
- ⁷⁸ Q * , * * * * , & # -
~ : Gati. *Failed Illusions* ; Sebestyen. *Twelve Days*| Mark Kramer. *The Soviet Union and the 1956 Crises in Hungary and Poland: Reassessments and New Findings*. *Journal of Contemporary History* 33, 2 `April 199<q, p. 163...214. Q
The Central European Press # = Q # 1956 \$
~ # : Csaba Békés, Malcolm Byrne, János Rainer, eds. *The 1956 Hungarian Revolution*. -
 , # + * \$ = , ~
\$: George Urban. *Nineteen Days: A Broadcaster's Account of the Hungarian Revolution*. , London, 1957| Sándor Fűpácsi. *In the Name of the Working Class*. , New York, 19<7| Fűndre Márton. *The Forbidden Sky*. , New York, 1971| Tibor Meráy. *Thirteen Days That Shook the Kremlin*. , London, 1959.

- ⁷⁹ Aczél, Meráy. *Revolt of the Mind*, p. 437...43<.
- ^{<0} Sebestyen. *Twelve Days*, p. 97.
- ^{<1} Meráy. *Thirteen Days That Shook the †remlin*, p. 439.
- ^{<2} †ramer. *The Soviet Union and the 1956 Crises*, p. 163...214.
- ^{<3} Békés, Byrne, Ranier, eds. *The 1956 Hungarian Revolution*, p. 223| †ramer. *The Soviet Union and the 1956 Crises*, p. 169...171.
- ^{<4} †ramer. *The Soviet Union and the 1956 Crises*, p. 172.
- ^{<5} Urban. *Nineteen Days*, p. 12...13.
- ^{<6} Békés, Byrne, Ranier, eds. *The 1956 Hungarian Revolution*, p. 1<<...1<9.
- ^{<7} Sebestyen. *Twelve Days*, p. 110...119.
- ^{<<} Ibid., p. 192.
- ^{<9} Gati. *Failed Illusions*, p. 165...167.
- ⁹⁰ Sebestyen. *Twelve Days*, p. 20<.
- ⁹¹ .: Bill Lomax, ed. *Hungarian Workers• Councils in 1956* . ., New ork, 1990.
- ⁹² Békés, Byrne, Ranier, eds. *The 1956 Hungarian Revolution*, p. 375.
- ⁹³ Sebestyen. *Twelve Days*, p. 2<1.
- ⁹⁴ Ibid., p. 299...300.
- ⁹⁵ Békés, Byrne, Ranier, eds. *The 1956 Hungarian Revolution*, p. 70.
- > #
- ¹ Henryk Doma“ski. *The Middle Class in Transition from Communist to Capitalist Society*. †dmund Mokrzycki, Sven †liæson, eds. *Building Democracy and Civil Society †ast of the †lbe* . ., New ork, 2006. ., P. 95.
- ² ! ; & , 6 2012| . & Barbara Day. *The Šelvet Philosophers* . ., London, 1999.
- ³ Šaclav Havel et al. *The Power of the Powerless: Citizens Against the State in Central-†astern †urope* . ., London, 19<5. ., P. 39.
- ⁴ > # E , \$ \$ * -
= # # ; # , " # . ; =) ,
, : « „ ~ # » . ; 8 = #
,) / , = ~ # \$,
: «8 \$ / , ~ # * &
= , # , = # = » .
- ⁵ .: †anan Makiya. *Republic of Fear* . ., Berkeley, 199<| }ohn †. Cooley. *The Libyan Menace YYForeign Policy 42`Spring 19<1q| Gareth Winrow. The Foreign Policy of the GDR in Africa* . ., Cambridge, 1990. ., P. 140. ?
= = # \$ * * & -
' / , * > / # , '\$ (.
- ⁶ .: <http://www.lkplodz.pl>.
- ⁷ .: # , = = , ~ *
* \$ =: <http://www.icnl.org/Yresearch/Ymonitor/Yrussia.html>.

Указатель имен

- , 139
 '), X 313, 413
 '&, %&) 539
 ' # , f = 457, 621, 626
 ' , K 1<, 34, 57, 630
 ' , • + 616, 617
 ' , % 60, 61
 * = , K 20
 != , 391, 392
 ! , E 134, 400, 401
 ! +, > 1<<, 1<9, 192
 ! , = 153...156, 159, 390,
 599, 600, 60<, 609
 !" , > 227
 ! , 99, 112, 113, 162, 21<,
 220, 292, 406, 407, 4<6, 4<7
 ! , ! 91, 94...99, 109, 117...
 119, 167, 21<, 222, 270, 2<<, 292, 352
 ! * , - \$ 466...46<, 4<1, 609
 ! + , % " 614
 !& = , J \$ 1<
 ! \$, \$ 26<, 269, 273, 274
 ! += , €& 219, 366
 ! = , • + 5<
 ! * , 35, 64
 ! , / 196, 69<
 ! , X & 4<2, 525
 ! & , 22<, 636
 ! * , ! 99, 459, 464, 46<, 469,
 471, 473, 597, 606, 607
 ! \$, f 219, 367
 ! = , Q / 357
 ! • , Q # 30, 9<, 112, 2<5, 361,
 362, 393, 406, 506, 622
 ! -" = , (\$ 10<
 ! * , " = <6, 39<
 ! * , 309
 ! , ; 75, 234...237
 = , ' & = 16<, 499, 501, 502, 533
 = , ' 149
 = # # , ? \$ = 464
 , J 137, 516
 , 105
 = , ? 3<6, 3<7
 , ; 565
 , >## 26
 = , X 534
 / , (102, 103, 113, 115, 259,
 260, 261, 263, 264, 516
 + = , / 355, 374, 375,
 377...3<0, 3<<, 562, 563, 5<7
 , 634
 ? , ; / 135...139, 394, 395,
 397
 ? = , ? -Q * 540, 541
 ? \$ -% &, ? \$ 99
 ? " , > " 99, 119, 242, 414, 599, 622
 ? , (465
 ? + , (+ 615, 627
 ? +K = , 546...54<, 550, 615
 ? , ' / 27, 30, 33, 45...47, 55,
 67, 70, 92, 95, 100, 104, 106...10<, 169,
 1<5, 1<6, 224, 234, 25<, 260, 261, 30<,
 309, 425, 463, 467, 554, 55<, 569
 ? , > 4<6
 ? , 96, 109, 113, 117,
 222, 2<5, 2<<, 2<9, 317, 31<, 326, 39<,
 400...403, 409, 410, 559, 561, 610, 623...
 625, 630
 ? , X 9<, 122, 196, 316,
 320, 401, 403, 597, 59<, 620
 ? \$, 8 447, 697
 ? , 35, 50, 51, 214, 464
 ? , = 71...73
 ? , 143, 309, 310, 422,
 432, 453, 476, 477, 515, 59<, 599
 ? + , - & / 373, 3<3
 , ' 405...407
 % , %& E 64, 626, 629
 %& , • 27
 %& , %& 17
 %& , (75
 % , ? \$ = 99, 102, 104, 2<2,
 320, 326

% + , ' 464, 466, 46<, 470, 471, 473
 * =, / 224...226
 =, + 562, 564
 J , (54
 J , ? \$ = <6, <<, 39<
 -J =, • + 3<6
 , ' / 67
 , + 3<4, 395, 62<, 630
 X = , 236, 313, 315, 340, 412
 X , ' 106
 X # , X 35
 X # ~ =, ; + 524
 X \$, 306, 307
 X , 411
 X +, 8 35
 X , %& & 60, 66, 6<, 2<2
 X , 8 341, 342
 X , X 35, 50, 2<7
 X" , ' 115, 390, 411
 X =, / 44
 X =, (/ 234, 236...240, 259... 261, 314
 X , ! 303, 304, 617
 X , + 135
 X , %& 35, 432
 X # , 73...75
 X , + 423, 424
 X , (36, 69<
 X , >\$ 437
 X & & =, '
 ` \$ q 154...156, 161, 392, 55<
 X , E 131
 X , ! <<, 104, 131, 136, 327
 X , (501, 5<1
 X , ! 146, 147
 X , 541, 575, 577, 612
 , /\$ \$ 171, 173, 175, 543
 , 62, <6...<9, 91, 97,
 141, 144, 1<4, 227, 22<, 257, 259, 30<,
 330, 429, 452, 462, 501, 620
 , /\$ \$ 102, 103, 110...113,
 115, 116, 120, 231...233, 259, 260, 399,
 555
 \$, (462...464, 469, 470, 473,
 475, 476...47<, 4<5, 520, 603
 * , % = 22<
 =*, X 512...514
 , %& 66, 69
 , % " 3<3, 546, 547, 621
 , • / 230, 423, 43<
 =, • + 561, 564
 (= =, Q 26, 27, 114
 (, ' 423, 429, 437, 441
 (, % \$ 41<, 573
 (, %& / 19
 (, % 100
 (, E = 39<
 (, 8 627, 62<
 (, @ 44, 54, 6<, 70
 (, ' 45
 (, X <6...<<, 106, 109, 229, 2<4,
 2<6
 (+ , %& & 4<, 316
 (, 316, 59<
 (, (36
 (, • 616, 617
 (, 8 39<, 402, 406
 (=, X) 72
 (= , 63, 11<, 2<4,
 2<6...292, 294, 296...29<, 315, 356, 561
 (+, , 53, 60, 63, 559, 560
 (, - & / 245, 246, 301, 302,
 374...377, 379, 3<0, 3<3, 3<4, 3<7, 411,
 494, 617, 627, 62<
 (, K 99, 21<, 333, 345, 4<6
 (, 79, 114, 2<5, 299,
 316, 356, 397, 59<
 (\$, ? <0
 (, 206...209, 21<, 223
 (, • 4<6
 (+ , X 517
 (, ! 17, 1<, 21, 104, 634
 \$, 475
 " , Q 119, 600, 621, 627

- " = , " 35, 36, <0, 140
 " \$, 51<...520, 553
 " , 8 459
 " , (409
- , • K
 +, = + 373
 =, % 275...2<0
) , %& & 1<, 149, 226, 569, 5<0,
 633
 , ' 334
 =, 215, 216
 -(=, > 11<, 222
 X + 1<0...1<2, 242, 302, 364
 X = 245, 247
- / , ' & = 160, 462, 543...545
 8) , ; 227
 8 , ' 39<
 8 =, ' & = 35, 219, 390
 8 , ? 131...135, 39<
 8 , " 29<, 320
 8 , \$ 99, 110, 112, 143, 236,
 30<, 324, 473, 475, 477, 539, 572
 8 , 8 471, 53<, 5<4
 8 , Q\$ 445
 8 , ; 501
 8 =, 444, 445
 8 , 491, 492, 495...
 499
 8 =, ! 557...564, 56<
 8 , €& 4<3
- +, 373
 ; , 125, 165, 225,
 427, 540
 ; =, 246, 247, 254, 303, 306,
 307, 342, 39<, 400, 402, 406, 414, 419,
 621, 622, 623, 624
 ; =, f 621, 622
 ; =, (436
 ; +, (+ 91, 96...99, 119, 131,
 136, 13<, 176, 213, 214, 219...221, 242,
 243, 255, 257, 279, 299...304, 307, 320,
 32<, 366, 370, 376, 394, 396, 397, 414,
 451, 457
- ; , - & / 99, 176, 219, 254, 31<,
 367, 370, 3<3, 494, 599
 ; =, X 359, 400,
 5<0, 597, 623, 624
 ; , E 61...64, 70, <0, 90,
 124, 162, 170, 195, 25<, 2<3, 2<7
 ;) , '= 20, 21
- \$, K 467, 46<, 470, 471,
 5<3, 5<4
 , f / 219, 3<1, 3<6, 3<7, 539,
 540, 610
 , € " 299, 300, 305, 622
 , Q 119, 139, 156, 161, 3<1,
 55<...560, 627
 ", Q+ 493, 494, 496, 49<
 \$, f / 4<3, 4<6, 4<7, 490
 =, ; / 319, 401, 403, 406,
 407, 410, 411, 536, 552
 = , • 35, 46, 47
 & , ' 72, 75
 , Q / 17, 21, 23...27, 32, 45...
 4<, 60...64, 70, 75, 79, <0, <5, <6, <9...99,
 102...104, 106...109, 112, 113, 116...11<,
 144, 149, 150, 153, 156, 15<, 159, 165,
 170, 1<4, 1<5, 195, 19<, 200, 202, 217,
 221, 222, 22<, 25<, 259, 269, 2<2...2<9,
 29<, 301, 307, 315...317, 320, 333, 356,
 35<, 359, 361, 3<2, 39<, 399, 401, 402,
 424...426, 444, 44<, 450, 462, 4<6, 492,
 50<, 536, 551, 566, 5<0, 597, 601, 60<,
 619, 620, 634
 # , ? 416...420
- =* , f / 442, 460, 522...525, 534
 • , > 104, 230, 440, 450
 • , 47<...4<3, 4<6, 490,
 491, 549
 • , J 302, 303
 • # , ' + 131, 132
 • , (99, 59<
 • & , 460, 545
 • =, <6, 90
 •) , ? 1<, 170, 1<5, 2<2, 2<3,
 316, 317, 35<, 41<, 5<4
 • , f 105

• +, J 364
 • , # 225...227, 557, 574,
 579
 • # , \$ = 236, 311, 312

 *, 91...99, 107, 110,
 120, 14<, 224, 231...234, 236, 260, 266,
 2<4, 307, 311, 322, 339, 36<, 451, 45<,
 469, 50<, 509, 512, 514, 553, 5<2, 597,
 599, 601...603, 60<, 609
 • , ! \$ 4<0, 4<1, 4<3

 , % " 396, 414, 469, 569,
 62<
 E +, (* = 99, 119, 133, 135, 136,
 400, 599
 E , ") 404...407, 617
 E *, X 1<
 E , ' & = 160
 E \$, 536

 = , E * / 1<
 K \$ +, ' + 242, 243, 255, 327,
 32<, 442, 610
 K = , () 35
 K , ' / 444, 445
 K , Q 547, 54<
 K + , ; / 77, 260, 262, 609
 K , ' \$ 64, 100, 405
 K , ' \$ 370
 K , > * 234...23<, 242, 424,
 442, 453, 475

 K , = + 253
 K , @ 521, 575
 K ~ , " 200, 22<, 410, 532,
 607, 60<, 619...621, 624, 626, 62<, 629

 = , \$ 140, 529, 609

 , • 15, 23, 4<, 60...64,
 <0, <9, 124, 162, 170, 195, 25<, 2<1,
 2<2, 2<7, 35<

 -J , K 5<
 @ , 501
 @ , (36, 404
 @ , • 406
 @ #/ , % 277, 279, 421
 @ , (36, 105, 106
 @ , % = 517
 @# , 42, 267, 272
 @ " , 460, 461
 @ # , K 473, 475
 @ = , % & " 303, 305, 306

 , !) 35, 51
 >= *) , % = 19, 4<, 41<
 >= , ? 46<
 >#+ = , X) 36
 > =, E 130, 131
 > , X 170, 1<5

 +, (+ 436
 =, ' 491, 564

Благодарность

На подготовку и написание этой книги ушло более шести лет. Занимаясь этим, я работала во многих европейских архивах и пользовалась источниками на разных языках. В силу этих обстоятельств моя инициатива осталась бы неосуществленной без поддержки, подсказок и содействия необычайно великодушной и щедрой группы людей и институтов. Первыми в их ряду я хотела бы назвать Гэри Смита из Американской академии в Берлине и Марию Шмидт из музея «Дом террора» и Института XX века в Будапеште. В Германии и Венгрии они не только были моими гостеприимными хозяевами, но и первейшими советчиками относительно людей, источников, культурных событий. Среди тех, кому я также выражаю признательность, — Национальный фонд гуманитарных наук, Фонд Скайфи, Фонд Смита Ричардсона. В этом же ряду Крис Демут, бывший сотрудник Американского института предпринимательства, ныне работающий в Гудзонском институте, Пол Грегори из Летнего семинара по России Гуверовского института, а также Ричард Соуза и Мачей Секирский из Архивов Гуверовского института, наилучшего места в мире для изучения истории коммунизма. Все они непосредственно помогали мне в работе в разные периоды и различными способами.

Как уже отмечалось во введении, в плане перевода, логистики и исследовательской работы я опиралась на помощь двух замечательных людей — Аттилы Монга в Будапеште и Регины Возницы в Берлине. Они внесли неизмеримый вклад в постижение мною истории их собственных стран, а также в понимание соответствующих транспортных систем, особенностей погоды и специфики кухни. Кроме того, в Варшаве мне в разное время помогали Петр Пашковский, Лукаш Кржижановский и Кася Казимирчук. Я исключительно благодарна всем проинтервьюированным мною людям — этим «свидетелям времени», как их называют в Германии, которые перечислены в приводимом ниже списке.

Среди многочисленных историков и других ученых, а также просто друзей, делившихся советами и предложениями, кому я хочу сказать спасибо в Польше, — Анджей Белявский, Владислав Булхак, Анджей Вайда, Петр Гонтарчик, Анна Дзенкевич, Анджей Жак, Марчин Заремба, Кшиштоф Корнацкий, Ванда Костя, Анджей Кравчик, Марчин Кула, Юзеф Мрожек, Анджей Пачковский, Ладислав Пясецкий, Лешек Сибила, Тереза Стажец, Дариуш Стола, Анна Фронцкевич, Станислав Юхнович.

В Венгрии мне очень помогли Маргит Балог, Барбара Банк, Магдолна Барат, Балаш Варга, Пал Гермушка, Дьёрдь Дьярмати, Ференц Ерош, Шандор Киш, Сильвия Кёбель, Эржебет Козма, Шандор Ладани, Беа Лукач, Юдит Месарош, Адриен Мольнар, Зоран Мухар, Золтан Олмоши, Мария Палашик, Иштван Пап, Янош Пелле, Иван Петё, Аттила Пок, Янош Райнер, Иштван Рев, Чаба Сабо, Ева Сабо Ковач, Ференц Томка, Кристиан Унгвари, Тибор Фабини, Габор Ханак, Шандор Хорват и Марта Матушне Лендваи. Особая признательность — сотрудникам будапештского музея «Дом террора» Тамашу Старку и Чилле Парей.

В Германии я тоже благодарна многим людям, среди которых Кристоф Айхорн, Йохен Арнтц, Йорг Баберовский, Марианна Биртлер, Жужа Брайер, Гизела Гнейст, Манфред Гетемакер, Экхарт Гиллен, Томас Данерт, Хельке Зандер, Дагмар Земельманн, Йоханна Зэнгер, Анна Камински, Роми Кляйбер, Михаэль Крейса, Вера Лемке, Андреас Людвиг, Марко Мартин, Ульрих Мэлерт, Кристель Панциг, Петер Пахнике, Ингрид Питержински, Ульрика Поппе, Мартин Сабров, Петра Ульманн, Франк Херольд, Пюнтер Хёне, Пюнтер Хольцвайсиг, Йохен Церни, Андрэ Штайнер, Райнер Эккерт, Рогер Энгельманн, Дирк Юнгникель.

Наконец, я очень признательна за помощь словом и делом, которую оказывали мне Ласло Борги, Стефано Боттони, сэр Мартин Гилберт, Хоуп Гариссон, Карел Каплан, Марк Крамер, Анита Лакенбергер, Норман Наймарк, леди Камилла Пануфник, Никита Петров, Томек Прокоп, Тимоти Снайдер, Ярослава Романова и безвременно ушедший от нас Александр Кокурин. Я говорю спасибо Энтони Бивору, Артемису Куперу и Эндрю Соломону — за советы и великолепное гостеприимство. И, разумеется, эта книга никогда не вышла бы в свет, если бы не мои превосходные редакторы Стюарт Проффитт и Крис Пуполо, а также мой необычайно терпеливый литературный агент Джордж Борчадт.

Лица, личные интервью с которыми использовались при подготовке книги

ГЕРМАНИЯ

Клаус Айхер, Карл-Хайнц Арнольд, Эгон Бар, Эрнст Бенда, Ханс-Вальтер Бенджко, Клаус Блюмнер, Эльфрида Брюнинг, Карл Гасс, Гизела Гнейст, Стефан Дёрнберг, Аксель Дришнер, Херта Кюриг, Юрген Лауэ, Вольфганг Леманн, Эрих Лёст, Ирина Либман, Андреас Людвиг, Манфред Майер, Ханс Модров, Альфонс Павлицкий, Петер Пахнике, Густав Пол, Клаус Полкен, Понтер Райш, Лутц Раков, Вернер Рёслер, Вилли Ситте, Ульрих Фест, Герхард Финн, Бернхард Хайзиг, Понтер Чирвиц, Понтер Шабовский, Ульрих Шнайдер, Готтхолд Шрамм, Андрэ Штайнер, Ханс-Йохан Шиче.

ВЕНГРИЯ

Янош Боор, Иван Витани, Ференц Гергей, Ласло Далош, Тибор Ивани, Шандор Керестеш, Шандор Киш, Андраш Ковач, Шандор Ладани, Тамаш Лошонци, Юдит Месарош, Йожеф Невези, Ференц Патаки, Чаба Скултети, Ференц Сабо, Пал Семере, София Теван, Арон Тобиаш, Агнес Хеллер, Дьёрдь Хидаш, Ференц Холлаи, Элек Хорват, Электне Хорват (в девичестве Юлия Коллар).

ПОЛЬША

Барбара Баранская, Михал Бауэр, Шимон Бойко, Халина Бортновская, Стефан Братковский, Анджей Вайда, Анджей Гарлицкий, Стефан Гшешкевич, Анджей Залевский, Людвик Ежи Керн, Чеслав Кишак, Тадеуш Конвицкий, Янина Мизиолек, Кароль Модзелевский, Ежи Моравский, Еугениуш Мрочковский, Петр Пашковский, Кшиштоф Помян, Юзеф Пуциловский, Антони Райкевич, Людвик Рокицкий, Марта Стебницкая, Янина Стобняк, Мария Стражевская, Янина Суска-Янаковская, Юлия Тазбир, Юзеф Тейхма, Ежи Турнау, Леопольд Унгер, Яцек Федорович, Юзеф Хен, Веслав Хшановский, Кристина Чарт-Косач, Станислав Юхнович, Александр Яковский, Ксаверий Ясенский.

Список архивов

1956 Institute	' * Q 1956 \$, ! # +
AAN	Archiwum Akt Nowych „ V = * * - , +
ÁBTL	Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára „ Q = * \$ * \$ \$ = # , ! # +
Ad† AB†	Akademie der †ünste Archiv Bildende †unst „ ' * ' ~ * , !
AUL	Archiv unterdrückter Literatur in der DDR „ ' * # ~ = ?% ; !
BStU MfSZ	Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen „ ' * @ , !
CAW	Centralne Archiwum Wojskowe ... V = = * , +
DRA	Deutsche Rundfunkarchiv „ " = * ~ , 8
?;E	? = * ; = = E , (
G‡O†	Gedenkbibliothek zu ‡hren der Opfer des †ommunismus „ (- & , !
HIA	Hoover Institution Archives „ ' * ? \$,) / , X / , @ '
IPN	Instytut Pami ci Narodowej „ Q = # , +
IWM	Imperial War Museum Archives „ ' * Q # \$ \$,
†arta	' * V «X » , +
MNFA	Magyar Nemzeti Filmarchívum „ \$ = = * \$ / , ! # +
MOL	Magyar Országos Levéltár „ " * \$, ! - # +
NA	National Archives „ " * , X , ; ,
NAC	Narodowe Archiwum Cyfrowe „ " / * , +
OSA	Open Society Archive „ ' * Q « ~ » , ! # +
PIL	' * Q # = , ! # +
;? " Q	; = = \$ = * = + = , (
SAPMO-BA	Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv „ E * # = * \$ = ?% ; E * , !
V(;E V	= * (; = = E , 8 , (
TŠP	Telewizja Polska „ ' * # \$ ~ , +

Энн Эпплбаум

Железный занавес

Подавление Восточной Европы
(1944—1956)

Художник А. Бондаренко

Компьютерная верстка В. Козак

Подписано в печать 7.02.2015

Формат издания 84х108¹/₃₂.

Бумага офсетная. Гарнитура «Newton»

Печ. л. 22. Тираж 1000. Заказ №

Московская школа гражданского просвещения
Россия, 127006, Москва,
Старопименовский переулок, 11, строение 1
Тел./факс: +7 (495) 699 01 73
E-mail: mmps@mmps.su
<http://www.mmps.su>